



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

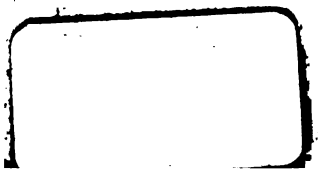
### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>





•









Историческія картинки.

Изъ Библіотеки  
И. А. ГОЛУБЦОВА

# ИСТОРИЧЕСКІЯ КАРТИНКИ

СТРАНИЦЫ 1—211

*Н. Суворовъ*

РАЗНЫЕ  
РАЗСКАЗЫ

СТРАНИЦЫ 1—400.

ИЗДАНИЕ 2-Е, ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОПОЛНЕННОЕ



С.-ПЕТЕРБУРГЪ  
ТИПОГРАФІЯ А. С. СУВОРИНА, ЭРТЕЛЕВЪ ПЕР., Д. 13  
1894



PG 3260.5

I8

1874

## ОГЛАВЛЕНИЕ.

---

### ИСТОРИЧЕСКІЯ КАРТИНКИ.

	СТР.
Въ великіе дни . . . . .	3
При новой вѣрѣ . . . . .	37
Амазонки . . . . .	57
Коринеская капитель . . . . .	68
Боровъ . . . . .	88
Въ скудельницѣ . . . . .	97
Форнарина . . . . .	110
На мѣсто . . . . .	120
Художественныя убійства . . . . .	149
Удивительное приключеніе . . . . .	163
Мечты и выстрѣлы . . . . .	174
Исчезнувшій свертокъ . . . . .	183
Императрица Екатерина II и кіевскіе угодники . . . . .	198

---

### РАЗНЫЕ РАЗСКАЗЫ.

---

#### Т и п ы.

Выстрѣлъ . . . . .	3
Капитанъ и его лошадь . . . . .	11
Два Сидоровыхъ . . . . .	23
Бабушкины пузыри . . . . .	35

	СТР.
Человѣкъ и картоны . . . . .	40
Новый Дулькамара . . . . .	45
Ищутъ клоуновъ . . . . .	52
Воображающіе . . . . .	59

### Фантазіи.

Альгоя . . . . .	71
La pointe . . . . .	84
Чудесная гитара . . . . .	90
Вербя . . . . .	97
Дымный человѣкъ . . . . .	102
Недавно найденная глава Донъ-Кихота . . . . .	109
Сказка тысяча второй ночи . . . . .	117
Өеклуша . . . . .	124
Двѣ капли . . . . .	141

Профессоръ безсмертія . . . . .	147
---------------------------------	-----

### Изъ свѣтской жизни.

Приглядитесь къ ней . . . . .	235
Подсмотрѣлъ . . . . .	243
Два тура вальса—двѣ елки . . . . .	249
Чугунные фрукты . . . . .	253
Ключикъ . . . . .	259
Кто лгалъ? . . . . .	264
Изъ чужого дневника . . . . .	274

### Мурманскіе очерки.

Моленіе вѣтру . . . . .	287
Черная буря . . . . .	305
Безымень. Мурманское привидѣніе . . . . .	316

### Сцены и наброски.

Что людямъ иногда кажется . . . . .	327
Слова на улицѣ . . . . .	334
Добрыня Никитичъ поссорилъ . . . . .	341

	стр.
Случай . . . . .	347
Воскресшіе . . . . .	354
Завянетъ ли? . . . . .	361
Воспоминаніе . . . . .	368
Археологъ . . . . .	379
Въ пылу боя . . . . .	385
Находка . . . . .	388
Въ Калмыцкой степи . . . . .	392
Какъ можно лгать . . . . .	397





# ИСТОРИЧЕСКІЯ КАРТИНКИ





## ВЪ ВЕЛИКІЕ ДНИ.

---

### I.

#### Совершилось!

Близился вечеръ...

Съ утра въ этотъ день Іерусалимъ и его пригороды были полны толпившимся повсюду, раздраженнымъ народомъ. Казнь «Царя Іудейскаго» началась утромъ; къ тремъ часамъ пополудни Іисусъ Назарей склонилъ голову и погасъ...

По узкимъ улицамъ, въ особенности по направлению къ Голгоѣ, толпа въ тѣ часы дня была какъ бы неподвижна, потому что перемѣщеніе въ ней отдѣльныхъ личностей не двигало ея. Большинство, какъ объясняетъ евангелистъ Лука, были женщины.

Мѣстами надъ толпою высились внушительныя очертанія всадниковъ изъ такъ называвшихся «союзныхъ», такъ какъ собственно римскихъ всадниковъ провинція не знала, да и не римскій былъ это родъ войска; видѣлись также представители азійскаго Востока, опаленные солнцемъ и степью идумейцы, на своихъ жилистыхъ, сухихъ коняхъ, съ копьями, стрѣлами и сѣкирами; пѣшаго войска, соб-

ственно римлянъ, виднѣлось тоже довольно. Все это было на мѣстѣ, потому что власти знали очень хорошо, съ какимъ нешуточнымъ движеніемъ народа имѣли они дѣло и были на сторожѣ. Неувѣренность и робость Пилата свидѣлствуютъ объ этомъ очень ясно.

Мѣстами въ толпѣ прокладывалъ себѣ дорогу длиннобородый фарисей, съ ящичкомъ или повязкой на лбу, съ поручнями на рукахъ, съ вышитыми на нихъ словами закона. Всюду шли рѣзкіе, противорѣчивые толки о совершившемся: какъ и что произошло? Одни находились подъ гнетомъ страшнаго впечатлѣнія, другіе, большинство, ликовали злобно и насмѣшливо: они отъ чего-то избавились! имъ свободнѣе стало! ихъ волю исполнили!

Подстрекатели этихъ злорадствъ расхаживали среди толпы, подчиняясь заранѣе установленному плану, чьему-то руководительству. Это были тѣ люди, которые, по словамъ пророка, «готовы распутствовать съ чужими подъ всякимъ вѣтвистымъ деревомъ».

Въ толпѣ говорили, что со стороны Авессаломовой гробницы и отъ многихъ мѣстъ Іосафатовой долины, изъ ущелій горы Сіонской, пришли жившіе мертвые; что они и теперь по городу ходятъ, своимъ близкимъ являются и что ихъ невзначай можно встрѣтить тамъ и сямъ. Возникшій вчера неизвѣстно откуда слухъ о найденной головѣ Адамовой сталъ теперь общимъ достояніемъ; эту кость видѣли, къ ней прикасались, но только власти убрали ее и куда-то спрятали!

Вечеръ наступилъ пасмурный. Какія-то густыя сѣрныя испаренія, образовавшія ко времени кончины «Царя Іудейскаго» великую тьму, еще не разсѣялись, и солнце опускалось долу кровавымъ пятномъ. Скалистыя окрестности города, обыкновенно

блиставшія въ этотъ часъ отвѣтными закату огнями, казались блѣдными, блеклыми и тѣмъ безпокойнѣе казались люди, расходившіеся послѣ казни по домамъ, тѣмъ болѣзненнѣе, раздражительнѣе казались споры между ними, доносившіеся отовсюду.

Люди торопились расходиться по домамъ, потому что наступала суббота, строгая, староеврейская. Никакой трудъ не допускался, и узкія улицы Іерусалима сразу опустѣли. Опустѣли онѣ совсѣмъ, будто вымерли...

Домъ Іосифа Аримафейскаго стоялъ въ той же сторонѣ города, не особенно далеко отъ Голгофы; окруженный оливковымъ садомъ, онъ прислонялся однимъ бокомъ къ скалѣ. Жена и дѣти Іосифовы находились дома; хозяинъ же пошелъ къ представителю римской власти ходатайствовать о позволеніи взять тѣло Іисуса. Двѣ одинокихъ, смуглыхъ рабыни занимались у входа домашнею работою, торопясь окончить ее передъ закатомъ солнца.

Евангелистъ Матѳей объясняетъ, что Іосифъ, человѣкъ богатый, былъ ученикомъ Іисусовымъ; евангелистъ Іоаннъ называетъ его тайнымъ послѣдователемъ Іисуса; онъ состоялъ также членомъ высшаго судилища, но отъ осужденія невиннаго воздержался.

— Да поможетъ вамъ Господы!—сказалъ, обращаясь къ рабынямъ, входя въ изгородь сада, высокій, сухощавый старикъ, сопровождаемый молодымъ человѣкомъ изъ богатыхъ и знатныхъ, если судить по широкому поясу его, обложенному по золотому шитью очень крупными, цѣнными камнями. За ними шли двое рабовъ и тащили на плечахъ какую-то довольно грузную ношу: кедровый ящикъ, плотно перевязанный.

Рабыни, въ отвѣтъ на слова пришедшаго, молча поклонились.

— Гдѣ тутъ пройти къ гробницѣ?—спросилъ старикъ.

Одна изъ рабынь, опять-таки молча, направилась въ глубь сада, и гости послѣдовали за нею.

По густому насажденію оливковыхъ деревьевъ, на вѣтвяхъ которыхъ лежала уже довольно густая мгла, изгибалась тропинка, выложенная крупнымъ булыжникомъ. Оливковыя деревья, изъ которыхъ многія были и тогда уже такъ древни, что пустыя дупла ихъ наполнялись камнями для возможнаго укрѣпленія ихъ отъ часто налетающихъ лютыхъ шкваловъ, тщательно и не высоко подрѣзанныя и выхоленные, образовывали цѣлую рошу, начинавшуюся у самой дороги и шедшую далеко въ глубь, вдоль скалъ, передній уступъ которыхъ нависалъ надъ домомъ.

Тропинка направлялась въ широкое ущелье. У входа въ него путники остановились передъ новою, изсѣченною въ скалѣ гробницею. Въ наступавшихъ сумеркахъ, она выдѣлялась по темному камню и ясно обрисовывалась бѣлизною. только что оконченной или, лучше сказать, прерванной работы; щебень и осколки камней, наскоро прибранные, еще валялись у входа по сторонамъ.

Фасадъ гробницы, изсѣченной въ скалѣ, оставался вѣрнымъ обычаю: онъ имѣлъ очертанія деревянной постройки и казался сложеннымъ изъ балоковъ. На самомъ верху плоскимъ рельефомъ вытягивалась длинная гирлянда виноградныхъ листьевъ и гроздій, спускавшаяся обоими концами своими вдоль боковъ входа.

— Поставьте это здѣсь,—сказалъ молодой человекъ, обращаясь къ рабамъ,—и ступайте, ждите меня у входа.

Рабы сложили ношу на землю и повиновались; за ними послѣдовала и рабыня.

Оставшись вдвоемъ, гости, не говоря ни слова, подошли къ гробницѣ, наклонились къ ней и осмотрѣли. Холодомъ и молчаніемъ вѣяло изъ нея! Бѣлая обнаженія темныхъ камней точно мерцали изъ мглы. Длинный каменный гробъ видѣлся посрединѣ; полуцилиндрическая крыша его, на поясахъ которой рѣзко проступали симметрически расположенныя розетки, въ ожиданіи занять назначенное ей мѣсто, стояла прислоненною къ сторонѣ.

\* \* \*

Невыразимая тяжесть лежала на сердцахъ пришедшихъ; разговору, казалось, не могло быть и мѣста. Всѣ кровавыя новости дня, быстро померкавшаго, были имъ извѣстны; на Голгоѣѣ, у крестовъ, еще толпились люди; «Царя Іудейскаго», «Сына Человѣческаго» видѣли они живымъ не дальше, какъ сегодня...

Они столько разъ слышали Его...

— Знаешь ли, что мнѣ думается, проговорилъ, наконецъ, старшій изъ собесѣдниковъ, садясь на камень—младшій помѣстился противъ него,—мнѣ думается, что ничего, ничего больше кругомъ настъ нѣтъ; міра—нѣтъ, солнца—нѣтъ, да и всего прошедшаго—нѣтъ, а есть только одна великая печаль, одно, какъ бы, безграничное сердце, и оно тоскуетъ, это сердце, и мы въ немъ, мы сами его тоска... Совершилось!

— Да, рабби,—отвѣтилъ молодой,—это слово я тоже самъ съ креста слышалъ... оно все еще звучитъ мнѣ!

— Вѣрно сказалъ пророкъ,—продолжалъ рабби,—что побѣждены мы виномъ и обезумѣли отъ сикеры, въ видѣніи ошибаемся, въ сужденіи спотыкаемся... Сегодня старый міръ сокрушенъ, прежнее солнце ушло! вотъ что!

— Римскіе легіоны сокрушены ли, рабби?

— Не говори: сотника помнишь?

Послѣ нѣкотораго молчанія старшій, какъ бы начиная опять съ одной изъ неожиданно оборвавшихся мыслей своихъ, продолжалъ вполголоса; тихій, мѣрный говоръ его обмиралъ близехонько подлѣ, въ густыхъ вѣтвяхъ и по дупламъ увѣсистыхъ, низкорослыхъ оливъ.

— Когда я пришелъ сегодня на Голгоѳу, я еще не вѣрилъ, во мнѣ еще чувство не родилось! но когда приступили къ совершенію казни; когда, оттиснутый толпою, я не могъ больше видѣть, чтѣ тамъ съ Нимъ дѣлаютъ, но зналъ, что вотъ теперь съ Него одежды рвутъ... раздѣли, что вотъ теперь Его повергнуть и къ положенному на землю кресту прибавать начнутъ... Когда я услышалъ, какъ застучалъ молотокъ по гвоздямъ, проходившимъ сквозь живое его тѣло... За что, за что! думалось мнѣ... я скликнуть людей хотѣлъ, я толпѣ говорить думалъ... Гляжу: крестъ уже поднять и невысоко надъ толпой видно мнѣ Его лицо... кроткое, изнуренное... и трепеть пошелъ кругомъ, и крики ужаса раздались... и тьма опустилась въ моихъ глазахъ! а Онъ, съ креста, взглянулъ въ мою сторону...

— Онъ и на меня взглянулъ!

— Глядитъ на меня такъ долго, такъ кротко... И я созналъ тогда, что не отъ стараго Сіона, а отъ Него чувство въ меня сошло... и я увѣровалъ, и вотъ я здѣсь.

— Если повѣрилъ, рабби, такъ послѣдуешь?

— А зачѣмъ же ты, неповѣрившій, сюда пришелъ и эти цѣнные ароматы принесть?—возразилъ старшій, указывая на кедровый ящикъ, еле виднѣвшійся въ сторонѣ.—И ты, и я, и многіе, многіе другіе уже не отъ міра сего, какъ Онъ училъ! Исполнено пророчество въ томъ, что дано намъ сердце единое, и но-

вый духъ вложенъ въ насъ, и взято изъ плоти сердце каменное и дано ей сердце плотское... И всѣмъ оно, всѣмъ одинаково дано, такъ что нѣтъ запозданія для послѣднихъ, какъ нѣтъ ускоренія для первыхъ; дѣломъ Иисусовымъ людская грудь опять въ гіацинтъ и пурпуръ одѣлась и ради имени Его соберутся всѣ народы въ Іерусалимъ...

— Въ Іерусалимъ!!—воскликнулъ, быстро поднявъ голову, младшій, внимательно слѣдившій за словами рабби, многія изъ которыхъ, какъ изреченія пророковъ, были ему издавна знакомы.—Въ Іерусалимъ! сюда!—повторилъ онъ, никакъ не ожидавшій этого, желательнаго для него, заключенія.

— Да! въ Іерусалимъ... увѣренно подтвердилъ старикъ,—но только въ Новый Іерусалимъ, который вездѣ тамъ будетъ, гдѣ повѣрившее въ Него сердце найдетъ! и я понесъ мой Іерусалимъ во мнѣ...

\* \* \*

На этомъ разговоръ прекратился. Темнота по саду ложилась глубокая; въ сіяніи звѣздъ продолжали обозначаться только бѣлѣвшія очертанія гробницы, и выдѣлялась изъ тьмы, стоявшая до времени всторонѣ, гробовая крыша.

Къ этому времени со стороны дома, сквозь густую листву, раздался тихій, глухой, неясный шумъ. Собесѣдники, молча, поднялись съ камней и ожидали.

Ни малѣйшаго говору не было слышно, а раздавался только однообразный звукъ приближенія очень немногихъ людей. Они подвигались безмолвно во тьмѣ и молчаніи. Изрѣдка, кое-гдѣ, трещали надломленные вѣтви оливы и шелестили листья. Блеснулъ факель, блеснулъ другой...

Несли тѣло Сына Человѣческаго...

Пусты, мертвы были улицы Іерусалима, когда шли эти люди въ сумерки съ Голгофы; страхъ



обуялъ многихъ изъ учениковъ; не было ихъ подлѣ Него утромъ, не было и теперь.

Никодимъ и Іосифъ, могучіе, бородатые, древніе, въ длинныхъ, темныхъ синдонахъ, были двумя главными носильщиками драгоцѣнной ноши Распятаго, прикрытой длиннымъ, бѣлымъ льнянымъ пологомъ. Подлѣ нея жались одни къ другимъ домочадцы Іосифовы, отовсюду набѣжавшіе; оказались тутъ и тѣ двѣ рабыни, одна изъ которыхъ проводила къ гробницѣ гостей; онѣ-то и несли факелы, ронявшіе на землю быстро погасавшія и притаптываемыя искры...

Чистъ, какъ дѣвственный снѣгъ, былъ положенный надъ Сыномъ Человѣческимъ льняной пологъ! ни одна капля крови не обозначалась на немъ! сквозь длинныя складки виднѣлись очертанія тѣла; выше прочаго покоилась, склоненная немного на сторону, голова...

И, слѣдомъ за Сыномъ, ослѣпительна своею блѣдностію, въ красномъ заревѣ факеловъ, величаво подвигалась свѣтоносная въ своей печали Мать...

Всѣ они близились къ гробницѣ и, подходя къ ней, вошли въ благоуханіе мирры и алоэ, невидимо и неосвязаемо разлившееся во тьмѣ ночной... Кедровый ящикъ, принесенный рабами, былъ открытъ.

На утро пришла посланная первосвященниками и фарисеями стража и стала у гроба. Къ камню, приваленному къ двери его, была приложена печать.

## II.

## На зарѣ.

Наступила вторая ночь по погребеніи, и была она во второй половинѣ, и покрывала своею глубокою, звѣздною сѣнью городъ казни, притихнувшій и успокоившійся.

Спокойно почивали послѣ побѣды своей первосвященники съ книжниками, старѣйшинами и фарисеями, ругавшіеся и издѣвавшіеся надъ Нимъ, когда Онъ еще жилъ и Его истязали; почивали они спокойно, потому что былъ Онъ мертвъ, у гроба стояла ихъ стража и была приложена ихъ печать. Успокоилась и жена Пилатова, имѣвшая видѣніе. Стали собираться въ Іерусалимъ испуганные ученики.

Во тьмѣ и молчаніи ночи, прерываемомъ частыми криками пѣтуховъ, вдоль извилистаго, каменистаго пути къ дому Іосифа Аримафейскаго, въ саду котораго почивало тѣло Сына Человѣческаго, быстро шли двѣ женщины. Онѣ шли безостановочно, подвигаясь небольшими, темно-фіолетовыми пятнами въ застывшемъ безграничномъ сумракѣ холодной палестинской ночи. Чуть-чуть теплился разсвѣтъ и начиналъ вызывать повсюду поблекшія на ночь краски жизни.

На одной изъ женщинъ, постоянно опережавшей другую, обозначался гиматій желтаго цвѣта; она плотно обернула имъ голову, плечи, станъ; изъ-подъ гиматія, снизу, почти касаясь пыльнаго пути, виднѣлась шерстяная, зеленая туника. Другая женщина была вся въ голубомъ; она тоже закуталась вполную и шла въ подвижныхъ складкахъ.

Это были двѣ женщины изъ народа, простыя женщины, жены мѣроносицы: Марія Магдалина и съ нею другая Марія. Въ глубокую полночь, пре-

возмогая страхъ и стыдъ, такъ какъ выходить женщинамъ ночью считалось позорнымъ, онѣ должны были выйти изъ домовъ своихъ, чтобы съ первыми лучами солнца приблизиться къ дому Іосифову. Видно, не было имъ покоя, не для нихъ былъ сонъ.

«Кто-то отвалить намъ тяжелый камень гробницы?»—думалось въ пути женамъ мѣроносицамъ.

Марія Магдалина то-и-дѣло опережала свою спутницу, торопилась... Была она родомъ изъ Магдалы, отъ озера Тиверіадскаго и ее постоянно видѣли въ числѣ тѣхъ вдохновенныхъ послѣдовательницъ Іисуса, исцѣленныхъ имъ, которыя не покидали Его, когда Онъ ходилъ съ апостолами по городамъ и селамъ, благовѣствуя.

\* \* \*

Все еще было темно, когда жены-мѣроносицы приблизились къ дому Іосифову. Спутница Магдалины отстала, утомившись торопливой ходьбой; Магдалина шла одна и, по мѣрѣ приближенія, въ ней все ярче и ярче проступали воспоминанія дня погребенія.

Она помнитъ, какъ шла съ Нимъ на Голгоѳу, когда другіе не пошли... Она, подлѣ скорбящей Богоматери и Іоанна, не отходила отъ креста, когда одни разбѣжались, другіе глядѣли издали... Возникаютъ въ ея памяти дикія, пугающія лица злобствующаго, бушующаго, ненавидящаго народа... издѣвающіеся первосвященники... терновый вѣнецъ на изможденномъ челѣ... мучительная жажда Распятаго... кровь... всадники... метаніе жребія...

Слышится ей тихая рѣчь, идущая отъ Его креста ко кресту разбойника.

Померкло солнце... Объялъ ужасъ... Совершилось!..

И торопится Марія, торопится къ дорогой гробницѣ. Вотъ и домъ Іосифовъ обозначился и зна-

комый Маріи входъ съ дороги въ садъ. Входъ открытъ, первосвященнической стражи нѣтъ; Марія очень удивилась этому и недоумѣвала...

Мүроносица свернула въ садъ и пошла по знакомой, уложенной булыжникомъ, тропинкѣ; та же роша оливъ, тѣ же вѣтви, та же листва, тѣ же дупла съ камнями... Только все это будто опылено позолотою розоваго утра, рдѣютъ оливковыя деревья, искрится листва!

И вотъ уже близка мүроносица къ гробницѣ и помнится Маріи, что здѣсь, гдѣ теперь брежетъ утренній свѣтъ, лежала глубокая тьма... Горѣли тогда факелы... Гробница зіяла раскрытою... Вотъ положили въ нее тѣло... сама она помогла обвить его плащаницею, сама трепетно оправила...

«Не рыдай Мене Мати»,—звучать въ воспоминаніи Маріи какія-то слова... Кто сказалъ ихъ? гдѣ слышала она ихъ?

Но вотъ, помнитъ она, скользнула надъ бѣлымъ обликомъ Распятаго, уже лежавшаго въ глубокомъ гробѣ и ярко озаренномъ факелами, какая-то большая, черная тѣнь... это тѣнь отъ наваливаемой крыши... навалили... затѣмъ ничего... кто-то сниметъ намъ теперь эту крышу?..

Марія снова стояла передъ этой самой гробницей...

Чуть-чуть свѣтлѣли темныя очертанія ея... она взглянула... но камня не было! камень былъ отваленъ отъ гроба... Порывисто наклонилась она и испуганнымъ взоромъ окинула внутренность гробницы: она оказалась пустою. Усопшій исчезъ...

Марія оцѣпенѣла отъ ужаса и горя. Кто это сдѣлалъ? кто похитилъ изъ гроба тѣло Господа?.. Неужели нашлись злодѣи... Но вѣдь гробъ охраняла первосвященническая стража?.. гдѣ же она?.. Что все это значитъ?... мысли закружились въ ея го-

ловѣ... но заря небесная дѣлала свое дѣло, и золото утреннихъ лучей, лежавшее кругомъ на камняхъ гробницы, на дуплахъ, вѣтвяхъ и листвѣхъ оливъ, быстро проникло и въ ея глубоко омраченное сознаніе... Вѣдь онъ говорилъ, что воскреснетъ!.. Значитъ, воскресъ!.. воскресъ!..

Она схватилась рукой за сердце, замиравшее отъ радости. Торопливо, задыхаясь, вся дрожа отъ умиленія, вся озаренная сіяніемъ утра, явилась къ ученикамъ Его и первая принесла имъ великую вѣсть воскресенія...

### III.

#### Силоамскіе голуби.

Кончались вторыя сутки послѣ того, что Царь Иудейскій пріялъ на Голгоѣ казнь. Лобное мѣсто прибрали, очистили; должно было чистили его не особенно тщательно, потому что и лобнымъ-то называлось оно потому, что на немъ валялось много лбовъ и другихъ костей, оставшихся послѣ пиршествъ хищныхъ птицъ и животныхъ.

Казнь совершилась обычнымъ порядкомъ и такъ какъ наступалъ праздникъ, то Голгоѣ по солнечномъ закатѣ совершенно опустѣла. Еще взвивались надъ нею кое-гдѣ, мѣняя мѣста, хищныя птицы, и тѣ къ ночи отлетѣли. Притихъ, но не заснулъ, Іерусалимъ. Близилась полночь.

Въ годъ смерти Спасителя Пасха приходилась въ субботу; наступило полнолуніе и, въ видѣ совершенно особаго исключенія, еще стояла зима: во время ночного судбища надъ Спасителемъ Симонъ Петръ, какъ извѣстно, вмѣстѣ съ другими, грѣлся у костра. Полная, холодная луна сіяла надъ городомъ и его окрестностями.

Такъ какъ Пилать произнесъ свой приговоръ въ шестомъ часу, по нашему въ полдень, «о девятомъ же часѣ», т. е. въ третьемъ пополудни, «Исусъ же паки возопилъ гласомъ велимъ, испусти духъ», то, слѣдовательно, если принять въ расчетъ путь до мѣста казни, приготовленія къ ней и самое исполненіе, Спаситель оставался на крестѣ пригвожденнымъ, до минуты кончины, менѣе трехъ часовъ времени. Если измѣрять обычнымъ физическимъ закономъ, то смерть эта послѣдовала, сравнительно, необычайно быстро. Въ томъ-то и состоялъ ужасъ крестной казни у древнѣйшихъ народовъ, что мученіе истязуемаго длилось безконечно; обыкновенно проходилъ день, проходила ночь, иногда даже нѣсколько дней, а распятый все еще жилъ, жилъ, какъ говоритъ Сенека, «отдавая жизнь свою по каплямъ»; и часто сохранялъ онъ чувство тогда, когда мухи, птицы и звѣри, привлеченные къ пиру, уже начинали свое дикое угощеніе; распятый, тѣмъ временемъ все еще не умирая, даже не рѣдко, сходилъ съ ума. Быстрая смерть на крестѣ оказывалась явленіемъ не обычнымъ, какъ это случилось, наиримѣрь, съ кароагеняниномъ Гамилькаромъ, успѣвшимъ только обвинить съ креста своихъ судей. Цицеронъ называетъ крестную казнь «крайнимъ, высшимъ, жесточайшимъ, ужаснѣйшимъ видомъ казни» (*extremum, summum, crudelissimum, teaterrinum supplicium*). Обычнымъ приемомъ для ускоренія смерти было перебиваніе голени. Относительно Сына Человѣческаго, смерть Котораго наступила быстро, вѣроятно вслѣдствіе длившагося цѣлую ночь и часть предшествовавшаго дня неистоваго бичеванія, а также вслѣдствіе того, что душа Его «скорбѣла смертельно», приемомъ отсѣканія голени не пришлось воспользоваться, чѣмъ исполнилось пророчество: «кость не сокрушится отъ него».

Извѣстно по евангеліямъ, что, испуганные всѣмъ случившимся, ученики Христовы разбѣжались. Покинуть Іерусалимъ въ тѣ дни великаго раздраженія было, однако, не такъ легко. Въ отѣненіи своихъ садовъ, въ шумѣ безсчетныхъ водопроводовъ и свѣжести множества водоемовъ и цистернъ, Іерусалимъ, нынѣ мертвый, по словамъ Евсевія, буквально омывался водою и каменная почва его казалась цвѣтущимъ садомъ Егоя. Чрезвычайно пестрое населеніе было громадно. Описывая взятіе Іерусалима Титомъ, Флавій насчитываетъ, что число погибшихъ во время осады достигало 1.000,000 человѣкъ. Для подтвержденія своихъ словъ и предвидя недоувѣріе, Флавій сообщаетъ, что когда одинъ изъ правителей, желая убѣдить кесаря Нерона въ этомъ чудовищномъ многолюдствѣ, приказалъ однажды сосчитать число пасхальныхъ жертвъ, то ихъ оказалось 256,500; такъ какъ, каждая изъ нихъ приносилась обыкновенно семьями, обществами, человѣкъ въ десять, то многолюдство тогдашняго Іерусалима, кажущееся намъ невѣроятнымъ, тѣмъ не менѣе несомнѣнно. Тотъ же Флавій свидѣтельствуетъ, что во время осады города, по показанію лица, которому былъ ввѣренъ надзоръ за одними изъ воротъ, изъ нихъ вынесено 150,880 еврейскихъ труповъ.

Въ такомъ громадномъ городѣ, при томъ упорномъ, продолжительномъ, желчномъ озлобленіи, которое вскормили и успѣли разжечь противъ Спасителя старцы, книжники и фарисеи, такое событіе, какъ казнь Пророка, не могло пройти безъ сильнѣйшаго, продолжительнѣйшаго, глубочайшаго впечатлѣнія. Пророкъ за два года своей проповѣди исходилъ всю Палестину вдоль и поперекъ, Онъ извѣстенъ былъ въ лицо почти всѣмъ и каждому; за Божественнымъ посланцомъ постоянно ходили неисчислимые толпы народа, особенно много женщинъ

и, къ тому же, Онъ воскрешалъ мертвыхъ! Еще носились въ пестрыхъ пересказахъ толпы, слагаясь мало-по-малу въ одно великое цѣлое, всѣ отдѣльныя событія послѣднихъ дней, начиная отъ входа въ Іерусалимъ, еще вспоминались слова архіереевъ, старцевъ, книжниковъ и фарисеевъ, издѣвавшихся надъ Распятымъ и говорившихъ во всеуслышаніе: «иныя спасе, себѣ ли не можешь спасти!» И не могъ успокоиться Іерусалимъ, не могъ и, вѣроятно, не хотѣлъ.

Вчера, во время казни, всѣ это видѣли, всѣ подтверждаютъ, что опустилась неожиданная тьма, и лежала отъ перваго часа пополудни до четвертаго и дрожала земля, распадались могилы, и мертвые оживали. Изъ Евангелій несомнѣнно извѣстно, что, какъ и въ какой послѣдовательности происходило, но въ тѣ заповѣдныя дни никто не зналъ ничего полностью: знали только одно, что Христа распяли. Всѣ остальные свѣдѣнія являлись обрывками необычайно большой общей ткани, только что начавшей развертываться...

\* \* \*

Полночь.

Кто-то въ воинскихъ доспѣхахъ не полного прибора, т. е. безъ щита и копья, одинъ-одинехонекъ, очень медленно двигается по пути въ Виванію. Въ яркомъ сіяніи полной луны мертвенно лежали скалистыя, изъѣденныя временемъ, пробуравленныя водотоками и поломанныя частыми землетрясеніями восточныя окрестности города, за потокомъ Кедрскимъ, въ тѣ дни еще шумѣвшимъ, со стороны горъ Елеонской и Соблазна. Особенно безмолвными, причудливыми и страшными становились они за Іосафатовою долиною. Тутъ поднимался древній шапкообразный памятникъ Авессалома, проклятый въ

К. К. СЛУЧЕВСКИЙ.

II



народъ еще задолго до тѣхъ дней и служившій издавна, какъ и сегодня, для киданія въ него камнями; тутъ высился памятникъ Захаріи, всегда горѣвшій при солнечномъ освѣщеніи кровавою краскою камня, изъ котораго былъ построенъ, въ воспоминаніе первосвященника, убитаго іерусалимлянами; они воздвигнули эту гробницу, долженствовавшую горѣть кровью, въ вѣчный укоръ народу и его потомству. Въ этой же долинѣ стоялъ когда-то идолъ Молоха, очень древнее воспоминаніе, даже для тѣхъ очень древнихъ дней. Селеніе Силоамское, не помнящее времени своего рожденія, находилось со своею купелью въ этой же сторонѣ. Оно изстари служило мѣстомъ народныхъ собраній, на одномъ изъ которыхъ помазанъ былъ на царство Соломонъ. Недалеко отъ Силоамской купели, распяленъ былъ деревянною пилою, по повелѣнію Манассіи, пророкъ Исаія: источникъ Силоамскій, говорятъ, брызнулъ изъ земли, чтобы утолить жажду мучившагося пророка.

Днемъ въ этихъ мѣстахъ, по пути къ деревнѣ, кромѣ людей, виднѣлось еще и другое, своеобразное населеніе, а именно голуби, разводившіеся недалеко отсюда, въ такъ называемой «голубиной скалѣ», равно какъ и въ другихъ скалахъ горы Елеонской. Одно изъ мѣстъ Талмуда свидѣтельствуетъ, что: «на Елеонской горѣ росли два дерева: подъ однимъ изъ нихъ были четыре пещеры, въ которыхъ продавались предметы, необходимые для законнаго очищенія въ храмѣ; подъ другимъ разводились голуби для женской очистительной жертвы: ежемѣсячно ихъ продавали на 40 саклей». Извѣстно также, что въ Іудеѣ вообще для разведенія голубей чаще всего избирались удобныя мѣста среди гробницъ, на кладбищахъ, отчего, вполнѣ естественнѣе, возникла вѣра въ тайную связь между умершими людьми

и голубями: голуби служили, какъ бы, вѣстовщиками отъ живыхъ къ мертвымъ и обратно.

Въ ту ночь, о которой идетъ рѣчь, голуби спали по своимъ темнымъ обиталищамъ и не оживляли унылыхъ тропинокъ, вившихся между скалъ. Далѣе, по пути въ Виѳанію, царство смерти сказывалось еще внушительнѣе въ бѣломъ свѣтѣ мѣсяца и траурныхъ тѣняхъ. Здѣсь, на различныхъ высотахъ скалъ, зіяли гробницы пророковъ, съ ихъ дробными портиками,—таинственно молчаливые слѣды вдохновенныхъ людей.

\* \* \*

Тишина вокругъ путника лежала такая полная, такая гнетущая, что рѣзкія завыванія шакаловъ, доносясь издали, раскатывались громомъ и тревожили мертвые сны. Залитые серебромъ луннаго свѣта, въ полной неподвижности, спали, поднимаясь кое-гдѣ, маслины, кактусы, туовыя деревья, объятые холодомъ ночи и принявшія видъ металлическихъ. При такой же точно лунѣ, за двое сутокъ, въ Геѳсиманскомъ саду, Спаситель возглашалъ: «душа моя скорбеть смертельно!»

Этого мучительнаго, цѣлую бездну страданій сердца выражающаго возгласа, воинъ, шедшій по пути въ Виѳанію, своевременно не слыхалъ, но Іисуса Назарея въ Геѳсиманскомъ саду, и на судьбищѣ, и на Голгоѣ, и все что тамъ совершилось—онъ видѣлъ.

Этотъ легіонеръ, человѣкъ лѣтъ пятидесяти, изъ сотни сотника, увѣровавшаго въ минуту крестной смерти Спасителя, стоя подлѣ креста, ничего не сказалъ тогда, но не смѣялся и въ метаніи жребія участвовать не хотѣлъ. Шелъ онъ теперь по мѣстамъ, ему хорошо знакомымъ, вслѣдствіе давней его службы, потому что былъ онъ не изъ тѣхъ ле-

гіонеровъ, которые появлялись здѣсь только на Пасху, сопутствуя правителю, жившему обыкновенно въ Кесаріи, но изъ тѣхъ, которые оставались постоянно крѣпки Іерусалиму, служа представителями римской силы, для сдерживанія не только народа іудейскаго, но и тѣхъ наемныхъ кесарскихъ войскъ, которыя назывались «союзными».

Если когда либо въ дикой, пугающей мѣстности могилъ, въ полнолуны, въ страшное время великой народной скорби и не менѣе сильныхъ ярости и озлобленія, въ дни, когда преступленіе властвуетъ и высоко поднимаетъ голову, подобно пробужденному сатанѣ надъ полчищами адскими, если когда либо шель человѣкъ, совсѣмъ умаленный, почти уничтоженный въ сердцѣ, такъ это былъ легіонеръ. Много появилось въ тѣ два дня такихъ удрученныхъ и умаленныхъ, послѣ того, что совершилось на Голгоѣ.

Вотъ уже завершается вторая ночь, а легіонеръ разыскиваетъ кого-нибудь изъ учениковъ Христовыхъ, но всѣ они разбѣжались, попрятались. Кто-то сказалъ ему, что видѣлъ нѣсколькихъ изъ нихъ, шедшихъ по пути въ Виѳанію, что тутъ, въ могильныхъ пещерахъ, укрылись они; въ Виѳанію направился и онъ. Помутившемуся сознанию его представлялось не совсѣмъ яснымъ, куда, какъ и зачѣмъ идетъ онъ? Дѣйствительно ли направились ученики въ Виѳанію? Если направились, то какъ отыскать ихъ тамъ, ихъ, прячущихся, испуганныхъ, отрекшихся? Мысль о томъ, что бывшее на немъ одѣяніе римскаго легіонера, для той цѣли, на которую онъ шель, вовсе не пригодно, даже и не зародилась въ его головѣ, сбитой съ толку всѣмъ совершившимся. За два года проповѣди Христовой, легіонеръ неоднократно слышалъ ее, слышалъ о ней; что-то, какъ будто, начиналъ понимать, куда-то жаждала устремиться

волновавшаяся душа его, но—пресѣклась проповѣдь, совершилась Голгоѳа и вотъ онъ, тоскующій, до ослабленія разума, идетъ неизвѣстно на что, неизвѣстно куда и зачѣмъ, потому не можетъ не идти.

Легіонеръ несъ съ собою въ сердцѣ свой внутренній преображающійся во что-то міръ и иногда останавливался. «Не вернуться ли?» думалось ему; но если онъ вернется, то вѣдь опять пойдетъ, непременно пойдетъ, можетъ быть въ другую сторону, къ Виелеему или въ Эммаусъ, но все-таки пойдетъ. И такъ ясны ему въ памяти одѣянія нѣкоторыхъ изъ учениковъ Христовыхъ, бывшихъ въ Геѳсиманскомъ саду, хотя бы того изъ нихъ, что отрубилъ ухо одному изъ рабовъ архіереевыхъ, такъ ясны, что, повстрѣчай онъ хоть одного изъ нихъ, онъ узналъ бы непременно.

\* \* \*

Поднявшись почти до перевала скалистой горы, легіонеръ остановился. Кругомъ глядѣли на него могильные портики и, какъ бы застывшія на нихъ, полосы бѣлаго луннаго свѣта и глубокихъ черныхъ тѣней. Передъ глазами его, на поворотѣ тропинки, въ сторонѣ, неожиданно блеснуло что-то необычайно бѣлое. Невольно, привычною рукой схватился легіонеръ за рукоятку короткаго меча, причемъ плащъ его распахнулся и ярко затрепетали въ мѣсячномъ свѣтѣ металлическія, горизонтальныя полосы, такъ называвшіяся *logica*, изъ которыхъ составлялись панцири римскихъ солдатъ.

Бѣлая пелена, на половину выкинутая изъ открытой гробницы, неподвижно сіяла въ лунномъ свѣтѣ; по тяжелой бѣлой шерстяной ткани чернѣли длинныя, мягкія складки. Легіонеръ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ къ пеленѣ. Открытыхъ гробницъ оказалось не одна, а три.

«Конечно изъ тѣхъ, что недавно отверзлись»? мелькнуло въ его мысляхъ. — «Да, да! камни отвалены; мелкая, сухая поросль помята! Вотъ и еще пелены могильныя, и еще, и еще... но — эти сѣрыя, полустлѣвшія, цвѣта камня».

Томительно сжалось сердце легіонера. Холодомъ, безмолвіемъ и невѣдомымъ чудомъ обдавало его отъ тѣхъ могилъ, надъ которыми онъ стоялъ.

Но... или слухъ его обманывается... или тутъ, подлѣ, близехонько, за скалою есть кто-то!

Легіонеръ громко опросилъ.

Не успѣлъ отвѣтить ему въ поломанныхъ скалахъ откликъ, какъ, совсѣмъ подлѣ него, въ сторонѣ за утесомъ, зашуршало что-то и къ нему вышли одновременно, въ длинныхъ таларахъ, съ непокрытыми головами, обращенные лицами своими къ полному мѣсячному свѣту, двое... «Не изъ Геосиманскаго ли сада они»?.. сверкнуло молніею въ мысляхъ легіонера.

Неожиданность появленія этихъ двухъ обликовъ надъ раскрытыми землетрясеніемъ могилами была такъ велика, что легіонеръ не могъ сразу разобраться въ своихъ мысляхъ. Радость, страхъ, сомнѣніе, трепетъ, гробовыя пелены и эти два памятныхъ ему лица... Да, это они, ученики!..

Какъ бы сквозь шумъ въ ушахъ слышится легіонеру, будто стоящіе передъ нимъ говорятъ ему что-то, будто они его спрашиваютъ: не убить ли, не предать ли ихъ пришелъ онъ?

— Нѣтъ, нѣтъ, рабби! — отвѣчаетъ легіонеръ, или ему только кажется, что онъ такъ отвѣчаетъ на тѣ слова, которыя ему какъ будто слышатся, — не убить, не предать васъ пришелъ я, а помощи вашей хочу, вразумленія!..

И такъ еще молодо, такъ робко, неясно, неопредѣленно было это новое, только что возникавшее на землѣ исканіе людьми, скорбными духомъ, духов-

ной помощи, что оба ученика, безмолвно стоявшіе передъ легіонеромъ и не менѣе его озадаченные, не считали сказанныхъ легіонеромъ словъ: рабб! учитель — обращенными къ нимъ; до сихъ поръ они обращали эти слова только къ Нему, къ Распятому... А теперъ!! имъ ли говорить ихъ? Еще не сложилось въ тотъ давній день крестное знаменіе, еще не получило вещественнаго знака благословеніе, еще не существовало ни рукоположенія, ни преемственности священства... вся эта встрѣча, совершавшаяся въ виду отверстыхъ могилъ, глубокою ночью, являлась какимъ-то теплымъ вѣяніемъ, животворящимъ дуновеніемъ, какой-то духовною, невидимою, но неуклонно наступавшею зарею, чувствовавшеюся въ смертельной тьмѣ.

\* \* \*

Переходы отъ дня къ ночи и отъ ночи къ дню въ Палестинѣ очень быстры. Только что затеплилось утро за горою Елеонскою, когда всѣ трое, пробесѣдовавъ всю ночь, рѣшились идти обратно въ Іерусалимъ.

О чемъ бесѣдовали они? всѣмъ имъ одинаково нужно было вразумленіе. Насталъ третій день по смерти Спасителя и предстояло исполненіе обѣщанія Христова. Но вѣдь не сошелъ же Онъ съ креста Своего? не помогъ Себѣ? и надъ этою безпомощностью Его смѣялись?

И объаты ученики, не осмѣливающимся облечься въ слово, сомнѣніемъ, и нужно имъ знать, нужно провѣдать, нельзя не знать, что же дѣлается въ самомъ дѣлѣ въ Іерусалимѣ?

Едва только вышли всѣ трое изъ-за камней, какъ предсталъ предъ ними вдали, внизу, за долиною, весь пылающій въ утреннихъ краскахъ безконечный Іерусалимъ. По мѣрѣ того, какъ начали они спускаться къ

потоку Кедрскому и приближались къ мѣсту ужаса, боковыя тропинки, которыхъ они держались, избѣгая торнаго пути, продолжали оставаться пустынными, только уже не лунный свѣтъ, не тѣни ночи наполняли логовины, въ которыхъ они изгибались, а красныя краски, сразу воцарившагося, южнаго дня.

Далеко не безъ страха подходили ученики къ городу. Хотя сообщество римскаго легіонера служило имъ нѣкоторою охраною, тѣмъ не менѣе, они часто останавливались, прислушивались, заглядывали впередъ. Передъ тѣмъ, чтобы выйти на дорогу, связывавшую селеніе Силоамское съ городомъ, всѣ они, чтобы сговориться окончательно насчетъ того, какъ, чтó и гдѣ развѣдать, сѣли, раздѣлили скудную пищу, имѣвшуюся въ запасѣ, уничтожили ее и двинулись дальше.

Тропинка передъ тѣмъ, чтобы выйти на широкій путь долины, суживалась, углубляясь въ расщелину, такъ что видъ на городъ временно совершенно исчезъ и путниковъ объяло опять холодкомъ и отѣхило.

\*  
\* \* \*

Вдругъ очень сильный, но совершенно неопредѣленный шумъ хлынулъ имъ на встрѣчу и немедленно вслѣдъ за нимъ — стая голубей, словно испуганная кѣмъ-то, налетѣла на нихъ изъ-за заворота тропинки, чуть не въ упоръ. Неожиданно завидѣвъ передъ собою людей и не имѣя возможности вернуться назадъ по расщелинѣ, голуби, будто попавъ въ тиски, дружно, какъ одинъ, взвились надъ тропинкою отвѣсно и, выбравшись изъ ущелья на свободу, немедленно свернули въ сторону и исчезли изъ глазъ въ блескѣ лазурнаго неба. Стая налетѣла на путниковъ такъ близко, что даже опахнула ихъ вѣяніемъ крыльевъ своихъ.

Слѣдомъ за голубями двигалось почти бѣгомъ нѣсколько женщинъ. Свѣтлыя, различныя краски ихъ одѣяній, безпорядочно сбитыхъ въ быстрой ходьбѣ и различно подбираемыхъ руками, наполнили радужными отливами голубоватую мглу ущелья. Женщины двигались такъ быстро, что скомканныя складки одеждъ и скатившіяся съ головъ на спину чадры вовсе не оправдывали выраженій псалмовъ, будто «дочери наши (Иудейскія), какъ искусно изваянные столбы въ чертогахъ», или «дѣвы наши какъ углы (камня) красиво обточены». Видно было, и этого не могли не замѣтить остановившіеся и давшіе имъ дорогу путники, что нѣчто совсѣмъ необычное двигало этихъ женщинъ, увлекало и уносило ихъ единымъ порывомъ духа.

— Воскресъ!—слышалось отъ бѣгущихъ.

— Воскресъ!—слышалось еще.

— Христосъ Воскресъ!—слышалось опять между быстро ходившихъ дальше, но уже гораздо опредѣленнѣе.

Сіявшія очи женщинъ глядѣли на разступившихся передъ ними и стоявшихъ по сторонамъ ущелья путниковъ, безмолвствовавшихъ передъ этою свѣтоносною толпой. Ни одному изъ путниковъ и въ голову не приходило остановить женщинъ, разспросить, провѣдать, но сами они, пробѣгая мимо и глядя свѣтлыми очами, сообщали, что:

— Воскресъ! Воскресъ! Христосъ Воскресъ!

Это было первое «Христосъ Воскресъ!» раздавшееся на землѣ, и слова эти промолвили впервые женщины, тѣ неизвѣстныя намъ по именамъ благовѣстницы Воскресенія, о которыхъ въ Евангеліяхъ говорится, что ученикамъ «сказывали» о Воскресеніи Спасителя «нѣкоторыя женщины изъ нашихъ».

До Іерусалима оставалось не далеко и путники быстро направились къ городу, не раздумывая болѣе.



## IV.

## На пути въ Эммаусь.

По смерти трехъ распятыхъ, кресты съ Голгоѣы были, вѣроятно, удалены и, какъ римскія власти, такъ въ особенности іудейство, алкавшее смерти Спасителя, казалось, могли бы успокоиться. На самомъ дѣлѣ случилось не такъ.

Палестина евангельскихъ дней вовсе не имѣла того обличія смерти, которое нынѣ одѣваетъ нѣкоторыя части ея, поломанныя безчисленными землетрясеніями, съ цѣлымъ міромъ погребальныхъ вертеповъ, съ развалинами городовъ, замѣтныхъ, подобно Іерихону, на трехъ мѣстахъ ихъ послѣдовательныхъ возникновеній, съ сухими, засоренными цистернами и остатками жилищъ сыновъ пророческихъ. Богатая, людная, воздѣланная страна управлялась изъ Кесаріи представителями римской власти, стоявшей въ тѣ дни на самой высотѣ своего значенія и роскоши обстановки; повидимому, на время Пасхи, представители этой власти наѣзжали въ Іерусалимъ. По караваннымъ и другимъ путямъ ютились во множествѣ, какъ двѣ противоположности: многочисленныя погребальныя вертепы, изъ которыхъ многіе были богато отдѣланы портиками, фронтонами и древне-еврейскою мозаикою—лифостратономъ, и гостинницы, въ которыхъ торговые люди, отъ временъ финикіянъ и египтянъ, имѣли свои насиженные мѣста. Далеко не одни только іудеи составляли, въ тѣ дни, мѣстныя іерусалимскія толпы и упорной замкнутости временъ Іисуса Навина и Саула не имѣлось и слѣда. Лилии и розы Пѣсни Пѣсней, теперь поблекшія и побѣжден-

ныя пустынею. цвѣли тогда въ нескончаемомъ обилии; существовала іерихонская роза, имѣвшая способность оживать въ водѣ, сколько бы времени ни оставалась она сорванною. Не было счета садамъ и другимъ насажденіямъ и только въ пророчествахъ Іереміи провидѣлись тѣ «запустѣніе, развалины, да обломки», о которыхъ сказано: «вотъ послѣдній удѣлъ народовъ!»

Въ ближайшіе, вслѣдъ за казнью на Голгоѣѣ, дни всѣ пути отъ Іерусалима отличались необыкновеннымъ оживленіемъ. Густыя волны народныя, пришедшія на Пасху, убывали. Онѣ видѣли неожиданныя, яркія зрѣлища: входа въ Іерусалимъ, судьбища, распятія и, насмотрѣвшись, расходились по странѣ, уходя въ узкія ущелья, которыя видны почти въ тѣхъ же очертаніяхъ и теперь. Другими, чѣмъ нынѣ, являлись очертанія людскія. По степнымъ, каменистымъ путямъ двигались крупныя, важныя, задумчивыя, почтенныя лица ветхозавѣтныхъ евреевъ, тѣхъ людей, изъ которыхъ вышли пророки, о которыхъ повѣствуетъ Библия, а не большинство современнаго намъ еврейства — продажнаго, выродившагося и грязнаго. Пестрыя, длинныя, складчатыя одѣянія ихъ, озаряемыя искрившимся солнцемъ, рѣзко выдѣлялись на бѣловатыхъ бокахъ ущелій. Высоко надъ людьми, на длинныхъ, крючковатыхъ шеяхъ, темнѣли мохнатыя, губастыя головы верблюдовъ. «Возьми ливійскихъ ословъ», говорили мудрецы Талмуда, «они умѣютъ ходить въ потемкахъ»; въ яркомъ свѣтѣ дня многочисленные ослы, отягченные, какъ и верблюды, сѣдоками и поклажею, и по-нукаемые хозяевами, только путались въ толпахъ и мѣшали имъ двигаться; Пасха всегда соединялась съ ярмаркою и дѣлались закупки.

Вѣсть о казни Христа въ безконечныхъ пересказахъ широко расходилась по всѣмъ путямъ; люди

уходили, сопутствуемые и окружаемые немолчнымъ говоромъ и разспросами о совершившихся на ихъ глазахъ ужасахъ. Насколько мощно должно было быть это распространение слуховъ, слѣдуетъ изъ того, что Распятого, когда Онъ жилъ, видѣли, слышали и знали вездѣ, такъ какъ въ послѣдніе два года своей тридцатитрехлѣтней жизни Онъ исходилъ Палестину вдоль и поперекъ. Вездѣ и всегда народъ «весь шелъ къ Нему», видя въ Немъ воплощеніе неясной, но дорогой и ожидаемой мысли объ искупителѣ, о добромъ пастырѣ, прощающемъ враговъ своихъ, о вѣрномъ пути къ единоличному безсмертію.

И вотъ этого-то пророка, этого носителя свѣтильника душевнаго, этого благовѣстника сердца — предали, продали, пытали, окровавили и, насмѣявшись, казнили. Не даромъ писали изъ Рима, отъ сената и кесаря, спрашивая о пророкѣ; не даромъ сдвинуты были къ Голгоѣ воинскія римскія сотни и металлическое бряцаніе оружія заглушало женскія рыданія, раздававшіяся подлѣ креста.

И слухъ о казни шелъ по пятамъ расходившихся... сбылись ожиданія и чаянія... не предвѣщаль ли Исаія?.. Пророкъ умеръ, схороненъ, на гробницу наваленъ камень и приставлена стража. Его не увидятъ больше, не услышатъ... Крестъ, имѣвшій, неизвѣстно почему, у всѣхъ народовъ древнѣйшаго времени мистическое значеніе, получалъ для людей особенную, таинственную святость. Разбѣжалось стадо, за пастыремъ слѣдовавшее; нѣтъ мѣры, нѣтъ удержу пересказамъ, и чѣмъ далѣе, тѣмъ мрачнѣе. Гробъ, изсѣченный изъ камня въ саду Іосифа Аримафейскаго, и недавно Распятый, положенный въ него и обвитый чистою плащаницею, будто налегли надъ всею Палестиною, надавили ее, и холодъ смерти чувствовался чуть ли не въ каждой живой душѣ.

Догоралъ третій день по совершеніи казни. Въ виду приближенія ночи, большинство людей расхившихся изъ Іерусалима, предпочитало останавливаться для ночевки во встрѣчныхъ селеніяхъ, рассчитывая продолжать путь въ яркомъ свѣтѣ слѣдующаго дня; страшны ночи, особенно въ такое смутное и кровавое время. Ожило и селеніе Эммаусъ, находившееся стадіяхъ въ шестидесяти отъ Іерусалима, т. е. въ десяти, съ небольшимъ, верстахъ.

Этого Эммауса не существуетъ болѣе. Изъ пяти предположеній о мѣстѣ его нахождения слѣдуетъ предпочесть то, которое ставитъ его на вершину горы Самуила, находящейся на западъ отъ Іерусалима въ указанномъ разстояніи. Въ горѣ этой 2630 футовъ вышины. Христіанами названа она «горою радости» — *mons gaudii*, потому что съ нея для паломниковъ, идущихъ отъ Средиземнаго моря, открывается впервые видъ на святыни іерусалимскія. Для евреевъ была она и будетъ горою Самуила, потому что на вершинѣ ея, отъ ветхозавѣтныхъ дней, покоились кости пророка; ко времени Спасителя еще существовалъ деревянный саркофагъ съ его останками; тотъ саркофагъ, тоже деревянный, который показываютъ теперь, третій счетомъ, замѣщаетъ два исчезнувшіе. Гора Самуила, расположенная на западъ отъ Іерусалима, какъ гора Елеонская на востокъ, служила изстари мѣстомъ сигнальныхъ передачъ, между прочимъ для возвѣщенія о наступленіи новолуній и праздниковъ, и называется въ Библии «высотой наблюдателей».

Талмудъ даетъ основаніе заключать о нѣкоторомъ исключительномъ положеніи исчезнуваго Эммауса. Онъ свидѣтельствуетъ о томъ, что народные еврейскіе учителя, желавшіе оставаться постоянно вблизи Іерусалима, имѣли здѣсь свой *forum disputationum*; въ Талмудѣ же существуетъ рядъ постановленій, нося-

щихъ имя «Эммаусскихъ Галъ». Выборъ горы Самуила для религіозныхъ диспутовъ могъ имѣть особенное историческое значеніе еще и потому, что тутъ жили нѣкогда «сыны пророческіе», преемниками преданій которыхъ считали себя народные учителя — рабби — времени Спасителя; на вершинѣ горы имѣются и теперь изсѣченныя въ скалахъ пустынные обиталища, именуемая въ Библіи «жилищами сыновъ пророческихъ» и придающія мѣстности, одновременно съ могильными вертепами, совершенно особенный, задумчивый видъ.

Къ вечеру третьяго дня Эммаусъ ожилъ. Кто изъ путниковъ вошелъ въ селеніе, а кто остановился ночевать внѣ его, подлѣ каменной стѣны, его окружавшей. Небольшіе караваны расположились подлѣ этой стѣны и, въ виду приближенія тьмы, пользуясь свѣтомъ вечерней зари, торопились устроиться на ночь. Верблюдовъ и ословъ развьючивали, поднимали подвижные шалаши и зажигали костры, готовясь подкрѣпиться пищею передъ сномъ. На плоскихъ крышахъ тоже размѣстилось цѣлое населеніе, тоже раскинулись пестрые пологи изъ козьей шерсти, пряжею которыхъ такъ искусно занимались женщины еще во времена Исхода. Красные заревые огни освѣщали своеобразную, подвижную картину.

\* \* \*

Подлѣ одного изъ домиковъ, наполовину врѣзаннаго въ скалу, во дворѣ котораго росъ громадный кипарисъ, а по каменной стѣнкѣ, окружавшей дворъ, гнѣздились въ расщелинахъ камней пыльные, много разъ поломанные и столько же разъ упорно отросшавшіе кактусы, стояла задумчивая, будто ожидая кого-то, красавица Суламита. Она вдовѣтъ третій

годъ. Покойный мужъ ея, человѣкъ торговый, смѣло могъ сказать о ней сказанное про другую: «есть шестьдесятъ царицъ и восемьдесятъ наложницъ и дѣвицъ безъ числа, но единственная она, голубица моя, чистая моя! увидѣли ее дѣвицы и превознесли ее, царицы и наложницы, и восхвалили ее».

Эта Суламита, подобно многимъ другимъ, давно уже шла мыслию своею за Христомъ, и «какъ лань жаждетъ къ потоку воды, такъ желала душа ея Господа». Она нерѣдко ходила за нимъ и относилась къ числу многочисленныхъ, не называемыхъ въ Евангеліяхъ по имени, послѣдовательницъ Его. Такихъ послѣдовательницъ было необыкновенно много; когда повѣствуется «о великомъ множествѣ народа», ходившемъ за нимъ, то прибавляется отдѣльно «и женщинъ», и не даромъ первую по воскресеніи увидѣла Спасителя женщина и первую вѣсть о Его воскресеніи принесла она. Недавнее нездоровье помѣшало Суламитѣ присутствовать на Пасхѣ въ Іерусалимѣ, гдѣ она рассчитывала увидѣть Пророка, слышать Котораго такъ томительно желала. Принятая по смерти мужа своего въ домъ къ старику дядѣ, одному изъ народныхъ учителей, жившихъ въ Эммаусѣ, она хозяйничала и прислуживала въ домѣ и въ этотъ вечеръ оставалась одна, такъ какъ старикъ еще не возвращался изъ Іерусалима.

Суламита объята глубочайшею тревогою и страхомъ; рассказы объ ужасахъ казни уже дошли до нея и потрясли. Она не разъ выходила на улицу, посѣтила сосѣдей; не придетъ ли кто, не расскажетъ ли? безпокойство и тягота душевная обуяли ее, и она долгое время принималась и не могла продолжать какой либо работы по хозяйству. Куда бы ни пошла она, за что бы ни принялась, мѣшаютъ ей яркія воспоминанія и свѣтитъ ей одинъ и тотъ же неподвижный, поражающій кротостью ликъ...

Не въ силахъ работать, умаявшись ожидать, обойдя клѣти, обойдя насажденія, присѣла она подлѣ кипариса, на самомъ высокомъ мѣстѣ двора; отсюда, съ возвышенія скалы, видна ей улица и вечернее по ней движеніе. Весь маленькій Эммаусъ залитъ пурпуровымъ, темно пунцовымъ свѣтомъ зари, будто кровью.

Высокій кипарисъ, подъ которымъ сидѣла Суламита, уходилъ теменью плотно собранныхъ вѣтвей своихъ въ густую, зеленоватую синь обмираващаго надъ пламеннымъ Эммаусомъ неба; покрытый чешуйчатою корою стволъ кипариса, будто пылающій заревыми огнями, стремился въ далекую вышину, какъ мѣдный чешуйчатый змій пустыни. Подлѣ него, вся въ цвѣту, стояла гранатовая яблоня и роняла на Суламиту лепестки осыпавшихся цвѣтовъ, а отъ ближняго насажденія винограда тянуло запахомъ вполнѣ расцвѣтшихъ лозъ. Далеко кругомъ, за гранью селенія, поблескивали красными чертами по темнотѣ скалъ многочисленные фронтоны и колонны могильныхъ вертеповъ.

Вспоминается Суламитѣ ясный, солнечный день, открытая мѣстность, скалы и по нимъ возлежать тысячи народа. Онъ — между нихъ! Суламита недалеко отъ Него на возвышеніи и видно ей, какъ лежитъ народъ по степи пестрымъ ковромъ; и нѣтъ у этого ковра краевъ, потому что изъ степи, то-идѣло, подходятъ новые люди, и Суламита видитъ, какъ теперь, этихъ посылаемыхъ степью одиночекъ...

А Онъ? она совсѣмъ близко къ Нему! голубой гиматій и красный хитонъ облекаютъ Его длинными складками... гладкіе, темнорусые волосы раздѣлены на двое... небольшая борода тоже раздвоена...

И слышитъ она этотъ голосъ, неодолимый степью. Онъ училъ о нищихъ духомъ, милостивыхъ, кроткихъ... Онъ говорилъ: любите враговъ вашихъ...

Онъ говорилъ: молитесь такъ... Отче нашъ... Иже еси... и не можетъ Суламита припомнить съ точностью слова молитвы, не можетъ... а молитва такъ хороша!

И видятся ей другія толпы, другія тысячи... озеро... пустынное мѣсто... не голыя скалы, а много травы, не яркій день, а вечернее время... Онъ велитъ принести пять хлѣбовъ и двѣ рыбы, а народу возлечь... Взялъ хлѣбы, воззрѣлъ на небо, благословилъ и преломилъ и роздалъ ученикамъ, а тѣ народу...

Помнить она и Вѣщанію. Его не было тамъ въ то время, когда она, какъ и многіе, нарочно ходила туда, чтобы видѣть поднятаго изъ гроба Лазаря... она посѣтила могилу... она говорила съ Лазаремъ, съ человѣкомъ, котораго уже обвивали, по рукамъ и по ногамъ, погребальныя пелены, лицо котораго уже отънилось однажды, обвязанное платкомъ, могильною тьмою! Она, какъ теперь, видитъ эти блѣдныя черты лица Лазаря, еще носившія на себѣ слѣды недавней смерти, его отроставшіе волосы, его уклончивую неохоту говорить о совершившемся...

И пока думаетъ и вспоминаетъ неподвижная Суламита, густѣетъ ночь, заволакивается окрестность, и погасаютъ на ней красныя черточки фронтоновъ и колоннъ могильныхъ вертеповъ.

\* \* \*

Удивительно лучезарны, будто отблески сіянія горы Ѣаворской, заронившіяся въ могильную темень смерти, тѣ слова, которыми пользуются евангелисты для увѣковѣченія святыхъ событій перваго новозавѣтнаго дня. Въ нихъ нѣтъ точности, потому что точность слишкомъ вѣсела для изображенія совершившагося. По словамъ Матѳея, Спаситель воскресъ «на разсвѣтъ перваго дня недѣли»; по Марку



«по прошествіи субботы... весьма рано»; Лука повѣствуетъ, что воскресеніе послѣдовало «въ первый же день недѣли, очень рано»; согласно Іоанну «когда было еще темно». Ясно, что это мгновенія первыхъ заревыхъ огней, неопредѣленныхъ, не столько видимыхъ, сколько чувствуемыхъ, но уже теплыхъ и жизненныхъ, послѣднія мгновенія холодной, черной, безконечно долгой ночи.

И пошла отъ Іерусалима жизненная вѣсть быстрой вѣсти о смерти; и нагнала жизненная вѣсть вѣсть о смерти и осиливала ее... Воскресъ!.. бываетъ видимъ... является... кому является?

Евангелистъ Лука очень подробно повѣствуетъ о томъ, какъ, въ третій день по смерти Спасителя, двое изъ Его учениковъ шли въ Эммаусъ и разговаривали о событіяхъ дня; какъ подошелъ въ нимъ воскресшій Іисусъ, но глаза ихъ были «удержаны», такъ что они не узнали Его; какъ шли они втроемъ и первымъ завелъ рѣчь Самъ Воскресшій, спросивъ ихъ: «о чемъ это вы, идя, разсуждаете между собою и отчего вы печальны?» Какъ бы удивленный этимъ вопросомъ, одинъ изъ учениковъ, Клеопы, даетъ отвѣтъ: «неужели ты, одинъ изъ пришедшихъ въ Іерусалимъ, не знаешь о происшедшемъ въ немъ въ эти дни?» и затѣмъ разсказалъ: кто былъ Распятый, какъ предали Его, осудили, распяли; и онъ сказалъ еще: «мы надѣялись было, что Онъ есть Тотъ, Который долженъ избавить Израиля; но со всѣмъ тѣмъ уже третій день нынѣ, какъ это произошло... но и нѣкоторыя женщины изъ нашихъ», продолжалъ Клеопы, «изумили насъ: онѣ были рано у гроба и не нашли тѣла Его; и, пришедши, сказывали... что Онъ живъ».

Изъ послѣднихъ словъ Клеопы явствуетъ, что ученики шли, такъ сказать, впереди вѣсти о воскресеніи, быстро расходившейся во всѣ стороны отъ Іерусалима;

они уже несомнѣнно несли ее съ собою, но только съ невѣріемъ, съ изумленіемъ къ тому, что «сказывали» имъ «нѣкоторыя женщины изъ нашихъ». Они направлялись въ Эммаусъ, какъ къ мѣсту древняго преданія, гдѣ, вѣроятно, между книжниками имѣлись и послѣдователи Христа, и гдѣ имъ, такъ думали они, могло быть дано объясненіе тому, какъ это: Мессія—и умеръ? Мессія—умеръ и воскресъ? Сбитые съ толку всѣмъ совершившимся и опечаленные, поднимались они по каменистому склону горы Самушловой, въ область могильныхъ вертеповъ и пророческихъ жилищъ...

Далѣе, Евангеліе повѣствуетъ, что, назвавъ, въ отвѣтъ на слова Клеопы, учениковъ своихъ «немысленными и медлительными», Спаситель, продолжая идти съ ними, изъяснилъ имъ, «начавъ съ Моисея», сказанное о Немъ «во всемъ писаніи». Когда они подошли къ селенію, Онъ показывалъ видъ, что хочетъ идти далѣе, но они упросили Его остаться съ ними, «потому что день уже склонился къ вечеру», и Онъ вошелъ съ ними въ селеніе.

Изъ подробностей бесѣды, изъ объясненія Спасителемъ «всего писанія», необходимо заключить о продолжительности явленія, о томъ, что Онъ шелъ съ учениками долго. Евангелистъ не говоритъ о томъ, видѣли ли Его, какъ третьяго путника, встрѣчные люди, которыхъ въ этотъ вечеръ имѣлось много? Относительно зрѣнія учениковъ сказано, что глаза ихъ были «удержаны», не только въ нѣкоторой степени, потому что они видѣли идущаго съ ними челоуѣка, но не признавали въ немъ Христа. Видѣли ли Его другіе при нѣсколькихъ послѣдовательныхъ въ эти дни явленіяхъ? Кого разумѣть подъ словами, встрѣчающимися у евангелистовъ, свидѣтельствующими, что Его видѣли: «нѣкоторые», «многіе», «женщины»? во всякомъ случаѣ, число людей,

созерцавшихъ Его въ эти свѣтлыя, новозавѣтныя дни, гораздо больше, чѣмъ привыкли думать, и не ограничивается тѣми, кто названъ по именамъ.

\* \* \*

Суламита, съ того вызвышенія, на которомъ сидѣла, видѣла приближеніе трехъ путниковъ; она узнала Клеопу и, направившись ко входной двери двора, отворила ее и впустила пришедшихъ.

Словно что-то отвѣяло, отклонило ее въ сторону, когда путники медленно проходили мимо; привѣтствовалъ ли ее кто изъ нихъ, согласно обычаю, Суламита не слыхала. Путники вошли въ домъ и она, молча, прослѣдовала за ними.

Затеplлся свѣтильникъ и озарилъ въ небольшомъ помѣщеніи столъ, приготовленный для вечерней трапезы отсутствоваvшаго хозяина; мягкій, трепетный свѣтъ его легъ по небогатой утвари дома, на нѣсколько свитковъ, лежавшихъ въ сторонѣ, на поручни и повязки съ вышитыми на нихъ словами закона, свидѣтельствовавшими о званіи владѣльца дома.

Путники возлежали, и Суламита прислуживала имъ.

Клеопу видѣла она неоднократно; другого — никогда, онъ ей неизвѣстенъ; третій... онъ говоритъ что-то о писаніи... но мѣшаетъ ей разглядѣть его бѣлая чадра, плотно обвивавшая голову и шею женщины евангельскаго времени, не можетъ она хорошо слышать этотъ голосъ... Суламита видитъ и не видитъ его! Что же случилось, что совершается?.. Ничего особеннаго не случилось, совершается обычная трапеза; кротко озаряетъ ровное пламя свѣтника бѣлую столовую скатерть, и она кажется розовою, по сравненію съ синезеленымъ небомъ, мерцающимъ въ небольшое окно... Онъ, говорящій,

возлежить, какъ другіе... объясняетъ писаніе... слова его такъ сладко звучатъ Суламитѣ сквозь чадру...

И влечетъ Суламиту неудержимо склониться, не подымая очей, предъ какимъ-то безмѣрнымъ, но близкимъ къ ней величіемъ, упасть, повергнуться для какой-то непосредственной, лицомъ къ лицу со своимъ Богомъ, молитвы, потому что священнымъ страхомъ полна душа ея и ей нужно глубокое, мгновенное поклоненіе, потому что видитъ ея сердце, хотя очи слѣпы и уста безмолвствуютъ...

И отчего же молчатъ тѣ двое, или они не видятъ, не чувствуютъ? или не трепещетъ въ нихъ сердце?!

Но когда «взявъ хлѣбъ, благословилъ, преломилъ и подалъ имъ»...

— Рабби!—вскрикнула Суламита и пала на колѣни...

Тогда неожиданно поднялись съ мѣстъ своихъ и ученики, но Онъ сталъ невидимъ для нихъ. Вставши въ тотъ же часъ, возвратились они въ Іерусалимъ и оповѣстили одиннадцать и бывшихъ съ ними о томъ, что случилось, и какъ Онъ былъ узнанъ ими въ преломленіи хлѣба.



## ПРИ НОВОЙ ВѢРѢ.

---

### I.

#### Подлѣ яслей.

- По повелѣнію императора!!
- Долой прокаженные!..
- Тише! осторожнѣе! правая осѣдаетъ!..

Сопровождаемая такими и подобными возгласами медленно, медленно, чуть ли не по двадцати сажень въ день, подвигалась, по направленію отъ Іерусалима къ Вифлеему, очень грузная, поклажа. Клики, разспросы, брань сопровождали это медленное шествіе; на громадныхъ полозьяхъ, вся окутанная циновками и обвязанная веревками, покоилась она. Время стояло жаркое и быстролетная палестинская весна уступала мѣсто долгому, упорному, жгучему лѣту.

Пѣшіе воины и конная стража, состоявшая изъ «союзныхъ», но подъ непосредственнымъ наблюденіемъ кровныхъ римскихъ центуріоновъ, сопровождали поклажу: сотни рабовъ двигали ее; мѣстные люди собирались поглазѣть.

Время, о которомъ идетъ рѣчь, — время безконечно далекое, чуть не библейское. Почти сто-

лѣтіе миновало тогда со дня смертной казни Спасителя и борьба язычества съ христіанствомъ не только ясно и повсюду обозначалась, но уже завершила большую часть своего кроваваго развитія. Отошелъ въ былое кесарь Неронъ, за нимъ Домиціанъ и который уже годъ царствовалъ Адріанъ, одна изъ загадочнѣйшихъ личностей въ длинномъ ряду кесарей, представляющихъ изъ себя, какъ типы, такую дикую фантазію человѣческой природы, подобной которой ни одинъ писатель, поэтъ или проповѣдникъ не проявлялъ. Надобно сказать, что помѣсь безумія и ума, бездарности и таланта, грубѣйшей солдатчины и самой отвлеченной мистики, поразительнаго великодушія и отвратительнѣйшей низости, никогда и нигдѣ на страницахъ исторіи не сосредоточивались на такомъ сравнительно маломъ промежуткѣ времени, какъ на цезаризмѣ первыхъ двухъ вѣковъ.

Адріанъ являлся однимъ изъ типичнѣйшихъ. Въ немъ воплотился впервые императоръ-путешественникъ. Въ чаяніи и исканіи успокоенія душевнаго, не имѣвшагося въ тогдашнихъ языческихъ религіяхъ, и съ цѣлью проясненія мысли,—проясненія невозможнаго въ языческой философіи и теозофіи, кесарь Адріанъ бѣгалъ за правдой по свѣту; въ Аѳинахъ прожилъ онъ двѣ зимы, въ Египтѣ—два года, и вездѣ окружалъ себя учеными и художниками, что не помѣшало ему казнить архитектора Аполлодора за рѣзкое осужденіе, за сравненіе съ «тыквами» артистическихъ произведеній императора. Подлѣ Адріана, отойдя съ нимъ вмѣстѣ въ былое, высится и до сегодня, туманнымъ и глубококомечтательнымъ обликомъ, обусловившимъ возникновеніе характернаго цикла художественныхъ произведеній, юноша Антиной, загадочный утопленникъ...

Отъ Іерусалима до Виолеема, мѣста рожденія

Спасителя, всего полтора-два часа ходьбы; такъ это теперь, какъ было и тогда. Дорога, теперь гладкое и лучшее въ Палестинѣ шоссе, въ тѣ дни была усѣяна камнями и перерѣзана водомоинами. Поклажа въ циновахъ, очень большіе размѣры которой ясно проступали на длинныхъ полозьяхъ, передвигалась тѣмъ же способомъ, какимъ передвигались въ древнемъ Египтѣ колоссальныя, невѣроятно громоздкія тяжести,—способомъ, свидѣтельствуемымъ самымъ нагляднымъ образомъ на одномъ изъ дошедшихъ до насъ изображеній подземелья Эль-Бершехъ. Евреи знали эти способы очень хорошо, потому что изучили ихъ своими боками и спинами во время египетскаго плѣненія.

Таинственная поклажа была привязана къ полозьямъ могучими канатами, причемъ, въ мѣстахъ прикосновенія ихъ къ поклажѣ, для защиты ея цѣлости, подложены были, какъ это дѣлается и теперь, особыя накладки. Четыре отдѣльныхъ отряда рабочихъ, сбродъ всякихъ пестрыхъ сыновъ пустыни и представителей отъ всѣхъ колѣнъ израилевыхъ, каждый въ два, три десятка человѣкъ, тянули полозья четырьмя канатами; надъ мѣстомъ прикрѣпленія этихъ канатовъ къ полозьямъ возвышалась какая-то смуглая, чище другихъ одѣтая фигура, то и дѣло поливавшая эти скрѣпленія, для уменьшенія тренія, водою. За этимъ поливальщикомъ, выше его, на самомъ высокомъ горбѣ поклажи, виднѣлась другая фигура главнаго распорядителя, завѣдывавшаго всею тягою и управлявшаго ею посредствомъ хлопанія въ ладоши.

Который уже день длилась перевозка; ночью, при остановкахъ, подлѣ поклажи раскидывался приваль; для римлянъ устраивались шатры; сыны пустыни, евреи, ночевали въ повалку, гдѣ кто легъ, и огни костровъ, многочисленные съ вечера, умень-

шались въ количествѣ своемъ къ утренней зарѣ и тлѣли только угольями, когда заря эта вдругъ, безъ всякихъ почти свѣтовыхъ подготовленій, охватывала полымемъ все небо и быстро смѣнялась палящимъ днемъ.

По мѣрѣ приближенія каравана къ Виеелему, мертвенно голая, каменистая окрестности, окружающія Іерусалимъ, становились привѣтливѣе, оживленнѣе. Труднѣе всего оказался близкій къ Іерусалиму небольшой перевалъ черезъ гору Злого Совѣщанія, на которой, будто бы, совѣщались евреи о томъ, какъ имъ лучше схватить и вѣрнѣе извести Іисуса Назарея. За горою путь становился не лучше и шелъ мѣстами по косоугору; начинались засѣянные поля и между нихъ лежало одно незасѣянное такъ называемое поле гороха. О немъ рассказываютъ, будто однажды Богородица, проходя мимо человѣка, сѣявшаго горохъ, спросила его: что онъ сѣетъ?

— Камни!—отвѣтилъ сѣятель.

— Если ты сѣешь камни,—отвѣтила Богоматерь,—то камни должны тебѣ и вырасти. Горохъ окаменѣлъ немедленно и круглые катыши его лежатъ тамъ и понынѣ и собираются усердными богомольцами. Подобныя же легенды имѣются въ Палестинѣ, говорить ученый изслѣдователь іудейской старины, въ преданіяхъ о «соли патріарха Авраама», и «арбузахъ пророка Іліи»; вопрошателями явились оба только что названные лица, а отвѣтъ имъ былъ данъ, приблизительно, тотъ же: человѣкъ, сѣявшій арбузы, отвѣтилъ: камни!—люди, отказавшіе Аврааму подѣлиться съ нимъ солью, лежавшею подлѣ нихъ грудами, тоже называли ее камнями! Такъ и лежатъ теперь эти камни—бывшая соль—по дорогѣ къ Хеврону.

Окрестности Виеелема отличались прелестью въ тѣ времена, о которыхъ идетъ рѣчь; евреи называли ихъ мѣстностью, напоминавшею плодородныя



пажити Евфрата и самое слово Виелеемъ значить тоже, что «хлѣбный магазинъ». Царь Давидъ называетъ Виелеемъ «садомъ въ горахъ»; крестоносцы сравнивали его съ итальянскими виллами; современный намъ русскій паломникъ отзывается о Виелеемѣ въ томъ же смыслѣ.

Послѣднюю ночь провели люди, сопровождавшіе поклажу, подлѣ самой пещеры, подлѣ «вертепа безсловесныхъ», въ которомъ родился Господь; сюда везли они поклажу, здѣсь былъ конецъ пути.

Императоръ Адріанъ, въ началѣ своего царствованія относившійся къ нарождавшимся христіанамъ и къ іудеямъ, которыхъ онъ, какъ и многіе въ тѣ дни, не отличалъ однихъ отъ другихъ, почти безучастно, къ концу царствованія сталъ къ нимъ въ отношенія открыто враждебныя. Подлѣ храма Іерусалимскаго воздвигнуть по его велѣнію храмъ Юпитеру; самый Іерусалимъ получилъ другое наименованіе и заселенъ пришлымъ народомъ; іудеямъ, подѣ страхомъ смертной казни, запрещено даже вступать въ Іерусалимъ и цѣлый рядъ жестоко подавляемыхъ огнемъ и мечемъ возстаній евреевъ, то и дѣло возникавшихъ въ Палестинѣ неожиданно и негаданно, сдѣлалъ самое имя Адріана ненавистнымъ. Въ ряду многихъ мѣропріятій адріановыхъ, направленныхъ одновременно противъ іудеевъ и христіанъ, имѣется свѣдѣніе объ указѣ его, запрещавшемъ евреямъ жить въ Виелеемѣ; объ указѣ этомъ упоминаетъ Тертуліанъ; сообщеніе блаженнаго Іеронима говорить, что, по повелѣнію императора Адріана, на мѣстѣ рожденія Спасителя, въ самомъ вертепѣ, поставлена статуя богини любви и красоты—Венеры.

Эту, именно, Венеру и привезли къ пещерѣ, послѣ долгаго и труднаго пути и, достигнувъ цѣли, заночевали.

\* \* \*

Страна Іерусалимская—страна пещерная. Изслѣдованія говорятъ, что въ Палестинѣ и до-сегодня овины, конюшни и верблюжьи стойла устраиваются въ пещерахъ; что помимо пещеръ, принадлежащихъ частнымъ людямъ, имѣются пещеры гостинницъ, значительно большія, въ которыхъ и проводятъ ночи путешественники, и что въ такой, именно, пещерѣ нашли пріютъ Богоматерь со святымъ Обручникомъ, въ счастливѣйшую ночь міра—въ ночь на Рождество. Что касается до самихъ «яслей», то тотъ же блаженный Іеронимъ, посѣтившій завѣтную пещеру, называетъ ихъ «простою натуральною скважиною», или выбоиною въ скалѣ. Нерѣдко въ подобныхъ пещерахъ устраивались также и гробницы, такъ что Спаситель міра родился не только въ «вертепѣ безсловесныхъ», но и въ «вертепѣ мертвыхъ». Устраиваемая и теперь ясли въ пещерныхъ загонахъ—это тоже не что иное, какъ искусственныя, высѣченныя въ скалѣ корытообразныя углубленія.

Довольно высоко поднялось по синему небу горячее солнце, когда завѣдывавшіе исполненіемъ императорскаго повелѣнія приступили къ освобожденію статуи отъ циновокъ. Она была подвезена вплотную именно къ той пещерѣ, въ которой родился Спаситель и которую, что очень замѣчательно, никогда не приходилось разыскивать, потому что она пользовалась, съ самыхъ первыхъ дней, особымъ почитаніемъ, и ее всѣ знали. Слухъ о томъ, что изъ Іерусалима въ Вилеемъ везутъ для постановки въ этой пещерѣ статую Венеры, опередилъ ея прибытіе, и утреннее солнце освѣщало хотя не очень многочисленную, но чрезвычайно пеструю толпу. Евреи и рабы изъ инородцевъ приволокли статую, и мѣстные люди, сошедшіеся къ вертепу большею частью изъ любопытства, относились къ императорскому повелѣнію совсѣмъ различно; инородцевъ не трогало оно

вовсе, евреевъ, орудовавшихъ изъ-подъ бича, оскорбляло вообще всякое идолообразное изображеніе; но немногочисленныхъ христіанъ, находившихся на мѣстѣ, оскверняло оно въ святая святыхъ ихъ нарождавшагося исповѣданія.

Работа разворачиванія статуи шла быстро; откинутыя въ стороны циновки лежали цѣлыми грудами; канаты, брошенные на землю, извивались длинными, неподвижными змѣями. Толпа молчала, но большинство ея относилось къ новоприбывшей богинѣ враждебно.

Когда бѣломраморная красавица, освобожденная, наконецъ, отъ циновокъ и лежавшая на полахъ навзничъ, глянула своими роскошными, пластическими, бѣлыми очертаніями, любопытство всколыхнуло толпу и придвинуло ее къ богинѣ. Но когда дружными усиліями начали поднимать ее, и голова статуи обозначилась надъ людскими головами, любопытство это усилилось настолько, что оттѣснило однихъ, выдвинуло другихъ, и римскимъ всадникамъ, окружавшимъ статую, пришлось осаживать толпу. Вспуганные кони ихъ, фыркая и потерявъ чувство поводаевъ, начали безпокойно топтаться на мѣстѣ; застучали мечи о брони; слышался многоязычный, хотя и сдержанный говоръ; командныя слова сотниковъ и возгласы распорядителей и, наконецъ, въ ту именно минуту, когда богиня, слегка качнувшись въ послѣдній разъ, предстала во всей своей обнаженной языческой прелести и послала страстную улыбку незнакомымъ ей скаламъ и вертепамъ и пылавшей пылемъ къ сторонѣ Іордана степи, подлѣ нея, совсѣмъ вблизи, неожиданно раздался неистовый, пронзительный крикъ...

Подъ копытомъ одного изъ коней лежалъ раздавленный ребенокъ; конь, до того безпокойный и пугливый, наступивъ на младенца, остановился словно

вкопанный, будто сдѣлалъ свое дѣло, наострилъ уши и, повернувъ голову въ сторону набѣгавшаго отъ степи вѣтерка, не снималъ своей могучей ноги съ небольшой, но въ конецъ и сразу раздавленной младенческой груди. Обезумѣвъ отъ неожиданности, стоявшая подлѣ мать ребенка крикомъ своимъ покрыла всѣ многообразные звуки толпы и бросилась къ раздавленному; нестарый мужчина, видимо отецъ ребенка, схватилъ ее и помѣшалъ кинуться подъ самую лошадь; всадникъ, заглядѣвшійся на статую, не сразу понялъ въ чемъ дѣло: онъ осадилъ коня своего только тогда, когда увидѣлъ, что всѣ взгляды обратились въ его сторону и когда распозналъ что именно случилось.

Пока совершалось все это, совершалось быстрѣе чѣмъ рассказано, мужчина-отецъ, наклонившись къ женѣ своей, не слышно ни для кого, тихо шепнулъ ей:

— Помни Христа, Рахиль...

Словно озаренная яркою молніею, быстро поднявъ освобожденнаго отъ конскаго копыта ребенка съ земли, прижавъ его, мертвого, безотвѣтно раскинувшаго ручки и закрывшаго глаза, къ груди своей, она повернулась и побѣжала... Толпа, хотя это было очень трудно, почтительно раздалась передъ нею, и она направилась по открывшейся для нея дорожкѣ, едва-едва настигаемая торопившимся не отстать отъ нея мужемъ. Глухо и сдержанно ворчала толпа, злобный шопотъ пробѣжалъ по ней, и она какъ-то вдругъ вся затолкалась, зашевелилась! Блеснули было въ нѣсколькихъ мѣстахъ ея изъ-подъ пестрыхъ и сѣрыхъ таларовъ длинные ножи...

— Подними значокъ!—промолвилъ не громко, наклонившись съ сѣдла къ стоявшему подлѣ него всаднику, центуріонъ. Значокъ съ римскими регаліями и извѣстною надписью надъ ними, грузный и ярко вызолоченный, былъ, во исполненіе приказанія, не-

медленно поднять. Условный знак данъ. Издали, со стороны, направился къ пещерѣ отрядъ римскихъ всадниковъ. Мѣрно и ровно, поблескивая и позванивая оружіемъ, приблизился онъ къ мѣсту назначенія и остановился подлѣ самой толпы, сзади ея, безмолвно, неподвижно и внушительно.

Палестинскіе евреи знали по опыту, что могло это значить. За послѣдніе три года избито было ихъ собратьевъ болѣе полумилліона человѣкъ; погибшіе отъ голода и огня въ счетъ не входили...

А богиня красоты, бѣломраморная, улыбающаяся, нагая, продолжала глядѣть безмолвно на синѣвшую въ сторонѣ Иордана даль, на ближніе вертепы и гробницы, на изломы скалистыхъ ущелій, на невысокія, съ плоскими крышами постройки маленькаго Виаелема, вся озаренная палящимъ солнцемъ, золотясь по краямъ мрамора, обращеннымъ къ нему, и привезенная сюда въ силу императорскаго повелѣнія...

Долго ли оскверняла своимъ присутствіемъ Венера святой вертепъ Рождества Христова, въ который ее поставили — неизвѣстно; какъ помѣстилась она въ немъ, очень небольшомъ по размѣрамъ, когда и кто удалили ее — тоже неизвѣстно. Вѣрно только то, что, тогда какъ пещера Гроба Господня въ Иерусалимѣ, съ теченіемъ столѣтій, какъ замѣчаетъ ученый изслѣдователь, все болѣе и болѣе обнажалась, такъ сказать, выходила внаружу и отъ нея осталась теперь только очень небольшая часть первоначальныхъ стѣнъ — пещера Рождества Христова, наоборотъ, какъ бы уходила въ глубь земли. Покрытая въ первые вѣка христіанскою базиликою, она спасена этимъ отъ участи Гроба Господня; имѣвъ когда-то, какъ и всѣ пещеры, входъ вровень съ землею, она, оберегаемая подземною темнею и тишиною, не ви-

дить теперь вовсе свѣта божьяго и посѣщающій ее паломникъ спускается въ ея завѣтную святыню по 18-ти довольно высокимъ ступенямъ.

Въ одномъ изъ самыхъ небольшихъ и темныхъ отдѣленій ея, въ такъ называемой *crypta innocentium*, почиваютъ 20,000 избіенныхъ Иродомъ вилеемскихъ младенцовъ...

Дѣтямъ, какъ извѣстно, приходилось не разъ нести отвѣтъ за несодѣянное ими.

## II.

### Н е в ѣ с т а.

«Наше число увеличивается съ гоненіями, писалъ Тертуліанъ, и кому же не захочется, видя гоненія, посмотреть въ чемъ дѣло».

Христіане шли на всевозможныя казни.

Они, это отребье людское, эти *odium generis humani*, эти *hostes populi Romani*, словно напирали одни на другихъ, устремляясь на несомнѣнную смерть съ какою-то ретивою торопливостью. *Inflexibilis obstinatio* ихъ, упрямство, вызывавшее столько насмѣшекъ у писателей, защищавшихъ язычество, въ особенности у Цельзія, было совершенно непонятно римлянамъ.

Тѣмъ болѣе это было необъяснимо, что римлянъ сбивало, главнымъ образомъ, ученіе о «царствѣ» Христа. За какое это царство, гдѣ-то существующее, идутъ они на смерть? да и гдѣ ему быть, этому царству, когда Римъ владѣетъ всѣмъ извѣстнымъ міромъ, вездѣ его проконсулы, его легіоны? Онъ ли не изслѣдовалъ своимъ флотомъ всѣхъ извѣстныхъ людямъ рѣкъ и морей; онъ ли не хозяйничаетъ во всѣхъ уголкахъ земли? Гдѣ оно, это запрещенное царство? Можетъ быть оно чрезвычайно богато?

Знаменить тотъ проконсулъ, который, спросивъ у захваченнаго юноши-христіанина, гдѣ его родина, и получивъ отвѣтъ, что онъ родился на востокѣ, въ Іерусалимѣ, приказалъ подвергнуть его пыткамъ, чтобы узнать, гдѣ находится этотъ проклятый, возмущающій всѣхъ городъ? это характерно для проконсула и для объясненія страха передъ царствомъ Христовымъ. И еще страшнѣе казалось Риму то, что въ этомъ таинственномъ царствѣ нѣтъ рабовъ и всѣ одинаково свободны.

Народная ненависть къ христіанамъ началась, собственно говоря, только съ Траяна, Изъ всѣхъ апостоловъ оставались тогда въ живыхъ двое: Іоаннъ и Филиппъ; завершилась за это время великая дѣятельность апостола Павла.

Само христіанство еще не приняло опредѣленныхъ, догматическихъ формъ; постъ и безбрачіе предоставлялись на волю каждаго; духовенства и церкви еще не было, праздновали кто какъ хотѣлъ, субботу или воскресенье. Въ самой Палестинѣ еще продолжали существовать всѣ старо-еврейскія ученія; еще держалась особая секта, окружавшая когда-то Іоанна Крестителя; еще появлялись разные лже-мессіи, возстановители мірового еврейскаго царства, начиная съ Іуды изъ Гамалы до Баръ-Кохбы.

И все это, думали римляне, такіе же политическіе заговорщики, какъ самъ Христосъ, и все это сосредоточивается въ Іерусалимѣ! Наскучила Риму неизвѣстность: императоръ Титъ взялъ Іерусалимъ, разрушилъ его, а Палестину обратилъ въ степь.

Такъ и лежитъ она степью по настоящій день.

А христіанскіе мученики все шли, да шли.

Эти тмы темъ новопреставленныхъ душъ поддерживали какую-то удивительную борьбу съ вооруженнымъ отъ головы до ногъ римскимъ солдатствомъ. Въ отвѣтъ на глухіе удары сѣкиръ, на

стукъ паденія крестовъ съ обуглившимися на нихъ тѣлами, на неистовый ревъ животныхъ подъ пурпуровыми шелковыми навѣсами цирковъ, защищавшими отъ солнца десятки тысячъ зрителей, христіане отвѣчали кроткими знаменіями, чуть слышными причитаніями. И такъ сильны были эти знаменія и причитанія, что вдругъ, невѣдомо почему, цѣлые легионы становились христіанами; супруга и любовница императора дѣлались вѣрующими. Сами императоры какъ бы усомнились: одинъ начиналъ молиться Христу, другой повелѣвалъ вырѣзать на стѣнѣ своего дворца тѣ слова, которыя читаются у евангелиста Луки: «И какъ хотите, чтобы съ вами поступали люди, такъ и вы поступайте съ ними».

И все это потому, что христіанъ прибывало; замученный или усоншій христіанинъ не исчезалъ, онъ только становился невидимымъ, тогда какъ ряды римлянъ рѣдѣли, потому что у нихъ умершіе переставали существовать.

Никто изъ учителей язычества не коснулся, не общалъ безсмертія единичной, бѣдной души! а этого-то и хотѣли люди, въ этомъ-то и состояло дѣло.

Траяновъ вѣкъ погасъ, и наступило третье столѣтіе послѣ Христа. Началось хозяйничанье тридцати тирановъ. Никто не правилъ всѣмъ сполна; императоры возникали въ разныхъ мѣстахъ какими-то тѣневыми воплощеніями властителей, выкликаемыхъ легионами, обрисовывались въ насиліяхъ и пламени и погасали въ собственной крови. Словно на пададь устремляются на Римъ отовсюду хищники-варвары. А христіанъ гонять не меньше прежняго; больше—потому что они причина несчастій, окружающихъ Римъ.

Уже безсчетно велико количество мученическихъ вѣнцовъ, загорѣвшихся надъ людскими головами, а



все они продолжают загораться десятками, сотнями, тысячами, пуская отъ себя тихій, лунатическій, неподвижный свѣтъ, въ глубокую тьму. Большею частью безъимянны гибнущіе! въ рѣдкихъ, исключительныхъ случаяхъ, въ людныхъ городахъ, въ особенно выдающіеся дни, замѣчались тѣ или другія мученія, назывались тѣ или другія имена. Побитый камнями Стефанъ, изорванный стрѣлами Севастьянъ, четвертованная на колесѣ Екатерина, Варѣоломей, лишившійся кожи, и многія множества другихъ, поминаемыхъ церковью. Но главныя полчища принявшихъ мученіе остались все-таки безъимянны. Они ушли въ безмолвныя цифры, въ тѣ сотни и тысячи, которыя такъ-таки цифрами и поминаются церковью.

А сколько такихъ, что и вовсе не считаны?...

Зимою, въ 302 году, два императора, Діоклетіанъ и Галерій, находились въ Никомидіи. Христіане, имѣвшіе тутъ, къ этому времени, одинъ изъ главныхъ центровъ своихъ, сдѣлались силою, съ которою нужно было считаться. Не было легіона безъ христіанской окраски, и въ верховномъ совѣтѣ рѣшено: во что бы то ни стало покончить съ ними. Къ тому времени Діоклетіанъ впервые возложилъ на себя діадему, преобразившуюся позже въ корону. Головные пояса, діадемы, служили отличіемъ властителей древнихъ, погибшихъ царствъ Востока; римскихъ императоровъ до того отличали только ихъ пурпуръ. Діоклетіанъ обновилъ, узаконилъ діадему, эту древнюю императорскую регалію, и первая изъ европейскихъ діадемъ—коронъ зарумянилась въ отблескѣ христіанской крови. Діоклетіанъ и не подозрѣвалъ, что не пройдетъ и четверти вѣка, какъ знаменіе креста, гонимое имъ, помѣстится поверхъ короны и освятитъ ее!

Согласно рѣшенію совѣта и подстрекаемый, глав-

нымъ образомъ, Галеріемъ, ненавистникомъ христіанъ и поклонникомъ языческой тауматургіи, Діоклетіанъ издалъ эдиктъ объ уничтоженіи христіанскихъ церквей, уничтоженіи всѣхъ книгъ ихъ и запрещеніи изображеній креста и Спасителя. Какъ и подобало, эдиктъ былъ прибитъ на углахъ никомидійскихъ улицъ. Два императора и ихъ легіоны находились тутъ, подлѣ. Тѣмъ не менѣе, старикъ-христіанинъ сорвалъ эдиктъ со стѣны; это было вызовомъ на гоненіе, сильнѣйшее чѣмъ всѣ остальные.

Евсевій, очевидецъ, сообщаетъ о томъ, какъ разлилось это гоненіе кровавымъ моремъ по всей имперіи, главнымъ образомъ по Арменіи, Вифиніи, Сиріи, Египту, Мавританіи. Оно распространилось чрезвычайно быстро. Христіанскія церкви Никомидіи прежде всѣхъ сравнены съ землею; зато запылалъ и императорскій дворецъ. Ежечасно, повсюду, нарождались новые мученики, появлялись новыя легенды...

\* \* \*

По многоводной рѣкѣ Сангаріи, направляясь къ Черному морю, плыли однажды трупы христіанскихъ мучениковъ... Холодны были зимнія волны Сангаріи. Плыли дѣти, плыли старики, плыли женщины, медленно колыхаясь по свинцовымъ водамъ и выставляя на видъ темные слѣды пытокъ, въ которыхъ они скончались; по одному, по два, а гдѣ и больше виднѣлось утопленниковъ. Толкаясь одни о другихъ, подчиняясь мѣрному теченію и извилинамъ береговъ, они то задерживались, то обгоняли другъ друга, словно предполагались иначе, удобнѣе, покачивались, изрѣдка перевертывались; были такіе, которые, подплывъ къ берегу, точно якорь бросали, не хотѣли двигаться дальше.

Въ одномъ мѣстѣ рѣки плыли они цѣлою грома-

дою. Несомнѣнно было, что гдѣ-то тамъ, дальше, вверху по теченію, совершена повальная расправа, бойня, и всѣ поконченныя пущены на рѣку.

Разно встрѣчали по берегамъ, въ тѣ дни еще густо населенной Сангаріи, этихъ безмолвныхъ путешественниковъ.

— Плывутъ! вонъ ихъ сколько плыветъ!—говорилъ сотникъ еракійскаго легіона, посланный изъ Никомидіи съ отрядомъ для того, чтобы не допускать христіанъ вылавливать трупы и хоронить ихъ.

Возгласы легіонеровъ были опредѣленныѣ:

— Грязные!

— Бѣсноватые!

— Сколько ихъ замолчало, воды понабравшись!

Увлекаемая теченіемъ пестрая громада труповъ, замѣченная сотникомъ, медленно приближалась къ стоянкѣ сотни, освѣщаемая косыми лучами заходящаго солнца. Ясный вечеръ зимы безъ снѣга и мороза, зимы, шадящей почти всю листву и касающейся поверхности земли только краемъ своей одежды, только мимоходомъ, только свѣжими утренниками, догоралъ въ спокойныхъ, заревыхъ огняхъ. По скалистымъ берегамъ Сангаріи нависали темной зеленью свою вѣчно зеленыя, смолистыя туи, подходили прозрачныя рощи кедровъ и кипарисовъ, тогда еще не уничтоженныя. Грубая римская солдатчина, стоя на берегу, порою срываясь съ катившихся изъ-подъ ногъ ихъ каменьевъ, тѣшилась не только словами, но и дѣломъ: они метали въ трупы выдернутыя изъ изгородей хворостины, каменья, отталкивали шестами причалившихъ къ берегу.

— Confarreatio! свадьба!—завопили легіонеры, замѣтивъ связанныхъ другъ съ другомъ мужчину и женщину, качавшихся въ сторонѣ отъ прочихъ.

— An spondes!—крикнулъ имъ вслѣдъ одинъ изъ

шутниковъ, воспроизводя обычную фразу свадебнаго контракта.

— *Spondeo, spondeo!*—отвѣчали одновременно многіе, и звучный хохотъ, пронесшійся вдоль рѣки, замеръ въ сосѣднихъ ущельяхъ.

Было холодно...

Христіане, прятавшіеся недалеко отъ сотни по щелямъ горъ и въ пещерахъ, Богъ вѣсть кѣмъ изсѣченныхъ и которыми такъ обильна Малая Азія, встрѣчали караванъ иначе. Одиночки утопленники проносились передъ ними уже давно. Днемъ было опасно заявлять о своемъ присутствіи, но, тѣмъ не менѣе, тѣхъ, которые причаливали къ берегу, христіане вытаскивали и хоронили. Съ наступленіемъ сумерекъ они стали смѣлѣе; сторожевой оповѣстилъ о приближеніи цѣлаго каравана труповъ.

Безшумно, будто тѣни, начали очерчиваться въ тихомъ мерцаніи луны, вдоль холмовъ и ущелій, фигуры многихъ выползавшихъ людей. Безмолвно принимались они за работу, вытаскивая тѣхъ изъ мучениковъ, которые подплывали ближе прочихъ. Кое-гдѣ неожиданно всплескивала струя подъ крутымъ поворотомъ вылавливаемой добычи; ее вытаскивали на берегъ и тотчасъ опускали въ землю, въ заранѣе приготовленныя, покрытыя вѣтвями и хворостомъ, неглубокія могилы. Работа эта спорилась, какъ привычное дѣло, краткія молитвы сопровождали безобрядныя похороны; кого можно было переловить—перелавливали, остальныхъ напутствовали колѣнопреклоненіемъ.

Караванъ медленно прошелъ, и христіане попрятались. Поплыли опять одиночки, и лунная ночь озаряла ихъ.

\* \* \*

Въ эту самую ночь имѣло мѣсто на Сангаріи одно чудесное свѣтовое видѣніе.

Вотъ что говорили о немъ, когда наступило утро и проснувшіеся люди сошлись. Видѣвшихъ было много; видѣли его въ разныхъ мѣстахъ.

Свѣтилось на рѣкѣ.

Что бы это по ней свѣтиться могло? издали подвигалась, плыла по ней ясная голубоватая точка.

— Гляди!—шепчуть на берегу,—видишь?

— Давно вижу.

Ясная, голубая точка приближается, и не только ее по теченію внизъ тянетъ, но и къ берегу, къ той сторонѣ, гдѣ сейчасъ шептались. И все она увеличивается, разростается въ свѣтовое облачко. Вотъ пододвинулось облачко къ самому берегу, и точно озарились имъ снизу темныя кущи поникшихъ надъ водою деревьевъ; въ черныхъ вѣтвяхъ ихъ забѣгали лазоревые, зеленоватые огни; середина листвы свѣтомъ пронизывалась, лучи озаряли ее.

И, по мѣрѣ того какъ плыло по рѣкѣ облачко, одно за другимъ освѣщались встрѣчныя деревья; проходило оно — погасали деревья.

— Перекрестись!—шепчуть опять на берегу.

— Да какъ же это креститься! я не умѣю!—отвѣчаютъ шопотомъ.

Ярко блиставшіе въ лунномъ свѣтѣ по лагерю оракійской сотни острія коней, нагрудники и гребнистые шлемы точно померкли, когда сіянье на рѣкѣ приблизилось къ нимъ; слабъ былъ земной свѣтъ воинскихъ доспѣховъ по сравненію съ тѣмъ непонятнымъ лазоревымъ свѣтомъ, который двигался.

Черезъ нѣсколько времени можно было ясно отличить, что свѣтъ шель отъ плившей по рѣкѣ утопленницы. Не только воздухъ свѣтился вокругъ нея, но сквозила лазурью въ холодную глубину и тихая, еле плескавшаяся вода. Не трудно было отличить на

шеѣ утопленной обрывокъ веревки и на груди наперсный крестъ. Вполнѣ очерчивалось на ней свадебное платье, *tunica gesta*, обшитое по краямъ пурпуромъ и стянутое по поясу широкою шерстяною зоною. Потемнѣло это бѣлое платье, пропитавшись водою, потемнѣлъ и пурпуръ, но отличался все-таки явственно. Узелъ пояса оставался неразвязаннымъ; его, обыкновенно, развязывалъ мужъ.

— Невѣста!—шепнули съ берега.

Мертвая невѣста плыла, лежа навзничъ, немного отклонивъ лицо въ сторону; значительную часть своей косы захватила она рукою и держала на груди.

Вотъ приблизилась утопленная къ тому мѣсту, гдѣ шептались. Тутъ находились часовые еракійской сотни, и свѣтъ, озарившій деревья, быстро перешелъ на нихъ; сначала блеснули металлическіе доспѣхи, но тотчасъ же погасли, затуманились въ необъяснимо ослѣпительномъ сіяніи подплывавшей. Легіонеры, озаренные свѣтомъ, будто горѣли; но самихъ ихъ слѣпило, точно они лишились зрѣнія.

Вотъ, вотъ, казалось имъ, увидятъ они лицо ея; свѣтъ былъ такъ лучезарно ярокъ; какъ бы ореоломъ какимъ обозначались въ немъ многія звѣздочки; тутъ, тутъ должно быть видно будетъ это лицо!

— Она жива!—почти вскрикнулъ младшій изъ ратниковъ, неожиданно рванувшійся къ видѣнію; могучая рука товарища удержала его.

О, какое это было видѣніе, какое! Въ пытку... на крестъ... на страшныя муки... скорѣй, сейчасъ, хотѣлось бы юношѣ! онъ рванулъ еще разъ, его опять удержали.

Не шелохнулась утопленная, ни на мгновение не пріостановилась она, уплывая по теченію и унося съ собою оглавіе свѣта.

Отошла она, отодвинулась. Растрепанные очи легионеровъ долго оставались объатыми сырою мглою земли съ ея блѣднымъ луннымъ свѣтомъ и ничтожнымъ мерцаніемъ полуночныхъ звѣздъ. Видѣли утопленную и другіе; видѣли ее и христіане въ ущельяхъ; видѣли — рассказали; сложилась легенда.

И сохранилась и сохраняется легенда до сегодня. Въ безплотныхъ и необъятныхъ сферахъ людской мечты, тамъ, гдѣ не можетъ быть тлѣнія, складывается видѣніе и плыветъ по несуществующей рѣкѣ, какъ и рѣка несуществующее! не зная преградъ и времени, является оно, приплываетъ и подъ тяжкіе своды темницы, и въ никогда не умолкающія палаты людей больныхъ духомъ, и въ видѣнія живописца, и въ грезы опечаленнаго—вездѣ утѣшая, освѣжая, успокоивая. Является это видѣніе и въ смертный часъ человѣка...

Если на лицахъ умершихъ замѣтна иногда улыбка, такъ это потому, что они скончались, увидѣвъ нѣчто подобное. Они рванулись изъ жизни вслѣдъ какому-то видѣнію, рванулись за какимъ-то уплывавшимъ, сіявшимъ ликомъ, и никто не удержалъ ихъ, никто... и они именно этому улыбнулись — умерли...

## АМАЗОНКИ.

---

Высокія волны вздымались по понту Эвксинскому, нынѣшнему Черному морю, въ сосѣдствѣ еще не существовавшей тогда Россіи. Гдѣ онѣ теперь, эти волны, поднимавшія свои непокорныя вершины почти три тысячи лѣтъ тому назадъ? Можетъ быть, отлившись въ причудливые облики сосѣднихъ кавказскихъ ледниковъ, въ острые шпили и голубые чертоги вѣчной зимы, высятся эти волны въ заоблачныхъ холодахъ надъ горящими зеленью и роскошью долинами? Не бѣгутъ ли поздніе потомки этихъ волнъ вдоль теплыхъ береговъ какой нибудь южной страны, искрясь сотнями радужныхъ красокъ надъ цвѣтными раковинами моря, или нѣжатся подъ широкими листьями исполинской рѣки, отражая въ себѣ желтое, испещренное лицо быстроокаго дикаря, совершающаго надъ ними свою вечернюю молитву. Онѣ молится, этотъ дикарь, о судьбахъ своего исчезающаго племени и молится горячо... его молитва не будетъ услышана. Можетъ быть, которая нибудь изъ капель, брызгавшихъ по волнѣ, унесенная вѣтромъ, случайно сѣла на тотъ тлетворный цвѣтокъ, настоемъ котораго, въ добрый



часть, отравился какой нибудь злобный властитель? покоится властитель въ склепѣ, съ короною на лбу и смертью въ сердцѣ; обвѣяна капля неподвижнымъ сномъ его бранныхъ останковъ!

Но не счесть же, въ самомъ дѣлѣ, судебъ всѣхъ этихъ капель? И мало ли куда попрятались волны, гулявшія безъ малаго три тысячи лѣтъ тому назадъ по понту Эвксинскому.

Душный лѣтній день давно прошелъ, и темная ночь вступила надъ берегами потемнѣвшаго моря во всѣ свои права. Она не принесла съ собою сна безсоннымъ и страждущимъ; она подстрекнула и придала смѣлости преступленію и сказала ему—свершайся! она наводнила міръ лживостью сновидѣній и въ сновидѣніяхъ этихъ какъ бы показала возможными: свободу, добро и красоту.

Въ легкихъ и совершенно непрочныхъ очертаніяхъ виднѣлись на берегу моря бѣловатыя массы какихъ-то зданій. Это городъ; таинственная Темискира, столица таинственного царства амазонокъ, заглохнувшего въ далекомъ прошедшемъ.

Ничто, рѣшительно ничто не напоминаетъ теперь объ этомъ городѣ! Уныло и безлюдно тянется южный берегъ Чернаго моря въ окрестностяхъ Синопа. Ни путешественникъ, ни купецъ не любятъ этого забытаго уголка земли, которому, можетъ быть, не проснуться больше никогда. А было время, когда, именно тамъ, въ Малой Азіи, сосредоточивалась вся историческая жизнь; ущелья и степи ея и теперь полны развалинъ и глубоко зашевелится почва ея въ часъ страшнаго суда, когда начнетъ собираться въ облики людскіе. Вся она двинется къ долинѣ Іосафата. Вся почва въ тѣхъ мѣстахъ — остатки людей.

Время, о которомъ идетъ рѣчь, было именно тѣмъ временемъ, когда кончался мионъ и начиналась исторія.

Торговцы Финикіи и Греціи, устройвъ свои факторіи по Средиземному, Черному и даже Балтійскому морямъ, раздвинули тогдашнее міровоззрѣніе графическимъ способомъ и стали убѣждать людей въ томъ, что на свѣтѣ гораздо меньше крылатыхъ чудовищъ, чѣмъ имъ казалось. Одна за другою исчезали въ Греціи народныя sprawy, и маленькіе, но вполне сложившіеся короли-деспоты являлись первыми провозвѣстниками тѣхъ порядковъ, живучесть которыхъ составляетъ ихъ неоспоримое и главное достоинство.

Къ числу явленій, болѣе близкихъ къ миѳу, чѣмъ къ исторіи, относится царство амазонокъ. Весьма вѣроятное, какъ предполагаетъ наука, въ далекой древности, царство это существовало, но съ теченіемъ времени оно стало невозможностью, и въ ту ночь, о которой мы говоримъ, доживало свои послѣднія времена, утративъ родныя преданія, измѣнивъ прошлому и разлагаясь враждою, измѣною и развратомъ.

Глубокій сонъ обнималъ населеніе Темискиры, и даже сторожевымъ собакамъ не оставалось ничего лучшаго, какъ молчать. Въ полчасѣ ходьбы отъ города виднѣлся ярко пылавшій костеръ. Весьма своеобразную картину приходилось освѣщать этому костру: онъ горѣлъ на конскомъ кладбищѣ Темискиры. Вѣрнымъ сподвижникамъ амазонокъ, конямъ, отведено было для погребенія почетное мѣсто на возвышеніи, у самаго моря. Долгіе годы хоронились тутъ кони; ихъ сжигали, какъ и людей, и широко раскинулось кладбище, посвященное праху коней, создавшихъ, безъ малаго на половину, исторію любопытнаго женскаго царства, теперь утраченную.

Костеръ былъ разведенъ посрединѣ кладбища. Подлѣ него высился другой, незажженный костеръ, сложенный изъ толстыхъ брусевъ, и на немъ по-

коплась, ожидая на завтра сожженія, павшая лошадь. Это была не простая лошадь которой нибудь изъ безчисленныхъ наѣздницъ летучаго царства, нѣтъ, это былъ конь молодой красавицы королевы; предки этого родовитаго коня носились, и не разъ только, а многіе годы въ степяхъ Скиѣи, по нынѣшней Россіи.

Свѣжій вѣтерокъ, тянувшій съ моря, сковаль еще прочнѣ застывшую по жиламъ кровь четвероногаго покойника и слегка пошевеливалъ гриву вдоль вытянутой шеи его. Въ широко раскрытыхъ, померкшихъ глазахъ, обращенныхъ къ огню, свѣтъ лишался тепла и игривости; онъ будто пугался того мѣста, на которое падалъ, и погасалъ на самой поверхности глазъ, не имѣя силъ и отваги пройти въ нихъ глубже. Тѣло коня было отчасти прикрыто гирляндами и вѣнками дубовыхъ листьевъ и отъ темныхъ и мрачныхъ вѣтвей кипарисовъ, которыми обставленъ былъ костеръ, чуть-чуть отдавало смолистымъ запахомъ.

Не весело было свѣту играть по этой картинѣ смерти, по столбамъ и плитамъ, разсѣяннымъ кругомъ, выдвигая изъ мрака, то здѣсь, то тамъ, гдѣ изображеніе конской головы, гдѣ цѣлый рисунокъ каменнаго рельефа болѣе крупнаго и богатаго памятника.

Съ гораздо большею любовью освѣщалъ огонь два живыя существа, находившіяся тутъ же: двухъ сторожевыхъ амазонокъ. Одна изъ нихъ, молодая, задумчивая красавица, сидѣла на камнѣ, воткнувъ передъ собою въ землю короткое копьѣ, и опиралась на него обѣими руками. Другая, почти старуха, атлетическаго сложенія, стояла подлѣ, спустивъ съ одного плеча мохнатую бурку; копьѣ ея и серпообразный, составлявшій отличительную особенность амазонокъ, щитъ лежали на землѣ. На головахъ у обѣихъ

часовыхъ торчали фригійскія шапочки, перешедшія позже, Богъ вѣсть какими путями, къ итальянскимъ рыбакамъ и террористамъ французской революціи. Бѣлыя, короткія шерстяныя рубахи, безъ рукавовъ, были опоясаны широкими ремнями. Вдоль ногъ амазонокъ, вплоть до остроконечной цвѣтной обуви, оплетенная снизу ремнями ея, морщинаясь легкими складками та часть одежды, которую, почему-то, называть собственнымъ именемъ считается некрасивымъ и которая на древнихъ памятникахъ Египта, Греціи и Рима составляетъ отличительную черту скиѳовъ, парѳовъ и сосѣднихъ съ ними амазонокъ.

Налетѣвшій вѣтерокъ неожиданно зашелестилъ дубовыми листьями, покрывавшими трупъ коня, и прервалъ полусонное молчаніе, царившее между часовыми.

— Свѣжѣть,—проговорила старшая, поднявъ на плеча соскользнувшую бурку и переступивъ съ ноги на ногу.

— Старая кровь, Лаодикэ!—отвѣтила сидѣвшая и слегка улыбнулась.

— Старая! А много ли въ вашей-то, въ молодой крови того святого огня, который водилъ насъ еще недавно строить города, собирать дани и рѣшать на шумныхъ сходкахъ судьбы сосѣднихъ намъ королей.

— Съ насъ хватитъ.

— Хватитъ! лжешь ты, Ктезія, а небо лжи не любитъ,—возразила Лаодикэ и улыбнулась въ свою очередь, только другою, болѣе рѣзкою улыбкою.

— А что же? развѣ не гибки мы, не ловки, не сильны? Хуже васъ холимъ мы коней нашихъ, что ли? бѣгали мы отъ кого? опустѣла развѣ казна наша, пусты сокровищницы?

— Гибки вы и ловки, это правда, только не для боя; не бѣднѣ нашей ваша казна, да не къ должному

она служить; а сокровищницы если не оскудѣли совсѣмъ, такъ только потому, что не всѣхъ вы вашихъ любовниковъ задарили.

— Любовниковъ?!

— А кто же, какъ не любовники, тѣ плѣнники, которыхъ вы прячете и холите, которыхъ ревнуете въ безстыжей нѣжности вашей и допускаете лобзать и тѣшить себя, забывая стыдъ и завѣтъ? имѣли и мы плѣнниковъ, но только рабами были они у насъ, для племени держали мы ихъ и не шли за нихъ на поединки. Королева была у насъ въ наше время, а не самка, прости ее боги,—проговорила Лаодикэ, почти со злобою и, какъ бы испугавшись сказаннаго, медленно осмотрѣлась.

Непроглядная, молчаливая ночь царила кругомъ, какъ и прежде, и тишина обступала со всѣхъ сторонъ, ничѣмъ не нарушаемая.

— Да,—продолжала старуха, садясь на камень:— не боялись мы въ наше время наушничества и соглядатаи не ходили, какъ теперь, по темнымъ ночамъ, подслушивая сонныхъ и выслѣживая часовыхъ.

Сказавъ это, амазонка замолчала, поправила ко-стеръ и погрузилась въ думу...

... Грезился ей, старухѣ, послѣдній, что-то давно уже забытый походъ. Онъ направлялся на сѣверъ, къ скиоамъ. Рѣшено было выступить въ полнолу-ніе. Разослали гонцовъ по городамъ, амазонокъ оповѣстили. Сталь оживать съ прибытіемъ наѣздицъ пустынный берегъ и зашумѣла Темискира. Тутъ, вотъ, на самомъ этомъ мѣстѣ, по взморью, разставлены были коновязи; краснѣло побережье отъ ночныхъ огней; взрывалась земля неисчислимымъ множествомъ копытъ и воздухъ потрясался ржаніемъ и фырканьемъ. Шумъ, говоръ, бряцанье оружія.... Принесли богамъ жертвы, спросили вѣщательницъ и двинулась на сѣверъ неисчислимая амазонская

сила. Покойница королева, ей шелъ тогда шестой десятокъ, ѣхала во главѣ похода. Сосѣдняя степь будто задымилась бѣлыми рубахами наѣздицъ, отѣненными звѣриными шкурами. Милліонами золотыхъ искръ мелькали копья и колчаны и краснымъ огнемъ рѣяли по войску фригійскія шапочки. Шли, сначала, берегомъ, потомъ горами и на новолуніе спустились въ скиѣскія степи.

... Скиѣы провѣдали о походѣ, стали отступать, собираясь въ одну громаду. Искали ихъ амазонки, искали по степи, наконецъ, завидѣли, сначала одиночекъ, а тамъ и цѣлые отряды.

... Стукнуло сердце въ груди амазонки. Проснулась въ ней тигрица.

... «Тамъ, тамъ, впереди,—нашептывалъ ей кто-то,—смотри, видишь, онъ твой, этотъ скиѣ! только возьми его, станешь матерью... отдай поводья, пусти скакуна, лови!»

... Занялось ясное, роскошное утро; справа раздались крики; мелкою дробью пронесся по степи топотъ пущенныхъ коней, замелькали впереди неясныя очертанія чужихъ всадниковъ, стали слышны ихъ непонятныя восклицанія. Амазонка отдала поводья... А вотъ и самая свалка. Ничего не разберешь! и только тогда, когда въ разгарѣ сѣчи поднимается подъ амазонкою конь на дыбы и рветъ, направо и налево, зубами своими шею малорослыхъ коней противниковъ, видятся амазонкѣ какія-то острые, темныя, шевелящіяся очертанія. Душно, жарко... вотъ повѣяло свѣжестью; кони почуяли, что очистилось передъ ними мѣсто, что скиѣы бѣгутъ. Погоня!! Коней приходится сдерживать. Стоновъ не слышно: всѣ они остались назади, на мѣстѣ свалки. Къ полудню у каждого сѣдла было по плѣнику, а гдѣ и по два.

«Отчего же не занимаешься ты и теперь, заря,

заря? кажется, пора бы тебѣ придти?» — думаетъ амазонка. Оборвалась, пресѣклась дума ея и потонулъ живой шумъ мысли въ суровомъ молчаніи ночи.

— Ужъ не спишь ли ты, молодая, горячая кровь, — сказала она, наконецъ, своему сотоварищу, черноокой красавицѣ, взглянувъ на нее... — Не велишь ли кровать постлатъ, пологомъ завѣсить?

Въ шуткѣ атлетической старухи слышалась не простая насмѣшка. Въ нее сказывалось чувство презрѣнія къ тому слабому, изнѣженному, какъ ей казалось, существу, которое сидѣло передъ нею и въ которое, въ настоящую минуту, воплотилось для нея то молодое поколѣніе, которое, по словамъ ея, было гибко и ловко только не для боя, имѣло любовниковъ и вело женское царство на вѣрную гибель.

На слова амазонки отвѣта не послѣдовало; ей, однако, не этого хотѣлось; ей хотѣлось разсердиться!

— Клянусь фуриями, блуждающими сегодня въ ночи подлѣ насъ, — воскликнула она, вставъ съ камня и поднявъ правую руку: — я знаю, Ктезія, твою мысль, мѣшающую тебѣ даже замѣтить обиду и отвѣтить на нее.

— Замолчишь ли ты! — крикнула, наконецъ, Ктезія, выхвативъ копье, воткнутое въ землю.

— Ну, ну, зачѣмъ это, сподвижница, — проговорила Лаодикэ, сдерживая злобный смѣхъ: — зачѣмъ? Ненадо, оставь копье. Я вѣдь это не тебѣ сказала, не тебѣ, а всѣмъ вамъ, всѣмъ. Не биться же мнѣ со всѣми, да и копье мое на землѣ, вонъ, лежитъ. Я вѣдь у тебя твоего красавца не отнимаю. Ему теперь хорошо, очень хорошо! Зачѣмъ ты его уступила?

Старая Лаодикэ была вполнѣ довольна только что случившимся, и крупная, могучая фигура ея, взволнованная смѣхомъ, мало-по-малу пришла въ порядокъ и успокоилась. Обозначились въ свѣтѣ

пламени, неподвижно какъ прежде, темныя складки ея бѣлой рубахи, сползла и замерла тяжелая бурка.

Преобразилась и Ктезія. Не обида, заставившая ее схватить копье, вызвала сразу смертную блѣдность на ея цвѣтушія щеки и усилила, участила бой молодого сердца. Мягко свѣтились въ мерцаніи пламени, словно ожившіе, глаза амазонки; высоко поднималась трепетавшая груди!... давила красавицу непроглядная тьма, тяготила одежда...

— Но гдѣ же онъ?—прошптала она, наконецъ, обращаясь къ старухѣ:—гдѣ? знаешь, такъ скажи?

— Близко.

— Знаешь? тѣмъ лучше! — проговорила Ктезія, какъ бы нехотя, и подняла на всезнающую свои большія, темныя очи, стараясь допытать: дѣйствительно ли знаетъ она, гдѣ онъ, или лжетъ?

— Хочешь ли, я скажу тебѣ, потѣшу тебя, красавица,—проговорила, наконецъ, Лаодикѣ, медленно подойдя къ ней и ударивъ рукою по плечу:—хочешь ли я скажу тебѣ, гдѣ и у кого запропастился твой смуглолицый плѣнникъ, твоя услада, къ которому ты и прикоснуться не успѣла, какъ онъ пропалъ и невѣсть куда скрылся!

Слово было намѣчено вѣрно. Сидѣвшая до сихъ поръ неподвижно красавица Ктезія поднялась съ мѣста безмолвная, настигнутая врасплохъ, а звонкій и неожиданный хохотъ Лаодикѣ разнесся далеко по кладбищу, и эхо отвѣтило ему и тоже захохотало.

— Сказать тебѣ, сказать?!—повторяла Лаодикѣ, поддразнивая и продолжая смѣяться.—О вы! приемницы нашей славы, нашей удачи, вотъ онъ! вотъ чѣмъ и какъ расшевеливаются ваши кроткія души, созданныя для того, чтобы маяться за прялками, да кормить слабою грудью дѣтенышей дряблага племени...

— Тутъ, въ городѣ, подлѣ?—воскликнула Ктезія.



Лаодикэ сдѣлала головою утвердительный знакъ.

— Значить это неправда, что его увезли?

— Неправда.

— И неправда, что онъ бѣжалъ?

— Неправда.

— О! тогда онъ мой, мой, я найду и возьму его,— проговорила Ктезія, и дыханіе ея стало еще порывистѣе, еще горячѣй.

— Возьмешь?! у королевы-то возьмешь?! у самой королевы?—повторила Лаодикэ и откинула голову назадъ, чтобы лучше видѣть и насладиться впечатлѣніемъ, произведеннымъ ея словами.

Амазонка-атлетъ побѣдила: впечатлѣніе было полное, рѣшительное...

Въ это самое мгновеніе двѣ золотыя искры prorзали мракъ ночи, будто братья-близнецы, едва обозначившись полосками въ пути своемъ надъ костромъ, и скрылись гдѣ-то подлѣ. Это Касторъ и Поллуксъ! сказали бы тогдашніе люди, увидѣвъ эти золотыя искры, промчавшіяся по ночи. Слышенъ былъ также короткій, плакучій звукъ тетивы, и обѣ амазонки упали мертвыми.

Изъ темноты вышли двое...

Припавъ щекою къ плечу молодого, смуглолицаго, стройнаго проводника и обнявъ его шею рукою, шла неровнымъ шагомъ, не спуская глазъ со своего провожатаго, красивая женщина. Чѣмъ ближе подходили они къ костру, тѣмъ замѣтнѣе было сладкое утомленіе въ лицѣ женщины. Черныя косы ея падали вдоль бѣлыхъ складокъ хитона, окаймленнаго пурпуромъ. Въ правой рукѣ ея виднѣлась снятая съ головы фригійская, красная шапочка, отличавшаяся тѣмъ отъ шапочекъ только что убитыхъ амазонокъ, что по нижнему краю ея ярко блестѣлъ кованный, золотой вѣнчикъ.

Это была королева...

Подойдя къ костру, она остановилась.

— Мой милый, мой желанный, — прошептала она, обратившись лицомъ къ своему проводнику и обнявъ его обѣими руками: — не съищутъ онѣ тебя у меня, не съищутъ, не возьмутъ!

Убитыя амазонки лежали подлѣ, не шевелились и не спорили.



## КОРИНТСКАЯ КАПИТЕЛЬ.

---

Кто не знаетъ значенія колонны въ архитектурѣ? Міръ колоннъ, за время исторіи ихъ, это цѣлая безконечность, это особое, самостоятельное бытіе. Гдѣ ихъ не было, и какихъ не бывало колоннъ, начиная отъ грузной, вѣнчанной лотосомъ, египетской и не менѣ массивной, слонообразной, индійскихъ храмовъ, включительно до тонкихъ, взвивающихся струнами колоннъ древне-ассирійскихъ и готическихъ; въ нихъ сказываются особые циклы, особая архитектурныя міровоззрѣнія. Отходилъ народъ, отходила и его колонна, и въ длинномъ безконечномъ ряду ихъ самостоятельныхъ, подражательныхъ и смѣшанныхъ типовъ есть отвѣты на всѣ вкусы, на всѣ требованія.

Но, какъ и во всякой жизни, во всякомъ дѣяніи, во всякой наукѣ, въ развитіи колонны есть тоже свои загадки, которыхъ нельзя не признать, но нельзя и разрѣшить. Если разнообразны колонны, то не менѣ разнообразны ихъ вершинки, ихъ оглавія, такъ называемыя капители, и изъ этихъ-то капителей, своевременно отошедшихъ и замѣщенныхъ другими, остаются безсмертными, не хотятъ умирать, проходятъ во всѣ вѣка и ко всѣмъ народамъ только двѣ:

іонійская съ двумя завитками и коринѣская, отороченная листвою. Отчего это безсмертіе только двухъ очертаній въ безконечномъ рядѣ исчезновенія другихъ? Отчего волна художественной жизни, вѣчно бьющая, вѣчно льющаяся, вѣчно мѣняющая формы не одолеваетъ только ихъ двухъ? А вѣдь ихъ не защищаютъ никакія права, они ничѣмъ не закрѣплены, а условія статики тутъ не при чемъ.

И замѣчательно повсюдное распространеніе именно этихъ двухъ капителей; такъ какъ колонна, или колонка, находитъ свое мѣсто въ колоссальныхъ обличіяхъ храмовъ и дворцовъ и въ мелкихъ обрамленіяхъ всякихъ бездѣлушекъ: шкатулочекъ, брошекъ, запястій, зеркалъ, и т. п., то нельзя не удивляться тому, съ какою настойчивостью, съ какимъ упрямствомъ, пробираются именно эти двѣ капители, часто вполне обезображенные, въ мѣстныя подѣлки какихъ-нибудь темно-красныхъ жителей австралійскихъ острововъ или рѣдковолосыхъ самоѣдовъ нашего сѣвернаго, мурманскаго побережья? Какъ добрались онѣ туда? Ну какое дѣло этимъ нѣжнымъ обликамъ архитектуры, рожденнымъ на свѣтъ лучезарною, изящною Греціею, подлѣ жертвенниковъ острозубыхъ людоедовъ или на идольчикахъ вымирающей у насъ мордвы? А между тѣмъ онѣ встрѣчаются повсюду, и въ этомъ одна изъ загадокъ, подлежащихъ нѣкоторымъ объясненіямъ, но разрѣшенію—никогда. Любопытна древняя легенда о происхожденіи коринѣской капители.

\* \* \*

Свѣтлое, безмолвное утро загоралось надъ древнею Греціею, задолго до Христа. Бѣлыя мраморныя очертанія храмовъ и портиковъ богатаго Коринфа оживали на синемъ, удивительно синемъ небѣ,

точно наливаясь алою кровью. Блѣдный, зеленоватый, мертвенный обликъ Коринѳа, какимъ являлся онъ ночью, замѣнялся другимъ. Воздухъ былъ такъ чистъ, такъ хрустально прозраченъ, что лучи восходившаго солнца, отъ далекаго востока, гдѣ они искрились въ яркомъ пурпурѣ и золотѣ, бѣжали совершенно безпрепятственно на городскія очертанія и разжигали ихъ пламенемъ. Раньше и ярче всѣхъ заалѣлъ акрополь и его святыня. Еще синѣе неба было синее море, виднѣвшееся вдаль.

По дорогѣ въ Сикіонъ шла одинокая женщина и несла въ рукахъ покрытую пологомъ корзину. Она оставила за собою рынокъ, его храмы и миновала источникъ Глауки. Женщина эта несомнѣнно направлялась за городъ, потому что поверхъ головы ея виднѣлась дорожная калитра, богатая складками и чрезвычайно удобная для обворачиванія головы, шеи и плечъ. Такъ какъ было очень рано и встрѣчныхъ не появлялось, то путница не закрывала лица. Ей было лѣтъ тридцать. Темныя очи, богатые волосы, правильныя очертанія лица свидѣтельствовали о томъ, что красота, такъ быстро блекнущая на югѣ, вовсе не желала удалиться отъ нея.

За источникомъ Глауки начиналась первая, ближайшая къ городу зелень. Ни солнцу, ни морю, ни небу рѣшительно не было никакого дѣла до того, что исторія человѣчества въ тѣ дни только начиналась. Также точно сѣла на острія травинки алмазная роса; только путникъ древней Греціи вспомнилось при томъ, что это та самая роса, которую въ богатыхъ Аѳинахъ, гдѣ случилось женщинѣ побывать, приносятъ въ жертву великой богинѣ Аѳинѣ. Точно такъ же, какъ и теперь, однѣ, вслѣдъ за другими, погасали звѣзды; раньше другихъ скрылся млечный путь, и женщина, вставшая очень рано, еще видѣла, какъ онъ погасалъ, и не могла не вспомнить о томъ,

что эти мелкія, безсчетныя звѣзды — это капли молока другой великой богини, когда-то брызнувшія на небо.

— Пусть святится великое имя матери боговъ! — подумала женщина: — вѣдь я и сама была кормилицею. А теперь! схоронила я мою красавицу... вотъ и иду къ ней, и подарки несу.

Миновала она гробницу дѣтей Медеи и давно ей извѣстную статую Ужаса, поставленную подлѣ, по обѣту, на искупленіе великой вины. Эту бронзовую, включенную фигуру старухи, обращенной лицомъ къ востоку, всю блиставшую въ молодыхъ солнечныхъ лучахъ, страшную, отталкивающую, до мелочей правдивую, обошла она возможно далеко. Вотъ и конецъ города, вотъ и ряды надгробныхъ памятниковъ по обѣимъ сторонамъ пути. Путница устала и хотѣла присѣсть на ступени одного изъ нихъ, но отшатнулась: огромная сова, чуть не задѣвъ ея крыльями, вылетѣла изъ-подъ ногъ и бросилась въ сторону.

— Зловѣщая птица — подумала женщина, — порожденіе подземнаго царства и темной волны Флегетона!

Опустивъ корзину на землю, долго слѣдила она вслѣдъ за юркою совою, летѣвшею порывисто и бросавшеюся изъ стороны въ сторону; женщина какъ бы боялась того, чтобы птица не направилась туда, куда она шла. Мелькнувъ особенно ярко при нѣсколькихъ поворотахъ, сова юркнула къ одной изъ придорожныхъ гробницъ и скрылась. Путница сѣла. Она нагнулась къ корзинѣ и приподняла пологъ ея; въ корзинѣ лежали разныя вещи.

— Зеркальце! она взяла его въ руки; — металлъ блеститъ такъ ярко! давно ли глядѣлась въ него моя милая отошедшая, смѣялась, прихорашивалась?

Зеркальце сдѣлало, однако, свое дѣло: женщинаправила волосы и чуть-чуть надвинула калитру.

— Запастья! поясы! ожерелье! вотъ этотъ поясъ я ей подарила!

И она, перебравъ вещи, уложила ихъ обратно, покрыла и направилась дальше. Гробницы все еще тянулись по сторонамъ дороги; чѣмъ дальше отъ города, тѣмъ проще и бѣднѣ становились онѣ. Двумъ изъ встрѣчныхъ могилъ женщина поклонилась: она знала тѣхъ, чей прахъ тутъ покоился. Вотъ окончились и послѣднія гробницы и ихъ замѣнили небольшія возвышенія. Они замѣчались не только подлѣ дороги, но виднѣлись и дальше, въ полѣ, по направленію къ сосѣднимъ скаламъ. Путница свернула съ пути и, минуя ближайшія возвышенія, направилась къ мѣсту, хорошо знакомому ей.

— Вотъ оно!

Немного дней томуназадъ схоронилиздѣсьостанки дѣвушки. Хороша была она и привѣтлива, но заболѣла и умерла. Часто ходила къ ней сюда ея кормилица. На этотъ разъ пришла она не съ пустыми руками: собрала всѣ бездѣлушки, которыя покойница любила, сложила ихъ въ корзину и принесла. Любо ей было опустить эту ношу надъ милымъ прахомъ.

— На, дитятко,—проговорила она.

Зачѣмъ проговорила? развѣ съ мертвыми разговариваютъ? не слыхалъ ли кто? она оглядѣлась: никто не видѣлъ, никто не слыхалъ. Тѣмъ временемъ поднялся въ полѣ свѣжій вѣтеръ, вещи надо было прикрыть, иначе разнесетъ. Сыскала она камень и надавила имъ корзину съ бездѣлушками, а взошедшее къ тому времени яркое солнце бросило въ сторону отъ корзины, отъ этого быстро изготовленнаго памятника, рѣзкую, длинную тѣнь. Женщина сѣла и задумалась... Вѣтерокъ шумѣлъ, ласточки порхали; по ближней дорогѣ запылило; кое-гдѣ подлѣ памятниковъ замелькали люди; тѣнь отъ корзины стала

совсѣмъ короткою, точно убѣжала подъ нее, когда сидѣвшая собралась въ обратный путь.

— Назадъ пойду я другою дорогою, — думала женщина: — а мимо дѣтей Медеи, мимо страшной, растрепанной старухи — не пойду!

\* \* \*

Черезъ годъ не было въ живыхъ и этой женщины, но корзина продолжала стоять, покрытая камнемъ, на прежнемъ мѣстѣ, только что ея не было видно. Поставленная надъ елезамѣтнымъ отпрыскомъ акаѳа, по-русски — борщняка, и придавивъ его, грузная корзина временно лишила этотъ отпрыскъ и свѣта, и силы, и жизни. Но черезъ годъ придавленный борщнякъ оправился, корень его оздоровѣлъ и, когда повѣяло новою весною, потянулись отъ него, изъ-подъ бездѣлушекъ, надавленныхъ камнемъ, могучіе, жилистые листья. Надавленное какъ разъ по срединѣ, упрямое, колючее растеніе пошло вокругъ корзины короною, обняло ее отовсюду, обогнуло, скрыло, всосало въ себя. Чудесно, ровно, точно отточенная, поднималась надъ прахомъ дѣвушки, между другихъ возвышеній, эта удивительная куща блѣдной зелени, созданіе природы и случая, вызванное къ жизни приношеніемъ чистой, безмолвной любви. Удивительная, своеобразная красота сказывалась въ этомъ единеніи свѣжихъ, свободныхъ, питающихся листьевъ и безжизненной неподвижности и правильности мраморнаго орнамента. И набрелъ на эту случайную красоту художникъ, аѳинянинъ родомъ, Каллимахъ по имени, и создалъ коринѣскую капитель.

Гдѣ, гдѣ не встрѣчаются теперь по бѣлому свѣту коринѣскія капители? Гдѣ не увѣковѣчиваютъ онѣ неизвѣстной памяти безъимянной, довременно умершей дѣвушки и такой же безъимянной, какъ она,



любившей ее кормилицы? Занесло эту капитель, словно летучее сѣмя цвѣтка, и въ тогдашнюю Сарматію, Скиѣю, Гиперборею, нынѣшнюю Русь! Видиѣтся она худенькая, словно заглухнувшая и на приземистыхъ церквахъ многоозернаго олонецкаго края, и на Мурманѣ, и въ тайгахъ Зауралья, и на гробницахъ зайсанговъ нашихъ жаркихъ калмыцкихъ степей; есть она и на Казанскомъ и Исаакіевскомъ соборахъ, и на многихъ изъ сорока сороковъ московскихъ, и въ златоверхомъ Кіевѣ...

А изъ-за чего сырѣ-борѣ загорѣлся?!

— На, дитятко! — проговорила, когда-то, кормилица, опуская корзину на землю.

Но развѣ съ мертвыми разговариваютъ?



## БРОНЗОВЫЕ КОНИ.

(Времени крещенія Руси).

---

И недаромъ приходилъ въ Кіевъ слухъ, что князь Владиміръ скоро возвратится изъ Корсуни! Ждали его съ данью и плѣнниками, а возвращается онъ,—такъ толкуютъ люди, потому что гонцы говорили—съ княгинею и новую вѣру везетъ. Везетъ онъ съ собою вѣру христіанскую!

Больше всего переполоха и плача поднялось въ Вышгородѣ, Бѣлгородѣ и селѣ Берестовѣ. Тамъ, перепуганныя слухомъ о новой княгинѣ, сидятъ жены Владиміровы, а числомъ ихъ чуть ли не тысяча!

— Новая вѣра,—говорятъ люди:—одну жену челоуѣку даетъ! А куда же мы-то дѣваемся?

— Бывъ княгинями, можемъ ли мы рабынями слугъ княжескихъ стать? Потому что на всѣхъ насъ, на каждую, мужей-князьевъ во всей русской землѣ не наберется!

— Ужъ не креститься ли и намъ, сестрицы?—говорятъ между собой жены княжескія.

— А и вправду, станемъ креститься!

Такъ ворковали горлицы въ Вышгородѣ, Бѣлгородѣ и Берестовѣ и многія готовы были креститься

въ ту новую вѣру, которую привезуть и которая одного мужа даетъ.

Со страхомъ и недоумѣніемъ ожидали возвращенія Владимірова старые люди земли русской, поветшалые богатыри, не могшіе слѣдовать въ Корсунь съ дружиною; злобствуя, оттачивали волхвы свои ножи жертвенные.

— Ужъ куда-то вы, ножи, дорогу найдете?—приговаривалъ не одинъ изъ нихъ.

Ничего не говорить, насупился, возвышаясь на горѣ Днѣпровской, главный богъ Перунъ...

Наступилъ день возвращенія Владимірова.

Ждутъ его! Народъ по берегу разсыпанъ, по горамъ Кіевскимъ лѣпится, а яркое полуденное солнце по народу, какъ по пестрому ковру, играетъ. Перуну видно съ горы дальше всѣхъ. Высоко поднимается онъ на желѣзныхъ ногахъ своихъ; кругомъ высокаго тѣла юркія ласточки снуютъ, вокругъ могучихъ плечъ рѣютъ, кружатъ, пощebetываютъ. На Перунѣ искусно подѣланная дубовая одежда; она спадаетъ глубокими складками по чресламъ. Въ рукѣ у него большой камень; на одеждѣ, будто цвѣты, карбункулы и рубины расцвѣли, и блестками, и искорками поигрываютъ въ пламени горящаго передъ ними неугасимаго костра.

Неугасимый костеръ виденъ въ темныя ночи издали. Днемъ синій дымъ надъ нимъ или столбомъ стоитъ, если тихо, или на сторону подъ вѣтромъ гнется, въ складки идолища заходитъ, коптитъ ихъ, а нѣтъ, такъ длиннымъ языкомъ съ горы къ самому Подолу тянется, будто воды Днѣпровской испить хочетъ.

Стоитъ Перунъ, насупился! Видитъ: точно, ладьи княжескія вдали пестрѣютъ. Много слыхалъ онъ за послѣднее время, особенно сегодня, съ утра, на своихъ желѣзныхъ ногахъ стоя. Яркое солнце пе-

ревалило за полдень, стало переходить съ лѣвой на правую сторону Днѣпра. Въ накалявшіеся съ утра буераки, котловины и измоины горъ Кіевскихъ залегли первыя прохладныя тѣни. Стало остывать и обличье Перуна, обращенное къ востоку; началъ нагрѣваться правый бокъ его. Такъ ему жарко, такъ жарко, что мѣстами, по складкамъ одежды смола проступила.

Не плачетъ Перунъ, какъ женщины въ Вышгородѣ и Берестовѣ; не готовится онъ въ христіанскую вѣру перейти, чтобы одну жену имѣть, а мрачно выпучилъ большіе глаза и смотритъ на свой Кіевъ и безконечное Заднѣпровье.

— А ужъ что мы съ тобою,—думаетъ Перунъ,—далекій Новгородскій братъ мой, котораго Добрыня надъ Волховомъ поставилъ, что мы съ тобою дѣлать теперь будемъ? Совлекутъ насъ съ тобою, въ щепы разобьютъ... вотъ что!

О своемъ далекомъ братѣ вспомнилъ Перунъ, какъ это всегда въ тяжелыя минуты бываетъ. Смотритъ идолище тусклыми глазами со своей высокой подставы, видитъ, рядомъ, совсѣмъ подлѣ, внизу, дворъ Владиміровъ раскинулся. Глядитъ Перунъ во внутрь двора: сѣни рѣшетчатыя, сѣни косящатыя, терема златоверхіе, переходы да крыльца. Видитъ онъ, какъ люди по двору снуютъ, князя ждутъ, прибираются; вездѣ они по сѣнямъ, горницамъ и помостамъ бѣгаютъ; ковры таскаютъ, должно быть въ княжескую опочивальню, въ одрину, потому что княгиня съ нимъ ѣдетъ!

— Разметалъ бы я тебя, дворъ княжескій, и васъ, терема златоверхіе, и тебя бы, самое княгиню, въ воздухъ унесъ,—думаетъ Перунъ...

И все ему яснѣе и яснѣе, какъ по Днѣпру множество судовъ подплываетъ. Кіевъ, залитый солнцемъ, лежалъ въ тѣ поры по горамъ и предгорьямъ—

весь деревянный. Кое-гдѣ, повыше прочаго, поднимались знакомые Перуну меньшіе братья его, другіе боги: Дажбогъ, Стрибогъ, Макоша, а рядомъ съ ними ихъ особыя капища, ихъ кровы, одѣтыя огнтомъ, будто змѣиными чешуйками.

О золотыхъ маковкахъ кievскихъ въ тѣ дни еще и помину не было; только и было блеску въ небѣ, что серебряная голова и золотые усы Перуновы. И на него, на Перуна, еще молятся, и ему еще и костеръ горитъ. По Заднѣпровью и подлѣ разстилались дубовые лѣса зеленымъ океаномъ-моремъ... То-то была въ нихъ охота!...

— Вонъ тамъ, — думаетъ Перунъ: — подальше на горѣ, князь Аскольдъ погребенъ, а тутъ ближе, Диръ покоится. Помню я ихъ обоихъ, помню тризны, помню! Первыми они тутъ были у меня, вѣрными слугами. И много ихъ имѣлось вѣрныхъ слугъ; богатырскому складу сѣмя не изводилось; они, что листва по зеленымъ дубравамъ, весной нарождались. Помню я и могучаго Хорива; онъ тутъ на Хоревцѣ жилъ! Братъевъ его Щека и Кія тоже помню... и сестру ихъ прекрасную Лыбедь...

Того мѣста, гдѣ жила Лыбедь, Перунъ видѣть не могъ, потому что стоялъ онъ лицомъ къ Днѣпру, а Лыбедь рѣчка, и понинѣ, по ту сторону Кievскихъ горъ пробирается. А не прочь бы былъ Перунъ посмотреть въ сторону Лыбеди! Нравилась ему княжая сестра Лыбедь прекрасная, когда она къ нему жертвы приносить подходила. И такъ ясна она ему на его памяти, такъ ясна...

А княжескія ладьи тѣмъ временемъ то-и-дѣло подплываютъ.

Собрались на берегъ всѣ, кто могъ, отъ мала до велика. Много имѣлось оставшихся въ Кievѣ ратныхъ людей, а ужъ о христіанахъ, которыхъ распло-

дилось тоже довольное число, нечего и говорить—тѣ всѣ прибѣжали.

Подплываютъ кораблики, стали выгребать къ берегу. Кто раньше пришелъ, тотъ дальше проѣхалъ, чтобы заднимъ не мѣшать; начали причалы забрасывать, сходни устраивать.

Поднимались дружины княжескія на ладьяхъ со скамеекъ, становились однѣ подлѣ другихъ. Отъ пошевеливанья стальныхъ кольчугъ и юшановъ, отъ острыхъ шеломовъ и ерихонокъ, отъ круглыхъ мисюрокъ, у людей въ глазахъ рябитъ и отъ блеску солнечнаго мелкія солнца ходятъ. Сіяютъ бердыши чеканны и острія рогатинъ; отливаютъ разными цвѣтами налучины и колчаны, туго набитые стрѣлами: видно, что ихъ не всѣ разстрѣляли, домой привезли.

До княжеской ладьи еще далеко, но и на причалившихъ кіевскіе люди глядятъ—не посмотрятся и дивуются многому новому, незнакомому. Больше всего поражены кіевляне стоящими на четырехъ ладьяхъ четвермя мѣдными конями! Крупныя очертанія могучихъ коней, установленныхъ въ прочныя, деревянныя подставы, высоко поднимались надъ бортами лодокъ и своею неподвижностью, своимъ желтымъ, мѣднымъ блескомъ рѣзко выдѣлялись по стальному, подвижному огню двигавшихся дружинъ.

Съ другихъ ладей виднѣлись разные сосуды, ларцы, виднѣлись какіе-то какъ бы истуканы человеческого подобія. И всего этого было много, много! Никогда ничего схожаго съ этимъ не видали на берегахъ кіевскихъ.

Но больше всего глазѣли люди все-таки на мѣдныхъ коней; точно дѣти малыя игрушками любовались.

— Это, должно быть, къ новой вѣрѣ!—говорили въ толпѣ.

— Лошади-то!

— А почему-жъ бы и нѣтъ! Кони богатырскіе! Какъ-то ихъ только стужать будутъ?

Дивовались люди и перешептывались.

Тѣмъ временемъ ладьи продолжали устанавливаться, одна подлѣ другой, носами къ берегу. Точно глазами человѣческими взглядывали онѣ на родной имъ берегъ, чуть повертывались къ нему, потому что на каждой изъ ладей было подѣлано по два большихъ глаза, обведенныхъ крутыми бровями; глаза были изъ рыбаго зуба, а бровями служили всякіе темные звѣринные мѣха, полосками наколоченные. Глядѣли ладьи этими глазами своими на Кіевъ, на его предгорья, на то, какъ высаживались люди: кто пришелъ отца родного встрѣтить, кто брата, а кто и другого кого, милѣе! Пошли бы тутъ разные разговоры, да нельзя: княжеская ладья приближается.

И точно: ладья Владимірова, многимъ повыше прочихъ, многимъ фигурнѣе, чуть не вся въ золотѣ, съ высокимъ чердакомъ надъ кормою, круто дала руля къ берегу. За нею, почти вплотную, повернула другая ладья. Гребцы дружно ударили веслами и обѣ онѣ, обрамляясь бѣлою пѣною, набѣжали быстро, чуть не на самый берегъ.

Тутъ только разглядѣли толпы народа своего князя со знакомыми имъ богатырями и съ другими людьми, незнакомыми имъ вовсе, ни по складу, ни по одеждамъ.

— Это кто же такіе?—спрашиваютъ въ толпѣ.

— Это іереи!—отвѣчаютъ бывальцы константинопольскіе, которыхъ въ Кіевѣ имѣлось много, и которые на этотъ случай своими объясненіями дѣйствительную службу служили.

— Это, значить, новой вѣры жрецы?

— Да, такіе же,—отвѣчаютъ имъ бывальцы:—какъ и у насъ тутъ въ Кіевѣ водятся, только что оде-

ждами побогаче, да поосанистѣе ихъ будутъ, но того же рода!

Дѣйствительно—Константинополь показаль тутъ свой товаръ лицомъ: златотканная ризы, фелони, стихари, осыпанные каменьями митры казались пламенемъ рядомъ съ черными власяницами и высокими клобуками бородатыхъ монаховъ, между которыми виднѣлся и Анастасъ, помогшій Владиміру взять Корсунь. На высокихъ древкахъ качались надъ ними тяжелыя хоругви; въ рукахъ блистали иконы; высился большой, обложенный золотомъ крестъ; несли какіе-то богатые ларцы, каменьями осыпанные.

— Въ ларцахъ,—объясняль людямъ одинъ изъ молодыхъ дружинниковъ, принявшихъ Христову вѣру: —мощи Климента и Фива обрѣтаются.

— А что это такое мощи?

— Нетлѣнные тѣла.

Все это видѣли, разглядѣли кіевляне и объяснили себѣ и другимъ по-своему. Въ совершенно новыхъ для нихъ впечатлѣніяхъ перепутывались заодно и золото ризъ, и хоругви, и мѣдные кони, и чернота монашескихъ власяницъ, и облики богатырей, и золото ларцовъ и сосудовъ.

Но когда надъ этою помѣсью невиданныхъ до толѣ предметовъ, надъ ризами, митрами и иконами, надъ воинскими кольчугами и ерихонками, бердышами и рогатинами, мерцавшими въ яркомъ солнечномъ блескѣ, неожиданно для всѣхъ раздалось стройное духовное пѣніе, — разпросы прекратились: у людей духъ захватило—они слушали...

Владиміръ вступалъ, крещеный, на свою, еще не крещеную, землю! Творя крестное знаменіе, держа лѣвой рукою княгиню Анну, онъ сходилъ по сходню съ высокаго чердака ладьи своей. Сойдя на берегъ, князь отвѣсилъ низкій поклонъ и городу, и людямъ.

О черныхъ кудряхъ Владиміровыхъ, о которыхъ



поется въ пѣснѣ, къ тому времени не было уже и помину: богатая сѣдина оснѣжила и ихъ, и бороду. На князѣ одѣтъ былъ малиновый бархатный полукафтанъ, поверхъ котораго, широко охвативъ станъ по поясу, покрывъ всю грудь и уходя верхомъ подъ бороду, сіяло, какъ бы искрилось, золотое зеркало. На головѣ его виднѣлась синяя бархатная шапка, обшитая грановитою канителью. Подпушка, проглядывавшая изъ-подъ полукафтання, была желтая. За княземъ несли его шестоперъ и мечъ: не въ воинскихъ же доспѣхахъ было ѣхать ему дальнимъ воднымъ путемъ отъ греческой Корсунѣ.

Если бы кіевляне понимали ясно все то, что передъ ними происходило и подробно разглядѣли князя, они бы замѣтили на зеркалѣ его изображеніе православнаго креста. Но у людей глаза разбѣгались: они этого не замѣтили, потому что подлѣ князя шла его княгиня, царевна Анна, окруженная царьградскими придворными и духовенствомъ, прибывшими съ нею.

Богато одѣтъ былъ князь, но совершенною невидалью была молодая княгиня!

Роскошная платна изъ бархата «жаркаго цвѣта» съ травами, съ горностаевымъ исподомъ, со всѣмъ ея приборомъ, была какъ бы блесткой, искоркой богатой Византіи, кинутой на зеленый берегъ Днѣпра! Оба края платны, отъ шеи до низу, были застегнуты финифтяными пуговицами съ крупными жемчугами и вдоль нихъ, по всему низу и вкругъ широкихъ рукавовъ одежды, шелъ узоръ, низанный жемчугомъ. На головѣ княгини блистала корона; широкая, жемчужная поднизъ шла отъ нея, обрамляя молодое лицо и падая на плечи. Сама княгиня, ея одежда, ея корона, ея придворные—являлись кіевлянамъ очертаніями неслыханными, негаданными.

Положивъ низкій поклонъ, Владиміръ и княгиня,

сойдя со сходя, приложились ко кресту и медленно двинулись въ гору, ко двору своему, предшествуемые духовенствомъ и окруженные ближайшими своими людьми. Духовное пѣніе сопровождало ихъ...

Это были далекіе, далекіе годы нарожденія словесъ и замысленій Баяна!

Это было такое далекое время, что не рокотали еще вѣщія струны самого Баяна, еще не пускалъ онъ по нимъ будто десять соколовъ на стадо лебединое пальцевъ своихъ! Глубоки были омуты Днѣпровскіе и великое княженіе русское только что начиналось.

И видѣлъ все это съ высокой горы своей Перунъ, окруженный своими жрецами. Отличилъ онъ и князя и княгиню; слышалъ непонятное ему пѣніе; замѣтилъ того и другого изъ старыхъ богатырей... Позже былина помянетъ всѣхъ этихъ богатырей, да только за древностью времени именами перепутаетъ. Скажетъ былина: что шелъ тутъ въ гору дядя княжой знаменитый Добрыня Никитичъ, шелъ Илья Муромецъ, мощи котораго въ Кіевѣ почиваютъ; шелъ хитрый человекъ Алеша Поповичъ, всѣ подъ своею силою перекачиваясь, побрякивая ратными доспѣхами неполнаго прибора, потому что опять-таки, они, какъ и князь, въ пути были и полного прибора не одѣвали.

Они ли, точно, шли, или шли тутъ другіе, это не ясно, но что тутъ уже тогда имѣлись налицо люди со всей Русской земли, отъ Рязани и Суздали, отъ Новгорода и Краснаго Галича—такъ это вѣрно. Тяжело было богатырямъ идти въ гору, но они поднимались, шли за княземъ.

Имъ на встрѣчу потянуло вѣтромъ отъ Перунова костра. Запахло гарью.

Вотъ и вершина горы, и Перуново идолище высится, а кругомъ него жрецы вереницей стоятъ и

не знаютъ, что имъ дѣлать, какъ имъ быть слѣдуетъ? Больше идола своего очами сверкаютъ; слышатъ они духовное пѣніе и злобствуютъ! Въ ножи бы ударили, да дружина сильна, богатырей много. Стоять, молчать!

Прошли люди съ иконами, ларцами и хоругвями мимо жрецовъ, мимо истукана и капища къ двору Владимірову. Только стали въ него втягиваться, какъ князь рѣшилъ остановиться: онъ захотѣлъ народу слово молвить. А народу кругомъ что бисеру.

Чуть остановились,—солнце блеску прибавило, распалило, разожгло доспѣхи ратные. Тихо было вѣянье голубого вѣтра Днѣпровскаго, и только костеръ передъ Перуномъ потрескивалъ, но ясныхъ, понятливыхъ словъ князя заглушить не могъ.

Владиміръ, оставивъ руку княгини и отойдя немного въ сторону отъ нея, стоялъ передъ Перуномъ одинъ-на-одинъ; будто глазами другъ друга помѣривали—Перунъ и Владиміръ князь!

Любили пращуры Русской земли толковое слово. Если не лгутъ былины и сказки, то они даже очень много говорили, а говорившихъ неговорившіе слушать умѣли. Какъ же было ласковому Владиміру-князю, да при такомъ особомъ случаѣ, своего слова не держать?

— Извѣстно и вѣдомо вамъ, народъ кievскій,—заговорилъ князь,—что давно искали мы вѣры истинной, и что много приходило къ намъ посланцевъ, гонцовъ отъ разныхъ вѣръ, и что всѣхъ ихъ мы выслушивали и своихъ людей присмотрѣться посылали. Не истинный богъ этотъ,—продолжалъ Владиміръ, обративъ лицо къ Перуну:—самъ я его ставилъ, самъ изукрасилъ, самъ и сниму...

Многія тысячи глазъ князю вслѣдъ обратились на Перуна; ничего не отвѣтило идолище, только между жрецами его безмолвное движеніе пробѣжало, да тотчасъ же и замерло.

— На что было намъ рѣшиться и какую вѣру взять,—продолжалъ Владиміръ-князь: — указала мнѣ еще бабка моя, представлявшаяся княгиня Ольга. Отъ Царьграда должна была быть наша вѣра, и мы сами пошли и взяли ее. Благодарственно пріялъ я и жену мою, царевну Анну, отъ рукъ императоровъ, братьевъ ея, и быть ей, отнынѣ, надъ вами и надъ всею Русскою землею великою княгинею. Свадебнымъ подаркомъ отдали мы Корсунь, который мы завоевали! Дары же императорскіе передъ вами: эти иконы святыхъ, эти хоругви и ларцы съ нетлѣнными мощами, о которыхъ вамъ повѣдаютъ, и эти сосуды, и драгоценности, и мѣдные кони, что на лодкахъ нашихъ даже отсюда виднѣются!

Обождаявъ немного, какъ бы сказавъ тѣмъ народу: смотрите и видите! князь Владиміръ заговорилъ снова:

— Рѣшено теперь нами, намъ вслѣдъ, крестить и всю Русскую землю. Капища боговъ языческихъ будутъ разрушены; истуканы сокрушены... Не велѣмъ мы сдѣлать этого сегодня, дабы не нарушить погромомъ и пламенемъ мирнаго христіанскаго прибытія нашего, но мы сдѣлаемъ это; а какъ и гдѣ креститься народу нашему, будетъ обсуждено и исполнено, какъ тому подобаетъ... Костеръ этотъ,—завершилъ рѣчь свою Владиміръ, протянувъ въ сторону Перуна руку:—погасить!

Онъ замолчалъ и, снова взявъ княгиню, пошелъ слѣдомъ за шествіемъ. Медленно, величаво, будто волною радужной, всякими разноцвѣтными блестками разукрашенной, подвинулось шествіе во внутренность широкаго княжаго двора.

Ни однимъ звукомъ не отвѣтила на слова князя толпа народа, вплотную насѣвшая на окрестность, но въ глубокомъ молчаніи, встрѣтившемъ ихъ, сказывалась не одна только покорность; въ любопыт-

номъ смотрѣнїи на то, что происходить, лежала не одна только дѣтская простота; да и далеко и не вся дружина княжеская была крещена; да и не всѣ крещенные сердцемъ къ новой вѣрѣ лежали! И много было жрецовъ, и всѣ они были великою силой.

Узкой, узкой полоской, отъ Кіева на Новгородъ, только мало-по-малу стала просачиваться по Россїи, еще ранѣе словъ Владиміра, христіанская вѣра; она шла по старому, торному пути варяговъ, и шла очень туго, очень медленно.

Но костеръ передъ кїевскимъ Перуномъ потушенъ въ тотъ же вечеръ.

Когда погасъ костеръ, непривычная блѣдность обуяла идолище... Впервые освѣтился онъ въ ночи не полымемъ огня, а безтрепетнымъ луннымъ свѣтомъ.

— Лыбедь, Лыбедь, гдѣ-то ты, моя Лыбедь прекрасная! — думалъ Перунъ. — Хоть бы мнѣ еще разъ въ твою сторону взглянуть, посмотреть!


Думая такъ, Перунъ и не зналъ, что это желаніе его скоро исполнится, потому что его потащутъ къ Днѣпру задомъ напередъ и очами своими обернется онъ въ сторону Лыбеди.

Ночь сошла свѣтлая, благоуханная и прикрыла своимъ пологомъ многія сладкія свиданія вернувшихся съ похода ратныхъ людей, и безконечныя, о всемъ видѣнномъ и слышанномъ, толкованія. Во дворѣ Владиміровомъ давно уже все замолкло; ворота укрѣпили засовами; по вышкамъ размѣстились часовые. Самъ князь оканчивалъ свой день въ тихой бесѣдѣ о страшномъ судѣ съ прибывшими изъ Царьграда іереями. Они ему говорить умѣли, и былъ этотъ предметъ любимую бесѣдою престарѣлаго князя.

А по берегу Днѣпра, въ яркомъ свѣтѣ мѣсяца, подлѣ опустѣвшихъ ладей, глядѣвшихъ съ воды сво-

ими уставленными въ рядъ очами долго, долго толпились разные пестрые люди. Ихъ привлекали сюда, главнымъ образомъ, бронзовые кони. Оставленные, покинутые, молчаливые, съ высокихъ подставъ своихъ, ночью казались они еще выше, еще чуднѣе чѣмъ днемъ! Они мощно выдвигались изъ опустѣлыхъ лодокъ своими мѣдяными очертаніями, согнувъ крутыя шеи, наостривъ уши и точно вдыхая широкими ноздрями душистый воздухъ безоблачной полуночи. Въ кудрястыхъ гривахъ коней залегли густыя тѣни; блѣднымъ матомъ свѣтились ихъ холки, бедра и круглые, лѣтые, будто взиравшіе глаза.

О томъ, какъ взвезутъ этихъ тяжелыхъ корсунскихъ коней на крутыя горы Кіевскія; какъ ихъ на площади стараго Кіева, близъ нынѣшней Андреевской и Десятинной церкви, гдѣ ихъ Несторъ видѣть будетъ, уставятъ; какъ они пропадутъ потомъ куда-то безслѣдно—объ этомъ люди не узнаютъ никогда. Разсказъ о коняхъ жить остается, а, несомнѣнный, бронзовый корсунскій конь пропалъ!



## Б О Р О В Ъ.

---

Лѣтняя пора въ концѣ XIV вѣка; раннее утро; яркое солнце. Виденъ небольшой городокъ, построенный на утесахъ; утесовъ такъ много, что самый городъ носить названіе «Утесистаго» — Falaise.

Городъ окруженъ высокою стѣною, съ башенками и бойницами; стѣны бѣгутъ по скаламъ и оврагамъ. Треугольныя вершины домовъ, большею частью деревянныхъ, многоэтажныхъ, глядятъ изъ-за стѣны плотною, сбившеюся массою. Несмотря на яркое солнце, эта сплошная куча строеній, по которой, кажется, и улицѣ пройти негдѣ — такъ она густа, обрисовывается темными, острыми профилями по свѣтло-бирюзовой дали. Видно нѣсколько иглъ съ крестами; это шпили церквей, торчащіе въ воздухъ и весьма художественно нарушающіе сравнительное однообразіе городскихъ строеній. Дальше — рѣка; еще дальше — лѣса и горы и опять лѣса, кое-гдѣ перерѣзываемые пастбищами. Мѣстами, на вершинахъ горъ, темнѣютъ сосѣдніе замки, башни, стѣны; это ястребиныя гнѣзда рыцарей.

Передъ самыми городскими воротами, разсѣвшись по пустырю, собралось много народу. Народу все

прибываетъ. Надъ толпою, значительно болѣе пестрою, чѣмъ толпы въ наши дни, давно посѣрѣвшія и обезцвѣченныя, возвышаются нѣсколько висѣлицъ. Палачъ, весь въ пурпурѣ, тоже на своемъ мѣстѣ; онъ расхаживаетъ между висѣлицъ. Красный дѣтина захотѣлъ выпить. Кабакъ подлѣ. Это было такъ принято въ то время, чтобы лобныя мѣста и кабаки стояли рядомъ.

Толпа, завидѣвъ идущаго палача, съ отвращеніемъ и страхомъ къ этому непремѣнному дѣятелю среднихъ вѣковъ, раздалась въ стороны. Многіе изъ тѣхъ, что замѣчали его приближеніе не во время, завидѣвъ сразу подлѣ себя, кидались въ сторону точно ошпаренные и уходили въ толпу, нашептывая молитву. Палачъ подошелъ къ открытой ставкѣ кабака.

На скамьяхъ, подлѣ стола, сидѣли не старыя и сильно обнаженныя по плечамъ женщины. Какія-то сѣтки, разныхъ цвѣтовъ, съ весьма большими клѣтками, очень слабо прикрывали ихъ нагія шеи и грудь, чуть не до пояса. Сѣтки не созданы для того, чтобы скрывать что-либо; оттого-то и одѣли ихъ эти женщины, составлявшія тоже необходимую въ тѣ дни принадлежность кабаковъ, расположенныхъ подлѣ лобныхъ мѣстъ. Между ними красовалось человѣкъ пять королевскихъ арбалетчиковъ и латниковъ, исполнявшихъ полицейскую службу.

Эти арбалетчики, латники и женщины палача не особенно пугались; первые были ему свои люди, представители власти; женщины на половину пьяныя, очень веселыя, видѣли и не такіе виды и были всѣмъ свои.

— Что же они медлятъ, однако?—проговорилъ плечистый дѣтина, латникъ, вставъ изъ-за стола по приближеніи палача и осушая залпомъ кружку сидра, искони вѣковъ мѣстнаго нормандскаго напитка.



— Законныя формы исполняютъ, а на это время надобно,—отвѣтилъ ему арбалетчикъ.

Женщины захихикали. Палачъ приосанился, поправилъ поясъ и принялся пить.

Въ это время изъ города донесся одинокій ударъ колокола.

Въ толпѣ зашелестило.

— Потянулись! повезли! Господи, спаси ихъ души! бѣдные!—раздалось по сторонамъ.

Палачъ, бросивъ деньги на столъ, безмолвно, какъ пришелъ, направился къ висѣлицамъ. Кабатчикъ деньги, отданныя ему, швырнулъ въ стоявшую на колѣняхъ и костыляхъ безобразную толпу нищихъ и калѣкъ. Прокаженная и грязная куча людей бросилась подбирать деньги...

Толпа передъ палачемъ раздалась снова. Шумъ и говоръ прекратились. Послышался другой ударъ колокола, третій... Это были какія-то звуковыя ступени смерти, разносившіяся по утреннему воздуху; въ то же время это былъ голосъ дома молитвы.

\* \* \*

Слова, сказанныя арбалетчикомъ: будто надъ осужденными законныя формы исполняютъ, и потому медлятъ, были особенно типичны и особенно вѣрны въ то время. Никогда, нигдѣ не жгли, не терзали, не грабили съ такою законностью, какъ во Франціи при Филиппѣ Красивомъ. Королю во что бы то ни стало нужна была сила. Рыцарство—тогдашняя сила—относилось враждебно къ королю, какъ къ воплощенію идеи власти, и ему приходилось поискать другой помощи. Филиппъ догадался: онъ далъ право голоса буржуазіи и создалъ полицію. Явилось нѣчто совсѣмъ новое. Машина стояла готовая—нужны были люди; нужно было создать нити, протянуть ихъ

отъ трона по всему королевству для того, чтобы въ каждую данную минуту имѣть возможность пошевелить въ любомъ уголку страны, въ желанномъ направленіи, ту или другую фигурку, представительницу короны и ея интересовъ!

Появились законы, тысячи, десятки тысячъ новыхъ законовъ, собраны старые и вся эта махинація построена не просто, не безъ системы, но на незблемыхъ основаніяхъ кодекса Юстиніанова, знаменитаго римскаго права!

Окруженный клерками, легистами, всякими *chevaliers-es-lois* и цѣлою арміею чиновниковъ, писцовъ и ярыжекъ, Филиппъ явился какимъ-то новымъ, необычнымъ человѣкомъ посреди феодальнаго, вооруженнаго отъ головы до ногъ, міра. Чернильная армія его людей, предводимая Нагоретами, Плазіанами, и Мариньи, оказалась дѣйствительно всемогущею. Заручившись пандектами, соблюдая юридическія формы, клерки и легисты съумѣли взять живьемъ даже самого папу Бонифація; они выжгли, вырѣзали, вытравили изъ челоуѣчества рыцарскій орденъ тамплиеровъ, покупавшій цѣлыя королевства и владѣвшій ими; они дали Филиппу войско, чтобы душить возмущенія. Въ одинъ прекрасный день король объявилъ себя собственникомъ всѣхъ заемныхъ писемъ, данныхъ кѣмъ-либо евреямъ, и добавилъ, что не будетъ принимать уплаты по нимъ имъ же самимъ чеканенною дрянною французскою монетою; евреи были въ тѣ дни единственными банкирами и клерки оборудовали дѣло многомилліонное. Въ другой разъ, король повелѣлъ гражданамъ земли французской выдать королевской казнѣ половину всей домашней серебряной утвари; это были другіе милліоны, добытые клерками.

И все это писалось и отписывалось, обставлялось законами и ихъ толкованіями и выражалось не просто, а вѣжливо, граціозно и умно:

«Такъ какъ—писалъ король епископамъ—данное достойнѣе и пріятнѣе Богу и людямъ, чѣмъ вытребованное, мы просимъ вашу щедрость заплатить намъ, королю, двойную противъ прежняго подать, или пятую часть, вмѣсто десятой, доходовъ вашихъ».

«Мы невинны!» вопили пытаемые тамплиеры, сокровища которыхъ нужны были Филиппу,—слѣдовательно, нужна была смерть ихъ собственниковъ.

«Богохульники!» отвѣчали имъ на это легисты: «вы не можете быть невинны; потому что, по писаніямъ св. отцовъ, даже праведный грѣшитъ не менѣе семи разъ въ день. Вы противорѣчите отцамъ церкви, а это святотатство...» Святотатство достойно казни, и ихъ казнили; но форма была соблюдена и такъ называемый «процессъ тамплиеровъ» длился цѣлыхъ семь лѣтъ.

Фальшивымъ монетчикомъ называли Филиппа современники; потомство гораздо вѣжливѣе: оно называетъ его Красивымъ. Учрежденіе клерковъ и легистовъ показалось недурнымъ и его наслѣдникамъ, но это не мѣшало тому, чтобы, при всякомъ послѣдующемъ царствованіи, казнили самаго виднаго клерка предыдущаго царствованія: послѣ Филиппа Красиваго—паль Мариньи, послѣ Филиппа Длиннаго—Жераръ Гвектъ, послѣ Карла Красиваго—Реми. Благодарность—всегда благодарность.

Въ народѣ молчали; въ концѣ концовъ онъ, конечно, а никто другой, несъ на себѣ уплату грѣха фальсификаціи монеты, онъ запугивался кострами, висѣлицами, пытками, его застрашивали именемъ закона и формальностью юрисдикціи. Въ грубой чувственности старался онъ забыть свою голь, и развратъ самый невѣроятный, цинизмъ самый глубокій проступали вездѣ съ самою полною откровенностью.

Общество повыше, почище, если только общество

существовало въ тѣ дни naroжденія соціальныхъ элементовъ, оказывалось не лучше. Женщины четырнадцатаго вѣка дали возможность появленія на свѣтъ эротической эпопеи «Roman de la Rose», съ ея продолженіемъ. Женщины были обижены этимъ романомъ, говоритъ хроникеръ, особенно при дворѣ; онѣ задумали высѣчь автора въ королевскомъ же дворцѣ, и онъ спасся только хитростью.

Поэма его сохранилась; въ ней есть слѣдующіе характерные стихи:

„Car nature n'est pas si sotte...  
 „Ains vous a fait, beau fils, n'en doubtés,  
 „Toutes pour tous, et tous pour toutes  
 „Chascune pour chascun commune  
 „Et chascun commun pour chascune....

Позже, когда прошло время легистовъ и клерковъ, эротическая манія осталась и именно при дворѣ и въ семьѣ Филиппа, гонявшагося за деньгами, сказали свое первое слово тѣ любовныя неистовства, преемственность которыхъ тянется красною нитью по бѣлымъ лиліямъ французскаго королевскаго дома, вплоть до великой революціи.

Лѣтъ сто послѣ Филиппа начались другія формальности, другая юрисдикція и черненькіе клерки и легисты его времени стушевались.

\* \* \*

Удары колокола шли также равномерно одинъ за другимъ какъ и прежде.

— Кого-то ведутъ? съ кѣмъ-то покончатъ?—слышались въ толпѣ голоса старухъ.

За далью разстоянія нельзя было распознать участниковъ печальной церемоніи, но любопытство наостряло глаза, стараясь осилить разстояніе. Толпа, какъ извѣстно, любить казни, но въ тѣ дни келейнаго судопроизводства и безцеремонной распра-

вы, это любопытство имѣло характеръ болѣе основательный. Не диво было увидѣть, совершенно неожиданно, идущимъ на висѣльщю брата, отца; за что и про что, вѣдалъ одинъ Богъ: такъ было нужно.

Впрочемъ, приблизительно около того времени, о которомъ мы говоримъ, любопытству толпы нанесенъ весьма значительный ударъ. Король, т. е. клерки, въ постоянномъ попеченіи своемъ о народѣ, положили конецъ вѣшанію, сжиганію и четвертованію людей нагими, какъ это было до того. Ордонасы судебной власти «одѣли казнимыхъ» и этимъ, конечно, въ значительной степени ослабили яркость картины казней. Распоряженіе это являлось новымъ, и, какъ и всякое новое распоряженіе, наблюдалось въ то время, о которомъ идетъ рѣчь, съ точностью самую добросовѣстную.

Такъ было это и теперь. По мѣрѣ приближенія процессіи, въ ней не замѣчалось, какъ прежде, сыновъ Адама, лишенныхъ одежды. Нагія тѣла ведомыхъ на казнь не выдѣлялись своею яркою бѣлизною между темными рясами сопутствовавшихъ имъ юристовъ и монаховъ. Въ этомъ сказывался прогрессъ, одинъ изъ тѣхъ безконечно утѣшительныхъ, маленькихъ шажковъ въ развитіи человѣчества, которыми любуются тѣ, кто любоваться можетъ.

На этотъ разъ казнь не могла бы, повидимому, обѣщать много любопытнаго. Процессія шла не длинная, и казнимыхъ виднѣлось немного.

Прежде всего выступалъ толстый монахъ, съ распятіемъ въ рукѣ; его лицо, какъ и лица шедшихъ за нимъ монаховъ, были завѣшаны черными покрывами; для глазъ продѣланы отверстія. Кто именно шелъ подъ власяницею — сказать было невозможно. Ничто не мѣшало, въ случаѣ надобности, одѣть монаховъ полицейскихъ или хотъ женщинъ, и необходимая религіозность обстановки достигалась.

Монахи шли молча; въ рукахъ ихъ горѣли и дымилась факелы.

Вслѣдъ за ними, съ руками, связанными за спиною, шли двое осужденныхъ мужчинъ, понутивъ головы, уставивъ глаза въ землю. Имъ во слѣдъ сѣменилъ ногами третій, молодой человѣкъ; его держали на веревкѣ, и не трудно было отличить въ немъ, въ его ярко блестящихъ глазахъ, въ постоянной улыбкѣ лица, въ звукахъ голоса, распѣвавшего молитву, человѣка сумасшедшаго и рѣшительно не понимавшаго, куда его ведутъ и въ чемъ тутъ дѣло?

Далѣе слѣдовала телѣга съ большою, деревянною клѣткою, запряженная чахлою лошадею. Въ ней, при болѣе подробномъ разсмотрѣнн, замѣчалось два предмета. Одинъ, неподвижный, представлявшій изъ себя какую-то не вполне правильную массу, былъ явленіемъ обыкновеннымъ: женщиною, прошедшею пытку и не могшею идти на собственныхъ ногахъ. Лицо ея приходилось въ плотную къ одной изъ сторонъ клѣтки, и глаза были открыты; богатая коса отчасти спускалась за край клѣтки и конецъ ея почти волочился по грязи. Отъ движенія телѣги по кочковатой дорогѣ, лицо женщины то-и-дѣло стучалось о деревянные колья клѣтки, но чувствовала несчастная очень немного: жизни оставалось въ ней какъ разъ настолько, чтобы не пришлось вѣшать трупъ; рассказать могла бы она, если бы языкъ остался цѣлъ, конечно, больше чѣмъ всѣ другіе ея сотоварищи по путешествію: бѣдняга была и красива, и молода...

Еще таинственнѣе глядѣлъ, ближайшій къ ней, другой заключенный въ клѣткѣ. Этотъ другой, возбуждавшій всеобщее любопытство, былъ породный, усердно хрюкавшій боровъ. Хрюканье это нарушало удивительно странно тишину шествія и какъ бы

разъединяло еще болѣе отдѣльные удары церковнаго колокола, доносившіеся изъ города. Этотъ боровъ значился тоже въ числѣ казнимыхъ!!

Процессія остановилась.

Латники, пришедшіе съ нею, и тѣ, которые ожидали ее на мѣстѣ, занялись удаленіемъ народа въ сторону, и палачъ приступилъ къ послѣднимъ приготовленіямъ. Уже всѣ четверо изъ пересчитанныхъ осужденныхъ качались на веревкахъ, когда черный клеркъ прочелъ также и пятое изъ постановленій королевскаго суда, опредѣлявшее смертную казнь—борову!

Боровъ имѣлъ неосторожность убить человѣка. За убійство законъ опредѣлялъ смертную казнь. Боровъ долженъ былъ искупить преступленіе, но такъ какъ новый законъ требовалъ, чтобы, избѣгая соблазна толпы, казнимые прощались съ жизнію одѣтыми—предстояло одѣть борова. Объ этомъ подумали раньше, и изъ города привезена женская одежда; одеждѣ всегда оказывалось довольно много при мѣстахъ заключеній.

Толпа молчала упорно и глухо; зато черная, несмѣтная стая воронъ, налетѣвшая изъ сосѣдняго лѣса и расположившаяся по крышѣ и изгороди кабака, по висѣлицамъ, заявляла о своемъ прибытіи дружнымъ карканьемъ.

Борова одѣли въ привезенную юбку и правосудіе исполнило свое дѣло и надъ нимъ... Формальное правосудіе ошиблось, однако, и на этотъ разъ: борова не слѣдовало вѣшать въ юбкѣ.



## ВЪ СКУДЕЛЬНИЦѢ.

---

Царь Іоаннъ IV Васильевичъ сидѣлъ въ слободѣ Александровской. Страшная опричина тяготѣла надъ Россією, особенно надъ Москвою. Въ ближнемъ совѣтѣ царскомъ голосовали Малюта Скуратовъ и Алексѣй Басмановъ, имена которыхъ въ народныхъ пѣсняхъ, неумолчно слагавшихся на крови, стали кличками; дружина царская была набрана не изъ лучшихъ людей, а изъ буйныхъ удалцовъ и распутниковъ. Этими потерянными людьми, виновными въ томъ или въ другомъ предѣ правосудіемъ, окружилъ себя царь, въ расчетѣ на то, что, заслоня ихъ могучею близостью своею, онъ будетъ защищенъ ими лучше всего отъ страшившей его крамолы.

Въ безмолвіи и безсиліи лежала опустѣвшая Москва; златотканымъ вихремъ проносились по ней шумливые, веселые, озорные царскіе люди.

Подлѣ сѣделъ ихъ болтались собачьи головы.

— Это мы грыземъ лиходѣевъ царскихъ!—говорили про себя опричники: песьи головы должны были изображать это.

А съ другой стороны висѣла метла.



— Это мы Русь отъ крамолы подметаемъ!—толковали они.

Налетали царскіе дружинники-опричники къ дьякамъ, купцамъ, къ знатымъ людямъ земщины, уворовывали ихъ деньги, сосуды, одежды, брали женъ ихъ себѣ; красивѣйшихъ представляли Іоанну, выѣзжавшему къ нимъ навстрѣчу. Послѣ нѣкотораго времени, эти женщины возвращались отцамъ и мужьямъ. Не одна красавица умирала отъ стыда и горести; надо только припомнить затворническую жизнь русской дѣвушки, ея тихую свѣтлицу, подъ недремлющимъ надзоромъ мамушекъ и нянюшекъ, чтобы понять возможность быстрыхъ смертей всѣхъ этихъ испуганныхъ, поруганныхъ, обезстыженныхъ.

А въ Александровской слободѣ, въ честномъ храмѣ Богоматери, гдѣ на всякомъ изъ кирпичей, изъ которыхъ его сложили, изображенъ былъ крестъ, чтобы этими крестами, какъ бы нѣкоею броней, защититься отъ дьявольскаго навожденія извнѣ, царь съ четвертаго часа утра ходилъ на моленье. Выходилъ съ нимъ самъ Малюта; и гудѣли послушные колокола, сзывали на молитву, а концы веревокъ ихъ мѣдныхъ языковъ покачивали и подергивали не кто другой, какъ онъ, Малюта, и царь Іоаннъ!

И братія шла молиться! какая братія! Далеко не отрезвившись, еле сдерживая на губахъ своихъ развеселую пѣсню и не успѣвъ обтереть съ кинжаловъ крови людей, зарѣзанныхъ за ночь, еще полные богохуленьемъ и виномъ, входили опричники во внутренность храма. Кто бы посмѣлъ не пойти! На головахъ ихъ красовались черныя скуфейки, на плечахъ болтались длинныя монашескія рясы, изъ-подъ которыхъ, вслѣдствіе неувѣренности походки, то-и-дѣло просовывались шитые золотомъ кафтаны и ярко красные сафьяновые сапоги.

Царь, отягченный болѣзною душевною, входитъ въ храмъ, поддерживаемый ближайшими людьми своими. На искаженномъ лицѣ его нѣтъ черты спокойной; трепеть этого лица значительно усиливается трепетомъ пламени зажженныхъ въ храмѣ свѣчей. Блѣдность въ лицѣ царевомъ становится еще сильнѣе, потому что пламя свѣчей тоже блѣдно, тоже трепетно.

Ввели царя въ церковь; онъ молится. Служба въ храмѣ идетъ... Звучнѣе другихъ раздается подъ тяжелыми сводами церкви голосъ царя, поющаго или читающаго; отъ земныхъ поклоновъ его остаются знаки на морщинистомъ лбу. Царь то-и-дѣло стучается!

Нѣтъ такой силы воображенія, которая могла бы совершенно наглядно воспроизвести дикую помѣсь представленій въ мысляхъ опричника, стоявшаго въ этомъ храмѣ, послѣ ближайшаго ликованія, и усердно молившагося подъ пѣніе рѣзкаго, нетвердаго голоса царя!.. Мелькаютъ въ его мысляхъ снѣжныя очи опозоренной красавицы... иконостасъ съ темными ликами... отзвучія послѣдней пѣсни... дымъ ладана, разбѣдающій глаза... смѣлый прыжокъ лошади, прямо чрезъ тынъ, хорошъ онъ былъ! На этотъ разъ, тоже, кинжалъ въ ножнахъ застрялъ... бѣсъ его вѣдаетъ! не чищенъ, заржавѣлъ въ крови... а, сегодня ночью опять, пожалуй, будетъ нуженъ... Господи помилуй! Господи помилуй! Госп... двѣнадцать разъ! и пока клубится ладанъ и раздается Херувимская, опричникъ, опустившійся на колѣна, тихонько поднимаетъ руку и, по пути къ совершенію крестнаго знаменія, испытываетъ кинжалъ: вынимается онъ изъ ноженъ или нѣтъ.

— Вынимается! хорошо! и рука идетъ выше и обѣняетъ могучую, волнующуюся подъ рясою, грудь честнымъ крестомъ...

Въ это страшное время, какъ и во многія страшныя времена на Руси, рядомъ съ яркими, рѣзкими теченіями жизни, записанными въ лѣтопись, шли другія, болѣе широкія, болѣе охватывающія, но темныя, незамѣтныя, едва коснувшіяся пера лѣтописца. Благотвореніе въ самыхъ широкихъ размѣрахъ, молчаливое, скромное, безпритязательное, разливалось цѣлебнымъ масломъ на широкія, жгучія раны, наносимыя царемъ. Русь, найдя себѣ удивительное воплощеніе въ личности митрополита Филиппа, терпѣла, молилась, надѣялась, но нисколько не останавливалась передъ тѣмъ, чтобы говорить царю правду, чтобы завѣрить его въ томъ, что она, Русь, будетъ терпѣть, какъ терпѣла до сихъ поръ, но что то, что дѣлаетъ царь, все-таки нехорошо и не должно быть дѣлаемо. Русь, увѣренная, какъ и Филиппъ, въ побѣдѣ «невооруженной любви», благотворила тѣмъ больше, чѣмъ больше ее терзали. Если бояръ казнили десятками, то въ одну ночь поднимались, въ память ихъ, обыденныя церкви, расплажались клѣти нищихъ, множилось число богадѣленъ, призрѣвали подкидышей; если буйствовали опричники, то воздвигались и высились, издавна знакомые на Руси типы: Марка гробокопателя, боголюбиваго Станисла, нищаго Жгальцо и многихъ несчетныхъ божедомовъ.

Совершенно самостоятельнымъ, единственнымъ, является у насъ издревле типъ скудельницъ и особыхъ божьихъ людей, посветившихъ себя служенію при трупахъ. Въ полный разгаръ опричины, труповъ было довольно, и скудельное поле подъ Москвой населялось особенно быстро.

\* \* \*

Въ слободѣ Александровской, въ одной изъ гридней, идетъ пиръ горой.

Весенняя зорька только что разгорается за мелкими, косящатыми окнами и бросаетъ первые лучи на золотыя братины и серебряныя блюда, на цѣнные поставцы и яндавы, на развеселыя, пьяныя лица опричниковъ, на золотыя кафтаны ихъ. Тамъ на стѣнкѣ кафтанъ пріютился, тутъ на лавкѣ валяется, а здѣсь и съ плечъ богатырскихъ не совсѣмъ сошелъ, наполовину повисъ, да такъ и остался.

На дворѣ, за послѣднею ростепелью, сбѣжалъ послѣдній снѣгъ; по Москвѣ рѣкѣ ледоходъ; по небу сизыя, теплыя облачка отъ юга къ сѣверу пробираются.

— Эй, Петка, а Петка!—кричитъ изъ краснаго угла опричникъ, постарше прочихъ, бородатый, смуглый, какъ татаринъ; воротъ рубахи его разстегнуть; взглянуть на мохнатую грудь—точно медвѣдь обросъ.

— Какѡво тебѣ Петку?—отвѣчаетъ изъ другого угла тотъ именно, къ кому зовъ обращенъ:—мало ли тутъ Петровъ: называй полнымъ именемъ.

— Ну, ладно! понялъ и такъ, самъ отвѣтилъ... извѣстно: тебя зовутъ!!

— Такъ и величай понятливо, если отвѣта хочешь!

— Ну, ладно, боярскій сынъ князь Шустрый, сынъ Михѣевичъ.

— То-то!

— Сочини, голубчикъ Петка, какую бы намъ шутку выкинуть, не спроста объѣздъ какой совершить, а съ новымъ помысломъ? Лучше тебя никто не сочинить.

— Сочини! сочини!—загудѣло по сторонамъ.— Пора! утро! коней надо провѣтрить, да и себя продуть! Приэтомъ многіе поднялись съ мѣстъ: стали

оправляться, кафтаны одѣвать; другіе вытянулись по прилавкамъ, завидя свободныя мѣста. Повалилась гдѣ-то со стола братина; опрокинули скамью; въ одномъ изъ угловъ раздался звучный храпъ.

— Ну! Петка!

Петка сидѣлъ въ раздумьи. Ему что-то невесело. Медъ сыченый и зеленое вино подступали къ тяжелой головѣ и клонили ее, не въ примѣръ хуже, чѣмъ когда бы то ни было.

— Али тебѣ чередъ въ церковь съ царемъ идти?

— Нѣтъ!

— А почитай, братцы, — замѣтилъ кто-то: — скоро благовѣстъ начнется?

Отворили окно. Хлынулъ въ него свѣжій утренній воздухъ и одновременно съ этимъ въ гриднѣ сразу водворилось полное, боязливое молчаніе. Вдали, по улицѣ направлялись къ церковной колокольнѣ, мѣрно ступая одинъ подлѣ другого, въ скуфейкахъ и черныхъ рясахъ, двѣ хорошо знакомыя опричникамъ фигуры: царя и Малюты Скуратова. Поодаль шли кучею, покачивая кафтанами, наброшенными на плечи, ближайшіе князья и бояре. Царя отличить не трудно по стану и по походкѣ: онъ идетъ согнувшись, вынося далеко впередъ голову и ступаетъ тяжело, какъ бы подъ какою-то непосильною, невидимою ношею; длинная трость помогаетъ ему нести эту ношу и ступать; Малюта держится прямо, идетъ бодро, молодцомъ и трости у него не имѣется.

Вотъ подошли они къ колокольнѣ, и на колокольню взошелъ одинъ государь, сопровождаемый звонаремъ. Малюта и бояре остались у входа.

Едва только ударилъ колоколъ, какъ, мало-по-малу, изъ-за угловъ улицъ, изъ ближайшихъ домовъ, потянулись къ церкви одѣтые въ рясы братья-опричники. Нѣкоторые изъ нихъ прошли мимо отвореннаго окна гридни; не любо было имъ идти въ

церковъ! перемигнулись, перебросились словечками съ товарищами въ гриднѣ.

— Куда, братцы?—спросили у окна вполголоса.

— Вотъ ужъ Петка сочинить—отвѣтили тихо изъ гридни.

Петка, дѣйствительно, тѣмъ временемъ сочинилъ.

— Сѣдай коней, товарищи! знаю куда ѣхать. Только чуръ безъ шума, втихомолку выѣздъ.

Всталъ онъ съ мѣста, тряхнулъ головою и оправился.

— Куда, чортъ, говори?—спросили многіе.

— На скудельницу!—отвѣтилъ Петка.

— А зачѣмъ?

— Сегодня четвертокъ передъ Троицынымъ днемъ, тамъ вотъ мертвыхъ хоронить будутъ; издалека собираются божьи люди, и дѣвки, и жены приходятъ... Ну! поняли?

— Поняли!..

Не прошло и получасу, какъ изъ воротъ слободы, противлежавшихъ царскому дому, выѣхало челоуѣкъ пятнадцать опричниковъ. Кафтаны на нихъ все золотые, словно одной рукой шитые; шапки горѣли яркими бархатами, отъ свѣтло-бирюзоваго до темнозеленыхъ; сытые кони, большіе, пѣгіе, рыжіе, сѣрые, тоже пестрѣли подъ высокими сѣдлами и осыпанною бляхами и кистями сбруею. Бляхи сбруи, мечи и кинжалы побрякивали въ ладъ конскому ходу. Казалось, что поднимавшемуся солнцу любо было смотрѣть на эту воинскую красоту, такъ настойчиво старалось оно пронизать своими багровыми лучами глубокую синеву и густоту клубившагося на разсвѣтѣ тумана.

Отъѣхавъ въ молчаніи шаговъ пятьсотъ отъ воротъ, опричники, точно сговорившись, всѣ разомъ стегнули нагайками по конямъ, гикнули, свистнули и помчались знакомою имъ на Москву дорогою.

Застонала не вполне оттаявшая земля.

— Есть короче дорога! — крикнулъ зычнымъ голосомъ чернобородый: — сюда, братцы!

Онъ молодецки шарахнулся съ конемъ въ сторону черезъ плетень, вполне увѣренный въ томъ, что остальные за нимъ послѣдуютъ.

Это такъ и было: точно черти какіе на разгоряченныхъ нагайками коняхъ перемахнули опричники, одинъ за другимъ, а гдѣ и по-трое, черезъ плетень. Какъ разъ на этомъ мѣстѣ, за плетнемъ, чуя себя вполне дома, прижавшись къ нему вплотную, стояли ребятишки изъ ближайшей хаты и глазѣли. Поворотъ всадниковъ на нихъ былъ совершенно неожиданный, да и всадники ихъ не замѣтили.

Перемахнулъ одинъ, перемахнулъ другой, третій. Обезумѣвшіе отъ страха дѣти видѣли надъ собою животы лошадей, да вытянутыя конскія ноги, сѣрые, пѣгія, рыжія мелькали надъ ними. Конь подъ Петкою прошелъ ниже другихъ и чуть не тронулъ копытомъ одну изъ дѣтскихъ головокъ.

— Куда, черти, забрались! — промолвилъ Петка, увидавъ дѣтей съ высоты скачка своей лошади.

Дрогнуло у него сердце. Но не оттого дрогнуло оно, что малый ребенокъ отъ него мертвымъ покажется могъ, а оттого, что вотъ уже сколько времени, какъ его точно преслѣдуютъ какія-то знаменія: и сны тяжелые, и трескъ въ полночи, и въ ушахъ звенить, и постоянно онъ своего убитаго отца передъ собою видитъ.

На одной изъ первыхъ расправъ Іоанновыхъ посаженъ былъ на колъ князь Михѣй Шустрый, все имѣніе отобрано, а сынъ его, онъ, Петка, состоялъ уже въ то время опричникомъ. Проклялъ его отецъ, прокляла мать... а тутъ, вотъ, предзнаменованія пошли. И самое предложеніе его ѣхать на скудельное поле, пришедшееся товарищамъ по-сердцу какъ

новинка, задумано имъ согласно общему складу мыслей. Хватилъ онъ нагайкой и безъ того замыленного коня и выругалъ его крѣпкимъ словомъ.

Вдали стало выясняться село Скудельниче. Опричники сдержали коней, чтобы въѣхать въ него незасорно, чтобы люди не разбѣжались. Кони, облитые пѣною, сбились въ одну общую кучу, наваливаясь одинъ на другого и, по утреннему холодку, поднялся надъ ними плотный столбъ пара, такъ что:

Отъ пару было отъ конинаго

Не видать луча свѣта бѣлаго!

Многія изъ уздечекъ оказались окровавленными; не одинъ новый рубецъ вздулся на круглыхъ бокахъ вѣрныхъ коней...

Далеко не безмолвно было въ это утро въ селѣ Скудельничьемъ; оно дѣйствительно кишѣло пришлымъ народомъ. Въ четвертокъ передъ Троицынымъ днемъ люди добродушные сходились сюда отовсюду рыть могилы для странниковъ и пѣть панихиды объ упокоеніи душъ тѣхъ, имя, отчество и вѣра которыхъ были неизвѣстны. Они не умѣли назвать ихъ, этихъ людей, но думали, что Богъ слышитъ и знаетъ, за кого возносятся молитвы. Впрочемъ, не одни безимянныя люди погребались въ скудельницахъ: попавшие молніею, замерзшіе, утопшіе, разбойники, отравленные, самоубійцы, иноземцы, люди замученные пыткой и умершіе въ темницахъ, въ опалѣ, всѣ, всѣ свозились сюда, въ ожиданіи погребенія. А мало ли было такихъ и подобныхъ за истекшую зиму? тѣла доставлялись отовсюду, изъ Москвы и окрестностей, ихъ складывали или во временно вырытыя ямы, или въ убогіе дома, иногда въ подземелья со сводами. Надъ этими временными помѣщеніями ставились будки для чтеній надъ покойниками и особые люди, божьи люди, божедомы шли на службу къ ожидающимъ погребенія. Страшны



должны были быть печали того смраднаго времени, которыя люди думали утолить, загасить, въ этой близости къ безмолвнымъ гноищамъ; были между чтецами мужчины, были и женщины.

Едва только завидѣли въ селѣ, давнымъ-давно проснувшемся, приближеніе наѣзда опричниковъ, все, что могло, попряталось въ избы; матери особенно усердно загоняли дѣтей.

— Ироды, Ироды ѣдутъ!!—говорили они со страхомъ, толкая дѣтей въ подворотни, въ сѣни, въ погреба.

Шагомъ въѣхали опричники въ село; оправивъ шапки и подбоченясь, оглядывали они обезлюдѣвшую улицу.

— Куда же тутъ дальше, Петка?—спросилъ кто-то.

— А вотъ, уже, какъ колодець минуемъ, вправо возьмемъ, тутъ въ самое поле къ покойникамъ и выѣдемъ.

Взяли вправо отъ колодца и дѣйствительно въѣхали въ широкое, чистое, безконечное поле. Тамъ и сямъ, по ясной, свѣтлой, мерцающей дали темнѣли будочки, торчавшія надъ временными усыпальницами. Казалось, въ этой безконечности голубыхъ и розовыхъ цвѣтовъ сіяющаго утра не можетъ быть такой близости смерти, гніенія и ужаса, какая была въ дѣйствительности, если бы не вѣтеръ, дувшій опричникамъ прямо въ лицо, полный гнойнаго, тяжелаго смрада; гноища, оттаявавшія въ теплѣ весны, служили источниками этихъ невыносимыхъ повѣтрій. Подлѣ самыхъ скудельницъ и будочекъ, темнѣвшихъ торчками по чистому полю, людямъ, собравшимся на Божье дѣло, спрятаться было некуда: отъ коней не убѣжишь! мелькали монахи, калѣки, нищіе, мелькалъ и темный народъ, и много было женщинъ и дѣвушекъ.

Опричники, сначала по-двое, и по-трое, а потомъ

и въ одиночку, въ разсыпную разѣхались по полю на смотрины. Петка скорѣе другихъ отдѣлился отъ прочихъ. Глазъ у него былъ зоркій, опытный; завидѣлъ онъ подлѣ одной изъ самыхъ ближнихъ скудельницъ красную дѣвушку. Красивой показалась ему ея осанка; остальное молодецъ дорисовалъ самъ и пустился за нею. Испуганная, юркнула она въ открытыя двери скудельницы и исчезла.

Опричникъ хотѣлъ было слѣдомъ на конѣ въѣхать: нельзя—о надолбу стукнешься. Передъ конемъ, рѣзко осаженнымъ съ наскока у самой надолбы, шли сходни внизъ, въ подземелье. Петка соскочилъ съ коня, привязалъ его къ суку ближайшаго столбика и началъ спускаться.

Скудельница оказалась обширнѣе прочихъ, она была поставлена по общанію. Широкій каменный сводъ, почти плоскій, покрывалъ собою длинное, длинное логовище, наполненное трупами. Едва не задыхаясь отъ трупнаго запаха и мало-по-малу приглядѣвшись къ потемкамъ, Петка отличилъ, благодаря свѣту, проникавшему въ раскрытую на сегодня дверь, что подлѣ логовища, вокругъ него, шелъ земляной выступъ, по которому можно было обойти скудельницу.

Дѣвушка скрылась несомнѣнно близко, но куда? Петка озирался. Въ ушахъ у него звенѣло, въ глазахъ мутилось отъ невыносимаго запаха гнойнаго воздуха. Такъ какъ онъ остановился недалеко отъ входа, то блескъ золота на его кафтанѣ, оправа меча и кинжала, яркость голубого бархата шапки и красные сапоги должны были броситься въ глаза всякому, если бы тутъ былъ кто живой, въ этой юдоли смерти и запустѣнія. Въ неясныхъ, черныхъ, бѣлесоватыхъ и бурыхъ тѣняхъ выдѣлялись предъ его глазами изъ глубокаго логовища очертанія, когда-то живыя, человѣческихъ тѣлъ, сваленныхъ какъ попало. Онѣ точно на показъ выставили: кто руку,

а кто ногу, а кто и ужасное, невѣроятно искаженное смертью и временемъ лицо. Кровь прилиwała Петкѣ въ голову все больше и больше; онъ не двігался съ мѣста, задыхался.

— Но куда же дѣвка скрыться могла?—думалъ онъ, и эта упорная мысль, занесенная имъ сюда со свѣжаго воздуха, изъ-подъ солнечнаго блеска, оказывалась самою ясною изъ всѣхъ мыслей его помутившейся головы.

— А! вонъ и божедомка!—проговорилъ онъ вслухъ, отличивъ, наконецъ, шагахъ въ четырехъ отъ себя, сидѣвшую на выступѣ, темную, неподвижную женщину:—эта скажетъ мнѣ, куда дѣвка скрылась.

Онъ осторожно отмѣрилъ отдѣлявшіе его отъ нея четыре шага, боясь поскользнуться въ потемкахъ и полетѣть въ логовище, и очутился надъ самою божедомкою.

Женщина сидѣла спиною къ стѣнѣ, охвативъ обѣими руками свои поднятыя колѣни и опустивъ на нихъ голову, точно дыша такимъ образомъ и пропуская смраднѣйшій воздухъ сквозь гнилые лохмотья одежды; такъ было легче, такъ было возможно оставаться тутъ живымъ и не задохнуться. Подлѣ нея на уступѣ лежала раскрытая книжка, должно быть псалтырь; толкнулъ опричникъ божедомку ногою, толкнулъ сильно.

— Эй! тетка!—крикнулъ онъ ей съ сердцемъ.

Женщина только и ждала чьего-либо толчка, чтобы повалиться къ покойникамъ. Какъ была она согнутою, окостенѣвшею, такъ и скатилась, не расправившись, съ неширокаго обхода въ глубину логовища, къ другимъ тѣламъ, на свое мѣсто.

— Проклятая!—промолвилъ Петка, продолжавшій озираться и занятый мыслью о дѣвушкѣ.

Глаза его, привыкшіе къ полумраку, отличили, что въ скудельницѣ имѣлись отдѣльные ходы. Дѣ-

вушка могла скрыться только по тому изъ нихъ, который шелъ вправо; маленькія отдушины, свѣтившія тутъ и тамъ, указывали ему дорогу. Какъ ни шумѣло въ головѣ Петки, какъ ни рокотало въ ушахъ, какъ ни тяжело дышалось ему, но онъ все-таки пошелъ впередъ, обогнулъ одинъ уступъ скудельницы, другой, повернулъ влѣво. Открылось опять широкое логовище, не меньшее перваго. Въ самомъ концѣ его, въ противоположномъ углу, бросилось въ глаза Петки удивительное свѣтовое сіянье...

Забѣжавъ въ уголъ, изъ котораго другого пути, какъ назадъ, не было, дѣвушка остановилась у самой отдушины и издали глядѣла на Петку, неподвижная, чудесная! Сквозь отдушину, обращенную прямо на востокъ, обильнымъ потокомъ вливались румяные лучи утренняго солнца и золотили пламенемъ и багрянцемъ лицо прижавшейся къ углу бѣглянки.

— Красавица!!—проговорилъ Петка, точно очарованный этимъ свѣтозарнымъ явленіемъ, возникшимъ передъ нимъ сразу, поверхъ труповъ и смрада, изъ глубокой тьмы и острыхъ очертаній скудельницы.

Дѣвушка продолжала горѣть радужнымъ свѣтомъ.

— Воздуха, воздуха!—крикнулъ вдругъ, вполне неожиданно Петка, рванувъ на себѣ, что было силы, воротъ рубахи.

А видѣнье все горѣло, да горѣло, и чѣмъ ярче становилось оно, тѣмъ болѣе затуманивалось сознание опричника... Онъ думалъ было опереться о стѣны—но руки скользнули... подогнулись колѣни и грохнулся онъ на землю, какъ снопъ, и забѣгали быстрые огоньки отраженныхъ лучей солнца по шитому кафтану Петки, растянувагося мертвымъ во весь молодецкій ростъ вдоль уступа, окружавшаго безобразное логовище... Въ головѣ его никакихъ мыслей больше не нарождалось...



## ФОРНАРИНА.

---

На папскомъ престолѣ Левъ X. Рафаэль въ полномъ развитіи таланта и на высотѣ славы.

Богатая звѣздами, но безлунная, осенняя ночь опустилась надъ Римомъ.

Кому знакомы нынѣшнія очертанія вѣчнаго города, если смотрѣть на нихъ съ Monte-Pincio, не понялъ бы сразу, гдѣ онъ находится. Съ той стороны, гдѣ поднимается сегодня, въ глубокой правильности очертаній, куполъ святого Петра, тамъ было пустое мѣсто, и по темной синевѣ неба пылали звѣзды. Постройка собора въ тѣ дни была доведена только до основаній барабана, и вокругъ него торчали верхи безчисленныхъ лѣсовъ. Самого купола еще не существовало; о немъ говорили, спорили, его разгадывали. Не существовало и знаменитыхъ колоннадъ, охватывающихъ площадь; ихъ только еще проектировали и намѣревались охватить ими не одну только площадь, но и значительную часть, а можетъ быть и весь Римъ, включивъ его такимъ образомъ въ объятія католической церкви. Какая гигантская мысль, какія холодныя, красивыя объятія!

Эта мысль вѣроятно была бы приведена въ исполненіе, если бы не знаменитые тезисы, которые какой-

то Лютеръ, гдѣ-то далеко на сѣверѣ, прибилъ къ стѣнамъ виттенбергской церкви; простая бумага этихъ тезисовъ въ Виттенбергѣ разрушила мраморы и бронзы возрожденія въ Римѣ.

Мастерская Рафаэля помѣщалась съ одной стороны соборной площади,—изображеніе этого зданія дошло до насъ, само же оно снесено для того, чтобы уступить мѣсто колоннадамъ.

Немного позже полуночи, въ одномъ изъ открытыхъ оконъ мастерской Рафаэля отдернули занавѣску; свѣтъ, замѣчавшійся въ мастерской съ улицы только въ скважины между занавѣсками и боками оконъ, хлынулъ весьма обильно въ темную ночь, раскинулся квадратомъ по мостовой и захватилъ часть стѣны противолежавшаго дома.

Въ окнѣ показался Рафаэль; онъ облокотился на подоконникъ и продолжалъ съ кѣмъ-то, невидимымъ съ улицы, разговоръ. Въ тишинѣ ночи, его голосъ звучалъ довольно ясно; подслушать было, однако, невозможно. Онъ говорилъ съ Форнариною; она находилась у него.

А было о чемъ говорить. Не дальше, какъ сегодня утромъ, его святѣйшество, папа, приставивъ къ глазу свою классическую лорнетку, хорошо знакомую намъ по портрету его, писанному Рафаэлемъ, приказалъ высѣчь одного изъ импровизаторовъ за скверные стихи; зато смѣялся онъ отъ души удачнымъ шуткамъ своихъ буфоновъ. Позже ѣздилъ папа смотрѣть вновь отрытую подлѣ термъ Каракаллы статую Венеры; Рафаэль сопровождалъ его. Статуя лежала еще наполовину въ землѣ, и обнажены были только голова и плечи, когда они прибыли. Бѣлая очертанія ея мраморнаго лика, осторожно освобожденныя отъ хранившей и окружавшей ихъ бурой земли, глядѣли залитыя полуденнымъ солнцемъ. Левъ Х, подойдя къ ней и приставивъ лорнетку къ глазу,

нагнулся и улыбался; улыбалась ему въ отвѣтъ и статуя.

— Это важнѣе лютеровскихъ тезисовъ!—замѣтилъ папа, обращаясь къ Рафаэлю.

— Это можно было бы нарисовать,—сказалъ Рафаэль Форнаринъ, вспоминая слова папы:—и вышло бы чрезвычайно красиво — папа наклонившійся надъ статуею Венеры! Меня вообще поражаютъ контрасты, и когда я вспомню, что немного лѣтъ назадъ, въ томъ же дворцѣ, гдѣ теперь властвуетъ Левъ X, властвовалъ Юлій II, и что я самъ видѣлъ его опоясаннымъ мечемъ, идущимъ осаждать крѣпость, мнѣ ужасно жаль, что я не сдѣлалъ тогда его портрета.

Рафаэль былъ правъ, упомянувъ о контрастахъ. Остръ, язвителенъ, одуряющъ былъ воздухъ этого удивительнаго времени возрожденія. Литаніи въ церквахъ распѣвались на мотивы плясовыхъ пѣсенъ; картины монастырскихъ рефекторій и сакристій пылали обольстительною наготою чудесныхъ красавицъ, изображавшихъ кающихся Магдалинъ; просторъ открывался всякому преступленію, но зато скатертью шла дорога таланту и гению. Почти одновременно живутъ и дѣйствуютъ: залитый кровью Цезарь Борджіа; ухмыляющійся, торгующій собою праотецъ журналистики Аретинъ; фанатики и аскеты Саванарола и Фра-Бартоломео; банкиры-сибариты размѣровъ герцога Лоренцо; колоссы таланта—Леонардо-да-Винчи, Микель-Анджело, Рафаэль; цвѣтеть эротическая поэзія Декамерона и совершаются печальныя, траурныя повѣсти семьи Ченчи и многихъ, многихъ другихъ. До какихъ предѣловъ доходила въ Италиі виртуозность преступленія, видно на примѣрѣ одного священнослужителя алтаря, по имени Пеллегати. Рафаэлю минуло тринадцать лѣтъ, когда въ Феррарѣ, въ желѣзной клѣткѣ, снаружи крѣпостной башни, былъ выставленъ на позоръ этотъ Пеллегати.

Совершивъ литургію, онъ вслѣдъ затѣмъ убилъ человѣка и былъ прощенъ папою; затѣмъ, оставаясь священникомъ, убиваетъ еще четверыхъ, женится на двухъ женахъ, съ которыми путешествуетъ, и, ставъ во главѣ шайки, гуляетъ по странѣ, убивая и насилуя безъ счета: и это не сказка, а историческая быль.

На все это, и многое подобное, Левъ Х мило-стиво смотрѣлъ сквозь свою классическую лорнетку. Чрезвычайно самостоятельно красуется на этомъ искрящемся фонѣ того времени спокойная, ясная фигура Рафаэля. Всѣ почести земныя осѣнили его. Онъ былъ молодъ и счастливъ, и геніальнѣе его не было никого; весь Римъ знаетъ его въ лицо; онъ ходитъ не иначе, какъ сопровождаемый полусотнею учениковъ и почитателей. Онъ не особенно красивъ, средняго роста, но сложенъ хорошо. Длинные, свѣтлые волосы, слегка кудрявясь, падаютъ на плечи изъ-подъ небольшой черной бархатной шапочки; шея его длиннѣе чѣмъ слѣдуетъ; черты лица, носъ,—почти неправильны, но глаза... эти глаза удивительны! они заслоняютъ собою всего человѣка; они свѣтятся такимъ блаженнымъ, внутреннимъ свѣтомъ! они полны такимъ чрезвычайнымъ, невѣроятнымъ для того времени, по-коемъ...

Злые языки, изъ клики его соперника Микель-Анджело, подтруниваютъ, будто папа хочетъ дать Рафаэлю красную кардинальскую шапку и что Рафаэль добивается этого; сторонники Рафаэля ехидно отвѣчаютъ на это, говоря, что красный цвѣтъ давно уже нашелъ себѣ болѣе приличное мѣсто, а именно на красныхъ сапогахъ Микель-Анджело, въ которыхъ онъ, покашливая, ходитъ по старой памяти, къ такой же старой, какъ и самъ онъ, Викторіи Колоннѣ! О привязанностяхъ Рафаэля сторон-



ники его умалчивали, а между тѣмъ онѣ имѣлись, эти привязанности... и ихъ было много, но одна, главная, стояла особнякомъ:—Форнарина.

Кто она?

Форнарина! попросту — булочница! даже некрасиво! Не искать ли отвода глазъ въ этомъ странномъ имени? Что она существовала, это несомнѣнно: она чувствуется въ историческомъ очертаніи фигуры самого Рафаэля, она свѣтитъ изъ нея.

Отдѣльныя черты лица Форнарины проскальзываютъ иногда въ мадоннахъ и другихъ женскихъ головкахъ Рафаэля, но нигдѣ не сосредоточиваются вполне. Ни про одну головку нельзя сказать: вотъ она! Какимъ-то чуть слышнымъ дуновеніемъ струится подлѣ историческаго облика знаменитаго любовника эта прекрасная женщина, смѣсь легенды и правды, чьихъ-то предположеній и намековъ, чьихъ-то нескромныхъ подсматриваній и собственныхъ неосторожностей, и на этой свѣтлой ткани не тяготѣетъ даже легчайшаго изъ всѣхъ видовъ плоти—имени!

Доносъ, извѣтъ, сплетня цѣнились въ то время чрезвычайно высоко; за нихъ платили золотомъ, почестями, любовью красавицъ. Какъ было, казалось, не узнать людямъ, когда стѣны подслушивали, потолки видѣли, и гдѣ же? подлѣ самого Рафаэля! Не узнали, однако. Но Форнарина сдѣлала свое: она свѣтила Рафаэлю, обозначилась и сгинула для того, чтобы жить навсегда.

— Кардиналъ Бибіена опять слѣдилъ за тобою?—спросилъ Рафаэль, неожиданно обратившись къ Форнаринѣ.

Она сидѣла въ высокомъ, крытомъ пунцовымъ бархатомъ, креслѣ, на которомъ не разъ приходилъ сиживать самъ папа и, ярко освѣщенная, рисовалась прелестно, составляя живой центръ роскошной мастерской, со стѣнъ, изъ угловъ, съ треногъ которой

глядѣли, въ наброскахъ, этюдахъ и повтореніяхъ, многія изъ извѣстнѣйшихъ работъ Рафаэля.

Зеленое бархатное платье, обшито по краямъ золотою оборкою, лежало хвостомъ своимъ, въ густыхъ, массивныхъ складкахъ, на полу; на высокихъ буфахъ, подлѣ плечъ сквозили прорѣзы бѣлаго атласа; бѣлымъ атласомъ прикрыта была грудь и часть шеи: не будь этого атласа, низко вырѣзанный корсажъ могъ бы казаться нескромнымъ и не идти Форнаринѣ...

Насколько не былъ красавцемъ Рафаэль, настолько же не была красавицею и она. Отъ того, вѣроятно, не видно выдающихся, земныхъ красавицъ и между всѣми женскими лицами, вышедшими изъ-подъ его кисти. Зато сколько въ нихъ женственности, прелести, очарованія! сколько задумчивости, сколько мысли!..

Въ отвѣтъ на вопросъ Рафаэля о кардиналѣ Бибиена, Форнарина молча кивнула головою.

— О! оставайся, оставайся такъ!—неожиданно проговорилъ Рафаэль, быстро поднявшись, отойдя отъ окна и направившись къ ней.

— Зачѣмъ?

— Я напишу тебя!

Форнарина быстро поднялась съ мѣста и отрицательно покачала головою.

— Такъ, значитъ, опять нельзя?—проговорилъ Рафаэль, тихо приближаясь къ ней и глядя ей въ глаза. Зачѣмъ же не хочешь ты оставить слѣда по себѣ? зачѣмъ не позволяешь ты мнѣ, для меня, для одного меня, не по памяти, какъ я это дѣлаю, раскидывая твои прелестныя черты по отдѣльнымъ лицамъ картинъ, а съ тебя самой, съ тебя, сіяющей модели моей, созданной Богомъ, написать хотя бы разъ, хотя одинъ только разъ!

— Потому что я люблю тебя! негромко отвѣтила Форнарина.

Сдѣлавъ шагъ къ Рафаэлю, она взяла его за руку, подвела къ креслу и просила сѣсть вмѣсто себя. Сама она облокотилась на его плечо.

Существуетъ картина одного художника, изображающая подобную сцену между Рафаэлемъ и Форнариною. Художникъ, для большей ясности мысли, нарисовалъ за ними улыбающагося амура, натягивающаго лукъ; но присутствіе этого шаловливаго, смѣлаго, вертляваго бога въ ту минуту было бы чрезвычайно неумѣстно. Его и быть не могло. Зато звучала тихая, тихая рѣчь Форнарины, подъ обаяніемъ которой Рафаэль, сидѣвшій въ креслѣ, оставался недвижимъ.

— Люблю тебя давно и буду любить! сказала она.—Знаешь ли ты, что значить скупость? Я скупа! если бы я, во всеуслышаніе, объявила себя твоею, мнѣ бы стыдно не было; нѣтъ коронованнаго князя, нѣтъ принца крови, который не считалъ бы за честь придти сюда, ко мнѣ, къ твоей любовницѣ, въ блестящій кругъ большихъ и славныхъ людей, которыми ты окруженъ. Но тогда наша любовь, какъ я о ней думаю, лишилась бы своей скромности, и цѣльною, какъ теперь, она бы не была: разглашенная любовь—улетучивающаяся любовь! а я этого не хочу, не могу, и вотъ почему я такъ скупа. Не только жаль мнѣ потерять что-либо изъ любви нашей, но я даже изображенія своего, принадлежащаго этой любви, не дамъ. Люди скажутъ тогда: это съ нея снято! а я вся твоя, да, вся, вся. Ты понялъ?

Ничего не отвѣчая и не выпуская руки Форнарины, Рафаэль придвинулъ ногою инкрустованный перламутромъ табуретъ и уговорилъ ее сѣсть.

— Знаешь ли что, продолжала Форнарина, кардиналъ Бибіена добьется своего: онъ женить тебя на своей племянницѣ.

— Не хочешь ли ты сама просить его объ этомъ? проговорилъ Рафаэль.

— Да... буду!

Рафаэль никакъ не ожидалъ этого отвѣта. Онъ всталъ съ мѣста и молча отошелъ. Сердце его сжалось неожиданно и быстро: онъ испугался этихъ словъ.

— Слушай, продолжала Форнарина,—но только слушай до конца! я знаю, чье высокое ходатайство хочетъ твоей свадьбы! Этого хочетъ самъ папа! Я знаю, какъ трудно было тебѣ, много разъ, отклонять его; я знаю, что продолжаться эти отказы твои не могутъ; я видѣла Марію, которую тебѣ прочать; ты не можешь долѣе отказываться. Ты долженъ...

— Однако...

— Послушай... Обрученіе еще не свадьба! — замѣтила Форнарина,—обручись!...

— И это ты просишь меня! ты! объ этомъ?!

— Я не только прошу, я куплю твое согласіе, потому что оно нужно! почти прошептала Форнарина.

— купишь, воскликнулъ Рафаэль, рѣшительно недоумѣвая.

— Да, да! отвѣтила Форнарина увѣренно,—куплю.

Она встала съ мѣста. При первыхъ шагахъ по направленію къ Рафаэлю, стоявшему поодаль, обрисовался роскошный станъ, охваченный зеленымъ бархатнымъ корсажемъ; на широкой золотой цѣпи, укрѣпленной на одномъ изъ бедръ и спускавшейся съ другой стороны ниже колѣна, опустился и повисъ цѣнный, усыпанный изумрудами кошель, необходимая принадлежность женщины того времени. Выпрямились, вытянулись складки тяжелого бархата платья, и мелкія тѣни перебѣжали на другія мѣста его, точно заиграли; Форнаринаправила волоса.

— Ты, продолжала она не громко,—только что говорилъ мнѣ, что я не позволяю тебѣ рисовать съ себя, что ты рисуешь меня по памяти?

— Говорилъ.

— Ты говорилъ, что недоволенъ своими моделями? я тебѣ моделью не служила никогда... Ты умолялъ, просилъ, грозилъ... Но ты меня все-таки моделью не взялъ... Обѣщай обручиться съ Марією и тогда пиши съ меня!

Форнарина направилась къ окну, опустила занавѣску и, подойдя къ Рафаэлю, стала передъ нимъ. Рафаэлю почудилось, какъ бы сквозь сонъ, что шелкнулъ замочекъ женскаго пояса, который передъ нимъ снимали; что блеснули острые грани пуговицъ изъ-подъ разстегивавшихъ ихъ пальцевъ; что тяжкія складки зеленого бархата стали перебѣгать, перемѣщаться, ломаться какъ-то иначе, непривычно рѣзко, падать одна на другую, и что ему говорили:

— Ты напишешь всю меня, всю... но только лица не напишешь... не правда ли?...


Модель стояла передъ художникомъ...

Для того, чтобы придти къ рѣшенію, удивившему Рафаэля, Форнарина много разъ ходила смотрѣть Марію, которую прочли ему въ жены. Что думала она, что соображала, что взвѣшивала, оглядывая со стороны, гдѣ-нибудь въ полумракѣ церкви, или на гульбищѣ, эту дѣвушку, свою соперницу, вовсе не красивую, племянницу князя церкви, вовсе не замѣчавшую внимательнаго взгляда Форнарины.

Форнарина очень хорошо понимала, что, послѣ обрученія, могущественный кардиналъ будетъ лучшимъ оплотомъ, лучшимъ пособникомъ ея противъ всякихъ другихъ попытокъ женить Рафаэля на болѣе опасной соперницѣ, и она потребовала, она купила это обрученіе. Дальнѣйшую, безмолвную борьбу съ Марією, обрученною невѣстою Рафаэля, любов-

ница принимала на себя, и не ошиблась въ расчетѣ: Рафаэль умеръ—не женившись!

И какъ молодъ былъ онъ, умирая! Когда, въ тридцатыхъ годахъ нашего столѣтія, возникло сомнѣніе объ одномъ изъ череповъ, хранившемся въ академіи св. Луки и считавшемся черепомъ Рафаэля, рѣшено было открыть могилу его въ Пантеонѣ. Могилу открыли. Составленъ актъ осмотра и въ немъ сказано, между прочимъ: «голова найдена хорошо сохранившеюся, и всѣ зубы, счетомъ тридцать одинъ, прекрасны; тридцать второй зубъ нижней челюсти, съ лѣвой стороны, еще не успѣлъ прорѣзаться вполнѣ».



скаго гражданства, заявляя о себѣ при первой возможности. Въ V вѣкѣ на Капитоліи еще приносились жертвы богамъ; до VII вѣка каждый изъ острововъ Венеціи имѣлъ своего трибуна; въ XII вѣкѣ римляне, изгнавъ папу, собираютъ сенатъ и назначаютъ консуловъ; духовное лицо XII вѣка, поэтъ *Carmina Burana*, изучаетъ Овидія, Лукіана и Виргилія; въ XIV является Ріенци, самъ даетъ себѣ званіе трибуна и облекается императорскою мантиею, а въ XV вѣкѣ, убійцы Галеаццо Сфорцы, готовясь совершить свое преступленіе, думаютъ совершить его непременно классически, и знакомятся для этого съ заговоромъ Катилины, по Саллюстію...

Въ 1300 году, т. е. когда Европа только вступала въ самое мрачное время своей жизни, въ Римѣ, на знаменитомъ юбилеѣ, уже присутствовали такіе люди какъ Данте, Бокаччіо, Виллани и послѣдній изъ нихъ, будто въ предвидѣніи, писалъ уже въ началѣ своей исторіи полныя значенія, характерныя для времени слова: «Римъ — разрушается, мой городъ — Флоренція идетъ на творчество... великихъ дѣлъ!» Еще учитель Данте былъ составителемъ энциклопедіи наукъ, а появленіе подобной энциклопедіи Дидро во Франціи обозначило, какъ извѣстно, время первой революціи. Въ XIV вѣкѣ французскіе короли предписываютъ, кому сколько имѣть у себя въ домѣ серебряной посуды и какъ кому одѣваться; во Флоренціи, напротивъ того, нѣтъ даже какой-либо общей моды для одежды, потому что всякій одѣвается по-своему и долженъ быть свободенъ даже въ этомъ. Когда Европа знаетъ одинъ только родъ театральныхъ представленій — мрачныя мистеріи, на сюжеты, взятые изъ Св. Писанія, длящихся десятки дней, въ Италіи давно уже существуетъ комедія съ характерными типами *Arlechino*, *Pulcinello*, *Dottore*, *Capitano*, всѣ несомнѣнно

революціоннаго пошиба. Въ Венеціи въ XIV вѣкѣ уже собирались статистическія данныя, существовали пансіоны и богадѣльни для вдовъ и сиротъ, а отцы, умирая, обязывали государство въ своихъ завѣщаніяхъ взимать по 1000 золотыхъ гульденовъ за дѣтей, не знающихъ ремесла и неспособныхъ къ ремесленному занятію! Генуя, какъ извѣстно, награждала правомъ плебейства. Значеніе воспитанія не теряло въ Италіи своего смысла никогда; педагоговъ было много, на нихъ имѣлось требованіе, и стоитъ назвать имена Витторино-да-Фельтре или Гуаріно, чтобы понять, какіе люди, какого высокаго развитія посвящали себя этому скромному учительскому званію. Неудивительно, что повсюду возникали бібліотеки за бібліотеками, иногда, правда, въ странномъ сосѣдствѣ съ собраніями мощей, какъ это сдѣлалъ Жанъ-Галеаццо въ Миланѣ; что для Козьмы Медичи подражались цѣлые отряды переписчиковъ, а Федерико Урбинскій стыдился бы имѣть въ своемъ книгохранилищѣ печатную книгу, по самому существу своего изготовленія дешевую, плебейскую, сравнительно съ тѣми великолѣпными томами, которые выходили изъ-подъ пера и кисти специалистовъ переписки и миниатюры.

Къ концу XV вѣка хозяйничанье мелкихъ тирановъ и кондотьеры уступаетъ требованіямъ времени и исчезаетъ совершенно, вмѣстѣ съ мелкими республиками. Политическая и соціальная жизнь находитъ прочные, могучіе центры въ Венеціи, Миланѣ, Флоренціи и Римѣ. Никогда вполне не дремавшая любовь къ наукѣ, гражданственности и свободѣ начинается проявляться съ особенною силою: «*uomo singolare*» выдвигается изъ толпы и побѣждаетъ ее окончательно.

Отъ всего этого очень близко къ исканію славы, къ поклоненію гробницамъ великихъ людей, къ триум-



фамъ! Флоренція требуетъ отъ Равенны прахъ Данте; Александръ VI Борджіа, съ высоты престола намѣстника Христова, высматриваетъ своихъ любовницъ, задумываетъ убійства и планы міровой монархіи; Юлій II опоясывается мечемъ, осаждастъ крѣпости, даетъ сраженія; Левъ X серьезно думаетъ вѣнчаться на царство въ Капитоліи и только упрямство того слона, на которомъ онъ долженъ былъ ѣхать, мѣшаетъ исполненію этого удивительнаго желанія. Папы—библіофилы, антикваріи, военачальники, развратники, все, что хотите, но только не представители церкви, не намѣстники Христа!

И церковь дѣйствительно была забыта... По мѣрѣ того, какъ въ Римъ стали доходить тревожные слухи о томъ, что на сѣверѣ, за горами, поднимаетъ голову какая-то реформація и сожигаются папскія буллы, католичество отвѣчало на это увеличеніемъ торжественности богослуженія. Дворъ папы сталъ роскошнѣйшимъ дворомъ всего міра; импровизаторы, буффоны, пародисты, антикваріи, художники толпились на сіестахъ наслѣдника Св. Петра.

Побратавшись съ языческимъ міромъ, католичество воскрешало классицизмъ—этого покойника, и холодныя, но красивыя черты его, освѣщенные яркимъ итальянскимъ солнцемъ, взглянули на міръ еще разъ какъ бы живыя! Совершилось дѣйствительное чудо: покойникъ, съ благословенія папы, ожилъ и вступилъ въ жизнь во всеоружіи страстности и красоты, главнымъ образомъ съ эротической стороны, конечно,—и повелъ за собою живого человѣка. Мертвый повелъ живого! Понятно, что жить для жизни сдѣлалось главною цѣлью, и цѣль эта была такъ легко достижима и соблазну было такъ много! А людей, мѣшавшихъ жить и наслаждаться, Савонаролу съ товарищами, пытали и жгли на кострахъ.

\* \* \*

Шумно и весело проходили дни, и особенно ночи счастливой Флоренціи!

Смѣлый куполъ флорентійскаго собора, патріархъ-родоначальникъ всѣхъ европейскихъ куполовъ, только что выдвинулся въ небо; — и просторно и легко дышалось человѣку въ этомъ полномъ воздуха, свѣтломъ пространствѣ церкви. Свѣтлыми громадами поднялись вдоль улицъ дворцы вельможъ Флоренціи, одинъ другого величавѣе; тянулись подъ прямыми, спокойными линіями ихъ карнизовъ, вдоль стѣнъ, разукрашенныхъ рустикою, мѣрные, круглыя аркады, словно послѣдовательные вздохи груди здороваго человѣка; каждый изъ дворцовъ былъ художественнымъ типомъ архитектуры, помѣченнымъ рукою какого-либо великаго мастера, испытывавшаго свои силы передъ сооруженіемъ въ Римѣ, общими силами, собора Св. Петра. Исчезли мрачныя рѣшетки, бойницы и подъемные мосты многихъ городскихъ зданій, еще недавно служившихъ крѣпостцами, — исчезли они съ первымъ дымомъ пушки и шелкнувшаго арбалета, исчезли, какъ привидѣнія передъ ширью, красотою и правдою дѣйствительной жизни.

Въ вѣчно зеленыхъ садахъ и на площадяхъ Флоренціи блистали бронзы и сквозили мраморы изваяній, созданныхъ руководителями скульптуры. Металлъ и камень, отвѣчая общему строю времени, тоже ожили, тоже дышали, и художественная правда изображеній нагого тѣла свидѣтельствовала о томъ, что, преодолевъ церковный запретъ, скульптъ анатома-художника коснулся неприкосновенности трупъ, опередивъ, какъ кажется, людей науки.

Жизнь, жизнь широкая, самоувѣренная, горячая разливалась повсюду, захватывала, опьяняла. На безконечныхъ праздникахъ и гульбищахъ города красовались роскошныя жены и любовницы бога-

тыхъ до пресыщенія гражданъ республики, и каждая изъ нихъ была доступна, въ каждой изъ нихъ была хотя частица тѣхъ желаній, полнымъ воплощеніемъ которыхъ явилась Лукреція Борджіа и тысячи другихъ женщинъ, не настолько счастливыхъ, какъ она, чтобы стать историческими знаменитостями и нарицательными именами, но готовыхъ на это и жаждавшихъ этого не менѣе ея.

Понятно, что острый, опьяняющій воздухъ времени долженъ былъ дѣйствовать губительно на людей, не особенно сильныхъ, но самолюбивыхъ, къ числу которыхъ относился и тотъ художникъ, о которомъ пойдетъ рѣчь.

\* \* \*

Людямъ, подобнымъ этому художнику, не отличавшимся талантомъ первокласснымъ, не имѣвшимъ самообладанія, недостаточно смѣлымъ ни для борджіевской преступности, ни для савонароловскаго аскетизма, но стоявшимъ далеко выше посредственности, оставалось испытать всѣ горечи разочарованія и пойти торной дорогой, по которой идутъ тысячи людей къ той тихой и скромной неизвѣстности, которая, въ концѣ концовъ, должна казаться необыкновенно заманчивою всѣмъ людямъ много страдавшимъ, много боровшимся и безвременно потерявшимъ, оказавшіяся ненужными, силы...

Такъ это и случилось.

Неизвѣстный міру художникъ былъ, какъ сказано, человѣкомъ талантливымъ, но талантъ его отличался непомѣрнымъ развитіемъ фантазіи на счетъ ума. Фантазія, руководившая его творчествомъ, заставляла его приниматься только за громадныя, выходившія вонъ изъ ряда, вещи. Если ему думалось писать битву, такъ это была непременно самая боль-

шая изъ всѣхъ ему извѣстныхъ: бойня на поляхъ Каталаунскихъ, или при Каннахъ; если ему думалось воспроизвести что нибудь трагическое, такъ онъ выбиралъ что нибудь въ родѣ послѣдовательныхъ смертей графовъ Уголино въ башнѣ или питье крови заговорщиками-катилинцами; если вдохновеніе его требовало создать что нибудь страстное, ну такъ это была, конечно, странствующая ночью, покинувъ дворецъ и ложе супруга своего, императрица Мессалина, или нечеловѣческая возбужденность красавицы Пазифаи.

Это болѣзненная исключительность таланта художника не ограничивалась, однако, даже такимъ выборомъ колоссальныхъ предметовъ; сердце его рвалось и кипѣло безъ удержу; умъ съ какимъ-то страннымъ, тупымъ упрямствомъ, съ какимъ-то сонливымъ равнодушіемъ отказывался рѣшительно отъ всякой провѣрки порывовъ чувства и, казалось, этому уму не было никакого дѣла до того человѣка, въ котораго онъ, какъ бы, случайно попалъ.

Приходило вдругъ вдохновеніе, бралъ художникъ палитру, оживлялъ полотно... человѣку хотѣлось непременно сдѣлать сразу что нибудь особенно могучее, подавляющее.

А между тѣмъ могучее и подавляющее, признанное всѣми, уже видѣлось въ работахъ Рафаэля и М. Анджело; а между тѣмъ дѣйствительно великое не родится изъ одного только вдохновенія!! Слезь въ глазахъ и на сердцѣ недостаточно для того, чтобы сдѣлать великимъ то или другое свое художественное созданіе; самолюбіе не творчество; поспѣшность не залогъ успѣха; обѣщаніе не исполненіе. Какъ бы легки и просты ни казались великія работы великихъ мастеровъ, онѣ вскормлены трудомъ и терпѣніемъ, онѣ появились на свѣтъ не въ минуту вспыхиванія фантазіи, посѣщенной вдохновеніемъ, а при

ровномъ и кроткомъ сіяніи лампы труженика, горящей въ долгую ночь и никому невидимой.

Рафаэль и М. Андже́ло, сошедшіеся во Флоренціи въ 1504 году, были лично знакомы съ художникомъ. На вопросъ о немъ Рафаэль, со свойственною ему мягкостью и женственностью, отвѣчалъ: «искренно жалѣю его — онъ никогда никого до сихъ поръ не любилъ! пожалуй не полюбитъ и изъ него легко можетъ ничего не выйти». М. Андже́ло, спрошенный о немъ же, отвѣчалъ иначе, своеобразно и рѣзко: «разобьется въ куски, не жаль будетъ, — но куски будутъ почтенные». Великіе мастера не ошиблись, ихъ слова сбылись, и оба они были, отчасти, правы, каждый съ своей точки зрѣнія.

\* . \*

Художнику минуло двадцать два года.

Время жизни, полное надеждъ и силы, счастливые дни первыхъ увлеченій!... Нѣтъ у нихъ въ быломъ неисправимыхъ ошибокъ, этого грузнаго скарба, собирающагося во времени; не болитъ еще сердце о томъ или другомъ, часто невольномъ, никому невѣдомомъ, но все-таки совершенномъ преступленіи; еще не обмануть человѣкъ, не обманулъ, не озлобленъ, не приниженъ, и молодыя очи не туманились еще слезами, кромѣ, развѣ, тѣхъ, которыя вызываются смѣхомъ веселой бесѣды и вдохновеніями первой любви.

Какъ разъ наканунѣ дня своего рожденія, выставилъ художникъ, въ рефекторіи одного изъ центральныхъ монастырей Флоренціи, набросокъ своей огромной картины, изображавшей «Всемирный потопъ».

Въ тѣ дни рефекторіи флорентійскихъ монастырей служили главными мѣстами выставокъ, и кар-

тины всѣхъ содержаній, нерѣдко полныя чувственности, появлялись впервые на судъ публики среди келлій монаховъ, по сосѣдству рѣшетчатыхъ галерей, уставленныхъ гробницами.

Тогдашніе флорентійскіе граждане имѣли обыкновеніе усердно посѣщать подобныя выставки и считали за святую обязанность видѣть всякое новое художественное произведеніе ранѣе другихъ; это давалось не легко, такъ какъ желающихъ быть первыми было много. Общественный судъ оказывался тогда необыкновенно правиленъ, быстръ и строгъ. Развитію художественнаго чутія въ тогдашней Флоренціи удивляться нечего: людямъ было на чемъ учиться и празднаго времени оставалось много.

— Фу, какая безтолочь!—говорили одни, глядя на «Всемирный потопъ».

— Это какой-то бредъ въ краскахъ; это громадная, бессмысленная претензія!

Были и такіе цѣнители, которые выражались еще рѣзче: «художникъ, должно быть, просто тупъ и необразованъ, богомазъ самаго злого и позорнаго свойства!»

Въ чемъ находили эти послѣдніе—позоръ, опредѣлить, конечно, трудно.

Мало кому извѣстный въ лицо, гуляя или стоя въ толпѣ, слушалъ художникъ и видѣлъ, какъ какой нибудь лысый негоціантъ, за которымъ арапча приносили вышитый золотомъ табуретъ, сажился на него и принимался, лорнируя и покачиваясь со стороны на сторону, судить его работу. Подлѣ негоціанта въ кружокъ становились его поклонники, соглядатаи, друзья и дармоѣды и поддакивали сужденіямъ патрона. Патронъ сидѣлъ, распахнувъ полы своей длинной цвѣтной одежды и выставивъ на видъ массивную золотую цѣпь и широ-

кій поясъ, украшенные дорогими каменьями, привоза его галеръ, ходившихъ на востокъ и занимавшихся, по пути, морскимъ разбоемъ. Чѣмъ рѣзче судилъ патронъ, тѣмъ усерднѣе смѣялись окружавшіе его клеветы.

Арапчата стояли въ сторонѣ, держа на шелковыхъ снуркахъ тонконогихъ, золотистыхъ левретокъ; на нихъ заглядывалась не одна изъ проходившихъ мимо почительницъ, изъ которыхъ многія знали патрона, кланялись ему проходя и, если останавливались, то раздѣляли сужденія его о картинѣ, поддакивали и разносили ихъ, шумя длинными хвостами своихъ шелковыхъ и атласныхъ платьевъ.

Злоба и презрѣніе заѣдали художника, но дѣлать было нечего, приходилось выслушивать.

— Знаете ли что, — говорилъ своей дамѣ, нѣжно нагнувшись къ ней и держа подъ руку, красивый, въ бархатъ и шелкъ одѣтый юноша: — знаете ли вы причину холода и ничтожности этой картины?

— Нѣтъ, — отвѣтила дама, поднявъ на него свои прелестные, черные глаза.

— Художникъ этотъ, по словамъ Рафаэля, никого никогда не любилъ!

Приэтомъ кавалеръ улыбнулся.

— Такъ чтожъ такое? — спрашивала дама, не спуская съ него глазъ и говоря имъ очень выразительно: — вы, конечно, правы.

— Я правъ потому, что только любя можно творить и вдохновляться; что будь я художникомъ, теперь я былъ бы вдохновленъ вами... Вѣдь потопъ былъ — дѣломъ любви!

Художникъ слышалъ сказанное, не хотѣлъ слушать далѣе, и послѣднія слова незнакомаго ему человѣка, этотъ голосъ изъ толпы, стали вершинами его дальнѣйшихъ суждебъ.

\* \* \*

Окончилась выставка, унесли картину, а черезъ недѣлю флорентійцы забыли о ней. Но не забыть всего случившагося художникъ. Глубоко потрясла его неудача, и сталъ онъ задумчивъ.

«Кого же мнѣ любить?—думалось ему,—кого? гдѣ она, кто она, эта любимая?»

Случай откликнулся—любовь осянула его.

Любовь эта вспыхнула тихою, лѣтнею ночью, подъ опушенными розовымъ цвѣтомъ олеандрами городского сада, сосѣдняго къ дворцу, подлѣ бассейна главнаго фонтана. Фонтанъ въ поздній часъ ночи былъ остановленъ и въ заснувшихъ и успокоившихся до утра водахъ каменной чаши горѣло небо и отражалась темными массаами эротическая группа сатура и нимфы. Рѣдко, рѣдко мелькали по саду, уходя въ глубь темныхъ, дремавшихъ дорожекъ, одинокія пары гуляющихъ. Вдали, въ прогалинѣхъ деревьевъ, виднѣлась башня стараго дворца, горѣли цвѣтныя стекла въ окнахъ его; близилась полночь: часы на башнѣ съиграли свою пѣсенку на половинѣ двѣнадцатаго.

Художникъ любилъ это мѣсто сада и, по обыкновенію, направился сюда. Подходя, услышалъ онъ довольно тихій, но ясный разговоръ двухъ женщинъ, сидѣвшихъ къ нему спиною. Онъ остановился, словно задержанный какою-то незримою силою.

— Можетъ, я и долго еще проживу,—говорила одна изъ нихъ своей собесѣдницѣ:—а все же лучше, дочь моя, подумать тебѣ о будущемъ. Дѣло все въ томъ, чтобы продать себя подороже. Много у насъ тутъ иностранцевъ, и пословъ, и торговыхъ людей, много и своихъ богачей, и именитыхъ гражданъ, стариковъ и молодежи, и особенно духовныхъ. Отдать себя есть кому; спросъ великъ, а на такихъ, какъ ты, моя красавица доченька, и подавно. Выгодно бы было тебѣ поѣхать въ Римъ съ кардина-



ломъ-викаріемъ — онъ человѣкъ и богатый, и молодой, да, Богъ ихъ знаетъ, что тамъ, въ Римѣ; у насъ вѣрнѣе. Такъ вотъ видишь ли, я и придумала! Я обо всемъ подумала и озаботилась. Я, видишь ли, теперь тебя оставлю. Скоро ударить на соборной колокольнѣ полночь. Къ тебѣ подойдетъ человѣкъ, который назоветъ тебя по имени, ты иди за нимъ смѣло. Остальное въ твоихъ рукахъ: будешь умна — съ голоду не умрешь и меня прокормишь. Мнѣ же кормить тебя не на что; въ твои годы начала я гораздо хуже, чѣмъ ты начнешь. Все это, милая моя, не страшно, а главное нужно, очень нужно!

Говорившая замолчала. !

— Ну, прощай же, доченька, и будь умна. Тебя ждетъ много веселья, много счастья, а отъ матери своей не жди ничего.

Раздался поцѣлуй и говорившая удалилась.

Едва только скрылась она за ближайшимъ угломъ дорожки сада, терявшейся въ ночной тѣни, и стало возможно подойти къ дѣвушкѣ, безъ страха возвратить ушедшую, художникъ рѣшился подойти.

«Красива она, или нѣтъ»? — думалось ему, и онъ сдѣлалъ еще нѣсколько шаговъ.

Его услышали и подняли на него глаза. Онъ пошелъ вплотную, приглядѣлся; дѣвушка, какъ бы полусознательно, встала, и отъ роскоши очертаній воздвигнувшагося передъ художникомъ полупночного видѣнія, кровь хлынула ему въ голову, и онъ не помнилъ себя.

— Я не тотъ, котораго ты ждешь, — поспѣшилъ онъ проговорить скороговоркою, осторожно взявъ ее за руки: — я другой... Я не тотъ,...

Дѣвушка дала ему руки и продолжала слушать молча, какъ бы соображая что-то. Холодъ и совершенная мертвенность рукъ ея поразили художника. Онъ слегка пожалъ ихъ.

— Простишь ли ты меня?—прошенталь онъ, озираясь кругомъ и наклоняясь ближе...

Отвѣта не послѣдовало. До полночи оставалось не далеко; мгновения были сосчитаны. А между тѣмъ обаятельная, всемогущая, обвѣянная темною ночью, одиночествомъ и тайною, красота стояла передъ нимъ совсѣмъ блѣдная. Неподвижность смерти чувствовалась въ этихъ безотвѣтныхъ, холодныхъ рукахъ!! Страшная мысль промелькнула въ головѣ художника; холодный потъ проступилъ на горячемъ лбу его.

— Она отравлена... опоена... она приготовлена! для кого, для чего?

Различныя опаиванья были дѣйствительно въ большомъ ходу въ то время, и къ посредству ихъ прибѣгали очень часто, съ цѣлью одолѣть чье-либо упрямство, чью-либо робость или съ желаніемъ скрыть слѣды задуманнаго преступленія, удаляя, самымъ предупредительнымъ образомъ, главнаго свидѣтеля — пострадавшее лицо — лишивъ его памяти и соображенія. Отъ приворотныхъ зелій и различныхъ снадобій, дѣйствовавшихъ на мозгъ временно, было не далеко, въ случаѣ надобности, и до настоящей отравы. «Бѣлый порошокъ» Борджіи облетѣлъ, обсыпалъ всю Италію.

— О!! идемъ отсюда, идемъ, моя красавица,—проговорилъ художникъ, увлекая дѣвушку почти насильно въ сторону, противоположную той, въ которую ушла старуха.—Ты не увидишь болѣе твоей матери, нѣтъ, не увидишь! у меня, правда, богатства немного, но намъ хватитъ на двухъ. Идемъ, идемъ скорѣе, полночь близка и за тобою придутъ...

Все это говорилъ художникъ полушопотомъ, не соображая того, что говорилъ напрасно. Во-первыхъ, дѣвушка продолжала оставаться въ состояніи какого-то тупого безпамятства, во-вторыхъ, она

и безъ того слѣдовала за нимъ непрекословно. Не разъ хватался художникъ за небольшой кинжалъ, висѣвшій у него на поясѣ, рядомъ съ кошелькомъ. Онъ пугался шороха, приближенія чьей-либо тѣни! онъ убилъ бы непременно и напавъ всякаго, кто подвернулся бы ему подъ руку въ эту минуту. Но никто не подвернулся, никто не помѣшалъ. Они оставили садъ благополучно, и только тогда, когда, пробравшись нѣсколькими глухими закоулками, подходили они къ дому, въ которомъ жилъ художникъ, на соборной колокольнѣ ударила полночь.

Дѣвушка была спасена! но какою цѣною и что дальше?

Заботливость художника, спокойствіе и нѣкоторое медицинское пособіе привели ее черезъ нѣсколько дней къ сознанію. Художникъ не могъ удержаться, чтобы не нарисовать портретъ своей жилицы еще раньше этого времени, въ минуту ея глубокаго сна. Блѣдная, съ закрытыми глазами, но безукоризненно прекрасная, перешла головка опоенной дѣвушки на полотно, и первымъ смертнымъ, полюбовавшимся ею, была собственница и хозяйка этой прелестной головки, воскресшая къ жизни и бесконечно благодарная за то.

Одинъ изъ лучшихъ, прекраснѣйшихъ цвѣтковъ, когда-либо созданныхъ Богомъ, оправился, раскрылъ лепестки, поднялъ головку, весь — блескъ, весь — благоуханье! Заструилась жизнь, заговорила молодость и любовь не заставила ждать себя. Благодарность дѣвушки была царская! она отдала себя всю... и художникъ пилъ любовь полною чашею, и любилъ она его горячо, и отдавалась ему беззавѣтно...

\* \* \*

Но быстро прошло увлеченіе, и изъ временно поглотившаго, обаянія страсти началось въ худож-

никѣ, мало-по-малу, проявленіе прежнихъ порывовъ творчества, прежнихъ болѣзненныхъ усилій, прежнее стремленіе къ исканію славы и какого-то далекаго, другого, необъяснимаго, будущаго счастья.

Черезъ годъ не было помину о прежнихъ отношеніяхъ. Чѣмъ сильнѣе привязывалась къ нему красавица — тѣмъ докучливѣе казалась ему она. Надоѣли ему ея чудные глаза, тягостны, однообразны стали ея объятія, утомительна благодарность. Дѣвушка какъ бы мѣшала ему сосредоточиться на работѣ, и наброски за набросками, картоны за картонами появлялись одни за другими съ лихорадочною поспѣшностью, и уходили на покой въ папки, или швырялись въ углы мастерской, не удовлетворяя художника и его требованій.

Выставки отдѣльныхъ работъ другихъ сотоварищей его слѣдовали, между тѣмъ, обычнымъ порядкомъ. Появились новыя извѣстности, сказались новыя имена, а нашъ художникъ все ничего не производилъ, ничего, кромѣ набросковъ.

Дѣвушка, дѣвушка мѣшала ему! Подъ конецъ не могъ онъ работать иначе, какъ спровадивъ ее куда-либо, не видя ея и не желая слышать. Подходить къ нему во время работы ей строго запрещалось. Дѣвушка повиновалась безропотно и, присутствуя при медленномъ разрушеніи своей любви, не промолвила ни одного упрека и ничего не просила.

Прошло два долгихъ года со времени встрѣчи. Увлеченный знаменитыми картонами М. Анджело и Л. Винчи, имѣвшими предметомъ изображеніе боя и служившими художественнымъ поединкомъ двухъ геніальныхъ творцовъ, художникъ остановился, наконецъ, на выборѣ своего сюжета. Ему, для какого-нибудь рѣшенія всегда нужно было вмѣшательство посторонняго примѣра, факта или совѣта. Такъ было это и теперь. Картоны Л. Винчи и М. Анджело ска-

зали свое слово. Онъ остановился на чемъ-то схожемъ, на изображеніи «Битвы при Мелоріи» и уничтоженіи генуэзцами пизанскаго флота. Сюжеты картоновъ Л. Винчи и М. Анджело были тоже взяты изъ битвъ пизанцевъ съ флорентійцами.

Во время самой работы, при удачѣ того или другого мотива картины, къ художнику, изрѣдка, какъ бы возвращалась привязанность къ его любовницѣ; онъ нервно цѣловалъ ее и лелѣялъ, и она была счастлива этимъ. Но это случалось рѣдко. Наконецъ картина была кончена и выставлена на показъ.

Снова побѣждали толпы флорентійцевъ смотрѣть новую работу, и снова раздались безпощадные голоса.

— А, это тотъ же сочинитель, который далъ намъ «Всемирный потопъ».

— Мы говорили тогда правду: ни искры таланта, страшная самоувѣренность!!

— Смѣть писать сцену битвы послѣ Винчи и М. Анджело, тутъ надо имѣть порядочный запасъ художественной слѣпоты.

— Посовѣтывалъ бы кто нибудь художнику мазать вывѣски на остеріяхъ или расписывать каюты увеселительныхъ галерей нашихъ сибаритовъ.

И на этотъ разъ, какъ тогда, художникъ прислушивался къ говору. Только многое измѣнилось въ этомъ человѣкѣ. Поблѣднѣли его щеки, погасли глаза; сдержанная и непріятная улыбка поселилась на его сжатыхъ, тонкихъ губахъ, какая-то нервность движеній была усвоена имъ. Онъ ходилъ по выставкѣ и прислушивался.

Того лысаго негоціанта съ арапчами, который безпощадно судилъ его первую работу, не существовало. Онъ умеръ и покоился въ церкви ближайшаго къ городу монастыря, подъ мраморнымъ балдахиномъ. Монахи цистерціенцы отчитывали днемъ

и ночью его грѣшную торговую душу. Вмѣсто него пришелъ его сынъ, окруженный другими дармоѣдами, другими поклонниками. Этихъ не унаслѣдовалъ онъ вмѣстѣ съ огромнымъ капиталомъ, они сами наплодились. Достались ему, кромѣ богатства, и порядочныя задатки чахотки. Онъ былъ развратнѣе своего отца, но принадлежалъ къ числу самыхъ строгихъ и правдивыхъ цѣнителей художества.

— Въ этой битвѣ,—сказалъ онъ, подойдя къ картинѣ:—было бы нестрашно участвовать: люди быются безъ страсти, удары сыплются будто рассчитанные на то, чтобы не убивать; убитые — притворяются убитыми, живые не живутъ! смѣшно.

— Смѣшно, смѣшно!..—подхватили десятки голосовъ и понесли это сужденіе по городу.

— Видимо—продолжалъ чахоточный юноша:—что этотъ художникъ по наслышкѣ пишетъ, горя не испыталъ, несчастія не вкусилъ, преступленія не отвѣдалъ... Это ясно.

— Ясно, ясно!—подхватили голоса дармоѣдовъ и поклонниковъ.—Вѣрно сказано, удивительно вѣрно!

И полетѣли также и эти слова по городу.

Юноша сказалъ, однако, не свое, а чужое мнѣніе; его постоянно окружали художники, и они-то ему говорили не разъ, что имъ, художникамъ, несчастія нужны, чтобы вдохновеніе разогрѣть; что тутъ, пожалуй, и преступленіе умѣстно...

Окончилась и эта выставка, и унесли картину, и позабыли о ней флорентійцы.

\* \* \*

«А что же?—думалъ художникъ, —правъ былъ цѣнитель, правъ! горя не испыталъ я, преступленія не коснулся. А кто же мѣшаетъ мнѣ жить и испытывать жизнь? любовница мѣшаетъ, одна она! а

если это такъ, такъ прочь съ этимъ ребячествомъ, прочь съ нею! пускай беретъ ее кто хочетъ, а съ меня довольно. А что она зачахнетъ, что мнѣ и самому будетъ немножко тяжело, что же дѣлать? на то во мнѣ призваніе, на то я художникъ и жертвую, и долженъ жертвовать всѣмъ».

Круто и безчеловѣчно обошелся онъ со своею любовницею. Есть такія существа, особенно между красивыми женщинами, которыя живутъ только для того, чтобы освѣтить и согрѣть немногія минуты чьей-либо другой, мужской жизни. Они уходятъ въ эту жизнь, исчезаютъ въ ней, какъ исчезаетъ ручей въ лонѣ широкой рѣки, приобщающей его къ себѣ и уносящей въ далекое море, безымянными и безличными струйками!

«Богъ съ нимъ,—думала брошенная красавица.—Можетъ быть, талантъ его дѣйствительно долженъ окрѣпнуть въ слезахъ моихъ!»

И они разстались. Свободно вздохнулъ художникъ, но тяжело вздохнула она. Съ каждымъ днемъ хилѣла, грудь подавалась, и она умерла.

И пришелъ художникъ къ мертвой, и глядѣлъ на холодныя, износившіяся черты той, которая была для него всѣмъ и, не упрекнувъ его, предпочла умереть, освободивъ отъ себя.

«Вотъ теперь,—думалъ художникъ—начну я творить и въ горѣ моемъ почерпну вдохновеніе».

Мысль о томъ, что онъ убійца, ему и не мерещилась. А когда въ яркомъ свѣтѣ полуденнаго солнца, мимо собора, облицованнаго разноцвѣтными камнями, мимо его пестрой, стройной колокольни шла погребальная процессія, дымились свѣчи въ рукахъ черныхъ монаховъ и пѣли монахи свои латинскія пѣсни, и качался на плечахъ носильщиковъ раскрытый гробъ, уносившій въ себѣ покойницу, художникъ даже какъ-то радовался всему этому. Такъ картинно,

такъ полно чувства и вдохновенія казалось ему все случившееся, такъ близко къ былъ онъ къ творчеству, такъ красиво смотрѣло лицо покойницы въ небо.

Онъ даже заплакалъ, но только не отъ горя, а отъ другого, совсѣмъ другого чувства. Похоронилъ художникъ свою любовь и заперся въ мастерской, и сталъ работать.

\* \*  
\*

Сидитъ художникъ, растираетъ краски, испытываетъ кисти.

«И зачѣмъ мнѣ, въ самомъ дѣлѣ, эти громадныя замыслы,—соображаетъ онъ—они мнѣ, видимо, не по плечу. Оставлю-ка я громадное, перейду къ болѣе простому, мелкому! стану на свое мѣсто!»

Легкодоступная и всѣмъ извѣстная истина!! только для художника была она плодомъ долгихъ лѣтъ и многихъ разочарованій, только купилъ онъ ее слишкомъ дорогою цѣной.

Прошли еще года два, и послѣ всякихъ колебаній задумалъ онъ, наконецъ, написать «Клятву Горациевъ». Фигуръ немного, всего четыре, чувства довольно, обстановка хорошая, римская. Началъ онъ работу и привелъ ее къ концу, и поставилъ на выставку.

— А! старый знакомый,—заговорили въ толпѣ. — Какъ онъ похудѣлъ въ своихъ произведеніяхъ. Недурно, но гдѣ прежняя запальчивость. Помните вы нѣсколько лѣтъ тому назадъ его «Всемирный потопъ», вотъ была пародія!

— Ужъ не первой молодости долженъ онъ быть, этотъ художникъ,—проговорилъ кто-то, проходя какъ разъ мимо него.

«Не первой молодости»... прозвучало, прозвенѣло, простонало въ ушахъ художника. Въ первый разъ въ жизни вошла въ него эта мысль. Неужели это



правда! спросилъ онъ себя. Неужели первая, слабая похвала заслужена мною только съ исходомъ молодости, да вѣдь это тоже смерть, и этому помочь нельзя, никакъ нельзя!

Грудь художника стѣснилась. Онъ вышелъ на улицу тихо, незамѣтно. Какъ-то торжественно, будто дорогую ношу, несъ онъ свое новое страшное сознаніе и очутился, не зная почему, на кладбищѣ, и отыскалъ давно забытую могилу. Онъ пришелъ къ ней послѣ похоронъ въ первый разъ. Плющъ и розы успѣли обвить надгробный холмикъ, замѣнявшій памятникъ. На дворѣ была весна, птицы рѣяли и щебетали.

— Неужели это я, на этой могилѣ?—думалъ художникъ.—Я не узнаю себя... и все это сонъ, и неужели это такъ должно было быть?

Хлынули слезы изъ глазъ его, бросился онъ на могильный холмикъ и, рыдая, сталъ цѣловать его. Хорошо, что никого не было подлѣ. Солнце скрылось; половину дороги сдѣлали звѣзды, и только тогда очнулся художникъ и побрелъ домой. Онъ шелъ такъ же безсознательно, какъ шла къ нему, когда-то, въ мастерскую милая покойница. Тогда упиралась она на его руку и ничего не понимала, теперь понималъ онъ не больше, и спутникомъ его, вѣрнымъ спутникомъ, на котораго онъ тоже какъ будто упирался, была она—его воспоминанье!

Свѣтлый и кроткій обликъ ея поднялся изъ могилы съ туманомъ вечера заодно и скользилъ вмѣстѣ съ нимъ, незримый, но ощущаемый. Добрался художникъ домой, не ошибаясь въ пути, поднялся на лѣстницу, отомкнулъ двери своей мастерской и вошелъ въ нее.

Луна, какъ и въ тотъ завѣтный вечеръ, сіяла полнымъ блескомъ, и бѣлые гипсы, головы, туловища, руки и ноги, стоявшіе и висѣвшіе по сторонамъ,

выступали изъ угловъ и со стѣнъ съ удивительною ясностью. Подошелъ художникъ къ кровати своей: она была пуста и одинока; подошелъ къ треногѣ, на которой еще недавно висѣла картина, поставленная на послѣднюю выставку: тренога была тоже пуста и осиротѣла; произнесъ онъ дорогое, завѣтное, ставшее снова милымъ, во сто кратъ милѣе прежняго, имя... высоко по круглымъ, темнымъ сводамъ отвѣтило эхо и замерло.

«Смерть и пустота! одинъ—и не молодъ!—думалось художнику.—На своемъ мѣстѣ!»

И тогда-то, въ минуту этого страшнаго сознанія влившись въ полную чашу печали послѣднею каплею, взглянула на него со стѣны знакомая головка, когда-то имъ же рисованная, головка опоенной дѣвушки.

— Мстительница!!—крикнулъ художникъ; въ глазахъ его потемнѣло, ноги подкосились, онъ опустился и упалъ навзничъ на каменный полъ.

Ничто не пошевелинулось въ просторной мастерской. Глухой звукъ упавшаго тѣла пробудилъ ее и разсѣялся. Надъ полумертвымъ художникомъ проносилась одна изъ тѣхъ великихъ минутъ жизни, въ которыя человѣкъ перерождается. Художникъ лежалъ, обративъ лицо къ свѣту мѣсяца, лежалъ безъ движенія, безъ дыханія. Лучи мѣсяца долго и упорно пробирались подъ его рѣсницы, проникали въ глаза и свѣтили въ нихъ, и вызывали къ жизни угасшее сознаніе, тревожа и будя его; они находили путь къ самому мозгу и сердцу и будто силились залить ихъ обоимъ, переполнить своимъ холоднымъ металлическимъ блескомъ! И когда художникъ пришелъ въ себя, сталъ онъ глядѣть въ дѣйствительную жизнь иначе, какъ бы сквозь дымку полуночнаго тумана и луннаго свѣта, кроткую и мягкую, но полную невыразимой, безвыходной, хотя

и лишенной злобы и отчаянія, тоски. Съ этой поры онъ никогда болѣе не улыбался, и веселье, въ какомъ бы то ни было видѣ, отлетѣло отъ него навсегда.

\* \* \*

Прошло еще нѣсколько лѣтъ.

Въ Италіи только и рѣчи было, что о работахъ послѣдователей Рафаэля и М. Андже́ло. Слухи объ этомъ обступали со всѣхъ сторонъ и художника нашего.

— Ну,—думаль онъ,—большому кораблю большое и плаванье. Я не завидую. Всякому свой талантъ, у всякаго свое призваніе. И что проку завидовать! Изъ зависти таланты не растутъ, самолюбіе не творчество... Прежде, конечно, думаль и я творить великое, да не сотворилъ, не осилилъ... Отчего нѣтъ ея при мнѣ, моей милой покойницы? Бросилъ бы я все на свѣтъ, и кисти, и самолюбіе, заперся бы въ себя, въ свою семью... Ну, да и то хорошо, что работа моя, теперешняя работа, по сердцу приходится и кормить.

Но что же это была за работа?

Это была работа для него, когда-то, невозможная: онъ расписываль миниатюры! Прежній сочинитель шестиаршиннаго «Потопа» сидѣлъ надъ бездѣлушками и, нагнувшись надъ разрисовываемымъ диптихомъ, складнемъ, прилежно и осторожно выводилъ головки за головками, черточки за черточками, вытягивалъ цѣлыя вереницы чудеснѣйшихъ арабесковъ.

Какъ измѣнилась работа, такъ измѣнился и самъ художникъ. Длинными, посѣдѣвшими прядями падали по плечамъ его обильные волосы; на желтоватомъ, мраморномъ лицѣ его лежало невозмутимое спокойствіе; опять появилось на лицѣ этомъ что-то въ

родѣ улыбки. Черный бархатный камзолъ не скрывалъ легкой сутуловатости работавшаго. Чистая и свѣтлая мастерская давала знать о хозяинѣ, какъ о человѣкѣ достаточномъ.

— Видѣли ливы, — говорили въ разныхъ городахъ, — эти удивительныя вещи! удивительныя вещи! удивительный художникъ. Но кто онъ? гдѣ онъ? въ мелочахъ, на бездѣлушкахъ нашихъ красавицъ, на ящичкахъ и медальонахъ выводитъ онъ такой поэтической, воздушный, самобытный міръ, что непонятно, какъ это до сихъ поръ не прославился онъ? Какъ нѣжны краски, какъ тонки и воздушны орнаменты, какъ восхитительны головки. Точно легкимъ вѣтромъ занесены они и разсыпаны, точно сотканы они изъ воздуха. Гдѣ онъ, кто онъ, этотъ художникъ?

Сидитъ нашъ художникъ за работою; стучать у дверей. Послышался говоръ. Служанка увѣряетъ пришедшаго, что хозяинъ уѣхалъ въ Сіенну и ранѣе мѣсяца не вернется; это служанкѣ такъ приказано. Пройдетъ мѣсяцъ, опять постучать, и опять хозяина нѣтъ: уѣхалъ въ Пизу.

Никого не принимаетъ художникъ, ни съ кѣмъ не знакомится, одного только человѣка и знаетъ: того, который приносить и уноситъ заказы, да и съ нимъ говорить онъ мало, очень мало, а адреса своего и имени, подъ страхомъ не работать, сообщать не позволяетъ; человѣку, принимающему заказы, расцѣтъ молчать о немъ, и онъ молчитъ.

«Я бы могъ, конечно, — разсуждалъ художникъ порою, — и совсѣмъ не быть художникомъ. Развѣ одни только художники должны жить на землѣ, или, лучше сказать, развѣ не всякій живущій человѣкъ художникъ? Быть Рафаэлемъ въ своей жизни, въ уголку, предназначенномъ намъ, дана возможность каждому».

И художникъ принимался за работы. Не отъ гордости, не отъ воображенія шли онѣ теперь! Печаль

и воспоминанія питали ихъ, и чужда была имъ злоба дня, чужда совершенно. Даже и мысли-то въ этихъ работахъ, казалось, мало было, какъ нѣтъ мысли въ фіалкѣ и ландышѣ. Ничьею рукою не посаженные, не взлелѣянные, никакою хитростью не воспитанные, родятся они, Божьи дѣти, хотя и остаются безъ ума, безъ разума. Если кто спроситъ: для чего они на свѣтѣ? отвѣта не будетъ. Но скажите только: весна идетъ, весна шествуетъ! и чья же душа не встрепенется, чье сердце не откликнется на это шествіе фіалокъ и ландышей! развѣ не понятно, для чего они?

И художникъ работалъ, работалъ усиленно. Грудь его ослабѣла, злая болѣзнь внѣдрилась въ нее; погасали и глаза, натруженные работою, нерѣдко плакавшіе, и онъ ослѣплъ.

Тогда-то, на преждевременномъ закатѣ дней, началось для него разрѣшеніе второго вопроса жизни, болѣе труднаго, поставленнаго при разрѣшеніи перваго.

Втихомолку, въ какой-то грустной истомѣ, точно выплывая откуда-то, просыпалась въ немъ мысль о загубленной любви. Знакомыя черты являлись передъ духовныя очи его съ такою ясностью, съ такою всепрощающею кротостью, что, казалось, не одну бы жизнь, а цѣлый рядъ жизней принесла эта женщина въ даръ своему милому. Художнику чувствовалось также, что кто-то, кромѣ ея, темный, совсѣмъ темный, постоянно обитаетъ подлѣ, тревожитъ его.

«Ужъ не совѣсть ли это моя?—думалъ онъ—неужели я въ самомъ дѣлѣ убійца?!... Да, да! ты убійца, слышалось художнику, и ты виноватъ; но виноватъ ты какъ волна морская, раздробляющая о скалу подхваченную ею раковину; виноватъ, насколько виновно солнце въ томъ, что есть на землѣ такіе темные уголки, которыхъ оно не можетъ освѣтить. Если бы ты не совершилъ сдѣланнаго, ты бы

былъ героемъ, Богомъ! Теперь ты только человѣкъ, простой человѣкъ, служившій своимъ слабостямъ, не понимавшій себя и... поставленный на мѣсто!»!

Думая такъ, художникъ проявлялъ, конечно, признаки преждевременной слабости мысли, слѣдствие болѣзни. Мучительный кашель работалъ въ груди и раздавался въ мастерской, неизмѣнившейся прежней обстановки. Само собою разумѣется, что съ концомъ работъ прекратились и заказы, и никто болѣе, никто рѣшительно, не стучался у дверей.

— Дженевра!—говорилъ не разъ слѣпой художникъ, обращаясь къ своей старой прислужницѣ, сидя въ широкомъ креслѣ:—свѣтло ли на дворѣ? подай-ка мнѣ ее!

Дженевра знала, что нужно подать, и приносила завѣтную головку.

— Ступай теперь, Дженевра, оставь меня.

Прислужница уходила.

Въ мастерской наступало обычное молчаніе. Слепой уставлялъ свои широко раскрытые глаза по направленію портрета; казалось, онъ глядѣлъ. Иногда удостовѣрялся онъ въ присутствіи его рукою, водилъ пальцами по полотну, подносилъ къ себѣ и ставилъ на колѣни.

Случалось ли замѣтить кому-нибудь, какъ, послѣ долгихъ лѣтъ, собирается вторично разрозненная, ходившая по бѣлому свѣту семья? Дѣтьми были они тогда; теперь отъ многихъ недалеко старость. Издали пришли они, эти братья и сестры. Это не жизнь миновала — сонъ прошелъ! и тѣсенъ ихъ кругъ, порѣдѣлъ онъ, порѣдѣлъ жестоко. И не одна только смерть хозяйничала между ними, не однихъ только покойниковъ не досчитываются родные. Живутъ еще, не умерли, погибшіе для нихъ, гдѣ братъ, гдѣ сестра! Сонъ жизни унесъ ихъ, грезы захватили! зато остальные... они всѣ, всѣ здѣсь... всѣ налицо!

Прежде всего пришла къ ослѣпшему художнику на семейное собраніе воспоминаній его любовь. Она сказывалась въ болѣзни груди, въ тѣмѣ, лежавшей на глазахъ. Это все была любовь; безъ нея этого бы не было! Пришелъ къ нему другой гость — сознаніе таланта: такъ или иначе, но онъ нашель свой талантъ, сдѣлалъ, что могъ, прикоснулся губами къ этому отравленному, чарующему кубку, называемому славою, могъ бы пить изъ него вволю, но онъ самъ оттолкнулъ напитокъ, выплеснулъ его, разбилъ кубокъ...

Пришло, наконецъ, хотя и позже всѣхъ, тихое, полное примиреніе; болѣзнь и страданія развивались быстро и въ нихъ-то именно и проявились миръ и покой. Когда порывистый, мучительный кашель глубоко тревожилъ слабую, разбитую грудь, гналъ отъ сердца въ голову кровь и туманилъ сознаніе, художнику казалось, будто, съ каждымъ шагомъ приближавшейся смерти, въ каждой отдѣльной боли, совершалось искупленіе и просвѣтлялась совѣсть.

Не вернулись къ художнику только его силы, не могли какъ прежде глядѣть глаза. Яснымъ, весеннимъ, благоухающимъ утромъ, передъ отвореннымъ окномъ, сидя въ креслахъ и держа въ рукахъ портретъ дѣвушки, умеръ онъ. Въ розовомъ свѣтѣ раскидывалась передъ окномъ широкая, радужная панорама Флоренціи, доживавшей послѣдніе дни своего возрожденія—но художникъ не видалъ ее.

\* \* \*

Въ петербургскомъ Эрмитажѣ и во многихъ изъ отдѣленій европейскихъ собраній рѣдкостей, въ безсчетныхъ образчикахъ мелочей и бездѣлушекъ всѣхъ временъ, красующихся въ шкапахъ и витринахъ, есть тысячи предметовъ, носящихъ на себѣ печать

талантливости первоклассной, особенно въ чуть замѣтныхъ работахъ рѣзбы и чеканки, а также въ мелкихъ произведеніяхъ кисти, въ миниатюрахъ. Большинство посѣтителей торопится пройти по этимъ отдѣламъ шкаповъ и витринъ. Утомленные большими полотнами и крупными изваяніями, посѣтителю не дають себѣ труда вникнуть въ мелкія работы и развѣ только изрѣдка какой-нибудь любитель, часто подслѣповатый, поклевыываетъ носомъ по стекламъ шкаповъ, обращая на себя подозрительное вниманіе полусоннаго сторожа, сидящаго въ углу. Самые сонные и нерасторопные сторожа ставятся именно въ эти отдѣленія собраній.

Значительное большинство миниатюръ принадлежитъ неизвѣстнымъ художникамъ; лѣтъ триста тому назадъ ихъ особенно любили и писали на кости, перламутрѣ и металлѣ, на шелкахъ и пергаментахъ, на деревѣ и стеклѣ. Многія изъ этихъ работъ задуманы и выполнены такъ хорошо, въ нихъ положено столько свѣжести, наивности, столько неподдѣльнаго юмора и граціи; иногда по нимъ пущена такая тихая, нѣжная струя печали, что маленькій рисунокъ, при весьма незначительномъ усилии воображенія, перерастаетъ свои размѣры, и невольно спрашиваешь себя: да кто же онъ, онъ, этотъ художникъ, тебя создавшій?! Художникъ? его нѣтъ, онъ не соблаговолилъ оставить своего имени, а само оно не осталось.

А между тѣмъ, сколько труда и таланта, сколько бессонныхъ ночей, сколько потраченныхъ силъ смотритъ изъ этихъ бездѣлушекъ, предметовъ ненужной роскоши и безразсудныхъ фантазій, образчиковъ суетности и пустоты женщинъ всѣхъ столѣтій?! Какъ много положено въ нихъ вдохновенія, тепла, любви къ дѣлу и вѣры въ него!

Краснорѣчиво говорятъ эти вещи, эти броши,



вѣера, шкатулочки, кольца, запястья, молитвенники, булавки, цѣпочки, и пр., и пр., о томъ, какъ неразсчитливо расходовали люди свои художественныя и денежныя средства; какое-то болѣзненное чувство вселяется въ грудь при видѣ произведеній этого искусства, измельчавшаго на службѣ женской пустотѣ. Часто художественное наслажденіе улетучивается совершенно, мысль и чувство начинаютъ дремать надъ мелкимъ разнообразіемъ вещицъ и только глаза продолжаютъ работать безъ усталы, переходя отъ витрины къ витринѣ, слѣдя за нескончаемою дробностью работъ, соображая эти микроскопическія и, все-таки, громадныя усилія, которыя нужны были для ихъ произведенія на свѣтъ.

А когда теплый, случайный лучъ весенняго солнца упадетъ сквозь окно на золото, серебро и драгоценныя камни, разложенныя по шелку и бархату, раздробится въ нихъ и вызоветъ острую игру яркихъ цвѣтовъ и граней, такъ и хочется сказать этому лучу: «не здѣсь твое мѣсто! ничего ты тутъ не сдѣлаешь, никакой жизни не вызовешь, напрасно потратишь только свое животворное тепло и потеряешь золотую улыбку, заронивъ ее въ шкапы и витрины, полныя неподвижнаго, затхлаго воздуха, остраго блеска граненыхъ камней и какой-то упрямой и безнадежной нѣмоты!»

Нашли ли свои мѣста въ жизни тѣ люди, которые все это заказывали?



## ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ УБИЙСТВА.

---

Рибейра! талантъ, большой талантъ! но отчего этотъ глубокий мракъ его красокъ, эти мѣдножелтыя пятна свѣта, напоминающія тѣ особенныя явленія далекой грозы, когда молніи не видно, раскатовъ грома не слышно, а изъ-за свинцовыхъ тучъ порою проблескиваютъ зловѣщія вспышки заоблачнаго, какъ бы мѣднаго, злобнаго огня; вспыхнуть, озарять и опять все тихо, все мрачно.

Въ петербургскомъ Эрмитажѣ есть нѣсколько картинъ Рибейры. Лучше прочихъ св. Іеронимъ, прислушивающійся, въ часъ своей смерти, къ звуку трубы архангела на страшномъ судѣ. Есть еще два Севастьяна и еще Іеронимъ. Но по этимъ вещамъ съ Рибейрой познакомиться нельзя: онъ слишкомъ спокоенъ. Онъ художникъ пытки и экстаза, а эти работы совсѣмъ не то, не исключая даже и св. Севастьяна, повтореннаго Рибейрою, какъ извѣстно, многое множество разъ.

Но мѣдножелтыя пятна свѣта, непроглядная тѣнь и лихорадочность кисти имѣются и въ картинахъ Эрмитажа; для того, кто знаетъ, какимъ человѣкомъ былъ Рибейра, достаточно и этихъ вещей, чтобы выяснить себѣ неприглядную, отталкивающую, но мощную фигуру художника.

Рибейра, испанецъ, жилъ и дѣйствовалъ въ Неаполѣ.

Въ первой четверти семнадцатаго вѣка Неаполь и Сицилія принадлежали могущественному въ то время испанскому королю и служили предметомъ правительственнаго грабежа въ пользу Испаніи. Народъ не могъ выносить тяготы своего положенія; готовилось возстаніе Мазаниелло, которое и вспыхнуло въ 1647 году. Оно извѣстно большинству по оперѣ «Фенелла».

Неаполемъ управлялъ вице-король, и хотя дворъ его не могъ соперничать съ пышными дворами Рима, Тосканы, Модены, но все-таки онъ былъ богатъ бѣдностью страны и сильно развращенъ.

Блестящій вѣкъ возрожденія только что погасъ надъ Италіею. Рафаэль и Микель-Анджело умерли. Со страхомъ прислушиваясь къ успѣхамъ реформациі въ Германіи, тогдашніе папы признали необходимость реакціи. Вездѣ и повсюду царилъ развратъ; сама церковь развращала, и папа Павелъ IV повелѣваетъ замалевать всѣ нагія части тѣла на фрескахъ въ сикстинской капеллѣ! какъ будто этимъ замалевываніемъ могло быть прекращено поклоненіе женщинѣ? Іезуиты, быстро возросшіе въ своемъ значеніи, вызываютъ къ жизни новый циклъ въ живописи съ изображеніями мучениковъ и ясновидѣній святыхъ; экстазъ Франциска, галлюцинаціи Антонія, видѣнія Іеронима... какъ будто малеванныя изображенія судорожныхъ экстазовъ могли задвинуть обаятельную снисходительность прелестницъ, чары лунныхъ ночей и импровизованныя серенады, къ которымъ люди привыкли, безъ которыхъ жить не могли.

Поющая и влюбляющаяся Италія продолжала оставаться полною памяти и практики Цезаря и Лукреціи Борджіа; именно съ этого времени реакціи начинается повсемѣстное царство разбоя:

страна, въ особенности большіе города, кишмя кишать спадассенами и брави, и Понтано былъ правъ, когда писалъ, что въ Неаполѣ не было ничего дешевле жизни и головы живого человѣка; это же подтверждаетъ и Бенвенуто Челлини.

Но все сказанное совершалось съ нѣкоторою долею художественной виртуозности. Мало было кондотьеры Вернеру убивать и насиловать, нѣтъ, онъ заказываетъ себѣ серебряный щитъ и на бѣломъ металѣ его выгравировываетъ, чтобы всѣ знали и видѣли, свой лозунгъ: «Врагъ Бога, состраданія и жалости». Вѣдь наслаждается же король Неаполя Ферранте двойнымъ музеемъ своихъ полоненныхъ враговъ; живыхъ держитъ онъ въ темницахъ, мертвыхъ бальзамируетъ и, одѣвъ обезображенные трупы въ доспѣхи, которые покойные носили при жизни, холить ихъ въ видѣ мумій и ходить любоваться ими.

Странно, дико и намъ совершенно непонятно, но какія большія картины! сколько красокъ!?

Большія шайки разбойниковъ гуляютъ по странѣ; подметныя письма, кровавые пасквили, за которыми слѣдуетъ чрезвычайно быстро исполненіе тайныхъ приговоровъ, устрашаютъ полицію и обуславливаютъ бездѣятельность ея. Казнятъ рѣдко, и преступники, идя на казнь, щеголяютъ своею смѣлостью, а толпа любитъся ими.

Неизвѣстно, видалъ ли Рибейра музей мумій короля Ферранте, но очень вѣроятно, что видѣлъ, потому что состоялъ придворнымъ живописцемъ неаполитанскаго вице-короля не болѣе какъ полвѣка спустя; едва ли музеи исчезаютъ такъ быстро. У вице-короля былъ свой дворъ; дворъ долженъ имѣть своего придворнаго живописца и испанецъ Рибейра попадаетъ къ испанскому вице-королю. Блеску двора способствуетъ искусство; необходимы большіе, богатые заказы и Рибейра заправляетъ ими. Никто,

кромѣ его и его людей, не долженъ работать въ Неаполь; если кто осмѣлится—его изведутъ ядомъ или кинжаломъ. На то у Рибейры товарищи-ученики, художники-спадассены, историческія имена которыхъ сохранились: Корренціо, Сантафеде, Карачіолло, Ланфранко, Франканцани.

Самъ Рибейра, лично, не убиваетъ, онъ посылаетъ для этого другихъ. Самъ онъ ученикъ Караваджіо, а въ числѣ учениковъ Рибейры значится Сальваторъ Роза! Какая преемственность мрачныхъ, злобныхъ людей, какая послѣдовательность, какое прямое объясненіе этой живописи тьмы и страсти, этой демонической силы въ живописи, которая въ темныхъ тонахъ и рѣзкихъ мѣдяныхъ пятнахъ свѣта, взятаго не отъ солнца, а отъ желчи и ненависти собственной души, легла самостоятельно тѣнью на длинномъ ряду свѣтоносныхъ произведеній другихъ представителей Возрожденія.

Король призываетъ въ Неаполь, для работы фресковъ въ Spirito Santo и Gesu-Nuovo, самого крупнаго изъ всѣхъ представителей тогдашней живописи—Анибала Караччи; но онъ не выноситъ всѣхъ козней рибейровскихъ спадассеновъ: желчный, больной, оскорбленный, возвращается въ Римъ и тамъ вскорѣ умираетъ. Призываютъ другую знаменитость—каваліере Арпино, для тѣхъ же работъ; съ нимъ повторяется та же исторія, тѣ же угрозы смертью и каваліере убѣгаетъ. Ему на смѣну является знаменитый Гвидо Рени; опять пущены въ ходъ старые способы устрашенія и снова достигаютъ они своей цѣли. Находится, наконецъ, смѣлый человѣкъ—Гесси; онъ самъ вызывается ѣхать въ Неаполь писать названные фрески и его предложеніе принимаютъ. Но Рибейра не дремлетъ: ему надо достичь той же цѣли, удалить Гесси, получить эти фрески; только отчего же не поразнообразить преступленія? И вотъ,

пускается въ ходъ фантазія и обращаются за прототипомъ къ классическому приему.

\* \* \*

Таверны, кабаки, австеріи среднихъ вѣковъ имѣли характеръ совершенно особый; они посѣщались, главнымъ образомъ, солдатами. Постукиваніе шпоръ и мечей, въ особенности, стальныхъ налокотниковъ вѣчно пьяныхъ наемниковъ, продававшихъ себя тому, кто больше платилъ; смѣсь многихъ языковъ и говоровъ; вѣчная игра въ кости; необходимое присутствіе подходившихъ къ обстановкѣ женщинъ; темное, закоптѣлое помѣщеніе; грязь, грубая шутка, побрякиваніе денегъ и брань, все это было вполнѣ общимъ во всей феодальной Европѣ, въ такихъ уголкахъ, какимъ представлялась таверна «Трехъ поваровъ» въ Неаполѣ, въ шестомъ часу вечера яснаго апрѣльского дня.

Таверна стояла на берегу моря съ видомъ на весь лазурный заливъ и островъ Капри. Этотъ удивительный видъ, во всей роскоши тоновъ благоухающей весны одного изъ роскошнѣйшихъ уголковъ земного шара, западалъ самымъ разнообразнымъ образомъ въ потускнѣвшія очи и сознанія посѣтителей таверны. Онъ западалъ въ нихъ, этотъ видъ, какимъ-то поломаннымъ, расшатаннымъ, какими-то неясными пятнами свѣта и красокъ и кусками тѣней. Попойка попойкѣ рознь и не всѣ удаются одинаково. Если бы еще одинъ часъ попойки, состоявшейся на этотъ разъ, то произошло бы вѣроятно обычное явленіе: могучая драка, свалка, убійство и, какъ слѣдствіе этого, появленіе патруля и успокоеніе разбушевавшихся полицейскимъ порядкомъ.

Дѣло въ томъ, что когда стало очень весело и начались различныя хвастовства, одинъ изъ немно-

гихъ не военныхъ посѣтителей, высокій, худощавый въ желтомъ беретѣ, съ широкою шляпою на головѣ, при шпагѣ, значительно подпившій, и его товарищъ, низенькаго роста, толстый и очень шутливый, вздумали потѣшать солдатъ разными фокусами.

Долгое время очень удачно исчезала серебряная монета, съ потускнѣвшимъ изображеніемъ Фердинанда Католическаго.

— Ай да Сильвіо! ай да серениссимо! *Madre di Dio*, какъ ловко!—раздавалось по сторонамъ.

Сильвіо, толстенькій и веселый, повидимому потратился весь; наступила очередь другому, его товарищу, именовавшемуся Анжелико. Начали исчезать и появляться въ другихъ мѣстахъ предметы болѣе крупные. Особенно хорошо прятались пивныя кружки, и—что нравилось болѣе прочаго—такъ это то, что кружка исчезала изъ-подъ носу того именно, кто хотѣлъ бы приложиться къ ней и хлебнуть.

Вино, между прочимъ, дѣлало свое дѣло, и собесѣдники пьянѣли. Шутки становились рѣзче, хохотъ неразборчивѣе; то тутъ, то тамъ начинали сердиться.

— Да это дьяволы какіе-то! пальцы у нихъ что когти, руки что рѣшето! держи карманы, господа! обворуютъ!

— Ой? ой! господа синьоры, зачѣмъ же такія вѣжливости? Мы васъ любопытными вещами потѣшаемъ, а вы намъ непріятныя слова говорите.

— Съ сатаной вы въ кумовствѣ, вотъ что!—отвѣтилъ кто-то.

— Да, да! съ сатаной!

— Ну, съ сатаной, не съ сатаной, а искусствомъ пользуемся.

— Нѣтъ, вы намъ что-нибудь такое покажите,—проговорилъ могучій арбалетчикъ, сильно смахивав-

шій на Фальстафа, типъ, ранѣ этого времени подмѣченный Шекспиромъ,—покажите что-нибудь такое, чтобы не руки ваши участвовали, а похитрѣе, ну, напимѣръ, чтобы: вотъ этотъ домъ исчезъ, или вотъ та скала, что надъ берегомъ торчитъ!

— Что-жъ, и это можно, — отвѣтилъ желтый берегъ:—синьоръ Анжелико, можно.

Онъ переглянулся съ Сильвіо.

— Видите ли вы вонъ тамъ, далеко, въ морѣ, по направленію къ Капри, двѣ лодочки?

Глаза всѣхъ обратились къ морю.

— Видимъ!

— Ну, смотрите: не пройдетъ и четверти часа времени, какъ вмѣсто двухъ лодокъ только одна останется.

Слова Анжелико подѣйствовали весьма различно: кто захохоталъ, кто переглянулся, а толстый синьоръ Сильвіо, сразу понявшій въ чемъ дѣло, ударилъ Анжелико по плечу и проговорилъ:

— Молодецы!

— Только это будетъ не даромъ, а, во-первыхъ, клади каждый на столъ, сколько бутыль вина стоитъ, а, во-вторыхъ, всѣмъ нашимъ красавицамъ тарантеллу проплясать. Согласны ли?

— Согласны.

— Ну, смотрите! четверти часа не пройдетъ, и только одна лодка останется. Затѣмъ, уговоръ лучше денегъ: глядѣть въ оба, а назадъ не оглядываться, пока не скажемъ, а не то не сдобровать.

— А если оглянусь?—спросилъ арбалетчикъ.

— Тогда увидятъ люди, что съ тобою сдѣлается, самъ не увидишь,—отвѣтилъ Сильвіо.

— Ну, ладно, быть по-вашему. Смотрѣть, что ли?

Назначенный срокъ, четверть часа, былъ не великъ, и говоръ, и смѣхъ временно затихли, а глаза всѣхъ устремились къ морю.



На далекой лазури его виднѣлись двѣ небольшія лодочки. На волнахъ лежала глубокая тишина, и обѣ лодочки двигались на веслахъ. Сначала онѣ держались поодаль одна отъ другой, но къ тому времени, какъ сдѣлалъ Анжелико свое предложеніе, какъ это было хорошо имъ замѣчено, стали онѣ приближаться одна къ другой. Временно заслоняясь, выскальзывая одна изъ-за другой, онѣ точно чайки играли въ лазури, давая круги, и то виднѣлись сбоку, то почти исчезали, поворачиваясь къ смотрѣвшимъ на нихъ носомъ или рулемъ.

— Ну, что же?—раздалось со стороны крупнаго арбалетчика, болѣе другихъ нетерпѣливаго.

— А вотъ и совершилось!—отвѣтилъ синьоръ Анжелико, указывая пальцемъ въ сторону лодокъ:— всего только одна осталась, вѣрно или нѣтъ? глядите!

Наступило глубочайшее молчаніе; многіе, вставъ съ мѣстъ, просунулись къ окну, налегая другъ на дружку и путаясь длинными шпагами своими; упорнѣе всѣхъ протискивались женщины и, надо отдать имъ справедливость, умѣли находить себѣ мѣсто. Группа была чрезвычайно живописна.

Дѣйствительно: какъ ни напрягали люди зрѣніе, какъ ни упорствовали въ своей увѣренности, что лодка не могла исчезнуть, несомнѣнность имѣлась налицо! оставалась только одна лодка, а другая сгинула безслѣдно, вдругъ, точно потонула. Оставшаяся лодка держалась нѣкоторое время неподвижно, а затѣмъ быстро направилась къ берегу.

Отъ окошка лица всѣхъ обратились бы сразу назадъ, къ синьорамъ Сильвіо и Анжелико, если бы не запретъ ихъ, не страхъ оглянуться, не присутствие какого-то сѣрнаго запаха въ комнатѣ, запаха, который прежде всего замѣченъ былъ арбалетчикомъ; онъ упорнѣе другихъ утверждалъ, что сѣрный запахъ дѣйствительно ощущался.

Этотъ страхъ оглянуться, посреди глубокаго, царившаго молчанія, былъ причиною той удивительной живой картины, достойной кисти Сальватора Розы или Караваджіо, которая составила въ окнѣ: цѣлая группа лицъ, обращенныхъ къ морю, глядящихъ по одному направленію, неподвижныхъ, съ выраженіемъ любопытства и ужаса во всѣхъ ихъ оттѣнкахъ.

Сомнѣнія не могло быть никакого: лодка оставалась только одна, но зато не было больше на столѣ и тѣхъ монетъ, которыя, согласно условію, положены собесѣдниками на столъ: ихъ забрали съ собою Сильвіо и Анжелико и чрезвычайно ловко и безшумно исчезли.

И они очень хорошо сдѣлали, что исчезли, потому что, когда, мало-по-малу, группа зашевелилась, нашлись смѣльчаки, которые, несмотря на сѣрный запахъ, оглянулись—молчаніе чрезвычайно быстро преобразилось въ ужасающій потокъ ругательствъ и проклятій.

Болѣе всѣхъ гудѣлъ арбалетчикъ, убѣжденный въ томъ, что онъ ощущалъ сѣрный запахъ.

— Негодяи! прощальги! да будь они сами черти, я бы ихъ вотъ этою шпагою... она у меня святой водой окроплена, эта шпага! я бы ихъ какъ цыплятъ на вертелo посадилъ!

Онъ даже выхватилъ шпагу изъ ноженъ и сунулъ было къ двери, но двѣ любезныя собесѣдницы остановили его. Въ концѣ концовъ хозяину пришлось прибѣгнуть къ помощи патруля.

Сильвіо и Анжелико тѣмъ временемъ направились къ жилищу Рибейры.

\* \* \*

Оба они были живописцами, его учениками, спадассенами первой руки, смѣлыми до безумія. Если

они удалились изъ таверны, устройвъ выше описанную сцену, то отнюдь не изъ страха передъ шпагами, окружавшими ихъ; это бы ихъ только потѣшило! Если они забрали деньги, положенныя на столы, то никакъ не изъ желанія пожитьея ими! Въ деньгахъ ни тотъ, ни другой не нуждались, и шпаги ихъ были искуснѣе прочихъ. Сдѣлали они все это потому, что имъ хотѣлось художественности, оригинальности выходки, и потому, что ихъ ждалъ Рибейра, которому предстояло рассказать о совершившемся: объ исчезновеніи второй лодки.

— Поздравляю, маэстро, съ заказомъ! съ фресками въ Spirito Santo и Gesu Nuovo!—быстро проговорилъ, обратившись къ Рибейрѣ, тотъ изъ двухъ, котораго называли Анжелико. Рибейра полулежалъ на широкомъ ложѣ, схожемъ съ нынѣшними оттоманками, только пошире; это была мебель, которая полюбилась всей Италиі, съ легкой руки венеціанской республики, заведшей ее у себя съ образцовъ Востока.

Рибейра былъ совершенно одинъ. Рѣзко очерченныя, нервныя черты лица его, освѣщенныя желтыми отраженіями вечерняго солнца, выдѣлялись весьма характерно въ длинномъ ряду всякихъ эскизовъ и картинъ, полныхъ такими же беспокойными отраженіями и такими же лицами; темныя драпировки усиливали это впечатлѣніе родственности мастера и его картинъ.

— Если бы вы видѣли, маэстро, если бы вы только видѣли, какъ это все произошло!—продолжалъ Анжелико;—народу въ тавернѣ...

— Народу тамъ было много,—перебилъ Сильвіо, да вы, вѣроятно, «Трехъ поваровъ» знаете?

— Только вотъ, изволите ли видѣть...

— Сидимъ-это мы съ большой компаніей...

— Да, да въ большой компаніи! только, знаете...

— Потѣшать мы ихъ начали...

Недолго прислушивался къ перебою разсказовъ своихъ учениковъ Рибейра; онъ не вытерпѣлъ и разразился сильнымъ ругательствомъ:

— Чортъ васъ побери! говори одинъ, а не двое! говори, Анжелико!

Сильвіо безпрекословно отошелъ въ уголь; онъ предпослалъ себѣ широкую шляпу; съ разстоянія весьма далекаго направилъ онъ ее на мраморную голову сатира, улыбающуюся изъ угла съ невысокаго постаментъ. Ловко кинутая шляпа донеслась по назначенію, вертясь около своей оси, очутилась на головѣ каменнаго божка и плотно наслѣла на его рожки. Сатиръ продолжалъ улыбаться изъ-подъ широкихъ полей шляпы. Сильвіо, видимо недовольный замѣчаніемъ Рибейры, подошелъ къ сатиру, сѣлъ на табуретъ и продолжалъ смотрѣть на мраморный ликъ статуи, сложивъ ногу на ногу и охвативъ верхнее колѣно обѣими руками.

Разсказъ Анжелико только что начался, какъ въ мастерскую вошли еще три человѣка.

На этотъ разъ Рибейра быстро поднялся съ мѣста, увидавъ вошедшихъ; съ ними появилось дѣйствительное, фактическое подтвержденіе разсказа, начатаго Анжелико.

Одна изъ вошедшихъ фигуръ стояла закутанною въ плащъ; она не снимала шляпы и не отводила отъ лица руки съ приподнятымъ бортомъ плаща.

— Франканцани? ты?—спросилъ Рибейра, подойдя къ фигурѣ и указывая на нее пальцемъ.

— Да, маэстро, я!—отвѣтила фигура, сбросивъ плащъ и сдернувъ шляпу.

Фигура была чрезвычайно характерна. Она только что вышла изъ воды; набедренные и наплечные пуфы, обыкновенно вздувавшіеся и придававшіе человѣку нѣкоторый, ему не подобавшій, видъ мо-

гучести, отягченные пропитавшею ихъ водою, висѣли вдоль рукъ и ногъ. Темныя кудри головы тоже еще не просохли и клеились ко лбу и щекамъ.

— Разсказывай!—быстро и нервно проговорилъ Рибейра, направившись къ своему ложу и бросившись на него. Ученики размѣстились гдѣ кто могъ; Сильвио оставался сидѣть подлѣ сатира. Стоялъ одинъ только мокрый разсказчикъ—Франканцани.

— Какъ вы приказали, маэстро, такъ и исполнено: синьоръ Гесси несомнѣнно покинетъ нашъ Неаполь, потому что два его спутника, два гессита, вволю напились воды нашего лазурнаго залива и наслаждаются теперь на днѣ его. Послѣ знакомства съ ними вчера, о которомъ, маэстро, мы вамъ сообщали, рѣшено было предпринять прогулку по морю въ двухъ лодкахъ. Это было не больше какъ часа четыре назадъ; на одну изъ нихъ сѣли они,—Франканцани указалъ глазами на обоихъ вошедшихъ съ нимъ спутниковъ,—на другую я, съ обоими гесситами.

При этихъ словахъ по хмурому лицу Рибейры пробѣжало что-то въ родѣ улыбки; улыбнулись также и Сильвио, и Анжелико; сатиръ, тотъ и не переставалъ улыбаться.

— Дальше!—проговорилъ Рибейра.

— Вся трудность была въ томъ, чтобы имѣть нужную лодку. Тутъ, маэстро, помогъ намъ Анжелико. Его красавица-рыбачка, живущая на самомъ берегу моря, промыслила все нужное; прорѣзали мы въ лодкѣ люкъ въ днищѣ; если бы вы видѣли, что это за искусная работа была! люкъ былъ пригнанъ такъ ловко, что не пропускалъ ни одной струйки воды; мы его сдерживали засовомъ, приходившимся какъ разъ подъ ногами гребца! о, это былъ удивительный люкъ! пригласить гостей на прогулку было не трудно. Сѣли мы, я на весла, съ ними двумя; въ другую лодку—нашихъ двое, вотъ эти самые.

Приэтомъ Франканцани вторично взглянулъ въ сторону товарищей.

— Ъхать было довольно далеко,—продолжалъ онъ; сновало много рыбаковъ, а намъ слѣдовало удалиться настолько, чтобы, въ случаѣ невѣжливыхъ криковъ господъ гесситовъ о спасеніи, ихъ не слышали!

— А лучше если бы даже не видѣли!—перебилъ Рибейра.

— Насъ и не видѣли...

— Мы васъ видѣли, — перебилъ Анжелико: — потому что...

Онъ тотчасъ же замолчалъ подъ впечатлѣніемъ взгляда, брошеннаго на него Рибейрой; разговоръ продолжался безостановочно.

— Когда я замѣтилъ,—заговорилъ опять Франканцани:—что приступить можно и что наши въ лодкѣ недалеко, я выдвинулъ засовъ... О! если бы вы созерцали, маэстро, эти двѣ глупыя фізіономіи, торчавшія передо мною! если бы вы только ихъ видѣли, когда въ лодку хлынула вода! а вода хлынула чудесно — разомъ, цѣлымъ потокомъ... видѣлъ я, маэстро, минуту всемірнаго потопа передъ собою въ гибели этихъ людей... но глупѣе ихъ фізіономій я ничего не помню... да и было съ чего: ни тотъ, ни другой не умѣли плавать, какъ оказалось! Очень это странное чувство сидѣть въ лодкѣ, опускающейся ко дну, очень странное! Я почувствовалъ полную свободу только тогда, когда опустился въ воду по горло, а лодки, ни передо мною, ни подо мною больше не было, а торчали изъ воды только двѣ головы! Они даже, кажется, драться одинъ съ другимъ начали, одинъ на другого взлѣзть хотѣли, нѣсколько разъ крикнули, кувырнулись, потомъ...

— Потомъ!?!—повторилъ Рибейра.

— Потомъ усѣлся я очень скоро на другую лодку и, какъ видите, красивъ!

Рибейра поднялся съ мѣста.

— Съ фресками *Gesu Nuovo*, маэстро!—неожиданно проговорилъ Сильвіо, вскочивъ на ноги и отойдя отъ мраморнаго сатура.

— Съ фресками *Spirit Santo*!—добавилъ Анжелико.

Всѣ прочіе, въ знакъ согласія съ этими заявленіями, медленно наклонили головы.

Разсчетъ Рибейры и на этотъ разъ оказался вѣрнымъ: Гесси, послѣ таинственнаго исчезновенія двухъ своихъ учениковъ, немедленно покинулъ Неаполь. Франканцани, одинъ изъ прилежнѣйшихъ и искуснѣйшихъ исполнителей смертныхъ приговоровъ Рибейры, нѣсколько времени спустя, обвиненъ въ другомъ убійствѣ и приговоренъ къ повѣшенію. Могучему заступничеству Рибейры удалось достигнуть только той милости, что ему позволено было замѣнить казнь чрезъ повѣшеніе отравленіемъ въ тюрьмѣ: это исполнено, и рибейровская шайка художественныхъ преступниковъ избѣгла этимъ путемъ нѣкоторой доли оглашенія; нѣкоторая стыдливость была у этихъ не сочиненныхъ, а дѣйствительно существовавшихъ людей.



## УДИВИТЕЛЬНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ.

---

Быстрые сумерки осенней ночи спускались надъ Римомъ.

Въ далекіе годы семнадцатаго столѣтія, съ наступленіемъ ночи, въ большомъ городѣ, на улицахъ становилось небезопасно. Освѣщенія не было никакого; полиціи не существовало. Одинокими, медленно двигающимися звѣздочками мелькали иногда, тутъ и тамъ, фонари, несомые прислугою передъ какимъ нибудь засидѣвшимся въ гостяхъ съ семействомъ горожаниномъ. Завернутые въ плащи, снабженные палками, двигались эти запоздалые гости по узкимъ, кривымъ, грязнымъ улицамъ, особенно сильно побаиваясь перекрестковъ. Уличная темень увеличивалась еще и тѣмъ, что дома снабжались, зачастую, крытыми галереями для пѣшиходовъ и тротуары шли подъ ними.

Не только магазины прочно закрывались могучими засовами, но окна нижнихъ и вторыхъ этажей снабжались выведенными одновременно со стѣною рѣшетками. Случись что нибудь на улицѣ, позови кто на помощь, выбраться изъ этихъ закрытыхъ наглухо воротъ и дверей было чрезвычайно трудно; не легко поддавался ржавый засовъ, не всякаго



слушался громадный, привѣсный замокъ, да и повернуть на петляхъ обитую желѣзомъ дверь было подстать далеко не всякому. Помощь несомнѣнно опаздывала; предпочитали вовсе не подавать ея, и оставалась—самозащита.

Темень надвинулась окончательно въ то время, когда какая-то сомнительная фигура, не то горожанинъ, не то цыганъ, не то нищій, слабо освѣщаемая свѣтомъ лампы, горѣвшей за массивною рѣшеткою передъ Мадонною у воротъ мужского монастыря въ Транстеверѣ, подошла вплотную къ стѣнѣ и не то что присѣла, а какъ-то скорчилась, осунулась, опустилась на каменную скамью.

Есть явленія въ жизни человѣка, не озаряемые свѣтомъ, къ числу которыхъ относится, между прочимъ, и чувство голода. Фигурѣ, осунувшейся на скамью, подлѣ Мадонны, сильно хотѣлось ѣсть. Это былъ юноша лѣтъ двадцати съ небольшимъ, въ лохмотьяхъ, съ помятою, широкополою шляпою на головѣ. Шляпа эта, когда-то, несомнѣнно украшала чело какого нибудь богатаго, знатнаго горожанина; теперь она не годилась бы для него, во вниманіе къ прорванному днищу, зіявшему кверху широкою дырой.

Едва только уѣлся горемыка на мѣсто, какъ къ нему подошла другая фигура, давно слѣдившая за нимъ, человѣкъ среднихъ лѣтъ, въ плащѣ, при шпагѣ, въ шляпѣ еще болѣе широкой, чѣмъ та, которая отличалась отсутствіемъ днища, но совершенно цѣлой; по внѣшности это былъ несомнѣнно художникъ, типъ хорошо извѣстный Риму того времени.

— Не наймешься ли ко мнѣ на службу?—спросилъ онъ горемыку, подходя къ нему.

Фигура со шляпою безъ днища встрепенулась; къ ней, съ ранняго утра истекшаго дня, никто не обращалъ слова.

— Мнѣ нуженъ носильщикъ воды,—продолжалъ художникъ, ты, какъ видно, изъ прочныхъ, плечистъ, молодъ: не хочешь ли?

— Хочу!—отвѣтилъ спрошенный.

— Слѣдуй, въ такомъ случаѣ, за мною.

Оба они двинулись съ мѣста.

— Господи!—думалъ импровизированный носильщикъ воды,—неужели онъ меня не накормить? неужели онъ, человѣкъ съ сытымъ желудкомъ, который ублажалъ его съ утра Богъ вѣсть какими прелестями, не сознаетъ, что за нимъ слѣдуетъ другой желудокъ, въ которомъ, вотъ уже сутки, ни крошки не побывало?

— Синьоръ!—спросилъ горемыка съ пустымъ желудкомъ:—синьоръ! послушайте...

— Что?—отвѣчалъ художникъ, не оборачиваясь.

— А полагается ли у васъ въ дому кормить людей на ночь? я ничего не ѣлъ.

— Будетъ тебѣ и хлѣбъ, и вино, и говядина.

— И говядина! и говядина будетъ!—повторилъ съ нѣкоторымъ увлеченіемъ человѣкъ, нанятый въ носильщики.

— Да, да, и говядина!

Въ сладкихъ грезахъ о томъ, какъ пройдетъ въ него этотъ обѣтованный кусокъ говядины, какъ полется вслѣдъ ему вино и, можетъ быть, хорошее вино, носильщикъ не замѣтилъ, какъ подошли они къ древнему замку Святаго Ангела, хмурившемуся во мракъ ночи, какъ перешли мостъ, какъ повернули направо и направились разными мелкими улицами.

Когда путники миновали нѣсколько улицъ, такъ что трудно было опредѣлить, гдѣ именно они находились и въ какую часть вѣчнаго города зашли, фигура въ лохмотьяхъ, движимая совершенно понятнымъ нетерпѣніемъ, спросила:

— Скоро ли, синьоръ?

— Вотъ мы и дома,—отвѣтилъ проводникъ:—пришли!

Улица, въ которой оба находились, оказалась такою узкою, что въ нее, конечно, никогда не заворачивало ни одного экипажа. Темень ея увеличивалась еще и тѣмъ, что наверху, тамъ, откуда могли бы проглядывать звѣзды небесныя, нависали обыкновенныя средневѣковой архитектурѣ, вышки съ кранами для подъема различныхъ запасовъ муки, сѣна, и т. п. На улицѣ не виднѣлось рѣшительно никого, и дверь, передъ которою пѣшеходы остановились, была такъ низка, что, казалось, вела не въ жилье, а въ под-земелье.

— Куда же это мы, синьоръ?—спросила, удивленная размѣрами двери, фигура въ шляпѣ безъ днища.

— Къ доброму куску говядины и къ хорошему стакану вина, мой милѣйшій,—отвѣтилъ художникъ.

Дверь оказалась не запертою. Съ шумомъ скрипомъ отворилась она и за нею потянулся довольно длинный корридоръ, чрезвычайно бѣдно освѣщенный нагорѣвшею и чадившею плоскою, поставленною на огромную бочку.

— Милости просимъ!—проговорилъ художникъ.

Оба двинулись по корридору. Слѣдовала вторая дверь. Отворили и ее.

— Ну, господа, вотъ вамъ то, что нужно,—сказалъ художникъ, остановившись у двери и протолкнувъ въ нее фигуру въ шляпѣ безъ днища.!

Неожиданный толчокъ смѣнился для фигуры еще болѣе неожиданнымъ видомъ. Бѣжать хотѣлось бы фигурѣ назадъ, но дверь оказалась быстро защелкнутою, а бой съ присутствовавшими, въ значительномъ числѣ, людьми оказался бы неравенъ.

Картина представлялась дѣйствительно ужасною.

Посрединѣ весьма просторнаго, накрытаго круг-

лымъ свodomъ помѣщенія, освѣщеннаго изъ двухъ угловъ красноватыми огнями висѣвшихъ на веревкахъ свѣтильниковъ, на длинномъ столѣ лежало мертвое тѣло, далеко не во всю длину покрытое простыней. Кровавыя пятна проступали вдоль простыни и сосредоточивались главнымъ образомъ на груди трупа.

При входѣ обоихъ посѣтителей глаза многихъ изъ присутствовавшихъ обратились на приведеннаго художникомъ незнакомца, въ которомъ чувство ужаса достигло мгновенно крайнихъ предѣловъ.

Онъ оторопѣлъ, снялъ свою шляпу съ прорваннымъ днищемъ и замѣтно дрожалъ всѣмъ тѣломъ, что означалось очень ясно, благодаря ветхости лохмотьевъ его одежды, опадавшихъ кругомъ бахрамою. Пришедшій съ нимъ художникъ немедленно затерялся между другими, пестрыми, озабоченными, еле виднѣвшимися изъ темныхъ угловъ помѣщеній, людьми. Неподвижный, ошеломленный владѣлецъ лохмотьевъ и шляпы безъ днища только поводилъ глазами и не шевелился. Онъ отличалъ, какъ бы сквозь сонъ, движущихся людей со всѣми ихъ непривѣтливыми, даже злобными лицами; ему казалось, будто всѣ брови морщились, всѣ глаза сверкали; онъ замѣтилъ, какъ шептались эти люди одни съ другими и о чемъ-то сговаривались, глядя на него, и, какъ будто, улыбались.

Кто-то изъ самыхъ крупныхъ по очертаніямъ подошелъ къ нему и заговорилъ:

— Ты можешь ли поклясться,—сказалъ онъ ему:— что никогда, никому не расскажешь о томъ, что видѣлъ? клянешься ли?

Фигура въ лохмотьяхъ прошептала что-то въ отвѣтъ.

— Дѣло въ томъ, что этого мертваго надо унести. Тибръ не далеко; ты привяжешь камень къ но-

гамъ и дѣлу конецъ; тебя проведутъ самую короткою дорогою, а вотъ тебѣ за труды!

Приэтомъ онъ сунулъ ему въ руку нѣсколько монетъ.

«Золотыя, золотыя!» промелькнуло по затуманившимся мыслямъ человѣка въ лохмотьяхъ.

Звукъ монетъ и ошупь не солгали ему: монеты были дѣйствительно золотыя; вслѣдъ за этимъ соображеніемъ промелькнули и другія: что тутъ дѣло идетъ о какомъ-то убійствѣ, что его хотятъ скрыть; что если не согласиться, то самого въ Тибръ отправятъ; что отчего же и не снести покойника въ Тибръ, такъ какъ воскресить его невозможно, а грѣхъ убійства лежитъ на другихъ, а не на немъ.

— Если согласенъ,—проговорилъ крупный господинъ, сунувшій въ руку монеты:—то взваливай, торопись!

Дѣлать было нечего; подошли къ тѣлу и завернули его во что-то темное. Тутъ только могъ замѣтить человѣкъ, взявшійся нести покойника, черты его лица: оно было совершенно синее; широкій кровавый порѣзъ выдѣлялся на лѣвомъ вискѣ; борода торчала включенною; на рукахъ обозначались рѣзкія ссадины.

Взвалить покойника на спину было довольно трудно, но, съ общою помощью, это сдѣлано.

При первыхъ шагахъ подъ тяжестью непривычной ноши, носильщикъ не могъ не замѣтить какого-то страннаго шопота, пронесшагося между присутствовавшими; раздалось какъ бы смѣшки. Но въ головѣ его окончательно помутилось, и онъ готовъ былъ свалиться съ ногъ, когда почувствовалъ, что мертвецъ, навьюченный на него, зашевелился, обнявъ его своими, далеко не холодными руками, пригнулъ къ землѣ и соскочилъ долой...

Неустовый, drobный хохотъ огласилъ помѣщеніе.

Фигура въ лохмотьяхъ рѣшительно не знала, что ей дѣлать; безсознательно повернулась она и стала лицомъ къ лицу съ ожившимъ мертвецомъ.

Тотъ же шрамъ на вискѣ, та же синева и отеки, но приэтомъ рѣзкій контрастъ добродушнѣйшаго смѣха и безконечно веселые глаза, не имѣвшіе съ кровью и отеками ничего общаго. Быстро окружили люди обоихъ ихъ со всѣхъ сторонъ, хохотали, трогали руками, повертывали къ себѣ и отъ себя, видимо изслѣдовали, изучали и приэтомъ сыпали при-сказками. Быстро замелькали по столамъ листки бумаги, затеплились новые огоньки свѣточей; усѣвшись за столы, присутствовавшіе что-то набрасывали, крокировали, то-и-дѣло поглядывали на носильщика, весьма медленно приходившаго въ себя.

Съ носильщикомъ случилось то, что бываетъ очень часто при сильныхъ нравственныхъ потрясеніяхъ; онъ окончательно пришелъ въ себя, вслѣдствіе возникновенія передъ нимъ одного изъ обычныхъ, ежедневныхъ, съ дѣтства знакомыхъ именно ему мотивовъ жизни. Этимъ мотивомъ явились, въ данномъ случаѣ, листки бумаги и карандаши, потому что фигура въ шляпѣ съ продыравленнымъ днищемъ былъ никѣмъ инымъ, какъ будущею знаменитостью гравернаго искусства—Жакомъ Калло.

Если, до того, жертвою довольно злостнаго обмана, со стороны общества художниковъ, задумавшихъ устроить себѣ потѣху и изучить въ натурѣ выраженіе страха, былъ онъ, то теперь роли перемѣнились неожиданно, и нельзя сказать, чтобы въ ущербъ Калло.

Ближе прочихъ къ нему, подлѣ того стола, на которомъ недавно лежалъ мнимый покойникъ, помѣстился самъ покойникъ, весь украшенный разма-леванными рубцами и синяками, весь сіяющій смѣхомъ, довольный исходомъ совершившагося; онъ,

то-и-дѣло поглядывая на Калло, крокировалъ съ него свой набросокъ.

Калло, совершенно отрезвившійся, давно позабывшій, конечно, и голодъ и жажду, быстро подошелъ къ нему и посмотрѣлъ на кроки.

— Что? хорошо?—спросилъ самоувѣренно художникъ.

— Отвратительно!—также точно рѣзко и громко отвѣтилъ Калло.

Это было первымъ словомъ, произнесеннымъ имъ, съ иностраннымъ для Италіи акцентомъ француза.

Озадаченный рѣзкостью отвѣта, бывшій покойникъ, бросивъ работу и не вставая съ мѣста, пристально оглядѣлъ Калло и его лохмотья.

— Ты не итальянецъ?—спросилъ кто-то со стороны, услыхавъ замѣчаніе.

— Нѣтъ, я французъ, изъ Нанси.

— А что же по-твоему тутъ дурного, въ этомъ наброскѣ?—спросилъ тотъ же самый голосъ.

— Все дурно! души нѣтъ! правды нѣтъ! мысли нѣтъ.

Этихъ словъ, сказанныхъ чрезвычайно горячо и громко, оказалось вполне достаточно, чтобы водворить во всемъ шумномъ и пестромъ обществѣ полнѣйшее молчаніе. Брошены рисунки, прекращены разговоры; слышалось въ глубокомъ безмолвіи шарканье ногъ по плитамъ каменнаго пола людей, подходившихъ со всѣхъ сторонъ къ центральному столу и къ возникавшей, удивительной сценѣ. Совершенно неловко чувствовалъ себя бывшій покойникъ, подвергшійся замѣчанію. Начались подтруниванія со стороны товарищей, взглядывавшихъ на листъ бумаги и начатый набросокъ.

— А ты живописецъ, что ли?—спросили наконецъ Калло.—Если да—покажи себя: садись и пиши!

Уже совершенно развязно, войдя въ свою колею,

положилъ Калло на столъ шляпу съ прорваннымъ днищемъ и деньги, не покидавшія до сихъ поръ другой его руки, и сѣлъ на очищенное ему мѣсто.

Невозможно было принять за одного и того же человѣка фигуру въ лохмотьяхъ, робко вошедшую съ улицы, жалостливую, голодную, какъ бы съѣжившуюся, и художника, садившагося за свое дѣло съ увѣренностью художника, вдохновеннаго и развязнаго. Прошло не болѣе полуминуты совершеннѣйшаго безмолвія; кругомъ было такъ тихо, такъ тихо, что слышались дыханія налегавшихъ другъ на друга людей, нетерпѣливо жаждавшихъ появленія на бѣлой бумагѣ первыхъ объяснительныхъ штриховъ.

Въ эти короткія мгновенія Калло самовластно владѣлъ психическими силами всего собранія. Чувалась та глубокая, нервная натянутость положенія, изъ которой Калло оставалось только два выхода: или быть жестоко избитымъ за дерзость, или быть поднятымъ на руки въ великомъ торжествѣ. Присутствіе таланта всегда обаятельно, а ужъ тутъ ли въ средѣ итальянскихъ художниковъ, тѣхъ дней, не были чутки къ нему, не понимали въ чемъ дѣло?..

До насъ не дошелъ набросокъ, сдѣланный Калло въ эту удивительную ночь; намъ неизвѣстно даже, что именно набросалъ онъ, но съ тѣхъ поръ имя его прославилось сразу и судьба окончательно опредѣлена. Очень можетъ быть, что онъ изобразилъ лицо бывшего покойника, во всемъ противорѣчіи смертельныхъ ранъ, смѣха и того неожиданнаго удивленія, которое появилось на немъ, вслѣдствіе замѣчанія, сдѣланнаго Калло. Подобная задача являлась трудностью необычайною: совладать съ нею могъ только большой талантъ!

Удивительное приключеніе, только что описанное, не составляетъ исключенія въ чрезвычайно пестрой біографіи знаменитаго гравера, родившагося въ Нанси



въ 1591 году. Двадцати-лѣтнимъ мальчикомъ бѣжить онъ отъ семьи съ таборомъ цыганъ, насильственно возвращается семьѣ, бѣжить вторично, присоединяется въ дорогѣ опять-таки къ цыганамъ и бродить съ ними долгое время. Въ качествѣ сочлена цыганскаго табора, онъ сходится на довольно продолжительную, жгучую связь съ красавицей цыганкой и дѣлитъ съ сотоварищами нужду и работу. Гдѣ и что можно, рисуетъ онъ на доскѣ, на стѣнѣ, на бумагѣ; въ этой способности заключались особья права его на уваженіе въ таборѣ. Но завѣтною мечтою Калло былъ Римъ, и когда таборъ подкочевалъ къ Риму — Калло бѣжалъ и встрѣтился въ Транстевверѣ съ приключеніемъ, только что описаннымъ.

Это легендарная сторона его біографіи. Другія свѣдѣнія говорятъ о болѣе счастливой обстановкѣ, о помощи его молодому таланту со стороны людей богатыхъ и даже объ отвозѣ его въ Римъ однимъ изъ пословъ Генриха II лотарингскаго къ папѣ.

Какъ бы то ни было, но странички изъ жизни Жака Калло заключаютъ въ себѣ благодарный матеріалъ для прелестной оперетки и, удивительно, какъ это до сихъ поръ никто не воспользовался ими, перебравъ множество другихъ, менѣе подходящихъ. Сколько красокъ, сколько жизни, сколько чудесныхъ, счастливѣйшихъ противоположеній!

Въ исторіи гравюры Калло занимаетъ весьма видное мѣсто не только по оригинальности и силѣ таланта, но глубокой реальности, можно сказать, реалистичности исполненія, но и по technikѣ; онъ былъ если не изобрѣтателемъ, то однимъ изъ первыхъ выдающихся художниковъ-офортистовъ.

Характерна была его жизнь, его работы, характерна и эпитафія на памятникѣ, поставленномъ ему неутѣшною вдовою его въ Нанси, гдѣ онъ умеръ.

Вотъ начальный отрывокъ эпитафіи: «Потомству! Прохожій, взгляни на эту надпись и, когда ты узнаешь, какъ быстро прожилъ я, ты не вознегодуешь, если я остановлю тебя на твоей дорогѣ. Я—Жакъ Калло, великій и превосходный гравёръ, покоящійся здѣсь въ ожиданіи воскресенія тѣла. По рожденію я былъ бѣднымъ, призваніе мое было почетно, жизнь моя коротка и счастлива», и т. д.

Люди того времени дѣйствительно вѣрили въ почетность своихъ художественныхъ призваній и не удивительно что они были счастливы, создавали много прекраснаго и чаяли, и жаждали воскресенія своихъ тѣлъ!



## МЕЧТЫ И ВЫСТРЫЛЫ.

---

Широкая низменность крайняго сѣверо-восточнаго уголка Италіи, неподалеку отъ Венеціи, быстро очищалась отъ заволокнувшаго ее ночью тумана, когда по дорогѣ между Креспано и Посаньо медленно подвигался худощавый, видимо болѣзненный, или только что оправившійся отъ болѣзни, чело-вѣкъ. Онъ былъ одѣтъ чрезвычайно щеголевато, хотя и по-дорожному. Въ сотнѣ шаговъ за нимъ, слѣдуя его приказанію, медленно подвигалась блиставшая новизною карета. Ночному туману свободно было возникать, потому что необозримыя рисовыя поля, искусственно орошенныя, стояли подъ водою. Совершенно своеобразенъ видъ этихъ рисовыхъ полей. Это прѣсноводное море, искусственно перенесенное на землю; только не землетрясенія, не бури выдвинули его сюда изъ родной глубины, нѣтъ, оно точно прогуляться вышло, чтобы насладиться непосредственною близостью, прикосновеніемъ къ растительности, вѣчно отодвинутой отъ него песчаными наносами скучныхъ лагунъ. Топленнымъ золотомъ казалось это выплывшее на землю море, облюбованное огнями утра. Длинными, четырехугольными гра-

нями обозначались по немъ межи, съ возвышавшимся вдоль ихъ деревьями. Деревьевъ этихъ, казалось, росло ровно вдвое противъ дѣйствительности, потому что каждое отражалось въ водѣ. Покошились блестящія воды, вплотную прилегая къ полевымъ цвѣтамъ, росшимъ по межамъ; довѣрчиво и безмолвно купались въ нихъ пахучія фіалки, выглядывали коронки ландышей.

Море, ландышъ и фіалка въ безмолвномъ объятіи—развѣ это не красиво?

И такъ хороша была общая картина, такъ полна какой-то блаженной тишины, такъ золотились, искрились покойныя воды рисовыхъ полей съ отраженьями гатей, дорогъ, мостовъ и домовъ, раскиданныхъ по окрестности, такъ звучно пѣли птицы и юрко порхали бабочки, что больному человѣку, шедшему въ Посаньо, становилось легче на душѣ.

Путникъ этотъ былъ скульпторъ Канова.

Онъ, къ этому времени, какъ говорится, совершилъ почти все земное и находился на высотѣ славы. Маркизомъ Искіи сдѣлалъ его папа, но онъ продолжалъ подписываться Антоніо Канова.

Это были послѣдніе годы первой четверти нашего столѣтія, время полного затишья послѣ наполеоновскихъ погромовъ, царство меттерниховской системы безусловной реакціи. Наполеонъ только что отошелъ въ прошедшее. Онъ тоже хотѣлъ быть увѣковѣченъ рѣзцомъ Кановы, лучшимъ рѣзцомъ того времени, если не считать Торвальдсена, и Канова воспроизвелъ его колоссальнымъ, но почти нагимъ.

— Развѣ Канова думаетъ, что я кулачный боецъ?—замѣтилъ Наполеонъ, увидя этого колосса.

Императоръ боялся насмѣшки пуще всего, и статуя, тогда же, была куда-то припрятана; въ настоящее

время она находится въ Англіи и принадлежитъ семьѣ герцога Веллингтона.

Двое имѣлось налицо великихъ ваятелей въ тѣ дни: Канова и Торвальдсенъ. Въ томъ и въ другомъ праздновала скульптура свои послѣднія, по времени, торжества. Являлись, конечно, ваятели и послѣ нихъ, и будутъ еще, но колесо жизни повернулось: ваяніе зачало, поднялась музыка.

Чрезвычайно характерна и не обслѣдована эта быстрая перемѣна декорацій въ мысляхъ и чувствахъ людей. Какъ въ древней Греціи, у самаго начала ея скульптурнаго творчества, высятся фигуры Фидія и Праксителя, такъ и въ новѣйшее время успѣхи музыки даютъ, на первыхъ же порахъ, двухъ самыхъ крупныхъ представителей — Моцарта и Бетховена. Почему, тогда и тамъ первое мѣсто ваянію, тутъ и теперь — музыкѣ! вѣдь, была же и у грековъ музыка, есть и у насъ ваяніе; всякое начало трудно, а тутъ и тамъ сразу — гиганты?

Почему, однако, наше девятнадцатое столѣтіе, зародившееся въ крови наполеоновскихъ войнъ, разѣдаемое всѣми внутренними болѣзнями, отравившееся въ собственномъ умѣ, такъ полюбило музыку? кажется потому, что музыка можетъ ублажить, успокоить механическимъ путемъ музыкальнаго ритма, а отнюдь не мышленія, сознаніе чловѣка, не находящее въ себѣ рѣшительно никакой опоры. Дѣйствіе музыки на насъ — дѣйствіе колыбельной пѣсни на ребенка. Слушаетъ чловѣкъ музыку и что-то приходитъ въ порядокъ, что-то, какъ будто, устраивается, какъ будто утихаетъ; чувствуется, видится существованіе какихъ-то обѣтованныхъ земель, гдѣ царятъ тишина и порядокъ, въ которыя наконецъ вступаешь самъ и успокоиваешься. Чѣмъ хуже будетъ жить, тѣмъ музыкальнѣе будетъ чело-

вѣщество. И дѣйствительно, зачѣмъ этому бѣдному человѣчеству прекрасныя формы ваянія, завѣренія въ существованіи тѣлесной красоты въ жизни, когда сама жизнь наобщаетъ много, но ничего не дастъ и вовсе не красива? Музыка ничего не общаетъ, ни о чемъ не мыслить, ни о чемъ не спорить и намъ хорошо при ней. Но, къ счастью, музыкальны не одни только звуки, музыкальны и краски, и очертанія, и сами аффекты сердца человѣческаго; и Канова, медленно подвигаясь къ Креспано изъ Посаньо, въ музыкѣ роскошнаго утра, находился именно въ подобномъ же счастливомъ настроеніи.

Онъ только что оправился отъ тяжелой болѣзни и находился подлѣ родного очага, небольшого, забытаго, скромнаго мѣстечка, онъ—всесвѣтная знаменитость, лицо близкое многимъ царямъ. Сцены нѣжнѣйшихъ воспоминаній возникали и тѣснились въ памяти и мечтахъ ваятеля. Первая любовь его имѣла мѣсто тутъ, въ этихъ мѣстахъ, по которымъ онъ подвигался. Бетта Біази... черноглазая... такой роскошной косы, какъ у нея, не видалъ онъ нигдѣ, а ужъ онъ ли не видалъ красавицъ, не приглаживалъ, отложивъ рѣзецъ въ сторону, богатѣйшихъ волосъ! Давно это было, давно...

«И былъ я тогда,—вспоминалъ Канова,—неуклюжимъ сельчаниномъ; она, совсѣмъ какъ въ сказкахъ или эклогахъ, пастушкой... ничего изъ этого не вышло: неожиданный отъѣздъ мой въ Венецію, затѣмъ начало успѣховъ, славы... Впрочемъ, я видѣлъ ее,—вспомнилъ Канова,—Бетту Біази, еще разъ, проѣздомъ въ Посаньо, двадцать лѣтъ назадъ, и видѣлъ ее еще разъ вчера, въ Креспано... Она замужемъ и счастлива. Годы сдѣлали свое! Но нечего сказать, хороши и красивы мы оба! А было когда-то совсѣмъ другое время»...

И припоминались ему инныя условія жизни, возникала въ общихъ чертахъ вторичная, и послѣдняя, повѣсть другой любви...

Опять что-то годное для новеллы. Онъ друженъ съ Вольпато, знаменитымъ граверомъ рафаэлевскихъ работъ. У Вольпато дочь—Доменика, тоже красавица. Канова—объявленный женихъ ея. Но искренна ли Доменика? Нѣтъ ли въ ея согласіи разсчета! Помнить Канова, помнить чрезвычайно ясно, день, когда онъ убѣдился въ ея неискренности. Доменика пойдетъ въ церковь; она будетъ раздавать милостыню... Канова, переодѣтый нищимъ, ждетъ на паперти: онъ получаетъ отъ нея свою лепту, но въ то же время является несомнѣнность любви Доменики къ другому человѣку, ее сопровождавшему, тоже къ художнику, къ Рафаэлю Моргену. Свадьба не можетъ состояться; скорѣе опять въ творчество и забыть о женщинѣ, насколько это возможно...

И все идетъ Канова по дорогѣ, вдоль знакомыхъ ему рисовыхъ полей, въ музыкѣ роскошнаго утра.

Возникаютъ въ памяти его длинные ряды созданныхъ имъ ваяній. Все это бѣлые, нѣжные мраморы; не по-сердцу ему рѣзкая, сумрачная, могучая бронза! Онъ ваятель сердца, чувства, граціи, а не силы. Фигуры смѣняются однѣ другими, ихъ много, много, и у каждой свой генезисъ, своя исторія, и каждую вынашивалъ онъ въ душѣ. А рельефы, а бюсты, а надгробные памятники, изъ которыхъ нѣкоторые, какъ, напримѣръ, Тиціану и папѣ Клименту, цѣлыя эпопеи въ лицахъ? И всякое созданіе являлось успѣхомъ, славою!... Куда ему съ этой славой? что въ ней?

Мраморные облики, созданія его рѣзца, одни за другими быстро проскальзываютъ въ его мысляхъ, перепутавшись самымъ удивительнымъ образомъ съ біографическими подробностями жизни и утрен-

ними отливами орошенных водою полей. Канова шелъ медленно, но, несмотря на это, легкій слой известковой пыли наѣлъ на его высокіе, глянцеви-тые сапоги, на его плечи и спину. Онъ начиналъ уже уставать и не безъ удовольствія замѣчалъ, какъ близился къ знакомымъ съ дѣтства мѣстамъ, какъ изъ-за невысокихъ холмовъ и обнаженій придорож-ныхъ скалъ, отъ поры до времени, мелькаетъ шпиль мѣстной церкви. О каретѣ, слѣдовавшей сзади, онъ точно позабылъ, несмотря на то, что усталость одолѣвала его все болѣе и болѣе.

Дальше всего былъ, конечно, Канова въ своихъ мечтахъ отъ какихъ бы то ни было воинственныхъ помысловъ.

Вдругъ выстрѣлъ!

Онъ раздался надъ самымъ ухомъ его; слѣдовалъ другой, третій, со всѣхъ сторонъ, съ разныхъ раз-стояній.

— Evviva!! — грянуло на множество ладовъ. Эхо отвѣтило, звуки повторялись!

Озадаченный и совершенно неподготовленный къ чему либо подобному, Канова остановился. Сердце стучало въ немъ неровно, порывисто, онъ растерялся. Что это: опасность, случай, шутка?

Полное уединеніе родныхъ полей, которое такъ нерушимо окружало его, оказалось призрачнымъ, ложнымъ, потому что население двухъ мѣстечекъ, Креспано и Посаньо, предупрежденное о его при-ходѣ, попрятавшись кто какъ могъ, ожидало при-ближенія своего великаго родича и встрѣтило его несовѣмъ любезно — пальбою. Дѣти и взрослые, мужчины и женщины, быстро выбираясь изъ своихъ засадъ на дорогу, съ сіяющими лицами, и беско-



нечно веселые, направлялись къ нему, осыпали цвѣтами, тѣснились, окружали.

Канова стоялъ неподвижно въ этой пестрой, живой, радостной толпѣ, озаренной солнцемъ. Онъ не находилъ словъ, онъ все еще не понималъ того, что вокругъ него дѣлалось.

— Вотъ онъ! вотъ онъ! Ессо!—быстро раздавалось по сторонамъ, и десятки ребятишекъ и дѣвчонокъ придвигались къ нему вплотную и глядѣли на него въ упоръ, чуть не трогали.

— Evviva!—гудѣло, рокотало отовсюду, и опять выстрѣлы.

«Раздайтесь, раздайтесь»! пронеслось вдругъ въ толпѣ, съ той стороны, куда Кановъ предстояло двигаться.

Съ обнаженными головами, составляя особую живописную группу, старѣйшіе люди обоихъ мѣстечекъ, блистая сѣдинами всѣхъ отѣнковъ, въ праздничныхъ платьяхъ, продвинулись къ нему, имѣя передъ собою священника. Многое множество пережитыхъ годовъ подвигалось навстрѣчу Кановъ, въ этой почтенной, молчаливой группѣ, представительницъ завершавшагося столѣтія мирной жизни обоихъ мѣстечекъ.

Канова снялъ шляпу.

— Синьоръ:—началь священникъ—дѣти, взрослые и старцы Креспано и Посаньо задумали, посильно и насколько съумѣютъ, почтить тебя, великаго человека, вышедшаго изъ среды ихъ. Прости за простоту приѣма—но она идетъ отъ души. Ты близокъ къ царямъ земнымъ; мы—простые сельчане, но почитать умѣемъ и мы. Прииди же къ намъ, въ домъ свой, и порадуемся вмѣстѣ...

Звучный голосъ священника замеръ въ полной тишинѣ, быстро водворившейся кругомъ. Несмотря на присутствіе тысячной толпы народа, было

такъ тихо, что слышалось чириканье самой мелкой пташки, порхавшей неподалеку... И, вдругъ, какъ величественное продолженіе словъ священника, ударилъ колоколь недалекой церкви мѣстечка; ему отвѣтилъ другой, третій — и мелодичный перезвонъ какъ бы повисъ въ веселой, сіяющей лазури безподобнаго утра.

Вспомнилось Кановѣ, что, отвѣчая именно этому голосу церкви, еще будучи дитятей, ходилъ онъ когда-то на молитву... Проступили слезы на старые глаза его, во свидѣтельство того, что великое мгновеніе жизни вкусилъ онъ въ ту минуту, счастливый и благодарный.

Умѣть цѣнить и праздновать своихъ людей — особенность всякаго сложившагося, сознавшаго себя народа. Не одними только успѣхами и радостями обозначаются пути этихъ людей; больше, лучше, слаще могли бы жить они, если бы пользовались своими талантами только какъ средствомъ къ красивому и счастливому существованію, и только въ мѣру. Нѣтъ!! на тяжелыя минуты упорной борьбы и изнуряющаго труда идутъ эти люди, увлекаемые къ чему-то гораздо болѣе высокому, чѣмъ блестящая обстановка жизни: она имѣлась бы и безъ «этихъ минутъ», и достигалась бы легче. За эти, такъ сказать, избытки, излишки труда, за эти даровыя приношенія силъ человѣка, золотомъ не вознаградить!

Много лѣтъ спустя, тѣло Канова, умершаго въ Венеціи, перенесено съ великимъ торжествомъ въ Посаньо, подъ своды церкви, построенной имъ. Условіе, которое заключилъ онъ съ общиною Посаньо на предметъ постройки церкви, заключаетъ въ себѣ ту оригинальность, что на сто дукатовъ расходовъ Канова бралъ на свою долю девяносто пять: община поставляла песокъ и известь. По заключеніи этого

условія, несомнѣнно свидѣтельствующаго о томъ, что церковь построена не Кановою, а на общій счетъ, дѣвушки мѣстечка внесли небольшую поправку для возстановленія равновѣсія въ счетъ: онѣ обязались носить матеріалы для постройки въ свободные отъ работы, праздничные дни.

Такъ это и сдѣлано. Канова присутствовалъ при закладкѣ и основной камень церкви отесанъ и положенъ имъ самимъ. Построить церковь на своей родинѣ—было всегда однимъ изъ завѣтныхъ мечтаній Кановы, и эта церковь уже высилась въ его воображеніи, какъ бы построенная, когда онъ въ сіяніи утра подходилъ къ ущельямъ и былъ смущенъ неожиданными выстрѣлами и неумолкавшими кликами: «Evviva»! раздававшимися вокругъ него.



## ИСЧЕЗНУВШИЙ СВЕРТОКЪ.

---

Въ церкви зимняго дворца служатъ обѣдню и поютъ херувимскую. Пожилая императрица Анна Иоанновна и дворъ присутствуютъ. Золото, фижмы, парики. Чинъ служенія идетъ по обычаю; ничего, кажется, особеннаго не происходитъ; мелькаютъ крестныя знаменія, поклоны. Какія тогда пѣлись херувимскія, мы не знаемъ, но тѣхъ внушительныхъ херувимскихъ, которыя поются теперь, еще не существовало. И вотъ, поютъ херувимскую... Это, будто, въ каменной церкви, медленно воздвигается, возносится другая, звуковая, церковь и уже въ этой церкви, а не въ каменной, совершается общеніе молящихся съ тѣми добрыми силами, которыя невидимо служатъ.

Голосовъ слышно много. Большинство ихъ съ юга: всѣ они стройны, всѣ звучны, всѣ задушевы, — но одинъ голосъ ярче всѣхъ. Какъ ласточка, случайно залетѣвшая въ церковь, забивается, испуганная, то туда, то сюда, въ лѣпныя и золоченыя изображенія херувимовъ, облаковъ и лучей подъ сводомъ, возможно глубже, возможно сокровеннѣе,

такъ пробивался этотъ удивительный голосъ, невѣдомыми путями, въ тайники людского сердца, вился по нимъ, ластился...

Ничего, кажется, особеннаго не случилось: царица на мѣстѣ и дворъ подлѣ нея, и херувимскую пропѣли.

Только малымъ началомъ, незамѣтною струйкою, запалъ этотъ замолкшій голосъ въ душу молодой цесаревны Елисаветы Петровны. И не то, что молится она, и не то, что слушаетъ, а что-то тако: въ ней происходитъ необъяснимое, будто зябкая дрожь обнимаетъ... а она уже знала въ то время, что значить любовь. Елисавета Петровна—это будущее, недалекое царствованіе, прихотливое женское самодержавіе, это судьбы Россіи.

Отошла обѣдня. Цесаревна спрашиваетъ, какъ зовутъ пѣвчаго. Ей называютъ Алексѣя Розума и представляютъ его. Розумъ недавно привезенъ изъ Малороссіи; онъ сынъ реестроваго казака.

Будь онъ некрасивъ, будь онъ въ лѣтахъ, этотъ Розумъ—ничего бы не случилось. А то нѣтъ: онъ высокъ, строенъ, смуглолицъ, съ чудесными черными глазами, весь—молодость, весь—югъ, ростокъ благодатной Украйны, и этотъ голосъ—ласточка...

Сердце цесаревны заговорило...

Четыре года спустя, Розумъ уже дѣйствительный камергеръ только что воцарившейся императрицы Елисаветы; онъ имѣетъ ленту Андрея Первозваннаго и нѣсколько тысячъ душъ крестьянъ. Теноровая партія молодого казака въ херувимской и закрѣпощеніе нѣсколькихъ тысячъ душъ крестьянъ—какое сближеніе!

Но годы идутъ, нѣтъ не идутъ, а бѣгутъ невозвратно. Императрицы Елисаветы нѣтъ больше—царствуетъ Екатерина II. Графъ Алексѣй Григорьевичъ Разумовскій, ему подъ шестьдесятъ, живетъ

со времени смерти своей высокой благодѣтельницы совершенно уединенно.

Въ это время имѣютъ мѣсто различныя, двѣ быстро слѣдующія одна за другою, чудесно дополняющія сцены...

\* \* \*

Зимній дворецъ еще объять утреннимъ сномъ. Самое зданіе высится такъ же точно, какъ теперь, но сосѣдняя съ нимъ мѣстность представляется иначе: объ Александровской колоннѣ нѣтъ еще и помину, а тамъ, гдѣ тянется зданіе адмиралтейства и идетъ бульваръ, раскинулись земляные валы и укрѣпленія, обведенные рвомъ, по дну котораго уставлень частоколь. Туманъ клубится по сугробамъ снѣга этого молчаливаго мѣста, кажушагося пустошью подлѣ самаго дворца. Зимнее, январьское утро чрезвычайно лѣнливо; сквозь туманъ еле обозначается розовый свѣтъ невидимаго солнца; все небо одинаково розовое, одинаково блѣдное, такъ что рѣшительно нельзя опредѣлить: гдѣ же именно востокъ, гдѣ западъ, откуда заря?

Зимній дворецъ, окруженный часовыми, спокоенъ, но только по виду, потому что въ немъ зрѣтъ замысль чрезвычайно смѣлый. Кто за, кто противъ него, и всѣ вліянія, всѣ происки обострились. Императрица Екатерина II молода, красива и только что овдовѣла; Григорій Орловъ, за котораго стоятъ многіе, оказался баловнемъ счастія. Хворость цесаревича, наслѣдника престола, ребенка больного, непрочнаго, вызываетъ опасенія за будущность страны. Воспоминанія о послѣдствіяхъ этой неопредѣленности еще такъ живы, и вотъ почему назрѣла въ зимнемъ дворцѣ мысль выискать императрицѣ супруга между ея подданными. Искать было недолго, многіе за Орлова, но пожелаетъ ли этого сама Ека-

терцина? Не изъ тѣхъ она, чтобы пожелать, но молодого счастливца баюкаетъ и ласкаетъ эта свѣтозарная мысль. Еще бы!

Замыселъ въ полномъ ходу. Екатерина принимаетъ свои мѣры. Она встала раньше обыкновеннаго и уже два раза посылала Перекусихину, Марью Савишну, свою знаменитую камеръ-юнгферу, справиться: не пріѣхалъ ли канцлеръ, графъ Михаилъ Иларіоновичъ Воронцовъ.

— Чего же это онъ не торопится?—спрашивала императрица, видимо обезпокоенная, даже нетерпѣливая, какъ бы предполагавшая, что и Воронцовъ, подобно ей, долженъ торопиться.

Дѣло въ томъ, что не дальше, какъ вчера, Григорій Орловъ уже не только намекнулъ ей о бракѣ, но говорилъ, и долго говорилъ о томъ, что этотъ бракъ нуженъ.

— А зачѣмъ? — спросила императрица не безъ двухсмысленной улыбки и съ полнымъ сознаніемъ того, что будетъ она дѣлать въ данномъ случаѣ.

— По примѣру,—отвѣтилъ ей Орловъ.

Легкая тучка скользнула по свѣтлому лицу государыни и точно сосредоточилась на бровяхъ ея, чуть-чуть нахмурившихся. Примѣръ, на который намекалъ Орловъ, дѣйствительно существовалъ.

— Я вспоминаю,—говорилъ Орловъ,—о бракѣ покойной императрицы съ графомъ Алексѣемъ Григорьевичемъ...

— Да, да!—персбила Екатерина, поднявшись съ мѣста:—знаю, слыхала...

Съ-глаза на-глазъ говорила она тогда съ Орловымъ и она любила его. «Отказать—обидѣть! исполнить—никогда»...

— Это, я думаю, больше заграницей выдумали,—быстро отвѣтила императрица:—и гдѣ же документы? я никакихъ не вѣдаю.

— Есть и документы, государыня! — замѣтилъ Орловъ.

— То-есть, развѣ самъ Разумовскій?

— Нѣтъ! документы, хранящіеся у Разумовскаго.

— О! — возразила Екатерина, какъ бы ничего не знавшая. — Это любопытно. Пошлемъ, пошлемъ къ Разумовскому, освѣдомимся...

Разговоръ этотъ имѣлъ мѣсто вечеромъ. Въ ночь было обдумано Екатериною, что ей дѣлать. Ночь принесла совѣтъ, и рѣшеніе, принятое императрицею, оказалось чрезвычайно характерно. Это было нѣчто вродѣ того, что сдѣлала она гораздо позже съ внукомъ своимъ, великимъ княземъ Александромъ, сыгравъ съ нимъ то, что она сама назвала un tour diabolique, введя его въ искушеніе; другимъ, схожимъ съ этимъ дѣйствіемъ ея, была немилость, оказанная ею князю Репнину въ то время, когда ей хотѣлось, чтобы цесаревичъ Павелъ, съ супругою своею Маріею Ѳеодоровною, поѣхалъ за границу, и чтобы онъ самъ, цесаревичъ, захотѣлъ отправиться въ это путешествіе.

— Ты, князь, — говорила она тогда Репнину: — наведи ихъ, а въ особенности ее, la bonne dame, на мысль объ этомъ путешествіи; а чтобы они не думали, что эта мысль отъ меня идетъ, я буду къ тебѣ немилостива. Надо ихъ провѣтрить, эту Schwere Bagage прокататься послать! Такъ ты устрой, а я отблагодарю тебя и немилость моя окончится!

Извѣстно, что цѣли своей Екатерина достигла. Репнинъ исполнилъ порученіе мастерски. Schwere Bagage поѣхала за границу чуть не насильно. При прощаніи со своими дѣтьми, Марія Ѳеодоровна упала даже въ обморокъ и ее отнесли въ карету въ безпамятствѣ.

Но на такихъ мелочахъ матушка Екатерина не останавливалась. Рѣшеніе, принятое ею и по во-



просу о бракѣ, поднятомъ Орловымъ, оказалось сходнаго характера. Оно должно было быть осуществлено канцлеромъ графомъ Воронцовымъ, и вотъ почему Марья Савишна Перекусихина дважды бѣгала справляться о его приѣздѣ. На третій разъ она ввела графа канцлера прямо къ императрицѣ и сама удалилась.

— Напишите мнѣ, графъ,—сказала императрица, милостиво давъ поцѣловать вошедшему руку:—напишите мнѣ указъ о томъ, что, въ память въ Бозѣ почившей теткы нашей, императрицы Елисаветы Петровны, мы признаемъ справедливымъ присвоить графу Алексѣю Григорьевичу Разумовскому...

При этомъ имени Воронцовъ, и безъ того внимательный къ словамъ своей повелительницы, обратился весь въ слухъ, въ чуткость! Онъ зналъ, конечно, о существовавшихъ въ то время вѣяніяхъ насчетъ задуманнаго брака. Совпаденіе этихъ вѣяній съ раннимъ и неожиданнымъ призывомъ во дворецъ и имя графа Алексѣя Григорьевича Разумовскаго открывали ему нѣкоторую, чрезвычайно любопытную перспективу. Кромѣ того, надо замѣтить, насколько своеобразно дѣйствуетъ на вельможу, находящагося во власти, неожиданное возникновеніе передъ нимъ имени другого, отошедшаго въ тѣнь, былого, вельможнаго человѣка. Такимъ именно долженъ былъ представляться Воронцову отошедшій отъ всякихъ дѣлъ, полузабытый Разумовскій.

«Вѣдь и я,—подумалъ канцлеръ—я тоже съ какимъ нибудь однимъ словомъ отойти могу!»

Понятно, что этой мысли онъ ни за что бы никому не выразилъ, да и остановиться-то на ней онъ не могъ, потому что надо было слѣдить за дальнѣйшими повелѣніями Екатерины.

— Я хочу, видите ли,—добавила императрица въ разъясненіе своей мысли:—нѣкоторые слухи въ дѣло

обратить; справедливымъ признаю я графу Разумовскому, повѣнчанному, какъ извѣстно, съ государыней,—вѣдь вы, графъ, слышали, конечно, объ этомъ бракѣ!—присвоить титулъ императорскаго высочества, каковую дань признательности и благоговѣнія къ предшественницѣ нашей мы и желаемъ сдѣлать гласною во всенародное извѣстіе.

— А когда же указъ этотъ изготовить прикажешь, государыня,—спросилъ графъ, не считая возможнымъ любопытствовать о причинахъ.

— Сейчасъ, тутъ, у меня! войдите вонъ въ эту комнату; тамъ у меня и перо и чернила найдете.

Императрица указала на двери.

— При мнѣ печати нѣтъ, государыня.

— Да вѣдь мы указа и не подпишемъ, а только въ проектъ графу Алексѣю Григорьевичу свеземъ. Онъ, чай, въ халатѣ, въ своемъ Аничковомъ сидитъ. Вы, какъ напишете указъ, сейчасъ сами его свезите и попросите отъ моего имени, чтобы графъ имѣющіеся у него, по этому важному дѣлу, документы, для составленія акта въ законной формѣ, вамъ вручилъ, чтобы мнѣ передать...

— Простите, государыня, но...

— Такъ, такъ, понимаю,—возразила Екатерина:— вы въ ту комнату войти не хотите, ну такъ я отсюда уйду, а вы останьтесь и пишите; вонъ столъ и все, что вамъ нужно...

Воронцову ничего не оставалось другого, какъ исполнить повелѣніе. Едва вышла императрица, онъ сѣлъ строчить проектъ указа, а государыня направилась въ ближнюю комнату къ Марьѣ Савишнѣ и толковала съ ней о томъ: обшить ей, или не обшивать галунчикомъ то платье, которое предстояло одѣть вечеромъ на эрмитажное представленіе, платье, которое блистало передъ нею, раскинутое по двумъ тяжелымъ, съ золочеными ручками, кресламъ. Ком-

ната давно уже ярко озарялась тѣмъ неопредѣленнымъ розовымъ свѣтомъ, который въ это утро разливался надъ Петербургомъ. Кто выходилъ изъ дому, тѣ думали: вотъ-вотъ выкатится солнце мощнымъ малиновымъ шаромъ и станетъ тихо подниматься; но солнце не глянуло: невѣсть откуда стали налетать порывистыя дуновенія вѣтра, стали завихриваться снѣжки, начались завыванія метели.

Какъ было въ природѣ, такъ было и въ комнатѣ Марьи Савишны. По внѣшности, по обстановкѣ все смотрѣло свѣтло, радужно: блестящее платье, растянутое по кресламъ, свидѣтельствовало о предстоящемъ весельи; мнѣнія императрицы насчетъ обшивки галунчикомъ, которыя она высказывала, были такъ серьезны, что убѣдили бы всѣхъ и каждаго въ томъ, что этотъ галунчикъ дѣйствительно занималъ ее. На самомъ дѣлѣ, сквозь розовыя разсужденія государыни, точно сами нарождаясь, завихривались, поднимались въ ней метелицею разныя, очень важныя мысли. Толкуя съ Перекусихиной о галунчикахъ, она всѣмъ своимъ вниманіемъ обрѣталась въ сосѣдней комнатѣ, гдѣ канцлеръ строчилъ проектируемый указъ.

«Документы несомнѣнно есть, — думала она, — есть... Отдастъ ли ихъ старикъ? вѣдь онъ можетъ сказать, что нѣтъ никакихъ... ну, тогда ровно ничего не измѣнится, будетъ, какъ было, а Григорій Орловъ при своемъ желаніи останется, вотъ и все... Но если»...

— А что, Марья Савишна, — спросила Екатерина: — глянь-ка, какая метелица разыгрывается? метелица мнѣ мысль для платья даетъ: что если бы вмѣсто галунчика да бѣлымъ пухомъ опушить, что скажешь?

— И пухомъ хорошо будетъ, матушка государыня, — отвѣтила Перекусихина.

Этого отвѣта Марьи Савишны Екатерина не слышала, вся сразу охваченная другою мыслью...

«Если, думала она, старикъ документы отдастъ, что тогда?.. уничтожить ихъ?! надо бы уничтожить! а гдѣ право на это?»

Слегка вспыхнувъ, государыня отошла отъ платья къ окну и довольно долго, безмолвно смотрѣла на неожиданно налетѣвшую, вполне разыгравшуюся метель.

Проектъ указа тѣмъ временемъ изготавленъ, и по прочтеніи его Екатериною, Воронцовъ отправленъ въ Аничковъ дворецъ, къ Разумовскому, немедленно.

\* \* \*

Дворецъ этотъ, гдѣ имѣла мѣсто другая историческая сцена, дополняющая ту, которая описана, глядѣлъ тогда со стороны Большого Перспективнаго проспекта почти такъ же, какъ и теперь, но совершенно инымъ представлялся онъ отъ Фонтанки. Отъ огромныхъ каменныхъ палатъ его, крытыхъ сплошь луженымъ желѣзомъ, шли къ рѣкѣ двѣ длинныя колоннады, соединенныя у воды крытой галереей; отсюда доступъ возможенъ былъ только на лодкахъ. Построенный лѣтъ за десять до того дня, о которомъ идетъ рѣчь, дворецъ этотъ послужилъ роскошнымъ даромъ Елисаветы графу Алексѣю Разумовскому, какъ странное каменное воплощеніе той удивительной херувимской, которую она, нѣкогда, прослушала. Пройдутъ немногіе годы и дворецъ этотъ подарятъ Потемкину! тамъ началось съ херувимской, тутъ—съ одного царственнаго взгляда на блесящаго всадника конной гвардіи, ловко повернувшего коня своего на глазахъ молодой императрицы, объѣзжавшей свои войска.

Метель завывала. Грузный возокъ канцлера, съ трудомъ влекомый по глубокому снѣгу и почти весь

занесенный метелью, подкатилъ къ мѣсту жительства графа Алексѣя Григорьевича Разумовскаго, къ Аничкову дворцу, часу въ одиннадцатомъ утра. Особенно густо наѣлъ и лѣпился снѣгъ по тѣмъ мѣстамъ возка, на которыхъ держались небольшие, золоченые, рельефные орнаментики; стекла его оставались чистыми, потому что острый, слегка подмороженный снѣгъ скользилъ по гладкой поверхности ихъ. Для впуска во дворъ пришлось отворить ворота. Когда-то, еще такъ недавно, ворота эти были постоянно открыты настежь, а теперь привратнику, удивленному раннимъ посѣщеніемъ вельможнаго человека, не безъ труда удалось отодвинуть крѣпкій засовъ. Ему помогли два какихъ-то усатыхъ малоросса, только что посѣтившіе графа Алексѣя Григорьевича, земляки его, односельчане, отправлявшіеся во-свояси, покалякавъ съ хозяиномъ, съ поклономъ родичамъ и богато одаренные.

Хохлы, пропуская во дворъ возокъ, снявъ шапки и обнаживъ чубы, съ любопытствомъ заглядывали сквозь стекла экипажа на вельможную фигуру канцлера, въ собольей шубѣ и шляпѣ, шитой по краямъ золотымъ узоромъ.

— Кто винъ? спросили хохлы привратника, когда возокъ проѣхалъ.

— А бисъ ихъ знае!—отвѣтилъ привратникъ.

Канцлеръ, въ свою очередь, увидавъ чубатыхъ хохловъ, улыбнулся.

Какъ сказала императрица, такъ это и было: Алексѣй Григорьевичъ сидѣлъ въ своемъ кабинетѣ, въ богатомъ, подбитомъ мѣхомъ халатѣ, подлѣ пылавшаго камина, когда ему доложили о прибытіи канцлера. Посѣщеніе это поразило его чрезвычайно. Онъ торопливо, насколько торопливость была ему доступна, отложилъ въ сторону священное писаніе кіевской печати, находившееся въ его рукахъ, и

не безъ труда поднялся съ мѣста. Высокая, внушительная фигура его обрисовалась во весь ростъ, и сказанное имъ канцлеру «добро пожаловать» было искренно и гостепріимно. Бывшій красавецъ, темно-волосый казакъ, сохранилъ отъ былого одинъ только томный, кроткій, удивительный взглядъ и чрезвычайно пріятный голосъ.

— Чему обязанъ я, графъ Михаилъ Иларіоновичъ,—спросилъ Разумовскій, усадивъ гостя и самъ усаживаясь.

— Я отъ государыни императрицы.

Разумовскій, только что опустившійся въ кресло, снова быстро поднялся; всталъ и канцлеръ.

— Отъ ея величества?—проговорилъ онъ удивленный и, точно болью какою-то сказалось въ немъ сердце, не добрымъ прозвучало, какою-то далекою стариною откликнулось; иное чувствовалъ онъ когда-то, когда его звала другая императрица...

Оба графа сѣли снова, и Разумовскій молча выслушалъ объясненія Воронцова. Взявъ въ руки проектъ указа, ему поданнаго, онъ пробѣжалъ его. Легкій трепетъ въ рукахъ давалъ понять присутствовавшему, что нелегко давалось ему это чтеніе. И не тѣ были годы, въ которые неожиданности не поражаютъ, и не таковъ былъ предметъ, котораго коснулись, чтобы не вызвать быстрого напряженія всѣхъ душевныхъ силъ.

Почему-то мелькали также въ соображеніяхъ графа Алексѣя Григорьевича судьбы Меншикова съ дочерью, обрученною Петру II, Бирона, судьбы Долгоруковыхъ, тоже съ «государыней невѣстою»... Березовъ... тайная канцелярія... все это близко... все это свѣжіе слѣды... все это тяжелыя повѣсти...

Всталъ князь-казакъ съ своего мѣста. Пораздумалъ.

— Такъ государынѣ документы угодны?

— Да!—отвѣтилъ Воронцовъ.

Въ роскошныхъ покаяхъ Разумовскаго стояло кругомъ много цѣнныхъ предметовъ. Комнаты, убранныя со всевозможною, по времени, изысканностью, носили на себѣ тотъ почтенный отпечатокъ домовитости, осѣдлости, который теперь все болѣе исчезаетъ. Все кругомъ размѣщалось рассчитанное на вѣчность, на стойкость тѣхъ формъ жизни, въ которыя судьба отлила, а отливши, отчеканила и хозяина, и его домъ. И нѣтъ тутъ никакого противорѣчія съ мгновенными крушеніями самовластныхъ личностей въ родѣ Бирона, Меншикова, Долгоруковыхъ. Шквалы налетали въ разные слои этихъ людей только изъ одного, единого источника—отъ самодержавной власти. Другихъ подкашивателей, другихъ возмутителей социальной гидростатики въ тѣ дни не существовало и самыя проявленія безграничнаго самодержавія, въ концѣ концовъ, служили только самымъ яркимъ доказательствомъ прочности всего остального, всѣхъ этихъ бытовыхъ наслоеній.

Золото, шелкъ, ковры, фигуры изъ фарфора и бронзы, мозаики и картины глядѣли со стѣнъ кабинета. Чаше прочихъ, повсюду, замѣчались изображенія или вензеля императрицы Елисаветы. Знакомый обликъ въ ея царственныхъ регаліяхъ, съ высокой прической, увѣнчанной брилліантовою короною, въ широкихъ фижмахъ и твердомъ корсажѣ, съ острымъ, упрямымъ шнипомъ впереди, царилъ надъ всѣмъ окружающимъ, со стѣны противoleжавшей входной двери. Подъ портретомъ стоялъ массивный, корельской березы, инкрустованный бронзою комодъ и на немъ виднѣлся ларецъ чернаго дерева, окованный серебромъ и обложенный перламутромъ.

Въ немъ хранились тѣ именно документы, о которыхъ шла рѣчь.

Ничего не сказавъ, глубоко взволнованный, направился Разумовскій къ комоду, отыскивалъ къ нему ключъ, отперъ ларецъ и вынулъ изъ потаеннаго ящика бумаги.

Розовый атласъ, въ который онѣ были тщательно обвиты, выглянувъ изъ чернаго ларца и, развертываясь въ дрожавшихъ рукахъ графа, произвелъ на стоявшаго поодаль, безмолвнаго Воронцова, какое-то странное, имъ самимъ недостаточно созннное, впечатлѣніе спадающей гробовой парчи: атласъ — покровъ, черный ларецъ—гробъ; эти бумаги, которыя мало-по-малу обнажались—чѣмъ не покойникъ, чѣмъ не мертвецъ?

Безмолвіе продолжалось полное. Хрустнули обнаженные бумаги въ рукахъ графа; онъ спряталъ атласъ обратно, а бумаги началъ читать съ благоговѣйнымъ вниманіемъ. Прочиталъ ихъ, поцѣловалъ и заплакалъ. Изъ чудесныхъ, черныхъ глазъ его проступили крупныя, не сразу собравшіяся слезы. Взглянулъ онъ также на портретъ Елисаветы, на образа, перекрестился и направился къ Воронцову.

Канцлеръ стоялъ у камина; онъ не имѣлъ духа сказать что либо. Онъ протянулъ руку за бумагами, но Разумовскій быстро бросилъ свертокъ въ огонь. Воронцовъ даже вздрогнулъ и отступилъ, такъ неожиданно встревожилось, вскинулось пламя камина; онъ даже потянулся, было, за сверткомъ, но пламя уже дѣлало свое дѣло: историческій фактъ улечивался изъ области фактовъ! Разумовскій тѣмъ временемъ, точно обезсиленный, подкошенный, опустился въ кресла.

— Я,—проговорилъ онъ наконецъ, помолчавъ немного:—былъ не болѣе, какъ вѣрнымъ рабомъ ея величества покойной императрицы Елисаветы Петровны, осыпавшей меня благодѣяніями выше заслугъ моихъ. Никогда не забывалъ я, изъ какой доли и на какую



степень возведенъ десницею ея. Обожалъ ее какъ сердолюбивую мать милліоновъ народа и примѣрную христіанку и никогда не дерзнулъ самую мыслью сближаться съ ея царственнымъ величіемъ.

Будто отыскивая подтвержденія словамъ своимъ, взглянулъ онъ на медленно обугливавшіеся, разсыпавшіеся останки свертка въ каминѣ и, склонивъ голову еще ниже прежняго, продолжалъ:

— Стократъ смиряюсь, вспоминая прошедшее, живу въ будущемъ, его же преjdeшь, въ молитвахъ къ Вседержителю. Мысленно лобызаю державныя руки нынѣ царствующей монархини, подъ скипетромъ коей безмятежно въ остальныхъ дняхъ жизни вкушаю дары благодѣяній, изліянныхъ на меня отъ престола. Если бы было нѣкогда то, о чемъ вы говорите со мною, то повѣрьте, что я не имѣлъ бы суетности признать случай, помрачающій незабвенную память монархини, моей благодѣтельницы.

Эти слова были сказаны старикомъ по адресу Григорія Орлова; произнося ихъ, онъ приподнялъ голову и пристально посмотрѣлъ на Воронцова.

— Теперь вы видите, — сказалъ онъ въ заключеніе:—что у меня нѣтъ никакихъ документовъ. Доложите обо всемъ этомъ всемилоствѣйшей государынѣ, да продлитъ милости на меня старца, нежелающаго никакихъ почестей. Прощайте, ваше сіятельство: да останется все происшедшее между нами въ тайнѣ! Пусть люди говорятъ что имъ угодно, пусть дерзновенные простираютъ надежды къ мнимымъ величіямъ!

Разумовскій еще разъ упорно взглянулъ на Воронцова, затѣмъ всталъ и протянулъ руку. Они молча простились другъ съ другомъ.

Непогода продолжалась. Хохловъ уже не было у воротъ, когда возокъ съ канцлеромъ выѣхалъ на Большой Перспективный проспектъ. Въ глубокомъ

раздумьи сидѣлъ въ возкѣ канцлеръ, прислушиваясь къ вою и взвизгиваніямъ вѣтра. Муiriады бѣлыхъ хлопьевъ рѣяли передъ его глазами и будто хорошили историческій фактъ въ глубинахъ непогоды и въ самодержавіи неистово разыгравшейся метели.

Екатерина, которой было передано дословно все случившееся, замѣтила, не безъ удовольствія, что, слѣдовательно, тайнаго брака не существовало, хотя бы то и «для успокоенія боязливой совѣсти».

— Шопотъ объ этомъ былъ мнѣ всегда противенъ,—добавила она.

Поступокъ Разумовскаго государыня отнесла къ свойственному малороссамъ самоотверженію. Глубже этого сердце въ ней не шевельнулось, но цѣль была достигнута; о задуманномъ бракѣ не могло быть болѣе и рѣчи.



## ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II

и

### КІЕВСКІЕ УГОДНИКИ.

---

Въ глубокую зиму 1787 года, 29 января, долженъ быть состояться прїѣздъ въ Кіевъ императрицы Екатерины II. Такъ какъ въ народѣ не знали съ точностью часа прїѣзда, то толпились съ утра. Денекъ былъ морозный, довольно пасмурный. Прошло обѣденное время, близился вечеръ, а государыни все еще не было. Плотнымъ покровомъ снѣга одѣлся Кіевъ, и прихотливыхъ извилинъ Днѣпра какъ бы не существовало. Глубокій снѣгъ, по народнымъ примѣтамъ, обѣщаетъ обильный урожай. На этотъ разъ урожай былъ чрезвычайно желателенъ, потому что минувшій годъ оказался плохъ и безкормица подняла стоимость мяса до цѣны небывалой: до трехъ съ половиною копѣекъ за фунтъ!

— Ёдетъ! ёдетъ! — раздалось по толпѣ, часовъ около пяти пополудни, одновременно изъ нѣсколькихъ мѣстъ, особенно съ вершины горы.

Толпа зашевелилась.

По льду Днѣпра, въ томъ мѣстѣ, гдѣ упиралась въ него столбовая дорога изъ Москвы и гдѣ лѣтомъ

принималъ на себя проѣзжихъ парѣмъ, положенъ былъ помость изъ брусевъ. Зеленяя вѣтви сосны служили ему перилами; вдоль нихъ, во всю длину, стояли матросы съ офицерами, въ зеленыхъ одеждахъ и красныхъ воротникахъ. Поѣздъ императрицы замѣтили въ толпѣ задолго до того, какъ ему спуститься на помость; издали, сквозь сгущавшіеся сумерки, мало-по-малу выяснялся онъ, и наконецъ приблизился.

Двухмѣстную, парадную карету императрицы, въ которую она пересѣла за нѣсколько верстъ до Кіева, опережали придворные на коняхъ; непосредственно за каретою ѣхала верхами же свита, и наконецъ неся лейбъ-кирасирскій полкъ, въ полномъ его составѣ. Едва только въѣхала государыня на правый берегъ Днѣпра, какъ грохотъ брусянаго помоста, подъ многими сотнями конскихъ подковъ, разносившійся по свѣжему, зимнему воздуху чрезвычайно явственно и на далекое разстояніе, совершенно открылся трескомъ барабановъ, рокотаньемъ трубъ и литавровъ, грохотомъ пушекъ съ крѣпости и необычайнымъ, неумолчнымъ кликомъ народа.

Императрица направилась прямо въ Печерскую лавру. Три триумфальныя арки проѣхала она по городу и въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ встрѣтили ее власти, военныя и административныя, войтъ съ гражданами, дворянство, земледѣльцы; чрезвычайно характерно смотрѣли малороссіянки мѣщанскаго и купеческаго сословія: у женщинъ на головахъ были кораблики, у дѣвушекъ цвѣты; еще характернѣе оказались мѣщане и купцы съ ружьями и значками ихъ обществъ, раздѣленные на цехи, нѣчто вродѣ блаженной памяти итальянской чивики или французской національной гвардіи.

Холодъ былъ чрезвычайно рѣзокъ, такъ что дамы, ожидавшія императрицу въ лаврѣ, стояли къ шубахъ;

имъ пришлось сбросить ихъ при входѣ государыни. Встрѣченная духовенствомъ, при оглушительномъ колокольномъ звонѣ и запахахъ изъ крѣпости, императрица подошла поклониться лаврской святынѣ, подѣ руку съ графомъ Петромъ Александровичемъ Румянцевымъ.

Иллюминація города еще не отгорѣла, когда государыня, во дворцѣ своемъ, сыгравъ обычную партію въ карты, отправилась почивать.

Съ приѣздомъ государыни начался длинный рядъ духовныхъ и свѣтскихъ празднествъ, вошедшихъ, такъ сказать, въ норму съ 3 февраля, со дня прибытія свѣтлѣйшаго князя Потемкина. Наѣхало въ Кіевъ много вельможныхъ поляковъ: Сапѣги, Любомірскіе, Браницкіе прибыли задолго до государыни, съ цѣлыми штатами прислуги; у одного Потоцкаго свита состояла изъ двухсотъ человѣкъ, и молодыя польскія дворянки носили за графинею шлейфъ ея платья.

Для увеличенія свиты русской государыни, замѣчаетъ современный авторъ одного изъ дневниковъ, въ Кіевъ явились разные искатели счастья, прибыли принцы де-Линь и Нассау, а вслѣдъ за ними испанскій графъ Миранда—большой пройдоха, котораго, однако, скоро удалили. Балы, маскарады, куртаги, фейерверки, обѣды чередовались безустанно; плясали подѣ оркестръ духовой музыки графа Румянцева.

Кіевъ въ тѣ дни, т. е. сто лѣтъ тому назадъ, былъ весь деревянный. На всемъ Печерскѣ имѣлся одинъ только каменный домъ, не исключая императорскаго дворца и дворца графа Разумовскаго; грязь по улицамъ, при оттепели, особенно на По-

долѣ, лежала невылазная, что нисколько не мѣшало пиршествамъ.

Императрица находила время на все: она слѣдила за ревизіями судовъ и правленій, производимыхъ подлѣ нея сенаторами; занималась пересмотромъ безчисленныхъ тяжбъ, послѣдствій исторически сложившихся мѣстныхъ привилегій; утвердила новый планъ Кіева и образовала кіевскую губернію, назначивъ праматеръ городовъ русскихъ губернскимъ городомъ.

Но вечеромъ,—вечеромъ у императрицы должна была быть своя партія въ карты, въ ламушъ; чаще прочихъ играла она съ свѣтлѣйшимъ Потемкинымъ, съ графомъ Мамоновымъ и австрійскимъ посломъ графомъ Кобенцелемъ.

Въ годъ посѣщенія Кіева миновало ровно четверть вѣка со времени воцаренія государыни. Это было блестящее время ея царствованія. Сама она находилась въ полной силѣ всѣхъ своихъ дарованій и въ полномъ сознаніи себя царицею русскою. Лучшимъ доказательствомъ того, что знаменитое путешествіе ея на югъ Россіи являлось не простою прогулкою для удовольствія, а дѣломъ, служить продолжительность ея пребывания въ Кіевѣ: она провела тутъ безъ малаго три мѣсяца.

Прошелъ великій постъ, государыня отговѣла и близилось время отъѣзда. Днѣпръ вскрылся, и флотилія, приготовленная для дальнѣйшаго путешествія по Днѣпру у Выдубицкаго монастыря, ожидала; она обошлась до двухсотъ тысячъ рублей.

17 апрѣля, въ виду близкаго уже путешествія, императрица цѣлый день отдыхала. Вечеромъ, по призыву ея, собрались ея обычные партнеры для игры въ карты, графы Кобенцель, Мамоновъ и Сегюръ. Приглашенные толковали о чемъ-то въ большой гостиной, а императрица сидѣла въ смежной

съ нею малой гостиной, на софѣ, подлѣ раскрытаго карточнаго стола, и читала какія-то письма.

Свѣтлѣйшій князь Потемкинъ, какъ это всегда бывало, заставилъ себя ожидать, но наконецъ явился и прошелъ прямо во вторую гостиную.

— Мой свѣтлѣйшій никогда не опаздываетъ!—милостиво сказала императрица, завидѣвъ его въ дверяхъ и откладывая письма.—Онъ попрежнему,—продолжала она, улыбаясь,—парадныхъ костюмовъ не любить!

Рослая, немного одутловатая фигура Потемкина сіяла въ новомъ, атласномъ камзолѣ стального цвѣта. Цѣнные, густо собранныя въ складки, кружева, обрамляя его плотную шею, спускались цѣлымъ водопадомъ по прорѣзи жилета на высокую грудь и выглядывали изъ-подъ рукавовъ. Натуральная желтизна кружевъ, свидѣтельствовавшая издали объ ихъ цѣнности, проступала особенно рѣзко по стальному цвѣту атласа, по близости къ бѣлой, какъ снѣгъ, пудрѣ головы. На пальцахъ рукъ князя, на пуговицахъ, на пряжкахъ башмаковъ поблескивали алмазы.

На Екатеринѣ виднѣлся зеленый шелковый распашной капотъ; волосы ея были причесаны чрезвычайно низко; съ лѣвой стороны головы была приколота брилліантовая, при малѣйшемъ движеніи дрожавшая, «троявка».

Подойдя къ рукѣ императрицы, свѣтлѣйшій отложилъ шляпу и взялся за карты, не ожидая дальнѣйшаго приглашенія.

— Откуда кружева, князь? — спросила императрица:—опять съ курьеромъ?

— Съ курьеромъ изъ Парижа.

— И дорого они стоятъ?

— Гораздо меньше, милостивая государыня, чѣмъ я бы могъ, по твоимъ благодѣяніямъ, тратить.

Императрица не отвѣтила ни слова, но улыбнулась.

— Вотъ еще письмо отъ короля, — проговорила она, указывая на одинъ изъ конвертовъ:—онъ опять просить, не позволю ли ему пріѣхать?

Король польскій Станиславъ Понятовскій, зная о пребываніи государыни въ Кіевѣ, дѣйствительно неоднократно присылалъ съ этою цѣлью многихъ господъ изъ своей свиты, но его предложенія постоянно отклонялись.

— Что же, государыня, разрѣши?

— Свѣтлѣйшій, ты неискренень,—возразила Екатерина.—Ну, пригодно ли это будетъ? вѣдь тутъ и такъ вся польская знать присутствуетъ. Это выйдетъ, что какъ будто власть къ власти пріѣзжаетъ, а это непригоже, и то, что на самомъ дѣлѣ есть, на-выворотъ покажетъ.

— А ты, государыня, графа Кобенцеля, австрійца, объ этомъ спросила, да и сдѣлала бы какъ разъ иначе, чѣмъ онъ скажетъ. Вышло бы хорошо.

— Онъ, думаю, посоветуетъ допустить его.

— А ты, государыня, возьми да и откажи.

— Быть по сему,—отвѣтила императрица, улыбувшись:—а теперь и за карты можно!

— Два слова еще, милостивая!

— Говори, князь!

— Вѣдь вотъ намъ ѣхать скоро надо; щедротъ твоихъ много роздано и денегъ, и подарковъ, а вѣдь угодниковъ кіевскихъ ты и забыла.

— Точно ли забыла, князь?

— Сколько я про то вѣдаю...

— Ну, въ такомъ случаѣ быть тебѣ, свѣтлѣйшій, завтра, по нашему высочайшему повелѣнію,—въ Печерской лаврѣ утромъ, къ одиннадцати часамъ, перебила князя государыня, чрезвычайно довольная чѣмъ-то:—а теперь поди позови австрійца и нашихъ съ нимъ.



Нѣскольکو минутъ спустя, партнеры сидѣли на своихъ мѣстахъ, и государынѣ пришлось сдавать первой.

Потемкинъ былъ вообще довольно разсѣянъ. Ему и въ голову не пришло подумать о томъ, почему императорскому величеству угодно было повелѣть ему быть утромъ въ лаврѣ.

Въ лаврѣ, на утро, собралось народу видимо-невидимо. Всѣ знали, что императрица слушаетъ обѣдню въ большой церкви Печерскаго монастыря; знали, что она скоро отбудетъ изъ Кіева; много было еще не выдавшихъ ея и такихъ не выдавшихъ каждый день прибывало. Въ тѣ годы, когда газетъ не существовало, если не считать газетами оффиціальныя и академическія вѣдомости и начавшіе нарождаться толстые журналы, слухомъ земля полнилась еще больше чѣмъ теперь, хотя и медленнѣе. Въ теченіе трехъ мѣсяцевъ пребыванія государыни въ Кіевѣ, куда было не дойти слухамъ? и мощамъ поклониться, и царицу видѣть, чѣмъ не услада? и населился Кіевъ паломниками, сермяжнымъ, лаптевымъ и босымъ людомъ; пришли сами, или принесены, или въ ручныхъ телѣжечкахъ подкатили, всякіе безрукіе и безногіе, калики перехожіе, юродивые и другіе божьи люди.

Лаврская гостинница оказалась переполненною ими; располагались въ садахъ, по переходамъ, по дворамъ, внѣ лавры, въ оврагахъ. Какъ разъ наканунѣ 18 апрѣля, того дня, о которомъ идетъ рѣчь, Богъ вѣсть откуда проникъ вдругъ къ этому божьему народу слухъ о томъ, что государыня, и безъ того щедро одарившая монастыри, монаховъ и богадѣльни, также и святыхъ угодниковъ божьихъ не забыла, новыя имъ покрывала и убранства зака-

зала, и что она завтра эти покрывала смотрѣть будетъ.

Этотъ совершенно справедливый слухъ показался слаще мирры и вина божьему люду. Вовсе неубыточная, но чрезвычайно удачная, мѣткая мысль облачить угодниковъ въ новыя одѣянія принадлежала всецѣло Екатеринѣ. Вотъ почему улыбнулась она наканунѣ этого дня словамъ Потемкина, довольная тѣмъ, что предупредила его и повелѣла ему придти.

Весенній день выдался блестящій, солнечный, теплый. Лаврскіе сады опушились цвѣтомъ вишни и яблони, и молодая зелень была такая прозрачная, смолистая. Чрезвычайно картинно расположились странники и странницы вдоль изгородей и стѣнъ, въ надеждѣ увидѣть матушку-царицу при выходѣ ея изъ церкви, по пути къ помѣщенію недавно выздоровѣвшаго митрополита Самуила, гдѣ ей должны были быть представлены покрывала и убранства, изготовленные для печерскихъ святыхъ.

Повидимому, состоялось распоряженіе не гнать со двора паломниковъ, такъ ихъ толпилось невѣроятно много. Группами, приурочась кто какъ могъ, служа одни другимъ опорой, чуть не сидѣніемъ, громоздились они по сторонамъ пути. Можетъ быть императрицѣ угодно было видѣть ихъ, и именно ихъ. Это было взаимно.

— Тутъ, тутъ пройдетъ, — говорилъ колченогій однорукій парень, лѣтъ пятидесяти: — иначе нельзя къ митрополиту ей идти, какъ тутъ.

— Не къ митрополиту пойдетъ, — возразила странница съ котомкою за плечами: — а къ священно-архимандриту лавры, такъ ему съ прошлаго года прозваніе; не знаешь, такъ и не говори.

— А и митрополитъ тоже остался, — отвѣтилъ колченогій.

— О-о-о! охъ, охъ! — раздалось въ это время подлѣ говорившихъ.

— Чего? Ну? — Чего? спросила странница.

— Придавила... ногу придавила! — отвѣтилъ сосѣдъ съ другой стороны.

Сосѣдъ сидѣлъ на землѣ и осторожно ощупывалъ ногу, толсто обвязанную какимито грязными лохмотьями; клюка валялась подлѣ.

Въ группѣ этой наступило молчаніе, не прерывавшееся довольно долго, потому что напротивъ нихъ, съ другой стороны дорожки, начался въ это время чрезвычайно любопытный разговоръ, и къ нему стали прислушиваться.

— И случилось это, значитъ, въ самое свѣтлое воскресенье, — объяснялъ сосѣдямъ старикъ нищій, перебирая въ рукахъ своихъ высокую ярославскую шапку: — въ самую утреню; приходятъ это монахи къ угодникамъ, въ пещеру покадить. И говоритъ это одинъ изъ нихъ: святые отцы и братія! сегодня великій день! Христосъ воскрес! только какъ сказать имъ, такъ всѣ угодники мертвые разомъ ему въ одинъ голосъ: «Во истину воскрес!» отвѣтили...

— Акто-й-тослыхалъ, родненькій? — пробормотала не старая, слезливая нищенка, съ широкимъ, весьма неровно зажившимъ шрамомъ вдоль лѣвой щеки; она подпирала эту щеку одною изъ рукъ, другая поддерживала локоть первой.

— Въ книгахъ написано, — отвѣтилъ нищій съ ярославскою шапкою.

— Въ книгахъ! чудное дѣло, Господи, чудное! спаси насъ, Господи, и помилуй, елико ты еси Господи...

— Ты вотъ, Алипушка, — говорила въ другой группѣ прижавшаяся къ яблонѣ странница, довольно дряхлая, молодому слѣпому парнишкѣ, стоявшему

подлѣ нея:—ты лика солнечнаго не видишь, а уже мы съ тобою къ угодникамъ непременно сходимъ.

— Я хочу къ угодникамъ, тѣтенька, веди.

— Ужо, погоди, какъ въпускъ будетъ. Тамъ и преподобный Алимпій есть, его имя носишь, онъ иконописцемъ былъ. Пишетъ онъ, бывало, икону, къ ночи спать пойдетъ, а на утро, смотритъ, икону-то ангелы и дописали. Мартирій тамъ тоже дьяконъ, который бѣсовъ изгонялъ; Іоаннъ многострадальный, по плечи въ землю вошедшій...

— Какъ въ землю?—спросилъ Алипушка.

— А такъ, какъ жилъ, такъ и оставленъ. Старья на нихъ, на угодничкахъ, власянички были, такъ государыня царица сегодня, слышно, отъ милости своей имъ всѣмъ новую одежду справила. Кукуша тоже, священномученикъ, тамъ, Спиридонъ...

Едва только назвала странница это имя, какъ стоявшій подлѣ нея, совершенно безволосый, блѣдный, желтый старикъ повернулъ къ ней голову.

— Что Спиридонъ?—спросилъ онъ.

— А тотъ это, родненькій ты мой, Спиридонъ, что по смерти православное крестное знаменіе проповѣдуетъ.

— А какъ это онъ его проповѣдуетъ?—рѣзко спросилъ лысый.

— А вотъ какъ, родненькій ты мой: есть это на Руси у насъ такіе раскольники...

— Какіе это раскольники?—уже съ нетерпѣніемъ спросилъ старикъ.

— Ну какъ ихъ, тамъ, старовѣры что ли ихъ звать! Такъ видишь, они въ лжеученіи своемъ къ двухперстному знаменію приобыкли, а знаменію слѣдуетъ быть трехперстному. Такъ этотъ самый Спиридонъ просфорникъ какъ умиралъ-то, такъ онъ въ часъ отшествія на себя крестное знаменіе положилъ, да оно и доселѣ на его рукѣ сохранилось... трехперстное!

- Ну такъ что же, что сохранилось!
- А то, что раскольники поучаться приходятъ.
- Нужно имъ приходиться поучаться,—злбно отвѣтилъ лысый.—Да ты сама-то видала?
- Видѣла, родненькій!

Лысый почему-то почелъ за лучшее переѣхать; это былъ дѣйствительно одинъ изъ учителей какого-то толка, пришедшій взглянуть на спиридоновы персты. Онъ нашелъ себѣ новое мѣсто подлѣ безногаго и глухонѣмого, удивительнаго парнишки лѣтъ пятнадцать. У парнишки этого ногъ не имѣлось вовсе, двигался онъ на тазу, подшитомъ какою-то подушкою и ловко работалъ двумя костыльками, упиравшимися подъ мышки. Онъ чрезвычайно нервно суетился, боясь, чтобы, при общемъ почти передвиженіи, его какъ нибудь не оттерли изъ перваго ряда; только такъ и могъ онъ видѣть что нибудь. Лысый помѣстился за нимъ.

Колокола возвѣстили конецъ обѣдни и между странниками сказалось сильное волненіе. Всѣ глаза устремились въ одну сторону.

Императрица вышла изъ церкви. Она шла первою, одна, впереди длиннаго ряда духовенства, генералитета и придворныхъ; на ней блистала кирасирскій мундиръ; андреевская звѣзда и цѣпь ордена сіяли, въ блескѣ солнца, цѣнными брилліантами; маленькая брилліантовая коронка высилась надъ высоко зачесанными волосами; у длиннаго бѣлаго шлейфа шли придворные кавалеры, за ними дамы.

Не безъ цѣли, вѣроятно, хотѣла предстать Екатерина въ этомъ великолѣпнѣи императорскаго величества толпѣ странниковъ, собравшихся со всѣхъ концовъ русской земли, и ни для чего иного, какъ для того, чтобы почтить угодниковъ, возложила она на себя свои регалии. Государыня шла медленно, разсматривала и нѣсколько разъ останавливалась по

пути подлѣ тѣхъ, кто обращалъ на себя ея особенное вниманіе. Тому, другому сказала она нѣсколько милостивыхъ словъ, приказала раздать денегъ, освѣдомиться.

— Какъ же этотъ-то двигается?—спросила она, завидя глухонѣмого на костылькахъ, сидѣвшаго на тазу и успѣвшаго удержаться на своемъ мѣстѣ, въ первомъ ряду, парнишку.

— Какъ тебя зовутъ?—повторила императрица.

Получеловѣкъ понялъ, что обращаются къ нему, какъ-то весь затрепеталъ и сталъ двигать губами и быстро переминаться, работая костыльками.

Императрицѣ объяснили, что онъ глухонѣмой.

— Пристройте его!—сказала императрица стоявшему подлѣ нея духовнику своему и прошла далѣе. Свѣтлѣйшій, дайте мнѣ руку,—сказала она Потемкину, всходя на лѣстницу помѣщенія митрополита:—вамъ сейчасъ будетъ объясненіе моего высочайшаго повелѣнія—быть здѣсь. Неужели не знаете?

Поднялись по лѣстницѣ, вошли въ залу.

Стѣны ея, украшенныя изображеніями почившихъ настоятелей лавры, блестѣли начисто выбѣленные; солнце сіяло яркимъ блескомъ и тѣмъ рѣзче выдавались въ этомъ морѣ свѣта разложенныя на двухъ длинныхъ столахъ длинныя, черныя одѣянія, назначенныя для угодниковъ; ихъ было счетомъ 106 для мощей открытыхъ. Можно было легко пересчитать ихъ по желтымъ, нашитымъ на нихъ крестамъ и по митрообразнымъ очертаніямъ шапочекъ и каптурокъ. Подлѣ безмолвныхъ черныхъ власяничекъ, императрица, шедшая подъ руку съ Потемкинымъ, въ кирасирскомъ мундирѣ, орденахъ, коронѣ и брилліантахъ регалій, ласково улыбавшаяся, казалась свѣтоноснымъ видѣніемъ. Изготовленныя угодникамъ одѣянія представлялъ ей ея духовникъ; митрополитъ шелъ подлѣ и давалъ нѣкоторыя объясненія.

— Свѣтлѣйшій князь,—замѣтила императрица Потемкину, обойдя всю храмину:—вы видите, что я стараюсь не опаздывать въ исполненіи мною предначертаннаго.

— И ты знаешь, державнѣйшая, лучше насъ, что нужно, и гдѣ что нужно дѣлать,—отвѣтилъ, понявшій смыслъ ея замѣчанія, Потемкинъ.

На пятый день, 22 апрѣля, государыня оставляла Кіевъ; цѣлая флотилія галеръ двинулась по Днѣпру и вице-адмиральскій флагъ поднять былъ на галерѣ, назначенной Екатеринѣ и называвшейся «Днѣпръ». Встрѣчали кіевляне государыню въ морозъ, въ глубокую зиму, а провожали въ ясную, теплую весну. Тотъ же, что и тогда, разносился грохотъ орудій, звонъ колоколовъ, звукъ трубъ, литавръ и барабановъ, и не умолкавшій кликъ разсыпаннаго по берегу, по горамъ и предгоріямъ народа.

Императрица не сходила съ палубы и любовалась чудеснымъ, оживленнымъ видомъ.

По мѣрѣ удаленія флотиліи отъ города внизъ по теченію, рѣдѣютъ толпы по берегу, ихъ все меньше и меньше становится. Послѣднимъ, самымъ послѣднимъ, на мыску, выдавшемся далеко въ рѣку, помѣщался, окруженный нѣсколькими паломниками и паломницами, безногій глухонѣмой получеловѣкъ на костылькахъ. Кто изъ нихъ махалъ шапками, кто крестился; виднѣлись стоявшіе на колѣняхъ и клавшіе земные поклоны. Особенно сильно суетился безногій: онъ выхватилъ изъ-подъ мышки костылекъ и безустанно махалъ имъ, не замѣчая того, что прилѣзъ къ водѣ такъ близко, что Днѣпръ подмывалъ толстую кожу, которою былъ онъ подшитъ и которою бороздилъ когда-то землю и въ Соловкахъ, и на Аѳонѣ, и въ Тухвинѣ.

Императорская галера прошла недалеко отъ мыска и императрица замѣтила странниковъ.

— Отчего же безногаго не устроили?—спросила она, не обращаясь ни къ кому лично и продолжая смотрѣть на него.

— Не хотѣлъ, матушка царица,—отвѣтилъ ей свѣтлѣйшій князь Тавриды.

И разбрелись вслѣдъ за императрицею тысячи паломниковъ, лучше всякихъ газетъ разглашая, какъ царица божьимъ угодникамъ кіевскимъ власянички новыя сшила, и какая она, по этому самому, за богобоязненность свою, великая и свѣтлая. Разсказывалъ бы объ этомъ и безногій человѣкъ, подшитый кожею, да Богъ ему слова не далъ и слухъ прекратилъ.







# РАЗНЫЕ РАЗСКАЗЫ



# Т И П Ы



## ВЫСТРѢЛЪ.

Лѣтъ тридцать тому назадъ, катеръ съ молодыми людьми, воспитанниками одного изъ морскихъ училищъ, отчалилъ отъ большого военного фрегата, стоявшаго на якорѣ ввиду финляндскихъ шхеръ или скаль южнаго побережья Финляндіи. На катерѣ сидѣло человѣкъ пятнадцать воспитанниковъ и вмѣстѣ съ ними помѣстился монахъ въ клобукѣ, исполнявшій на фрегатѣ во время плаванія обязанности священника. Этотъ монахъ, отецъ Аоанасій, отличался необычайною робостью и значительною угловатостью движеній, что нерѣдко служило причиною довольно дерзкихъ подтруниваній надъ нимъ со стороны воспитанниковъ. Самъ отецъ Аоанасій никогда, ни разу не обидѣлся на эти подтруниванія, и если молодые люди подвергались за нихъ, иногда, различнымъ взысканіямъ, то дѣлалось это потому, что провинность, часто очень смѣлую, замѣчали начальствовавшіе офицеры. Начальство въ тѣ дни, вообще, было строго и не стѣснялось наказаніями. Не смотря, однако, на полную неповинность въ этихъ взысканіяхъ самого отца Аоанасія, юноши только усиливали свои насмѣшки, и если бы не краткосрочность плаванія, продолжаю-

щагося обыкновенно всего три мѣсяца съ небольшимъ, то, вѣроятно, они достигли бы размѣровъ невозможныхъ, такъ какъ бывали случаи, когда подтруниванія переходили отъ словъ къ дѣлу, что являлось уже совершенно неприличнымъ относительно духовнаго лица. Если бы доискиваться до причинъ этого неудобнаго отношенія воспитанниковъ къ монаху, то, если можно такъ выразиться, помимо страдальческой кротости монаха и его упорной невозмутимости, всегда, въ концѣ концовъ, раздражающей, не безучастно было и то, что всѣмъ сдѣлалось скоро извѣстно, что отецъ Аѳанасій, въ свое время, блестящимъ образомъ окончилъ курсъ въ одномъ изъ кадетскихъ корпусовъ, былъ произведенъ въ офицеры, побрякивалъ шпорами, а теперь перемѣнилъ киверъ на клобукъ, т. е. сталъ, въ нѣкоторомъ смыслѣ, «измѣнникомъ». Въ молодыхъ умахъ, въ особенности въ тѣ годы, когда юноши зачитывались подвигами «Героя нашего времени», и еще не совсѣмъ былъ позабытъ «Лейтенантъ Бѣлзоръ», въ нихъ не могло запасть и мысли о глубокой несправедливости нападокъ на отца Аѳанасія и никому и въ голову не приходило подумать о томъ: не повлияла ли какая либо очень внушительная причина на странную замѣну кивера клобукомъ; не обрѣтался ли въ душѣ монаха слѣдъ какой либо значительной внутренней борьбы, не представлялъ ли изъ себя монахъ обращикъ дѣйствительнаго исполненія и воплощенія душевнаго призванія?

Особенно не нравилась юношамъ вѣчная робость, какъ бы трусость, отца Аѳанасія, которая и на этотъ разъ послужила первымъ поводомъ къ началу подтруниваній надъ монахомъ, какъ только катеръ отвалилъ отъ фрегата, и офицеры, стоявшіе подлѣ борта и слѣдившіе за нимъ, не могли болѣе слышать разговоровъ. Совершенно неожиданно поднявшаяся круп-

ная зыбь стала покачивать катеръ со стороны на сторону такъ сильно, что онъ то-и-дѣло черпалъ воду, и сидѣвшихъ въ немъ обдавало брызгами.

— Потонемъ, отецъ Аѳанасій! заговорилъ одинъ изъ воспитанниковъ,—непремѣнно потонемъ!

— Что? страшно, батюшка? спрашивалъ другой.

— Страшно! отвѣтилъ монахъ, боязливо посматривая въ глубину воды, казавшейся совершенно черною, благодаря набѣжавшей грозовой тучѣ.

— Да и плыть-то вамъ, если опрокинемся, отецъ Аѳанасій, въ рясѣ будетъ не особенно удобно!

— Точно, что будетъ неудобно, кротно отвѣчалъ монахъ.

— А мы за васъ, какъ за пузырь держаться будемъ!

Раздался дружный, долгій, звонкій хохоть и катеръ, какъ нарочно, черпнулъ воды особенно глубоко.

— Полно вамъ, господа, вздоръ молоть, громко проговорилъ Поливановъ, сидѣвшій на рулѣ,—что пристали въ самомъ дѣлѣ? Не зачѣмъ было отца Аѳанасія на прогулку звать, если смѣяться думали? Не онъ просился!

— Точно! отвѣтили негромко нѣсколько другихъ голосовъ,—полно, господа, довольно.

— Ничего, ничего! пусть ихъ, кротно отвѣтилъ монахъ, взглянувъ на Поливанова безконечно добрымъ взглядомъ,—вѣдь они правы, я, вѣдь, по-истинѣ, боюсь...

— Такъ вы же и не морякъ, батюшка, возразилъ Поливановъ.

Катеръ шелъ быстро къ шхерамъ. Общему молчанію, водворившемуся немедленно вслѣдъ за разговоромъ, довольно шумнымъ, отвѣтило неожиданно наступившее молчаніе въ воздухѣ. Обогнувъ мысъ ближайшаго островка, пловцы очутились въ узень-



комъ проливѣ, за которымъ виднѣлось болѣе открытое пространство моря, а на немъ опять многіе островки, всякихъ величинъ и между ними проличики безъ счета и еще большее количество отдѣльных скалъ всякихъ очертаній, торчавшихъ кое-гдѣ изъ воды, поближе къ островкамъ. Это и были шхеры, въ безконечномъ ихъ однообразіи, тянущіяся по южному берегу нашей Финляндіи, временно прерываемыя Ботническимъ заливомъ и вновь поднимающіяся изъ моря на западной сторонѣ его, подлѣ береговъ Швеціи. Нѣтъ числа островкамъ шхеръ, нѣтъ между ними двухъ, хотя бы сколько нибудь схожихъ одинъ съ другимъ, неисчислимы извивы моря, забѣжавшаго между нихъ, безсчетны водяныя прогалины и насмѣются отдѣльныя скалы всякому желанію подвести ихъ подъ какія либо цифры, такъ ихъ много. Но, тѣмъ не менѣе, все это — безконечное, утомительное, одно и то же. Стоитъ провести въ шхерахъ день, другой, и вся только что перечисленная игривость очертаній какъ бы сразу замираетъ въ какой-то безконечной, какъ бы алгебраической формулѣ, не подлежащей никакому измѣненію: сколько ни углубляйся въ шхеры, сколько ни огибай островковъ, сколько ихъ ни оставляй за собою, а все это тѣ же шхеры, тѣ же скалы, тѣ же сосны и можжевельникъ между нихъ; жилья нѣтъ почти совсѣмъ и только рыбачьи становища, появляющіяся кое-гдѣ, разнообразятъ самымъ бѣднымъ образомъ эту красивую, но безжизненную своимъ мертвымъ единообразіемъ картину. Лучше, гораздо лучше, открытое море; въ немъ, по крайней мѣрѣ, зрѣнію есть гдѣ потонуть, и тогда свободно возникаютъ рисунки воображенія.

Рѣшено было причалить къ одному изъ болѣе крупныхъ острововъ; Поливановъ «положилъ лѣворуля», какъ говорятъ моряки, но только послѣ нѣ-

сколькихъ неудачныхъ попытокъ удалось приблизиться къ берегу вплотную; слегка стукнувъ нѣскольکو разъ носомъ въ камни и скребнувъ килемъ, катеръ вдвинулся между двухъ гранитныхъ скалъ и остановился. Сложивъ весла, юноши немедленно повскакали съ мѣстъ на ближайшіе камни и, прыгая съ одного на другой, добрались до берега сухіе. Отцу Аоанасію сдѣлать это было труднѣе: длинное одѣяніе мѣшало движеніямъ, и онъ перебрался къ берегу не вдругъ, потому что, боясь, чтобы глыбы камней не подвернулись подъ ногами его, онъ переходилъ по нимъ осторожно, высоко поднявъ полы рясы изъ боязни замочить ее.

— Мужская дама! кричали съ берега, глядя на него, юноши.

Мужская дама въ это время остановилась на предпоследнемъ камнѣ: разстояніе до слѣдующаго было очень велико, и приходилось прыгать.

— Вотъ вамъ багоръ, батюшка, проговорилъ Поливановъ, подавая монаху орудіе спасенія; вѣдь не разъ случалось вамъ прыгать; умѣете?

— Умѣю, умѣю! отвѣтилъ монахъ.

Онъ началъ неловко приспособляться и, наконецъ, перемахнулъ къ берегу довольно удачно, такъ что замочилъ только одинъ уголъ высочившаго изъ рукъ одѣянія.

Смѣхъ на берегу, готовый разразиться, смолкъ, однако, и какъ-то развѣялся. Юноши разсыпались по лѣсу, по два и по три; раздались ауканья; зазвучала гдѣ-то извѣстная кадетская пѣсня: «наливай, братъ, наливай!» хотя наливать было и нечего; неожиданно прогремѣлъ пистолетный выстрѣлъ, и прогудѣло эхо. Отецъ Аоанасій, сопровождаемый Поливановымъ, отправился собирать всякія травы: онъ хорошо зналъ ботанику и могъ бы руководить экскурсіей съ научною цѣлью.

Островъ былъ не великъ, и разбредшимся по немъ приходилось часто встрѣчаться; двѣ неопытныя утки пали жертвою мѣткихъ выстрѣловъ изъ пистолетовъ; одну подбили камнемъ. Солнце давно перешло за полдень, когда раздался гдѣ-то кличъ:

— Въ цѣль стрѣлять! Въ цѣ-ѣ-ѣ-ль! Собирайся къ ка-а-а-теру!

Не прошло и получаса времени, какъ всѣ до единого сошлись къ мѣсту назначенія и разсѣлись по камнямъ и по травѣ. Стали готовить цѣль; нарѣзали ивняка, связали мишенью и стали заряжать пистолеты; револьверъ, въ тѣ дни еще большая рѣдкость, нашелся только у одного.

Монахъ присѣлъ въ сторонѣ, надъ самою водою, и задумался, перебирая четки; отъ поры до времени поглядывалъ онъ на молодежь.

— А что, батюшка, выстрѣловъ боитесь? спросилъ кто-то.

— Конечно, боится, отвѣтили въ сторонѣ.

— А и въ правду боюсь, господа, проговорилъ отецъ Аоанасій. И за что же вы уточекъ, невинныхъ побили, вѣдь и сжарить-то не придется, протухнуть, кинете!

— Точно, а выстрѣловъ-то вы все-таки боитесь?

— Боюсь... больше отъ пушекъ боюсь! какъ рывкнетъ, такъ съ кораблемъ вмѣстѣ все нутро вздрогнетъ.

— Ха, ха, ха, подхватили слѣва, и эхо дружно разнесло по скаламъ и расщелинамъ раскаты молодого хохота.

Цѣль была готова, утверждена—и всѣ собрались въ кучу.

— А вѣдь я вамъ, господа, неожиданно и громко проговорилъ монахъ, стрѣлять въ эту цѣль не позволю; монахъ оставался сидѣть въ сторонѣ и не поднимался съ камня.

— Что-о-о?

— Это отчего?

— Ха, ха, ха! почему это?

— Да ужъ нельзя, отвѣтилъ громко монахъ.

— Да почему же нельзя?

— А вы на цѣль-то взгляните, проговорилъ отецъ Аѳанасій, развѣ это цѣлью ставить можно? вѣдь это крестъ!..

Дѣйствительно: цѣль была связана крестомъ и пересѣченіе обѣихъ вѣтвей креста, продольной и поперечной, обтянуто какимъ-то краснымъ лоскуткомъ, на который оставалось только прикрѣпить разнумерованную бумагу.

Всѣ глаза устремились на крестъ.

— Ну, такъ что же, что крестъ? проговорилъ кто-то.

— Да не слушайте его, братцы, стрѣляй! отвѣтилъ другой.

— Не дамъ стрѣлять! быстро и громко проговорилъ монахъ, поднявшись съ камня и оглядывая молодежь совершенно непривычнымъ для нея, блиставшимъ рѣшительностью взглядомъ своихъ черныхъ глазъ, широко раскрывшихся.

— А какъ же это вы, батюшка, не позволите намъ?

— А вотъ какъ, отвѣтилъ монахъ и, недолго думая, твердою поступью подошелъ къ цѣли и сталъ передъ нею.

Наступила минута молчанія; нѣчто совершенно неожиданное озадачило всѣхъ рѣшительно и надо было собраться съ мыслями. Прежде всего совершившаяся исторія поразила всѣхъ своею несомнѣнною непріятностью и такъ какъ самодурство и упрямство входятъ всегда весьма значительною частью въ мышленіе юношей, особенно передъ лицомъ то-варищей, то и тутъ, прежде всего, сказались они.

— Не мѣшайте, батюшка, отойдите!

— Оттащимъ васъ!

— Вотъ вздумалъ!

— Право, отойдите!

Но монахъ стоялъ, какъ вкопанный. Отѣненный старою, высокою сосною, весь черный, съ золотымъ крестомъ на груди, внушительно обрисовывался онъ между ближнихъ гранитовъ и продолжалъ молчать.

— Стрѣляйте, братцы! вспугните! отойдете!

— Не сойду!

— Я выстрѣлю! проговорилъ одинъ изъ юношей, наводя на монаха пистолетъ.

— Стрѣляйте, если хотите, отвѣтилъ отецъ Аонасій, заслоняя крестъ.

Раздался выстрѣлъ. Онъ былъ направленъ въ сторону монаха, но наискось. Монахъ не дрогнулъ.

За то дрогнули сердца молодежи, и мгновенно открылись они для новаго, хорошаго чувства.

Обо всемъ случившемся морское начальство узнало только нѣсколько лѣтъ спустя, но всякій разъ, когда предстояло новое плаваніе морскихъ кадетъ, ихъ живо занимало, кто именно пѣдетъ съ ними священникомъ? Любовь и дорогъ сталъ имъ отецъ Аонасій съ его безотвѣтною скромностью и рѣдко, очень рѣдко блиставшимъ пламенемъ глубоко черныхъ очей.

## КАПИТАНЪ И ЕГО ЛОШАДЬ.

---

Въ одну изъ многочисленныхъ поѣздокъ моихъ по степному югу Россіи, довелось мнѣ видѣть оригинальнѣйшее обиталище, когда либо устроенное человѣкомъ. Не смотря на то, что мѣсто этого обиталища находилось подлѣ почтовой станціи—верстахъ въ двухъ, не болѣе, я, вѣроятно, промелькнулъ бы мимо него, какъ и мимо другихъ окрестностей пути, болѣе или менѣе любопытныхъ, если бы не обыкновеніе мое разговаривать съ ямщиками. Для человѣка, желающаго ознакомиться съ краемъ, болтовня и разспросы направо и налѣво совершенно необходимы. Иногда какая нибудь старушка съ клюкою, мужикъ на перекресткѣ, паренекъ въ деревнѣ—сообщать вамъ вещи удивительныя. Если далеко не всякій разговоръ дастъ вамъ пищу, если зачастую, краткость и принужденность отвѣта не сразу удовлетворяютъ ваше любопытство, то зато нерѣдки случаи противоположныя. Довольно вѣрна примѣта, на основаніи которой можете вы разсчитывать на успѣхъ вашего желанія разспросить, а именно: подобно тому, какъ горный инженеръ, по нѣкоторымъ особенностямъ почвы, по ея обнаженіямъ, даже по

характеру растительности, опредѣляетъ иногда то мѣсто, на которомъ надо производить изысканія, весьма вѣрно, что съ разспросами надобно обращаться преимущественно къ людямъ молчаливымъ, держащимся въ сторонѣ, особнякомъ. Краткость и неопредѣленность отвѣтовъ въ началѣ разспросовъ еще ничего не обозначаютъ. Сосредоточенные люди, которыхъ въ городахъ встрѣчаешь довольно рѣдко, иногда даютъ отвѣты и какъ бы просыпаются не сразу, не вдругъ, и отвѣтъ слѣдуетъ зачастую тогда, когда вы сами позабыли о вопросѣ. Такъ, или приблизительно такъ, возрождаются звуки, сохраняемые искусственнымъ путемъ.

День былъ необычайно жаркій, и солнце палило немилосердно. Ямщикъ мой, парень лѣтъ тридцати, казалось, не могъ послужить мнѣ источникомъ любопытнаго сообщенія. Уже миновалъ добрый часъ времени, какъ правилъ онъ тройкою разношерстныхъ коней; уже много миновали мы буераковъ, два-три села, переѣхали по мосту совершенно высохшую рѣку, а все не получалось отъ него подходящихъ отвѣтовъ. Я было совсѣмъ отчаялся въ немъ, какъ вдругъ, совершенно неожиданно, самъ онъ обратилъ мое вниманіе на коня въ полѣ и сопровождавшаго его человѣка. Они предстали глазамъ нашимъ въ довольно глубокой котловинѣ, зеленѣвшей тучною травой; до станціи оставалось не болѣе пяти минутъ ѣзды: она виднѣлась на высокомъ пригоркѣ.

— Вотъ, баринъ, заговорилъ ямщикъ неожиданно:—вы все спрашиваете о томъ, что у насъ диковиннаго въ краѣ есть: вотъ человѣкъ диковинный.

— А что?

— Да вонъ тамъ, съ лошадыю, видите?

— Вижу.

— Офицеръ-съ.

— Какъ офицеръ?

— Да такъ оно, только что отставной, а какъ въ праздникъ въ церковь ѣдетъ, орденовъ у него отъ плеча къ плечу, во сколько! приэтомъ ямщикъ мой оглянулся и, не выпуская возжей изъ правой руки, провелъ ею поперекъ всей своей груди. Затѣмъ онъ тронулъ возжи, и кони, почуявъ близость станціи, подхватили.

— И рана у него на щекѣ отъ самага виска до подбородка идетъ, большущая. И лошадь тоже вся полосами, договорилъ ямщикъ.

— Старикъ онъ?

— Лѣтъ шестидесяти будетъ, со Скобелевымъ въ степи ходилъ.

— На Геокъ-Тепе?

— А Богъ его знаетъ куда, кажись, такъ называется. Хорошій баринъ. Кусокъ земли купилъ съ хуторомъ, такъ, десятинъ сорокъ, да и поселился.

— Самъ землю работаетъ?

— Нѣтъ, нанимаетъ, а вотъ за садикомъ такъ все самъ, и по огороду тоже, самъ ухаживаетъ.

— А какъ его зовутъ?

— Полугановымъ, Иваномъ Евстафьевичемъ. А вотъ и домъ его подлѣ мельницы виднѣтся. Домъ-то недурной, а лошади его помѣщеніе—лучше.

— Какъ такъ помѣщеніе лошади лучше?

— Она у него первый человѣкъ въ домѣ, ей всякая почеть.

— А нелюдимъ онъ? или съ людьми знакомится?

— Очень даже любить.

Въ это время, давъ большой крюкъ по краю котловины, на которой паслась лошадь, мы подъѣхали къ ней довольно близко; можно было различить даже черты лица Полуганова: широкая сѣдая борода прикрывала на половину сѣрый холщевый китель капитана, совсѣмъ разстегнутый, изъ-подъ котораго виднѣ-



лась пестрая рубаха; на ногахъ имѣлись высокіе сапоги. Отъ тарантаса до капитана оставалось не болѣе двухсотъ шаговъ.

— Стой! сказалъ я ямщику.

Тройка исполнила это съ большою охотою.

— Ты доѣдешь, договорилъ я ямщику:—до станціи... вѣдь это она подлѣ церкви виднѣется?

— Она. Вонъ гдѣ столбы.

— Запрягать не велишь, а за чемоданомъ посмотришь, вдвое на чай дамъ.

— Слушаю-съ!

Тройка направилась по дорогѣ шагомъ, а я пошелъ къ капитану. Полугановъ давно замѣтилъ нашу остановку и ожидалъ моего приближенія. Когда насъ отдѣляло не болѣе десяти шаговъ, я приподнялъ фуражку. Капитанъ, въ отвѣтъ на это, приложился къ козырьку своей фуражки, а лошадь, прекративъ щипанье травы, повернула голову въ мою сторону и потянула ноздрями.

— Простите, капитанъ, началъ я:—но мнѣ, сообщили, что вы человѣкъ военный, походный, и, такъ какъ мнѣ торопиться некуда, все равно ждать на станціи придется, такъ я и свернулъ покалякать.

— Очень, очень радъ, отвѣтилъ капитанъ:—всегда радъ образованнаго проѣзжаго человѣка увидать и поговорить; рѣдко это случается, потому что если кто въ наши степи и заѣдетъ, такъ ужъ до дому моего никакъ не доберется. Все это мимо идетъ-съ, близко—а мимо, точно какъ, напримѣръ, награды или чины въ службѣ.

При этихъ словахъ Полугановъ дружески протянулъ мнѣ руку, и я пожалъ ее. Конь, съ своей стороны, почелъ обязанностью сдѣлать къ намъ нѣсколько шаговъ и протянулъ морду надъ нашими, еще не раздѣлившимися, руками.

— Эге, старикъ, и ты туда же?.. Это мой другъ,

видите ли-съ, проговорилъ капитанъ и нѣжно потрепалъ коня по холкѣ.

— Я слыхалъ, однако, отвѣтилъ я:—что васъ, по-видимому, чины и награды не миновали; у васъ крестовъ во-сколько! и я повторилъ то же движеніе рукою отъ плеча къ плечу, которое сдѣлать ямщикъ.

— Точно! есть малая толика, отвѣтилъ Полугановъ:—нельзя сказать, награжденъ... А лучшее все-таки, что есть у меня—это мой конь, мой другъ, мой товарищъ. Я это такой же, какъ Чертопхановъ! у Тургенева Чертопханова помните-съ?

— Помню, помню! отвѣтилъ я.—Вы совершенно одиноки?

— Совсѣмъ одинокъ. Послѣдняго родного моего, двоюроднаго брата, потерялъ изъ виду лѣтъ сорокъ тому назадъ.

— Да сколько же вамъ лѣтъ? извините за нескромный вопросъ... проговорилъ я.

— Чего скрывать-то? вѣдь мы не женщины: шесть-десять первый идетъ.

— Вотъ этого дать вамъ нельзя.

— Куда ѣдете-съ?

— По службѣ командированъ въ Николаевскъ.

— Недалеко отсюда—триста двадцать верстъ будетъ.

— Да, знаю.

— На обратномъ перепутьѣ ко мнѣ милости просимъ, сказалъ капитанъ:—проночуйте, покалякаемъ, угощу, чѣмъ Богъ послалъ... Съ кѣмъ имѣю удовольствіе говорить?

Я назвалъ свою фамилію; оказалось, что онъ слыхалъ о ней, что, вѣроятно, такой-то его товарищъ былъ моимъ родственникомъ, а такой-то его родственникъ былъ, вѣроятно, моимъ товарищемъ. Оказались въ быстро мелькнувшемъ перечнѣ именъ другіе общіе знакомые. Перечисляя ихъ, мы двигались по напра-

вленію къ хутору Ивана Евстафьевича, видѣвшемуся крышею своею изъ-за пригорка. Лошадь, безъ всякаго приглашенія, пошла слѣдомъ за нами, и только что выбрались мы изъ сырой котловины, какъ грузныя, неподкованныя ноги коня стали вызывать изъ сухой земли, непосредственно вслѣдъ за нами, гулкій, словно металлическій, звукъ. Конь довольно рослый, караковый, несомнѣнно степной породы, съ длинною жилистою шеей, поджарымъ животомъ и необычайно широкою грудью; по объему этой груди приходился и растворъ ноздрей: степной воздухъ расширилъ ихъ непомѣрно, и вволю можно было коню набирать его. На бокахъ, на шеѣ видѣлись, отливая на солнцѣ, широкіе рубцы, а въ одномъ мѣстѣ не хватало даже цѣлаго куска мяса, и углубленіе это обозначалось рѣзкою тѣнью.

Домикъ капитана былъ окруженъ садикомъ; подлѣ изгороди видѣлся колодезь, и высокій журавль съ ведромъ на веревкѣ торчалъ надъ нимъ; ведро стояло на срубѣ, окружавшемъ колодезь. Конь, какъ оказалось, Вася по клчкѣ, направился къ колодцу. Капитанъ тотчасъ замѣтилъ это.

— Вы меня извините, проговорилъ онъ: — Вася пить хочетъ, водицы ему подать.

— Сдѣлайте одолженіе, отвѣтилъ я.

Опустилъ журавль свой длинный носъ долу, опять вздернулся, и струи холодной воды не замедлили излиться въ огромное корыто. Конь наклонился и сталъ пить.

— Это онъ меня, проговорилъ капитанъ: — однажды подъ Геокъ-Тепе отъ смертной жажды спасъ, самъ къ водѣ привезъ, — ну и я его, Васю, всегда угощаю.

— А вы весь походъ съ Михаиломъ Дмитріевичемъ сдѣлали? спросилъ я его.

— Весь, отъ начала до конца. Милости просимъ

въ домъ, добавилъ онъ, видя, что конь напился: — пожалуйста.

До дому оставалось шаговъ двадцать, не болѣе. Мы вошли въ одну дверь—Вася направился въ другую. Въ домикъ было всего четыре комнаты, занимавшія, совершенно симметрично, всѣ четыре угла его. Въ каждой комнатѣ висѣло нѣсколько портретовъ, гравюръ и фотографій Скобелева и кое-какое оружіе; виднѣлись въ нѣсколькихъ мѣстахъ книжки, а на почетныхъ углахъ—довольно большіе, обложенные блестящею фольгою, образа. Что особенно поражаю посетителя, такъ это сильный запахъ конюшни; она была пристроена къ самому дому и стояла бокъ-о-бокъ съ нимъ.

— Григорій! а Григорій! крикнулъ капитанъ въ одно изъ оконъ, выходявшее къ огороду: — подай-ка самоваръ... Чайку напьетесь? спросилъ онъ меня.

— Съ удовольствіемъ, отвѣтилъ я, чувствуя себя какъ-то особенно легко въ присутствіи этого несомнѣнно заслуженнаго, хорошаго человѣка, въ чистой обстановкѣ и при гостепріимствѣ хозяина. Кроме того, въ комнатѣ было прохладно, благодаря высокой крышѣ, покрытой чрезвычайно толстымъ слоемъ сухой осоки и другихъ болотныхъ травъ, обильно произрастающихъ въ сосѣднихъ буеракахъ.

— Готовъ самоваръ! сейчасъ подамъ! отвѣтилъ какой-то голосъ.

Исполняя приглашеніе капитана, я сѣлъ на диванъ весьма стараго фасона, такъ какъ дерева виднѣлось въ немъ больше, чѣмъ матеріи; но чистъ былъ онъ несомнѣнно. Капитанъ сѣлъ подлѣ меня.

— А вы, я вижу, великій почитатель Скобелева? спросилъ я, закуривая папиросу.

Вмѣсто отвѣта Иванъ Евстафьевичъ съ какою-то укоризною, не то подозрительностью взглянулъ на меня. Онъ, видимо, не нашелся, что отвѣтить, по-

тому что та сфера мыслей, съ которою онъ сжился, не допускала даже возможности постановки моего вопроса.

— Божественнымъ воиномъ былъ онъ! божественнымъ! архистратигомъ! проговорилъ онъ, наконецъ, и провелъ рукою сверху внизъ по обоимъ усамъ и бородѣ.— Да мнѣ вотъ и Вася мой не только тѣмъ дорогъ, что спасъ меня, а также тѣмъ, что Михаила Дмитриевича видѣлъ, и что самъ генераль его однажды по шеѣ рукою погладилъ! было это еще по пути къ Геокъ-Тепе, въ степяхъ, значить, когда мы лагерь въ Бендессенской долинѣ стояли; желѣзную дорогу тогда строили, ну, и намъ ее отъ нападенія дикарей хранить приходилось. Тоже и постѣвы мы ихъ портили. Разъ какъ-то и меня съ отрядомъ послали. Идемъ это мы; горы, буераки, ни одного кустика, могила какая-то старая торчить. Вдругъ, откуда ни возьмись нападеніе да сразу и свалка! Пришлось мнѣ, потому что старшихъ перебили, всѣмъ отрядомъ командовать. Ну-съ, случилось это, потому что мы вдругъ какъ-то на цѣлую ораву текинцевъ напоролись, такъ что и къ выстрѣламъ почти не пришли, а сразу въ рукопашную. Горячее было дѣло, многихъ изъ нашихъ искрошили они, ну да и мнѣ досталось, особенно когда дикари на утекъ пошли, да по нимъ картечью пустили. Помню это, что какъ только орудія загрохотали, тутъ только пришелъ я совсѣмъ въ себя: гляжу — лѣвая рука въ крови, и отъ самаго плеча, отъ погона, значить, внизъ, весь китель по локоть отрѣзанъ. Шашкой это меня текинецъ, должно быть, хватилъ, да, къ счастью, скользнула. Помню я, что въ самую сѣчу много всякихъ кудрястыхъ текинскихъ бородъ и шапокъ подлѣ меня мелькало; помню, что штыки кругомъ по воздуху словно кружились! стукъ, крикъ, ревъ! не помню ужъ, какъ меня ранили, а чуть только осмотрѣлся—вижу,

что и Васька мой тоже весь изсѣченъ. Какъ ужъ онъ на ногахъ устоятъ, какъ онъ кровью не истекутъ, какъ онъ меня въ Бендессенъ къ главнымъ силамъ нашимъ привезъ — я и не понимаю, чудо! Только подходимъ мы — а къ намъ навстрѣчу самъ генераль со штабомъ ѣдетъ, за нимъ фургоны съ краснымъ крестомъ слѣдуютъ, казаки. Велѣтъ остановиться, съ коня сошелъ и ко мнѣ подходитъ. Глаза у него такіе свѣтлыя были, красивые, самъ молодецъ писанный, а ужъ говорить какъ умѣтъ — и разсказать не могу! совѣмъ свѣтоносный быть! «А что это у васъ, говоритъ онъ: — съ рукою, капитанъ, какъ будто немножко задѣло? Вы поспѣшите перевязать. Ну, да и конь вашъ тоже окрещенъ порядкомъ». А Васька мой стоялъ передъ генераломъ, понутивъ голову, и, какъ мнѣ потомъ говорили, отъ крови весь малиновый на солнцѣ блестѣлъ. Потрепалъ Михаилъ Дмитриевичъ моего коня по шеѣ, а потомъ къ солдатамъ пошелъ и имъ ласковое слово сказать. Такъ вотъ, изволите ли видѣть, замѣтилъ капитанъ: — мой Вася — лошадь какъ бы историческая, и портретъ ея въ журналы помѣстить надо.

— А скажите, пожалуйста, Иванъ Евстафьевичъ, какимъ образомъ спасла васъ ваша лошадь, или въ этой именно стычкѣ, въ томъ, что бойня удачно кончилась для васъ, вы ваше спасеніе конемъ видите?

— Никакъ нѣтъ-съ, это совѣмъ другое было.

Въ это время вошелъ Григорій съ самоваромъ, а за нимъ какой-то паренекъ, лѣтъ двѣнадцати, тащилъ подносъ съ чашками и чайникомъ.

— А! это ты, Митя, сегодня дежурный? проговорилъ капитанъ, глядя на мальчика.

— Я-съ! отвѣтилъ парнишка.

— Я это, объяснилъ мнѣ Иванъ Евстафьевичъ — у себя деревенскихъ мальчишекъ дежурить назначаю, очередь у нихъ такая: за дежурство, отъ утра до

вечера, гривенникъ, да кромѣ того—я дежурнаго и грамотѣ обучаю. Вѣрите ли: за пятнадцать верстъ ходять и сами, кому дежурить, списки ведутъ, должно полагать—зарубинками на палочкахъ.

Подавшій намъ самоваръ Григорій былъ тоже, несомнѣнно, старый военный.

— А помнишь, Григорій, спросилъ его Иванъ Евстафьевичъ:—какъ меня казаки на ручѣ нашли?

— Какъ не помнить!

— Ну, вотъ видите ли, продолжалъ капитанъ по уходѣ Григорія и парнишки:—какъ это было. Близко это уже къ самому штурму случилось. Тоже въ развѣдку послали. Ну, извѣстно, встрѣча, пальба, раненые, мертвые! Жаркій очень день былъ, а у меня съ утра въ головѣ точно барабаны стучали. Ранили это меня въ ногу—дурно стало, затуманило; думаю: чѣмъ мнѣ на перевязочный ѣхать, лучше водицы напьюсь, а тутъ и ручей подлѣ въ овражкѣ бѣжалъ; спустился я къ нему и на глубинѣ овражка выстрѣловъ почти не слышалъ. Смотрю—а ручей-то весь красный по камешкамъ катится—кровью, значитъ, окрашенъ. Ну, думаю, пить нельзя! и это моею самою послѣднею мыслью было: потемнѣло въ головѣ, ничего не помню, а очнулся я уже промежъ своихъ: Васька привезъ.

Глотнувъ чаю и закуривъ снова папироски, мы толковали о томъ, о семъ; сообщилъ мнѣ капитанъ, гдѣ и какъ получилъ рану, исполосовавшую его щеку, и многое другое о степномъ походѣ и его превратностяхъ; разсказалъ онъ мнѣ, съ какими трудами и какою дорогою цѣною доставилъ въ свой домъ Ваську; разсказалъ еще нѣсколько любопытныхъ чертъ о Михаилѣ Дмитріевичѣ Скобелевѣ, о его «свѣтоносности», повторилъ о томъ, какъ онъ его Ваську погладилъ. Съ этими словами разговоръ возвратился опять къ лошади капитана.

— Да, хотите вы, сказалъ мнѣ Иванъ Евстафьевичъ, — его, коня-то, съ мѣста не сходя, видѣть? можно!..

Капитанъ всталъ съ дивана и направился къ той стѣнѣ, въ которой находилась входная дверь. Откинувъ грузный крючекъ, котораго я до того не примѣтилъ, онъ открылъ люкъ и кликнулъ:

— Вася! а Вася!

Не прошло и трехъ секундъ времени, какъ мохнатая голова Васи просунулась въ комнату, и капитанъ поцѣловалъ коня въ лобъ.

— Сахару хочешь, Вася? и онъ подаль коню кусокъ сахару.

Я тоже всталъ и, подойдя къ нему, погладилъ лошадь; умные глаза ея глядѣли на меня чрезвычайно кротко и привѣтливо.

— Одного боюсь я, промолвилъ капитанъ:—одного: чтобы раньше меня жизнь не покончила; ну, а Чертопхановымъ я себя только въ шутку называлъ, потому что пропасть она у меня не можетъ, потому что по всему уѣзду извѣстна, а крестьяне меня любить и конокрадамъ какимъ либо не продадутъ, нѣтъ!


— Ну что же, не довольно ли Вася? спросилъ Иванъ Евстафьевичъ у лошади:—можетъ быть, гость запаха конюшни не любитъ?

Онъ осадилъ рукою морду Васи, лошадь втащила ее въ люкъ, и онъ захлопнулся.

Посѣщеніе мое длилось, конечно, болѣе часу времени. Капитанъ уговаривалъ меня провести у него цѣлый день и ночевать; я бы согласился на это непременно, если бы не то, что мы, съ товарищемъ моимъ послужбѣ, условились встрѣтиться въ Николаевскѣ въ назначенный день, а дорога предстояла долгая. Иванъ Евстафьевичъ вызвался проводить меня на станцію, находившуюся подлѣ, что и исполнилъ.



Я простился съ Полугановымъ, и вновь замелькали передо мною знакомыя очертанія безлѣсной степи: холмы, буераки, солончаки; только безлюдная степь какъ будто населилась, стала гораздо оживленнѣе, чѣмъ прежде: меня сопровождали воспоминанія о встрѣчѣ съ Иваномъ Евстафьевичемъ и его описанія разныхъ стычекъ; какіе-то облики текинцевъ въ огромныхъ папахъ скользили подлѣ тарантаса, но яснѣ всего видѣлись мнѣ, и видятся даже до сихъ поръ, добродушное лицо Ивана Евстафьевича и эта привѣтливая конская морда, которая глянула къ намъ въ комнату черезъ люкъ.



## ДВА СИДОРОВЫХЪ.

---

Подходить двѣнадцатый часъ ночи. Въ вокзалѣ желѣзной дороги маленькаго уѣзднаго городка ожидаютъ прибытія двухъ поѣздовъ, одного съ сѣвера, другого съ юга. За длиннымъ столомъ буфета сидятъ два господина. Одинъ въ фуражкѣ съ краснымъ околышкомъ, другой безъ фуражки и безъ волосъ; оба не старые. Фамиліи этихъ господъ—Сидоровы, хотя родства между ними никакого нѣтъ; они уже нѣсколько разъ говаривали объ этомъ. Передъ ними двѣ бутылки пива и пепельница, переполненная пепломъ и окурками сигаръ и папиросъ.

— Ты, значить, говоритъ господинъ безъ волосъ: положительно ѣдешь въ Памиръ?

— Ъду.

— И мѣсто получишь?

— И мѣсто получу.

— И общали?

— Общали.

— Ну, а скажи ты мнѣ, конфиденціально скажи, зачѣмъ ты ѣдешь въ Памиръ? цѣль какая у тебя?

— Счастья попытать.

— Да вѣдь тамъ, братецъ ты мой, дичь и глушь, и по дорогѣ подстрѣлить могутъ.

— А я все-таки поѣду. Эхъ, братъ, да вѣдь это-то и хорошо, что дичь да глушь и подстрѣлить могутъ; тамъ, значить, и дѣла много, и нашему брату попытаться можно.

Кого подразумѣвалъ красный околышекъ подъ именемъ «нашего брата» и что это было за «попытаться», опредѣлить было трудно. Красный околышекъ, однако, опредѣлилъ и то и другое.

— Тутъ, вотъ, сидишь сиднемъ и изъ общаго-то уровня ни на ни; чуть сунулся, такъ тебя и по носу. Хотя ты себѣ способнѣйшій человѣкъ—способностямъ движенія не дадутъ. Ну, а тамъ другое дѣло. Тамъ этакій аулъ (околышекъ такъ и сказалъ аулъ) бунтующихъ иновѣрцевъ сожгешь, или съ китайцами въ новыя торговыя условія, выгодныя для государства, вступишь, или какую нибудь дорогу проложишь по какимъ нибудь новымъ мѣстамъ, или на войну попадешь, или мостъ черезъ рѣку въ одну ночь для казенныхъ и торговыхъ надобностей построишь—ну, тебя и отличать и денегъ дадутъ. А тутъ что?

— Ты это хотя и не врешь, замѣтилъ онъ,—но и не совсѣмъ правъ.

— Да въ чемъ же не правъ-то? Неужели тебѣ тутъ плѣснить нравится? На мѣстѣ, братецъ, корни пустишь, въ крапиву обратишься, и никакая живая душа въ тебѣ ничего другого, кромѣ крапивы, не признаетъ.

— Оно вѣрно, вѣрно, подтвердила лысина околышку, — но въ Памиръ-то зачѣмъ? Вѣдь, ей-Богу, ты и въ театръ пойти захочешь и по желѣзной дорогѣ прокатиться, а вѣдь тамъ еще, пишутъ люди, только четвертый день творенія начался. Нѣтъ, я тебѣ скажу, что я иначе думаю, совсѣмъ иначе...

Приэтомъ лысина наклонилась къ околышку и оглядѣлась по сторонамъ...

— Въ Петербургъ, братецъ ты мой, поѣзжай, ска-

зала лысина вполголоса:—вотъ гдѣ лафа, такъ лафа  
А то, что Памиръ. И я поѣду въ Петербургъ, вотъ  
убей меня громъ, а поѣду. Хочешь, сейчасъ поѣду?

— Ну, ну, ужъ и сейчасъ?

— Ей-Богу, поѣду. Вотъ какъ есть, въ этомъ  
сюртукѣ и въ этихъ брюкахъ, и помяни ты меня  
лихомъ, если я тамъ черезъ мѣсяцъ дѣлъ своихъ не  
устрою.

— Да, вѣдь, у тебя гроша денегъ нѣтъ.

— Себя заложу, жену заложу и деньги будутъ.

— Да вѣдь, тамъ, въ Петербургѣ-то, и безъ насъ  
съ тобой наѣздниковъ много.

— Много?! возразила лысина. Нѣтъ, это только  
издали такъ кажется. Я вѣдь знаю, что въ Петер-  
бургѣ за люди, все болѣе поверхностные, а настоя-  
щихъ дѣльцовъ въ Петербургѣ нѣтъ. Дѣльцы у насъ,  
здѣсь въ глуши, въ провинціи вырабатываются. Это  
только такъ принято говорить, что столицы провин-  
ціямъ людей даютъ. Мы людей создаемъ и столи-  
цамъ посылаемъ, вотъ что.

При этихъ словахъ лысина наклонилась къ око-  
лышку еще болѣе и продолжала:

— Вѣрь ты мнѣ, другъ любезный, что только  
здѣсь, у насъ, гдѣ, такъ сказать, всѣ великія пру-  
жины общественной жизни въ своемъ первообразѣ  
возникаютъ и рядышкомъ толкаются, гдѣ земскіе  
люди землевладѣльцы и судебныя власти, желѣзно-  
дорожные дѣятели и лица по администраціи въ одномъ  
трактирѣ собираются, только тутъ и вырабатывается  
дѣльный человѣкъ. А въ Петербургѣ; поди-ка-ты:  
попробуй придвинуть министерство юстиціи, что на  
Итальянской, къ военному министерству, что на  
Исаакіевской площади, ни во вѣки вѣковъ не при-  
двинешь!

Лысинѣ казалось, что она двигаетъ министерства,  
но что она еще не довольно близка къ околышку;

она придвинула свой стулъ вплотную къ стулу околышка, чуть не влѣзла на ухо сосѣду и, поминутно озираясь, продолжала, уже съ увлеченіемъ:

— Не въ Памиръ, а въ Петербургъ, говорю я тебѣ, надобно ѣхать. Здѣсь, въ провинціи, въ этомъ я съ тобою совершенно согласенъ, дѣльному человеку подготовленіе возможно, но тамъ, тамъ... тамъ — дѣло начинается. Въ Петербургѣ все подъ рукою, все рѣшительно. Задумать, выискать, протрубить, развить, создать, ошибиться и поправиться, еще разъ ошибиться и еще разъ поправиться и довести дѣло до конца, до торжественнаго обѣда, рѣчей и другихъ овацій, — тамъ все это можно. А тутъ что? Задумать надо въ одномъ мѣстѣ, искать въ другомъ, трубить въ третьемъ... Нѣтъ, брать! Одинъ только Петербургъ и есть, и я туда поѣду. Видитъ Богъ, поѣду!

Околышекъ слушалъ лысину и какъ она за Петербургъ ратовала — и насупился.

— Все это правда, сказалъ, наконецъ, околышекъ, да свѣжести-то тамъ нѣтъ, первобытности, непосредственности нѣтъ. Въ Памиръ, по крайней мѣрѣ, аулъ сожгешь или китайца убьешь, это все-таки свѣжесть, подвигъ, какой ни на есть, а все подвигъ. А въ Петербургѣ кого убьешь?

На послѣднее, странное и оригинальное, замѣчаніе околышекъ не получилъ ожидаемаго отвѣта, по той простой причинѣ, что сотоварищъ его, преслѣдуя свою собственную мысль, предался мечтѣ о Петербургѣ. Физиономія его приняла улыбкавшее выраженіе, сложилась какимъ-то акаоистомъ, полнымъ сладости самой сладчайшей, и онъ продолжалъ какъ бы въ ясновидѣніи...

— А потомъ, въ Петербургѣ, эти Аркадіи и Аквариумы, эти женщины, жаждущія любви. Нѣтъ, ты подумай только, что это за женщины! И сколько ихъ,

и сравни съ тѣмъ, что у насъ подъ рукою! Жена уѣзднаго начальника—это одно; жена священника—это другое; потомъ эта съ картофельнымъ носомъ, вдова; потомъ двѣ дочери станціоннаго смотрителя... Ыдемъ, братецъ, вмѣстѣ.

— Нѣтъ, я въ Памиръ.

— Рѣшительно?

— Рѣшительно. Но здѣсь не остаюсь. Собственно мнѣ все равно куда, но только бы не оставаться дома, прочь изъ этой среды, прочь... заѣли.

— Да и мнѣ тоже — главное — уѣхать. А ужъ если ѣхать, такъ въ Петербургъ лучше, чѣмъ куда нибудь.

— Такъ ѣдемъ?

— Ыдемъ.

Оба ѣдущіе господина, оба Сидоровы, продолжали сидѣть на мѣстѣ. Великое наслажденіе доставилъ обоимъ обмѣнъ ихъ мыслей. Хотя, надо сказать правду, ни тотъ, ни другой, рѣшительно никуда не собирались ѣхать, да и не могли бы ѣхать, потому что денегъ у нихъ не было, но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы они дѣйствительно не поѣхали, если бы представилась къ тому какая либо возможность. Напротивъ того, они бы исполнили это, непременно исполнили. Хотя оба родились и выросли въ томъ городѣ, въ которомъ бесѣдовали; хотя всѣ ихъ нравственные узы, которыхъ, по правдѣ, было вообще немного, прикрѣпляли ихъ къ нему; хотя весь ихъ бытъ, все знакомство, все будущее, вся невеликая суть этихъ людей сосредоточилась здѣсь и нигдѣ больше и быть не могла,—а они все-таки готовы были ѣхать, одинъ въ Памиръ, а другой въ Петербургъ. Они готовы были сдѣлать это и сдѣлали бы непременно, да еще и вообразили бы, что несутъ свои жертвы, одинъ свою старуху мать, другой—жену съ ребенкомъ, на алтарь отечества. И мно-

гими такими жертвами загроможденъ у насъ алтарь отечества, и такую кунсткамеру представляетъ онъ собою, какой, на всемъ широкомъ бѣломъ свѣтѣ, другого экземпляра не встрѣчается, до сихъ поръ, по крайней мѣрѣ, не отыскано.

Какъ сказано, оба героя поѣхали, одинъ въ Петербургъ, другой въ Памиръ, не трогаясь со своихъ стульевъ. Тѣмъ временемъ, опоздавъ ровно на шесть часовъ, постукивая и побрякивая, подошелъ одинъ изъ ожидаемыхъ поѣздовъ. Черезъ пять минутъ подошелъ и другой.

Есть что-то въ высшей степени характерное въ остановкѣ желѣзнодорожнаго поѣзда на третеклассной провинціальной станціи. Яркій и ослѣпительный свѣтъ передовыхъ фонарей на груди локомотива; стройный, черный, мѣстами блестящій мѣдью, кажется онъ еще шире и выше, чѣмъ есть, въ сосѣдствѣ съ какимъ нибудь кривымъ домикомъ, доживающимъ свои послѣдніе дни; мерцаніе красныхъ и зеленыхъ фонариковъ по глубокой и непроглядной ночи; толкотня и пестрота пассажировъ всѣхъ возрастовъ и состояній; шмыганье кондукторовъ, пріемъ и сдача багажа, приходъ почты, встрѣчи и проводы, предъявленіе билетовъ и торги съ извозчиками, — все это представляется картиною крайне оживленною и далеко не чуждою своеобразной красоты. Особенно рѣзко выдается эта картина для тѣхъ, кто ждетъ прихода поѣзда и самъ не ѣдетъ. До появленія поѣзда — тишина и мракъ, провинція и захолустье, послѣ отхода его — то же самое, а въ промежутокъ времени какой-то взрывъ жизни и далекой, гдѣ-то за горами и морями существующей, цивилизаціи, съ ся огнемъ, свистомъ, паромъ, шумомъ и подвижностью.

Къ приходу поѣздовъ вышли на платформу оба Сидоровыхъ.

— Ба, ба, ба! Терентій Петровичъ! вы откуда и какъ сюда попали, воскликнулъ Сидоровъ, отличавшійся лысиною, обращаясь къ человѣку лѣтъ тридцати, весьма изящно одѣтому, съ одноглазкой въ глазу и биноклемъ, висѣвшимъ на ремнѣ черезъ плечо.

— Господинъ Сидоровъ?! если не ошибаюсь, отвѣтила одноглазка.—Очень пріятно.

Послѣдовало рукопожатье.

— Мы здѣсь, кажется, полчаса стоимъ. Что, у васъ, буфетъ порядочный?

— По-провинціальному. Сосиски у него сегодня свѣжія. Хотите закусить?

— Да, думаю.

Господинъ въ одноглазкѣ, произносившій всѣ слова на растяжку, какъ бы сквозь сонъ, и немного прихрамывавшій на одну ногу, направился къ буфету, сообщивъ по дорогѣ, что онъ очень любитъ сосиски, что лучшія сосиски въ Петербургѣ дѣлаетъ бывший Люддекенсъ, а въ Германіи, за границей, нигдѣ не ѣлъ онъ такихъ сосисекъ, какъ въ Эйзенахѣ. Ихъ подаютъ теплыя и онѣ дешевы и жирны.

Всѣ трое устали за столъ. Сидоровъ представилъ Терентію Петровичу своего однофамильца. Терентія Петровича встрѣтилъ онъ лѣтъ пять назадъ у одного изъ помѣщиковъ сосѣдней губерніи и провелъ съ нимъ два дня. Вотъ все ихъ знакомство.

— Откуда вы теперь и куда?

— Изъ Петербурга и въ провинцію. А вы все по-прежнему, здѣсь?

— Здѣсь-съ; да вотъ, думаю уѣхать. Мы оба думали уѣхать. Я хочу въ Петербургъ.

Подали сосиски и бутылку вина. Сидоровы спросили себѣ опять-таки пива.

— Въ Петербургъ хотите ѣхать?

— Да.

— Странно.



— Отчего же-съ?

— Отчего. Впрочемъ, возразилъ Терентій Петровичъ,—вы къ какимъ людямъ относитесь? Кто вы такой?

— Къ какимъ людямъ? Кто я?

Сидоровъ съ лысиной былъ, видимо, озадаченъ. Провинціальная робость оказалась въ немъ мгновенно передъ заѣзжимъ представителемъ столицы, который, такъ сказать, еще вчера дышалъ тамошнимъ воздухомъ. Ужъ не принято ли теперь у нихъ, подумалъ онъ, прямо съ этого начинать разговоръ съ людьми? Можетъ и въ самомъ дѣлѣ это такъ. Удивиться, значитъ осрамиться, и онъ поторопился отвѣтить быстро и чотко:

— Кто я? Я—дворянинъ.

— Вы дворянинъ?.. вытянулъ протяжно и съ яснымъ оттѣнкомъ ироніи Терентій Петровичъ, поправляя одною рукою одноглазку, а другою откупоривая бутылку.

— Но я не въ томъ смыслѣ васъ спросилъ, а въ томъ, что: человѣкъ ли вы дѣла, или такъ, больше для жизни существуете?

— Гмъ! отвѣтилъ Сидоровъ,—да вѣдь я думаю, что, изъ самаго желанія моего ѣхать въ Петербургъ, вы видите, что я желаю дѣла, потому что тутъ что? тутъ ничего, одно только земство... шушера.

— Такъ вы та-а-а-къ на это смотрите? Ну, извините, а я съ вами совсѣмъ не согласенъ, возразилъ Терентій Петровичъ. Я именно для дѣла-то и уѣхалъ изъ Петербурга.

Сидоровъ съ лысиной былъ окончательно озадаченъ; зато Сидоровъ съ околышкомъ какъ бы почувствовалъ, что онъ оперяется, хотя и счелъ долгомъ не вмѣшиваться въ разговоръ, а довольствоваться побѣдою своею въ молчаніи; потомъ, дескать, наверстаю.

— Да-съ, продолжалъ проѣзжіѣ, послѣ короткаго роздыха и проглотивъ послѣднюю сосиску, — да-съ, очень вы ошибаетесь на счетъ Петербурга. Всѣ вы тутъ, господа, думаете, что мы тамъ дѣла дѣлаемъ. А самое-то дѣло у васъ подъ носомъ совершается. Вы тутъ, такъ сказать, въ дѣлѣ по уши сидите. Я не скажу, конечно, чтобы Петербургъ уже ровно ничего не дѣлалъ. О, нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ. Тамъ есть люди и хорошіе люди, но мѣста-то всѣ, главныя мѣста, насижены, и свѣжему человѣку, со стороны, на такое мѣсто не попасть. Конечно, гениальная голова всегда проторить себѣ дорогу. Можетъ быть, вы дѣйствительно и имѣете всѣ данныя, но я, я, — снисходительно завершилъ свои слова Терентій Петровичъ, — я себя за генія не считаю и оставилъ Петербургъ.

— Но вѣдь спросъ на людей теперь большой-съ?

— Большой, только не тамъ, а у васъ здѣсь. Я ѣду въ провинцію, въ Черниговскую губернію. Тамъ, какъ мнѣ въ Петербургѣ говорили, менѣе всего есть людей, тамъ работники нужны. Ну, я и взялъ себѣ мѣсто, какъ только увидѣлъ, что есть такое въ Черниговѣ.

— Какъ же-съ это такъ? возразилъ Сидоровъ. Вы только что сказали, что въ Петербургѣ жить не стоитъ, а мѣсто-то въ Черниговѣ вы изъ Петербурга высмотрѣли?

— Ну да, списки въ Петербургѣ есть; списоковъ тамъ много, тамъ всѣ они есть. Петербургъ, это — статистическое бюро Россіи. Кстати, какъ идетъ у васъ статистика?

— Статистика?

— Да.

— Недурно идетъ.

— Кто у васъ секретаремъ комитета?

— Отличный господинъ-съ, Сивягинъ, спорщикъ

только преобольшуцій, а то хорошій человекъ. А отчего это вы такъ прямо о статистикѣ спросили? Много, развѣ, на нее вниманія нынче обращаютъ, или вы сами по статистикѣ?

— Да, да, много, много! и самъ я немного при этомъ. Я, даже, съ этою цѣлью ѣду. Статистика это такое важное дѣло, что нужно бы, чтобы вся Россія, сразу, огуломъ, на статистику бросилась.

— Мнѣ кажется, Терентій Петровичъ, перебилъ его Сидоровъ,—вы прежде въ акцизѣ служили?

— Да, въ акцизѣ. Я тамъ нарочно служилъ, чтобы къ этому отдѣлу статистики приготовиться. Я тамъ, разъѣзжая, да свѣдѣнія собирая, вотъ и ногу себѣ сломалъ, добавилъ Терентій Петровичъ, хлопнувъ по ногѣ.

— Нѣкоторымъ образомъ, проговорилъ Сидоровъ,—ваша нога теперь на алтарѣ отечества лежитъ.

— Да, да, на алтарѣ... Однако, добавилъ Терентій Петровичъ, взглянувъ на часы,—пора и на мѣсто. Эй, человекъ—получить.

Подошелъ человекъ. Разсчитавшись, Терентій Петровичъ вынулъ бумажникъ и записалъ, за что, гдѣ и сколько заплатилъ.

— Это вы тоже для статистики, проговорилъ Сидоровъ Терентию Петровичу, окончательно начавшему терять въ его глазахъ тотъ престижъ, которымъ онъ сіялъ въ первую минуту встрѣчи. Сидоровъ даже улыбнулся.

— Отчасти. Я даже и не такія вещи записываю, сказала Терентій Петровичъ, наклонившись къ Сидорову и шепнувъ ему что-то на ухо,—посмотрите вотъ этотъ отдѣлъ записной книжки...

Сидоровъ сталъ разглядывать указанный ему отдѣлъ. Чтò онъ тамъ прочелъ, неизвѣстно, но онъ тоже улыбнулся.

Въ это время раздался второй звонокъ; первый звонили въ минуту прихода поѣзда.

Наши собесѣдники поднялись со своихъ мѣстъ и направились на платформу.

— Я нахожу, говорилъ Терентій Петровичъ, ковыляя тою ногою, которую онъ принесъ въ жертву на алтарь отечества,—я нахожу, что эти продолжительныя остановки поѣздовъ на русскихъ желѣзныхъ дорогахъ весьма полезны не столько для осторожности, сколько для обмѣна мыслей населенія, ѣдущаго, и населенія, крѣпкаго землѣ. Право, это хорошо. Я, вотъ, премного обязанъ вамъ, господинъ Сидоровъ, и вашему товарищу нѣсколькими пріятными минутами. Вы всѣ, кажется, служите одному дѣлу, а для этого взаимное знакомство необходимо.

Говоря это и позабывъ, что другой Сидоровъ, въ околышкѣ, ни слова ему не сказалъ, Терентій Петровичъ чуть не уперся въ стоявшаго неподвижно жандарма и почелъ своею обязанностью извиниться. Жандармъ далъ дорогу.

— Да-съ, и мы провели очень пріятно время. Вотъ ужъ правда, что гора съ горою не сходится, а человѣкъ съ человѣкомъ сойдутся. Счастливаго вамъ пути.

— И хорошаго сна, добавилъ другой Сидоровъ, въ околышкѣ.

— О! Сплю я отлично. Это моя добродѣтель.

Всѣ трое остановились передъ вагономъ перваго класса, и Терентій Петровичъ заглянулъ въ одно изъ открытыхъ оконъ.

— Здѣсь. Ну, прощайте, господа.

Послѣдовало опять рукопожатіе, и Терентій Петровичъ вошелъ въ вагонъ. Сидоровъ, почти невольно, заглянулъ въ окошко въ ту самую минуту, какъ тотъ успѣлъ подойти къ своему мѣсту. Въ углу виднѣлась какая-то смѣшанная, темная масса.

— A! te voilà, va, gaillard, слышался женскій голосъ изъ темной массы, пришедшей приэтомъ въ колыханье.

Вслѣдъ затѣмъ послѣдовалъ какой-то отвѣтъ, котораго Сидоровы не разобрали, но оба переглянулись и поняли другъ друга.

— Dis donc, ami, продолжалъ голосъ изъ массы, полухриплый, но во всякомъ случаѣ молодой, — comment tourne-t-il le r'frain de la «Chose»? v'là une demi heure que je me hache la mémoire et pas l'moyen, pas l'moyen d'y parvenir!?

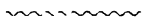
Прозвенѣлъ третій звонокъ. Послѣднія дверцы поѣзда захлопнулись, раздался свистокъ, и колеса завертѣлись.

— Прощайте, крикнулъ Терентій Петровичъ, выснувшись изъ окна, — прощайте, только смотрите не ѣздите въ Петербургъ, не стоить.

— Не поѣдемъ, не поѣдемъ, отвѣтили Сидоровы и замахали руками.

Плавно и чуть-чуть побрякивая металлическимъ приборомъ своимъ, двинулся поѣздъ, ускоряя движеніе съ каждымъ поворотомъ колесъ. Крупныя и яркія искры летѣли изъ трубы локомотива и далеко не всѣ гасли на лету, но ложились у полотна и медленно дотлѣвали на землѣ. Вотъ миновалъ поѣздъ платформу и блеснулъ краснымъ фонаремъ. На станціи стали тушить огни, запирать двери, и, въ нѣсколько минутъ, тишина водворилась самая полная. Только съ телеграфныхъ столбовъ слышался легкій, непрерывный звонъ проволоки. То былъ голосъ цивилизаціи, неумолчно напоминавшій тишинѣ ночи о томъ, что тамъ, далеко, о провинціяхъ все-таки помнятъ и не забываютъ ихъ, и слѣдятъ за ними, и проволоки къ нимъ проводятъ...

Оба Сидоровыхъ разошлись по домамъ восвояси, никуда не поѣхали и еще много лѣтъ будутъ встрѣчать въ вокзалѣ прибытіе поѣздовъ.



## БАБУШКИНЫ ПУЗЫРИ.

---

Когда-то похоронили стараго прадѣдушку, но такъ давно, такъ давно, что ничего похороннаго, грустнаго въ этомъ воспоминаніи нѣтъ больше. У него были, между прочимъ, двѣ дочери, и послѣдняя изъ нихъ недавно тоже умерла, семидесяти-лѣтнею, окруженною внуками, старушкою. Она умерла, совершивъ самымъ мирнымъ образомъ свое земное странствіе, и въ ея похоронахъ тоже не было ничего грустнаго, потому что и тутъ исполнился законъ природы своевременно, безъ всякаго скачка, такъ какъ тому подобаетъ.

Прадѣдушка захватилъ вѣка Екатерины; его дочери принадлежали главнымъ образомъ времени Александра Благословеннаго, Николая I и Александра II. Объ старушки, когда онѣ еще жили, упивались чтеніемъ «Русской Старины» и «Русскаго Архива». Онѣ ничего другаго не читали.

Безбѣдное и мирное житіе ихъ было однажды нарушено самымъ неожиданнымъ образомъ; объ этомъ случаѣ необходимо разсказать, потому что, собственно говоря, это и со всякимъ, но иначе и по другимъ причинамъ, случиться можетъ.

Сидѣла, однажды, младшая старушка въ глубокихъ креслахъ и, одѣвъ круглыя очки, занималась чтеніемъ «Русскаго Архива». Зимній день склонился къ вечеру, день такой же, какъ и тысячи другихъ, пережитыхъ ею. Ничего особеннаго не случилось, и старушка, давно уже считавшая себя не отъ міра сего, готовилась, по прочтеніи извѣстнаго количества страницъ, отойти ко сну. Нынѣшняя жизнь, со всѣми ея телеграфами, телефонами и электрическими освѣщеніями, вовсе не касалась ея. Старушка вся жила въ быломъ.

Читала старушка на этотъ разъ описаніе какого-то бала, даннаго петербургскимъ дворянскимъ собраніемъ тридцатыхъ годовъ, и натолкнулась на слѣдующее мѣсто въ чьемъ-то дневникѣ, писанномъ очевидно по свѣжимъ слѣдамъ:

«Были на балу и обѣ сестры Л\*, коихъ нужно считать какъ бы за одно лицо, такъ похожи; самыя чистыя, правдивыя, смѣшныя и непорочныя провинціалки; одно только, что младшая такими пузырями рукава своего голубого платья снабдила, что въ каждый изъ нихъ можно бы посадить было по одному небольшому человѣчку; это замѣтили, смѣялись; и платье, точно, было вовсе не бальное».

Вотъ и все.

Одною изъ сестеръ, означенныхъ буквою Л\*, а именно младшею, была читавшая.

Старушка, какъ бы ошеломленная неожиданною встрѣчею съ собою, не закрыла, а захлопнула книжку. Легкая дрожь пробѣжала по тѣлу читавшей.

— Какъ! думала она:—обо мнѣ печатать! Да, да! такъ, значитъ, я еще не совсѣмъ умерла, не совсѣмъ! Охъ, эти провинціальныя пузыри!..

И снова дрожь по тѣлу, ознобъ.

Господи! какъ ярко вспомнилось ей это голубое платье и его несчастные пузыри! Они точно будто

зашуршали подлѣ нея; на плечахъ и рукахъ почувствовался ей этотъ массивный, упрямый шелкъ, какого теперь больше не выдѣлываютъ; вспомнилось, какъ и гдѣ она его выбирала и какой передъ нею тогда магазинщикъ стоялъ... она пришла туда случайно, онъ купить заставилъ...

А самый этотъ балъ! Да, да! какъ онъ ей живо вспомнился.

Прежде всего выглянули изъ тьмы былого длинные ряды горѣвшихъ жирандолей, украшенныхъ хрусталими; такія теперь только еще въ деревенскихъ церквахъ встрѣчаются. Свѣчи горятъ такъ свѣтло; отъ нарядовъ въ глазахъ пестрѣтъ; высокія дамскія прически, темнѣя надъ бѣлыми плечами, движутся какъ бы самостоятельно, какъ бы по вѣтру, по этому зыбкому морю блеска и упоенія.

Контрдансъ въ полномъ ходу; смычки работаютъ усердно... Пузыри раздуваются...

Вдругъ по толпѣ проносится извѣстіе, что государь приѣхалъ!

— Государь, государы! слышитъ старушка, совсѣмъ, совсѣмъ ясно слышитъ.

И дѣйствительно, Николай Павловичъ, подъ руку съ императрицею, оба въ полной молодости и красотѣ, окруженные блестящею свитою, шествуютъ по залѣ; всѣ почтительно разступаются. Государь, не желая мѣшать танцующимъ контрдансъ, сворачиваетъ въ сторону и останавливается. Ей кажется, что государь на нее смотреть! На пузыри?!

Всѣ шедшіе за ними тоже останавливаются и тоже смотреть... тоже на пузыри?!

Смычки работаютъ еще быстрее, еще прилежнѣе; темныя, высокія прически скачутъ по морю блеска гораздо порхливѣе, живѣе, чѣмъ прежде. Глаза всѣхъ обращены въ одну сторону, къ государю.



Какіе, однако, подлѣ государя молодцы: Орловъ, Чернышевы!..

Стоять они всѣ, будто живые, молодые, ярко освѣщенные тысячами свѣчей, въ блестящихъ регаліяхъ, службѣ и отличіямъ присвоенныхъ.

А императрица! Что за молодость, что за безподобная красота! Улыбка ея точно дробится въ крупныхъ и безцѣнныхъ брилліантахъ, одѣтыхъ на ней самой и на другихъ. Все смѣется, все искрится, все весело и счастливо безконечно.

Не отвела бы старушка глазъ отъ этого удивительнаго государя и его свиты, не отвела бы, если бы не...

Какъ, однако, сказать это, какъ признаться! Дѣвичій стыдъ находить себѣ забытый путь сквозь глубокія морщины надвинувшихся годовъ.

Онъ, онъ тутъ, онъ, ея будущій женихъ! Статный такой, тоже въ орденахъ, тоже военный. Да, да, она дѣйствительно его видитъ, видитъ... Это не то, что видѣніе, и онъ тоже смотритъ! Его глаза—какъ не узнать! Она и онъ уже говорили между собою объ этомъ... т. е. о свадьбѣ... только отецъ противъ. Почему онъ противъ, неизвѣстно, но только это такъ; что же дѣлать, на что рѣшиться? А пока что, прежде всего — танцовать; танцовать безумно радостно, до упаду! Танцовать можно вволю, и они танцуютъ, и они разговариваютъ, смотрятся; но, чтобы онъ ей руку смѣлъ пожать, или что нибудь такое—никогда! Это было бы обидно, стыдно, невозможно...

Годы юныхъ воззрѣній, годы смутныхъ общаній жизни, гдѣ они? Гдѣ этотъ балъ? Гдѣ эти дворяне? Гдѣ этотъ государь?!

Что-то неладное происходитъ подлѣ старушки, что-то невѣроятное...

Погасъ императоръ, погасла императрица и вся

ихъ блестящая свита! Нѣтъ больше и ея будущаго мужа. Мужъ на Смоленскомъ, подъ колонною, украшенною черною урною и бѣлымъ мраморнымъ, опадающимъ складками саваномъ.

Но какъ это такъ случилось, что на балъ вдругъ черная урна со Смоленскаго кладбища пришла? и почему это вдругъ свѣчи снова запылали и тотчасъ опять потускнѣли, точно сквозь туманъ какой смотришь? и почему это смычки начинаютъ двигаться такъ вяло, нехотя; самъ дирижеръ оркестра и тотъ точно скорчился, осунулся, онъ не можетъ больше стоять на ногахъ, онъ непременно сядетъ. Нѣтъ, это не у дирижера, а у нея самой ноги подкашиваются...

Вотъ и совсѣмъ темно стало, совсѣмъ... и синяго шелка нѣтъ, и пузыри на рукавахъ платья опали, смялись... и книга ускакала куда-то... и кругомъ смѣются, охъ! какъ смѣются, какъ зло смѣются, даже сегодня смѣются, полъ-вѣка спустя...

Бабушка Л\* покоилась въ своихъ креслахъ въ глубокомъ обморокѣ; подлѣ нея суетились испуганная сестра, внуки и многочисленная прислуга.



## ЧЕЛОВѢКЪ И КАРТОНЫ.

---

Осталось наслѣдство.

Наслѣдниковъ оказалось немного и ничего спорнаго; разобрали все по рукамъ: вещи, деньги; можно бы сказать, что раздѣлили и благодарныя воспоминанія, но это значило бы солгать, потому что каждый изъ наслѣдниковъ усиливался сохранить себѣ всѣ воспоминанія цѣликомъ! Эти воспоминанія своего рода маіораты, безусловныя, недѣлимые. Трогательно! послѣ покойнаго много осталось въ наслѣдство и хлама; его раздали бѣднымъ и получили благодарности; благодарностей было гораздо больше, чѣмъ хлама.

Въ хламъ попала одна удивительная, необъяснимая вещь. Опредѣлить ея назначеніе было чрезвычайно трудно. Представьте себѣ двадцать самыхъ толстыхъ картоновъ, величиною въ порядочный подносъ каждый. Лицевая сторона этихъ картоновъ была подѣлена золотою, тоненькою, фигурчатою бумажкою на шестнадцать клѣтокъ, и каждая клѣтка имѣла свой цвѣтъ. По клѣткамъ этимъ были наклеены, чрезвычайно тщательно, маленькія, вырѣзанныя изъ бумаги, фигурки, одна подлѣ другой, не въ опредѣленныхъ

рыдахъ, а настолько близко, чтобы оставалось между ними достаточно свободного мѣста для ясности самой фигурки. Самыя крупныя изъ нихъ были величиною съ серебряный рубль, самыя маленькія не болѣе той прелестной бабочки, которую называютъ молью, и которая является первою провозвѣстницею нашей вѣчно медлящей весны.

И чего ужъ не изображали эти раскрашенныя, вырѣзанныя фигурки?

Царь на тронѣ въ какихъ-то страусовыхъ перьяхъ; танцовщица, попугай, улей, бритва, грабля, фонарь, слонъ, лодка, летучій змѣй, два комическіе музыканта, Велисарій, ведомый ребенкомъ, арфа, ѣздокъ на брыкающейся лошади, бой св. Георгія съ дракономъ, арлекинъ, двѣ цѣлующіяся головки безъ туловищъ, маркизъ въ напудренномъ парикѣ, цвѣты, лѣкарственныя сткланки, солдатики, дамы... Число этихъ фигурокъ на двадцати большихъ картонахъ, если взять въ расчетъ ихъ величину, было огромное, тысячное.

Но что же это былъ за трудъ: вырѣзать и наклеить эти фигурки?

— Смотрите на эту дѣвочку, несущую клѣтку, говорилъ одинъ изъ разсматривавшихъ картоны— вѣдь для того, чтобы вырѣзать фигурку такъ, какъ она вырѣзана, надобно большое искусство и, по крайней мѣрѣ, часа четыре времени?

— Если не больше; каждая проволочка клѣтки вырѣзана!

— А птичка! кольцо, на которомъ она въ клѣткѣ качается, и то вырѣзано, а вся-то клѣтка величиною въ пятачекъ!

— А этотъ толстый колбасникъ, между ногъ котораго проскакиваетъ свинья; вѣдь хвостикъ свиньи и косичка парика, падающаго на носъ колбасника, тоже деликатно вырѣзаны!

— Да, да, на бѣлой косичкѣ его даже красная

ленточка видна, и та вырѣзана. Это нѣчто въ родѣ китайскихъ прорѣзей.

— Удивительно! для подобнаго вырѣзыванія надобны были совсѣмъ особые инструменты, совсѣмъ особые глаза, совсѣмъ особый человѣкъ.

— А времени, времени сколько?

— Времени... да, времени потрачено тутъ чрезвычайно много, можно бы даже сосчитать, а, главное, зачѣмъ эти картоны?

— Дѣйствительно, nepостижимо! накрывать что нибудь — слишкомъ велики, для ширмъ — малы; на стѣну, вмѣсто картинъ, не пригодны, да и колецъ въ нихъ нѣтъ.

— Такъ зачѣмъ же они?

Судя по характеру наклеенныхъ картинокъ, въ особенности по дамскимъ нарядамъ, картоны эти появились на свѣтъ въ началѣ нынѣшняго вѣка. На мужчинахъ вихры. Шляпы на дамахъ высокія, съ перьями, и съ тѣми выдающимися нащечниками, которые устраняли всякую возможность заглянуть въ женское лицо съ боку; платья на дамахъ довольно узкія, недлинные; башмаки безъ каблучковъ. Если бы были тогда каблучки, старательный авторъ картоновъ не преминулъ бы вырѣзать и ихъ: подобная мелочь была бы ему совсѣмъ по сердцу.

Но если дамы того времени являлись иными, чѣмъ наши, то неизмѣнно тѣми же, что и теперь, были гуси, медвѣди; ни одного горба не прибавилось у верблюда; также точно, отгибая наружу верхи лепестковъ своихъ, глядѣли: роза, фіалка; совершенно не измѣнились окорока и булки.

Но сколько труда, сколько времени? и зачѣмъ? какъ зачѣмъ? видимо, у кого-то было слишкомъ много свободнаго времени, кто-то несомнѣнно убивалъ его, кому-то нужно было убить его, и онъ это дѣлалъ терпѣливо, безропотно, старательно, съ какимъ-то

упоеніемъ! чья-то жизнь уходила, утекала въ производство и наклейку безцѣльныхъ фигурокъ.

Можетъ быть, это былъ какой нибудь больной, пригвожденный къ кровати, которому судьба возбраняла всякій другой образъ жизни, кромѣ лежачаго или сидячаго, и онъ занимался этимъ убиваніемъ времени? Но тогда зачѣмъ эта микроскопичность вырѣзокъ, слишкомъ затруднительная для работы больного человѣка?

Можетъ быть, это коллективная работа многихъ дѣтей, подъ руководствомъ мамы или гувернантки? Но работа слишкомъ точна, слишкомъ закончена для дѣтей; тутъ работалъ, несомнѣнно, одинъ человѣкъ, одна рука, одно чувство.

Этотъ трудъ ни въ какомъ случаѣ не могъ удовлетворять человѣка нервнаго, беспокойнаго, удрученнаго какимъ-нибудь горемъ; трудъ этотъ отнюдь не могъ служить для успокоенія всколыхавшейся мысли; напротивъ того, подъ звуки ножницъ, подъ тишину наклейки, мысли должны были роиться безсчетно, безотчетно и не въ одномъ направленіи...

Но вѣдь была же какая нибудь причина появленія на свѣтъ этихъ странныхъ, удивительныхъ картоновъ; самая сохранность, въ которой они дошли по наслѣдству, вѣроятно въ третью руку, свидѣтельствовала о томъ, что ихъ считали не ничѣмъ, что ихъ берегли, холили?

Когда Винкельману, для объясненія какой нибудь загадочной античной фигуры, неожиданно являлся на помощь текстъ или обрывокъ текста, или даже двѣ, три буквы, онъ тотчасъ переходилъ отъ заключенія къ заключенію, и часто достигалъ результатовъ. Въ данномъ случаѣ, по тщательномъ осмотрѣ картоновъ, тоже являлся на помощь текстъ, а именно: въ углу одного изъ нихъ прописано было каранда-

шомъ: «Гренадерской Flügel-роты второго батальона, Аракчеевскія казармы».

Этимъ все сказано. Вначалѣ, едва увидѣвъ и разглядѣвъ карты, вамъ хотѣлось смѣяться, обвинять того человѣка, который производилъ это ненужное вырѣзываніе бумажныхъ фигурокъ; но мрачныя черты Аракчеева, проступая предъ вами изъ тьмы прошедшаго, измѣняютъ сразу ваше отношеніе къ работнику: вамъ становится жаль его, и вы ему сочувствуете.

Двѣ существуютъ программы въ жизни, прекрасно выраженный знаменитымъ Кузьмою Прутковымъ, въ двухъ однословныхъ афоризмахъ. Одна изъ программъ складывается во исполненіе повелительнаго наклоненія глагола:

«Бди»!

Другая предлагаетъ повелительное наклоненіе другого глагола:

«Козыряй!»

Между этихъ двухъ, во имя ихъ, во всевозможныхъ степеняхъ дѣйствій, выражаемыхъ этими глаголами, совершаются бытія людскія.

Таинственный исполнитель картоновъ, котораго вамъ жаль, вѣроятно, поставленъ былъ въ необходимость придерживаться только перваго афоризма и, можетъ быть, достигъ своей цѣли. Отворачиваясь отъ того, что видѣлось въ Аракчеевской казармѣ, усиливаясь не слышать того, что въ ней слышалось, закрѣпощенный сотнями ордеровъ и приказовъ, невольный свидѣтель истязаній, или исполнитель, или, можетъ быть, самъ на себѣ испытывшій ихъ — неизвѣстный человѣкъ создалъ себѣ работу... Стукнули ножницы, улетѣло мгновенье... Какое счастье! Но въ этомъ ли цѣль жизни, и не очень ли ужъ это скучно? Козырять — веселѣе! Авторъ картоновъ аракчеевскаго времени несомнѣнно не козырялъ.



## НОВЫЙ ДУЛЬКАМАРА.

---

Не можетъ быть, чтобы тутъ, у насъ въ Петербургѣ, появилась вдругъ на люднѣйшихъ улицахъ римская квадрига, въ золоченой коробкѣ которой, въ шлемѣ и панцырѣ, почтенный докторъ Дулькамара, распѣвая чудеснѣйшія пѣсенки, сталъ бы продавать любовный напитокъ! Но существуютъ, какъ прежде, любовь, шарлатаны, съумасшедшіе и блаженные.

Люди наблюдательные имѣютъ нѣкоторое основаніе утверждать, что самое лучшее положеніе изъ названныхъ трехъ: влюбленнаго, шарлатана и блаженнаго—послѣднее. Можетъ быть, они и правы, и въ такомъ случаѣ, это не совсѣмъ безотрадно, потому что нѣтъ большей самостоятельности, какъ самостоятельность блаженнаго. И это еще вопросъ, кто болѣе правъ: тотъ ли, кто блаженствуетъ, или внѣшній міръ, обусловившій это блаженство и осмѣивающій его.

Представьте себѣ маленькую комнату, довольно уютно обставленную. Вечеръ. На столѣ горитъ лампа подъ абажуромъ. Хозяинъ, докторъ медицины, человѣкъ лѣтъ тридцати пяти, сидитъ за столомъ



и задумался надъ фотографіями весьма извѣстныхъ каульбаховскихъ картинокъ продавщицъ амуровъ. Корзинки, изображенныя художникомъ, полны граціозныхъ амурчиковъ съ крылышками; молодая покупательница торгуетъ ихъ у старой продавщицы.

Пока хозяинъ разсматриваетъ фотографіи, въ комнату входитъ гость, близкій хозяину человѣкъ, здоровадается съ нимъ, и не можетъ не замѣтить страннаго противорѣчія между довольно легкимъ содержаніемъ фотографій и чрезвычайно серьезнымъ выраженіемъ лица доктора.

— Тише! не шуми! говоритъ хозяинъ:—упорхнуть!

— Кто упорхнетъ?

— Научныя соображенія! Амуры упорхнуть!

— Какія научныя соображенія, какіе амуры?

— Это мое дѣло, когда нибудь узнаешь... но я счастливъ, счастливъ до безконечности, говоритъ докторъ, вставая изъ-за стола. Лицо его дѣйствительно сіяетъ; нѣкоторое небольшое облачко раздумья чуть-чуть скользитъ по его глазамъ, но въ этомъ облачкѣ нѣтъ рѣшительно ничего зловѣщаго.

— Чѣмъ служить тебѣ? спрашиваетъ хозяинъ.— У тебя навѣрное ко мнѣ дѣло есть; кто боленъ? Садись и кури!

Садятся, курятъ.

— Меня моя дочь беспокоитъ, начинаетъ говорить гость:—она сильно кашляетъ и на боль въ груди жалуется.

— Кто? Маня?

— Да, она.

— Ей сколько лѣтъ?

— Семнадцать. Я, видишь ли, совсѣмъ не мнителенъ, но меня все-таки немного беспокоитъ то, что ея гувернантка, кажется, чахоточная... Гувернантку надо бы, подѣла благоразумнымъ предлогомъ, изъ дому удалить!

При этих словах хозяинъ-докторъ быстро вскакиваетъ съ мѣста и проводитъ рукою по лбу.

Гость продолжаетъ:

— Я это потому говорю, что, кажется, у васъ въ медицинѣ какіе-то чахоточные грибки открыли и утверждаютъ, что они легко переходятъ... такъ ли?

— Такъ ли, спрашиваешь ты, такъ ли? рѣзко проговорилъ докторъ, схвативъ гостя за обѣ руки.— Да если бы кто смѣлъ усомниться въ этомъ, тотъ долженъ прежде всего науку отрицать, всю силу науки, понимаешь!

Приэтомъ онъ сильно встряхнулъ пріятеля, какъ бы въ подтвержденіе полноправности науки и ея силы, а затѣмъ, въ короткихъ словахъ, объяснилъ новѣйшее открытіе чахоточныхъ грибковъ и назвалъ нѣсколько именъ изслѣдователей.

— Я твою дочку осматрю, непременно осматрю, прибавилъ онъ:—завтра же... Нѣтъ, сегодня, сейчасъ!..

— Сейчасъ нельзя, она у тетки.

— Жаль! а то съ этими вещами шутить не слѣдуетъ. Скажи пожалуйста, гувернантка ея молода? Я ея не замѣтилъ.

— Молода.

— И красива?

— И красива.

— А не влюблена ли она?

— Кто, Маня?

— Нѣтъ, гувернантка.

Пріятель улыбнулся и какъ бы сконфузился.

— Ты, робко отвѣтилъ онъ,—спрашиваешь меня о такой вещи, о которой я и понятія имѣть не могу. Можетъ быть, и влюблена.

— Однако, не замѣтилъ ли ты чегонибудь? Да что далеко ходить, быстро проговорилъ докторъ:—ты—вдовецъ, красивъ! она въ тебя влюблена,можетъ

быть? Вѣдь любовь гувернантки — это старая исторія... а чахоточныя красавицы лакомый кусокъ.

Гость, не смотря на то, что былъ человѣкомъ очень близкимъ къ доктору и что въ комнатѣ никого кромѣ ихъ на-лицо не имѣлось, видимо смутился.

— Ага! влюблена! влюблена! повторилъ нѣсколько разъ докторъ, торжествуя свое открытіе и точно попавъ на слѣдъ чего-то удивительно важнаго.

Протянулась довольно длинная минута молчанія.

— Надо разлучить Маню и гувернантку! проговорилъ, наконецъ, неожиданно докторъ.

— Такъ, значитъ, заразительно? спросилъ гость не безъ смущенія.

— Что заразительно?

— Чахотка.

— Чахотка — да, несомнѣнно! но и любовь заразительна...

— Любовь!?

Докторъ подошелъ къ двери, защелкнулъ задвижку и, озираясь по сторонамъ, точно изъ боязни подслушиванія, приблизился къ гостю и началъ говорить ему шопотомъ:

— Откровенность за откровенность: ты мнѣ неволью въ любви твоей къ гувернанткѣ признался, а я тебѣ неволью другую тайну сообщу, гораздо важнѣйшую, никому рѣшительно не повѣданную... поди сюда и посмотри.

Они подошли къ столу, и докторъ всунулъ гостю въ руку фотографію Каульбаха.

— Видишь!?

— Вижу. Это каульбаховская продавщица амуровъ.

— Ну!

— Какъ? только ну и больше ничего? А скажи ты мнѣ пожалуйста: ты анекдотъ о Колумбовомъ яйцѣ слыхалъ, какъ онъ его на носъ поставилъ?

— Слыхаль.

— Такъ это то же самое. Ты стоишь лицомъ къ лицу передъ однимъ изъ величайшихъ открытій нынѣшняго столѣтія и не видишь его. Впрочемъ, это общая доля всѣхъ простыхъ людей и великихъ истинъ; египетскій сфинксъ тоже только тонкою завѣсою отъ народа отдѣлялся...

— Скажи, пожалуйста, отвѣтилъ улыбаясь, послѣ нѣкотораго молчанія гость, положивъ фотографію на столъ:—ты бы, мой милый докторъ, самъ доктору показался?

— Я, я! въ качествѣ психически больного, не правда ли?

— Пожалуй...

— Бѣдный, бѣдный... Впрочемъ, ты правъ, совершенно правъ... Но такъ какъ я началъ, то и кончу свое объясненіе, именно для того, чтобы ты меня за сѣумасшедшаго не принималъ... Если въ твоей гвернанткѣ, къ тебѣ, или къ кому другому, это въ данномъ случаѣ все равно, есть любовь—она можетъ быть передана другому, расположенному къ любви сердцу, въ данномъ случаѣ твоей дочери, вѣроятно инфузионнымъ порядкомъ. Я говорю: вѣроятно инфузионнымъ потому, что это можетъ быть такъ, а можетъ быть, иначе дѣлается.

При этомъ объясненіи глаза гостя раскрылись во всю ширину; онъ рѣшительно не зналъ, чтѣ и какъ отвѣчать доктору, потому что разговоръ видимо переходилъ въ невмѣняемость.

— Ты о бактеріяхъ слышалъ?—спросилъ докторъ.

— Слыхаль: это тѣ, что въ воздухѣ, въ водѣ, и т. д.

— Ну, да, да, именно, въ воздухѣ, въ водѣ, и т. д. Заразность—общая ихъ черта, передаваемость при расположеніи... Относительно любви и ея заразительности предстоятъ долгія, утомительныя изслѣдованія; я ихъ скоро начну. Бактеріи любви или грибки,

или что либо иное, но заразительность ихъ несомнѣнна... Ты гувернантку съ дочерью разлучи! Потому, видишь ли, тутъ несомнѣнно бактеріи, а гувернантка любить тебя.

Это рѣзкое заключеніе, это обращеніе къ живымъ людямъ, къ дочери и гувернанткѣ, отъ отвлеченностей науки, помогло гостю войти въ нормальную колею мысленія, изъ которой хозяину удалось на нѣсколько мгновеній такъ неожиданно выбить его. Откровенность насчетъ гувернантки выходила чрезвычайно забавна; прямого отвѣта насчетъ заразительности чахотки не получено, но сомнѣніе въ здравомысліи доктора явилось полное.

Разговоръ продолжался еще нѣсколько времени о томъ же. Несомнѣнно было, что докторъ не лишень ни памяти, ни соображенія. Онъ толковалъ о существованіи нѣкоторыхъ историческихъ фактовъ, свидѣтельствующихъ о заразительности аффектовъ, вспомнилъ о маніи дѣвушекъ древняго Милета, кончавшихъ жизнь повѣшеніемъ, о самобичующихся среднихъ вѣковъ, о пляскѣ св. Витта, о спиритизмѣ...

— И какъ это, въ самомъ дѣлѣ, заключилъ онъ:— никто до сихъ поръ на счастливую мысль о существованіи бактерій любви не набрелъ? Удивительно! а вѣдь какъ это просто, какъ это—совсѣмъ на ладони!

При прощаніи докторъ обѣщалъ пріятелю захватить къ нему завтра утромъ и поговорить насчетъ дочери.


— Ради Бога, никому ни слова о слышанномъ, сказалъ докторъ.

— О! конечно никому, отвѣтилъ пріятель:— никому рѣшительно!

Уходя, онъ не могъ не замѣтить, что лицо доктора сіяло чрезвычайнымъ довольствомъ...

— Счастливы блаженные! Новый Дулькамара, думалось уходившему гостю:—а о гувернанткѣ надобно

все-таки подумать. Это чортъ знаетъ, что такое! хотя докторъ, конечно, безумный и его любовная бактерія— вздоръ, но я-то зачѣмъ о гувернанткѣ сболтнулъ? Тутъ сказалаь одна изъ множества случайныхъ ловушекъ жизни: докторъ бредитъ, а я, вслѣдствіе этого бреда, совсѣмъ опростоволосился фактически и очень вѣсомо и, пожалуй, выдалъ себя насчетъ гувернантки. Какъ же теперь сдѣлать, чтобы и гувернанткѣ и мнѣ нужную намъ обоимъ свободу пріобрѣсти? Этому, можетъ быть, помогутъ бактеріи, и я очень радъ.



## ИЩУТЬ КЛОУНОВЪ.

---

Акимъ Акимычъ, человѣкъ лѣтъ сорока отъ роду, дальній свойственникъ Акакія Акакіевича, прочелъ въ газетѣ объявленіе:

«Ищутъ клоуновъ» и т. д., и т. д.

Эти «и т. д.» его вовсе не интересовали, потому что вся суть была въ первыхъ двухъ словахъ. По нервамъ Акима Акимыча даже пробѣжала радостная дрожь. Вотъ уже полтора года какъ онъ въ отставку, оставленъ за штатомъ. Попалъ онъ за штатъ въ то время, когда вѣяло различными сокращеніями; потомъ наступили другія вѣянія, но онъ, свѣянный тѣмъ, предшествовавшимъ вѣяніемъ, остался, по поговоркѣ, какъ ракъ на мели.

Согласно существующему закону, получалъ онъ въ теченіе года, по оставленіи его за штатомъ, содержаніе и приискивалъ мѣсто. Мѣста онъ не нашелъ, годовой срокъ полученія содержанія миновалъ, и вотъ уже прошло полгода съ тѣхъ поръ, какъ Акимъ Акимычъ, свойственникъ Акакія Акакіевича, находился ни причемъ, въ полномъ смыслѣ этого слова.

Жена, дѣти! ѣсть надо, и прочее тоже надо. Продали одно, продали другое, третье. Вещей для

продажи остается все меньше и меньше, и вдругъ объявление: «Ищутъ клоуновъ»!..

Надо сказать, что Акимъ Акимычъ отличался съ дѣтства гимнастическими и акробатскими способностями. Тѣло его было, какъ бы, создано для этого и обладало чрезвычайною гибкостью суставовъ и физіономія его была комичная. Въ департаментѣ, изъ котораго былъ онъ уволенъ, помѣщался онъ, вмѣстѣ съ другими сослуживцами, въ самой дальней, непроходной комнатѣ. Тамъ, бывало, въ свободныя минуты, а этихъ минутъ оказывалось довольно много, производилъ онъ передъ товарищами разные фокусы.

— А ну-ка, Акимъ Акимычъ, говоритъ ему столоничальникъ, совсѣмъ юный, изъ лицейстовъ—по-тѣшите, покажите штучку!

Столоничальникъ былъ въ названной комнатѣ начальствующимъ лицомъ, а комната, какъ сказано, была непроходная. И Акимъ Акимычъ выкидывалъ что нибудь особенное. То онъ согнется скобою и просунетъ голову между ногъ, касаясь бородкою паркетнаго пола, и кланяется оттуда и смѣется; то возьметъ входящій и исходящій журналы и еще какой нибудь третій предметъ и начнетъ поочередно подбрасывать ихъ такъ, что одинъ изъ трехъ вертится въ воздухѣ, а два другихъ ждутъ очереди въ рукахъ; то загнетъ онъ пятку которой нибудь ноги къ затылку. Всѣ эти штучки вызывали хохотъ и веселье.

— Молодецъ, Акимычъ!

— А ну-ка, еще что нибудь!

Столоничальникъ смѣялся болѣе прочихъ, и однажды позвалъ даже Акима Акимыча къ себѣ домой и давалъ цѣлое представленіе бывшимъ лицеистамъ и ихъ дамамъ. Но за штатомъ онъ все-таки остался. И вдругъ объявление: «Ищутъ клоуновъ»...



Одѣться, прибраться и выйти изъ дому было дѣломъ одной минуты. Быстротѣ одѣванья много способствовали гуттаперчевыя наклонности Акума Акимыча. Жилъ онъ на Выборгской; до цирка у Симеоновскаго моста недалеко, и вотъ, ровно въ часъ пополудни, явился онъ къ цѣли своего странствованія. Въ циркѣ въ это время шла репетиція какой-то новой чудесной пантомимы, долженствовавшей дать большіе сборы и о которой поговаривали даже въ газетахъ. Весь персоналъ цирка находился налицо.

Прежде всего наткнулся Акимъ Акимычъ на кассу и кассира.

— Позвольте васъ спросить, заговорилъ онъ:— отъ васъ было въ газетахъ объявленіе.

Кассиръ, изъ нѣмцевъ, отвѣтилъ, что онъ ничего объ этомъ не знаетъ, какое такое объявленіе? Подошелъ какой-то наѣздникъ въ желтой полосатой курткѣ, подошла барышня съ хлыстомъ въ рукѣ, тоже нѣмцы.

— Што вамъ? спросилъ наѣздникъ.

— Отъ васъ объявленіе было, что вамъ въ циркѣ клоуны нужны.

— Отъ насъ?—спросилъ удивленно и громко небольшой господинчикъ, очутившійся подлѣ, какъ оказалось, клоунъ цирка, одинъ изъ почетнѣйшихъ.

— Да-съ, отъ васъ.

— Ни можно битъ! Unmöglich! почти вскрикнулъ клоунъ.—Што такой? спросилъ онъ подошедшаго къ кассѣ господина въ черномъ сюртукѣ, съ цилиндромъ на головѣ.

Рѣчь пошла на нѣмецкомъ языкѣ, въ которомъ Акимъ Акимычъ ничего не смыслилъ; но онъ тотчасъ же сообразилъ, что тутъ поднялась какая-то перебранка. Господинъ въ черномъ сюртукѣ и цилиндрѣ какъ будто оправдывался, а на него со всѣхъ сторонъ налегали, подходили чуть не вплотную. Же-

стикуляція заняла мѣсто болѣе видное, чѣмъ слова, число участниковъ преній росло ежеминутно; такъ какъ на шумъ и гвалтъ стали приходиться съ репетиціи, и прекратилось хлопанье бича, до того звучно раздававшееся въ циркѣ.

Акиму Акимычу, сбитою съ толку, показалось даже, что въ растворенныя ворота арены просунулась лошадиная голова...

— Позвольте, однако, посмотрѣть ваше объявленіе? спросилъ его, наконецъ, господинъ въ черномъ сюртукѣ.

Акимъ Акимычъ пошарилъ въ карманахъ и вынулъ согнутый много разъ листъ газеты.

— Вотъ оно-съ! проговорилъ онъ, развернувъ листъ и указывая пальцемъ на объявленіе.

Точно мухи на каплю сиропа, устремились всѣ присутствовавшіе къ этому извѣстію печати. Прочестъ было недолго. Объявленіе гласило слѣдующее.

«Ищутъ клоуновъ».

«Общество обработки зудоутоляющихъ булавокъ, озабочиваясь возвышеніемъ дивидендовъ, ищетъ людей, способныхъ на различныя цифровыя эволюціи. Адресъ общества»...

Адресъ былъ дѣйствительный, а не фиктивный. Его можно бы воспроизвести полностью, и тогда человѣкъ, который отправится по этому адресу, неминуемо натолкнется на одно изъ компанейскихъ предпріятій, отчасти извѣстныхъ у насъ и отпраздновавшихъ свой десятилѣтній юбилей.

Понятно, что объявленіе было пущено какимънибудь шутникомъ, которыхъ у насъ много. Въ компанейскомъ обществѣ вызвало оно нѣкоторую бурю, повело даже къ размолвкамъ между властью имущими въ немъ. Въ циркѣ возникла довольно бурная сцена. Въ душу Акима Акимыча закинуло оно лучезарный проблескъ надежды, и вслѣдъ затѣмъ глубокое удрученіе.

Удрученіе это было тѣмъ сильнѣе, тѣмъ неожиданнѣе, что зародилось въ гомерическомъ хохотѣ циркового персонала, окружавшаго его. Хохооть поднялся чудовищный, неистовый, точно надъ кургузымъ дикаремъ смѣялись образованные. Господинъ въ сюртукѣ хохоталъ усерднѣе прочихъ и дѣлалъ это тѣмъ искреннѣе, что къ нему продвигались отовсюду руки его товарищей, требуя пожатія, въ знакъ глубокой любви и товарищеской преданности, въ которой они, т. е. товарищи, временно усомнились.

Ошеломленный, сбитый съ толку, повѣсивъ носъ, вышелъ Акимъ Акимычъ на улицу и побрелъ домой. Хохооть преслѣдовалъ его довольно долго.

— И какъ это я не дочиталъ объявленія, думалъ онъ, — и что это у нихъ за манера печатать такъ, что только нѣкоторая часть объявленія бросается въ глаза, а остального будто и не нужно. Вѣдь это подвохъ, право, подвохъ. А что у насъ теперь клоуны нужны, вездѣ нужны, во всякой, такъ сказать, отрасли человѣческихъ занятій, такъ это, пожалуй, вѣрно. Прежде фокусы только въ циркахъ викидывали, а нынче...

Въ такомъ философскомъ, удрученномъ состояніи духа подвигался Акимъ Акимычъ знакомою ему дорогою на Выборгскую. Дома встрѣтили Акима Акимыча жена и дѣти. Онъ былъ самъ не свой. Его клонило ко сну и онъ заснулъ.

Видитъ онъ, что опять идетъ по адресу объявленія; на этотъ разъ прочелъ онъ объявленіе цѣликомъ, и адресъ запомнилъ. Точно. На домѣ такого-то номера читается вывѣска общества, отъ котораго шло объявленіе. Въ дверяхъ швейцаръ; по ступенькамъ лѣстницы коверъ; на вѣшалкахъ множество шубъ: цѣлковые, енотовыя, между ними дамскія песцовыя ротонды. Калошъ разставлено видимо-невидимо — цѣлая азбука.

— Есть у васъ кто въ конторѣ? робко спрашиваетъ Акимъ Акимычъ у швейцара.

— У насъ не контора, а правленіе, отвѣчаетъ швейцаръ.

— Да, да правленіе...

— Пожалуйста наверхъ, направо, тамъ секретарь приметъ.

Идетъ Акимъ Акимычъ по указанному направленію. Только что вошелъ онъ въ большую помѣстительную комнату съ золоченою мебелью, какъ былъ пораженъ совершенно своеобразнымъ видомъ. На столѣ, стоявшемъ посрединѣ и заваленномъ бумагами, высился пестрый клоунъ, въ той знакомой Акиму Акимовичу позитурѣ, гдѣ туловище согнуто скобою, а голова просунута между ногъ и глядитъ, такъ сказать, съ полу.

— Что вамъ? заговорила голова, кивая вошедшему, улыбаясь и потряхивая краснымъ парикомъ.

— Мнѣ секретаря видѣть надобно.

— Я секретарь.

— Вы?

— Да, я! что вамъ угодно?

— Отъ васъ объявленіе напечатано было?

— О клоунахъ? Да, да, только вы поздно пожаловали! я самъ по этому объявленію въ секретари попалъ.

— Однако, вѣдь оно только сегодня напечатано.

— Такъ что же, что сегодня?

Приэтомъ клоунъ самымъ граціознымъ образомъ переступилъ съ ноги на ногу и кончикомъ ноги своей почесалъ кончикъ носа.

Увидѣвъ это удивительное движеніе клоуна, во время котораго онъ, на столѣ, держался нѣкоторое время на одной ногѣ, неизвѣстно какъ сохраняя равновѣсіе, Акимъ Акимычъ былъ даже сконфуженъ.

— Этакой штуки, думаль онъ,—я, пожалуй, и не продѣлаю...

Онъ робко поклонился, вышелъ и... проснулся.

Долго, долго соображалъ онъ и старался помирить всѣ нелѣпости своего сна.

— И какая это, думаль онъ,—газета мнѣ приснилась? и какъ это все естественно началось! Прежде всего: нужда, жена, дѣти; это все, дѣйствительно, на-лицо имѣется; но потомъ? Откуда газета и объявление о клоунахъ? Ни о какихъ я клоунахъ не думаль! Тутъ опять правда съ неправдою перемѣшались: клоунскія способности у меня, думаль Акимъ Акимычъ,—несомнѣнно есть, но никогда не мечталъ я о циркѣ, никогда! Затѣмъ, что это за общество зудоутоляющихъ булавокъ?

Акимъ Акимычъ даже улыбнулся идеѣ этого общества, такъ забавна показалась она ему. И долго, долго не могъ онъ придти въ себя.

И развѣ можетъ людямъ сниться, что они спятъ во снѣ? А я, помню, во снѣ заснулъ. Но очень хорошъ былъ секретарь на столѣ, очень хороши! Тьфу! какая безтолочь!.. Сколько, значить, клоуновъ на свѣтѣ, если въ самый день объявленія...

Вотъ какая странная исторія приключилась съ Акимомъ Акимовичемъ, дальнимъ свойственникомъ Акакія Акакіевича, обладавшимъ гуттаперчевыми способностями и оставленнымъ за штатомъ. Въ самыя грустныя минуты пробоваль онъ продѣлать ту штуку, которую продѣлалъ передъ нимъ секретарь общества, а именно почесать кончикомъ ноги кончикъ носа—но это ему никогда не удавалось.

— Если секретарь неподражаемъ, думаль Акимъ Акимычъ,—чѣмъ же должны быть директоры?

И онъ благоговѣль! Голодаль и благоговѣль...

## ВООБРАЖАЮЩІЕ.

---

Блестящій вечеръ у господина Кокликаина!

Больше всего блеска придавали вечеру сами Кокликины, явившіеся въ представителяхъ цѣлыхъ трехъ поколѣній, отъ дѣдушекъ и бабушекъ, до внуковъ и внучатъ.

Было и четвертое поколѣніе, маленькій правнукъ Кокликинъ; но онъ былъ уже слишкомъ маленькій, вель себя иногда совершенно неприлично и поэтому оставленъ матушкою своею, внучкою хозяина,—дома.

Тѣмъ не менѣе, невидимый обликъ этого маленькаго Кокликаина, конечно, въ самомъ чистомъ его видѣ, какъ бы рѣзвый ангелочекъ, незримо парилъ надъ люднымъ собраніемъ въ самодовольныхъ улыбкахъ дѣдушки и бабушки, когда къ нимъ обращались со слѣдующею фразою:

— Однако, у васъ, почтенные хозяева, поколѣніе большое!

— Да, не скоро выремъ.

— Счастливыцѣ!!

Въ этихъ возгласахъ своихъ знакомыхъ дѣдушка и бабушка Кокликины видѣли несомнѣнное признаніе какой-то, какъ бы, гражданской добродѣтели. По-

чему признавала добродѣтелью многолюдство своего рода бабушка Кокликина, сказать трудно, но дѣдушка Кокликинъ самодовольно улыбался потому, что помнилъ изъ римской исторіи тотъ фактъ, что, въ послѣдніе годы имперіи, отцовъ, имѣвшихъ извѣстное число дѣтей—награждали! Хотя дѣдушка Кокликинъ подобной государственной преміи не получилъ, и Россія, вѣроятно, очень далека отъ послѣднихъ годовъ своего существованія, но это не мѣшало ему признавать себя однимъ изъ столбовъ отечества.

Баль былъ въ полномъ разгарѣ. Огней горѣло столько, что если бы кому вздумалось погасить ихъ всѣ сразу, то многія чувствительныя натуры попали бы въ обморокъ отъ одного чаду! Гудѣлъ оркестръ. Шныряли официанты. Имѣлся дирижеръ вечера, юноша, подававшій большія надежды и обладавшій зычнымъ голосомъ; къ концу вечера оказалась онъ весь въ орденахъ.

Къ этому же времени, что совершенно понятно, все общество перезнакомилось; это сдѣлалось, частью по личнымъ наблюденіямъ, частью по сплетнямъ. Послѣдній способъ знакомства, по сплетнямъ, гораздо любопытнѣе перваго, и характернымъ челоувѣкомъ въ этомъ отношеніи являлся братъ хозяина, Ксаверій Ксаверіевичъ.

Расположился Ксаверій Ксаверіевичъ въ сторонкѣ и наблюдаетъ. У него странная привычка: пристанетъ онъ, въ силу того или другого случая, къ кому-нибудь изъ гостей и уже не оставляетъ его во весь вечеръ ни на минуту; точно какую-то родственность между имъ и собою отыщетъ, точно полюбить онъ его, точно безъ него и существовать не можетъ!

Эту странную привычку унаслѣдовалъ онъ отъ своей матушки, женщины, отличавшейся замѣча-

тельнымъ упрямствомъ. Упрямство матери, сказывавшееся во всемъ и всегда, преобразилось въ сынѣ въ одинъ только видъ упрямства—въ манію привязываться на вечерѣ къ тому или другому несчастному человѣку.

Нельзя сказать, чтобы эта способность Ксаверія Ксаверіевича была очень скучна для другихъ. Напротивъ того: съ нимъ было пріятно проводить время, такъ какъ онъ многое зналъ, все помнилъ, говорилъ красиво и не безъ сарказма. Меньше всего нравилась эта странная привычка его, привязываться къ тому или другому гостю — танцующимъ. Расположится онъ близко къ нимъ, къ танцующимъ, и непрерывно такъ, что его, то-и-дѣло, зацѣпляютъ.

— Ахъ! извините! кричитъ ему офицеръ, пронесись подлѣ него, полькируя и сильно хвативъ въ плечо.

— Ничего-съ! сдѣлайте одолженіе.

— Простите пожалуйста! восклицаетъ ему статскій, вертящійся со своею дамою au rebour и толкающій его въ другое плечо.

— Ничего, ничего, продолжайте!—отвѣчаетъ Ксаверій Ксаверіевичъ.

Щелкъ оттуда, щелкъ отсюда, а онъ все стоитъ, все наблюдаетъ.

Въ настоящемъ случаѣ, на балѣ у брата, привязался онъ къ нѣкому Щикину, человѣку неопредѣленнымъ лѣтъ, но весьма определенной профессіи людей, ничего не дѣлающихъ и живущихъ своими доходами. Польку кончили; оркестръ отдыхалъ; Ксаверій Ксаверіевичъ, взявъ Щикина подъ руку, уселся въ уголъ залы къ камину и наблюдалъ.

— Какъ посмотрю я, говорилъ Ксаверій Ксаверіевичъ,—на то, какъ много на свѣтѣ людей воображающихъ!

— Что именно воображающихъ?



— Воображающихъ то или другое, чего на самомъ дѣлѣ нѣтъ; и такъ мнѣ грустно, такъ грустно, и въ то же время такъ весело становится, что, право, не знаешь: радоваться или плакать своей наблюдательности.

Сказавъ это, Ксаверій Ксаверіевичъ положилъ свой шарпанъ слаке на стоявшій подлѣ него слѣва пустой столъ; Щикинъ распорядился такимъ же образомъ со стуломъ, стоявшимъ вправо. Свободные въ залѣ стулья появились только потому, что для освѣженія воздуха хозяева просили танцовавшихъ выйти въ другія комнаты, а въ залѣ открыли форточку. Форточка помогала немного: на дворѣ было тепло.

— А вы всегда людей наблюдаете? спросилъ Щикинъ.

— Всегда! Это моя слабая струнка. Да вотъ посмотрите сами, какъ это любопытно.

Въ это время, по направленію къ кабинету хозяина, проходилъ по залѣ какой-то господинъ, чрезвычайно блѣдный, даже зеленоватый.

— Знаете ли вы этого господина?—спросилъ Ксаверій Ксаверіевичъ.

— Знаю, это Блинскій.

— Да-съ, это Блинскій! человѣкъ этотъ вполне убѣжденъ въ томъ, что онъ женатъ.

— Да онъ дѣйствительно женатъ!

— Что? вы думаете?! Вы ошибаетесь. Хотя это покажется вамъ чрезвычайно страннымъ, но онъ вовсе не женатъ.

— Какъ такъ?

— Онъ женатъ на разводкѣ и на какой разводкѣ? на такой, которая приняла вину на себя, слѣдовательно вторично замужъ выйти не могла! понимаете!

— Что вы говорите? Неужели?

— Да ужъ такъ-съ! Я это доподлинно знаю! воображающіе! А вотъ вамъ и другой воображающій, проговорилъ Ксаверій Ксаверіевичъ, указывая глазами на барышню невысокаго роста, лѣтъ тридцати отъ роду, не безъ признаковъ увядающей красоты, гулявшую съ другою барышнею подъ ручку и весьма усердно работавшую вѣеромъ. Ей, видимо, было очень жарко, а форточка не помогала.

— А эта что же воображаетъ?

— А вотъ, видите ли, къ ней непременно очень скоро подойдетъ одинъ господинъ, высокій брюнетъ, онъ теперь, должно быть, въ кабинетѣ курить. Онъ ужасно влюбленъ въ нее, совсѣмъ таетъ, и бракъ состоится, вѣроятно, въ скоромъ времени.

— Такъ въ чемъ же воображеніе?

— Очень просто: барышня воображаетъ, что онъ богатъ, а мнѣ извѣстны нѣкоторыя денежныя дѣла его. Онъ беретъ подъ векселя, т. е. принужденъ брать, за пять процентовъ въ мѣсяцъ; вы понимаете, что о богатствѣ въ такомъ случаѣ и помину быть не можетъ!

Въ это время къ обоимъ разговаривавшимъ подошелъ официантъ съ горкой конфетъ. Горка была большая, богатая. Конфеты падали съ нея причудливыми группами; въ группахъ этихъ цвѣточки перемѣшивались съ лошадками, наперстки съ фотографическими портретами, коричневый шоколадъ съ розовыми помадами.

Щикинъ набралъ себѣ довольно много; Ксаверій Ксаверіевичъ ничего не взялъ, но удовольствовался очень оригинальнымъ движеніемъ. Замѣтивъ, что одно изъ мѣстъ горки очистилось, и горка выставила внаружу свой золоченый, картонный бокъ, онъ хлопнулъ по этому мѣсту рукою.

Горка слегка задрожала и издала звукъ пустого барабана.

— А это что-съ?!—спросилъ Щикина Ксаверій Ксаверіевичъ.

— Т. е. что именно?

— Горка конфетъ, думаете вы? Нѣтъ-съ, это тоже воображеніе! то же самое воображеніе, что и въ жизни! пустота! горка для виду! для воображенія! пусть, молъ, думаютъ, что все это конфеты, а какія тамъ конфеты—картонъ, пустота!

Щикинъ не могъ не улыбнуться этому фактическому доказательству воображаемости и даже поперхнулся одною изъ тѣхъ конфетъ, которую только что хотѣлъ проглотить.

— Удивительный вы человѣкъ, Ксаверій Ксаверіевичъ, сказалъ онъ откашлявшись. Я имѣю удовольствіе видѣть васъ въ первый разъ, но уже и этого знакомства вполне достаточно для того, чтобы отличить въ васъ человѣка крайне наблюдательнаго и очень интереснаго.

— Воображеніе-съ! Вовсе не интересный! бухнулъ вдругъ Ксаверій Ксаверіевичъ. Я совсѣмъ не наблюдаю! все что мнѣ о людяхъ извѣстно, всѣ, такъ сказать, реверсныя стороны медали, все это само собою въ меня съ вѣтра входитъ. Слышалъ тутъ; по секрету говорятъ тамъ; случайно видишь это—ну и собирается въ головѣ особое пониманіе жизни, свѣта и людей, особая система смотрѣть на нихъ! Повѣрьте мнѣ, что все и вся воображаетъ, и только воображаетъ!

— Вы, значитъ, послѣдователь Шопенгауэра!

— Я его не читалъ, но слышалъ, что такой былъ! И вы не первый, обратившій вниманіе на это, нѣкоторое, сходство между Шопенгауэромъ и мною.

— Онъ находитъ, что міръ, весь міръ, не больше какъ воображеніе.

— Т. е. онъ вообразилъ это?

— Нѣтъ-съ, онъ доказалъ.

— Такъ же доказать, какъ я, хлопнувъ по конфектной горѣ?

— Ну, не совсѣмъ такъ, но очень, очень хорошо.

— А вы читали Шопенгауэра?

— Въ русскомъ переводѣ.

— Значитъ, извините за откровенность, но вы тоже только воображаете, что прочли его. Переводъ и оригиналь—это двѣ вещи разные.

Разговоръ временно прекратился. Зала снова начала наполняться танцующими. Оркестръ далъ знакъ къ кадрили. Всѣ засуетились, понеслись и запылали...

Вставъ, переходя изъ комнаты въ комнату, Ксаверій Ксаверіевичъ поучалъ Щикина о разныхъ воображеніяхъ: указалъ онъ ему на человѣка, воображающаго себя умнымъ; указалъ онъ на другого человѣка, тоже воображающаго себя умнымъ; указалъ на такого же третьяго; привелъ образчики воображающихъ себя очень интересными, очень красивыми, очень важными. Образчики сыпались, сыпались точно изъ рога изобилія, и Щикинъ, мало-по-малу, невольно подчиняясь весьма удачнымъ замѣчаніямъ своего товарища, даже и не замѣтилъ, какъ подошло время къ ужину.

Щикинъ былъ развитой человѣкъ и, казалось, не могъ не признать въ Ксаверіѣ Ксаверіевичѣ личность далеко не заурядную. Ему дѣйствительно стало казаться, мало-по-малу, что все происходившее передъ нимъ—вовсе не то, что происходитъ на самомъ дѣлѣ. Онъ до такой степени находился подъ впечатлѣніемъ словъ и примѣровъ, что въ длинномъ ряду его самостоятельныхъ, не навѣянныхъ Ксаверіемъ Ксаверіевичемъ мыслей, вдругъ проскочила одна мысль, совершенно незаконная и невозможная, которой онъ улыбнулся даже самъ.

Проходила какая-то дама мимо него, ему совер-

шенно незнакомая, съ маленькими черненькими усами надъ губами.

— А что если она воображаетъ себя дамою? подумалось Щикину.

И онъ улыбнулся, широко улыбнулся...

— Да вѣдь я, сообразилъ онъ,—и дѣйствительно начинаю воображать чортъ знаетъ что! я самъ становлюсь воображающимъ!? Какъ, однако, глубоко правъ Ксаверій Ксаверіевичъ! какой умница!

Ксаверія Ксаверіевича тѣмъ временемъ уже не было больше въ залъ; онъ уѣхалъ домой. Надо было собираться домой и Щикину, такъ какъ онъ ужинать не любилъ. Мимо него тѣмъ временемъ проходилъ хозяинъ; Щикинъ сталъ прощаться.

— Что же вы? куда? проговорилъ дѣдушка Кокликинъ.

— Я никогда не ужинаю.

— Жаль.

— Скажите пожалуйста, спросилъ Коклика Щикинъ,—вотъ эта дама, которая проходитъ мимо, кто она?

Мимо нихъ прошла въ это время та барыня разводка, о которой сообщалъ ему Ксаверій Ксаверіевичъ.

— Это М-лле Зоева.

— Нѣтъ не та, а вотъ эта? повторилъ Щикинъ, указавши на ту же самую.

— М-лле Зоева, говорю я вамъ; довольно пожилая дѣвушка, но очень богатая невѣста. Хотите посватаю?

— Такъ она не замужемъ? весьма рѣзко и выпятивъ глаза, спросилъ Щикинъ.

— Нѣтъ.

— Ну а вотъ эта дама, подъ ручку съ другою?

И онъ указалъ на ту, характеристику которой сдѣлалъ ему Ксаверій Ксаверіевичъ, якобы за нею ухаживалъ казавшійся ей богатымъ бронецъ.

— Эта? да неужели вы не знаете? я васъ и не познакомилъ? Это жена моего старшаго сына. Они, послѣ семи лѣтъ, все еще въ медовомъ мѣсяцѣ свадьбы.

Щикинъ былъ окончательно сбить съ толку.

Разныя, разныя мысли вертѣлись у него въ головѣ, и, въ концѣ концовъ, онъ обратился къ хозяину съ вопросомъ:

— А Ксаверій Ксаверіевичъ уѣхалъ?

— Да, уѣхалъ! братъ мой не любитъ очень долго оставаться внѣ дома! онъ и уѣхалъ; а развѣ онъ надоѣлъ вамъ? Я видѣлъ, что вы были его сегодняшнюю жертвою.

— Т. е. почему же жертвою?

— Да вѣдь у него особенная страсть людей морочить, онъ цѣлыя исторіи сочиняетъ и вѣрять имъ, прежде всего, самъ! Отличнѣйшій человѣкъ, мой братъ, но вратъ мастеръ.

— И это у него всегда такъ? спросилъ, совершенно невольно, Щикинъ.

— Всегда!

Хозяинъ отошелъ отъ него, замѣтивъ отъѣздъ какого-то семейства, съ которымъ нужно было проститься.

Щикинъ оставался въ раздумьи.

— Если Ксаверій Ксаверіевичъ все вралъ, говоря насчетъ воображающихъ — думалъ Щикинъ — то вѣдь онъ меня въ дѣйствительности, въ натурѣ, воображающимъ сдѣлалъ: я вообразилъ, что онъ уменъ. Свѣчи, однако, догорѣли, и надо ѣхать домой; что свѣчи догорѣли, это дѣйствительно такъ, а не въ воображеніи, сообразилъ Щикинъ и, простившись съ хозяевами, уѣхалъ.





# ФАНТАЗИИ





## АЛЬГОЯ.

(Фантазія на южно-сибирское преданіе).

---

Въ длинномъ списокѣ всякихъ умершихъ царствъ имѣется одно, изъ единаго уголка котораго возникло нѣкогда и потомъ тоже умерло сибирское царство Кучума. Оно тянулось приблизительно тамъ, гдѣ идетъ теперь граница между Сибирью и Китаемъ, и гдѣ будутъ когда нибудь имѣть мѣсто великіе бои. Берингова пролива еще не существовало, океанская волна не промыла его, не потопила многихъ царствъ, и то именно царство, о которомъ идетъ рѣчь, перебрасывалось въ Сѣверную Америку. Въ тѣ дни въ тѣхъ далекихъ странахъ было очень тепло, росли пальмы, а подъ пальмами гуляли слоны и тигры; мѣстные люди носили очень легкія одежды.

Въ той богатой, но уже глубоко-развращенной, странѣ выростала чудесная дѣвочка Альгоя. Она была единственной дочерью своихъ родителей и, замѣчательно, что въ очень древнемъ родѣ ихъ не совершилось никогда ни одного преступленія. Это былъ, по-истинѣ, чуть ли не единственный родъ на землѣ.

Альгоѣ минуло тринадцать лѣтъ и она страстно любила цвѣты; близкое поле и далекій лѣсъ и цвѣтникъ отцовскаго сада сіяли ея молчаливыми любимцами. Страна была теплая, цвѣты росли роскошные и бесконечно широко раскидывалось вокругъ Альгои царство ея любви. Мечты дѣвочки покоились на пестрыхъ и душистыхъ лепесткахъ, на бархатистыхъ коронкахъ и уносились въ неподвижномъ океанѣ благоуханій въ далекое неизвѣстное, туда, гдѣ въ небѣ, въ опаловыхъ переливахъ, занимается заря, гдѣ, должно быть, очень хорошо и очень весело.

— Милая у насъ дѣвочка! говаривалъ отецъ.

— Поэтому-то не жилища она у насъ, съ грустью добавляла мать.

Въ той богатой, просвѣщенной, но глубоко-развратной странѣ, гдѣ жила Альгоя, существовалъ очень странный городъ, жители котораго занимались отвратительнымъ, преступнымъ и постыднымъ ремесломъ. Это былъ большой и богатый городъ, почти самый богатый, самый умный изъ всѣхъ. Онъ посвятилъ себя воспитанію роскошнѣйшихъ женщинъ и поставлялъ ихъ другимъ городамъ царства, которыхъ настроилось видимо-невидимо и всѣ они кишѣли народомъ. У этого города, издавна, появлялось много враговъ и на него не разъ ходили войною. Отцы и братья похищенныхъ городомъ дѣвушекъ клялись извести его. Но отъ злобствовавшихъ отцовъ откупался онъ золотомъ, а братья отставляли отъ войска сами, потому что, тутъ или тамъ, встрѣчалась имъ по пути красавица-женщина и предлагала на выборъ: неизвѣстность войны или себя—любящую, молодую, очаровательную. Къ городу подходили только слабые остатки войска, и граждане безъ труда добивали ихъ.

\* \* \*

Блѣдна и желта лежала окрестность города. Стыдъ и горе обнажили ее, и слезы, пролившіяся ручьями, отняли у земли все ея плодородіе; судьба печальныхъ дѣвушекъ и женщинъ, заброшенныхъ въ городъ, тяготѣла и надъ окрестностью. Просторные и красивые дома тянулись по сторонамъ обставленныхъ колоннами улицъ. На площадяхъ били водометы, виднѣлись мраморныя чаши и возвышались въ сатанинской прелести памятники замѣчательныхъ гражданокъ города, изведшихъ нѣсколькихъ добрыхъ царей, а съ ними ихъ древнія и славныя царства.

Могучая, но мутная рѣка катилась подъ могучими мостами поперекъ главныхъ улицъ города и на ея волнахъ скользили порою крытыя лодки. Лодки эти хорошо вооружались и снабжались всѣмъ необходимымъ для долгаго пути по безлюднымъ степямъ. На нихъ доставлялись уворованныя дѣвушки и развозились опасныя женщины. На лодкахъ же привозились гуляки и расточители всѣхъ возрастовъ и словій, наѣзжіе гости, цѣнители и перекупщики женской красоты. «Лодками смерти» называли ихъ въ сосѣднихъ странахъ; «лодками блаженства» величали ихъ горожане!

Сады въ городѣ раскидывались богатые. Не росло въ нихъ только цвѣтовъ. Не было цвѣтовъ—не появлялись и дѣти свѣта—бабочки, а далекая степь служила причиною тому, что никакая птица не залетала въ эти молчаливые сады. Воздухъ, совершенно лишенный обитателей, казался мертвымъ; насыщенный острыми ароматами, лившимися день и ночь съ открытыхъ террасъ и балконовъ, уставленныхъ мириадами искусственныхъ цвѣтовъ, онъ терпѣливо обвѣвалъ эти блестящія пажити смерти. Никогда не раздавались въ городѣ щебетанье птички, лепетъ малютки или веселый смѣхъ матери и печать отверженія лежала на немъ. Днемъ онъ спалъ, а

къ вечеру просыпался и зарумянивались тогда свѣтами огней памятники красивѣйшихъ женщинъ и наиболѣе извѣстныхъ поклонниковъ красоты и вдохновителей оргій. Само собою разумѣется, что гуляли и пѣли только тѣ женщины, которыя помирились съ судьбою. Тѣ же, которыя не успѣли или не могли помириться, скрывались въ глубинѣ роскошныхъ жилищъ. Тамъ, подъ покровомъ безнаказанности, образовывались виртуозки любви... или медленно умирали.

\* \*

Альгоя, похищенная изъ дому съ прогулки, была привезена въ городъ и очутилась въ рукахъ одного изъ опытнѣйшихъ и именитѣйшихъ гражданъ его.

Никто лучше этого человѣка не умѣлъ подмѣтить особенностей характера дѣвушки, съ тѣмъ, чтобы вѣрнѣе овладѣть ею. Никто не принимался за дѣло съ такою увѣренностью въ успѣхъ, такъ терпѣливо, такъ вкрадчиво. Никто искреннѣе его не убѣждалъ, не преодолевалъ сопротивленія стыдливости; никто не умѣлъ выслѣдить съ такимъ знаніемъ и вниманіемъ дѣйствіе на организмъ своихъ плѣнницъ тѣхъ или другихъ опасныхъ настоевъ; никто не подносилъ ихъ такъ кстати, съ такою предупредительностью; ни у кого, наконецъ, не собиралось большаго количества богатыхъ гостей и ни у кого не короталось время безуміемъ и веселѣе. Не рождалось на свѣтъ такихъ жесткихъ волосъ, чтобы не сдѣлались подъ опытною рукою его мягче шелка; онъ могъ мѣнять и оживлять всякій цвѣтъ лица, смягчить кожу, зналъ въ совершенствѣ разрисовку рѣсницъ и бровей, и сохраненіе зубовъ, училъ играть на арфѣ и рисовать на фарфорѣ и сочинялъ прелестныя, пѣвучія пѣсенки, и всякая женщина, возвращавшаяся въ свѣтъ отъ него, цѣнилась несрав-

ненно дороже другихъ. Задумалъ онъ сдѣлать изъ Альгои что-то вевиданное и неслыханное и приступилъ къ дѣлу. Онъ заплатилъ за нее много, и думалъ взять еще больше.

Но дѣвушка отталкивала всякую попытку и немного нужно было ему времени, чтобы убѣдиться въ совершенной невозможности побѣды надъ нею. Онъ, создавшій столько красавицъ, сознавалъ, какъ быстро увядала на глазахъ его лучшая и совершеннѣйшая красота, когда либо видѣнная на землѣ. Золотыя горы, которыя обѣщали себѣ этотъ человѣкъ въ будущемъ, смывались, сглаживались подъ слезами Альгои и заманчивая будущность наживы погасала одновременно съ блескомъ ея глазъ и увяданіемъ щекъ. Тончайшія и хитрѣйшія снадобья, подносимыя ей, вызывали дѣйствіе, совершенно противное ожиданіямъ. Подарки оставались нетронутыми, предупредительность—незамѣченною, угрозы — бесполезными. Блескъ очей Альгои погасалъ со дня на день и конецъ ея, казалось, былъ не далекъ.

А въ чудовищномъ городѣ не любили такихъ смертей. Это портило его добрую славу и могло помѣшать прибытію новыхъ, добровольныхъ ученицъ, которыхъ все-таки оказывалось больше, чѣмъ похищенныхъ, и изъ которыхъ, надо сказать правду, выходили лучшія и совершеннѣйшія представительницы города. Въ такихъ случаяхъ эти добрые люди поступали по обычаю, временемъ и закономъ освященному и каждому изъ нихъ хорошо извѣстному. Обреченную на смерть вывозили или выносили, тайно отъ всѣхъ, далеко отъ города, въ степь, и оставляли на произволъ судьбы подъ чаклымъ кустикомъ какой-нибудь одинокой мимозы, лицомъ къ лицу съ необъятнымъ небомъ и у входа въ еще болѣе необъятную смерть.

Вынесъ учитель въ степь и Альгою, и вынесъ ее одинъ, потому что легче пуху стало захудалое дитя, вынесъ и положилъ ее, безчувственную, разслабленную, и пожалѣлъ, уходя, что столько красоты гибнетъ даромъ, что столько труда потратилъ онъ понапрасну. И жалость его была искренняя и былъ онъ, какъ видно, человекъ не безъ сердца.

\* \* \*

Наступила темная ночь и увлажила длинныя рѣсницы Альгои росой и вплоть до утра слышался подлѣ нея въ воздухѣ и далеко кругомъ подъ землею какой-то шумъ. Двигались какія-то таинственныя силы, шла какая-то незримая и торопливая работа.

Когда наступило розовое утро, покинутая на произволъ судьбы Альгоя думала открыть глаза; но отяжелѣвшія вѣки не хотѣли подняться, не могли раскрыться; тогда спустились на нихъ свѣжія капли утренней росы и очи ея раскрылись, и увидала она себя лежащею на сырой землѣ, пестрѣвшей бесчисленными маргаритками. Маргаритки выросли передъ нею вездѣ, куда только могъ достичь взглядъ ея. Это онѣ, а никто другой, шумѣли ночью подъ землею, торопясь выйти на свѣтъ; а шумъ въ воздухѣ производили сходявшія къ нарождавшимся маргариткамъ росинки, готовясь освѣжить ихъ, чуть только одолѣютъ онѣ тяжесть почвы и выглянуть поверхъ земли.

Вздумалось Альгоѣ поднять руку, лежавшую на землѣ. Рука, еще недавно отягощенная многими кольцами и запястьями, снятыми съ нея при выносѣ дѣвушки за городъ, не слушалась, какъ и очи; тогда изъ-подъ земли, подъ самую рукою ея, потянулись въ ростъ, на коренастыхъ стебелькахъ, широколобые тюльпанчики и дружными усиліями подняли руку.

Захотѣлось Альгоя улыбнуться, — такъ скоро забыть грустное прошедшее милый ребенокъ, но мускулы лица не понимали, что имъ нужно дѣлать для того, чтобы улыбнуться. Тогда прилетѣла бабочка, стала кружиться, коснулась щеки Альгой своими лазоревыми крыльями и тихое щекотанье вызвало улыбку, застывшую давно. Проступили на лицѣ Альгой слезы; взошло солнце и осушило ихъ, и дѣвушка поднялась на ноги.

Она оглядѣлась, и куда только направлялся ея взглядъ по степи, всюду выросли цвѣты; и едва ступила она и пошла слабо и неувѣренно, пошатываясь со стороны на сторону, — цвѣты росли все дальше и дальше и раскидывались коврами неописанной красоты и свѣжести.

Но какъ ни чудесно было все творившееся, Альгоя все-таки захотѣлось ѣсть, а этого-то, повидимому, не могли сдѣлать прислуживавшія ей невидимыя силы. Но оказать ей помощь онѣ все-таки помогли: онѣ указывали ей дорогу. Если Альгой шла по степи вѣрно — цвѣточный коверъ тянулся передъ нею ровный, нескончаемый; если она сбивалась поперекъ пути прокатывался широкій ручей и заставлялъ ее слѣдовать берегомъ. Ручьи попадалось ей все больше и больше, они шумѣли все веселѣе и веселѣе, и привели, наконецъ, къ широкой голубой рѣкѣ. У самаго берега стояла большая, крытая лодка.

Съ ужасомъ бросилась дѣвушка назадъ! Но не тутъ-то было: ручьи бѣжали за ручьями, ручьи перекрещивались, сплетались, имъ не было счета и гудѣли они веселыми волнами и неслись къ сѣверной рѣкѣ и мѣшали дѣвушкѣ бѣжать. Испуганная, ошеломленная Альгой рѣшилась не двигаться съ мѣста и скорѣе умереть, чѣмъ подойти къ лодкѣ. Но и это оказалось невозможно: ручьи подбѣгали къ



самымъ ногамъ, ручьи тѣснили ее къ берегу и, шагъ за шагомъ, отступая передъ холодомъ волнъ, не помня себя, не имѣя почему-то возможности упасть, она приблизилась къ лодкѣ и, наконецъ, потеряла сознание...

\* \* \*

Лодка принадлежала старому вельможѣ, попавшему у своего царя въ немилость. Много лѣтъ назадъ покинулъ онъ дворъ, столицу и царство и со старухою-женою вдвоемъ жилъ на лодкѣ, переѣзжая изъ страны въ страну, отрекшись отъ людей и предпочитая скитанье по широкимъ рѣкамъ и озерамъ всякой власти и всякому значенію. Старики съ лодки уже давно увидѣли Альгою, слѣдили за нею, и когда, обезсиленная ходьбою, стѣсненная ручьями, она очутилась подлѣ ихъ плавающего дома, старики, сойдя съ лодки, во-время принявъ ее на руки, а старуха, слѣдовавшая за нимъ, успокоила, обласкала и потомъ, приведя на лодку, накормила.

Дѣвушка, отдохнувъ и оправившись, рассказала вельможѣ о своей родинѣ, назвала по имени отца и мать, но никакъ не умѣла объяснить, какъ именно попала она сюда и что съ нею случилось послѣ насильственной разлуки съ родными. Бездѣтные старики приняли Альгою какъ родную дочь. Они въ безконечныхъ странствованіяхъ своихъ по синимъ рѣкамъ и озерамъ посвятили себя дѣланію добра; гдѣ только могли помогали они людямъ и крохи ихъ прежняго богатства были еще настолько велики, что остановили не одно горе, спасли не одного нуждавшагося. Съ появленіемъ Альгои добродѣтельное шествіе лодки стало еще лучезарнѣе. Сдѣлавъ какое-нибудь доброе дѣло, вельможа торопился скрыться; онъ предпочиталъ останавливаться въ самыхъ безлюдныхъ пустыряхъ безконечной страны.

Но пустырей этихъ, къ удивленію стариковъ, становилось со дня на день все меньше. Стоило только Альгоѣ сойти на берегъ—берегъ тотчасъ же покрывался роскошною растительностью, и когда лодка отчаливала отъ него, растительность эта не исчезала, а оставалась какъ бы памятью ихъ пребыванія. Старики видѣли это, удивлялись, но ровно ничего не понимали.

Альгоя доживала пятнадцатую весну. Тяжелые дни были забыты ею и расцвѣла она лучше прежняго, и въ прелести ея имѣлось что-то совершенно особенное. Помимо того, что она была поразительно прекрасна, въ ней чувствовалась какая-то непредѣльная сила очарованья, обѣщавшая тому, кого она полюбитъ, безконечность забвенья, съ уничтоженіемъ и воли, и памяти, и всего, всего земного.

И случилось скоро нѣчто еще болѣе невѣроятное, чѣмъ все происшедшее: Альгою избралъ себѣ въ подруги одинъ изъ боговъ вселенной, прискучившій вѣчно непорочными созданіями, окружавшими его отъ начала вѣка. Полюбилъ ее богъ цвѣтовъ.

\* \* \*

Какъ разъ въ семнадцатый день рожденія Альгои, о которомъ богъ этотъ зналъ, какъ знали вельможа и его жена, лодка пристала къ берегу, еще не посѣщавшемуся ими. Для торжественнаго дня этого старики не хотѣли выбрать стоянкою, какъ это всегда бывало, мѣстность угрюмую, печальную. Они предпочли роскошный уголокъ безконечно красиваго лѣса, и ввели лодку въ одну изъ мирныхъ заводей рѣки.

Цвѣтовъ на ближайшей лужайкѣ и на деревьяхъ сіяло такъ много, что когда Альгоя сошла на берегъ, что дѣлала она часто, новымъ цвѣтамъ не

было мѣста распусться и никакихъ видимыхъ измѣненій, къ которымъ такъ привыкли старики, не произошло. Въ блескѣ яркаго солнца, обративъ къ Альгоѣ свои лучезарныя коронки, глядѣли на нее цвѣты въ упоръ. Легіоны разноцвѣтныхъ лепестковъ стремились къ ней съ травы и деревьевъ и покоили на прелестной дочери земли свои безмолвные, влюбленные взоры, и чѣмъ дальше шла Альгоя отъ берега, тѣмъ лучше становились цвѣты, тѣмъ страстнѣе являлись сочетанія ихъ красокъ, тѣмъ острѣе, обворожительнѣе аромать и тѣмъ шибче подвигалась къ нимъ Альгоя.

Старики видѣли съ лодки, какъ шла она, будто втягиваемая незримою силою въ эту непонятную, необъятную пучину цвѣтовъ. Какой-то священный трепетъ обуялъ ихъ, они хотѣли позвать дѣвушку, остановить ее, но густыя волны благоуханій, несшіяся къ нимъ, лишили ихъ голоса и движенія, а старческие глаза, и безъ того слабые, теряли послѣднюю зоркость въ пестротѣ сильнѣйшихъ свѣтовыхъ впечатлѣній. Старики видѣли только, будто сквозь сонъ, какъ ворочали цвѣты свои живые взгляды вслѣдъ за отходившею отъ берега красавицею, какъ задвигалась она мало-по-малу ихъ лепестками, и какъ исчезла, наконецъ, въ мерцаніи красокъ и лучей, вошла въ цвѣты...

Благоговѣнно пали старики на колѣни; невидимая сила подтолкнула ихъ лодку и пустила внизъ по рѣкѣ.

\* \* \*

Альгоя ничего этого не замѣтила и не знала. Она шла впередъ отъ цвѣтка къ цвѣтку, поражаясь ихъ совершенно новыми для нея очертаніями. Каждый изъ цвѣтковъ былъ и музыкою, и любовью, и думою, и всего этого оказывалось видимо-невидимо. За зе-

ленью разступавшихся передъ нею стеблей и вѣтокъ виднѣлся ей какъ будто бы небольшой холмъ, весь, сверху до низу, усыпанный цвѣтами. Точно розовые рубины обозначались розы, тянулись опущенные серебромъ лиліи и ландыши, синѣли лобеліи и незабудки, тигристымъ бархатомъ слошлись и залегали стапеліи и между ними продвигались своими острыми пламенными, нескромными языками королевскія стрелиціи. Поверхность холма вся мерцала подвижными усиками роскошнѣйшихъ пестрыхъ пассифлоръ, а неуклюжіе, тяжелые, смѣшные кактусы, обвисавшіе подъ своею тяжестью, лежали на землѣ, глядѣли съ нея и служили холму опорой, продвигая, гдѣ имѣлось мѣсто, свои пурпуровыя, крупныя очертанія.

Альгоя приблизилась къ холму, обошла его и увидала, что это не холмъ, а какое-то жилище. Жилище имѣло даже что-то въ родѣ входа, образованнаго щелью между двухъ чудесныхъ, громадныхъ, опаловыхъ орхидей, лежавшихъ отъ тяжести своей на другихъ цвѣтахъ, служившихъ порогомъ. Дѣвушка заглянула внутрь. Солнечный свѣтъ проходилъ туда только черезъ тонкія тѣла и ткани цвѣточныхъ коронокъ и вѣнчиковъ и мерцалъ какими-то совершенно особенными фосфористыми волнами. И вся эта громада цвѣтовъ будто говорила тысячами благоуханій и колебалась въ своей неземной красотѣ!

\* \*

Дрогнула Альгоя.

Она оглянулась, чтобы посмотреть, откуда пришла, но пройденный путь оказался закрытымъ, непроходимымъ, задвинутымъ живыми кущами видимо и быстро распускавшихся цвѣтовъ. Цвѣты надвигались къ ней отовсюду. Альгоѣ становилось страшно. Она думала вернуться, но стѣны цвѣтовъ обступили окон-

чительно и ей волею-неволею пришлось войти въ жилище!

Она вошла... вздохнула. Ей тяжело было стоять и она легла...

Какъ будто изъ-за сквозного, самосвѣтящагося перламутроваго покрывала золотого сна видѣлось Альгоѣ, что и тутъ продолжалось то же самое. Свободное пространство кругомъ нея становилось все меньше и меньше. Живой, исполинскій вѣнокъ, составленный изъ лучшихъ цвѣтовъ земли, изъ которыхъ каждый имѣлъ свою дорожку, причемъ маленькіе шли впереди, спирался все тѣснѣе и тѣснѣе, и когда, уже въ вечеру, не хватило мѣста этому напору любви, этому объятію томной, благоухающей страсти и зардѣлась вечерняя заря и спустилась роса, тьма отъ темъ цвѣтовъ собралась какъ бы въ одинъ цвѣтокъ, красовавшійся и благоухавшій за всѣхъ. Альгоѣ чудилось, что этотъ неописуемо-прелестный, сборный цвѣтокъ какъ бы наклонился къ ней. На днѣ его бархатной, лазурной коронки несомнѣнно свѣтилось какое-то кроткое око и во взглядѣ цвѣтка, волею-неволею, началъ тихо тонуть очарованный взглядъ лежавшей передъ нимъ дѣвушки. Неудержимая сила влекла ее къ цвѣтку, къ его устамъ. Она приподнялась, обняла его, обняла сама, по доброй волѣ, и запечатлѣла долгій поцѣлуй на его трепетно дрожавшихъ, увлажненныхъ росой устахъ...

И сдвинулись тогда надъ Альгоею могучіе лепестки всего цвѣточнаго царства и въ который уже разъ соединилось божество съ дочерью человѣческою, зачатою во грѣхѣхъ и тронutoю его прикосновеніемъ.

\* \* \*

Въ то же самое мгновеніе, далеко отъ этого мѣста, подъ громъ землетрясенія, разсыпался прахомъ про-

клятый городъ! Распались мраморные облики красавицъ и красавцевъ и лежатъ они тамъ, въ пустыняхъ, гдѣ-то между Байкаломъ и Камчатскими сопками, перепутавъ осколки своихъ очертаній и только кое-гдѣ проглядывая изъ-подъ острыхъ мховъ и сѣрыхъ лишаяевъ своими человѣческими, все еще улыбающимися чертами.



## LA POINTE.

---

Къ одному изъ подъѣздовъ на Гагаринской улицѣ, часу въ двѣнадцатомъ вечера, подана была тройка. Ночь стояла лунная, тихая, градуса въ два мороза; съ вечера выпалъ свѣженькій снѣжокъ. На рослыхъ коняхъ вдоль сбруи поблескивали во множествѣ свѣтлыя бляхи. Изъ подъѣзда вышли три дамы и двое мужчинъ.

— А что, пріятель, спросилъ одинъ изъ нихъ у ямщика, — въ четверть часа на пуанту поспѣемъ?

— Коли, баринъ, во встрѣчныхъ задержки не будетъ — поспѣемъ, отвѣтилъ ямщикъ, перебирая возжи.

— А вы въ эти четверть часа расскажите намъ что нибудь такое, что займетъ какъ разъ столько же времени, сказала одна изъ дамъ мужчинѣ, спросившему ямщика, — согласны ли?

— Да, но за вами тогда лишній бокалъ по моему требованію?

— Согласна, только я сама вамъ дамъ тему.

— Слушаю-сь.

— Читали вы рассказъ «Альгоя». Вѣдь тамъ идетъ рѣчь о какой-то испорченной странѣ и о томъ, что

въ главномъ ея городѣ воздвигли памятникъ одной великой куртизанкѣ. Разскажите что-нибудь объ этомъ памятникѣ подробнѣе.

— Могу и такъ, отвѣтилъ мужчина.

— Такъ, по рукамъ?

— По рукамъ.

— Всѣ согласны! Трогай!..

Тройка двинулась и разсказъ начался.

— Извѣстно всѣмъ и каждому по наукѣ, что проваливались въ болота цѣлые города, что новые люди осушили эти болота и явились новые города. Климаты измѣнились: гдѣ теперь холодно—было тепло, и наоборотъ. Есть основаніе полагать, что и на мѣстѣ Петербурга существовало нѣчто другое. Сказываютъ, будто здѣсь была столица какой-то совершенно невозможной, въ тѣ дни очень теплой страны. Въ странѣ этой совсѣмъ погасли всѣ нравственныя силы, царилъ развратъ и стали поговаривать о томъ, что если поставлены памятники всякимъ полководцамъ, баснописцамъ; то отчего же на самой людной площади самаго люднаго города не поставить изображенія одной общеизвѣстной великой куртизанки, сдѣлавъ его, конечно, изъ бронзы.

«Страна была дѣйствительно совсѣмъ веселая. Гдѣ нибудь въ глуши, въ деревнѣ, далеко отъ главнаго города, еще раздавалось иногда робкое слово «люблю», но оно звучало чрезвычайно стыдливо, потому что было необычайно. Семья, какъ видъ общежитія, исчезла съ поверхности страны почти совершенно, какъ исчезли волны Невы, на которую мы теперь спускаемся, подъ ледянымъ покровомъ; число рожденій уменьшалось, а то, что появлялось на свѣтъ, оказывалось мелко, хворо, некрасиво.

«Одно, что оказывалось хорошо въ этой развратной, изолгавшейся, продажной странѣ, такъ это войско: оно было нужно заправителямъ. Порядокъ,



дисциплина, воодушевление, все это вызывалось въ немъ, вѣроятно, электрическими приспособленіями,—электричество тогда было извѣстно, но потомъ забыто—по нумерамъ устава, и по мѣрѣ надобности; на приспособленія эти выданы очень дорогія привилегіи—дѣло совершенно естественное въ той высокообразованной странѣ, гдѣ даже надъ люльками дѣтей, нарождавшихся въ очень маломъ числѣ, колыбельныя пѣсенки пѣлись въ телефоны, проведенныя изъ степей Украйны, въ которой еще сохранились кое-какіе голоса; люльки раскачивались тоже электрическими приводами; питали младенцевъ не грудью, а соусами особаго приготовления.

«Съ прямолинейностью Каменноостровскаго шоссе, по которому мы теперь мчимся, шла страна къ своему паденію. Въ ней, источенной всѣми язвами духа, съ изумительною быстротою пошли въ ходъ всякія ясновидѣнія, лжеученія, служенія тайнѣ и тѣмъ и явились прорицатели. Противъ нихъ заговорили журналисты, старавшіеся казаться тоже прорицателями; чѣмъ жили журналисты — остается неизвѣстнымъ, потому что въ странѣ не читали совершенно ничего, и это очень нравилось заправиламъ страны, людямъ силы, дѣльцамъ, воротиламъ житейскаго рынка.

«Послѣ долгихъ, упорныхъ споровъ и даже междоусобій по поводу вопроса о томъ: ставить или не ставить въ городѣ памятникъ самой великой изъ куртизанокъ, — одолѣли тѣ, что желали постановки памятника. Его воздвигли чудовищно громаднымъ. Фигура оказалась такъ велика, что, по очень сложнымъ внутреннимъ путямъ ея, какъ бы трубамъ, обильно снабженнымъ свѣтомъ изъ множества окошечекъ, можно было въѣхать на плечи статуи въ экипажѣ. На обнаженныхъ плечахъ, представлявшихъ изъ себя продолговатую, волнистую, залитую душистымъ

асфальтомъ площадку, вдоль по ожерелью, окружавшему шею, устроенъ былъ объѣздъ: ожерелье служило перилами; смотрѣть оттуда внизъ было страшно, и даже лошади пугались и фыркали; тутъ же, въ бусахъ ожерелья, стояли маленькіе ресторанчики и въ нихъ назначались свиданія.

«Открытіе памятника состоялось торжественно. Особенно сочувственно встрѣчена публикою новинка: вечерній концертъ, составленный изъ воспроизведенія утренняго рева орудій и кликовъ толпы въ моментъ открытія, уловленнаго какими-то губками; губки эти нажимали и онѣ отдавали звуки; тончайшія, гармоничнѣйшія *pianissimo* были поразительны. На слѣдующій же день явилось въ газетахъ объявленіе какого-то музыканта, задумавшаго вызвать изъ пещеръ деревень Арбеллы и Гавгамеллы для другого, совершенно небывалаго концерта голоса давнишняго сраженія, причемъ одному изъ гобоевъ поручалось воспроизвести *in natura* голосъ самого Александра Македонскаго.

«Вновь открытый памятникъ великой куртизанки стоялъ во всеоружіи самой наглой, безстыдной красоты; влажность облаковъ, осаждаясь на ея открытыя очи, не лишала ихъ, однако, той сухой, острой зоркости, той дерзости взгляда, съ которыми смотрѣли они на закатъ солнца, стараясь подглядѣть, когда другіе люди за краемъ земли ничего больше видѣть не могли, что дѣлаетъ солнце, когда оно разоблачается отъ своего дневного одѣянія, въ яркомъ и тепломъ заревѣ погасающихъ огней? Какъ ложится оно спать?

«Но, пока въ теченіе долгихъ лѣтъ высилась великая куртизанка, подлѣ ожерелья которой ѣздили экипажи, а человѣчество въ странѣ его воздвигшее количественно и качественно погасало, земля, на которой все это происходило, предъявляла свои не-

отъемлемыя права. За недостаткомъ въ населеніи, такъ какъ смертность превышала рождаемость, на-  
двигались отъ береговъ морскихъ летучіе пѣски, и  
на многихъ мѣстахъ проступали топкія болота; па-  
портникъ, стрѣльникъ и хвощи начинали царство-  
вать тамъ, гдѣ наливался яровой и озимый колось,  
и отвоєванныя человѣчествомъ мѣста шли на воз-  
обновленіе залежей торфа и каменнаго угля, сильно  
израсходованныхъ; кувшинчики и купавки начинали  
рости на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ гуляли нѣкогда въ про-  
зрачныхъ чулочкахъ ножки хорошенькихъ женщинъ,  
женщинъ, изъ которыхъ каждая имѣла нѣкоторое  
основаніе считать себя олицетворенною въ памят-  
никъ великой куртизанки.

«Быстро погибала страна, о которой идетъ рѣчь.  
Опустѣлъ и вымеръ въ конецъ главный городъ ея:  
онъ сталъ погружаться въ наступавшія отовсюду  
болота, а вмѣстѣ съ нимъ опускался въ трясины и  
памятникъ. Наглыя очи бронзовой красавицы, ста-  
равшіяся подсмотрѣть, что дѣлаетъ солнце, когда  
разоблачается, опускались все ниже и ниже къ по-  
верхности земли, потому что непомѣрный грузъ па-  
мятника много способствовалъ его погруженію. Скоро  
осталась отъ куртизанки поверхъ воды одна только  
маковка—куафюра, какъ бы островъ. На мелко го-  
фрированные волосы ея вѣтеръ нанесъ, а вода от-  
ложила, міриады всякихъ сѣмянъ и изъ нихъ под-  
нялась зелень и выросли деревья. Люди тѣхъ дней,  
сохранившіеся только потому, что кое-гдѣ еще зву-  
чало робкое, теплое слово «люблю», нашли возмож-  
нымъ проложить между зеленою дорожки и надъ  
самымъ лбомъ великой куртизанки, на пуантѣ, об-  
ращенномъ къ западу, устроили очень хорошее гу-  
лянье. Зимой его покрываетъ снѣгъ и по немъ рас-  
катываются тройки...»

— А сколько теперь времени, господа? прогово-

рилъ ямщикъ, сдерживая коней на самомъ поворотѣ.

— Стой! стой! закричали ему изъ саней.

Они находились, дѣйствительно, на пуантѣ. Ярко освѣтила луна циферблатъ вынутыхъ изъ кармана часовъ: до полной четверти часа не хватало одной минуты. Сквозь бѣлую пелену снѣговъ темнѣли стволы деревьевъ, а мгlistая даль, по направленію къ Кронштадту, мерцала въ какомъ-то неясномъ колебаніи. Мѣсяцъ свѣтилъ во всю.

— За вами лишній бокалъ! проговорилъ рассказчикъ, обращаясь къ одной изъ спутницъ:—и—по моему требованію.

— Да, если бы рассказъ вашъ длился ровно четверть часа, какъ я сказала, но минутою меньше...

— Минутою больше было бы хуже?

— Вамъ надо было исполнить мое требованіе точь-въ-точь, вотъ что! и не разсуждайте! я люблю точность, отвѣтила спутница:—и вы должны знать это на будущее время...

~~~~~

## ЧУДЕСНАЯ ГИТАРА.

---

Какъ-то лѣтомъ, въ іюлѣ мѣсяцѣ, сидѣлъ я, часу въ десятомъ утра, у моего хорошаго пріятеля Богуславскаго, на дачѣ на Черной рѣчкѣ. Дача была маленькая, домикъ съ двумя комнатами внизу и одною, съ балкончикомъ, подъ крышею; дача стояла внутри двора другой, большой дачи, нанятой одною изъ очень извѣстныхъ балеринъ. Небольшой садикъ, огороженный дрянною рѣшеткою въ аршинъ вышины, принадлежалъ собственно Богуславскому; рѣшетка эта существовала больше для виду, потому что не было курицы, кошки или собаки, которая, при малѣйшемъ желаніи, не могла бы перескочить ее и поэтому цвѣты въ садикѣ: настурціи, горошекъ, флоксы и вербены, оказывались помятыми чуть ли не каждое утро.

Самъ Богуславскій — человѣкъ лѣтъ сорока, холостой, болѣзненный, скромный, относился къ великимъ неудачникамъ и, со всею энергіею оставшихся въ немъ силъ, ухватился за исполненіе должности начальника отдѣленія въ одномъ изъ министерствъ. До того былъ онъ и художникомъ и музыкантомъ, участвовалъ въ рухнувшемъ театраль-

номъ предпріятіи и даже торговаль одно время лѣсомъ, причемъ одною изъ побудительныхъ причинъ торговли именно лѣсомъ, а ничѣмъ другимъ, должно признать причину вполне поэтическую: буду, думаль Богуславскій, торговать, деньгу добывать, а въ то же время буду близокъ и къ жизни природы, къ лѣсу, зимою и лѣтомъ, осенью и весною; я люблю лѣсъ. Въ доказательство этой любви онъ безжалостно изводилъ сго. На лѣсное дѣло ушли у него послѣднія отцовскія денежки, и онъ принялся за должность начальника отдѣленія со всею остававшеюся въ немъ не великою силою жизни.

Погода стояла довольно пасмурная, накрапываль дождь и мы сидѣли не на балкончикѣ, выходившемъ въ садъ, всего въ два аршина длиною, а въ одной изъ комнатъ. Звуки жизни: свистки невскихъ пароходовъ, звонки конокъ, грохотъ экипажей, катившихся по ново-деревенскому мосту, все это доносилось до насъ съ чрезвычайною ясностью. На дачѣ, занимаемой балериною, по утрамъ, т. е. часовъ до двухъ, царило обыкновенно совершенное молчаніе, а шумъ, бѣготня и смѣхъ поднимались только съ вечера, но зато длились до утра.

Мы сидѣли за кофеемъ, покуривали и болтали о пустякахъ. На одной изъ стѣнъ висѣла гитара, неразлучная, мнѣ знакомая, спутница Богуславскаго, когда-то очень порядочно пѣвшаго подъ ея аккомпаниментъ. Я знаваль эту гитару и раньше, но именно теперь обратилъ вниманіе на ея совершенно исключительную отзывчивость. Залаеть собака, простучить конка — на всѣ эти звуки гитара отвѣчала немедленно, съ замѣчательною впечатлительностью.

— Гдѣ вы приобрѣли ее? спросилъ я Богуславскаго.

— О! это удивительная гитара, сказалъ онъ, встанъ съ мѣста и оправившись съ тѣмъ, чтобы

снять ея со стѣны. Я купилъ ея въ Италіи, лѣтъ двадцать тому назадъ; я былъ тогда счастливымъ юношей и все веселое нравилось мнѣ.

Хозяинъ снялъ гитару со стѣны и поднесъ ея ко мнѣ. Она была шести-струнная. Пока я разсматривалъ ея, онъ сообщилъ мнѣ, что покупка сдѣлана имъ въ Неаполѣ, въ рухлядной лавкѣ, на торговой площади.

— Помню, говорилъ Богуславскій,—день стоялъ ясный, жаркій, базарный, и я пошелъ на торговую площадь совершенно случайно, отъ нечего дѣлать. Иду-бреду, вижу лавчонка съ инструментами: скрипки, мандолины, трубы, гитары. Хозяйка, пожилая женщина, сидитъ, что-то пожевываетъ, а на колѣняхъ у нея гитара лежитъ и она ея струны пальцами перебираетъ; я заговорилъ съ нею.

— А вы по-итальянски говорите? спросилъ я хозяина.

— *Si, signore*, говорю, и даже очень хорошо. Обращаюсь я къ ней съ вопросомъ: что ея гитара стоитъ? — Четыре скуди, отвѣчаетъ она; возьмите, говоритъ, посмотрите гитару. Я взялъ гитару. Говоръ по рынку шелъ самый трескучій и струны гитары, такъ казалось мнѣ, точно живыя вторили ему. Я поднесъ ея къ уху и внимательно слушалъ. Мнѣ казалось, будто, въ самомъ дѣлѣ, какъ солнце въ малой каплѣ воды, отражались въ гитарѣ—одновременно—всѣ безчисленные звуки торговой, болливой площади и она отвѣчала имъ. Поднесите-ка ея къ уху, послушайте, сказалъ Богуславскій, приглашая меня поднять гитару.

Я исполнилъ желаемое имъ. Къ моему величайшему изумленію гитара воспроизвела съ точностью удивительною, какъ бы слабенькое, еле слышное эхо, неожиданно раздавшуюся со стороны Черной рѣчки пѣсню:

Гопъ, гопъ, гопака  
 На четыре пятака!  
 Така усы! яка усы!  
 Полюбить меня Петрусь.

— Должно быть, замѣтилъ хозяинъ,—какой нибудь рьяный посѣтитель театра малороссовъ поетъ! Но что вы скажете про гитару. Она отвѣтила?

Я осторожно положилъ гитару на столъ.

— Удивительно отзывчива!

— Такъ вотъ, видите ли, я въ этой отзывчивости убѣдился еще на площади, въ Неаполѣ. Пока я, думая купить ее, держалъ струны подлѣ уха и прислушивался къ отраженію всякихъ звуковъ торговой площади, къ хозяйкѣ рухлядной лавки, продолжавшей попрежнему сидѣть передо мною и пережевывать, подошелъ, ковыляя, какой-то нищій и грустнѣйшимъ голосомъ напѣвалъ, протягивая къ намъ руку за подаяніемъ, какую-то не то молитву, не то просительный стихъ и, — можете вы себѣ представить: — гитара, надъ которою, рядышкомъ съ нею, раздавалась унылая пѣсня, не отвѣчала на нее вовсе?! Я тотчасъ же обратилъ на это вниманіе.

— Но чѣмъ же вы объясняете это?

— Какъ нарочно, продолжалъ Богуславскій, какъ бы не замѣчая моего вопроса,—старуха-итальянка, замѣтивъ, пока я вертѣлъ гитару, скорченную, плаксивую физиономію нищаго, подошедшаго къ ней, неожиданно залилась гомерическимъ, серебрянымъ смѣхомъ.

— Ага! Бенно! ты, братъ, сегодня подѣ лѣвую ногу костыль подвязалъ! забылъ, что ли?

«Могучій, здоровый смѣхъ итальянки словно пробудилъ гитару: струны ея зарокотали будто живныя, отвѣчая на этотъ веселый смѣхъ, и отвѣчали онѣ такъ громко, такъ чотко, что я, болѣе чѣмъ удивлен-



ный, отодвинулъ гитару отъ уха и молча взглянулъ на нищаго и на хозяйку.

«Я поторговался и купилъ гитару за три скуди, добавилъ Богуславскій,—и вотъ уже двадцать лѣтъ, что она у меня, и я не отдамъ ея за сто рублей и больше. Она нисколько не измѣняетъ своего удивительнаго свойства: отзывается немедленно на все веселое и весьма рѣшительно не признаетъ грустнаго.

Я недовѣрчиво посмотрѣлъ на хозяина и на гитару.

— Да вы шутите? спросилъ я его.

— Ни малѣйше. Да вотъ, послушайте. Хотя у меня голоса и нѣтъ, и я давно уже не перебиралъ струнъ, но понятіе о гитарѣ все-таки дамъ.

Богуславскій всталъ съ мѣста, затворилъ двери въ садъ, перекинулъ ленту гитары черезъ плечо и затынулъ разбитымъ голосомъ:

«Среди долины ровныя...»

Гитара упорно молчала. Богуславскій запѣлъ другую мелодію:

«Выхожу одинъ я на дорогу...»

То же невозмутимое молчаніе.

— Ну, а теперь, продолжалъ онъ,—посмотрите-ка, что будетъ съ гитарою:

«Ужъ мы ѣли, ѣли, ѣли,

«Ужъ мы пили, пили, пили...»

И дѣйствительно, гитара, словно вострепелась; откуда только взялась въ ней отзывчивость? Струны гудѣли весело, игриво, а деревянная доска, будто живая грудь, отвѣчала на ихъ дружное рокотанье, вторила имъ, и удвоивала.

Я покачалъ головою.

— Ну, а насчетъ любовныхъ пѣсенъ какъ? спросилъ я хозяина.

— О! она тоже очень, очень отзывчива; итальянская уроженка! отвѣтилъ Богуславскій и запѣлъ:

«Въ крови горитъ огонь желанья...»

И дѣйствительно, гитара запѣла какъ живая; самъ пѣвецъ словно повеселѣлъ и, спѣвъ пѣсню, даже закашлялъ. Гитара сразу замолчала.

— Видите, мнѣ пѣть не годится, сказалъ онъ и, вставъ съ мѣста, направился къ стѣнѣ и повѣсилъ гитару.

— Однако, чѣмъ же объясняете вы это? спросилъ я его.

— Естественнымъ приспособленіемъ, отвѣтилъ онъ, не обинуясь,—приспособленіемъ, дарвиновскимъ приспособленіемъ. Сколько ей лѣтъ, этой гитарѣ, Богъ ее знаетъ, но вѣроятно, что она находилась долго и постоянно въ веселыхъ рукахъ счастливыхъ людей и приспособилась именно только къ веселымъ звукамъ.

Тѣмъ временемъ погода разъяснилась и глянуло солнце. Не успѣлъ Богуславскій отворить двери въ садъ, какъ влетѣла пчела и стала быстро жужжать по комнатѣ.

— Слушайте, слушайте! сказалъ онъ, обращаясь ко мнѣ,—подойдите поскорѣе къ гитарѣ.

Я всталъ, подошелъ и сталъ прислушиваться. Тонкимъ, тонкимъ, но очень яснымъ звукомъ отвѣчала она всѣмъ струнами пѣснѣ летавшей по комнатѣ пчелы. Но когда, недовольная случайнымъ заточеніемъ въ комнатѣ, отыскивая выхода на волю, къ солнцу, въ жизнь, пчела, со всего разлета, хлопнулась въ оконное стекло и, повалившись на подоконникъ, завертѣлась, лежа на спинкѣ, и громко, но жалобно зажуужала—гитара мгновенно смолкла, словно замерла и не хотѣла, не могла воспроизвести плакавшихъ звуковъ. Она не отвѣчала также на кашель хозяина.

— Позвольте заключить съ вами условіе, сказалъ я Богуславскому, — я не знаю, кто изъ насъ раньше умретъ: вы или я, но если умрете вы раньше меня, то завѣщайте мнѣ вашу гитару!

— Съ удовольствіемъ! сказалъ онъ.

До сихъ поръ чудесной гитары у меня еще нѣтъ, и когда будетъ она моею — не знаю.



## ВЕРБА.

---

Извѣстны всякія чудесныя «Превращенія», рассказанныя римскимъ писателемъ Овидіемъ, но, если вѣрить нашимъ сказкамъ, бывали они и у насъ, въ тѣ дни, когда Марина, полюбившая богатыря Добрыню, обращалась въ перепелочку, князь Романъ обращался въ горностая и чернаго ворона, рыскалъ князь Всеславъ сѣрымъ волкомъ.

Очень, очень давно, много десятковъ столѣтій тому назадъ, у насъ въ Россіи, а въ тѣ годы въ странахъ Гиперборейскихъ, гдѣ, какъ говоритъ другой римскій писатель-историкъ Тацитъ, обитатели были «безопасны отъ людей, безопасны отъ боговъ и достигли самаго труднаго—отсутствія желаній», одна дѣвочка только что перешла къ слѣдующимъ за дѣтствомъ годамъ развитія. Ей сейчасъ же показалось, будто любить она Сарматскаго князя, конечно молодого и красиваго, и будто онъ непременно женится на ней. Князь даже вовсе не замѣтилъ ея.

Дѣло, какъ сказано, происходило на сѣверѣ, въ нашихъ странахъ, гдѣ всякое развитіе трудно, гдѣ оно замедляется тысячами причинъ. Добрыя силы мѣстныхъ боговъ не хотѣли, однако, допустить того,

чтобы вспыхнувшее въ дѣвушкѣ желаніе выйти замужъ развилось и перешло всѣ ступени развитія. Молода она была, слишкомъ молода, чтобы выйти замужъ. Еще немного слѣдовало бы подождать ей и тогда, такъ соображали добрыя силы боговъ, сложилась бы эта дѣвушка въ такую прелесть творенія, въ такой праздникъ красоты и благоуханія, какихъ мало являлось въ былые дни, а въ наше время не является и вовсе.

И навели добрыя силы боговъ на дѣвушку сонъ.

Снится ей, закрывшей свои голубыя очи, что сидитъ она на очень высокой скалѣ, на краю паденія какой-то музыкально-шумящей, низвергающейся воды. Это лилась не вода, а катились клубами и водоскатами какія-то, какъ бы, волны цвѣтовъ. И всѣ эти волны были разныя и разныя шли отъ нихъ краски и благоуханія. Когда подкатывали струи синихъ васильковъ—солнечный свѣтъ обливалъ дѣвушку струями лазури; когда шли опаловыя розы—розовѣла и она, словно родная имъ своими свѣтовыми красками; когда подкатывались бѣлые ландыши—дѣвушка сразу блѣднѣла, становилась будто сквозною и аромат ихъ пронизывалъ ее, прозрачную, всю, всю, до самаго сердца.

Торопились цвѣточные волны, обвѣвая ее благоуханіями и освѣщая красками, торопились низринуться со скалъ, отъ свѣта дневного, въ неизвѣстную, но во всякомъ случаѣ темную, непроглядную глубину.

— Не торопись, какъ мы, сорванные до времени за красоту нашу! слышалось дѣвушкѣ отовсюду, не слѣдуй нашему примѣру! говорили ей цвѣты, проскользая въ стремнинахъ. Подождешь, настанетъ настоящее время великаго праздника жизни и возьмешь ты тогда все, а не такъ, какъ теперь, только урывки, только стремленія, только обманчивые облики того,

что должно быть и чего, если ты станешь жить раньше чѣмъ слѣдуетъ, не познаешь ты никогда, никогда!

Стремилась и клокотали, говоря это, жасмины, колокольчики, дремлики, фіалки, ночныя красавицы и смѣшивались внизу подъ скалами въ какую-то гудѣвшую, могучую рѣку и уносились въ даль къ синему морю.

— Не торопись жить! гудѣлъ водопадъ.

— Не торопись жить! шумѣла стремнина.

Добрыя силы боговъ, наведшія этотъ сонъ на дѣвушку, присутствовали приэтомъ, незримые и неосязаемые, и твердо увѣренные, на основаніи долгаго опыта, въ томъ, что дѣвушка все-таки ихъ не послушаетъ и поставить на своемъ, рѣшили они, послѣ долгаго соображенія и даже споровъ между собою, не ограничиться совѣтомъ, а сдѣлать дѣло.

Проснулась дѣвушка—старухою! Съ ужасомъ ощутила она свое преобразование! глубокія морщины вѣдрились по лицу, потускнѣли голубыя очи, нависли брови, тяжело сжимались пальцы, слухъ отличалъ съ трудомъ даже очень близкіе звуки и трудно было ей ходить, трудно.

Дрожь какая-то постоянно пробѣгала безъ всякой причины по всему тѣлу, пришлось кутаться, и хорошо, что обиліе мѣстныхъ лѣсовъ, нынѣшнихъ пермскихъ, давало возможность запасться мягкой шубкою. Настали холода, сѣверныя сіянія, длинныя ночи и старуха-дѣвушка невыносимо затосковала, кутаясь въ шубку, отогрѣваясь у костровъ, и прислушиваясь къ завываніямъ пурги и треску мороза. Хуже всего было то, что безжалостныя на этотъ разъ добрыя силы боговъ сохранили въ ней сознаніе молодости, всю стремительность влеченій неопытной души и всю яркость мечтаній; ей случа-

лось, какъ прежде, встрѣчать Сарматскаго князя, но князь, и тутъ не замѣчалъ ея.

Время шло и добрыя силы, по тщательномъ соображеніи и опять-таки поспоривъ между собою въ виду того, другого и третьяго, и найдя, что дѣвушка подросла, рѣшились снять съ нея тяжелое навожде-  
ніе. Рѣшились они сдѣлать это тоже во время сна.

Наступала весна. Тронулись снѣга, потеплѣли туманы и по лѣсамъ и открывавшимся всюду водамъ начали раздаваться свистки и чириканье перелетной птицы. Прежде другихъ прилетѣли съ пѣснями стайки жаворонковъ и овсянки и изгнали зимнихъ свиристелей и длиннохвостыхъ аполлоновокъ; затѣмъ принесли веселыми хороводами малиновки, дрозды, кулики, зяблики; стали сбрасывать съ цвѣточныхъ почекъ свои мѣховые колпачки всякія вербы и ивы; тронулись сережки бѣлой ольхи; зацвѣли подснежники, камчатская сарана; глянула повсюду травка, пустили листики бузина и таволга и, наконецъ, еще, дрожа и только къ самому полдню, стали показываться первыя бабочки. Апрѣль только-что начался.

Дѣвушка показалось, что она, все еще старуха въ шубкѣ, заснула на глубокомъ снѣгу и мало-помалу, такъ казалось ей и это возбуждало въ ней ужасъ, увидѣла она себя погружающеюся въ снѣгъ; она уходила подъ собственною тяжестью въ бѣлую, полную смерти, глубину его; она порывалась карабкаться изъ одолевавшаго ее снѣга руками, кричала, плакала, но неисповѣдимая глубина тянула ее и всасывала въ себя. Вотъ уже померкаютъ и послѣдніе проблески земного свѣта, вотъ и тьма обнимаетъ непроглядная, но вдругъ занялся внизу новый свѣтъ, и погружаться стало ей легче и даже любопытно.

На самой неисповѣдимой глубинѣ снѣговъ проснулась дѣвушка во всемъ обаяніи созрѣвшей мо-

лодости. Шубка съ нея слетѣла и стала она писаною красавицею! Сарматскій князь, молодой, красивый и храбрый, но, конечно, тоже немного постарѣвшій, на второй или третій день послѣ этого увидѣлъ ее, полюбилъ,—женился на ней и они были счастливы и правили народами.

Въ назиданіе потомству, для того, кто понимаетъ говоръ природы, въ нашихъ ивахъ и вербахъ, опускающихся уже на исходѣ зимы, первымъ праздникомъ возвращенія къ жизни, мѣховыми колпачками, шубками почекъ, сохраняется вѣчно повторяющаяся исторія чудесной дѣвушки. Вербка тоже торопится глянуть въ жизнь ранѣ прочихъ глубоко дремлющихъ сестрицъ своихъ, и зачастую мерзнутъ, даже сквозь шубки своихъ колпачковъ, налившіеся весеннею силою зачатки почекъ.

— Не торопись! говорятъ ей налетающіе пурги и морозы; твой часъ не глянулъ еще, но онъ придетъ, непременно придетъ! И вербка, до поры до времени, не сбрасываетъ своихъ мохнатыхъ колпачковъ.





## ДЫМНЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ.

---

Удивительное случилось со мною, однажды, въ ранней юности, приключеніе, и происходило оно какъ разъ на святкахъ.

Надо сказать, что я курильщикъ большой руки; къ моему куренію можно было бы примѣнить то выраженіе, которымъ обозначаютъ восточные люди пользованіе курительнымъ табакомъ: я «пью»—а не курю табакъ. Это, можетъ быть, нездорово, но я, навѣрно, совершенно здоровъ. Изъ всѣхъ разнообразныхъ моментовъ куренія только лишь въ одномъ изъ нихъ причина удовольствія для меня совершенно ясна и вполне подлежитъ объясненію: курево съ его огонькомъ и дымомъ—незамѣнимый, удивительный, совсѣмъ живой другъ, пріятель, собесѣдникъ въ одиночествѣ, ночью, при работѣ. Вспыхиваніе табачнаго огонька совершается немедленно по вашему призыву, по вашему требованію, и воздушные, извивающіеся извороты дыма являются для васъ наглядными воплощеніями жизни, движенія, сочувствія къ вамъ, тогда какъ кругомъ васъ—ночь, молчаніе, неподвижность окружающей васъ мебели и ненавистный, размѣренный, неумолчный, безчувственный стукъ ча-

совъ, возвращающихъ къ жизни механически, мало-по-малу, ту живую силу, которую вы разъ въ недѣлю, при заводѣ, передали имъ. То ли дѣло вспыхивающіе огоньки въ табакѣ!? Вѣдь вся жизнь людская, да и всей природы, простое вспыхиваніе и идетъ отъ огня! То ли дѣло необычайно, женственно-граціозныя наслоенія и клубы дыма — и развѣ не въ дымъ перейдетъ все и вся въ этой жизни, когда наступитъ очередь другой жизни, можетъ быть лучшей. Одна причина удовольствія курить ночью, въ одиночествѣ — мнѣ понятна; другія — нѣтъ; но я все-таки курю не смотря на горькій вкусъ, на лишнюю трату денегъ, прожженное платье, и пр.

Помню я, что часы въ моемъ кабинетѣ только что прозвенѣли часть ночи. Я сидѣлъ за писаніемъ чего-то и, чтобы успокоить немного усталые глаза, всталъ отъ письменнаго стола и сѣлъ въ кресло, стоявшее въ углу комнаты. Вся комната была передо мною, какъ на ладони; у одной изъ стѣнъ, противъ меня, стоялъ огромный старинный комодъ цѣльнаго краснаго дерева, какихъ теперь не дѣлаютъ, потому что изъ одного такого комода, распиливъ его на фанерки, можно оклеить, пожалуй, сотню, другую комодовъ. На немъ стояли фотографіи близкихъ мнѣ людей и между ними, въ центрѣ, наиболѣе дорогія мнѣ изображенія моихъ братьевъ.

Закуренная мною на этотъ разъ сигара оказалась какъ-то особенно дымообильна, и я тотчасъ замѣтилъ, что, въ силу какихъ-то непонятныхъ, странныхъ причинъ, дымъ отъ нея тянулся именно къ комоду. Его тянуло туда съ такою упрямою настойчивостью, что вниманіе мое все болѣе и болѣе приковывалось къ этому странному его движенію; тяги въ комнатѣ не было никакой.

Эта странность мнѣ нравилась. Надъ комодомъ обозначался мало-по-малу какой-то неясный обликъ,

необъяснимый мнѣ пока-что, и я, то-и-дѣло, пу-скалъ на воздухъ струи дыма для того, чтобы посо-бить ему окончательно обрисоваться; и точно: всѣ струи тянулись, гнулись въ одну сторону—къ слагав-шемуся облику.

Я не шевелился, боясь потревожить эту чудес-ную формовку дыма, который съ замѣчательною настойчивостью и послѣдовательностью принималъ очертанія какого-то человѣка.

Да, да, человѣка! твердилъ я совершенно созна-тельно самъ себѣ; вотъ видны голова, плечи; госпо-динъ или госпожа, видимо, намѣрены сидѣть на ко-модѣ, и ноги уже спускаются до половины его вы-соты, до второго ящика; значить, человѣчекъ бу-детъ не особенно большой; любопытно — мужчина или женщина?

Дымъ тѣмъ временемъ густѣлъ чрезвычайно, и я помню очень хорошо, что продолжалъ курить осо-бенно усиленно именно съ тѣмъ, чтобы прибавить, по возможности, матеріала для тѣла этого неяснаго мнѣ существа. Еще нѣсколько струй дыма, и видѣ-ніе выяснилось съ полною несомнѣнностью.

Это былъ тотъ самый, опушенный снѣгомъ, ста-ричокъ, безчисленныя изображенія котораго, ко вре-мени елки, виднѣются во всѣхъ игрушечныхъ мага-зинахъ, булочныхъ, кондитерскихъ.

Человѣкъ знакомый! думалось мнѣ.

Гость оказался невеликъ, въ какомъ-то бѣломъ балахонѣ, съ очень плотною бѣлою бородою; менѣе всего ясны были мнѣ его глаза, или, лучше сказать, тѣ мѣста, на которыхъ должны бы помѣщаться глаза: имѣлись они на-лицо или не имѣлись — я положи-тельно не знаю и утверждать не могу.

Но откуда же взять глазамъ необходимой плот-ности, блеска? думалъ я; это иначе и быть не мо-жетъ, такъ какъ все сложившееся изъ дыма—для

дыма возможно, но создать глаза—это ему не под силу.

Что особенно поражало меня во всемъ этомъ медленномъ, миловидномъ явленіи, такъ это то, что воздушный гость, сидя на комодѣ, вовсе не закрывалъ собою фотографій! Я различалъ ихъ всѣ, наперечетъ, а изображенія моихъ братьевъ приходились какъ разъ на высотѣ сердца бѣлаго старичка.

Но каково же было мое удивленіе, когда вслѣдъ затѣмъ, какъ старичокъ окончательно сложился, онъ, такъ казалось мнѣ, заговорилъ со мною! да, да, заговорилъ! или это я самъ какъ будто думалъ, что онъ говорилъ.

— Я пришелъ къ тебѣ, началъ старичокъ, очень благозвучнымъ, соответствовавшимъ росту, голосомъ,—я пришелъ къ тебѣ и принесъ съ собою подарки, удивительные, неподобные подарки!

— Что же я мальчикъ, что ли? помнится, возразилъ я и даже сдѣлалъ какое-то движеніе, но тотчасъ же спохватился, смутился и замолчалъ; мое быстрое движеніе немедленно сообщилось фигуркѣ, и она какъ будто немного всколыхнулась, но тотчасъ же оправилась.

— Мой подарокъ мудреный, продолжалъ старичокъ. Я дамъ тебѣ нѣсколько такихъ правильныхъ, опытомъ оправданныхъ, совѣтовъ для жизни, какихъ ты ни отъ кого никогда, кромѣ меня, не получишь. Слушай!

Въ это время надоѣдливые стѣнные часы звучно пробили два часа ночи.

Испугался ли я возможности исчезновенія видѣнія, но мнѣ почудилось, будто, отвѣтствуя бою часовъ, фигурка совершенно отчетливо вздрогнула два раза; трепеть дважды пробѣжалъ по всему ея существу, и нѣсколько складокъ длиннаго балахона даже потянулись было отъ колѣнъ къ полу.

Я сталъ усиленно курить сигару и, къ великой радости моей, замѣтилъ, что фигурка тотчасъ плотнѣла, и равновѣсіе въ ней установилось.

— Какія же это ты принесъ мнѣ истины, старичокъ? торопливо спросилъ я.

— Ихъ нѣсколько. Слушай. Первая и очень важная—это: никогда не лги! не потому, чтобы ложь была дурна, какъ гласятъ ваши прописи, а потому, что именно этимъ способомъ ты будешь достигать всѣхъ выгодъ лжи и ни на іоту не вкусишь отъ ея скверныхъ послѣдствій.

Фигурка замолчала.

Правда, подумалось мнѣ.

— Во-вторыхъ, продолжалъ старичокъ,—лги всегда и вездѣ, потому что, видишь ли, только такимъ способомъ можешь ты осилить, хотя сколько нибудь; значеніе людей, никогда не лгущихъ, которые все-таки существуютъ; они никогда не будутъ знать, чего ты хочешь, что ты сдѣлаешь и несомнѣнно пойдутъ на удочку, будутъ попадаться къ твоей выгодѣ.

А вѣдь и это, пожалуй, опять-таки правда, думалось мнѣ, и я зорко глядѣлъ на хитроумнаго старичка и какъ бы почувствовалъ къ нему нѣкоторое уваженіе.

— А третье мое тебѣ правило, основанное на опытѣ: быть въ жизни непремѣнно мудрымъ. Самая великая мудрость, какъ ты знаешь, конечно, долгій опытъ; кто же долголѣтніе цѣлыхъ народовъ—никто! и поэтому правильно говорится, что въ пословицахъ мудрость народа, и ты ихъ изучай, и по нимъ жизнь направляй, а какъ направлять—я тебѣ скажу. Я, вонъ, вижу, что у тебя въ книжномъ шкафу «Пословицы» Снегирева стоятъ; отыщи букву «Н» и читай! Одна пословица говоритъ: «натура дура», а другая подлѣ нея стоитъ и во-всю кричитъ, что «натура

не дура; ты ихъ сообрази, взвѣсь, по нимъ дѣйствуй и счастливъ будешь, не раскаешься—нѣкоторая свобода за тобою, ты видишь, остается.

Старичокъ какъ будто усмѣхнулся, сказавъ это, а меня злоба взяла. Я думалъ возражать.

— Ну, ну, не сердись, продолжалъ онъ,—ты еще не очень старъ и часть будущаго передъ тобою; бери отъ него все, что можешь, но только въ мѣру, съ осторожностью. Вотъ хотя бы важнѣйшій для юности вопросъ: любовь... Это вопросъ, подлежащій двоякому разрѣшенію, и все дѣло только въ томъ, чтобы попасть вѣрно, въ мѣру, безъ лжи и по мудрости народной. Одни утверждаютъ, что любовь, по самому существу своему, самое вѣтряное и подвижное изъ чувствъ, и что такимъ оно и быть должно; другіе, наоборотъ, находятъ, что любить въ жизни можно только однажды. Я, продолжалъ старичокъ, подумавъ,—великій странствователь міра, и знаю только одного такого же опытнаго, какъ я, странствователя, только онъ жидъ — Вѣчный Жидъ, и я его не люблю. Мы съ нимъ нерѣдко встрѣчаемся и на роздыхахъ разговариваемъ. Ни въ чемъ, ни въ чемъ не сходимся мы съ нимъ въ нашихъ воззрѣніяхъ, кромѣ одного, однако, и въ этомъ одномъ мы совершенно тождественны. Онъ, какъ и я, мы оба утверждаемъ, что въ дѣлѣ любви несомнѣнно и безусловно правъ только тотъ, кто...

Я заслушивался моего гостя, сидѣвшаго на комодѣ, и даже не сразу замѣтилъ, какъ, мало-по-малу, сталъ онъ блѣднѣть, что голосъ его слабѣлъ, что весь старичокъ какъ-то странно удлинялся, растрепалась его борода, сползли складки бѣлаго балахона, темными, темными пятнами обозначились глубокія глазныя впадины, все лицо, казалось, уходило въ нихъ, и смерть, мгновенная, неожиданная, безжалостная, развѣявала это несомнѣнно умное, но странное

существо; старичокъ быстро таялъ, уходилъ въ какіе-то лоскутья дыма и расплзался слоями... Онъ умеръ!

Тутъ только вспомнилъ я о моей сигарѣ! Окурокъ ея, давно погасшій и успѣвшій даже похолодѣть въ моей рукѣ, свидѣтельствовалъ съ несомнѣнною ясностью о томъ, что убійцею старичка былъ я, что, если бы я продолжалъ курить, онъ продолжалъ бы существовать и говорить со мною, и что если я не умудренъ великою опытностью двухъ многовѣковыхъ странствователей — Елочнаго Старичка и Вѣчнаго Жида—такъ это по своей винѣ, по своей собственной. А счастье было такъ возможно, такъ близко, думалось мнѣ.

Часы пробили три, когда старичка не стало.



## НЕДАВНО НАЙДЕННАЯ ГЛАВА

### ДОНЪ-КИХОТА.

---

Тѣмъ временемъ Санхо, только что проснувшійся, привѣтствовалъ восходившее раскаленнымъ шаромъ солнце почесываніемъ своего праваго бока; онъ, должно быть, долгое время покоился на немъ, избравъ кроватью, поневолѣ, поверхность кочковатаго поля, подготовленнаго къ бороненію.

Чахлая мимоза стояла у Санхо, въ ночи, въ головахъ. Тучный оруженосецъ, отойдя шага на два отъ своего ложа, соображалъ слѣдующее:

— Вѣдь, вотъ, думалъ онъ,—накаталъ я собственными боками довольно гладкую постель; ну, что бы стоило господину рыцарю вторично остановиться заночевать на этомъ самомъ мѣстѣ? Постель готова! Правда, это будетъ уже въ третій разъ, потому что я ясно помню это мѣсто, мы тутъ уже были. Да, да. Вотъ и дорога!

Приэтомъ Санхо взглянулъ въ сторону къ дорогѣ и, ковыляя по кочкамъ, тотчасъ же перевалилъ на нее.

— И чего это онъ мечется? проговорилъ Санхо, взглянувъ съ дороги на Донъ-Кихота, наѣзжавшаго,



неподалеку оттуда, по кочковатому полю, свою Россинанту.

Щить, шлемъ, копье, все это было на немъ, какъ и слѣдовало. Въ яркомъ утреннемъ солнцѣ длинная фигура его качалась въ высокомъ сѣдлѣ самымъ уморительнымъ образомъ.

— Ужъ не выписываетъ ли онъ опять, думалъ Санхо,—какъ это не разъ бывало, подковами лошади сладкое имя своей Дульцинеи?

Санхо имѣлъ нѣкоторое основаніе думать такъ, потому что Донъ-Кихоть, дѣйствительно, ломалъ своего коня самымъ безсовѣстнымъ образомъ. Россинанта то-и-дѣло спотыкалась, и тогда длинныя ноги рыцаря, точно клещи, проскакивали впередъ, далеко впередъ за бедровыя кости лошади.

Когда, послѣ долгихъ усилій, Донъ-Кихоту удалось, наконецъ, поднять коня вскачь, длинные волосы, висѣвшіе съ путовыхъ косточекъ всѣхъ четырехъ ногъ коня, точно густые султанчики, стали болтаться по воздуху и едва не обматывали собою копыта Россинанты.

Санхо давно уже замѣтилъ удивительное отропаніе этихъ волосъ, шедшее рука объ руку съ худобой Россинанты: чѣмъ худѣ становился конь, тѣмъ мохнатѣе, пушистѣе выдавались султанчики путовыхъ косточекъ. Онъ даже принялся за нѣкоторыя соображенія насчетъ того: не отрѣзать ли ихъ, коню легче будетъ, да и волосъ продать можно; но соображенія эти тотчасъ же прекратились, потому что Донъ-Кихоть замѣтилъ проснувшагося Санхо и направился къ нему.

По мѣрѣ приближенія къ оруженосцу, улыбка, давно уже свѣтившаяся на лицѣ Донъ-Кихота, становилась все шире, внушительнѣе, и когда онъ подѣхалъ вровень къ нему, усы рыцаря, обыкновенно

горизонтальные, приподнялись каждый подъ угломъ въ сорокъ пять градусовъ.

— Бьюсь объ закладъ, подумалъ Санхо,—что у него новая затѣя въ головѣ. Лишь бы только опять къ табунщикамъ не попасть и не быть битымъ.

— Прежде, чѣмъ ты успѣешь прочесть «Отче нашъ», сказалъ подъѣхавшій рыцарь,—въ судьбахъ Дульцинеи должна произойти великая перемѣна.

— Какъ такъ, господинъ рыцарь?

— А потому что мы, направляясь въ Микомиконское царство, вмѣсто того, чтобы ѣхать на сѣверъ, куда ѣхали до сихъ поръ, поѣдемъ на востокъ. Подержи коня! проговорилъ Донъ-Кихоть, и началъ слѣзать съ сѣдла.

Привыкшая къ дѣлу рука Санхо точно сама собою отыскала и приняла поводья.

— Поставь коня на дорогу! сказалъ рыцарь.

Дорога была тутъ же, стоило передвинуть Россинанту на два шага. Санхо исполнилъ это, толкнувъ Россинанту въ бокъ. Всѣ трое стояли на пути.

Но тутъ, именно тутъ, случилось нѣчто совершенно неожиданное, поставившее кверху ногами всѣ расчеты не только Санхо, но и самого Донъ-Кихота.

Сдѣлавъ нѣсколько шаговъ по направленію къ восходившему свѣтилу и едва только давъ время вытянуться вслѣдъ за собою Санхо, державшему въ поводу Россинанту, Донъ-Кихоть, словно ошѣненный какою-то особенно свѣтозарною мыслью, или пораженный громомъ, остановился.

Онъ остановился и уткнулъ глаза въ землю такъ быстро и неожиданно, что Санхо, шедшій за нимъ слѣдомъ, даже коснулся его животомъ своимъ, а Россинанта положила голову на плечо Санхо.

— Смотри, Санхо, смотри! воскликнулъ Донъ-Кихоть, указывая пальцемъ на землю.— Видишь?

— Что такое?

— Видишь ты кровь на землѣ?

Съ той несчастной ночи, когда въ корчмѣ Донъ-Кихоть воевалъ съ великаномъ, принявъ за голову великана мѣхъ съ краснымъ виномъ; когда въ самую рѣшительную минуту битвы появились на шумъ люди, принесли фонари и увидѣли Донъ-Кихота прокалывающимъ мѣхъ; когда самъ рыцарь увидѣлъ красную струю вина, обильно брызнувшую изъ мѣха,—видъ этой крови на землѣ подѣйствовалъ на него какимъ-то сходственнымъ образомъ. Созерцая передъ собою дѣйствительную кровь, хотя и запекшуюся, онъ даже содрогнулся.

— О! эта кровь, мрачно проговорилъ рыцарь,—убѣждаетъ меня на первыхъ же шагахъ, сдѣланныхъ нами по новому направленію, на востокъ, что мы идемъ вѣрно!

— Позвольте, господинъ рыцарь... началъ было Санхо.

— На востокъ, на востокъ! Да, именно туда, продолжалъ Донъ-Кихоть,—именно туда! Это первый, несомнѣнный слѣдъ великаго преступленія... Можетъ быть, Дульцинея...

— Да какое же это преступленіе, господинъ рыцарь, когда...

Но и тутъ Донъ-Кихоть не далъ Санхо возможности возражать. Мысли рыцаря клубились бурно, и за потокомъ словъ, обращенныхъ противъ преступленій вообще, а этого преступленія въ особенности, слѣдовали соображенія о томъ, что дѣлать, какъ поступить?

— Коня! коня! завопилъ Донъ-Кихоть неожиданно. Видишь ли, Санхо, видишь ли, тамъ, въ туманѣ, по дорогѣ, приближеніе этихъ полчищъ? Видишь ли ты, какъ близко подтвержденіе моихъ предположеній? Счастливое утро, свѣти мнѣ!

Санхо взглянулъ на востокъ по указываемому направленію; оттуда, насколько мерцаніе дали позволяло различать, двигался отрядъ солдатъ.

Хотя Санхо привыкъ къ увлеченіямъ своего господина, но онъ все-таки не могъ привыкнуть къ тѣмъ пинкамъ, побоямъ и оплеухамъ, которые были слѣдствіемъ этихъ увлеченій.

Ужась объялъ его при одной мысли о томъ, что это не мельницы, не овцы, даже не мирные табунщики, а вооруженные и ученые солдаты, можетъ быть даже съ самопалами, и что тутъ дѣло должно кончиться вовсе не желательно.

— Господинъ рыцарь, началъ Санхо,—это точно, я вижу, солдаты идутъ, но, могу васъ увѣрить, что изъ-за этой крови, на которую я, вотъ, плюнуть готовъ, ополчаться противъ бравыхъ солдатъ...

— Коня! подтвердилъ Донъ-Кихотъ повелительнѣйшимъ голосомъ и, не ожидая исполненія своего приказанія, самъ подошелъ къ сѣдлу и сталъ карабкаться на него. Санхо, по обычаю, поддержалъ стремя.

До солдатъ, мало-по-малу приближавшихся, оставалось еще довольно далеко. Санхо все-таки рассчитывалъ на возможность удержать чрезвычайно опасную ярость Донъ-Кихота и началъ было опять о крови...

— Скажи еще одно только слово, перебилъ его Донъ-Кихотъ,—и, клянусь тебѣ, что твоя спина, Санхо, извѣдаетъ первая силу моего меча.

Донъ-Кихотъ брякнулъ мечемъ. Рыцарь былъ въ сѣдлѣ и, не касаясь еще поводьевъ, началъ разбираться со своими остальными доспѣхами...

— Я это не насчетъ того, господинъ рыцарь, заговорилъ робко Санхо,—чтобы остановить ваше стремительное теченіе, но я насчетъ того, какъ это лучше сдѣлать! Я даже вовсе не прочь...

Донъ-Кихотъ продолжалъ разбираться и слушалъ.

— Я думаю, говорилъ Санхо,—что такъ какъ намъ предстоить, повидимому, правильное сраженіе съ правильными войсками, то надобно и дѣйствовать правильно. Ничто не дѣйствуетъ на противника такъ сильно, какъ гордая увѣренность. Подождете ихъ тутъ, они сами подойдутъ, а я направлюсь въ сторону, къ моей мимозѣ, и составлю резервъ.

Мысль эта понравилась Донъ-Кихоту.

— Бравый оруженосецъ, отвѣтилъ онъ,—ступай въ резервъ.

Санхо не заставилъ повторять приказанія.

Солдаты тѣмъ временемъ быстро приближались; ясно можно было отличить, что это пѣхота, человекъ около сотни. На конѣ сидѣлъ одинъ только начальникъ отряда.

Вытянутые во весь ростъ рыцарь и его конь стояли посреди дороги, освѣщенные яркимъ солнцемъ, безусловно неподвижные, точно статуи.

Донъ-Кихоть и Санхо не могли не замѣтить, что, не доходя шаговъ двухсотъ до рыцаря, отрядъ остановился. Всадникъ обратился къ солдатамъ съ какою-то рѣчью.

— Ага! думалъ Донъ-Кихоть,—онъ свои распоряженія дѣлаетъ.

— Разнесутъ они насъ, разнесутъ! думалъ Санхо, стоя подлѣ мимозы, изображая изъ себя резервъ и искренно жалѣя о томъ, что мимоза недостаточно, или даже вовсе, не прикрывала его собою.

Рѣчь всадника къ солдатамъ была не длинна и чрезвычайно проста; онъ, офицеръ, былъ хорошо знакомъ съ герцогомъ, въ замкѣ котораго такъ недавно и такъ гостепріимно были приняты Донъ-Кихоть и его оруженосецъ, и, какъ и герцогъ, много слыхалъ о рыцарѣ печальнаго образа. Онъ объяснилъ солдатамъ, что это за фигура высится передъ ними въ сіяніи солнца, и просилъ, чтобы они обра-

щались съ фигуροю осторожно и никакого зла ей не дѣлали.

Послѣ этого объясненія отрядъ двинулся навстрѣчу Донъ-Кихоту.

— Остановитесь! громко и внятно проговорилъ рыцарь, когда солдаты подошли къ нему вплотную.

Отрядъ остановился.

— Преступленіе ваше мнѣ извѣстно! Вотъ слѣды его, и Донъ-Кихотъ указаль приэтомъ на запекшуюся кровь, образовавшую среди дороги порядочное пятно.

Отрядъ, какъ былъ, весь цѣликомъ, молча улыбался.

— Кровь, всякая кровь вопіетъ о возмездіи. Мои резервы сильны! Сдаетесь ли вы и согласны ли на условія? Господинъ рыцарь, добавилъ Донъ-Кихотъ, обращаясь къ офицеру, — сопротивляться съ вашей стороны будетъ безуміемъ, будетъ безсовѣстно!

— Знаю, и вполне вѣрю этому, отвѣтилъ офицеръ.

— Сдаетесь?

— Сдаемся, но только подъ условіемъ, господинъ рыцарь, что вы позволите намъ остановиться подлѣ вашихъ резервовъ и пригласить васъ, и резервы ваши, къ завтраку, чѣмъ Богъ пошлеть. Добрый стаканъ вина и кусокъ говядины будутъ не лишнею данью нашей покорности и удивленія.

Какъ ни далеко стояли резервы отъ этой сцены, но приглашеніе къ завтраку услышали и двинулись ему навстрѣчу.

Впрочемъ, убѣжденія, съ которыми приближался Санхо, желая склонить рыцаря къ перемирію, оказались излишними. Донъ-Кихотъ былъ глубоко польщенъ словами офицера, данью удивленія; да и завтракъ оказывался не лишнимъ.

— Хотя, заговорилъ послѣ короткаго раздумья Донъ-Кихотъ, — условія предлагаются обыкновенно

побѣдителемъ, но рыцарское чувство возбраняетъ мнѣ пользоваться моею побѣдою вполне, тѣмъ болѣе, что покорность ваша такъ безусловна. Я принимаю ваше предложеніе.

Офицеръ почтительно поблагодарилъ. Онъ провидѣлъ любопытный завтракъ съ рыцаремъ печальнаго образа. Солдаты были тоже очень довольны. Веселье сходило на всѣхъ и никто не былъ обманутъ въ своихъ ожиданіяхъ.

Во время завтрака, Санхо, сидѣвшій съ солдатами поодаль отъ офицера и рыцаря, по обыкновенію, разболтался не на шутку и сообщилъ, между прочимъ, что пятно крови, на которое Донъ-Кихоть указалъ какъ на слѣдъ преступленія, было ни чѣмъ инымъ, какъ его собственнымъ, Санховымъ, слѣдомъ: у него шла кровь носомъ именно на этомъ мѣстѣ.

— Нашъ рыцарь забывчивъ, объяснилъ онъ, — напоминаній не допускаетъ, а подите-ка, скажите: что бы случилось съ нами, если бы онъ разогналъ на васъ свою Россинанту... Ужасъ что бы было!

Завтракали долго и выпили больше, чѣмъ слѣдуетъ.



## СКАЗКА ТЫСЯЧА ВТОРОЙ НОЧИ.

---

Прошла тысяча первая ночь.

Въ столицѣ Шахріара, великаго повелителя Персіи и Индіи, стояла великая тревога. На всѣхъ устахъ только и было рѣчи, что о Шехеразадѣ и ея удивительныхъ сказкахъ. Дворецъ повелителя, колонны и стѣны котораго отливали перламутромъ и эмалью, всегда таинственный, казался теперь еще загадочнѣй; бородатые часовые окружали его со всѣхъ сторонъ; головы казенныхъ женъ торчали на пикахъ. Такъ какъ газетъ въ то время не было, а потребность въ сообщеніяхъ всякихъ новостей имѣлась на-лицо не меньшая, то людямъ, подъѣзжавшимъ къ городу со стороны моря, всякимъ купцамъ и мореплавателямъ, толпившимся въ гавани, то-и-дѣло объясняли наново, отчего въ городѣ такая смутная тревога.

— Три года тому назадъ, говорили имъ,—нашего великаго повелителя Шахріара обманула его недостойная жена и всѣ другія жены тоже. Нашъ повелитель всѣхъ ихъ переказнилъ и далъ обѣщаніе жениться каждый день на новой женѣ и, для полной увѣренности въ вѣрности ея, на слѣдующій день казнить.



— Такъ это шло долгое время, говорили другіе,— и цвѣтистые ряды нашихъ самыхъ красивыхъ дѣвушекъ сильно порѣдѣли. Во всѣхъ семьяхъ плачь и стоны. На обязанности великаго визиря лежало убивать самолично послѣднюю изъ женъ. Вдругъ, дочь этого самаго великаго визиря, Шехеразада, заявляетъ отцу, что желаетъ выйти замужъ за повелителя. Можно представить себѣ ужасъ отца: не могъ же онъ желать стать убійцею своей собственной дочери, а это должно было случиться несомнѣнно, потому что воля Шахріара отличалась свѣрѣпою непреклонностью.

— Ну и что же, спрашиваютъ удивленные купцы и мореплаватели,—по примѣру другихъ убита также и Шехеразада и голова ея торчитъ, вѣроятно, на одномъ изъ окружающихъ дворецъ копій?

— Нисколько, отвѣчаютъ имъ.—Сегодня прошла тысяча первая ночь и вотъ уже кончается и тысяча первое утро, а ее не казнятъ. Мы ждемъ не дождемся и ничего не понимаемъ.

— Какъ же объясняете вы, однако, спрашиваютъ купцы и мореплаватели,—это удивительное явленіе?

— Толкуютъ, будто Шехеразада съ перваго дня брака рассказывала повелителю по ночамъ удивительныя сказки и вела свой рассказъ такъ, что къ утру сказка не досказывалась, а останавливалась на самомъ любопытномъ мѣстѣ. Повелитель, желавшій узнать конецъ сказки, откладывалъ казнь Шехеразады. Такъ это и шло, вотъ уже третій годъ подъ-рядъ и всѣ мы ждемъ и не дождемся, и всѣ въ тревогѣ, и ничего рѣшительно не понимаемъ.

— Да неужели же дѣло въ однѣхъ только сказкахъ? спрашиваютъ удивленные купцы и мореплаватели,—нѣтъ ли тутъ чего другого?

— Великъ пророкъ! онъ знаетъ, а мы не знаемъ. И тревога въ городѣ растетъ. Биткомъ набиты

товарами и людьми караванъ-сарай: тотъ или этотъ купецъ, сдѣлавъ свое дѣло, давно бы уѣхать, но любопытство такъ сильно, что удерживаетъ его: имя благодѣтельницы Шехеразеды на всѣхъ устахъ: если бы не она, то вокругъ дворца, отливавшего эмалью и перламутрами, стояла бы лишняя тысяча копій съ женскими головами. Слава Шехеразадѣ и ея удивительнымъ сказкамъ! Слава великому визиру, имѣющему такую дочь! Слава повелителю, любящему сказки!

Вдругъ, все, что толпилось по площадямъ и въ караванъ-сараяхъ народу, хлынуло навстрѣчу какой-то удивительной, небывалой процессіи. Давка произошла страшная, даже ослось, прочно стоявшихъ на всѣхъ четырехъ ногахъ, сбита и смята эта несуразная волна людская, ринувшаяся къ одной изъ улицъ, направлявшихся ко дворцу: такъ стремится по хорошо мощеннымъ улицамъ дождевая вода, къ сторонамъ ея или къ срединѣ, смотря по тому, гдѣ и какъ это устроено. Никакими силами нельзя было удержать этотъ потокъ бритыхъ головъ правотѣрныхъ, кое-гдѣ покрытыхъ пестрыми чалмами, этихъ бронзовыхъ людей пустыни, великихъ и малыхъ, женщинъ и дѣтей, направлявшихся въ одну сторону — къ процессіи. Крикъ, гвалтъ, вопли свидѣтельствовали о томъ, гдѣ именно, въ какомъ мѣстѣ достигала давка самыхъ невозможныхъ размѣровъ. Особенно плохо приходилось всякимъ безрукимъ, кривымъ, прокаженнымъ, постоянно наполнявшимъ торжища столицы повелителя правотѣрныхъ Шах-ріара.

Впереди процессіи ѣхали на статныхъ коняхъ, чистѣйшей арабской крови, тонкія жилки которыхъ сквозили изъ-подъ мягкаго, какъ шелкъ, волоса темныхъ мастей, въ красныхъ плащахъ смуглые джигиты, не особенно много церемонясь съ толпами

людскими; за ними шествовали, по два въ рядъ, чернокожіе рабы, босоногіе, въ полосатыхъ, синее съ бѣлымъ, курткахъ и въ желтыхъ шапочкахъ; за тѣмъ на бѣломъ конѣ, увѣшанномъ золотыми цехинами и побрякивавшимъ ими, красовался главный руководитель всѣхъ порядковъ дворца Шахріарова, длиннородый курдъ въ бѣлой чалмѣ. Всѣ эти люди двигались одни за другими, предшествуя тремъ совершенно nepocтижимымъ и для толпы новымъ носилкамъ. На первыхъ, въ рукахъ смуглой невольницы, въ золотой корзинѣ, виднѣлся ребеночекъ лѣтъ трехъ; во второй, серебряной, ребеночекъ двухлѣтній, а въ третьей, брилліантовой, весь завернутый въ драгоцѣнныя ткани, должно быть тоже дитя, но только новорожденное; кричало ли оно — неизвѣстно, потому что говоръ толпы покрывалъ собою всѣ отдѣльные мелкіе голоса и голосочки. Разукрашенные павлиньими перьями вѣра качались на длинныхъ металлическихъ древкахъ надъ всѣми тремя носилками, отѣняя ихъ своими подвижными маковками; носильщики шли въ ногу, оберегая ввѣренныя имъ ноши отъ всякаго рѣзкаго толчка или качанія.

Но главнымъ предметомъ, останавливавшимъ на себѣ все вниманіе правовѣрныхъ, былъ верблюдъ, замыкавшій шествіе. Между двухъ горбовъ его, высоко надъ толпою, покачивалась богато убранная корзина и въ ней, подъ навѣсомъ бѣлой съ золотомъ тафты, высоко царило многимъ хорошо знакомое, сморщенное, загорѣлое лицо одной изъ повивальныхъ бабушекъ, пользовавшихся въ городѣ очень почтенною извѣстностью. Крючковатый носъ и остренькіе глазки Зобеиды принимали видимое участіе въ торжественности минуты; ея носъ то-и-дѣло поднимался надъ толпою, облегчая дѣло плутоватымъ, ярко блиставшимъ глазамъ, бѣгавшимъ по

сторонамъ и какъ будто вглядывавшимся въ каждаго.

— Зобеида!!

— Она! Зачѣмъ? Что такое?

И люди, не давая себѣ отчета, глазѣли во всю на тихо подвигавшееся шествіе. Было около полудня, когда оно, взобравшись по нѣсколькимъ террасамъ, окружавшимъ дворецъ повелителя, сквозь цвѣточныя куртины и пальмовыя насажденія, втянулось во дворецъ и будто потонуло въ немъ. Догадкамъ не было конца и только очень немногіе приближались къ истинѣ.

Когда миновалъ тысяча первый день и наступала тысяча вторая ночь, въ городъ стали мало-помалу проникать слухи, объяснявшіе случившееся. Точнѣе прочихъ оказались свѣдѣнія, принесенныя Али-Бабою и подтвержденныя Синдбадомъ-морякомъ и Абу Хассаномъ, умѣвшими проникать сквозь стѣны и видѣвшими даже во тьмѣ. Они говорили, что когда повелитель правовѣрныхъ, наскучивъ сказками Шехеразады, повелѣлъ, по примѣру прочихъ женъ, отрубить голову и ей, Шехеразада устроила такъ, что къ этому времени принесены были во дворецъ тѣ три дитяти, которыя за время тысяча и одной ночи разсказовъ явились на свѣтъ. На всякій случай приказано было прибыть во дворецъ и бабушкѣ Зобеидѣ, только не входить къ повелителю, а ожидать дальнѣйшихъ приказаній.

Вѣрно и исторически неопровержимо, что когда Шахріаръ увидалъ дѣтей своихъ, то, въ порывѣ необычайной нѣжности, простилъ Шехеразаду, которая не замедлила расцвѣсти по этому поводу новою, необычайною красотою.

— Даруя тебѣ жизнь, сказалъ ей повелитель правовѣрныхъ,—я желалъ бы, однако, увидать воочію хотя одно изъ тѣхъ удивительныхъ чудесъ, про ко-

торыя ты мнѣ разсказывала. Удивительна твоя Аладдинова лампа и невѣроятны всѣ твои великаны, людоѣды и карлики, но еще невѣроятнѣе то, какъ это случилось, что я, ставъ отцомъ трехъ дѣтей, которыхъ ты являешься матерью, не замѣтилъ этихъ тройственныхъ событій? Покажи мнѣ ту повивальную бабушку, которая, конечно, не безучастна въ подобной хитрости и является сама чудомъ изъ чудесъ.

— Повелитель! я такъ привыкла предугадывать всѣ твои малѣйшія пожеланія, что могу исполнить и это. Повивальная бабушка Зобеида, которую ты желаешь осчастливить лицезрѣніемъ твоего могущества, здѣсь, только она не смѣла предстать предъ твои свѣтлыя очи.

— Здѣсь? такъ введи ее ко мнѣ!

Стражники не замедлили ввести почтенную бабушку; она глядѣла точно такою, какою видѣлась людямъ изъ корзины на верблюдѣ; только носъ ея былъ опущенъ долу и острые глаза полузакрыты; такъ повліяло на нее присутствіе Шахріара и неизвѣстность того: награждать ее или отрубать ей голову?

— Скажи мнѣ, Зобеида, началъ повелитель правовѣрныхъ, какъ это случилось, что я, который все-таки не лишенъ ни зрѣнія, ни мышленія, ни осязанія, не замѣтилъ въ теченіе тысячи слишкомъ сутокъ, что былъ за это время трижды осчастливленъ доброю надеждою увеличенія семьи? Какъ это случилось, что сквозь медоточивыя рѣчи Шехеразады, яркія какъ розы Гулистана, исчезали предо мною трижды возникавшія очертанія моего отеческаго благополучія?

— Это наша тайна, великій государь, отвѣтила Зобеида.

— Это больше чѣмъ тайна! Это чудо, и настолько замѣчательное, что въ длинномъ ряду повѣданныхъ

мнѣ другихъ чудесъ, именно съ нимъ хотѣлось бы мнѣ познакомиться въ особенности.

— Предоставь это сдѣлать мнѣ, мой повелитель, перебила Шехеразада,—и да послужить этотъ разсказъ мой содержаніемъ сказки наступающей тысяча второй ночи.

Содержанія этой сказки въ историческихъ документахъ не сохранилось. До насъ дошли только начальныя слова ея:

«Я повѣдаю тебѣ на этотъ разъ, говорила Шахріару Шехеразада,—какъ можно изъ ничего создать что нибудь и какъ многое изъ того, что несомнѣнно доказано, могло не существовать вовсе и наоборотъ...»

Этими словами ограничиваются всѣ историческія свѣдѣнія о сказкѣ тысяча второй ночи, хранящіяся во многихъ восточныхъ архивахъ. Найдется ли продолженіе—неизвѣстно.



## Θ Ε Κ Λ Υ Ш А.

---

### I.

Въ нѣкоемъ селеніи на берегу Ладожскаго озера, обиталъ рыбакъ, изъ наиболѣе зажиточныхъ рыбаковъ, имѣвшій, кромѣ хозяйки-Θеклуши, двухъ коровъ, двухъ лошадей и четырехъ ребятишекъ отъ первой жены; всѣхъ ногъ въ семьѣ и въ хозяйствѣ, считая и ноги хозяина, имѣлось на-лицо только двадцать семь, потому что одинъ изъ сыновей рыбака явился на свѣтъ одноногимъ. Всѣ эти люди, животныя и ноги жили вмѣстѣ. Θеклуша, небольшого роста, чуть-чуть горбатая, обладавшая пріятнымъ голоскомъ для праздничныхъ пѣсенъ, была характера мягкаго, сердца незлобиваго, всегда прилежная и ни съ кѣмъ никогда не спорила. Совершенную особенность Θеклуши составляли ея глаза: слегка косенькіе, они были такъ кротки, такъ нѣжны, что невольно и неудержимо влекли къ ней. Особенно сильна становилась эта притягательная сила, когда Θеклуша—что случалось очень рѣдко—заговаривала быстрѣе, горячѣе обыкновеннаго; общее впечатлѣніе ея маленькой особы сказывалось тогда самымъ

пріятнымъ образомъ, а если къ этому прибавить Ѳеклушину чистоплотность,—довольно рѣдкое явленіе на берегахъ Ладожскаго озера, между мѣстными рыбаками и рыбачками,—да молодые годы Ѳеклуши (она доживала свою двадцать пятую весну), то становится понятнымъ, почему молодые парни чаще, чѣмъ нужно, и дольше, чѣмъ можно было, останавливались передъ хатою Ѳеклушина мужа. Онъ былъ гораздо старше Ѳеклуши—лѣтъ на двадцать.

Дѣло въ томъ, что однажды весною, неожиданно для всѣхъ, особенно для мѣстныхъ полицейскихъ властей, Ѳеклуша найдена была скоропостижно умершею. Началось слѣдствіе, которое обнаружило разрывъ сердца и больше ничего не открыло. Говорили въ народѣ кое-что о мужѣ; но неопровержимыхъ уликъ не имѣлось никакихъ, и дѣло предано забвенію. Ѳеклушу похоронили, надъ могилой ея поставленъ крестъ—и этимъ все кончилось. Зашумѣлъ надъ схороненною вѣтеръ, принесъ съ собою песокъ, полились дожди, спустилась зима и одѣла могилу Ѳеклуши бѣлымъ саваномъ.

Вотъ все, что извѣстно міру,—а на самомъ дѣлѣ исторія сложилась совершенно въ другомъ смыслѣ, потому что Ѳеклуша, хотя это совершенно невѣроятно, была потомкомъ одного изъ тѣхъ ветхозавѣтныхъ людей, что строили вавилонскій столбъ. Когда Господь въ справедливомъ гнѣвѣ своемъ разрушилъ дерзкое и нечестивое человѣческое предпріятіе, постройку вавилонскаго столба, то проклялъ онъ всѣхъ участвовавшихъ въ постройкѣ, повелѣлъ имъ скитаться до скончанія вѣка и не имѣть входа ни въ адъ, ни въ рай, ни въ чистилище. Слово Бога не прошло даромъ: поумирали одинъ за другимъ строители, и безпокойныя души ихъ начали скитаться въ подлунной.

Одна изъ этихъ душъ, урожденная вавилонянка,



принадлежала нѣкогда бородатому родичу тѣхъ знаменитыхъ, до-историческихъ халдейскихъ волхвовъ, которые почти присутствовали при потопѣ и писали на тѣхъ пергаментѣхъ, кусочки которыхъ дошли до насъ въ твореніяхъ Верозія. Рожденная въ плодотворной Мессопотаміи, такъ красиво и ярко описанной Геродотомъ, огненная и жгучая по природѣ, какъ пески степей, окружавшихъ ея родину, подвижная и сильная, какъ вѣтеръ пустыни,—душа-вавилонянка, покинувъ бременное тѣло, стала скитаться по бѣлому свѣту. Незримая и неуловимая, побывала она вездѣ,—и вздумалось бѣдной проклятой душѣ, отъ безконечной грусти, несомнѣнно присущей безконечной свободѣ и ничегонедѣланію, создать себѣ какое нибудь дѣло.

Это оказалось нелегко. Какимъ дѣломъ, по-истинѣ, могла заниматься безсмертная, безплотная душа? Стать участницею дѣйствительной жизни нашего міра и недѣйствительной жизни міра загробнаго—она не могла. Предвѣчный запретъ возбранялъ ей это. Но если бы и не такъ, то быть непосредственною участницею въ нашей жизни она все-таки не могла бы: что понимала она, какою стороною своего исключительнаго существованія могла она породниться и принять участіе въ историческомъ бытіи земли, мѣнявшемся такъ безостановочно, начиная отъ одѣяній и обычаевъ, въ длинномъ и разнообразномъ теченіи нѣсколькихъ тысячъ лѣтъ? Что могло быть общаго между нею и бритыми сельджуками, завладѣвшими ея родиною? что общаго между маститымъ вавилоняниномъ-халдеемъ въ длинномъ таларѣ и однимъ изъ несомнѣнныхъ потомковъ его, раздушеннымъ и напудреннымъ дворяниномъ двора Людовика XIV, одѣтымъ въ куцый бархатный камзолъ? что общаго между нимъ и дѣятельностью русскаго мирового судьи на берегахъ Невы, между ко-

торыми одинъ, въ силу странныхъ случайностей, оказался тоже ея родственникомъ? Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только вспомнить, что душѣ, для непосредственнаго участія въ жизни, не хватало простого знанія языковъ! Въ длинномъ, безконечномъ ходѣ столѣтій, на глазахъ души быстро нарождались новые языки и нарѣчія, создавались и умирали грамматики. Было для души такое время, когда старогреческій языкъ являлся на землѣ великою новостью. Но что могла бы душа понять въ языкахъ и нарѣчіяхъ нынѣшнихъ германцевъ и бриттовъ? Какимъ способомъ могла бы она осилить жаргонъ гастонца или бердичевского еврея? Теперь, въ наши дни, конечно, работа эта оказалась бы легче и возможнѣе, послѣ появленія сравнительныхъ грамматикъ и трудовъ Буслаева, Боппа, Макса Миллера и другихъ. Но именно теперь, какъ мы это увидимъ, душѣ нѣтъ болѣе никакого дѣла до европейскихъ языковъ и всякихъ сравнительныхъ грамматикъ.

Итакъ, какое же занятіе могла пріускать себѣ странствующая душа? Она, какъ существо разумное, создала себѣ занятіе, а именно: рѣшилась слѣдить за своими потомками. Слѣдить за чѣмъ-нибудь вполне, хотя бы безучастно, безлично и безостановочно, но все-таки слѣдить—это нѣкоторымъ образомъ тоже настоящее дѣло. Кто не знаетъ, что можно слѣдить даже за клубомъ дыма, за собственной мыслью, сознавая, что слѣдишь за нею? Это, конечно, неблагодарныя занятія, не способныя, повидимому, удовлетворить самага малотребовательнаго человѣка, но это все-таки занятія, которыми живутъ и дышатъ сотни, тысячи печальныхъ, больныхъ и заключенныхъ. Стоитъ вспомнить, какъ слѣдилъ Бониваръ изъ своей тюрьмы за полетомъ ласточки, за бѣготнею мыши; стоитъ вспомнить, какъ слѣдятъ арестанты въ Сибири за томительно-однообразнымъ

уходомъ дней и приходомъ ночей. Тамъ, гдѣ судьба или случай лишаютъ человѣка его лучшихъ благъ—свободы двигаться и дѣйствовать, гдѣ внѣшняя жизнь становится для человѣка совсѣмъ чужою жизнью и не имѣетъ для него даже столько плоти, сколько имѣетъ отраженіе предмета въ зеркалѣ,—тамъ пробуждается въ груди сознающаго, еще не оступѣлаго существа, свой міръ, свое бытіе. Исключительно изъ своего «я» порождаетъ оно своихъ обитателей, свои страны, свою природу. Доступнѣе того міра, отъ котораго оторвано существо, является этотъ міръ его мечты и сновидѣній. Воспоминанія питаютъ и живутъ эту легкую, кружевную растительность, воображеніе служитъ этому міру свѣтомъ и тепломъ, «слѣдить» становится творчествомъ,—и наша душа-вавилонянка принялась слѣдить.

Такъ, вернувшись однажды на берега Евфрата, на свою родину, послѣ очень долгаго скитанія, душа-вавилонянка съ трудомъ отыскала правнуковъ своихъ праправнуковъ. Она созерцала, какъ, сквозь долгіе вѣка и въ густыхъ толпахъ людскихъ, пробивался ея родъ отдѣльною, самостоятельною, но все-таки замѣтною струйкою; какъ мѣняла эта струя свои направленія, то вздуваясь неумѣренною плодovitостью и многоженствомъ степного патріарха, то исчезая почти совершенно, благодаря полнѣйшему аскетизму и монашескому воздержанію другихъ ея родичей. Удивительныя вещи могла бы разсказать душа о подвижности и запутанности всякихъ семейныхъ и родовыхъ отношеній, о томъ, кто и какъ является кажущимся, или настоящимъ отцомъ, или матерью, о томъ, какъ мало правды во всѣхъ разсчетахъ жизни, и какое громадное значеніе имѣютъ въ жизни и исторіи случаи и мелочи. Въ этомъ отношеніи между душою-вавилонянкою и научными доказательствами англичанина Бокля выяснилась бы значительная связь.

Для образчика стоит упомянуть о томъ, какъ разнообразно было движеніе рода нашей души, напримеръ, только въ географическомъ отношеніи. Мы не скажемъ даже ни слова о движеніи одной изъ главныхъ отраслей этого рода на востокъ съ береговъ Евфрата, о судьбахъ ея въ Индіи, Китаѣ, на Молуккскихъ островахъ, тамъ, гдѣ легаютъ подъ жгучимъ солнцемъ аршинныя бабочки, гдѣ за верхушки пальмъ цѣпляются, проскользая по небу, метеоры. Мы ограничимся гораздо меньшимъ, а именно перечнемъ географическаго странствованія другой отрасли ея родичей на западъ, въ міръ христіанскій, къ Европѣ.

Занимая довольно видныя и очень доходныя мѣста въ царствахъ старо- и ново-авилонскихъ, родъ нашей души удержался на этой высотѣ и ко времени знаменитаго персидскаго царя Кира. Только къ третьему вѣку до Христа, очень раннее и таинственное исканіе чего-то лучшаго въ жизни сокрушило этотъ родъ: члены его стали дружить съ жившими тогда во множествѣ въ персидской монархіи греками; они, якобы во имя спасенія своего отечества, Персію, отъ тираніи своихъ родныхъ властителей, поклонились восходившей тогда греческой звѣздѣ Александра Македонскаго, за что и принуждены были покинуть Персію и переселиться къ мудрымъ египетскимъ Птоломеямъ.

Перемена климата, грусть по родинѣ, а также и другія чисто фізіологическія причины повліяли на то, что въ Египтѣ родъ этотъ сильно захирѣлъ; и было такое время, что душа, слѣдя за нимъ, стала отчаяваться въ его продолженіи и въ возможности слѣдить. Сохраненію рода помогла, однако, судьба. Когда весь онъ сосредоточился въ одной особѣ, въ красивой, умной и очень здоровой женщинѣ, Египтомъ овладѣли римляне; падшіе до красивыхъ женщинъ—они взяли эту красавицу съ собою; поприще

свое въ Римѣ начала эта женщина съ того, что подарила взявшему ее съ собою воителю сразу двухъ сыновей. Затѣмъ плодовитость оставила ее, но родъ все-таки сохранился. Сильный мужескими достоинствами и солдатскою доблестью, онъ продѣлалъ съ Римомъ всю исторію кесарей, и не трудно понять, почему и какъ пустилъ онъ впослѣдствіи свои отпрыски въ Галлію, Испанію и Германію. Испанскій отпрыскъ зачахъ, галльскій зачахъ тоже, но германскій былъ живучъ и пошелъ въ ростъ.

Душа-родоначальница не уставала слѣдить за нимъ. Она привыкла къ жизни странницы, и эта жизнь нравилась ей. Но съ переходомъ въ Германію душѣ стало какъ-то неловко.

Все, что знала она до сихъ поръ, все это не имѣло ничего общаго съ германскимъ міровоззрѣніемъ. Прежде всего пришлось душѣ заняться изученіемъ нѣмецкаго языка! Къ счастью, заведеніе, открытое Карломъ Великимъ въ Ахенѣ, помогло ей въ этомъ дѣлѣ; гнѣздясь подъ арками знаменитой «Schola Palatina», она вытверживала склоненія и спряженія новаго для нея говора и совершенно чуждыхъ формъ его, и кое-какъ научилась ему. Долгіе мрачные годы среднихъ вѣковъ жили родичи нашей души преимущественно подлѣ благодатнаго Рейна. Между ними народилось много мейстерзингеровъ и миннезингеровъ, одинъ замѣчательный бочаръ (тотъ, о которомъ писалъ Гофманъ), одинъ акробатъ и одинъ католическій епископъ, изображеніе котораго, въ шпанкѣ съ ослиными ушами, имѣется въ Кѣльнскомъ соборѣ.

Не совсѣмъ ловко пришлось душѣ въ началѣ XVI вѣка, ко времени реформаціи. Часть родичей ея стала протестантами, другая, большая часть, осталась католиками. Слѣдить одновременно за тѣми и другими оказалось невозможно, надо было остаться въ одномъ изъ лагерей. Душа, какъ существо умное

и наученное опытомъ, избрала лагерь протестантскій, по двумъ причинамъ: во-первыхъ, она стояла всегда за развитіе и свободу; во-вторыхъ, одинъ изъ католическихъ ея потомковъ, послѣ измѣны Морица, курфюрста саксонскаго, неосторожно проклиналъ своихъ родителей и проклиналъ корень своего рода. Задѣтая за живое, душа распростилась съ католиками и всецѣло перешла на сторону протестантовъ. Душа не знала, что этимъ самымъ она открывала себѣ дорогу въ Россію.

Находясь въ лагерьѣ протестантовъ въ 30-ти-лѣтнюю войну, наша вавилонянка гостила при дворѣ прусскихъ властителей, тогда еще очень маленькихъ и ничтожныхъ; здѣсь участвовала она въ фантастическихъ предпріятіяхъ масоновъ и розенкрейцеровъ, присутствовала при вызываніи духовъ по требованію съумасшедшаго короля и ознакомилась очень коротко съ достопочтенною графинею Лихтенау; это случилось потому, что одинъ изъ ея потомковъ считался самымъ отъявленнымъ розенкрейцеромъ и другомъ шарлатана Вольнера. Изъ Пруссіи прямая дорога шла въ Россію, къ русскимъ масонамъ новиковского кружка. Послѣдній потомокъ души, сосланный у насъ, именнымъ указомъ, на жительство въ края не столь отдаленные, а именно къ берегамъ Ладожскаго озера, вызвалъ незаконнымъ образомъ на свѣтъ дѣда знакомой намъ Ѳеклуши, — и душа-вавилонянка поселилась на берегу русскаго Лемана.

## II.

Русскій Леманъ! мало кто изъ жителей сосѣдней столицы ѣздилъ къ тебѣ на поклонъ, мало кому случилось видѣть тебя отъ одного берега до другого и посѣтить обитель Валаама съ ея тихими кельями и гранитными утесами; еще меньше такихъ, кому уда-

валось видѣть тебя въ бурю, когда сѣверный жгучій вѣтеръ, ничѣмъ незадерживаемый, налетитъ на твои глубокія, темныя воды и начинаетъ перебрасывать по нимъ потемнѣвшія отъ времени барки и лодки. А красивъ ты въ бурю, русскій Леманъ, особенно если смотрѣть на тебя изъ обители Валаама, съ гранитныхъ утесовъ и безъ всякой боязни.

Красоту эту давно замѣтила и Өеклуша.

Есть такія благодатныя натуры, что далеко опережаютъ нравственнымъ развитіемъ своимъ свое умственное развитіе. Прежде всего этотъ недостатокъ равновѣсія въ духовныхъ силахъ неизвѣстенъ имъ самимъ. Ни одно школьное знаніе, ни одна научная клечка не подскажутъ имъ, понятно для нихъ самихъ, о существованіи тѣхъ роскошныхъ задатковъ чувства и впечатлительности, которыми живутъ ихъ сердца; а между тѣмъ всѣ они есть въ нихъ, эти задатки, они присущи имъ.

Такъ было и съ Өеклушей. Она, напримѣръ, не имѣла даже понятія о томъ, что такое женственность, и что есть такая идея, которая называется идеею женственности; тѣмъ не менѣе, она обладала такимъ обильнымъ количествомъ этого лучшаго украшенія слабой половины человѣческаго рода, что имъ можно бы было снабдить вдосталь цѣлый десятокъ нашихъ свѣтскихъ красавицъ. Өеклуша и не чуяла, напримѣръ, что существуетъ на свѣтѣ поэзія, идеалы, — а между тѣмъ вся жизнь ея мечты была глубоко поэтична, и она стремилась, сама того не сознавая, къ идеальному—и гдѣ же это: подлѣ грязнаго и грубаго мужа-чухны?

Подобно тому какъ зародилось въ сердцѣ Өеклуши, произвольно и безъ ея участія, сознаніе женственности и чувство поэзіи, такъ точно было это и съ прочимъ богатствомъ ея сердца. Она жила самою полною жизнью своей маленькой души, она не подво-

дила только этихъ явленій подѣ разными рубрики и таблицы, не сводила итоговъ, она не сознавала того, что эти явленія — явленія, и что тутъ нужны какіе-нибудь итоги. Это богатство внутренней жизни отнюдь не мѣшало ей быть рабочею женою простого чухны, ходить въ лаптяхъ или босикомъ, доить коровъ и гонять ихъ предлинною сучковатою хворостиною.

Не трудно представить себѣ, что въ этой Оеклушѣ безсознательно, но совершенно естественно сложился мало-по-малу такой характеръ, который не могъ нравиться ея мужу, пьяному чухнѣ. Не то чтобы она дурно работала, не то чтобы была непорочною, не то чтобы была сварливою, а какъ-то слишкомъ была она сама по себѣ! Ну, и доставалось же ей: и корова-то дурно подоена, и дѣти-то не присмотрѣны, безногому — одинокую ногу подшибли, и проч., и проч. Терпѣла Оеклуша — отмалчивалась и порою плакала, только не ревмя-ревѣла, чтобы сосѣди слышали, а такъ, втихомолку, утереть слезу — да будто ни въ чемъ не бывало.

Пуще всего не нравилось мужу то, что холодна она была къ нему. Прямыхъ доказательствъ невѣрности ея онъ не имѣлъ, и косвенныхъ тоже не имѣлъ, да ихъ не могло и быть: Оеклуша неоспоримо и свято была вѣрна ему; гдѣ ей было думать о невѣрности, когда она, какъ лошадь, работала?.. Синяки да царапины, наносимые мужемъ, то и дѣло проявлялись на ея маленькомъ и слабомъ тѣлѣ и только замѣнялись одни другими. Нашлась добрая сосѣдка: «подай, говорить она ей, въ судъ»; нашелся ходатай, и подала Оеклуша жалобу на мужа своего въ судъ, — что бьетъ онъ и истязуетъ ее.

А что же въ это время думалось прашуру Оеклуши, душѣ-вавилонянкѣ? Что ей думалось! Многое видѣла она и давно отвыкла чему-либо удивляться,



но отвыкнуть грустить не могла. Жаль ей было видѣть своего потомка живущимъ въ великомъ горѣ и безпомощности. Какъ принимаетъ на себя мать, братъ или сестра вздохъ кончины умирающаго родного, когда вздохъ этотъ покидаетъ опадающую на всегда грудь, такъ смотрѣла на Ѳеклушу душа-вавилонянка, съ тою только разницею, что вся жизнь Ѳеклуши была для нея этимъ послѣднимъ вздохомъ.

И въ самомъ дѣлѣ: могучій, славный и многочисленный когда-то родъ, пережившій не одну тысячу лѣтъ, обошедшій землю, сосредоточился теперь въ этомъ скромномъ лучѣ догоравшаго дня, въ этой бѣдной, горбатой чухонкѣ. Никого-то она не обижала, ничего, косенькая, она не хотѣла, и слезамъ-то своимъ много мѣста не требовала—и вотъ ее-то, эту сирую и одинокую, бьютъ да бьютъ, на глазахъ незримаго, но присутствующаго при этомъ праотца.

Много разъ передергивало душу-вавилонянку въ ея безсмертіи, но въ мірѣ матеріальномъ эти передергиванія не выражались ничѣмъ: ни бурей, ни молніею, ни звукомъ какимъ-нибудь. Пришло, правда, ей разъ на мысль опрокинуть лодку, на которой плылъ на рыбную ловлю мужъ Ѳеклуши; но желаніе это осталось, однако, неисполненнымъ; такіа своевольства запрещены душамъ.

Послѣ поданія Ѳеклушею жалобы въ окружный судъ, душа стала нетерпѣливо ожидать дня рѣшенія; она понавѣдывалась то къ прокурору, то къ предсѣдателю, то къ защитнику; она проглядывала даже газеты: не поднимется ли гдѣ-нибудь голосъ въ защиту сироты? Голоса нигдѣ не поднимали, или—лучше—поднимали, часто поднимали, да только при этомъ и оставались. Нервно и безпокойно ожидала душа рѣшенія окружнаго суда. Послѣдняя ночь передъ засѣданіемъ была для нея невыносимою, но и она прошла. Прошло и засѣданіе. Въ судѣ

рѣшили, и такъ это впослѣдствіи пропечатали, что: «такъ какъ мужъ и жена одно и то же, то и оскорбленій чести между ними быть не можетъ».

Все терпѣла, все выносила душа-вавилонянка, но этого вытерпѣть не могла! сквознымъ вѣтромъ вынеслась она въ форточку суда, вылетѣла на Литейный, поднялась вверхъ по Невѣ и явилась къ своему обыкновенному мѣсту жительства, въ одну изъ развалинъ такъ называемаго, несуществующаго, путевого царскаго дворца.

Случалось ли кому-либо переживать такія минуты, когда жить не хочется, а жить нужно? Непріятныя это минуты. Онѣ стали, наконецъ, знакомы и душѣ-вавилонянкѣ. Вернулись домой и Феклуша съ мужемъ, и пошли у нихъ обыкновенныя ихъ занятія и побои хуже прежняго.

### III.

Наступилъ однажды тихій майскій вечеръ. Померкалъ, побагровѣлъ въ закатѣ берегъ озера, и только двѣ точки общей картины продолжали блеснуть особенно ярко: одна изъ нихъ—на небѣ, какая-то отсталая тучка на западѣ, вся красная съ позолотою по краямъ, и другая на землѣ,—корзина у Феклушиной избы, съ положенною въ нее мелкой рыбицей, бѣлыя животы которой виднѣлись издали и блестѣли кучею серебра.

Была еще и третья свѣтлая точка, но она оказывалась такою маленькою, такою маленькою въ сравненіи съ другими двумя, что ее и замѣтить было трудно. Эта свѣтлая точка—слеза, повисшая на щекѣ Феклуши, слеза, въ которой еле замѣтною искоркою отражался весь багровый закатъ. Рыбца не отражалась въ этой слезѣ, потому что Феклуша, сидя у порога, смотрѣла не на корзину, а на небо.

Она только что кончила работу. Мужъ ушелъ въ кабакъ, дѣти спали, и потому-то вышла Ѳеклуша на порогъ дома, сѣла и загрустила.

Незримымъ спутникомъ ея, тихо расположившимся въ вѣтвяхъ и сучьяхъ сосѣдняго березняка, была душа пращура. Въ этихъ обоихъ существахъ совершались два, не очень различныхъ одно отъ другого, мышленія. Думали, по-своему, оба—одно и то же. Ѳеклуша приходила къ заключенію: «не хочу я жить, зачѣмъ мнѣ жить?» приэтомъ она заплакала сильнѣе, чѣмъ прежде. Душа-вавилонянка, со своей стороны, соображала: «не жилецъ ты, Ѳеклуша, на свѣтѣ—не въ такомъ бы видѣ погибнуть моему древнему вавилонскому роду—ну, да дѣлать нечего. Жаль только, что силъ у меня нѣтъ задушить тебя! и прикоснуться-то я не могу къ тебѣ, а то бы задушила, изъ любви къ тебѣ задушила, и вырвала бы тебя изъ этой проклятой жизни, отъ этихъ злыхъ людей, тебя, бѣдную, слабую, безпомощную»...

Вдругъ душа затрепетала. Вдоль по узкой дорогѣ, извивавшейся между булыжниками и кочками побережья и мѣстами исчезавшей совсѣмъ въ желтомъ пескѣ, шелъ мужъ Ѳеклуши. Онъ былъ пьянъ и веселъ, и пѣлъ пѣсню, и обнималъ, идя по дорогѣ, покачиваясь со стороны на сторону, какую-то молодую, но некрасивую женщину. И женщина была тоже весела и громко смѣялась. Ѳеклуша тотчасъ узнала въ ней двоюродную сестру своего мужа—и холодно, жалобно стало у нея на сердцѣ, и число звѣздъ на небѣ, въ ея глазахъ, удесят�рилось...

— О! если бы я могла только задушить тебя, моя бѣдная, бѣдная Ѳеклуша,—думала душа, быстро проскользнувъ къ ней изъ березняка и наклонившись надъ самою головою; она повѣяла свѣжимъ вѣтромъ вдоль ея включенныхъ, распущенныхъ во-

лось.—Но нѣтъ у меня силъ на это. Запретъ нена-  
рушаемъ. Этого и испытывать нельзя!

Молчаливо, невыразимо-тяжко было отчаяніе этой  
незримой собесѣдницы Ѳеклуши, и бурныя нехо-  
рошія мысли закружились въ ея безтѣлесной головѣ.

— А что, если бы,—думала душа:—удалось мнѣ  
навѣять какъ нибудь на мужа мысль убить жену  
свою? Минута удобна. Онъ чувствуетъ подлѣ себя  
другую, новую женщину? И это будетъ не физиче-  
скимъ вмѣшательствомъ моимъ въ жизнь, запрещен-  
нымъ мнѣ; это будетъ даже и не мое вовсе дѣло,  
это онъ сдѣлаетъ, не я...

Пѣсня тѣмъ временемъ все приближалась; вотъ  
стало слышно, какъ хрустятъ подъ ногами подхо-  
дившихъ сухіе сучья, попадавшіеся имъ въ пути,  
слышался шопотъ въ перерывахъ пѣсней... Они  
остановились невдалекѣ отъ избы, и пѣсня замолкла.

Взглянула душа на Ѳеклушу.

Бѣдная чухонка страшно поблѣднѣла и какъ-то  
сразу осунулась. Пальцы рукъ ея, пропущенные въ  
волоса, были согнуты судорожно и выступали изъ  
волосъ острыми углами сгибовъ своихъ.

— Да, да,—думалось душѣ:—я приговариваю тебя  
къ смерти отъ руки мужа, если это удастся мнѣ!  
Я приговариваю тебя во имя святой любви къ тебѣ,  
моя дорогая! Они теперь замолчали, эти двое, что  
остановились въ темнотѣ, въ десяти шагахъ отъ  
тебя. Я знаю, что теперь въ тебѣ происходитъ,  
Ѳеклуша, знаю. Но это продолжаться не должно,  
и этого не будетъ, дай мнѣ только часть времени;  
мужъ уснетъ, и я нашепчу ему приговоръ тебѣ, и  
я поднесу ему, въ добрый часъ, и топоръ, и веревку;  
не все ли равно, какъ онъ убьетъ тебя? А до тѣхъ  
поръ молись, моя бѣдная, молись, моя сирая! ты  
молишься, я чувствую присутствіе твоей теплой,  
просящей молитвы...

И склонилась душа-вавилонянка ближе къ Оеклушѣ, и обвила она ее своими мягкими, неслышными объятіями, и сжала она ее, сжала всею силою своей древней, безсмертной, сосредоточенной любви...

Оеклуша затрепетала въ объятіяхъ этого безплотнаго поцѣлуя, опустилась со скамьи на землю и только слегка вздрогнула...

Говорять, будто у хорошихъ людей глаза при смерти закрываются сами собою.

У Оеклуши закрылись они глубоко и спокойно.

— Что это?—проговорила душа, не безъ усилія освободившись отъ Оеклуши и выпрямившись во весь ростъ въ сторонѣ, надъ нею.

Она не могла сообразить случившагося. Она была такъ твердо увѣрена, что между міромъ духовнымъ и между міромъ физическимъ не можетъ быть прямого общенія; запретъ, положенный Богомъ, былъ такъ ясенъ, и въ силѣ его убѣждалась она такъ часто.

— Оеклуша, что съ тобою?—промолвила душа.

Блѣдная и неподвижная лежала передъ нею Оеклуша на пескѣ. На небѣ горѣли всѣ большія и малыя звѣзды, и многія изъ нихъ забѣжали въ вѣтви сосѣдняго березняка и, какъ бы, нависли на нихъ. Свѣжимъ вѣтромъ тянуло съ полуночи, собаки лаяли въ сторонѣ, а въ десяти шагахъ отъ избы упорно молчали.

Холодомъ и ужасомъ вошло въ пораженную неожиданностью душу сознаніе смерти захудалаго отпрыска ея рода. Во мгновеніе ока взвилась она высоко надъ землею съ тѣмъ, чтобы броситься оттуда на финляндскія скалы, думая, что и этотъ запретъ Бога только кажущійся, что ей можно будетъ убиться! Но безвыходное безсмертіе сказалось, какъ и всегда. Много разъ повторила душа свой опытъ,

желая разбиться; съ быстротою и силою невообразимою металась она по необъятной шири свѣтлой ночи; рѣзко и порывисто стремилась, сквозь сонный воздухъ и словившійся туманъ низринуться на скалы. Все это было напрасно: легче пуха опускалась она на острые камни, не придавливая самыхъ нѣжныхъ травинокъ и даже не сбрасывая съ нихъ на землю дремавшихъ капель росы.

Царственная лѣтняя ночь горѣла надъ озеромъ спокойно, и все шло въ строгомъ и невозмутимомъ порядкѣ, тогда какъ чувство, возбужденное въ душѣ, не имѣло границъ неистовства и отчаянія.

\* \* \*

Въ урочный часъ, въ присутствіи всякихъ властей, тѣло скоропостижно умершей было вскрыто,— и врачи опредѣлили единогласно, что смерть послѣдовала отъ разрыва сердца.

Нельзя, однако, не припомнить одной изъ древнеязыческихъ, мѣстныхъ, корельскихъ легендъ, о странствованіяхъ по землѣ Великаго Духа. Иногда, говорить легенда, Великій Духъ, самъ, своею особою, во всемъ своемъ необъятномъ величіи, шествуетъ и обходить дорогую ему землю. Это случается въ тѣ сіяющія чудныя ночи, когда, неизвѣстно откуда, льются потоки кроткаго благотворнаго свѣта, и подлунная спитъ съ довѣрчивостью и невинностью ребенка. Если Великому Духу приходится стать лицомъ къ лицу съ какимъ-нибудь злымъ дѣломъ, самое присутствіе его допускаетъ нарушение предвѣчныхъ законовъ, естественное мѣшается съ неестественнымъ, смерть и жизнь мутятся и путаются одна съ другою, невѣроятное совершается воочію, и черныя, злыя совѣсти порочныхъ людей предвкушаютъ, въ эти минуты незамѣчаемыхъ ими встрѣчъ съ Великимъ Духомъ, первыя содроганія уготован-

ныхъ имъ невѣдомыхъ страданій и невыносимыхъ скорбей! Не тѣмъ ли объяснить себѣ странное совпаденіе усилій безтѣлесной души—обнять Ѳеклушу, съ простымъ и вполне законнымъ явленіемъ смерти ея, послѣдовавшей отъ разрыва сердца, или паралича?

Что касается до души-вавилонянки, то она, немедленно послѣ похоронъ, унеслась на свою далекую, горячую родину. Начала ли она разъискивать потомковъ восточной вѣтви своего рода, о которомъ упомянуто было раньше? Едва ли....

## ДВѢ КАПЛИ.

---

Вотъ странная, совершенно невѣроятная исторія о двухъ капляхъ.

Въ глубокую, снѣжную зиму, по безлюднымъ путямъ Елагина острова, ровно въ полночь, мчалась во всю, весело, но безжалостно настигнутая тройка. Четыре другихъ тройки много опередили эту пятую, и она нагоняла. То былъ пикникъ.

Ночь была свѣтлая, очень свѣтлая, хотя луны не замѣчалось. Такъ свѣтла была ночь, что на темныхъ очертаніяхъ тройки, скользившихъ вихремъ по бѣлой пеленѣ недавно выпавшаго снѣга, ясно можно было отличить не менѣе бѣлыя: пѣну на взмыленныхъ коняхъ, приборъ сбруи и горностаевую оборку шубки одной изъ сидѣвшихъ въ саняхъ женщинъ. Другая женщина была вся темная, темная, какъ и расположение ея духа. Обѣ были молоды. На передней скамейкѣ, спиною къ стоявшему ямщику, виднѣлось трое мужчинъ. Хотя извороты пути были круты, хотя тройка неслась чрезвычайно быстро, но сани не закатывались, потому что снѣгъ былъ глубокъ и не наѣзженъ. Темнѣла тройка, темнѣли голыя деревья, темнѣло на сердцѣ одной изъ женщинъ; все остальное, несмотря на ночь, было свѣтло.



Хохотъ, болтовня, веселье...

— Да ну, слушай,—проговорилъ мужчина, сидѣвшій посрединѣ, обращаясь къ сосѣду слѣва:—скорѣй!! или не справишься?

— А развѣ у тебя много души за это время уйдетъ, что ли?—отвѣтилъ спрошенный, продолжая возиться съ бутылкой шампанскаго.—Веревку я перерѣзалъ, теперь проволока осталась! кручу, стараюсь...

Мужчина, сидѣвшій справа, роздалъ въ это время, вытащивъ изъ корзины, стоявшей на его колѣняхъ, небольшіе стаканчики, и тоже просилъ ускорить съ бутылкою.

— Улю-лю-лю ух!! завопилъ ящикъ, стегнувъ по всѣмъ тремъ.

Щелкнула пробка и отскочила въ сосѣднюю кушью невысокихъ кустиковъ, и была, конечно, очень довольна окончаніемъ милліона терзаній и долгой, сдержанной службы своей въ непомѣрно узкомъ горлышкѣ бутылки.

— Разливай! оберъ-форъ-шенкмейстеръ!—крикнулъ средній мужчина.

— Виночерпій!!—подхватилъ правый.

— Ухъ, родимые!—добавилъ ящикъ, взмахнувъ кнутомъ тѣмъ особеннымъ, извѣстнымъ ящикамъ способомъ, что всѣ кони сразу увидѣли кнутъ и подхватили.

Протянулись руки къ бутылкѣ, полилось шампанское; значительная часть его не попала въ стаканы, а пошла на вѣтеръ, скатилась на полость, на снѣгъ.

— Здравье дамъ!

— Здравье любящихъ!

— Здравье свободной любви, господа!—перебилъ тотъ, что откупорилъ бутылку.

— Давай еще!

Снова налици, снова выпили, ящикъ залюлюкалъ опять, и пустая бутылка, высоко подброшен-

ная, шлепнулась на Неву, подлѣ которой тройка въ это время проносилась. Унесеть по веснѣ эту бутылку, нѣмую свидѣтельница и вдохновительницу полуночной прогулки, въ далекое, далекое море. Унесло также отъ тройки на сторону и сложило на будущую мураву, почивавшей подъ снѣгомъ лужайки, каплю шампанскаго и другую каплю: молчаливую, довольно удачно скрытую женскую слезу. Легли эти двѣ капли рядышкомъ, одна подлѣ другой, чуть-чуть пробуравившись въ дѣвственную мягкоту рыхлаго снѣга; и только что легли онѣ—замерзать стали!

А плакала женщина потому, что любовь уходила, потому, что близкій ей человѣкъ здоровье свободной любви провозгласилъ, и была ея соперница тутъ, подлѣ, и была она лучшимъ другомъ ея! Но любви ничѣмъ не остановишь, когда она уходитъ, ничѣмъ! Женщина знала это и не пыталась остановить, но тѣмъ не менѣе она была грустна и заплакала.

Сложивъ обѣ капли въ снѣгъ, тройка пронеслась дальше. Замерзали капли не быстро и не сразу потеряли свое сознание.

Капля шампанскаго была чрезвычайно недовольна своею, какъ ей казалось, плебейскою сосѣдкою. Потонуть въ снѣгахъ далекой Россіи, гдѣ потонулъ Наполеонъ, ей, дѣтищу счастливыхъ окрестностей Реймса, выдержанной въ просторныхъ школахъ погребовъ вдовы Клико, пожалуй, можно бы согласиться; но лежать и замерзать бокъ-о-бокъ со слезою! съ соленою слезою! Фи! некрасиво.

И стала она, замерзая, утѣшать себя яркими картинами былого; ей становилось даже тепло отъ тѣхъ лучей горячаго солнца, которые когда-то вскормили ее, согрѣли и вложили въ нее ту пылкую душу, которая оказалась способною возбуждать въ людскихъ душахъ то, что называютъ французы—*les esprits*.

— Но какое сосѣдство, какое неприятное сосѣд-

ство! думала капля шампанскаго! и что это за идиотская молчаливость, что за плебейская солоноватость! Она меня въ консервъ обратитъ! просолить, впрокъ приготовить.

Замерзала и слеза! Ея грезы были туманны, шли медленнѣе и какъ будто не хотѣли уступать мѣсто одна другой. И въ нихъ были тоже воспоминанія, хорошія воспоминанія... Несмѣлый лепетъ первой надежды, обаятельная правда счастливаго дня...

— Зачѣмъ только это сосѣдство?—думала слеза:— это странное, неподходящее мнѣ сосѣдство! Я бы не прочь, пожалуй, заснуть, заснуть навсегда въ бѣломъ саванѣ снѣговъ моей милой Россіи, но не подлѣ этой дерзкой, самоувѣренной француженки. Она какъ будто жжетъ меня чѣмъ-то, жжетъ невыразимо; я даже чувствую, какъ пьянѣю, сужденія мои сбиваются, подо мною земля не прочна становится, мнѣ небо съ овчинку казаться начинаетъ.

— Фатумъ, проговорила француженка.

— Судьба!—промолвила, русская, русская потому, что женщина, обронившая ее, принадлежала этому племени.

Обѣ капли были, конечно, правы въ своихъ сужденіяхъ, обѣ родились не по своей волѣ, ихъ сближили, не спрашивая ихъ согласія, и та и другая отстаивали свое «я». Но маленькія, неслышныя и незримыя недовольства, проявившіяся въ обѣихъ капляхъ, покоившихся въ рыхломъ снѣгу, мощно, безмолвно, неотвратимо успокаивались нелицепріятнымъ морозомъ. Онъ крѣпчалъ и оковывалъ ихъ все сильнѣе и сильнѣе...

Начинали дѣйствовать въ капляхъ, опять-таки не спрашивая ихъ разрѣшенія, совершенно своеобразные законы физики и химіи. Отъ капли шампанскаго не замерзло только ровно восемнадцать процентовъ чистаго алкоголя, а отъ слезы сохранилось подо-

бающее количество хлористаго натрія и немного, очень немного, фосфорнокислаго кали.

Скоро капель не существовало больше, ни той, ни другой. Пришла весна и не нашла ихъ. Весна могла бы, конечно, если бы онѣ существовали, освободить ихъ отъ холодныхъ объятій снѣга, могла бы, можетъ быть, помирить, устроить между ними соглашеніе или что нибудь въ родѣ этого. Весь вопросъ состоялъ только въ томъ, чтобы до поры до времени, до весны, каплямъ сохраниться.

Но что же дѣлать съ законами физики и химіи!

Впрочемъ, въ утѣшеніе памяти обѣихъ капель можно сказать, что и та тройка, съ которой обѣ капли свѣялись, во всей ея совокупности и со всѣмъ ея содержимымъ, съ любовью, грустью, весельемъ, ухарствомъ, съ бѣлою ночью и заморенными конями, была тоже настигнута своевременно химією и физикою и, какъ подобаетъ, разнесена по частямъ.

Если бы было побольше вѣры въ неуклонность этого разноса, очень можетъ быть, что слеза не родилась бы вовсе, а капля шампанскаго не отнеслась бы такъ свысока къ плебейской солоноватости своей безмолвной сосѣдки.

— Фатумъ! проговорила одна...

— Судьба!—сказала другая...

Но обѣ сгинули.

Есть неизвѣстное преданіе неизвѣстнаго народа, что и весь существующій міръ тоже капля, тоже чья-то большая слеза...





# ПРОФЕССОРЪ БЕЗСМЕРТІЯ



## ПРОФЕССОРЪ БЕЗСМЕРТІЯ.

Разсказъ.

Лѣтъ десять тому назадъ, Семену Андреевичу Подгорскому, молодому человѣку, красивому и не бѣдному, вышедшему изъ Московскаго университета кандидатомъ и служившему въ одномъ изъ министерствъ, предстояла на лѣто командировка въ калмыцкія степи. Командировки требуютъ нѣкоторыхъ подготовленій къ предстоящему дѣлу, и Семень Андреевичъ занимался ими. Между прочимъ, обратился онъ и къ бывшему попечителю калмыцкаго народа, за старостью лѣтъ вышедшему въ отставку, и получилъ отъ него много матеріаловъ, справокъ, совѣтовъ.

Между прочимъ, бывший попечитель калмыковъ сказалъ ему, что въ степяхъ познакомится онъ, даже непременно долженъ познакомиться, съ чудачкомъ перваго разбора, докторомъ медицины, Петромъ Ивановичемъ Абатуловымъ; что небольшая усадьба его, на берегу Волги, Родниковка, это рай земной и, какъ мѣсто отдохновенія, самое лучшее; что жена его, Наталья Петровна, женщина красивая, но очень



вольная и, даже, какъ выразился попечитель, можетъ быть, преступная; что самъ Абатоловъ посвятилъ себя даровому леченію всякихъ больныхъ, и что онъ «проповѣдуетъ» что-то очень дикое, а именно доказываетъ, какъ онъ выражается, по даннымъ, совсѣмъ научнымъ, что душа человѣка не можетъ не быть безсмертною, но, въ то же время, самъ въ церковь не ходитъ.

— Я, случайно какъ-то, объяснилъ бывшій попечитель калмыцкаго народа, — присутствовалъ при одномъ подобномъ его разговорѣ и, помню очень хорошо, доказывалъ онъ намъ какъ-то очень странно безсмертіе души человѣческой. Чудакъ! его такъ и можно назвать «профессоромъ безсмертія»!

Бывшій попечитель калмыковъ снабдилъ Семена Андреевича письмомъ къ Абатолову.

— Смотрите, не попадитесь на удочку къ Натальѣ Петровнѣ, — сказалъ онъ, отдавая письмо.

Всѣ эти сообщенія не пропали для Семена Андреевича и, выработывая свой маршрутъ по калмыцкимъ степямъ, онъ устроилъ такъ, чтобы ему побывать въ Родниковкѣ два раза, вмѣсто одного.

## I.

На самомъ берегу Волги, южнѣе Сарепты, расположено, какъ бы сказать... помѣстье? нѣтъ! слово помѣстье напоминаетъ помѣщика; между человѣкомъ и землею существовала связь, не меньшая, чѣмъ между слѣдствіемъ и причиною, причемъ опредѣленіе того — помѣщикъ ли породилъ помѣстье, или помѣстье помѣщика, являлось изстари повтореніемъ вопроса о молотѣ и наковальнѣ.

Эти тридцать девять десятинъ земли въ нашемъ разсказѣ не помѣстье, а собственность Петра Ива-

новича Абатулова, человѣка лѣтъ пятидесяти отъ роду, доктора медицины, высокаго роста, съ небольшою лысиною, чрезвычайно добраго, хотя и необходимаго, задумчиваго.

Поземельная собственность Петра Ивановича, расположенная на правомъ, нагорномъ берегу Волги, вытягивалась вдоль рѣки узкой полоскою и являла въ двухъ половинахъ своихъ, низменной и высокой, такія двѣ противоположности, сопоставленіе которыхъ рядомъ, бокъ-о-бокъ, граничило съ чудомъ.

Наверху, на правомъ берегу Волги вдоль отрога, вплотную къ его краю, начиналась на сотни верстъ степь, голая-преголая, лѣтомъ совершенно выжигаемая солнцемъ, поросшая будяками и полынью, а зимою представлявшая царство бурановъ и снѣговъ. Внизу, подъ крутымъ, полупесчанымъ и полуглинянымъ, промытымъ дождями откосомъ берега, возвышавшимся сажень на тридцать, лицомъ къ другимъ безконечнымъ степямъ лѣваго берега Волги и къ восходящему солнцу, виднѣлось нѣчто совсѣмъ другое; тутъ пробивался обильный, всегда одинаково звонкій родникъ холодной, хрустальной воды и давалъ жизнь и красоту человѣческому жилью. Онъ пробивался для совсѣмъ короткой, но въ высшей степени богатой жизни. Считая всѣ многочисленные извивы, которые дѣлалъ ручеекъ, скатываясь отъ горы къ Волгѣ, какъ бы стараясь продлить свое существованіе, въ немъ отъ истока до устья было никакъ не менѣе двухсотъ сажень длины. Послѣдній извивъ его былъ особенно любопытенъ; ручей, круто повернувъ назадъ, почти отъ самой Волги, приближался къ своему истоку; вернувшись къ нему издали, онъ былъ, казалось, уже близко къ цѣли своего возвращенія, къ своей колыбели, — но могучая осокорь, словно всплывъ жирную, твердую почву своими корнями, и поднявъ ее, направляла возвращавшагося сына

земли назадъ, къ Волгѣ; источникъ попадалъ въ небольшое, ровное русло и сбѣгалъ къ Волгѣ, уже безъ всякихъ извивовъ, прямехонько, всего сажень пятьдесятъ, точно убѣдившись въ тщетѣ своихъ стараній, тихонько журча по мелкимъ камешкамъ, по тихому, тихому склону. Богатая вода источника дѣлала лѣтомъ изъ этого уголка, подѣ защитой высокихъ откосовъ, рай земной. Давно ли существуетъ этотъ источникъ, Богъ его знаетъ, но вѣрно только то, что въ долгіе, долгіе годы, онъ намылъ и образовалъ подлѣ себя богатый, сочный наносъ чистѣйшаго чернозема, и что подлѣ его чистыхъ, хрустальныхъ струй, на жирной землѣ, подѣ ласкою южнаго солнца, разрослись и красовались такіе образчики растительнаго царства, которымъ могъ бы позавидовать любой ботанической садъ.

— Далеко ли до Родниковки? — такъ называлось владѣніе Петра Ивановича, спрашиваетъ у ямщика случайный проезжій.

— А вотъ она уже изъ земли вынырнетъ, баринъ! — отвѣчалъ ямщикъ: — недалече!

Трактовая дорога пробѣгала саженьяхъ въ 50 отъ домика Петра Ивановича, открывавшагося подѣзжавшему дѣйствительно сразу, отъ края берегового отрога. Ямщики съ великимъ удовольствіемъ заѣзжали въ Родниковку: ихъ накормятъ, напоятъ, а если, чего не дай Богъ, въ семьѣ у ямщика больной есть, или самъ онъ чѣмъ боленъ, или другой кто больной просилъ по пути завезти, такъ Петръ Ивановичъ и совѣтъ дать, и лекарство даромъ отпустить.

Жена Петра Ивановича, женщина лѣтъ тридцати, Наталья Петровна, красивая и бойкая, считала мужа только безумцемъ; когда-то фельдшерница, взятая имъ въ жены, она не цѣнила его; онъ видѣлъ въ ней болтушку, кокетку и, противъ всякой очевид-

ности, думалъ, что на этомъ она и останавливается. Никоимъ образомъ не представлялъ онъ изъ себя Отелло, но не имѣлось подлѣ него и Яго, который задался бы мыслью раскрыть ему глаза. Дѣло шло, какъ по-писаному: Наталья Петровна брала отъ жизни все, что хотѣла взять, а Петръ Ивановичъ оставался въ невѣдѣніи и любилъ жену безконечно. Насколько въ уѣздѣ и губерніи читли въ народѣ его, настолько ее не жаловали. Всякого, направлявшагося въ Родниковку, злые языки предупреждали, что для Натальи Петровны, въ ея похожденияхъ,— море по колѣна, и что добрѣйшій въ мірѣ мужъ ничего рѣшительно не знаетъ и, повидимому, даже не хочетъ знать.

## II.

Занялось прекрасное юньское утро надъ Волгою. Вспыхнуло оно гдѣ-то далеко, за необозримыми степями лѣваго берега, и залило краснымъ полымемъ усадьбу Петра Ивановича, притаившуюся подъ тридцатисаженнымъ отрогомъ праваго берега, лицомъ прямо на востокъ. Пойдетъ солнце на полдень, наклонится къ западу, и усадьба будетъ объята мягкою полутѣнью, прохладою. Рай земной! Но теперь, раннимъ утромъ, всѣ небольшія комнатки ея были залиты косыми, красными лучами востока; блистали жемчугами и алмазами родникъ, а въ садикѣ, подлѣ него раскинутомъ, пылали и свѣтились насквозь мириады всякихъ розовыхъ, голубыхъ, пунцовыхъ и бѣлыхъ цвѣтовъ, причемъ особенно нѣжно сквозили, словно наливаясь алою кровью жизни, бѣлыя лиліи, исключительно любимыя хозяиномъ.

— Я ихъ особенно люблю,— говаривалъ Петръ Ивановичъ,— потому что лилія — цвѣтокъ Благовѣщенія! Кругомъ меня степь, обильно поросшая по-

лыню, о которой не разъ упоминается въ «Апокалипсисѣ», когда намѣчаются мрачныя краски послѣднихъ дней міра; подлѣ меня, въ саду, дорогой мнѣ цвѣтокъ Благовѣщенія. Когда-то всѣ, нынче посохшія, безводныя степи Иорданскія покрывались лиліями Соломоновыхъ пѣсней; оттого-то, что ихъ было тамъ такъ много, и взята она Архангеломъ Гавріиломъ, по пути, въ часъ благовѣствованія; ну и люблю я ихъ очень, потому что очень люблю самое Благовѣщеніе!

— Да вѣдь вы въ праздники не вѣрите?

— А все-таки Евангеліе первая въ мірѣ книга, и повѣствованіе о лиліи взято непременно съ натуры. Кто изъ насъ не ожидаетъ какого либо благовѣщенія? Я, вотъ, въ церковь, дѣйствительно, мало хожу, а благовѣста церковнаго, безъ отзыва ему въ сердцѣ, слышать не могу. Я не имѣю поводовъ, къ великому моему горю, признать въ силу умственныхъ заключеній божественности Священнаго Писанія, но я словно предчувствую это...

— Но вѣдь это противорѣчіе?

— И даже очень большое, но что же дѣлать, иначе не могу, пока что не разъяснилъ себѣ.

Съ самой той минуты, какъ заронились первые багровые лучи въ комнатки усадьбы, Петръ Ивановичъ находился уже при занятіи въ своей амбулаторной комнатѣ: онъ принималъ больныхъ—прижигалъ, полоскалъ, рѣзалъ, перевязывалъ. Это повторялось рѣшительно каждый день. Мѣстные люди, большею частью калмыки, знали этотъ порядокъ, однажды заведенный. Издалека, съ обоихъ береговъ Волги, верстъ за двѣсти и болѣе, наѣзжали они къ доктору и рассчитывали время своего прибытія, по возможности, такъ, чтобы быть въ усадьбѣ съ вечера. Каждую ночь подлѣ нея располагался небольшой караванъ прибывшихъ, мѣнявшійся въ своемъ

составъ почти ежедневно. Пускались по степи стреноженные лошади, виднѣлся, изрѣдка, отдохавшій въ лежку верблюдъ, вытягивая кверху, на длинной шеѣ, свою губастую голову и совершая жвачку; зажигались костры, строились кибитки, растягивались пологи, звучала калмыцкая, рѣже нѣмецкая, еще рѣже русская рѣчь, но пѣсенъ почти не слышалось. Да и до пѣсней ли было людямъ, усталымъ съ дороги; всякій здоровый являлся со своимъ больнымъ, со своею печалью. Къ восходу солнца открывалась амбулаторія.

На этотъ разъ больныхъ прибыло особенно много, и Петръ Ивановичъ не могъ кончить всей работы съ ними до отѣзда переночевавшаго у него, при отѣздѣ благочинія, священника, отца Игнатія. Наталья Петровна ранѣ полудня никогда не вставала, такъ что кофе гостямъ приготавлилъ самъ Петръ Ивановичъ. Отношенія его къ священнику были взаимно-дружескія; встрѣчались они часто, знакомы были давно и давно переговаривали обо всемъ рѣшительно. Абадуловъ пріостановилъ пріемъ больныхъ и вышелъ въ кабинетъ къ отцу Игнатію, которому предстояло выѣхать въ десять часовъ утра.

Обличіе отца Игнатія представлялось чрезвычайно внушительнымъ: высокій ростъ, длинная сѣдая, совершенно бѣлая и тщательно содержащая борода, длинныя кудри густыхъ сѣдыхъ волосъ на головѣ, небольшіе, но очень выразительные глаза и необыкновенно спокойное выраженіе лица,—вотъ что поражало человѣка при встрѣчѣ съ нимъ въ глухихъ степяхъ; казалось, что ему болѣе подобало бы священнодѣйствовать въ какомъ нибудь столичномъ соборѣ, а не въ этихъ мѣстахъ.

Бѣсѣда между нимъ и хозяиномъ, за чашкою кофе, шла на обычные предметы, въ значительной степени «интимнаго» свойства. Въ половинѣ десятаго

казачокъ, парнишка, взятый изъ деревни и прислуживавшій въ домѣ, пришелъ доложить, что тарантасъ готовъ. Собесѣдники поднялись съ мѣстъ, и прощаніе ихъ служило, такъ сказать, общимъ выводомъ долгаго разговора.

— Такъ какъ бы это сдѣлать, Петръ Ивановичъ, — говорилъ священникъ: — чтобы Наталья Петровна, ну, хоть когда нибудь, хоть для видимости, въ церковь заѣхала? Вѣдь, право, людей совѣстно, разспросовъ...

— Ну, ужъ тутъ ничего не подѣлать съ нею.

— То-то, вотъ, отъ рукъ отбиласы! Не хорошо, право, не хорошо. Молодая она и красивая женщина? Вѣдь и невѣсть что говорить могутъ, да и говорятъ...

— Знаю, знаю, — перебилъ Петръ Ивановичъ: — но что же мнѣ-то дѣлать?..

Петръ Ивановичъ только махнулъ рукою, и отецъ Игнатій замолчалъ, находя излишнимъ продолженіе рѣчи, уже неоднократно и на тотъ же предметъ веденной.

— Любишь ее больно сильно, Петръ Ивановичъ, вотъ что!.. ну, и попускаешь... а тоже потому, что самъ въ вѣрѣ не крѣпокъ. Вотъ ты въ душу безсмертную вѣришь, добрая дѣла творишь, сердцемъ чистъ, а тоже въ церковь мало ходишь, тоже только для виду наѣзжаешь; молитву на устахъ имѣешь, а въ сердцѣ ея нѣтъ, потому что вѣры настоящей въ тебѣ нѣтъ... Не хорошо, не хорошо, и жалко!

— Да откуда же ея, вѣры, взять-то, отецъ Игнатій, если Богъ не далъ?

— Богъ и плодовъ, и хлѣбовъ земныхъ не далъ, если ихъ не собирать, а на деревьяхъ, да на стебляхъ оставлять; ты глядишь и не видишь, оттого и вѣры не имѣешь. Ну, и пусто должно быть подлѣ тебя, Петръ Ивановичъ, и въ сердцѣ тоже холодно, пусто!!...

Хозяинъ ничего не отвѣтилъ и ограничился довольно глубокимъ вздохомъ. Собесѣдники простились; отецъ Игнатій сѣлъ въ тарантасъ, кони тронули, и колокольчикъ зазвенѣлъ. Не успѣлъ священникъ доѣхать до заворота на трактовую дорогу, какъ навстрѣчу ему попался тарантасъ Семена Андреевича. Встрѣчные поглядѣли другъ на друга и разѣхались въ разныя стороны.

Петръ Ивановичъ, слышавъ приближеніе другаго колокольчика, продолжалъ стоять у подъѣзда. Кто бы это могъ быть? думалось ему. Обыкновенно пріѣзжіе ночевали у него, и нерѣдко сутки и болѣе, проведенные въ прохладной, уютной, отѣненной высокими деревьями, усадьбѣ, послѣ жгучихъ переѣздовъ по степи, являлись живительнымъ бальзамомъ, смягчавшимъ и улаживавшимъ припаленные степнымъ блескомъ глаза и пересохшую подъ острымъ дыханіемъ грудь. Петръ Ивановичъ радъ былъ всякому человѣку. Въ этомъ отношеніи онъ являлся какъ бы тонкимъ гастрономомъ: новый человѣкъ былъ для него новымъ блюдомъ, и онъ знакомился съ нимъ, наблюдалъ, изучалъ. При условіи полного душевнаго одиночества, не смотря на присутствіе очень шумной жены, при нерушимой регулярности занятій, новый человѣкъ былъ для него театромъ, музыкою, книгою, посѣщеніемъ общества, чтеніемъ газеты, любопытнѣйшимъ опытомъ и изслѣдованіемъ.

Семень Андреевичъ слѣзъ съ тарантаса и назвалъ себя по фамиліи, прося позволенія воспользоваться гостепріимствомъ Петра Ивановича на самый краткій срокъ.

— Чѣмъ дольше, тѣмъ лучше!—отвѣтилъ хозяинъ и предложилъ пріѣзжему войти въ домъ.

— Жена моя еще не выходила, такъ не взыщите, что угощать васъ кофеемъ или чаемъ буду я.



— Благодарю васъ,—отвѣтилъ Подгорскій:—но я только что пилъ.

— Гдѣ?

— Я ночевалъ за двадцать верстъ отъ васъ въ Казачьемъ хуторѣ.

— Отчего же не у меня? Ну, такъ я покажу вамъ вашу комнату, пожалуйста, освѣжитесь.

— Въ комнату, если позволите, пройду, а освѣжаться мнѣ тоже не отчего, утро прохладно, и перѣздъ сдѣланъ небольшой.

Хозяинъ провелъ Подгорскаго въ небольшое помещеніе для гостей, только что прибранное послѣ отца Игнатія. За нимъ внесли чемоданъ.

— У меня къ вамъ, Петръ Ивановичъ, есть письмо отъ бывшего попечителя калмыковъ.

— А! очень, очень пріятно. Ну, что онъ? Здоровъ ли? Какъ устроился?

— Все какъ слѣдуетъ. Благодаря ему, я, подѣзжая къ вамъ, зналъ, что значитъ этотъ бивакъ подлѣ вашего дома.

— Да, да, все по-старому. Сегодня у меня ихъ особенно много; время жаркое и хирургическимъ больнымъ очень тяжело. Вотъ уже одиннадцатый часъ, а я еще не кончилъ съ ними.

— Такъ позвольте ужъ и мнѣ посмотрѣть.

— Сдѣлайте ваше одолженіе.

Любопытства ради Семень Андреевичъ присутствовалъ при приѣмѣ больныхъ.

Какія страшныя язвы зазіяли передъ нимъ, какія видѣлись страданія людскія, изрѣдка сопровождаемая, въ отвѣтъ на рѣзаніе ножа, на острую боль прижиганія или прополаскиванія, то стономъ, то крикомъ! Даже въ описаніи дантовскаго ада мало такихъ картинъ страждущаго человѣчества, какія нашли себѣ мѣсто тутъ, на берегу Волги.

Но еще поразительнѣе казалось Семену Андреевичу то невозмутимое, какъ бы нечеловѣческое хладнокровіе, съ которымъ врачъ исполнялъ свои обязанности, подвязавъ бѣлый передникъ и засучивъ рукава; словно мясникъ какой-то, вылущивалъ онъ, вырѣзывалъ, жегъ, сшивалъ.

— Надо, однако, быть безсердечнымъ,—думалось Семену Андреевичу,—чтобы дѣлать все это съ такою невозмутимостью!

Гость почувствовалъ вначалѣ даже какое-то отвращеніе къ хирургу, но чувство это исчезло такъ же быстро, какъ пришло, и, такъ сказать, потонуло въ томъ морѣ спокойствія и сознанія исполняемаго долга, которыя сказывались въ твердыхъ движеніяхъ рукъ Петра Ивановича. Къ часамъ двѣнадцати утра рѣзанія, прижиганія, перевязыванія подошли къ концу, и на многихъ изъ пріѣзжихъ калмыковъ, нѣмцевъ и русскихъ, готовившихся къ отбытію, бѣлѣли чистыя повязки и бинты.

Покончивъ работу и отпустивъ послѣдняго изъ больныхъ, Петръ Ивановичъ снялъ свой передникъ, прибралъ инструменты и тщательно обмылъ руки.

— Ну-съ, теперь можно и къ женѣ пройти,—проговорилъ Петръ Ивановичъ, вытирая руки полотенцемъ:—это время ея завтрака. Милости просимъ!

Хозяинъ провелъ гостя въ садъ, расположенный въ котловинѣ, по косогору. Бесѣдка, къ которой спускались они, находилась какъ разъ на полпути къ низменнымъ, песчанымъ наносамъ Волги, и совершенно утопала въ зелени. Отѣненная высокими осоками, она была обвита, какъ громадною сѣтью, изумрудною листвою тыквы, расположенною на свѣтлыхъ змѣевидныхъ стебляхъ. Наталья Петровна дѣйствительно уже сидѣла подлѣ стола и, покуривая папиросу, допивала вторую чашку кофе. Она при-

няла гостя очень любезно, протянула руку и просила сѣсть.

— А я теперь, съ вашего разрѣшенія,—сказалъ Петръ Ивановичъ:—пойду журналъ сегодняшнимъ больнымъ писать.

— Чудесная литература—громко проговорила Наталья Петровна:—прыщи, раки, наросты, вывихи, изломы!..

Петръ Ивановичъ улыбнулся и ушелъ. Подгорскаго будто что кольнуло въ сердце. Съ минуты прихода въ бесѣдку Семень Андреевичъ не могъ не замѣтить красоты Натальи Петровны и весьма свободнаго обращенія, вполне соотвѣтствовавшего той славѣ, которая о ней ходила. Въ голубоватой тѣни бесѣдки, кое-гдѣ прорѣзанной необычайно жгучими, чисто итальянскими лучами солнца, она казалась брюловской картиной. На ней было бѣлое барежевое платье, съ кружевной оборкой, сквозь которую бѣжала пунцовая ленточка; черные глаза подъ тонкими, чрезвычайно изящными бровями и черные волосы, заплетенные въ могучую косу, кое-какъ приколотую на затылкѣ шпильками, замѣтны были рѣзче остального.

— Ну, какъ понравилась вамъ, Семень Андреевичъ, мясницкая мастерская моего мужа? Аппетитъ къ кофе возбудила? Не хотите ли?

Подгорскій отказался.

— Нѣтъ,—серьезно, продолжала Наталья Петровна:—я не знаю, какъ другимъ, но для меня это невыносимо.

Семень Андреевичъ находился подъ впечатлѣніемъ чрезвычайно смутнымъ; задумчиво настроенный дѣятельностью доктора, онъ, подлѣ жены его, во вниманіе къ красотѣ ее и, въ особенности, припоминая рассказы о ней, былъ сразу объятъ стремительною самыхъ непримиримыхъ одно съ другимъ чувствъ.

Противорѣчивость этихъ чувствъ вызвала въ немъ, помимо его воли, прежде всего, недовольство собою, потому что онъ попалъ въ это положеніе совершенно помимо желанія и не могъ не сознавать, что какъ-то связанъ, лишень свободы дѣйствию, что онъ—самъ не свой. Это настроеніе выразилось въ немъ, прежде всего, молчаливостью. Она становилась еще несуразнѣе, благодаря нѣкоторой особенности его характера: Семень Андреевичъ чрезвычайно быстро привязывался къ женщинѣ, перемѣнъ не любилъ, а тутъ, во всеоружіи красоты, свободы и полной доступности, выросла передъ нимъ въ степеняхъ, словно изъ земли поднялась, женщина, видимо неспособная къ мало-мальски продолжительной привязанности. Молчаливость его становилась молчаливостью злобною.

«Чортъ занесъ меня сюда, однако!» думалось ему, и это было какъ бы разрѣшеніемъ путаницы мыслей и чувствъ.

Разговоръ не клеился. Подгорскій воспользовался своимъ положеніемъ пріѣзжаго изъ столицы и нагородилъ цѣлый ворохъ свѣдѣній о томъ, о семъ, что для Натальи Петровны, во всякомъ случаѣ, являлось новинкою. Онъ умѣлъ говорить и, очень хорошо прикрывая состояніе своего духа словами, иногда очень ловкими, вызывалъ въ хозяйкѣ улыбки и даже смѣшки. Она, несомнѣнно, обманулась въ немъ; ничто не подкупаетъ женщинъ, какъ умѣнье заставить ихъ смѣяться; мужчину этимъ не подкупишь.

— Вы ѣдете въ Астрахань, Семень Андреевичъ?— проговорила она.

— Да-съ.

— И мнѣ туда надобно; хотите, поѣдемте вмѣстѣ? Вы на сколько времени ѣдете?

— Право, не знаю,— чуть слышно проговорилъ Подгорскій, окончательно сбитый съ толку предложе-

ніемъ Натальи Петровны: она, видимо, не теряла времени.

— Тамъ гоститъ теперь какой-то цыганскій хоръ. Вы цыганъ любите?

— Очень люблю, въ особенности, если ихъ слушать въ присутствіи хорошенькихъ женщинъ,—быстро отвѣтилъ Семень Андреевичъ, словно выпалилъ, для приданія себѣ бодрости, но въ то же самое время почувствовалъ какую-то необычайную тоску, какъ бы боль въ сердцѣ, какую-то томительную глупость, безвыходность своего положенія.

«Да, она, словно, всасываетъ меня въ себя!!! какъ та красавица на Цейлонѣ, о которой говорилъ мнѣ мой пріятель, кругосвѣтный путешественникъ: послѣ двухъ дней стоянки, его пришлось тащить на фрегатъ почти силою, по приказанію капитана», подумалъ Подгорскій и, не безъ удовольствія, замѣтилъ спускавшагося по косогору Петра Ивановича. Съ нимъ шло освобожденіе. За хозяиномъ слѣдовалъ какой-то отставной военный, человѣкъ лѣтъ тридцати, съ тоненькими усиками и несомнѣнно красивой наружности.

— Ѳедоръ Лукичъ! милости просимъ! — громко произнесла Наталья Петровна:—какими судьбами?

«Вѣроятно одинъ изъ счастливицевъ?» недовольно подумалъ Семень Андреевичъ, опытный въ этихъ дѣлахъ.

— Я къ вамъ съ предложеніемъ,—отвѣтилъ Ѳедоръ Лукичъ рязвязно, войдя въ бесѣдку.

Новыхъ знакомцевъ представили другъ дружкѣ; когда всѣ заняли мѣста, то Ѳедоръ Лукичъ объяснилъ, что сегодня, къ тремъ часамъ пополудни, прибудетъ дистанціонный путейскій пароходъ, что на немъ ѣдетъ большое общество, что цѣль путешествія—рыбная ловля en grand: съ собою везутъ сѣти, рыбаковъ, палатки для устройства бивака, припасы,

что взять поваръ исправника и что прогулка разсчитана на три дня.

— Можетъ быть и гость поѣдетъ съ нами,—проговорилъ Ѳеодоръ Лукичъ:—а, можетъ быть, и самъ Петръ Ивановичъ? Будутъ всѣ власти: исправникъ, товарищъ-прокурора, слѣдователь, лѣсничій, инженеръ, акцизный, такъ что на цѣлыхъ три дня люди останутся безъ всякаго управленія.

— Да, да, поѣдѣте, Семень Андреевичъ, отличные господа! ознакомитесь также съ нашими рыбаками,—проговорила Наталья Петровна.

— Нѣтъ, благодарю васъ, мнѣ нельзя будетъ, такъ какъ я уже распорядился о вызовѣ сюда нѣсколькихъ калмыцкихъ старшинъ.

— О! мы ихъ назадъ отправимъ,—увѣренно проговорилъ Ѳеодоръ Лукичъ:—стоитъ только сказать исправнику и конецъ.

— Нѣтъ? увольте, прошу васъ, много благодаренъ.

— А ты, Петръ Ивановичъ?—спросила хозяйка.

— Я съ гостемъ останусь.

— Да, ужъ Петра Ивановича не вытащишь,—проговорилъ отставной военный.—И такую хорошенькую жену да на цѣлыхъ три дня отпускать, да еще съ такими, какъ мы, молодцами—это смѣло, очень смѣло,—добавилъ онъ съ какимъ-то худо скрытымъ и даже не скрываемымъ цинизмомъ.

«Должно быть, думалось Подгорскому, этотъ господинъ дѣйствительно является очереднымъ у Натальи Петровны?»

Положеніе Подгорскаго стало какъ-то чрезвычайно неловко; онъ взглянулъ исподлобья на Петра Ивановича; хозяинъ чуть-чуть покачалъ головою, и едва замѣтная, снисходительная улыбочка промелькнула по губамъ его.

— Ну ужъ! къ этому мы привыкли,—замѣтила очень громко Наталья Петровна и махнула рукою.

«Несомнѣнно, что мое предположеніе вѣрно», заключилъ мысленно Подгорскій.

Разговоръ перешелъ на разные предметы, касающіеся края; говорили о рыбной ловлѣ, о какихъ-то недавно произведенныхъ, въ одномъ изъ кургановъ, раскопкахъ; позлословили насчетъ нѣкоторыхъ изъ лицъ, отправлявшихся на прогулку, курили папирсы, пили кофе и, наконецъ, разошлись.

### III.

— Ъдутъ! ъдутъ!—закричалъ, часа въ два пополудни, Ѳеодоръ Лукичъ, взбѣгая по крутизнѣ сада къ дому отъ берега Волги.

— Вотъ это правильно!—отвѣтила ему изъ окна Наталья Петровна.

Она высунулась изъ окна и взглянула сквозь листву высокихъ осокорей вверхъ по Волгѣ. Дѣйствительно, черный дымъ парохода виднѣлся очень явно въ яркомъ свѣтѣ горячаго дня, за однимъ изъ отроговъ и, минутъ черезъ тридцать послѣ этого, подлѣ домика Петра Ивановича образовались двѣ своеобразныя, одна съ другою не сливавшіяся, кучки людей, весьма типчныя для живописца.

Въ одной кучкѣ, здороваясь у подъѣзда съ хозяйкою и Ѳеодоромъ Лукичемъ, толпились пріѣзжіе гости, пассажиры парохода, съѣхавшіе на берегъ всѣмъ обществомъ, для принятія на пароходъ Натальи Петровны. Чрезвычайно длинный, съ гусиной шеей, представитель прокуратуры съ женою, какъ нельзя болѣе походившей на уточку; сухой, болѣзненный, вѣроятно чахоточный, судебный слѣдователь; немного сутуловатый горный инженеръ, съ бинкомлемъ на ремнѣ черезъ плечо; очень жирный акцизный чиновникъ съ племянницею (подъ этимъ име-

немъ извѣстна была хозяйка его дома, одна изъ величайшихъ мастерицъ міра въ кулинарномъ искусствѣ, что немало способствовало прочности связи дяди съ племянницею); лѣсничій, молодой человѣкъ, не болѣе двухъ лѣтъ тому назадъ окончившій Лѣсной институтъ и сильно приударявшій за только что названною кулинарною племянницею; онъ же корреспондировалъ въ столичныя газеты и, въ этомъ отношеніи, считалъ себя двойною властью. Вполнѣ величественъ оказался начальникъ парохода, громаднѣйшій путеецъ; онъ и взошелъ-то на гору позже всѣхъ и здоровался съ меньшимъ наклономъ головы; за спиною его покачивалось ружье, и красивая собака, изъ породы сетеровъ съ помѣсью ливретки, не отходила отъ его ногъ. Эта кучка гостей шумѣла, егостила, двигалась, много смѣялась, и на свѣтлыхъ одѣянїяхъ ея, на кителяхъ мужчинъ, на бѣлыхъ зонтикахъ и легкихъ платьяхъ дамъ какъ бы лежало сіянье: такъ любо было жаркому, степному солнцу глядѣть на этихъ веселыхъ, смѣющихся, довольныхъ міромъ и собою людей.

Другая кучка, расположившаяся въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ подъѣзда, между кубитокъ и тарантасиковъ, представляла изъ себя нѣчто вполнѣ противоположное. Полное молчаніе царило надъ нею, и ярко бѣлѣли, между сѣрыхъ кафтановъ, охабней и темныхъ женскихъ юбокъ, молочно свѣтлые перевязки и бинты, недавно наложенные Петромъ Ивановичемъ. Невзрачные, скулистые, съ рѣденькими бородками, калмыки, толстые колонисты, нѣмцы и очень немногіе русскіе, больные—сидя, а здоровые—стоя, взирали на прїѣзжихъ, почтительно снявъ шапки. Не было между ними лицъ, если не задумчивыхъ, то, по крайней мѣрѣ, не сосредоточенныхъ и, насколько смѣялась и тараторила первая кучка здоровыхъ представителей власти, настолько сосре-



дотоchenно молчала вторая кучка, состоявшая изъ больного народа.

— А, это ты, Захаръ?—проговорилъ лѣсничій, завидѣвъ въ послѣдней кучкѣ осанистаго мужика и подходя къ нему:—какія это у тебя не клейменные бревна нашлись? Не въ первый разъ, братецъ! Смотри, плохо придется.

— Да вѣдь онъ и у меня свидѣтелемъ по другому дѣлу вызванъ; сегодня повѣстку послалъ,—добавилъ судебный слѣдователь, подойдя къ Захару вплотную.

Захаръ поворачивалъ въ рукахъ шапку и молчалъ.

— А гдѣ же, господа, главная власть, исправникъ, Ѳаддей Ѳаддеечъ?—громко проговорила хозяйка, не замѣчая его между прибывшими.

Ей немедленно объяснилъ судебный слѣдователь, что исправникъ, по пути, съѣхалъ на другой берегъ Волги, гдѣ его ожидалъ становой, для полученія какихъ-то приказаній относительно недалекой отсюда ватаги рыболововъ.

Вышелъ, наконецъ, на крыльцо и самъ Петръ Ивановичъ. Длинный, блѣдноватый, съ просѣдью въ бородѣ, онъ, здороваясь съ пріѣзжими, просилъ зайти въ домъ, но этого не исполнили, а прошли прямо въ садъ, въ бесѣдку. Тамъ находился Семенъ Андреевичъ; послѣдовало взаимное представленіе, приглашеніе гостя принять участіе въ прогулкѣ, его отказъ, упрасиванія и опять отказъ, и, наконецъ, минутъ черезъ двадцать, вся шумная компанія налетѣвшихъ властей направилась къ пароходу, и въ Родниковкѣ настала глубочайшая тишина; молчаніе яркой степи отовсюду надвинулось на нее.

Наступилъ пятый часъ—время обѣда, и Петръ Ивановичъ съ Семеномъ Андреевичемъ отправились къ столу, накрытому въ бесѣдкѣ. Разговоръ между

ними принялъ не сразу опредѣленное направленіе, но къ концу обѣда онъ сталъ любопытенъ обоимъ.

— Да, говорилъ Семенъ Андреевичъ, глотнувъ кофе и потянувъ дымъ своей чрезвычайно тоненькой папироски,—я очень интересуюсь именно метафизическими вопросами и, при томъ направленіи, которое имѣютъ современные изслѣдованія естественныхъ наукъ, я положительно недоумѣваю, какъ можно не интересоваться ими. Вѣдь связь духа съ матеріею такъ наглядна, такъ ощутима, что, право, не видить ея развѣ только слѣпой.

— Вы, Семенъ Андреевичъ, говорите, что интересуетесь метафизическими вопросами, но я за метафизику, простите меня, гроша не дамъ. Хотя очень умный человѣкъ, Погодинъ, и сказалъ, что мистическаго никто не искоренить изъ человѣческаго духа, но я—живое ему опроверженіе. Что касается до связи духа съ матеріею, то это дѣло другого рода; но мнѣ любопытно знать: говорите вы это *in verba magistri* человѣка, занимавшагося естественнымъ науками и философіею съ равною любовью, или только со словъ другихъ?

— Нѣтъ, я занимался ими и никакъ не забуду, какъ въ моемъ присутствіи закончилъ въ Гейдельбергскомъ университетѣ свои лекціи о результатахъ естественныхъ наукъ знаменитый Гельмгольцъ.

— А вы слушали и его?—перебилъ, видимо затронутый за живое, хозяинъ.

— Да, и очень долго. Онъ ознакомилъ насъ съ результатами, съ послѣдними словами естествознанія; читалъ онъ намъ по пяти разъ въ недѣлю, и аудиторія его бывала полнехонька. Намъ, слушателямъ, на послѣдней лекціи, онъ сказалъ: «Господа, прощаясь съ вами, я долженъ на дорогу вамъ сказать нѣсколько слѣдующихъ очень вѣскихъ словъ. Не все, господа, можемъ мы объяснять одними только физико-химиче-

скими законами: есть вопросы, дойдя до которых, естествознаніе останавливается и, повидимому, начинают дѣйствовать законы другой компетенціи, а именно, философіи и метафизики, изложеніе которыхъ въ мою задачу не входитъ и должно быть предоставлено другимъ. Прощайте, господа!—заклучилъ профессоръ,—и помните мои слова».

— Онъ такъ это и сказалъ? вы помните хорошо?—спросилъ видимо встревоженный Петръ Ивановичъ.

— Помню, у меня эти слова даже записаны.

— Какъ удивительно, однако, совпадаютъ они,—продолжалъ хозяинъ:—съ другою картинкою, другого мыслителя—Вундта! Вы и его слушали? Вѣдь онъ тоже профессорствовалъ въ Гейдельбергъ, кажется, одновременно съ Гельмгольцемъ?

— Да, я и его слушалъ.

Петръ Ивановичъ протянулъ гостю руку и, съ видимымъ удовольствіемъ, пожалъ ее.

— Да, это было славное время Гейдельбергскаго университета,—замѣтилъ Подгорскій. — Тогда еще Страсбургъ принадлежалъ французамъ. Я не разъ бесѣдовалъ съ Шлоссеромъ, Страусомъ, Гервинусомъ, Миттермайеромъ, Кирхгофомъ, Бунзеномъ, Блюнчли... теперь, кажется, большинство ихъ въ могилахъ.

— Да, да, Вундтъ говорилъ совершенно то же, что и Гельмгольцъ,—продолжалъ Петръ Ивановичъ, какъ бы кончая вслухъ мышленіе, совершившееся втихомолку:—я вамъ найду это мѣсто, найду... Вундтъ говоритъ, приблизительно, такъ: на все рѣшительно, что лежитъ передъ нами въ самомъ полномъ свѣтѣ познанія, накладываетъ свою колоссальную тѣнь причина причинъ и, дальше говорить онъ, что на все живущее ложится хотя что нибудь изъ безконечности идей религіи... и это сказалъ не присяжный теологъ, а крупный изслѣдователь-естественникъ?

— Однако, — возразилъ Семень Андреевичъ: — о

безсмертіи души человѣческой никто изъ нихъ не заикался?

Эти слова сказаны были гостемъ съ цѣлью окончательнаго опредѣленія почвы, на которую хотѣлось ему вызвать «профессора безсмертія». Онъ не ошибся: Петръ Ивановичъ, видимо очень довольный совершенно неожиданною возможностью говорить съ ученикомъ Шлоссера, Гервинуса, Гельмгольца и другихъ, развернулся всѣмъ своимъ существомъ. Глаза его заблестѣли, и онъ кинулъ недокуренную папироску на землю.

— Мнѣ очень пріятно видѣть,—проговорилъ Семенъ Андреевичъ, вовсе не желая мѣшать хозяину и обливать его холодною водою:—что вы врачъ, естественникъ, думаете такимъ образомъ.

— Я не первый-съ, много было первыхъ. Припоминаю я, что по смерти знаменитаго маленькаго Тьера, было гдѣ-то напечатано, если не ошибаюсь въ газетѣ «Liberté», что въ бумагахъ его найдена рукопись, задачею которой было доказать безсмертіе души естественно-научнымъ путемъ. Это думалъ сдѣлать Тьеръ, а Кантъ,—какъ вы это знаете, конечно, лучше меня,—писалъ, что безсмертіе души должно быть отнюдь не созданіемъ вѣрованія, а логическою несомнѣнностью. Оба они глубоко справедливы, очень глубоко, и это можно доказать.

Петръ Ивановичъ остановился. Онъ поплылъ на всѣхъ парусахъ по хорошо знакомому ему морю, и Семену Андреевичу предстояло очень немного труда, чтобы подогнать это плаваніе.

— Послушайте, Семенъ Андреевичъ, сказалъ Абатуловъ, послѣ непродолжительнаго молчанія:—явижу, что эти два, три дня, которые вы проведете у меня, будутъ рядомъ бесѣдованій, но, до того, чтобы разумно бесѣдовать, прочтите небольшую тетрадку, мною написанную. У меня, видите ли, доведена до

конца очень большая работа, доказывающая бессмертіе души человѣка естественно-научнымъ путемъ.

— Съ естественно-научными доказательствами?— спросилъ Подгорскій.

— Да! съ доказательствами. Всей огромной работы моей, идущей очень издалека, отъ фактовъ микроскопіи, вамъ въ короткое время не прочесть, но заключеніе ея, послѣдній выводъ, я вамъ представлю, объясню на словахъ, чтобы провѣрить себя. Для того, однако, чтобы вы могли логически слѣдовать за моимъ изустнымъ изложеніемъ, сдѣлайте мнѣ великое одолженіе и прочтите тѣ нѣсколько страничекъ, которыя я вамъ дамъ. Если вы прочтете ихъ внимательно, то увидите, что мои доказательства безсмертія могу я представить вамъ только въ томъ случаѣ, если вы признаете несомнѣнными, непоколебимыми, непреложными два окончательные вывода моей работы, предшествующіе доказательству безсмертія, а именно: первое, что организмы на землѣ, отъ временъ древнѣйшихъ, постоянно совершенствуются, и второе, что однажды достигнутое совершенствованіе сохраняется. Вы, можетъ быть, уже видите, какъ отъ этихъ двухъ несомнѣнностей перейду я къ доказательству безсмертія? Развѣ не свѣтится вамъ въ выводѣ изъ нихъ безсмертная, свободная, трепещущая въ радости душа человѣка?

— Нѣтъ, не вижу этого,—отвѣтилъ улыбувшійся Семень Андреевичъ:—но нѣкоторое смутное понятіе о той сторонѣ, въ которую вы будете двигаться въ вашихъ доказательствахъ, я, приблизительно, имѣю. Во всякомъ случаѣ это крайне любопытно, и я прошу васъ дать мнѣ тетрадку.

— Вы не раскаяваетесь въ томъ, что не поѣхали на пароходѣ.

— Ни мало.

— Только объ одномъ напоминаю я вамъ, Семень

Андреевичъ, самымъ настоящимъ образомъ: я хочу и буду объяснять вамъ мою теорію, но я могу объяснить вамъ ее только при томъ условіи, что вы, какъ я, примете за несомнѣнныя, вполне научно, помните—научно, доказанныя двѣ истины: постоянное совершенствованіе организмовъ и сохраненіе усовершенствованныхъ формъ! Это немножко Дарвинъ, если хотите, но не совсѣмъ Дарвинъ. Когда вы прочтете мою тетрадку, то скажете мнѣ: согласны или нѣтъ? Если не согласны и этихъ двухъ выводовъ не признаете, то о дальнѣйшемъ не можетъ быть и рѣчи; если же вы признаете,—тогда поговоримъ.

Вечерѣло. Пылающій жаръ окрестныхъ степей начиналъ спадать, когда собесѣдники направились къ дому и прошли въ кабинетъ, гдѣ, на письменномъ столѣ, въ одномъ изъ угловъ, лежала небольшая, листовъ въ шесть или семь, тетрадка. Петръ Ивановичъ вручилъ ее гостю.

— Помните,—сказалъ онъ, отдавая ее:—безъ того, чтобы вамъ признать «совершенствованіе» и «сохраненіе» усовершенствованныхъ формъ организмовъ, дальнѣйшаго разговора между нами быть не можетъ. А теперь, пока что, я пойду къ моимъ больнымъ, вечеръ всегда оказываетъ удивительное вліяніе на хирургическихъ больныхъ. Думаю, что этому много причинъ и, между прочимъ, можетъ быть, вліяніе красокъ въ атмосферѣ. Что краски очень сильно вліяютъ на состояніе душевно-больныхъ, это подтверждено недавними опытами; больныхъ помѣщали въ комнаты съ разной окраской; меланхолики, въ розовыхъ комнатахъ, успокоивались даже на другой день; красный цвѣтъ дѣйствовалъ хорошимъ, возбуждающимъ образомъ на больныхъ съ угнетеннымъ состояніемъ духа; синій, голубой и зеленый успокоивали, особенно голубой. Взгляните, какимъ лазурнымъ стало къ вечеру наше палящее небо; мо-

имъ больнымъ должно быть легче; хотите взглянуть?

— Пойдемте,—проговорилъ Семенъ Андреевичъ, хотя сказалъ онъ это не особенно охотно, потому что тетрадка, находившаяся у него въ рукахъ, могла быть прочитана въ какіе нибудь полчаса, чему ужасно этого хотѣлось.

Когда оба они пошли по направленію къ кибиткамъ калмыковъ, люди, находившіеся у кибитокъ, увидя ихъ, задвигались; многіе приподнялись съ мѣстъ и сняли шапки.

#### IV.

Тетрадка, переданная Семену Андреевичу и прочитанная въ тотъ же вечеръ Подгорскимъ, заключала въ себѣ слѣдующее:

«Окоченная мною работа, которой посвятилъ я около двадцати лѣтъ труда, которая, можетъ быть, появится когда нибудь въ печати, цѣликомъ, раздѣляется на два крупныхъ отдѣла.

#### Первый отдѣлъ.

Тутъ, прежде всего, намѣчаются мною права гипотезы въ наукѣ вообще; въ данномъ случаѣ это тѣмъ болѣе необходимо, что, во вниманіе къ самому предмету, подлежащему доказательству, доказать его ощутимо, *ad oculos*, совершенно невозможно. Моя гипотеза не является чѣмъ-то безусловно новымъ, невиданнымъ, въ силу общаго закона «пульсаціи» въ мысляхъ человѣчества, т. е. того, что въ мысляхъ этихъ, какъ и въ органической жизни вообще, то-и-дѣло возникаютъ уже бывшія сочетанія. О томъ, что подъ солнцемъ ничто не ново, говорилъ еще царь Соло-

монъ. Но подобно тому, какъ въ природѣ ни одинъ ударъ пульса не можетъ быть похожъ на другой, какъ ни тождественны они съ перваго взгляда, уже потому, что одинъ ударъ является «предшествующимъ», другой «послѣдующимъ», возникающимъ при совершенно новой обстановкѣ, какъ самаго организма, такъ и всего остального міра, такъ и въ мірѣ психической дѣятельности человѣчества есть своя пульсация, но нѣтъ повтореній.

За изложеніемъ сказаннаго я, вооружившись, насколько могъ, выводами естествознанія, подкрѣпленными многими сотнями примѣровъ, прихожу къ заключенію, что въ природѣ, между міромъ неорганическимъ и органическимъ, т. е. между всѣми такъ называемыми тремя царствами природы, существуетъ связь самая полная, единеніе и перекрещиваніе самое несомнѣнное; что перегородки между царствами природы и въ нихъ самихъ поставлены только человѣкомъ, что онѣ, фактически, не существуютъ, но могутъ и должны быть сохраняемы только для удобства изслѣдованій и изученія.

Такое же точно единеніе, такую же точно цѣлостность должно видѣть въ силахъ и законахъ, заправляющихъ всѣми царствами природы, такъ какъ нельзя не признать свѣта, тепла, электричества, движенія и пр. по существу своему вполне тождественными; если гдѣ эта тождественность, это единеніе не доказаны, то это только вопросъ времени, труда и удачи. Въ качествѣ чего-то очень близкаго къ правдѣ надо признать, что, въ строгомъ смыслѣ, въ природѣ нѣтъ ни прошедшаго, ни настоящаго, ни будущаго, нѣтъ великаго и малаго, быстраго и медленнаго, сильнаго и слабаго, и т. д. Перегородки, и въ этомъ отношеніи, поставлены только человѣкомъ, подлежатъ, для удобства изученія, сохраненію, но фактически не существуютъ.



Установивъ, такимъ образомъ, полное единеніе въ природѣ, признавъ то, что, по справедливости, называется «божественнымъ строемъ мірозданія», я доказываю, вслѣдъ затѣмъ, что и человѣкъ не составляетъ никакого исключенія, и ни въ чемъ не является снабженнымъ особыми привилегіями, кромѣ, однако, одной: въ качествѣ послѣдняго слова творенія, въ качествѣ его *согона triumphalis*, дальнѣйшее развитіе мірозданія, согласно всему прежде бывшему, можетъ совершаться впредь, такъ сказать, только сквозь него. Пока что, человѣкъ не что иное, какъ послѣднее звено въ безконечной цѣпи всѣхъ развитій, сотворенное въ послѣдній, шестой день творенія и, какъ таковое, находится, если угодно, въ положеніи исключительномъ.

Для доказательства того, что между человѣкомъ и остальною природою нѣтъ никакого скачка, я привожу своевременно тоже весьма достаточное количество фактовъ и затѣмъ прихожу къ исключительно важному для меня выводу того, что законы, создающіе и направляющіе жизнь въ природѣ, во многомъ тождественны съ законами, направляющими все то, что творитъ человѣкъ при посредствѣ своего духа; что въ мірѣ мысли и чувствъ своеобразно повторяется «причинность», существующая въ химіи, физикѣ, динамикѣ, статикѣ, механикѣ, зоологіи, ботаникѣ, астрономіи и пр.

При изложеніи этого существенно важнаго для меня вывода, я, волей-неволей, не имѣя возможности, какъ объ этомъ было сказано выше, распоряжаться видимыми доказательствами, прибѣгаю къ убѣдительности аналогій, сходствъ, тождествъ. Если чрезвычайно вѣскою въ наукѣ является поставленная прочно гипотеза, то не менѣе внушительны и аналогіи; если одна овца—не стадо, двѣ, три овцы—не стадо, но, положимъ, пятьдесятъ овецъ—уже не-

сомнѣнно стадо; то же должно сказать и объ аналогіяхъ: если одна, двѣ, десять, сто аналогій еще не доказательства, то достигнуть же онѣ, наконецъ, своею численностью, своею яркостью, такой убѣдительности, окажутъ такой дружный напоръ на мышленіе человѣка, что явятся во всеоружіи несомнѣнныхъ доказательствъ *ad oculos*.

Сѣверъ находится на одной изъ сторонъ нашего горизонта, и тождественныя указанія всѣхъ магнитныхъ стрѣлокъ подтверждаютъ это; мои аналогіи и магнитныя стрѣлки, въ данномъ случаѣ, одно и то же.

Особенно сподручною и цѣнною для меня, на службѣ моимъ выводамъ, должна служить самая молодая изъ всѣхъ наукъ—«психофизика», уже открывшая, по вопросу о связи духовной дѣятельности человѣка съ физическимъ міромъ, необычайно много. Она, въ недалекомъ будущемъ, безспорно дастъ мнѣ недостающія теперь доказательства *ad oculos*, при лицезрѣніи которыхъ будетъ уже совершенно ясно, что все исходящее отъ души человѣка (т. е. изъ его мыслей, фантазій, чувствъ и т. д.) и составляющее объекты ея творчества, а именно: науки, искусства, законодательства, дѣянія, военное дѣло, ораторская рѣчь, симфонія, домъ, мостъ, философская система, каналъ и пр., и пр., составляютъ не что иное, какъ продолженіе творчества самой природы, творчества ея черезъ посредство человѣка, нѣчто подобное тому, что совершаетъ дерево, наливая свой плодъ и давая сѣмя. Въ исторіи творчества человѣка, т. е. въ развитіи всей его дѣятельности, въ самомъ широкомъ ея значеніи, нельзя не признать частнаго вида творчества самой природы; это можетъ быть доказано, и доказывается мною въ длинномъ рядѣ примѣровъ зарожденій, развитія болѣзней, прививки, распространенія, смерти и другихъ біологическихъ и фізіологическихъ актовъ въ существованіи произведе-

ній творчества человеческого духа. Ихъ можно, для удобства, назвать не совсѣмъ точнымъ именемъ «психическихъ организмовъ», не въ томъ смыслѣ, чтобы они имѣли голову, ноги, сердце и т. д. (хотя и существуютъ организмы безъ органовъ), а въ томъ, что въ своеобразномъ мірѣ произведеній творчества человеческого духа, составляющемъ въ нашемъ мірѣ отнюдь не меньшій, чѣмъ онъ, міръ, они являются какъ бы отдѣльными, самостоятельными, имѣющими свое бытіе «индивидуумами». Напоминаю, что еще св. Августинъ назвалъ міръ «самымъ большимъ изъ всѣхъ видимыхъ организмовъ». Вспомнимъ также, что какой нибудь микроскопической амебѣ ея удлиненіе замѣняетъ органы движенія и хватанія, что весь организмъ ея, по словамъ Грюна, одновременно рука, ротъ и пищеварительный аппаратъ. Нужно ли, чтобы и у организма непременно имѣлись органы? Я буду просить читателя обратить особенное вниманіе на эти, на первый взглядъ курьезные, «психическіе организмы» моего сочиненія. Лучшаго слова, чѣмъ «организмъ», въ особенности во вниманіе къ тому, что существуютъ въ природѣ организмы безъ органовъ, я положительнѣйшимъ образомъ подобрать не могъ. Названіе это смѣшно съ перваго взгляда, но только съ перваго. Психическимъ организмомъ называю я все рѣшительно, безъ всякаго исключенія, что сотворено духомъ человѣка: дѣяніе, пѣсню, картину, мостъ, химическій опытъ, битву, исторію, законодательство и т. д. Всѣ эти организмы, всѣ безъ исключенія, имѣютъ свое зарожденіе, развитіе, болѣзни, смерть и т. д. Возьмемъ, для рѣзкости примѣра, «мостъ». Я не знаю количества всѣхъ мостовъ, существующихъ на свѣтѣ, но я знаю, что ихъ столько, что, на примѣръ, количество словъ на землѣ, безъ всякаго сомнѣнія, гораздо меньше; у нихъ есть своя исторія, свои системы, свои районы

распространенія, свои слабыя стороны, т. е. болѣзни, и вліяніе ихъ на жизнь земли вполне и ежеминутно ощутимо. Приведемъ еще другой примѣръ: какъ велико количество типовъ и лицъ, созданныхъ беллетристами, поэтами, драматургами? Это тоже психическіе организмы, населяющіе землю очень своеобразнымъ населеніемъ, и попробуйте отрицать причинность ихъ появленія, ихъ развитія, распространенія, вліянія на жизнь человѣка и пр.? Психическіе организмы въ моей системѣ чрезвычайно важны, такъ какъ есть основаніе полагать, что слѣдующее развитіе родовъ и видовъ животныхъ, какъ полагаютъ Спенсеръ и Грюнъ, совершится не въ отношеніи физическомъ, но развитіемъ мозговыхъ отвлеченій человѣка, а вѣдь это-то и есть мои «психическіе организмы».

Напомню также, что этотъ взглядъ мой на отношеніе творчества природы и человѣка тоже давно уже, только недостаточно ярко, сознавался другими. Знаменитый языковѣдъ Мюллеръ, какъ извѣстно, считалъ науку языковѣдѣнія одною изъ составныхъ частей естествовѣдѣнія; старикъ Винкельманъ думалъ примѣнить къ оцѣнкѣ художественныхъ произведеній естественно-научный методъ; знаменитый Бэръ пытался объяснять вопросы исторіи чрезъ посредство естественныхъ наукъ, а безсмертный Шиллеръ намѣтилъ полное сходство между процессомъ, происходящимъ въ зернѣ, до появленія ростка, и тѣмъ, что происходитъ въ душѣ художника до появленія на свѣтъ его произведенія. Такихъ примѣровъ могъ бы я привести цѣлый рядъ.

Такъ какъ при изложеніи всего перечисленнаго мнѣ нужно было придерживаться какой либо изъ болѣе извѣстныхъ и наиболѣе подходящихъ мнѣ системъ, то я предпочелъ придерживаться системы Дар-

вина и его ближайшаго дополнителя и послѣдователя—Геккеля. Дарвинъ, надѣлавшій еще такъ недавно столько шума и, не смотря на то, быстро забываемый, все-таки остается однимъ изъ величайшихъ мыслителей. Конечно, много правды также и въ его возражателяхъ, напримѣръ, въ Данилевскомъ, и несомнѣнно, сильные удары нанесены его знаменитой теоріи «себя-приспособленія», хотя бы недавнимъ открытіемъ на глубинѣ четырехъ тысячъ метровъ въ пучинахъ морскихъ, куда не проникаетъ ни одинъ солнечный лучъ, рыбъ, снабженныхъ чрезвычайно сложными глазами и богатыхъ красками, что по теоріи Дарвина было бы немыслимо, такъ какъ глаза въ вѣчной тьмѣ должны были бы подвергнуться полному уничтоженію (атрофіи); самъ Дарвинъ отъ многого подъ конецъ отказался; но, тѣмъ не менѣе, система его, все-таки, остается полною системою. Для цѣли, мною себѣ намѣченной, очень сподручною оказалась схема физиологическихъ и біологическихъ явленій, выработанная Геккелемъ. Я взялъ ее почти цѣликомъ и наполнилъ параграфы ея, весьма послѣдовательно развивающіе бытіе «организмовъ природы», характеристиками бытія «психическихъ организмовъ» творчества человѣческаго духа. Къ великому изумленію моему и почти противъ ожиданія, по окончаніи этой многолѣтней и кропотливой работы, получилъ я нѣчто достаточно цѣльное, свидѣтельствующее очень наглядно, что и въ творествѣ человѣческаго духа есть свои реформаціи, своя біологія, несомнѣнно, есть зарожденія и смерти организмовъ, есть графически ясное ихъ распространеніе по землѣ, есть въ нихъ болѣзни острыя и хроническія, есть причины преждевременной и старческой смерти, и т. п.

Когда, такимъ образомъ, параллельность, или тождественность въ бытіи произведеній природы и

произведеній творчества человѣка опредѣлилась для меня съ достаточною полнотою, я не могъ не вывести двухъ главныхъ основаній, общихъ для того и другого бытія:

1) въ исторіи развитія организмовъ всего міра, начиная отъ протоплазмы и кончая мыслью Ньютона или Шекспира, ясно, какъ Божій день, что, съ нѣкоторыми исключеніями, съ нѣкоторыми отступленіями (регрессами), все твореніе несомнѣнно совершенствуется (по-Дарвиновски— дифференцируется), улучшается, и что

2) усовершенствованіе, однажды имѣвшее мѣсто, съ малыми исключеніями и отступленіями, сохраняется и на будущее время, чѣмъ обусловливается народженіе еще болѣе усовершенствованныхъ формъ, устраняющихъ и замѣняющихъ формы менѣе совершенныя.

Этими двумя, чрезвычайно важными для моей теоріи, выводами закончилъ я «первый отдѣлъ» моего труда. Если кто изъ людей, ознакомившихся съ нимъ, найдетъ, что какъ общая мысль, такъ и эти два послѣднихъ вывода неправильны или не доказаны, или недостаточно мотивированы, или не ясно изложены и дурно, не логично, не научно выведены, то я просилъ бы такого читателя вовсе не затруднять себя чтеніемъ «второго отдѣла»; у такого читателя не будетъ подъ ногами почвы, и ему придется гулять въ красивыхъ, любопытныхъ, но воздушныхъ замкахъ.

Если же, наоборотъ, извинивъ ту или другую неточность, допустивъ ту или эту неполноту, выводы эти, въ общемъ ихъ значеніи и несомнѣнности, будутъ приняты читателемъ, то я могу идти съ нимъ рука объ руку дальше, къ доказательствамъ наивѣличайшей истины: безсмертія единой души человѣка. Я думаю, что многое въ Священномъ Пи-

саніи, въ общихъ чертахъ своихъ, можетъ найти вполне научныя объясненія и подтвержденія, и въ этомъ смыслѣ наука такая, какою ей предназначено быть, наука, сомнѣвающаяся во всемъ, даже въ самомъ Богѣ, испытующая все, даже самого Бога, держащая изслѣдовать все, даже молчаливую молитву человѣка, наука, которая, если можно такъ выразиться, будетъ дышать сомнѣніемъ, исполнить извѣстное приглашеніе молитвеннаго стиха, гласящаго: «Всякое дыханіе да хвалитъ Господа!» Вѣчно сомнѣвающаяся наука непременно восхвалитъ Бога! Я думаю, что не солгу, сказавъ, что критической оцѣнкой Бога, т. е. изслѣдованіемъ Его, занимается каждый теологъ въ своей книгѣ, каждый церковный проповѣдникъ въ своей проповѣди. Отчего же не сдѣлать этого философу и естественнику? Принимая на себя смѣлость подвергнуть критической оцѣнкѣ идею безсмертія, я приглашаю читателя, пугающагося, однако, прорезвости изслѣдователя и видящаго, въ силу привычки или щепетильности, святотатство не только въ обстановкѣ и методѣ изслѣдованій этихъ великихъ истинъ, но уже и въ самомъ намѣреніи изслѣдовать ихъ, припомнить одно мѣсто изъ «Дѣяній апостольскихъ», а именно: извѣстное видѣніе сосуда, спускавшагося съ неба и наполненнаго гадами, которые предложено было апостолу Петру съѣсть; апостоль отказался; тогда въ другой разъ заговорилъ голосъ съ неба, объясняя ему: «Что Богъ очистилъ, того ты не почитай нечистымъ». Сомнѣніе во всемъ можетъ показаться гадомъ, но человѣку данъ умъ, и этотъ умъ снабженъ оружіемъ сомнѣнія, и именно на тотъ конецъ, чтобы онъ пользовался имъ вездѣ и всегда.

На этомъ оканчивалась тетрадка—рукопись Петра Ивановича. Семенъ Андреевичъ прочелъ ее, какъ сказано, въ тотъ же вечеръ.

## V.

Наступило утро. Хороша ты, степь безконечная, въ твоёмъ величіи, особенно утромъ! Никого кромѣ птицы не видно надъ тобою въ пространствахъ небесныхъ; нѣтъ у тебя самой ни очей, ни слуха, а, между тѣмъ, такъ и кажется, что кто-то живетъ въ тебѣ, кто-то думаетъ надъ тобою, или сама ты задумалась думою необъятною, думою безконечною! Какъ бы отчаяваясь въ возможности измѣрить тебя и, все-таки, желая обозначить вещественнымъ знакомъ, что возникло у кого-то такое дерзкое намѣреніе—измѣрить, кто-то раскидалъ по тебѣ елвидными морщинками глубокіе, черные буераки, въ которые, въ темную, воробьиную ночь, какія тутъ иногда бываютъ, валятся и путникъ и звѣрь, а въ осеніе и весенніе ливни устремляется небесная вода и бурлитъ, и клокочетъ, и размываетъ землю, и становится грязною. Весною, вся въ тюльпанахъ, ты, степь,—подвѣчная красавица; палящимъ лѣтомъ ты—высохшая мумія египетской властительницы, принимавшей когда-то на свои розовыя щеки поцѣлуи всемогущаго царя весны—фараона; въ долгую осень ты—своенравная, дряхлѣющая въ великихъ размѣрахъ своихъ и еще болѣшихъ воспоминаніяхъ о быломъ, римская матрона, а зимою ты—наша русская красавица, съ алымъ румянцемъ на щекахъ, теплая, горячая, потому что, гдѣ же, какъ не въ снѣгахъ, отогрѣвается путникъ, застигнутый роковою мятелю: ты приголубливаешь его, грѣешь и спасаешь.

Такъ, или не такъ, думалъ Семень Андреевичъ на утро слѣдовавшаго за передачей ему тетрадки дня, отправившись въ степь погулять, сказать трудно, но что онъ шелъ глубоко задумчивымъ, это несомнѣнно.



Еще вчера вечеромъ прочелъ онъ всю тетрадку вторично, прочелъ внимательно, о чемъ и сообщилъ Петру Ивановичу, случайно встрѣтившись съ нимъ на порогѣ дома: хозяинъ вышелъ посмотреть на своихъ больныхъ, на прежнихъ и на вновь прибывшихъ.

Что это такое за человѣкъ, Петръ Ивановичъ, думалось двигавшемуся по степи Семену Андреевичу: сумасшедшій, или оригинальный умъ? Что казалось въ тетрадкѣ: бредъ галлюцината или начальный лепетъ какой-то будущей чудесной рѣчи, первые звуки совсѣмъ новаго характера, новаго инструмента, незнакомые нашему слуху, но способные сложиться во что-то необыкновенно величавое, въ какую-то мировую музыку? Если Семенъ Андреевичъ думалъ такъ и не отнесся къ тетрадкѣ и человѣку, ее написавшему, болѣе сдержанно, то это надо приписать, конечно, его молодости и воспріимчивости.

Если признать Петра Ивановича за сумасшедшаго, то, думалъ онъ, во-первыхъ, откуда же эта ясность его жизни, это глубокое, хрустальное спокойствіе, казалось бы, вовсе не обусловливаемое его семейными отношеніями? Если онъ сумасшедшій, то какъ объяснить несомнѣнную логичность общаго изложенія всей его системы, выработанной, повидимому, до мелочей, потребовавшей двухъ десятковъ лѣтъ работы и громадныхъ свѣдѣній? Какъ понять это долгое, сознательное упорство въ преслѣдованіи своей мысли, поднимающее его надъ уровнемъ житейскихъ нуждъ въ какое-то олимпійское спокойствіе? Можетъ ли чепуха дать олимпійское спокойствіе? Правда, говорятъ, что и сумасшедшіе, со своихъ точекъ зрѣнія, строго покойны, логичны, что они тоже безконечно упорны, но ни съ этою ихъ логикой, ни съ этимъ ихъ упорствомъ не могутъ согласиться другіе люди — не сумасшедшіе. А между

тѣмъ, думалось Семену Андреевичу, я, какъ будто, не прочь согласиться. Или я самъ сумасшедшій?

Подгорскій, при этой страшной мысли, даже приложилъ руку къ головѣ и остановился.

Степь раскидывалась далеко кругомъ, быстро нагрѣваемая утреннимъ солнцемъ; вправо кое-гдѣ, за возвышенностями, поблескивала Волга. Родниковка виднѣлась позади, вершинами своихъ старыхъ осокорей; виднѣлись подлѣ нея кибитки, и мимо Семена Андреевича проѣхала, дребезжа по сухотѣ пустыни, еще новая кибитка, направляясь туда же. Высоко въ небѣ рѣяли ястреба, и запахъ полыни чувствовался все сильнѣе и сильнѣе; полыни росло вокругъ видимо-невидимо и, при ходьбѣ по ней, запахъ этотъ словно пробуждался отъ своей утренней дремоты и билъ въ носъ.

Семень Андреевичъ, какъ бы дохнувъ свѣжести и величія степи, озаренной солнцемъ, немедленно убѣдился въ томъ, что онъ самъ не сумасшедшій, и даже улыбнулся своей мысли.

Но если, продолжалъ онъ думать, Петръ Ивановичъ тоже не сумасшедшій, какъ и я, то отчего же, совершенно помимо моего собственнаго желанія, чувствую я, что отношусь къ нему какъ-то свысока, саркастически? Вѣдь онъ, видимо, безконечно умнѣе, начитаннѣе меня, а по характеру жизни, по добру, которое онъ дѣлаетъ—и сравнивать насъ нечего? и почему же имѣю я право относиться къ нему свысока? Гдѣ мои основанія? И почему же, чувствуя въ себѣ присутствіе какой-то смѣшливости, я, тѣмъ не менѣе, безмѣрно заинтересованъ разоблаченіемъ его доказательствъ безсмертія? Вѣдь онъ, въ концѣ концовъ, всѣ свои сужденія вилами на водѣ пишетъ, потому что, по самому существу дѣла, они не могутъ быть иными. Но что особенно сильно подкупаетъ меня, такъ это полное отсутствіе въ немъ вся-

каго мистицизма; этотъ человѣкъ, повидимому, отвѣживается прикасаться къ самымъ отвлеченнымъ вопросамъ, такъ сказать, прямо пальцами и при полномъ дневномъ свѣтѣ. Удивительно! и очень, очень любопытно, если не глупо! Но какъ шутить, однако, жизнь человѣческая: этакому Петру Ивановичу дать такую жену, какъ Наталья Петровна? Этакаго Петра Ивановича посадить къ калмыкамъ, въ Родниковку? Что-то дѣлаетъ теперь развеселая паролодная компанія, и какъ провели они первую ночь?

Сообразивъ, что ранѣе часу Петръ Ивановичъ отъ своей работы не освободится, Подгорскій предпочелъ посидѣть и взглянуть въ тетрадку, которую онъ несъ съ собою, еще разъ. Онъ отыскалъ заключеніе «Перваго отдѣла», гдѣ говорилось о необходимости признанія двухъ главныхъ основаній, согласившись съ которыми, можно идти впередъ во «Второй отдѣлъ».

— Особенно сильныхъ опроверженій тому, что въ природѣ имѣется нѣкоторый ходъ къ лучшему, къ усовершенствованію, я, пожалуй, не подберу... да и противъ того, что однажды имѣвшее мѣсто усовершенствованіе удерживается, сохраняется на будущее время, хотя и условно, я тоже сокрушающихъ возраженій не имѣю... Все дѣло въ тѣхъ фактахъ, которые, какъ говоритъ Петръ Ивановичъ, приведены имъ въ огромномъ числѣ и по всѣмъ отраслямъ знаній и изъ всей дѣятельности человѣка; приходится вѣрить на слово. Удивительно дерзка мысль «психическаго организма»! Дѣяніе человѣка, пѣсня, научное изслѣдованіе, Троицкій мостъ, симфонія Бетховена, доброе дѣло, злой поступокъ — все это, если слѣдовать теоріи Петра Ивановича, — «психическіе организмы», или «индивидуумы», и у нихъ имѣется своя жизнь. Такъ и видятся у нихъ и глаза

и уши? Впрочемъ, это не совсѣмъ такъ, потому что Петръ Ивановичъ прямо говоритъ гдѣ-то, что произведенія творчества человѣка называетъ онъ «психическими организмами», не въ силу того, чтобы у нихъ имѣлись голова, ноги, сердце и что въ самой природѣ существуютъ организмы безъ всякихъ органовъ. Но, въ концѣ концовъ, все это мелочи, пустяки, пробѣлы, если угодно, а съ двумя послѣдними выводами я, какъ будто бы, долженъ согласиться. Я соглашусь съ нимъ, конечно, хотя бы только на словахъ, чтобы вызвать Петра Ивановича на дальнѣйшее сообщеніе, къ самому доказательству безсмертія. Любопытно, въ высшей степени любопытно! А вѣроятнѣе всего, что, все-таки, вилами на водѣ пишеть!

Семень Андреевичъ, съ тетрадкою въ рукахъ, обуреваемый самыми противорѣчивыми соображеніями, сидѣлъ на краю буерака, свѣсивъ въ него ноги. На днѣ буерака еще залегала небольшая тѣнь, но цѣлая семья небольшихъ змѣй, чуя приближеніе жаркаго времени, уже выползла изъ норокъ и шуршала въ сухихъ стебляхъ умершихъ прошлою осенью травъ, сложенныхъ сюда осенними вѣтрами; прошло еще нѣсколько минутъ, и чешуйки на змѣяхъ заискрились въ солнечныхъ лучахъ. Со стороны Волги раздался свистокъ парохода, и показался черный дымокъ. Съ другой стороны, со стороны степи, вдругъ обозначилось какое-то облачко пыли: что-то двигалось оттуда, по направленію къ Семену Андреевичу, и скоро различилъ онъ, что, прямо на него, мчался весьма большой табунъ. По мѣрѣ приближенія, облако пыли росло неимоვნно и несло въ мѣстѣ съ конями. Табунъ быстро близился, земля начинала звенѣть и дрожать, и не трудно было отличить сквозь пыль, окружавшую лошадей, что ихъ подгоняли, сидя на коняхъ и помахивая длинными арап-

никами, два калмыка въ большихъ, вислоухихъ шапкахъ. Табунъ мчался прямо на буеракъ, на краю котораго сидѣлъ Подгорскій, и кони, двигавшіеся по степи словно потокъ лавы, по мѣрѣ приближенія къ началу буерака, стягивались къ нему и, одни за другими, начали спускаться въ глубь его, по направлению къ Волгѣ; несомнѣнно, что путь былъ имъ знакомъ — путь къ водопою. Необычайно красиво совершался этотъ спускъ табуна, стягивавшагося на всемъ скаку въ темное углубленіе буерака; вскинувъ хвосты и помахивая гривами, сталкивались одна съ другою лошади разнообразнѣйшихъ мастей, отъ пѣгихъ до саврасыхъ, вплотную одна къ другой, и словно вливались въ буеракъ какою-то покрытою пѣною живою стремниною. Калмыки заскакивали съ боковъ, направляя къ буераку тѣхъ немногихъ коней, что не знали своего дѣла и не хотѣли попасть въ буеракъ. Направивъ, какъ слѣдовало, весь табунъ, табунщики сами спустились, сползли внизъ по самой кручѣ боковъ буерака, со смѣлостью и ловкостью поразительною. Непосредственно вслѣдъ за этимъ налетѣла на Семена Андреевича поднятая табуномъ невообразимо-густая пыль, и солнце, сквозь нее, показалось ему коричнево-золотистымъ.

Солнце стояло уже очень высоко, и слѣдовало вернуться въ Родниковку, для опроса старшинъ мѣстныхъ калмыковъ, вызванныхъ Семеномъ Андреевичемъ еще съ вечера. Онъ возвратился, весь объятый своими противорѣчивыми мыслями, но вполне готовый признать, хотя бы на словахъ, «совершенствованіе» организмовъ и «сохраненіе усовершенствованныхъ формъ» для того, чтобы вызвать Петра Ивановича на доказательство безсмертія.

## VI.

Въ послѣобѣденное время, въ самый жаръ, Родниковка покоилась, объятая самымъ полнымъ молчаніемъ, что случалось съ нею чрезвычайно рѣдко, такъ какъ у Натальи Петровны постоянно бывали гости. На этотъ разъ не было ни самой хозяйки, ни одного изъ обычныхъ гостей, потому что большинство ихъ уѣхало на пароходъ, а кто остался въ уѣздномъ городѣ и могъ бы пріѣхать, тѣ всѣ знали, что хозяйка въ отлучкѣ, а съ Петромъ Ивановичемъ необычайно скучно, и ѣхать въ Родниковку не зачѣмъ.

Небольшой домикъ помѣщался, какъ сказано, въ котловинѣ на правомъ берегу Волги и, благодаря этому, еще отъ одиннадцати часовъ утра и до поздняго вечера, находился въ постоянной тѣни и отличался замѣчательною прохладою. Комната Петра Ивановича, такъ называемый кабинетъ и, рядомъ съ нимъ, лабораторія и амбулаторія выходили четырьмя своими окнами къ источнику, и вѣчный говоръ немолкающихъ струй его проникалъ въ комнаты и замиралъ между множества стклянокъ, банокъ, ретортъ и книгъ. И тутъ, какъ въ бесѣдкѣ, широкіе, изумрудные листья тыквы, на толстыхъ, свѣтлыхъ, змѣеобразныхъ, очень длинныхъ стебляхъ, одѣвали наружную стѣну и всползали даже на черепичную крышу домика и лѣзли въ окна. Въ комнатѣ, на стѣнѣ, противоположной окнамъ, въ качествѣ картины, но не образа, висѣло превосходное, писанное масляными красками изображеніе Распятія — конія съ извѣстнаго Распятія Брюллова, находящагося въ Петербургѣ въ лютеранской Петропавловской церкви; книгъ виднѣлось очень много, и на письменномъ столѣ лежала особнякомъ грузная Библія синодальнаго изданія. Въ амбулаторіи, что поражало посѣ-

тителя, въ двухъ противоположныхъ углахъ помѣщались два изображенія: въ одномъ освѣщалась лампадою икона Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ радости, въ другомъ калмыцкая икона съ Буддою въ срединѣ и съ четырьмя его воплощеніями по угламъ. Для большинства больныхъ, посѣщавшихъ Петра Ивановича, имѣла значеніе именно эта икона.

Часы только что пробили пять по-полудни, когда Петръ Ивановичъ, съ своимъ гостемъ, послѣ обѣда, вошли въ кабинетъ и размѣстились совершенно удобно въ двухъ большихъ креслахъ, другъ противъ друга, подлѣ окна.

— Ну, что же-съ, спросилъ Петръ Ивановичъ,— прочли?

— Прочелъ. Я, безусловно, отношусь къ тѣмъ читателямъ, которые желаютъ идти съ вами впередъ.

— Но вѣдь вы должны мнѣ вѣрить на слово, что я дѣйствительно имѣю въ своемъ распоряженіи множество фактовъ изъ всѣхъ отраслей человѣческаго бытія, подтверждающихъ мою основную мысль о томъ, что произведенія творчества человѣка, или какъ я называю ихъ, не совсѣмъ удачно, «психическіе организмы», во многомъ подчинены тѣмъ же законамъ, что и произведенія самой природы, и что творчество человѣка есть только продолженіе творчества природы.

— Я вѣрю вамъ.

— Въ такомъ случаѣ, сказалъ Петръ Ивановичъ,— я приступлю, если угодно, къ изложенію моей системы. Но съ самаго начала я долженъ предупредить васъ, что если вамъ угодно будетъ прослушать изложеніе моей теоріи о безсмертіи, то я, при изложеніи, зачастую даже, буду прямо, и безъ обиняковъ, говорить вамъ, что на то или другое я вамъ наглядныхъ доказательствъ дать не могу. Но вы ихъ и требовать не можете! Вѣдь и естественникъ часто

не даетъ вамъ таковыхъ и въ томъ или другомъ мѣстѣ своего изслѣдованія непремѣнно останавливается передъ загадкою. Очень добросовѣстенъ въ этомъ случаѣ Тиндаль, говорящій прямо, что, въ сущности, сама матерія мистична и трансцендентальна, а изъ Шопенгауэра и Гартмана ясно, что въ человѣкѣ даже пищевареніе—мистично! Естественникъ, имѣя довольно ясное понятіе о томъ, какъ изъ протоплазмы органически развивается жизнь, самого появленія протоплазмы все-таки не понимаетъ! Намъ, людямъ, дано дѣйствовать своимъ умомъ только въ какомъ-то ограниченномъ, свѣтломъ кругу, за которымъ для насъ существуетъ одна только великая тьма. Этотъ свѣтлый кругъ, это мѣстечко, въ которомъ мы можемъ работать, очень не велико. Человѣчество окружено, собственно говоря, двойною тьмою: тьма по протяженію, по пространству, потому что мы не знаемъ, гдѣ границы, есть ли границы вселенной и что за ними, и тьма во времени, ибо мы не знаемъ, что было, что будетъ; но мы очень хорошо знаемъ, что дѣлается вокругъ насъ. Уносясь въ каждое мгновеніе, со всею солнечною системою нашею куда-то, въ одну сторону, по одному направленію, наша земля уноситъ съ собою и этотъ свѣтовой районъ знанія, въ которомъ мы работаемъ, созданные Богомъ, согласно Библіи, въ шестой день. Во всякой наукѣ есть своя периферія свѣтлаго круга, и исключеніе составляетъ, почему-то, одна только математика съ ея развѣтвленіями, не имѣющая, такъ сказать, ограниченія периферіею. Почему для нея такое исключеніе, не скажетъ вамъ никто, это тайна, но оно, пока что, несомнѣнно. Велика, по протяженію въ пространствахъ небесныхъ, компетенція нѣкоторыхъ изъ естественныхъ наукъ нашихъ, но, такъ сказать, рукъ своихъ они ни до какого свѣтила не протянуть и водорода, имѣющагося на солнцѣ, не



зачерпнуть, тогда какъ въ вычисленіяхъ астронома, основанныхъ на томъ, что  $2 \times 2 = 4$ , функционируетъ отдаленнѣйшая планета и, не смотря на то, что она вѣситъ въ сто, въ тысячу разъ болѣе нашей земли, она подчиняется вычисленію, входитъ въ него скромною цифрою и, въ данное мгновеніе, дѣйствительно явится на томъ мѣстѣ, гдѣ астрономъ скажетъ ей быть. Почему эта исключительная сила математики— не знаю. Я буду поэтому просить васъ, при моихъ доказательствахъ, довольствоваться тѣмъ, что я могу доказать, и уволить разъ навсегда отъ всякой метафизики.

— Я сказалъ, что математическое вычисленіе не ограничивается никакою периферіею. Какія причины этой особенности положенія математики въ ряду другихъ наукъ, я не знаю, но я знаю, что у нея самой есть удивительная особенность: она не допускаетъ никакой лжи, никакой ошибки. Полагаю также, что во всей вселенной математика должна быть одна и та же и тоже не допускаетъ лжи. На Сатурнѣ или на солнцѣ можетъ не хватать того или другого тѣла или газа, могутъ существовать особые животныя, для которыхъ кислорода не надо, и, наоборотъ, могутъ произрастать растенія, питающіяся кислородомъ, могутъ существовать сирены съ рыбьими хвостами, циклопы съ однимъ глазомъ или гуляющіе на головахъ, но что  $2 \times 2 = 4$ , это должно имѣть мѣсто и тамъ. Скажу, къ слову, такъ, въ видѣ анекдота, что и наша земля иногда какъ бы шалитъ съ общими законами: у насъ существуютъ мясоядные растенія, есть растенія, дышашія кислородомъ, есть двигающіяся растенія, есть тѣла, въ противность общему правилу, расширяющіяся при охлажденіи и если ледъ плаваетъ по водѣ, то онъ дѣлаетъ это только въ силу страннаго противорѣчія всему остальному; въ противность другимъ веще-

ствамъ, холодѣеть отъ растягиванія каучукъ. Подобною же, какъ бы шалостью, можно назвать и то, что ощущеніе свѣта въ нашихъ глазахъ можно вызвать химически, приѣмомъ нѣкоторыхъ веществъ и механически — ударомъ или надавливаніемъ глаза; электрическимъ токомъ можно вызвать къ дѣятельности не только наше зрѣніе, но также и слухъ, и обоняніе, и вкусъ, и совершенно правъ Бернштейнъ, когда говоритъ, что всѣ наши пять чувствъ это только развитіе одного основного чувства—осязанія: слѣпые видятъ ошупью, рыбы слышатъ костями и если бы, случайно, нашъ слуховой нервъ сросся съ глазнымъ, а глазной со слуховымъ, то мы могли бы видѣть симфонію и слышать картину. Вы видите, что и тутъ такое же единеніе, какъ между царствами природы и силами, ими заправляющими. Но это анекдотическая вылазка—я перейду къ дѣлу.

— Эрстедтъ, этотъ почтенный Гумбольтъ Даніи, замѣчаетъ совершенно справедливо, что если разнообразіе формъ бытія во всей вселенной можетъ быть безконечно велико, такъ велико, что земля съ ея формами окажется вполне бѣдною и ничтожною, но основные законы движенія, тяготѣнія, физическіе и химическіе, у насъ, несомнѣнно, одни и тѣ же со всѣми мірами. Если тяжесть на Юпитерѣ въ  $2\frac{1}{2}$  раза больше, чѣмъ у насъ, сутки длятся только 10 часовъ, годъ равенъ нашимъ 11 годамъ, а солнце кажется въ 25 разъ меньшимъ, чѣмъ намъ, то это именно различіе доказываетъ единство закона. Кругъ, эллипсисъ, парабола чертятся мыслящими существами другихъ планетъ, если они есть и если они чертятъ, не иначе, какъ нами, а чувства красоты и безобразія, въ общихъ основаніяхъ, должны быть у нихъ тѣ же самыя, что у насъ.

— Я намѣтилъ нѣсколько общихъ линій, продолжалъ Петръ Ивановичъ,—и теперь для того, чтобы

идти дальше, позвольте мнѣ задать вамъ одинъ вопросъ, отъ отвѣта на который будетъ зависѣть возможность дальнѣйшей рѣчи. Представляете вы себѣ бытіе земли и вселенной, какъ нѣчто системное, логичное, опредѣленнымъ законамъ подчиненное и, въ силу этого, непремѣнно направляющееся къ извѣстной цѣли, стремящееся къ ней, или, наоборотъ, видите вы въ этомъ бытіи нѣчто, хотя и подчиненное законамъ и всей ихъ строгости, но ни къ какой цѣли не направляющееся, какую-то толчею на мѣстѣ, хотя и вполне законно совершающуюся, но все-таки толчею, безъ опредѣленной цѣли и неизвѣстно во имя чего? Одно изъ двухъ? Что признаете вы, Семенъ Андреевичъ?

Сказать по правдѣ, Семенъ Андреевичъ уже заслушивался Петра Ивановича, его спокойной, увѣренной рѣчи, которой такъ чудесно вторилъ родникъ подъ окномъ. Онъ не ждалъ этого вопроса.

— Какъ вы говорите? что спрашиваете? проговорилъ онъ быстро, — да, понимаю, понимаю, сообразилъ! Толчеи не могу я признать ни въ какомъ случаѣ! должна быть конечная, или, лучше, ближайшая цѣль, иначе міръ — безуміе, а какіе же въ безуміи могутъ быть законы?

— Ну, конечно, отвѣтилъ Петръ Ивановичъ, — слѣдовательно: существуетъ логика бытія, цѣль... Обращу теперь ваше вниманіе на одно удивительное совпаденіе естественной науки и ученія Библии. Много вызывало святотатственныхъ насмѣшекъ ученіе Библии о томъ, что земля образована прежде солнца, а между тѣмъ, новѣйшая наука, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, возвращается къ геоцентрическому воззрѣнію. Такъ нѣкоторые ученые замѣчаютъ, что земля дѣйствительно болѣе удобна для развитія высшей мысли, чѣмъ, напримѣръ, Меркурій, гдѣ жаръ и свѣтъ въ 7 разъ сильнѣе, чѣмъ у насъ, или Нептунъ,

гдѣ онъ въ 900 разъ слабѣе. Въ этомъ смыслѣ мы, люди, имѣемъ нѣкоторое основаніе полагать, что человѣкъ, въ данную минуту, есть высшее развитіе органической жизни мірозданія и что, въ этомъ смыслѣ, мы дѣйствительно тѣ «избранные», о которыхъ говорится въ Библии и говорится не разъ. Напомню вамъ также, что интеллектуальнымъ центромъ мірозданія признавалъ землю и Гегель, причемъ довольно забавно, въ порывѣ любви къ землѣ и предпочтенія ея, называлъ звѣзды не болѣе какъ «свѣтовою сыпью», блестящею для земли; почтенный философъ, какъ вы видите, увлекался!

— Теперь, — продолжалъ Петръ Ивановичъ: — я суммирую то, что сказалъ вамъ: во-первыхъ, не требуйте отъ меня доказательствъ *ad oculos*: ихъ иногда должно не хватать; во-вторыхъ, не забудьте, что земля, какъ мѣсто для развитія высшей мысли, является въ условіяхъ значительно лучшихъ, чѣмъ многія другія планеты; въ-третьихъ, что выводы, дѣлаемые нами на основаніяхъ математики и естествознанія, обязательны и для всѣхъ уголковъ вселенной; въ-четвертыхъ, что въ бытіи вселенной имѣется налицо законная логичность, имѣется цѣль и направляющая къ ней, и что, въ-пятыхъ, эта направляющая свидѣтельствуетъ намъ, что жизнь и ея формы идутъ къ улучшенію, и что однажды совершившееся улучшеніе сохраняется, а не исчезаетъ. Вотъ въ этомъ-то сохраненіи, въ этомъ неісчезаніи высшихъ формъ и заключается мое доказательство единоличнаго безсмертія души человѣка...

Сказавъ эти слова съ большею разстановкою и немного усиливъ голосъ, Петръ Ивановичъ остановился; свѣтлая, но глубокая дума осѣнила его лицо...

Пока Петръ Ивановичъ молчалъ, звуки родника усилились необычайно; такъ показалось, по край-

ней мѣрѣ, Семену Андреевичу, потому что, волей-неволей, Подгорскій подчинялся несомнѣнному гипнозу, всегда сообщаемуся отъ человѣка, убѣжденнаго и вѣрящаго, и проявляющемуся иногда съ такою явственностью и несомнѣнностью.

— Теперь,—продолжалъ Петръ Ивановичъ:— къ самому доказательству... Тысячи, многія тысячи лѣтъ нужны были землѣ, чтобы изъ паровъ и каленія отложить твердыя основы, чтобы на нихъ могла развиться растительная и животная жизнь, чтобы, мало-по-малу, отъ самыхъ слабыхъ, еле видныхъ начатковъ жизненной индивидуальности въ какой нибудь зооспорѣ, развивать ее, т. е. личность, индивидуальность, въ другихъ высшихъ организмахъ, и чтобы, наконецъ, появился, въ шестой день, человѣкъ, вѣнецъ творенія, высшее слово его, самая полная индивидуальность. Съ появленіемъ человѣка, высшаго индивидуума, появились на землѣ умъ, мысль, въ дѣйствительномъ ихъ значеніи и со всѣми необычайно великими, дурными и хорошими послѣдствіями; въ человѣкѣ, пока что, достигло кульминаціоннаго, или, правильнѣе, высшаго пункта (кульминація предполагаетъ обратное вслѣдъ затѣмъ движеніе развитія внизъ, чему мы, въ данномъ случаѣ, не имѣемъ ни малѣйшаго научнаго основанія), развитіе «индивидуума», характерною особенностью котораго являются всѣ безтѣлесныя способности человѣка, т. е. то, что называется «душою». Начатки, первообразы этихъ способностей имѣются, какъ извѣстно, также въ низшихъ животныхъ, въ инфузоріяхъ, монадахъ, зооспорахъ, амебахъ, они достигаютъ значительно большаго развитія въ высшихъ животныхъ, но послѣднимъ, высшимъ словомъ этого развитія является индивидуальная, неслучайно индивидуальная, душа человѣка. До души животныхъ, сказывающейся иногда съ поразительною интенсив-

ностью, намъ нѣтъ никакого дѣла, потому что мы должны говорить только о высшемъ, что имѣется налицо, о томъ, что подлежитъ, слѣдовательно, дальнѣйшему развитію; этого дальнѣйшаго развитія изъ низшей формы, скачкомъ въ высшую, минуя среднюю, мы никоимъ образомъ допустить не можемъ, не противорѣча общему ходу развитія бытія, во всей послѣдовательности тысячелѣтій. Выше человѣческой души созданіе, до сегодня, не произвело ничего и, по существу своему, такая душа, какъ сказано, должна быть непременно индивидуальна. Собирательная (коллективная) душа, т. е. «душа человѣчества», какъ и безсмертіе такой «души человѣчества», тоже не совсѣмъ абстрактъ, но меня, въ данномъ случаѣ, не касается.

— Ну, скажите же теперь сами: можетъ ли это быть, чтобы твореніе, то-и-дѣло развиваясь, съ трудомъ и съ необычайными усиліями вырабатывая, на основаніи непреложныхъ законовъ, высшую форму, душу человѣка, непременно «индивидъ», личность, сразу обрывалось на смерти этого «индивида», на уничтоженіи, съ такимъ трудомъ и въ такое долгое время, доразвившейся «души»? Всегда и вездѣ природа сохраняла, сберегала высшую изъ выработанныхъ формъ бытія, чтобы изъ нея идти дальше, а тутъ, на самой высшей формѣ, вдругъ, ни съ того, ни съ сего, отступаетъ она отъ этого тысячелѣтіями соблюдавшагося закона и умерщвляетъ ее! Одно изъ двухъ: или все бытіе земное ничто иное какъ безуміе, пронія, мыльный пузырь,—но тогда зачѣмъ же предвѣчные, несомнѣнные, непреклонные, математически-точные законы мірозданія; зачѣмъ вся эта обстановка строгой логичности для надувательства кого-то, для какого-то важнаго, триумфальнаго, законнаго шествія въ глупѣйшее ничто? или, наоборотъ, если законы — не шутка, если жизнь дѣйствительно ло-

гична и развитіе въ извѣстномъ направленіи — ея суть, тогда признайте въ гибели единоличной души человѣка, т. е. высшаго индивидуума, совершеннѣйшую невозможность, полное отрицаніе всей остальной жизни, всѣхъ несомнѣнныхъ законовъ бытія, какой-то невѣроятный, безпричинный скачокъ по совершенно противоположному всему движенію бытія направленію! Но, признавъ невозможность гибели души, что будетъ совершенно правильно, предоставьте же ей, въ силу сохраненія однажды выработанныхъ, улучшенныхъ формъ, дальнѣйшее развитіе, т. е. загробную жизнь...

— Вы знаете, что я врагъ всякой метафизики и, могу васъ увѣрить, что я не выйду, какъ не выходилъ до сихъ поръ, изъ того свѣтлаго круга мышленія, въ которомъ назначено намъ мыслить. До периферіи его я васъ доведу, но слѣдовать за вами далѣе не буду. Если вамъ угодно, вы пойдете дальше сами, но я въ метафизику ни на шагъ.

— Первыми и самыми важными вопросами, возникшими, конечно, и въ васъ, если допустить загробную жизнь души, являются вопросы о томъ: можно ли представить себѣ душу безъ тѣла и гдѣ же совершаться дальнѣйшему развитію индивидуальной души? Отвѣчу на нихъ по порядку, безъ всякой метафизики.

— Можно ли представить себѣ душу безъ тѣла? Отвѣта на этотъ вопросъ я вамъ дать не могу, по принципу, потому что онъ чисто метафизическаго свойства и, думаю, что поступаю основательно, сказавъ прямо, безъ обиняковъ, что этого я не знаю. Въ данномъ случаѣ я поступаю, быть можетъ, слишкомъ даже добросовѣстно; я могъ бы воспользо-ваться и метафизикой, потому что даже такой реалистъ, какъ Вундтъ, не отрицаетъ, что существуютъ метафизическія основанія, взятые прямо изъ опыта

и науки. Но я буду вѣренъ себѣ. Упомяну только къ слову, что многіе, какъ, напримѣръ, нашъ казанскій профессоръ Лобачевскій и иностранцы Руманъ, Шмицъ-Дюмонъ, считаютъ себя въ правѣ придти къ заключенію, будто бы алгебра даетъ намъ возможность прозрѣвать, провидѣть другія измѣренія пространства, чѣмъ тѣ, которыя намъ извѣстны? Я не математикъ, провѣрить ихъ не могу, но и отрицать не смѣю. Если дѣйствительно существуетъ четвертое измѣреніе, намъ неизвѣстное, но только угадываемое, и его предвидятъ математики, на основаніи математики, то я рѣшительно не вижу причины не предполагать возможнымъ отдѣльное существованіе, въ неизвѣстныхъ намъ условіяхъ, однажды образовавшейся души? Но, какъ я уже сказалъ, я не буду говорить о возможномъ, я останусь при необходимомъ и несомнѣнномъ. На этотъ вопросъ я вамъ отвѣта, какъ сказано, не дамъ.

— Перехожу ко второму вопросу: гдѣ же совершаться дальнѣйшему развитію души? Или, другими словами: можетъ ли она исчезнуть для насъ? Исчезаетъ ли что либо цзъ мірозданія?

— Законъ, открытый въ 1824 году Карно и распространенный въ его послѣдствіяхъ на все мірозданіе, въ 1853 году, Томсономъ, гласитъ: «Только въ томъ случаѣ, если тепло переходитъ отъ тѣла болѣе нагрѣтаго, къ тѣлу, менѣе нагрѣтому, можетъ оно быть преобразовано въ механическую силу, и то только нѣкоторою частью своею». Большая часть переходитъ безъ всякой работы и ведетъ лишь къ уравниенію температуры; тѣла, одинаково нагрѣтыя, обмѣниваются лучистою теплотою, но работы при этомъ происходитъ не можетъ, между тѣмъ какъ механическая сила переходитъ въ тепло непрерывно. Если вселенная будетъ предоставлена совершенію нынѣшнихъ физическихъ условій, то, въ концѣ кон-



цовъ, весь запасъ силъ движенія перейдетъ въ тепло, а тепло, въ свою очередь,—въ равновѣсіе температуры. Тогда исчезнетъ причинность какихъ либо измѣненій, какой либо жизни, тогда настанетъ полнѣйшій застой рѣшительно во всѣхъ жизненныхъ отправленіяхъ природы, тогда покончится жизнь растений, животныхъ, человѣка, и вселенная, по словамъ Гельмгольца, будетъ обречена войти въ вѣчный покой. «Вѣчный покой»! но вѣдь это нашъ молитвенный стихъ! Но вѣдь это значитъ безсмертіе покоя? Безсмертіе извѣстнаго градуса температуры, безсмертіе, или status quo, матеріи? Безсмертіе успокоившейся матеріи, т. е. все-таки длинный рядъ безсмертій, съ которыми наши ученые рѣшительно не знаютъ, что имъ дѣлать, и передъ лицомъ котораго становятся въ тупикъ. «Естественно», что растенія и животныя существовать тогда не будутъ; обреченная на вѣчный покой, оставшаяся не у дѣлъ, матерія будетъ тоже совершенно «естественна», да и самый покой этотъ будетъ вполне «естественъ», Дѣйствовавшія прежде силы, обусловливавшія всю красоту бытія и самого человѣка, «естественно» преобразятся, станутъ невидимы, войдутъ въ равновѣсіе температуры, совершивъ круговоротъ... Ничего «неестественнаго», какъ вы видите, въ этомъ не будетъ, какая-то жизнь тоже какъ бы останется, но только въ грустномъ видѣ равновѣсія температуры. Слѣдовательно, получается не одно, а многія «безсмертія» и при этомъ полнѣйшая «естественность» этого безсмертія по наукѣ. Силы, создававшія жизнь, преобразятся въ равновѣсіе температуры и останутся не у дѣлъ, потому что работа, имъ предстоявшая, будетъ совершена, и онѣ, при тѣхъ условіяхъ, которыя въ то время, или, лучше сказать, въ то безвременье, сложатся и будутъ наличными, окажутся неспособными къ работѣ.

— Не могу удержаться и тутъ отъ того, чтобы не вспомнить опять-таки Священнаго Писанія, къ которому, какъ вы знаете, я отношусь очень критически, но, очень нерѣдко, поражаюсь имъ. Совершенно такъ же вѣрно, какъ повѣдано въ Библии, сотвореніе міра не мгновенное, а во времени, въ шесть дней, здѣсь, въ безсмертномъ «покоѣ» вселенной, предусматриваемомъ наукою, не вспоминаете ли вы того «покоя блаженныхъ», о которомъ повѣствуетъ намъ все-таки та же Библия? И необозримо много въ ней и другихъ истинъ, до которыхъ чело-вѣчество доработывается только усиліями тысячелѣтій, которыхъ мы еще не увидѣли, хотя онѣ и видимы, которыхъ мы еще не постигли, но когда нибудь поймемъ. Только нѣчто исключительное, божественное, могло создать такую книгу, какъ Библия!

— Если признать за справедливое, что величественный мертвый или вѣчный покой мірозданія обусловится равномерностью температуры, то это признаніе можетъ сослужить мнѣ въ моемъ доказательствѣ большую службу. Возрастаніе и развитіе единой души человѣка, принявъ въ расчетъ всю животную и, въ особенности, мозговую дѣятельность индивидуума, за всю его, иногда, очень долгую жизнь, поглощаетъ, что несомнѣнно, весьма большое количество энергіи. Значительное подтвержденіе этимъ словамъ найдете вы у Моешота. Совсѣмъ не бессмысленно было бы смотрѣть на индивидуумъ человѣка, совершившій свое земное, видимое бытіе, какъ на нѣкое жизненное явленіе, поглотившее, устранившее изъ мірового обращенія весьма значительное количество тепла; смерть человѣка, въ такомъ случаѣ, была бы ничѣмъ инымъ, какъ кажущимся исчезновеніемъ нѣкогого количества тепла, и душа его, за гробовую доскою, чѣмъ-то совершившимъ вполнѣ жизненный круговоротъ, кончившимъ

возможную, въ условіяхъ нашего, нынѣшняго міра, работу, и безвозвратно отошедшимъ отъ участія въ жизни, и тѣмъ болѣе видимости и оцутимости, но не сгинувшимъ.

— Здѣсь, на этомъ мѣстѣ, я долженъ остановиться, достигнувъ периферіи того свѣтлаго пространства, въ которомъ назначено намъ мыслить и трудиться. Ни пяди далѣе не могу я двигаться безъ того, чтобы не удариться въ метафизику. До смерти человѣка, до дверей въ загробную жизнь и указанія на нихъ, могъ я довести мое изслѣдованіе, путемъ, не противорѣчившимъ естествознанію, — далѣе идти я не могу. Дверь въ безсмертіе видна, я ставлю васъ передъ нею, но что за нею — это внѣ свѣтоноснаго круга моихъ человѣческихъ соображеній.

— Вполнѣ непозволительно было бы слѣдовать Сведенборгу съ его расквартированіемъ душъ. Если пуститься этимъ путемъ, то предположеній можно бы сдѣлать видимо-невидимо. Одно изъ нихъ, отчасти, совпадало бы, опять-таки, съ Библіею. Будущее души въ загробной жизни, дальнѣйшее ея развитіе и усовершенствованіе можно представить себѣ какъ бы оплотненіемъ, матеріализаціею ея, обратнымъ воплощеніемъ въ матерію, но въ матерію иную, чѣмъ нынѣшняя, уже потому, что она минуетъ фазисъ посмертнаго покоя, а именно: уравниженія температуры, который ей несомнѣнно предстоитъ. Не таково ли будетъ и воскресеніе мертвыхъ? «И увидѣлъ я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали», повѣствуется въ Откровеніи Іоанновомъ, причемъ сказано, что старое небо «скростся, свившись какъ свитокъ».

— Заглянуть въ судьбы души въ загробной жизни было бы со стороны человѣка не только нелѣпостью, не меньшею, чѣмъ если смотрѣть на звѣзды въ микроскопъ, но явилось бы умаленіемъ значенія без-

смертія, потому что всякое описаніе его являлось бы, при нашихъ средствахъ познанія и мышленія, простымъ антропоморфизмомъ тѣхъ высшихъ, намъ совсѣмъ неизвѣстныхъ, законовъ и формъ, для описанія которыхъ, по самому существу дѣла, у насъ, еще не умершихъ, не кончившихъ круговорота жизни, не можетъ быть ни линій, ни красокъ, ни соображеній, ни буквъ. Подобное описаніе могло бы удасться, хотя сколько-нибудь, только въ томъ случаѣ, еслибъ загробное будущее стало настоящимъ. Есть одно чудесное мѣсто въ Евангеліи Іоанновомъ, подкрѣпляющее мои слова и свидѣтельствующее о томъ, что намъ, по нашимъ законамъ и формамъ, не судить о законахъ и формахъ загробнаго бытія. Ученики Христовы допрашивали однажды Спасителя о томъ: куда онъ идетъ? что общаетъ? «Въ домъ Отца моего обителей много», отвѣтилъ Онъ имъ, «а если бы не такъ; я сказалъ бы вамъ: я иду приготовить мѣсто вамъ». Въ отвѣтъ этомъ имѣется несомнѣнный намекъ на другія, многія «обители», новыя и намъ неизвѣстныя, бытіе которыхъ не обусловливается даже такою необходимостью, какъ «мѣсто» ихъ существованія! Спаситель прямо говоритъ, что онъ избѣгъ и не сказалъ слова «мѣсто», а сказалъ гораздо болѣе широко и неуловимо—«обители», прибавивъ еще для поясненія, что «ихъ много».

— Этихъ «обителей», этихъ иныхъ формъ бытія, не нуждающихся въ «мѣстѣ», мы не знаемъ и знать не можемъ. Онъ явятся фактическимъ настоящимъ только для умершихъ людей. Если я сказалъ съ увѣренностью, что открытую дверь въ единоличное безсмертіе я вижу, то съ тою же совершенно увѣренностью, и на тѣхъ же самыхъ основаніяхъ, утверждаю я самымъ положительнымъ образомъ, что никакого общенія физическаго между умершими и живыми быть не можетъ. Весь спиритизмъ, весь ме-

діумизмъ это нѣчто въ родѣ слабоумія или даже идіотизма въ мышленіи человѣка. Совершенно такъ же, какъ невозможно обратить въ механическую силу отработавшую въ конецъ и пришедшую къ равновѣсію часть тепла, и она для міра безвозвратно исчезаетъ, успокоивается, совершенно на томъ же основаніи говорю я, что душа умершаго человѣка, никоимъ образомъ, ни подъ какимъ видомъ, въ общеніе съ покинутымъ ею міромъ войти не можетъ! Существуютъ ли отошедшіе здѣсь, между нами, или обрѣтаются они гдѣ либо въ пространствахъ, это вопросъ праздный и совершенно бессмысленный; если бы было возможно какое либо физическое общеніе, то душа умершаго еще не окончила бы земного бытія своего, вполнѣ съ нимъ не рассчиталась, была бы непременно, если можно выразиться, «матеріеспособною», т. е. еще не улетучившеюся частью тепла, была бы причастна «земляности»; это послѣднее совершенно подходящее словно нашелъ я гдѣ-то въ сочиненіяхъ паломника Муравьева. Ожидать появленія кого либо изъ мертвыхъ это совершенно то же, какъ если бы какое нибудь земноводное каменноугольной формаціи вдругъ пожелало встрѣтиться съ другимъ земноводнымъ изъ формаціи мѣловой? между ними легли время и невозможность, и появленіе мертваго явилось бы полнымъ отрицаніемъ причинности и условій загробнаго бытія. Видѣнія, несомнѣнно, могутъ имѣть мѣсто, но они будутъ явленіями чисто субъективными, способными исчезнуть при надавливаніи пальцемъ одного глаза въ сторону и нарушеніемъ параллельности глазныхъ осей.

— Вотъ основныя черты моихъ доказательствъ, Семень Андреевичъ, — договорилъ хозяинъ. — Есть много мелкихъ, несущественныхъ вопросиковъ, висящихъ подлѣ этихъ основныхъ линій, напримѣръ, вопросы о томъ: въ какой моментъ жизни, въ эмбрионѣ ли,

и когда именно образуется душа, пригодная для безсмертія? Имѣютъ ли душу ідіоты отъ рожденія? Не можетъ ли сложившаяся для безсмертія душа, вслѣдствіе чего либо, сгнуться или регрессировать, т. е. не совершится ли съ нею то, что сказано въ Дѣянїяхъ Апостольскихъ, «что всякая душа, которая не слушаетъ Пророка того, истребится изъ народа?» Не слѣдуетъ ли предполагать, въ этомъ смыслѣ, что всякій человѣкъ, уподобляющійся низшему организму, т. е. животному, въ звѣрствѣ, плотскости, и т. п., добровольно спускается на низшую степень развитія въ бытіи земли и, слѣдовательно, такая душа, для дальнѣйшаго развитія въ будущей жизни, становится непригодною? Что будетъ съ самоубійцами? Какіе будутъ у души внѣшніе облики и будутъ ли? Какъ опредѣлятся отношенія мужей, имѣвшихъ двухъ или трехъ женъ, къ этимъ своимъ половинамъ, да и насколько сохранятся идеи мужъ и жена—и пр., и пр. Но эти и множество всякихъ другихъ вопросиковъ обойду я совершенно; не забудьте только и обратите ваше вниманіе на то, что въ признаніи безсмертія души кроется цѣлая система высокой нравственности, своеобразная, естественно-научная этика, возбраняющая человѣку быть дурнымъ, злымъ, мстительнымъ и требующая отъ него добра, благотворенія, милости и прощенія другихъ. Посмотрите, какъ правильно опредѣляется приэтомъ взглядъ нашъ на воспитаніе дѣтей, на семью, на вѣхъ малыхъ сихъ? Какъ понятно и просто объясняется уваженіе къ предкамъ, къ родителямъ, какъ становится необходимо и понятно почтеніе къ могилѣ, въ которой лежитъ остатокъ того, что послужило куколкой для развитія безсмертной души? Какое обрисовывается тутъ поразительное сходство, опять-таки, съ требованіями Евангелія, передъ которымъ не могу не благоговѣть? Но все

это можетъ составить предметъ не одной такой бесѣды, какъ наша, а цѣлаго ряда бесѣдъ. На этотъ разъ, Семенъ Андреевичъ, вы меня извините; мы уже и такъ засидѣлись, а мои больные ждутъ, пора идти!

Петръ Ивановичъ и Подгорскій поднялись съ мѣстъ.

— Одно слово, Петръ Ивановичъ,—спросилъ Подгорскій.—Я близокъ къ тому, чтобы согласиться съ вашими доводами о логической необходимости безсмертія; я неоднократно слышалъ отъ васъ указанія на замѣчательныя совпаденія словъ «Священнаго Писанія» съ выводами науки, ну, а гдѣ же мѣсто въ системѣ вашей для сути сутей этихъ книгъ: вѣрѣ, церкви, молитвѣ?!

Темное облако прошло по выразительному лицу Петра Ивановича, и онъ, взявъ фуражку, для того, чтобы выйти изъ дому, остановился. Подгорскій продолжалъ:

— Вотъ, напримѣръ, нѣчто для меня необъяснимое. Въ вашей амбулаторіи икона Богоматери виситъ, какъ ей подобаетъ—иконою, и передъ нею теплится лампада, а вотъ это превосходное изображеніе Распятія, здѣсь, въ нашемъ кабинетѣ, помѣщено какъ бы въ видѣ картины; что это значитъ?

— Тамъ, въ амбулаторіи,—медленно проговорилъ Абадуловъ:—икона виситъ для народа... здѣсь, въ кабинетѣ, для меня... и это больное мѣсто всей моей системы... я, видите ли, достаточной причины, для того, чтобы признать идею вѣры, иконы, не имѣю. И это, повѣрьте мнѣ, великая грусть моя, если угодно—трагическое положеніе. Тутъ нужна вѣра, а ея-то у меня и нѣтъ... Я не вижу достаточной причины въ необходимости вѣры, когда вѣрить могу я только одному убѣжденію... Вы, можетъ быть, Семенъ Андреевичъ, удивляетесь той увѣренности,

съ которою я говорю это? Но я буду откровененъ, какъ былъ: тамъ, гдѣ мнѣ не хватало увѣренности, я всегда прямо сообщалъ вамъ, что доказательствъ не имѣю и, на томъ же основаніи безусловной правдивости, я долженъ сказать вамъ, что многого въ моей системѣ и моихъ заключеніяхъ я самъ не понимаю... есть пробѣлы... есть темнота... Если для меня вспомнѣ ясна логическая необходимость признать единоличное безсмертіе души, то я до сихъ поръ все-таки еще не могъ найти положительнаго, или хотя мало-мальски сообразнаго съ моей системой, опредѣленія значенія вѣры, земной церкви и молитвы. Если наука документируетъ мнѣ безсмертіе, то зачѣмъ мнѣ вѣра? Если я могу обойтись безъ вѣры, зачѣмъ мнѣ—внѣшняя, обрядовая, земная церковь? Если не нужно ни вѣры, ни церкви, тогда зачѣмъ мнѣ молитва, служащая связью имъ обѣимъ, пускающая свои корни и имѣющая свою причинность только въ этихъ двухъ? Непониманіе мною этихъ трехъ «психическихъ организмовъ» по-истинѣ пугаетъ меня... Что, если лжива вся моя система? Ну, а теперь—заключилъ Петръ Ивановичъ:—пойдемте къ моимъ больнымъ.

Оба они вышли изъ комнаты и направились къ кибиткамъ, подъ шумъ неумолкавшаго родника.

## VII.

Не успѣли Петръ Ивановичъ со своимъ гостемъ, находившимся, надо сказать правду, въ какомъ-то одурманеніи отъ очень длинной лекціи хозяина, мѣстами въ высшей степени любопытной, выйти изъ ограды Родниковки въ сторону кибитокъ, какъ вдругъ изъ-за угла ограды, почти наскочилъ на нихъ конный калмыкъ. Ограда Родниковки состояла изъ небольшого валика и рва передъ нимъ, густо зарос-



шихъ бурьяномъ, будяками, полынью и перекати-поле, между которыхъ засѣли прошлогодніе остатки тѣхъ же травъ, поломанные, сѣрые и колючіе, что, вмѣстѣ взятое, образовывало дѣйствительно не шуточную преграду; конь калмыка, сразу осаженный, даже скользнулъ обѣими задними ногами въ ровикъ. Завидѣвъ Петра Ивановича, калмыкъ снялъ шапку.

— Что, братецъ?—спросилъ Петръ Ивановичъ:— ты ко мнѣ?

Калмыкъ не сразу отвѣтилъ; онъ видимо стѣснялся говорить. Это стѣсненіе было проявленіемъ той удивительной чувствительности простого народа, никогда и никѣмъ ему не преподанной, которая врождена ему и которая подсказываетъ простому человѣку, что сообщать кому либо о несчастіи надо не вдругъ, а исподволь.

— Что случилось? говори!—спросилъ Петръ Ивановичъ.— Бѣда какая, что ли?

Калмыкъ утвердительно покачалъ головою.

Петръ Ивановичъ переглянулся съ Семеномъ Андреевичемъ; подошли изъ дому садовникъ, кучеръ, казачокъ и кухарка; мало-по-малу, стали подходить люди отъ kibitokъ и образовали вокругъ кольцо.

— Барыня ваша утонула!—проговорилъ калмыкъ, слѣзая съ лошади и кинувъ поводья.

Глаза всѣхъ присутствовавшихъ сразу обратились на Петра Ивановича; долго смотрѣлъ онъ на калмыка исподлобья, не шевелясь, не моргнувъ глазомъ. Единственное, что слышалось подлѣ этой, довольно значительной толпы людей, это частая передышка лошади и похрустываніе подъ ногами ея сухого валежника, къ которому она наклонила голову, чтобы обнюхать. Калмыкъ доставалъ что-то изъ-за пазухи.

— Да ты это видѣлъ самъ, или тебѣ только сказали?—медленно, но внятно спросилъ Абатуюль.

— Исправникъ нарочнаго отъ Ооминой ставки послалъ до Нѣмецкихъ ручьевъ, оттуда къ намъ колониствъ прискакалъ, а вотъ и записка,—отвѣтилъ калмыкъ, подавая небольшой конвертъ, завернутый въ какую-то тряпичку.

Пока Петръ Ивановичъ развѣтывалъ и читалъ записку, калмыкъ, отвѣчая на разспросы разохавшейся и качавшей головою кухарки, сообщилъ, что это произошло утромъ, но какъ именно—не знаетъ.

— Ну, поди на кухню, покормись,—сказалъ Петръ Ивановичъ калмыку, свертывая письмо и поворачиваясь, чтобы идти къ дому; толпа молча и почтительно разступилась.

— Но такъ ли это, Петръ Ивановичъ?—почелъ за нужное спросить, глубоко пораженный неожиданностью и слѣдовавшій послѣ Абатулова, Семенъ Андреевичъ:—можетъ быть, это еще только предположеніе?

— Нѣтъ! это совершилось!—отвѣтилъ Петръ Ивановичъ.—Пароходъ уже былъ бы здѣсь, если бы не неожиданная поломка въ машинѣ... Но ся земное странствіе покончено! Лодка опрокинулась; плавать жена не умѣла совсѣмъ... Тѣла ея, пока что, не нашли.

Подойдя къ дому, Петръ Ивановичъ кликнулъ кучера.

— Поѣзжай ты, братецъ, къ отцу Игнатію; онъ долженъ ночевать сегодня у священника въ Казачьемъ хуторѣ, расскажи о томъ, что видѣлъ и слышалъ. Скажи, что я очень прошу ихъ, если можно, пріѣхать теперь же. Запряжешь Лунку и Сѣраго въ маленькій тарантасикъ. Извинишься, что я ничего отцу Игнатію не пишу, а на словахъ только прошу. Поторопись!

Абатуловъ вошелъ въ домъ.

— Идти мнѣ за нимъ, или нѣтъ?—думалось Семену

Андреевичу, чувствовавшему несказанно глубокое уныніе.— Нѣтъ! лучше не пойду. Вотъ она—смерть! Это уже не теорія, а практика, и какая страшная, какая непосредственная!

Подгорскій въ домъ не вошелъ, а направился черезъ садъ внизъ, къ Волгѣ.

Въ полномъ безучастіи къ горю и радости людской, опускался на землю безоблачный вечеръ. Блистая внизъ и вверхъ по теченію плесами и курьями, катила Волга свои мутныя струи, образуя на нихъ гдѣ стремнины, гдѣ завитки, порою запузыриваясь и пуская внизъ по теченію многія сотни еле замѣтныхъ, кружившихся воронокъ-водоворотиковъ; однѣ струи шли быстрѣе, другія отставали, но стоявшему подлѣ самой воды Семену Андреевичу казалось, что вся эта могучая водная масса катилась какъ бы по какому-то кругу необычайно великаго діаметра. Кое-гдѣ, играя въ пунцовыхъ лучахъ опускавшагося солнца, кремнистыми и слюдяными блестками, лежали неподвижнымъ покровомъ береговые пески и отмели, и только изрѣдка кустилась, просовываясь сквозь нихъ, блѣдная зелень ивняка. Бока крутыхъ уступовъ праваго берега, на которомъ находился Семенъ Андреевичъ, уже заволакивались голубоватою тѣнью, но воздухъ былъ такъ чистъ, такъ свѣтелъ, что дальнѣйшіе отроги берега виднѣлись за много верстъ. На лѣвой, противоположной сторонѣ, или на острову, торчали остріями невеликіе шалаши рыболовной ватаги, шла ловля, забрасываніе сѣти и какъ будто слышалась пѣсня. Повыше ея запаузилъ караванъ барокъ, а посрединѣ рѣки, гордо и могущественно поднималась, стоя на якорѣ, громадная бѣляна, съ тремя сторожками наверху, и на кормѣ ея народъ собирался къ ужину и уѣлся въ кружокъ.

Подгорскій пошелъ вдоль берега; вода была не

высока и въ пескахъ виднѣлись ракушки, куски снастей, кирпичные и деревянные поплавки. Дойдя до устья ручья Родниковки, Семень Андреевичъ услышалъ его клокотанье, очень хорошо памятное ему за все время объясненія Петромъ Ивановичемъ своихъ доказательствъ безсмертія. Это знакомое клокотанье направило его мысли знакомою стезею:

— Отчего это, въ самомъ дѣлѣ, — вздумалось ему, — чувствую я, человѣкъ вовсе чужой Петру Ивановичу, и тѣмъ болѣе покойницѣ, какое-то удручающее стѣсненіе, какъ бы чувство холода? Да и всегда, передъ лицомъ смерти, въ особенности въ первыя минуты сообщенія о томъ, что смерть скосила кого либо изъ родныхъ или знакомыхъ, далеко или близко, чувствуется этотъ холодъ? Ужъ не та ли это мистическая потеря тепла съ отбытіемъ всякой живой души, о которой говорилъ Петръ Ивановичъ? Несомнѣнно, что этотъ холодъ чувствуется за тридевять земель, при извѣстіи о смерти знакомаго человѣка.

Семень Андреевичъ даже улыбнулся неожиданности своего несомнѣнно мистическаго заключенія, въ стилѣ «профессора безсмертія», и затѣмъ, также совершенно неожиданно, вспомнилась ему, особенно ясно, погибшая Наталья Петровна.

— Это она-то хотѣла къ цыганамъ въ Астрахань ѣхать! Такая живая, жизнерадостная! Это она-то мнѣ съ собою ѣхать предлагала! А теперь! Исправникъ пишетъ, что тѣла ея еще не нашли, да и найдутъ ли? Вонъ какая она могучая, матушка Волга, попрочнѣ Невы будетъ, а и въ Невѣ, какъ это у Чернышевскаго въ «Что дѣлать» значитъ: тѣло утопившагося человѣка не нашли... Что, если... что, если... и Семена Андреевича сразу, и вовсе не спросясь его, осянула необычайно дикая мысль: отчего же и нѣтъ?... Что, если это обманъ? если это способъ удрать отъ

мужа? Утонула, и конецъ, при всѣхъ утонула... а тамъ гдѣ нибудь за ивнякомъ тройка ждала, степь тоже ждала... и поминай какъ звали! Что-жъ!? возможно, и именно для Натальи Петровны возможно, да и она, въ такомъ случаѣ, въ настоящую минуту, вовсе не плывущая, или лежащая гдѣ нибудь на днѣ, утопленница, не безмолвная покойница, а вольная птичка, мчащаяся, любезно и весело воркуя, гдѣ нибудь на пароходѣ, или по желѣзной дорогѣ, и какъ она хохочетъ, какъ хохочетъ?! а мы-то, здѣсь, ея мертваго тѣла ожидаемъ, за священникомъ послали!!...

Подгорскій бродилъ вдоль берега довольно долго, подъ наплывомъ самыхъ противорѣчивыхъ мыслей. Одно только чувствовалъ онъ очень ясно — это великую жалость къ Петру Ивановичу, который, въ обоихъ случаяхъ, какъ при смерти, такъ и при бѣгствѣ жены, являлся лицомъ пострадавшимъ, на которое обрушилась тяжкая, непоправимая невзгода. И по мѣрѣ того, какъ темнѣло въ небѣ, въ Подгорскомъ, неизвѣстно отчего, все настойчивѣе и настойчивѣе становилась увѣренность въ томъ, что тутъ хозяйничала не смерть, а обманъ.

Одна мысль рождала другую въ томъ направленіи, и онѣ плодились быстро, быстро, очень сходно съ тѣмъ, какъ густѣли сумерки, замѣняя, вытѣсняя свѣтъ дневной.

— Отчего же неидти дальше, — думалось ему. — Ужъ если несчастье — такъ полное несчастье; Наталья Петровна, готовясь къ бѣгству, похищаетъ, положимъ, у мужа изъ шкапа, или изъ стола деньги, большія деньги; сѣвъ на пароходъ, она немедленно передаетъ ихъ своему сообщнику по бѣгству; кому? Конечно, Ѳедору Лукичу съ красивыми усами! Но этотъ Ѳедоръ Лукичъ, до конца ногтей проходимецъ, желаетъ не столько Натальи Петровны, сколько ея де-

негъ; онъ устраиваетъ прогулку съ нею вдвоемъ въ лодкѣ, что устроить очень легко; затѣмъ ѣдетъ онъ съ нею и, въ такомъ мѣстѣ, откуда ихъ не видно, на глубинѣ стремнины, опрокидываетъ лодку... дикое, испуганное до столбняка, выраженіе лица Наталіи Петровны видится изъ воды... Черты лица покоробились... ея косу вода уже успѣла размыть, и она, распустившись, окружаетъ голову и шею... онъ, Ѳеодоръ Лукичъ, плавать умѣетъ отлично, онъ схватился за опрокинутую лодку... лодка, за которую онъ держится, плыветъ внизъ по теченію быстрѣе, чѣмъ Наталья Петровна...

— Извергъ!—кричитъ она, захлебываясь, уплывающему Ѳеодору Лукичу вслѣдъ.

А ему—что? еще два, три порыва съ ея стороны... буль-буль-буль... и больше ничего! поверхность Волги стала опять совсѣмъ гладкою; а онъ, Ѳеодоръ Лукичъ, весь мокрый (кромѣ денегъ—тѣ остались сухи на пароходѣ), испуганный, чуть не рыдающій, часа черезъ два, возвращается на пароходъ съ ужасными подробностями гибели женщины, которую онъ «любилъ, любилъ страстно и навѣки»...

— Да, наконецъ, откуда же у меня эти дурацкія мысли!—подумалъ Семенъ Андреевичъ, будто спохватившись и съ нѣкоторою досадою на самого себя,—вѣдь для нихъ у меня нѣтъ рѣшительно никакихъ основаній! Хоть бы скорѣе какое либо разрѣшеніе, но во всякомъ случаѣ, завтра утромъ уѣду, непременно уѣду! Что же я имъ въ самомъ дѣлѣ, какъ не совершенно чужой человѣкъ; очень мнѣ нужно чужого горя прикасаться!

Всѣ яркія, безчисленные звѣзды безоблачнаго, темнаго неба заняли свои мѣста, когда издали мелькнули красный и зеленый фонари поднимавшагося вверхъ, противъ теченія, парохода. Онъ шелъ медленно, очень медленно; вотъ вскинулось надъ тру-

бою пламя, и можно было даже отличить искры, выбрасываемая ею; значить, близко, ближе, чѣмъ можно было ожидать; какъ, однако, обманчивы позднія сумерки! Вотъ остановился пароходъ, какъ разъ противъ Родниковки; вотъ отдали якорь, потому что загремѣла цѣпь... еще минуты три, четыре, и отъ парохода отдѣлилась шлюпка и стала держать къ берегу.

Слѣдившій за всѣмъ этимъ Семень Андреевичъ былъ такъ далекъ отъ мысли, что онъ находится на молчаливомъ берегу не одинъ, былъ такъ всецѣло погруженъ въ свои несуразныя соображенія, что, услыхавъ неожиданно подлѣ себя голосъ Петра Ивановича, непривычно рѣзко окликнувшего его по имени, даже вздрогнулъ.

Абатуловъ очень быстро подошелъ къ нему, схватилъ за обѣ руки и нагнулся лицомъ къ лицу вплотную. На немъ не было фуражки, волоса были взъерошены, коломьянковая жакетка не застегнута и во всей фигурѣ его, насколько можно было различить при сильномъ звѣздномъ свѣтѣ, сказывалось что-то необычайно встревоженное, почти безумное.

— Господи!--подумалъ Семень Андреевичъ, — да неужели же я былъ правъ... Онъ дѣйствительно нашелъ отпертый столъ... деньги похищены... можетъ быть, нашелъ какую нибудь записку отъ нея!

— Привезли?!—проговорилъ Петръ Ивановичъ какимъ-то глухимъ, будто не своимъ голосомъ, крѣпко сжавъ обѣ руки Подгорскаго и пугливо глядя въ сторону парохода.

— Успокойтесь, Петръ Ивановичъ.

— Вотъ, вотъ когда,—быстро проговорилъ онъ, отпустивъ руки Семена Андреевича и медленно проводя правою рукою по лбу: — вотъ когда нуженъ мнѣ священникъ! А отецъ Игнатій не ѣдетъ, но онъ могъ бы быть здѣсь... Когда человѣкъ въ себѣ самомъ

сокрушенъ, тутъ мѣсто одной только вѣрѣ... Я не могу болѣе думать! Покойница уже здѣсь, подлѣ, а отца Игнатія нѣтъ, какъ нѣтъ!

Петръ Ивановичъ опять взглянулъ на пароходъ. Къ этому времени шлюпка, отчалившая отъ него, приблизилась къ устью ручья, гдѣ находилось самое глубокое мѣсто, и были положены на козла доски. Одновременно съ этимъ приближались, со стороны усадьбы, замелькавшіе въ нѣсколькихъ мѣстахъ фонари; они сползали съ нагорной крѣчи, одинъ быстро, другой медленнѣе; въ одномъ мѣстѣ ихъ двигалось два рядомъ, и между нихъ виднѣлось высокое очертаніе священника.

Петръ Ивановичъ смотрѣлъ то на нихъ, то на шлюпку, но съ своего мѣста не двигался. Первымъ соскочилъ съ подѣхавшей шлюпки и подошелъ къ нему исправникъ, за нимъ лѣсничій; исправникъ сталъ говорить ему что-то. Семенъ Андреевичъ, воспользовавшись тѣмъ, что лѣсничій очутился подлѣ него, спросилъ его вполголоса:

— Тѣло нашли? привезли?

— Да, оно на пароходѣ. Но другого тѣла мы не сыскали?

— Кого?

— Ѳедора Лукича! Всѣхъ насъ опрокинулось восемь человѣкъ, и я тоже. Наталья Петровна попала прямо въ стремнину и какъ камень ко дну пошла... Ѳедоръ Лукичъ бросился за нею... нырять, нырять, да такъ и не вынырнулъ. Ее нашли — его нѣтъ; послѣдній разъ видѣлъ я его сажень на сто ниже по теченію; должно быть, вытащатъ гдѣ нибудь на низовой ватагѣ.

Вѣроятно, что всего этого, сказаннаго вполголоса, Петръ Ивановичъ, стоявшій шагахъ въ пяти, не слышалъ; исправникъ, покончивъ говорить съ нимъ, крѣпко пожалъ ему руку. Петръ Ивановичъ, молча,



ожидалъ приближенія отца Игнатія. По мѣрѣ того, какъ сошлись всѣ фонари, — а ихъ горѣло больше десятка, — отецъ Игнатій, одѣтый въ бѣлую полотняную рясу, съ золотымъ крестомъ на груди, приближаясь, словно выросталъ, бѣлѣе рясы свѣтилась его широкая, серебряная борода и длинныя пряди кудрястыхъ волосъ, падавшихъ изъ-подъ шляпы, съ небольшими полями, на плечи.

Не успѣлъ онъ подойти къ Петру Ивановичу, какъ тотъ, не двигаясь съ мѣста, но трепеща всею своею длинною фигурою и поднеся обѣ руки къ вискамъ, точно свидѣтельствуя о большой физической въ нихъ боли, проговорилъ:

— Батюшка! поддержите меня, болѣю душою! Холодно... темно... не могу...—И при этомъ восклицаніи Петръ Ивановичъ бросился къ священнику въ ноги и, павъ лицомъ къ песку, громко зарыдалъ.

— Великъ Богъ во святыхъ Его!—спокойно и звучно отвѣтилъ отецъ Игнатій,—Онъ призритъ тебя... Не я благословляю тебя, а самъ Господь... Поднимись!

Немедленно поднявшись отъ земли, Петръ Ивановичъ, перекрестившись чрезвычайно медленно и во всю грудь, бросился къ отцу Игнатію на шею; священникъ крѣпко обнялъ его, не какъ пастырь церковный, а какъ соболѣзнуюющій великому горю человѣкъ.

Ночь засвѣтила всѣ свои безсчетные огни; люди съ фонарями начали мало-по-малу расходиться по сторонамъ, и молчаніе степи оглашалось однимъ только звукомъ парохода, выпускавшаго пары. Почти полная луна невысоко поднялась надъ горизонтомъ. Степь зажила особенною жизнью ночи, и въ полусвѣтѣ мѣсяца забѣгали по ней, выползши изъ норокъ, суслики; они перебѣгали по степной сухотѣ съ быстротою удивительною, казались милліонами какихъ-то неопредѣленныхъ, изсѣра свѣтлыхъ, рѣю-

щихъ точекъ и давали всей поверхности степи какое-то не то движеніе, не то морганіе, объяснить себѣ которое, безъ помощи мѣстныхъ людей, пріѣзжій человѣкъ не могъ. По мѣрѣ окончательнаго воцаренія тьмы родниковскій ручей поднималъ свой голосъ все сильнѣе и сильнѣе...

## VIII.

Прошло ровно три недѣли. Семенъ Андреевичъ покинулъ Родниковку на утро слѣдовавшаго, послѣ прибытія парохода съ тѣломъ Натальи Петровны, дня, такъ что онъ не присутствовалъ при печальныхъ обрядахъ. Если очень сильное впечатлѣніе произвелъ на него самъ Петръ Ивановичъ съ его системою безсмертія, то еще сильнѣе, но уже въ другихъ сферахъ его душевныхъ способностей, сказала смерть Натальи Петровны. Безконечное число разъ приходилъ ему на умъ вопросъ: что совершилось въ самомъ Петрѣ Ивановичѣ и заставило его упасть въ ноги священнику, представителю той церкви, вѣру въ которую считалъ онъ недостаточно причиннымъ явленіемъ? почему онъ перекрестился? А что нибудь да произошло въ немъ непременно, но что? Слова, сказанныя Петромъ Ивановичемъ: «болѣю душою... холодно... темно»... постоянно звучали въ его ушахъ, какъ бы сказаны они были только что, за минутой!

Объѣхавъ уѣзды и побывавъ въ Астрахани, Подгорскій направлялся обратно въ Петербургъ. Онъ поднимался по Волгѣ на одномъ изъ пароходовъ Зевеке и рѣшилъ остановиться въ Родниковкѣ, на сутки, или на двое. По мѣрѣ приближенія къ ней, воспоминанія объ очень тяжелыхъ минутахъ, проведенныхъ имъ въ день катастрофы съ Натальею Петровною, возникали въ немъ съ ясностью необык-

новенною. Онъ никакъ не могъ дать себѣ отчета въ томъ: какимъ образомъ сложилась тогда въ его фантазіи совершенно небывалая исторія съ деньгами, будто бы похищенными женою у мужа, ея бѣгство съ Ѳедоромъ Лукичемъ, удивительное измышленіе о томъ, что онъ, Ѳедоръ Лукичъ, топить Наталью Петровну, и она кричитъ ему, утопая и захлебываясь, — «извергъ?!» И вдругъ, что же? Наталья Петровна дѣйствительно утонула, но утонулъ также, спасая ее, и Ѳедоръ Лукичъ. Пожалуй, думалось Семену Андреевичу, я проѣхалъ на пароходѣ гдѣ нибудь близехонько надъ его трупомъ, или подлѣ него, если его не вытащили.

Сильно занимало его посмотреть, каковъ теперь Петръ Ивановичъ, «профессоръ безсмертія»? Подгорскій видѣлъ его на берегу Волги, при свѣтѣ фонарей, безъ шапки, простоволосымъ, бросившимся въ ноги священнику, почти обезумѣвшимъ. Петръ Ивановичъ показался ему тогда такимъ безнадежно слабымъ, такимъ во всѣхъ чувствахъ и мысляхъ въ концѣ подкошеннымъ, настолько рухнувшимъ въ себя, что въ ту минуту, сразу, свѣялся изъ мыслей Подгорскаго тотъ убѣжденный «профессоръ безсмертія», который на нѣкоторое время начертался въ нихъ достаточно четко, вслѣдъ за долгою и любопытною бесѣдою въ кабинетѣ подъ шумъ родника.

Подгорскій сошелъ съ парохода, часа въ четыре пополудни, противъ Родниковки, и шлюпка доставила его къ знакомому устью ручья и доскамъ на козлахъ. Пока лодочникъ привязывалъ лодку и вытаскивалъ чемоданъ, Семень Андреевичъ направился въ гору, и первое, на что онъ натолкнулся — это была могила Натальи Петровны. Бѣлый, деревянный крестъ, окруженный деревянною рѣшеткою, какъ и крестъ неокрашенною, поднимался на самомъ краю отрога, у подошвы котораго струился ручей.

Знакомые звуки ручья перенесли мысли Подгорскаго къ тому, что имѣло мѣсто три недѣли тому назадъ. Онъ поднялся къ кресту и обошелъ его. Вспомнилась ему она, веселая, болтливая, сіяющая здоровьемъ и красотою, и какъ звала она его въ Астрахань; теперь онъ возвращался изъ Астрахани, а она, уже почти столько же времени, покоилась подъ землею. Во что обратилась она теперь?

Садъ, въ который прошелъ Подгорскій вслѣдъ затѣмъ, сіялъ, какъ прежде, множествомъ цвѣтовъ, а лиліи, цвѣтокъ Благовѣщенья, серебрились въ огромномъ количествѣ.

Подлѣ дома и въ самомъ домѣ, къ которому прошелъ онъ знакомой дорожкой, не замѣчалось никакого измѣненія, и такія же, какъ прежде, кибитки и люди съ бѣлыми бинтами расположились подлѣ него. Семень Андреевичъ прошелъ въ садъ и направился прямо къ окну кабинета. Онъ не ошибся: Петръ Ивановичъ сидѣлъ за письменнымъ столомъ подлѣ окна и тотчасъ же замѣтилъ прибытіе гостя.

— Пожалуйте, пожалуйста! милости просимъ! — проговорилъ онъ и впустилъ Семена Андреевича въ кабинетъ, со стороны балкона. — Очень, очень радъ.

Войдя въ комнату, Семень Андреевичъ не могъ не замѣтить весьма существеннаго въ ней измѣненія: изображеніе Распятія освѣщалось лампадою, а Библия, лежавшая до того на столѣ, помѣщена подъ образомъ на особой полочкѣ. Самъ Петръ Ивановичъ какъ будто немного поблѣднѣлъ, но добродушная улыбка его осталась тою же самою, что и была. Онъ усадилъ гостя, предложилъ курить и, въ ожиданіи обѣда, распорядился о томъ, чтобы принесена была превосходная персиковая вода, холодная и искрившаяся не хуже шампанскаго.

Пока все это совершалось, Семень Андреевичъ, прислушиваясь къ шуму источника, взглянулъ въ

окно и былъ пораженъ картиною, ему представившеюся. Между вѣтвей высокихъ и густыхъ осокорей открыта была просѣка, возможно круглаго очертанія, и въ зелени листвы, какъ въ бархатной рамкѣ, вся озаренная свѣтомъ солнца, виднѣлась могила Натальи Петровны. Густота зелени, благодаря залежавшимъ въ ней тѣнямъ, была такъ велика, бѣлизна креста въ солнечныхъ лучахъ надъ могилою такъ ярка, воздухъ такъ прозраченъ, что, казалось, крестъ находился близехонько къ кабинету, чуть не въ кабинетѣ; за нимъ разстилалось голубое небо и нескончаемая даль заволжскихъ степей. Семена Андреевича настолько поразила картинность этого вида, что Абатоловъ замѣтилъ его пристальный взглядъ.

— Да, да, съ могилою этой вышло очень хорошо! Я не думалъ, что такъ хорошо выйдетъ; у меня теперь въ моемъ кабинетѣ какъ будто однимъ жильцомъ больше; покойная жена, по правдѣ сказать, не особенно-то часто хаживала ко мнѣ; я гораздо чаще заходилъ къ ней, потому что всѣ мои деньги находились у нея. Ну, а теперь мы больше вмѣстѣ, больше...

— Да-съ,—продолжалъ Петръ Ивановичъ: — горе жизни есть великое просвѣтлѣніе души человѣка! При томъ горѣ, которое такъ нежданно быстро постигло меня, я убѣдился во многомъ, совершенно для меня новомъ и даже неожиданномъ. Вотъ, на примѣръ, самое важное, въ чемъ я убѣдился, это то, что я уразумѣлъ значеніе вѣры! Помните, Семенъ Андреевичъ, я говорилъ иначе, я въ ея причинности сомнѣвался, я не ясно понималъ, какое именно можетъ занимать она мѣсто, къ чему она, если допустить, что объясненій науки вполне достаточно. Теперь я знаю. Есть минуты въ жизни, когда, въ силу внутренняго сокрушенія всей духовной системы, парализуются въ человѣкѣ не только всѣ орудія мыш-

ленія, но, и это главное, нѣтъ времени на соображеніе, на приведеніе въ дѣйствіе этихъ орудій самоуясненія и самозащиты. Это тѣ страшныя минуты жизни, въ которыя не вѣрующій накладываетъ на себя руку, или совершаетъ преступленіе, или, наоборотъ, вполне бездѣйствуетъ и тѣмъ обусловливаетъ горе себѣ и другимъ. Для вѣрующаго въ такія минуты достаточно одной только мгновенной мысли о Богѣ, достаточно ухватиться... Говорятъ: кто не тонулъ, тотъ не молился! Это ужасно вѣрно! И я, Семень Андреевичъ, ухватился, помолился впервые именно тогда! Я тонулъ и уразумѣлъ причинность и мѣсто вѣры. Но объ этомъ послѣ, а теперь скажите мнѣ, какъ провели вы время:—спросилъ Петръ Ивановичъ:—удачно ли исполнили порученіе? Помогли ли вамъ свѣдѣнія моихъ калмыковъ?

— Да, кое-что исполнилъ,—отвѣтилъ Семень Андреевичъ:—и, въ общемъ, доволенъ. Но что за безобразная трубная музыка въ молитвенныхъ ставкахъ, въ хурулахъ калмыковъ! эти двухсаженные трубы, подвѣшенныя къ верху шатра, трубы змѣиныхъ обликовъ, къ амбушюрамъ которыхъ для того, чтобы играть на нихъ, калмыки подсаживаются на землю? Какъ далеки отъ молитвеннаго настроенія эти дерущіе слухъ звуки? Неужели и такая молитва можетъ ублажать?

Все это Подгорскій сказалъ съ намѣреніемъ вызвать Петра Ивановича на дальнѣйшія объясненія, вовсе не желая отлагать ихъ на «послѣ». Глубочайшее, свѣтлѣйшее спокойствіе этого человѣка поражало его, и онъ чувствовалъ въ этомъ спокойствіи присутствіе какого-то глубоко осмысленнаго рѣшенія.

— А вы развѣ сомнѣвались?—спросилъ Петръ Ивановичъ.—Мнѣ всегда приходило въ голову, что эти религіи азіятскаго востока, съ ихъ ревомъ и грохотомъ служенія, какъ бы отголоски тѣхъ вулканиче-

скихъ катаклизмовъ, которые когда-то совершались въ тѣхъ странахъ; ихъ религіи зародились въ трескѣ и крушеніи огнедышащихъ явленій земли, и вотъ откуда ихъ чудовищныя музыки. Наша молитва—иная, и повѣрьте мнѣ, что молитву эту, такъ же какъ и значеніе вѣры, можно познать полностью только въ горѣ. Вспоминается мнѣ приэтомъ, опять-таки очень любимый мною Тиндаль. Онъ говоритъ гдѣ-то, что если молитва человѣка прямого дѣйствія на физическій міръ не оказываетъ, то она дѣйствуетъ на духъ человѣка; не подлежитъ сомнѣнію, что она орудуетъ въ силу закона сохранения и распредѣленія силъ, и еще «прославить», какъ говоритъ Тиндаль, этотъ законъ въ его крайнихъ предѣлахъ. Я испыталъ на себѣ это «прославленіе». Молитва эта можетъ быть иногда такъ быстра, тонка, сильна, высока, такъ неуловимо-духовна, что мы даже и характеризовать ее не можемъ! По Гризингеру, не подлежитъ сомнѣнію, что хотя наши слова и принадлежать къ сферѣ дѣятельности человѣка, но бываютъ, все-таки, такія минуты, когда наша внутренняя жизнь становится выше формы слова, т. е., по-просту, намъ не хватаетъ словъ; изъ глубины души поднимается тогда вдругъ нѣчто невыразимо-чудесное, невысказываемое, никогда не достигавшее слуха человѣка, и въ такія минуты намъ кажется, что все, что мы знаемъ и до чего можемъ достигъ, никогда не можетъ быть выполненіемъ того блаженства, которое въ подобныя минуты обѣщано намъ нашимъ внутреннимъ чувствомъ! Помните также у Достоевскаго въ «Идіотѣ» есть, сходная съ этимъ, характеристика эпилептическаго состоянія: ощущенія большого удесятерились, умъ и сердце озарялись необыкновеннымъ свѣтомъ, всѣ волненія, всѣ безпокойства умиротворялись разомъ и разрѣшались какимъ-то высшимъ спокойствіемъ, полнымъ ясной, гармонической

радости и надежды, полнымъ разума и окончательной причины; эти минуты проходили быстро, какъ молнія; и даже послѣ припадка вспоминались болѣному, какъ полное примиреніе, какъ «молитвенное», высшее сліяніе съ синтезомъ жизни. Я вовсе не говорю, что молитва есть эпилептическое состояніе; я вспомнилъ Достоевскаго только для одного слова— «молитвенное», употребленнаго имъ для объясненія *pes plus ultra* освобожденія души отъ «земляности»... А молитву Спасителя въ Геѳсиманскомъ саду помните: у евангелиста Матоея сказано: «Душа моя скорбѣтъ смертельно»... у евангелиста Марка: «И началъ ужасаться и тосковать». И сказалъ имъ: «Душа моя скорбѣтъ смертельно»... у евангелиста Луки: «И находясь въ бореніи, прилежнѣе молился; и былъ потъ Его, какъ капли крови, падающія на землю!» Евангеліе! вотъ ужъ по-истинѣ книга откровеній! Въ немъ, то-и-дѣло, чередуются откровенія. Вотъ хоть бы эта молитва Спасителя! Господи, что бы можно было дать за то, чтобы имѣть ее передъ глазами, именно ее, эту Геѳсиманскую молитву души, которая «скорбѣла», «находилась въ бореніи», «начала ужасаться»,—замѣтите: не «ужасалась», а «начала ужасаться», что безмѣрно сильнѣе! Эта молитва, вызывавшая «потъ, какъ капли крови», несомнѣнно свидѣтельствуетъ намъ о двухъ вещахъ: во-первыхъ, что Спаситель непремѣнно находился въ сомнѣніи и, во-вторыхъ, находясь въ немъ, обратился ни къ чему иному, какъ къ молитвѣ! И я, въ своемъ горѣ, постигъ такую именно молитву, какой не постигалъ, не чаялъ прежде и—успокоился! Не что иное, какъ горе, вразумило, научило меня...

—Простите меня,—замѣтилъ Подгорскій:—но уже этихъ двухъ пріобрѣтеній—вѣры и молитвы, вполне достаточно для того, чтобы человѣку желать горя?

— Желать, это будетъ не по-божески, но что



одно только горе улучшаетъ, очищаетъ, направляетъ челоуѣка, такъ это вѣрно; помните, что значить «несеніе своего креста»! И не только эти два даянія принесло мнѣ горе, оно дало мнѣ еще и третье, до той поры мнѣ тоже не вполнѣ ясное. Я понялъ, наконецъ, значеніе земной церкви и ея служителей. Я не совсѣмъ ясно помню, что именно говорилъ я на берегу, когда подошелъ къ вамъ въ вечеръ прибытія парохода съ тѣломъ; вѣдь я, кажется, къ вамъ подошелъ и говорилъ что-то, что—не знаю, но вспоминаю очень хорошо, что чувствовалъ, что хотѣлъ сказать! Какъ воздухъ задыхающемуся, нуженъ мнѣ былъ служитель церкви, вещественный знакъ церкви, этого прямого свидѣтельства Бога на землѣ! Мнѣ казалось, что душа моя уходитъ, и она ушла бы непременно, если бы не появился мой дорогой отецъ Игнатій! Да-съ, Семенъ Андреевичъ, въ минуты полной расшатанности челоуѣка, когда онъ сокрушенъ въ себѣ, а, слѣдовательно, для него сокрушенъ и весь міръ, церковь, какъ внѣшняя изобразительница молитвы, вѣры и Бога, церковь въ ея неподвижности отъ вѣка, въ ея текстахъ и реченіяхъ, замшившихся въ безконечной давности, церковь, чуждая измѣняемости, въ смыслѣ моды и развитія, одна только остающаяся незыблемою, неподвижною въ верченіи времени, становится вполнѣ необходимою! Только такую, несомнѣнно неподвижную во времени церковь мнѣ нужно, потому что только за такую церковь, не измѣняющуюся въ измѣняемости всего, всего рѣшительно, могуя, утопающій, ухватиться. И можете ли вы представить себѣ тотъ великій восторгъ, когда эта церковь, въ ея вѣчности и незыблемости, въ ея безвременномъ могуществѣ, со всѣми подвижниками вѣры и полнымъ представительствомъ ихъ лучезарнаго, страдальческаго сонма, приходитъ къ вамъ, къ ничтожеству, въ лицѣ ея служителя, приходитъ

сама in personam, со всею своею благодатию, приходитъ на вашъ зовъ, на зовъ маленькаго, единчнаго, въ конецъ сокрушеннаго человѣчка, и, ставъ надъ вами, говорить: встань!! Отсюда, Семень Андреевичъ, чтобы кончить на этотъ предметъ, можете сдѣлать сами два не маленькихъ заключенія: во-первыхъ, какъ преступень пьяный или развратный служитель церкви; второе, въ какой юдоли невѣдѣнія обрѣтаются всѣ эти Редстокисты и Пашковцы, и какъ ихъ тамъ звать... О религіяхъ нехристіанскихъ—нечего и толковать!..

Цѣлыхъ трое сутокъ провелъ Семень Андреевичъ у Абатулова; безконечно много было говорено на тѣ же предметы, но замѣчательно, что въ самыхъ великихъ и противорѣчивыхъ отвлеченностяхъ, всегда оказывалось у Абатулова гораздо менѣе метафизики, чѣмъ можно предполагать и, наоборотъ, то и-дѣло, подтверждались однажды приведенныя Петромъ Ивановичемъ мнѣнія Тиндаля, Шопенгауэра и Гартмана, что если уже что либо мистично и трансцендентально, такъ это именно матерія и что, въ этомъ смыслѣ, мистичень даже пищеварительный процессъ. Удивительно просто и хорошо намѣчалась у Петра Ивановича, такъ казалось Семену Андреевичу, система этики, правила для нравственной жизни человѣка, выработанныя имъ. Меньше всего оказывалось въ этой этикѣ пуризма, строгости, нетерпимости: въ ней царила одна только свѣтлѣйшая простота, и въ этомъ смыслѣ оказался онъ, до глубины души, до мозга костей своихъ—православнымъ. Особенно много основывалъ Петръ Ивановичъ на значеніи «совѣсти» въ человѣкѣ, признавая ее, согласно смыслу всѣхъ положеній своей системы, существующею на свѣтѣ, также доказательно, чуть ли не болѣе доказательно и ощутимо, чѣмъ кислородъ.

Но изъ всего того, что повѣдалъ Семену Андрее-

вичу «профессоръ безсмертія», въ памяти его напечатлѣлось одно, дѣйствительно характерное, но уже полумистическое разъясненіе.

— Смерть жены, — сказалъ Петръ Ивановичъ — открыла мнѣ значеніе вѣры, церкви, молитвы. Помню, какъ теперь, мысли мои на всѣхъ панихидахъ, сначала неясныя, сбивчивыя, но въ день отпѣванія уже достигли зрѣлости и полной хрустальности. Мысли мои, благодаря совершенно особеннымъ, счастливымъ обстоятельствамъ произростанія, поднялись чрезвычайно быстро; есть, какъ вы знаете, организмы въ природѣ, растительные и животные, являющіеся въ жизнь, достигающіе зрѣлости, дающіе потомство и умирающіе менѣе, чѣмъ въ сутки. Я, видите ли, такъ много лѣтъ, такъ усиленно, постоянно, ежечасно изслѣдовалъ мою мысль о невозможности отрицать единоличное безсмертіе, не отрицая всего порядка бытія; я такъ сжилъ съ нею, собирая по зернышкамъ, по песчинкамъ, всякія мнѣ нужныя данныя, что, въ силу вполне законныхъ рефлексовъ мозга, сквозь пѣніе «со святыми упокой», работалъ мысленно все-таки въ томъ же направленіи. Церковная молитва самымъ родственнымъ образомъ сливалась у меня съ научнымъ соображеніемъ; я настойчиво искалъ въ словахъ богослуженія чего либо разрушительнаго для моей системы и, къ великому счастью — не нашелъ...

— Конечно, въ первыя минуты извѣстія о смерти жены я ни о чемъ рѣшительно думать не могъ. Помните ли вы, какъ въ «Откровеніи Іоанновомъ» сказано, что Вавилонъ, городъ великій, опоилъ «яростнымъ виномъ блуда» всѣ народы? такимъ «яростнымъ виномъ печали» опоила меня смерть жены! Но съ самаго появленія отца Игнатія, или, лучше, не его лично, а вѣчной, незыблемой церкви Христовой въ лицѣ ея представителя, на мой одиночный зовъ, я

сталъ успокоиваться; скоро о неистовствѣ, жгучести, бѣшенствѣ, пьяности тоски моей — не было и помину.

— Только въ такомъ успокоенномъ, какимъ я сталъ, могли, конечно, законно совершаться тѣ рефлексы мозга, о которыхъ я только что вспомнилъ. Я стоялъ и сидѣлъ у гроба жены, которую любилъ безпредѣльно, сидѣлъ много, много разъ. Ну, вотъ, думалось мнѣ, то, что ты доказывалъ, совершилось; вотъ ея тѣло... а душа? Она, по-твоему, съ нашимъ міромъ общенія имѣть не можетъ, она стала частичкою тепла, вышедшаго изъ обращенія въ мірозданіи, получила безформенную форму, она вошла, путемъ смерти, въ ежеминутно увеличивающіяся и, съ погасаніемъ людей, постоянно возрастающія количества уравновѣшенной и уже теперь пріавшей «вѣчный покой» температуры! Такъ ли это? что, если нѣтъ?! Страшное чувство одолѣвало меня! Хорошо писать о чемъ либо на бумагѣ, но совсѣмъ другое стоять съ чѣмъ либо лицомъ къ лицу. Я думаю, что какой нибудь юный, прошедшій всѣ высшіе военные курсы офицеръ, попавъ впервые въ бой, долженъ испытывать то, что испытывалъ я? на что ему вся самоувѣренность теоріи, всѣ примѣры военной исторіи, когда кругомъ свищутъ пули и люди валятся? Какъ, повидимому, безсильны становятся всѣ его знанія, когда, вмѣсто разрисованныхъ карточекъ, которыя онъ двигалъ по плану, или вмѣсто лагерныхъ маневровъ, гдѣ его мнимые противники были, на самомъ дѣлѣ, его лучшими друзьями, конь его скользитъ по грязи, образовавшейся отъ крови, и злобно выпученныя очи убитыхъ ясно свидѣлствуютъ о томъ, каково должно быть расположеніе духа противника! Я тоже попалъ тогда на подобное поле сраженія! «Тутъ», подлѣ меня, — несомнѣнное разложеніе, неимѣніе лика, безобразіе, а «тамъ»,

неизвѣстно гдѣ, въ силу тѣхъ именно доводовъ, которые я же сочинилъ, я же призналъ моимъ, имѣющимъ со временемъ разложиться, т. е. очень слабымъ, такъ сказать, временнымъ, мозгомъ, должна обрѣтаться въ непостижимой вѣчности какая-то совсѣмъ, совсѣмъ неопредѣленная, не то вѣсомая—не то невѣсомая, не то мертвая—не то живая, не очертимая—и, въ то же самое время, въ силу своей индивидуальности, вѣроятно имѣющая какое либо свое очертаніе—душа! Степени убѣдительности между «тутъ» и «тамъ», согласитесь, были очень и очень различны!

— И все-таки, продолжалъ Петръ Ивановичъ,—вѣрьте мнѣ—или не вѣрьте, но я не сомнѣвался ни одною вибраціею моего мозга. Мнѣ чаще другого вспоминалось то, что сказано въ Евангеліи: «Въ домѣ отца моего обителей много» и «мѣста» ихъ не опредѣлить. Изрѣдка, пожалуй, сознавалъ я въ себѣ ощущенія, которыя готовъ назвать, если хотите, «странными»; особенно сильно ощущалъ я эту «странность» именно тогда, когда смотрѣлъ на гробъ! Но эти «странныя» ощущенія всегда улечивались, какъ только отворачивался я отъ этой дѣйствительности, отъ гроба, или закрывалъ глаза, или задумывался. Тогда! о, тогда чувствовалъ я себя опять въ своей сферѣ, сознательно плывущимъ на всѣхъ парусахъ. Помню, что уже послѣ похоронъ размышлялъ я о причинѣ этихъ «странныхъ» чувствъ моихъ и пришелъ къ заключенію, что причины ихъ надобно искать ни въ чемъ иномъ, какъ въ насъ самихъ, во всей глупой обстановкѣ нашей жизни.

— Отъ ранняго дѣтства начиная, въ наукѣ, въ обществѣ не перестаютъ толковать вамъ на всѣ лады, что со смертію все кончено, что нѣтъ причинности, оправдываемой наукой, которая могла бы допустить отдѣльное отъ тѣла существованіе души,

и что тутъ, если угодно, остается мѣсто одной только вѣры! Самую идею вѣры подрываютъ въ васъ, иногда очень остроумно, и всегда съ расчетомъ на успѣхъ, многія тысячи людей образованнаго общества; не оставляютъ ни одного окошечка для просвѣта, который мнѣ такъ несомнѣнно, такъ ясно виденъ; нерѣдки недостойные служители церкви; весело гуляетъ по величайшимъ истинамъ насмѣшка, и вдругъ... послѣ десятковъ лѣтъ такихъ условій васъ ставятъ вдругъ у открытаго гроба и спрашиваютъ: ну! что! гдѣ же твоя система? Бѣдное, мягкотѣлое, безпокровное существо, вы подвергнуты сразу какому-то убійственному морозу или, если хотите, бѣлокашльному жару, и что же остается вамъ дѣлать? Я, лично, хотя и оказался настолько счастливымъ, что чувствовалъ на себѣ нѣкоторый, какъ бы, покровъ моей системы, не могшей возникнуть безъ убѣжденія и вѣры въ логику бытія, но, все-таки, будучи поставленъ въ необходимость провѣрить свою теорію на практикѣ, при условіи мгновенной, фактической потери любимѣйшаго существа въ мірѣ — моей жены! — чувствовалъ себя въ положеніи, названномъ мною «страннымъ». Мало-по-малу, однако, эта неопредѣленная «странность» ощущеній, безспорно, уступала мѣсто прежней увѣренности. Я находился въ бою впервые... смерть унесла человѣческую жертву... что-то исчезло... совершилась какая-то громадная, вершинная перемѣна! Не признать ли безумія бытія? Это гораздо проще! Но что же тогда съ остальнымъ бытіемъ мірозданія? Вѣдь не умерло же оно со смертью моей жены? Какое имѣю я право придавать своему субъективному чувству чисто объективное значеніе? На какомъ основаніи дерзаю я уяснить себѣ все сокрытое передо мною во всей необъятности и непостижимости, какими-то несчастными тремя измѣреніями, семью красками и основанною на нихъ сла-

бенькою логикою! Злополучный я банкротъ своихъ собственныхъ убѣжденій, не умѣющій, въ силу привычки, признать даже несомнѣннаго и не имѣющій для этого самой нехитрой смѣлости...

— И помню я, помню очень хорошо, что когда простился съ женою въ послѣдній разъ, то почувствовалъ, что вошелъ, такъ сказать, въ полное равновѣсіе температуры моихъ собственныхъ убѣжденій, въ «вѣчный покой» глубочайшаго моего сознанія и искреннѣйшей моей вѣры, которыхъ теперь князю міра сего не сокрушить... Что за глубина и истина въ Іоанновомъ Евангеліи, въ послѣднемъ, прочтенномъ надъ гробомъ, въ которомъ объясняется, для чего изыдутъ изъ гробовъ «сотворяшая блага» и «сотворяшая злая»! Много, Семень Андреевичъ, вынесла наша земля физическихъ катаклизмовъ, но только однажды совершился на ней катаклизмъ въ духовномъ бытіи земного человѣчества, а именно — съ появленіемъ Іисуса Христа. Тутъ я долженъ предупредить васъ, что ударюсь немного въ метафизику, въ мистику. Мнѣ думается, что появленіе Сына Божія здѣсь, на землѣ, а не на другой планетѣ, совершилось, вѣроятно, въ силу того, что высшею интеллектуальною потенціею въ мірозданіи является, вѣроятно, человѣчество. Вполнѣ научнымъ, естественнымъ путемъ никоимъ образомъ не объяснить значенія Спасителя; катаклизмъ въ духовномъ бытіи человѣчества, имъ произведенный, такъ неизмѣримо громаденъ, по сравненію съ другими наиважнѣйшими, какъ-то: крушеніе Греціи, Рима, появленіе Будды, Магомета и пр., что уразумѣть его причинность обычнымъ путемъ мы положительно не можемъ. Дѣятельность Спасителя — фактъ несомнѣнный, но, въ то же время, и вполнѣ единичный, безпримѣрный; не представляется ли эта единичность снабженною всѣми отличіями чуда? Можно ли признать

явленіе, вполнѣ единичное, исключительное, хотя и несомнѣнное, явленіемъ вполнѣ нормальнымъ? Едва ли можно; а если это такъ, то всякій мистикъ поидетъ дальше... Если духъ человѣка дѣйствительно высшая потенція матеріальнаго міра, если право на дальнѣйшее, высшее по смерти, развитіе имѣетъ только та душа, что сотворила «благая», то Богочеловѣкъ, такъ сказать, еще здѣсь, на землѣ, какъ бы перешелъ грань земного развитія, и это именно изображено наглядно въ Преображеніи и Вознесеніи Христовомъ: у Матѳея сказано: «и преобразився предъ ними: и просіяло лице его, какъ солнце, одежды его сдѣлались бѣлыми, какъ свѣтъ»; у евангелиста Луки сказано, что Онъ, на глазахъ учениковъ своихъ, «сталъ отдаляться отъ нихъ». Какъ умѣстно здѣсь это слово «отдаляться», и какъ ясно показала дѣятельность Спасителя, что значить «благая», что значить «бѣлый какъ свѣтъ», и въ какую сторону должно быть направлено развитіе человѣческой души?

— Не могу также не вспомнить, говоря о Спасителѣ, послѣднихъ строкъ знаменитаго сочиненія Страуса. Онъ, какъ извѣстно, признавалъ Спасителя не болѣе, какъ за простого смертнаго; оставаясь вѣрнымъ своему глубочайшему скептицизму, Страусъ, заканчивая сочиненіе, не могъ, однако, не сказать слѣдующаго: «Я признаю Христа за такого человѣка, въ сознаніи котораго единеніе божественнаго и человѣческаго возникло въ первый разъ и съ такою энергіею, что для абсолютной полноты этого единенія не хватаетъ только неизмѣримо малаго и что, въ этомъ смыслѣ, Христосъ — примѣръ единственный въ исторіи и не имѣющій себѣ равнаго». Что это за «неизмѣримо малое», чего не хватало въ Спасителѣ, для достиженія какой-то нѣмецкой «абсолютной полноты», — Страусъ, въ цѣлыхъ двухъ



томахъ своего сочиненія, не объяснилъ ни одною строкой!

— И кажется мнѣ, Семень Андреевичъ, говорилъ Абадуловъ, — когда я смотрю на могилу жены изъ моего окна, что она дѣйствительно только «отдалилась!» Будь я богатъ, я, знаете ли, непременно поставилъ бы надъ нею своеобразную часовню. Вся она была бы сложена изъ стекла, т. е. изъ стеклянныхъ кирпичей, такъ что внутренность ея находилась бы въ постоянномъ, непрерывномъ общеніи со свѣтомъ земли; съ утреннею зарею она заливалась бы красными, огненными лучами молодого солнца, при лунномъ сіяніи — лазоревыми тѣнями, въ непроглядную тьму воробьиной ночи она стояла бы, какъ и вся природа, погруженною въ мракъ и вспыхивала бы, во всей своей цѣльности, при блескѣ буревой молнии или лѣтней зарницы. Въ этомъ имѣлось бы наглядное свидѣтельство того, что душа почившей жилицы ея не исчезла, а только «отдалилась». Я бы одухотворилъ всѣ стѣны и весь сводъ часовни изображеніями въ самомъ стеклѣ завѣтныхъ ликовъ мучениковъ, признанныхъ нашею церковью, въ ихъ цвѣтныхъ одѣяніяхъ, по строгиновскому подлиннику, и они, глядя со стѣнъ, являлись бы дѣйствительно свѣтоносными, сквозящими, сотканными изъ лучей. Надобно только припомнить и понять, что значать «мученики!»

— Но все это, дорогой Семень Андреевичъ, только фантазія, суги дѣла вовсе не мѣняющая. Я, впрочемъ, предупредилъ васъ, что ударюсь въ метафизику, которую вольны вы принять или не принять, но что «благая» душа, въ силу чисто естественно-научныхъ законовъ, должна быть единолично бессмертна, такъ это несомнѣнно и это не метафизика. Я сообщилъ вамъ все, что зналъ на этотъ предметъ, я указалъ вамъ на несомнѣнность

существованія двери въ безсмертіе и желалъ бы повѣдать свои мысли возможно многимъ... но только отнюдь не въ качествѣ самозваннаго пророка. У насъ давно въ ходу пророчества разныхъ видовъ и достоинствъ, это правда, но все-таки пророчества; вспомните, чтобы начать снизу, деревенскихъ пророковъ раскола, штунды и перейдите прямо къ спиритамъ и недавно появившимся Редстоку и Пашкову! Въ моихъ доводахъ нѣтъ ничего сходнаго съ ихними: я простой изслѣдователь, дѣлающій свои заключенія... Впрочемъ, виновать, между мною и перечисленными пророками есть сходство: всѣ мы, вмѣстѣ взятые, не новы подъ луною, всѣ пульсируемъ, всѣ повторяемъ какіе-то зады...

Прошло двое сутокъ пребыванія Подгорскаго въ Родниковкѣ. Ко времени прибытія парохода, направлявшагося вверхъ по Волгѣ, такого же крупнаго американца, какъ тотъ, на которомъ Подгорскій прибылъ, Абатуловъ проводилъ гостя до ближайшей пристани.

— Прощайте! Прощайте еще разъ! закричалъ ему Подгорскій съ палубы, при первыхъ поворотахъ неуклюжихъ колесъ американца.

— Нѣтъ! Никакъ не прощайте, а до свиданія, здѣсь или тамъ! отвѣтилъ ему Абатуловъ.

Публика, слышавшая это прощаніе, конечно, не поняла его.





**„ИЗЪ СВѢТСКОЙ ЖИЗНИ“.**



## ПРИГЛЯДИТЕСЬ КЪ НЕЙ.

---

Какъ хороша она, какъ хороша эта женщина! Вы ее навѣрное видѣли.

Она свободна, она вдовѣтъ вотъ уже третій годъ, а вдовство—значительное подспорье красотѣ, если она есть. То, что называлось мужемъ ея, было шестидесяти лѣтъ отъ роду и покоится на кладбищѣ Невскаго монастыря, и будетъ придавлено богатымъ бѣломраморнымъ памятникомъ.

Она, женщина эта, поѣхала выбирать памятникъ съ человѣкомъ, бывшимъ близкимъ къ ней еще при жизни мужа. Когда они вошли въ монументную мастерскую, пестрые мраморы, молящіеся ангелы и херувимы умильно глядѣли на вошедшихъ со всѣхъ сторонъ. Мраморы и камни были всѣхъ сортовъ, отъ шокшинскаго гранита начиная, изъ котораго сдѣлана гробница Наполеона I въ домѣ Инвалидовъ, отъ отливающихъ синюю и зеленью лабрадоровъ, виднѣющихся въ Москвѣ въ храмѣ Спасителя, до настоящихъ каррарскихъ образцовъ, родственныхъ тѣмъ, изъ которыхъ создавалъ свои безсмертныя вещи Микель Анжело.

Вошедшіе въ мастерскую говорили по-французски и продолжали какой-то неоконченный разговоръ. Хо-

зяинъ, завидѣвъ у подѣзда богатый фазтонъ, въ шорахъ, доставившій новыхъ заказчиковъ, поклонился, но молчалъ, выжидая указаній.

— Вы заставляете меня, господинъ Аристотель, — проговорила женщина; — смѣяться подлѣ памятниковъ! Нехорошо.

— Это для того, чтобы памятникъ серьезнѣе вышелъ и скорѣе достигалъ цѣли.

— Какъ такъ?

— По теоріи воскресенія изъ мертвыхъ: смерть даетъ жизнь, слѣдовательно смѣхъ даетъ серьезное. Вѣдь на его могилу нельзя же смѣхотворнаго памятника поставить?

Проговоривъ это, господинъ, названный Аристотелемъ, желая вкусить награду своимъ игривымъ словамъ, зорко взглянулъ на собесѣдницу; она какъ-то странно мотнула головою, погрозила пальцемъ, на которомъ побрякивала, качаясь на цѣпочкѣ, небольшая лорнетка, вѣчно раскрытая, улыбнулась и обратилась съ вопросомъ къ хозяину.

Кличка Аристотель была дана Платону Ѳедоровичу Лопареву исключительно потому, что онъ назывался Платономъ. Никакихъ другихъ причинъ быть не могло, отъ самыхъ юныхъ лѣтъ его начиная. Философомъ онъ не былъ, хотя не былъ лишенъ нѣкоторыхъ порывовъ къ мудрствованію, иногда даже довольно сложному, тамъ, гдѣ дѣло касалось, наприкладъ, восполненія его ежегодныхъ, хроническихъ дефицитовъ. Платонъ Ѳедоровичъ относился къ чистокровнѣйшимъ представителямъ того особаго вида людей, которыхъ такою полностью и съ такою отчетливостью, какъ у насъ, въ Россіи, не встрѣтите вы нигдѣ, людей: девизомъ которыхъ должны бы быть слова: «Не могу жить по средствамъ».

Начиная отъ батистовой тонкости того бѣлья, которое онъ носилъ, включительно до той женщины,

которую любилъ и которою обладалъ, все въ немъ было не по средствамъ. Но зато, на тридцать третьемъ году отъ роду, могъ онъ сказать, положя руку на сердце, что умѣлъ и умѣетъ пользоваться жизнью. Маленькое состояніе его оказалось разстроеннымъ вдоль и поперекъ; зато чего-чего не видалъ, не испыталъ онъ? Довольно независимое служебное положеніе было обезпечено, связи имѣлись налицо, особенныхъ причинъ печалиться не существовало и Платонъ Ѳедоровичъ жилъ весело. Входя къ монументному мастеру, сознательно переживалъ онъ пріятную минуту жизни: отсюда предстояло ѣхать завтракать въ одну изъ милютиныхъ лавокъ, въ хорошей компаніи, съ нею... а она—его!

— Такъ вотъ, этотъ выберемъ?—проговорила Лидія Константиновна, подходя къ высокому бѣлому обелеску, стоявшему въ углу и высовывавшему изъ-за остальныхъ памятниковъ свою острую вершину.

— Только потому развѣ, что самый большой,—дополнилъ Платонъ Ѳедоровичъ, идя за нею.

— А какъ цѣна?

— Цѣна, какъ есть, безъ рѣшетки, семьсотъ рублей.

— А постановка?

— Триста съ рѣшеткою.

Лидія Константиновна ничего не отвѣтила и перешла къ другому памятнику, потомъ къ третьему.

Лидія Константиновна была стройнаго сложенія, высокаго роста и обладала удивительно роскошными, черными какъ смоль, волосами. Сложена она была, такъ замѣчательно хорошо, что если бы судьба не дала ей независимаго положенія въ обществѣ и она попала моделью къ художнику, то нѣкоторое обезпеченіе было бы неперемѣннымъ слѣдствіемъ ея перваго позированія. Темные глаза смотрѣли тоже очень красиво и были обведены замѣчательно длинными



рѣсницами, окружавшими ихъ тою мечтательною полутѣнью, которую многія, очень многія женщины, наводятъ на свои очи путемъ обрисовки. Смѣялась она увлекательно, была весела, умна и смѣла до дерзости.

Самый богатый пансіонъ Петербурга далъ ей воспитаніе; самый любезный изъ мужей не замедлилъ возвратить ей своею смертию свободу и передать имущество тысячъ въ девяносто, что не мѣшало Лидіи Константиновнѣ жить, по крайней мѣрѣ, тысячъ на двадцать въ годъ. Такъ какъ не было никакого основанія полагать, что она проживала свой капиталъ, то, слѣдовательно, существовали другія средства. Какія?—объяснить себѣ это, отчасти, не трудно, потому что финансы Платона Ѳедоровича клонились къ упадку, и, тамъ и сямъ, стали появляться векселя его. Онъ занималъ уже по пяти процентовъ въ мѣсяцъ. Своихъ неизвѣстныхъ благодѣтелей, деньгодателей, онъ не зналъ; ему пришлось имѣть дѣло съ агентами, съ третьими лицами, а настоящіе капиталисты, какъ это всегда дѣлается, предпочитали оставаться безымянными, довольствуясь четырьмя процентами въ мѣсяцъ, оставляя одинъ процентъ въ пользу агента.

Завтракъ, послѣ выбора монумента, оказался очень вкуснымъ и веселымъ. Собесѣдниковъ было пять человѣкъ.

— Нельзя ли, господа, завтра устроить подобный же завтракъ?—сказалъ одинъ изъ собесѣдниковъ.

— Лучше ужинъ!

— Здоровье представительницы прекраснаго пола, между нами находящейся!

— Лидія Константиновна, Лидія Константиновна, ура!!

И бокалы звенѣли, и вино исчезало.

— Здоровье Аристотеля! — проговорила неожиданно Лидія Константиновна.

Аристотель, сидѣвшій насупившись, точно встряхнулся.

— Счастливецъ! кто за него тостъ предлагаетъ? — проговорилъ одинъ изъ наиболѣе скромныхъ претендентовъ на пышную Лидію Константиновну.

Выпили за его здоровье и съ этимъ вмѣстѣ улетучилось одно изъ обычныхъ мгновеній жизни обезпеченныхъ, но пустыхъ людей: помѣсь гастрономическихъ вожделѣній, винныхъ паровъ подъ жгучими взглядами хорошенькой женщины, мыслей, не шедшихъ далѣе обстановки отдѣльнаго кабинета милотиной лавки, и... настоящей, дѣйствительной, искренней любви.

Платонъ Ѳеодоровичъ любилъ не въ шутку и величайшимъ мученіемъ этой любви было сознаніе, что любовь эта непрочна, что она, для этой женщины, только потому и любовь, что проходитъ, вѣчно проходитъ, никогда не есть, не будетъ и не можетъ быть...

Онъ рѣшился, однако, кончить съ этимъ положеніемъ, и кончить не далѣе, какъ завтра: онъ рѣшился сдѣлать Лидіи Константиновнѣ предложеніе.

На утро слѣдующаго дня Платонъ Ѳеодоровичъ явился къ ней раньше обыкновеннаго, часу въ одиннадцатомъ. Онъ поднялся по лѣстницѣ къ дверямъ квартиры въ ту минуту, когда лакей, прибравъ комнаты, нашель нужнымъ побесѣдовать съ поваромъ, такъ что посѣтитель вошелъ безъ звонка. О немъ, какъ это часто бывало, вовсе не доложили и онъ направился прямо въ будуаръ.

На этотъ разъ ему хотѣлось поговорить окончательно. Ему хотѣлось сказать, что онъ не можетъ болѣе выносить расточаемаго любимую имъ женщи-

ною кокетства, что онъ измаялся, истомился; что если она отуманила его именно этимъ кокетствомъ, то теперь довольно, больше не надо его съ другими, что онъ, наконецъ, просить ея руки...

Каждая почти вещьца въ квартирѣ, по которой онъ проходилъ, была ему знакома, была воспомина-ніемъ, намекомъ, воплощеніемъ какой нибудь минуты жизни за цѣлое пятилѣтіе. Платонъ Ѳедоровичъ проходилъ по комнатѣ, на этотъ разъ, особенно грузно и многія изъ вещицъ побрякивали по сторонамъ, съ шифоньерокъ и столиковъ, благодаря особенной чувствительности половъ нашихъ новыхъ домовъ красивой архитектуры. Вещицы побрякивали и прежде, но теперь, казалось, шла кругомъ него цѣлая музыка стеклянныхъ, фарфоровыхъ, металлическихъ, какъ бы плачевныхъ голосочковъ.

Мелькнула одна комната, мелькнула другая; ковры темные, ковры свѣтлые; свѣтлѣ прочихъ глядѣлъ, чуть ли не весь фарфоровый, будуаръ.

Хозяйки въ будуарѣ не было. На рабочемъ столѣ ваялись разныя бездѣлушки и, между прочимъ,—что бросилось пришедшему въ глаза — нѣсколько векселей. Совершенно машинально подошелъ онъ къ нимъ и сталъ перебирать. Одинъ изъ нихъ былъ—его вексель и онъ бросился ему въ глаза скорѣе прочихъ, какъ старый знакомый.

Платонъ Ѳедоровичъ судорожно схватилъ его: вексель зашелестилъ въ рукахъ его тѣмъ рѣзкимъ, непріятнымъ шелестомъ, который составляетъ особенность вексельной бумаги. То лицо, которому выданъ былъ этотъ вексель, было знакомо Платону Ѳедоровичу, но тѣ два лица, что надписали на немъ бланки, были ему совершенно невѣдомы.

Онъ схватилъ еще одинъ вексель, другой, третій... Попадались знакомыя подписи...

Нѣчто невѣроятное, сумасшедшее охватило душу

его, мысли мѣшались, въ вискахъ стучала кровь, глаза видѣли неясно, сквозь туманъ...

— Ростовщица! ростовщица! — мелькало, нѣтъ, шипѣло въ его соображеніяхъ, и свѣтлорозовыя краски будуара становились красными, кровавыми...

Раньше, чѣмъ оправдлся онъ отъ совершенно дикаго, тупого, невѣроятнаго впечатлѣнія, вошла хозяйка.

Во всей роскоши утренняго одѣянія, съ распущенными волосами, вся кружевная, свѣтлая, ароматная, едва только скользнула она въ дверь и увидѣла Платона Ѳеодоровича съ векселемъ въ рукахъ, какъ лицо ея преобразилось; улыбка сбѣжала въ какую-то холодную, отталкивающую кривизну всего молодого лица. Хозяйка остановилась, не шелохнулась и ждала...

— Лидія! Лидія! — крикнулъ Платонъ Ѳеодоровичъ, медленно сдѣлавъ къ ней шага два навстрѣчу, держа въ рукахъ вексель.

— Ну, — рѣзко отвѣтила она.

— Такъ ли это? такъ ли? — продолжалъ онъ съ той же рѣзкостью, обративъ къ ней вексель и дрожа всѣмъ тѣломъ.

Лидія ничего не отвѣчала... Какъ сумасшедшій бросился къ ней Платонъ Ѳеодоровичъ, къ ней, къ неподвижной, къ удивленной, и въ разстояніи полушага, чуть не коснувшись роскошныхъ кружевъ ея пеньюара, словно отшатнулся, остановился, опомнился...

Лидія спокойно дернула висѣвшій подлѣ звонка.

— Подайте кофе! — сказала она, немедленно вошедшему вслѣдъ за звонкомъ человѣку...

Платонъ Ѳеодоровичъ, выходя навсегда изъ квартиры и ступая по коврамъ, не замѣтилъ, какъ жа-

лобно, какъ плачевно раздавались фарфоровые и стеклянные голосочки дрожавшихъ по сторонамъ бездѣлушекъ.

А она? приглядитесь къ ней! вы можете видѣть ее и теперь; она не сочинена, она существуетъ, она—ростовщица!



## ПОДСМОТРѢЛЪ.

---

Это случилось двадцать два года назадъ.

Былъ поздній іюльскій вечеръ. Темнѣло. Ночи были еще настолько прозрачны, что часу въ одиннадцатомъ можно было ясно различить шагахъ въ десяти лицо знакомаго человѣка.

Въ одной изъ боковыхъ аллей Каменнаго острова, только-что выйдя изъ воротъ домика сторожа большой дачи и робко озираясь, прощалась съ мужчиной высокая, хорошо одѣтая, несомнѣнно изящная женщина. Лицо свое она какъ-то очень ловко скрывала, боясь, чтобы кто не подсмотрѣлъ; лица на ней будто не было; но граціи скрыть она не могла, она сказывалась, благодаря полусвѣтлой ночи, въ каждомъ движеніи и многое говорила...

Не скрывала женщина лица своего только отъ человѣка, съ которымъ прощалась, не могла его скрыть и не хотѣла, потому что онъ искалъ поцѣлуя... Какъ не найти мѣста для поцѣлуя въ молодые годы на дорогомъ, миломъ лицѣ, теплою лѣтнею ночью, когда никто не видитъ? И поцѣлуй раздался, настолько явственный, что женщина испугалась. Точно преступленіе совершила она!

— Прощай, прощай же... не надо...—промолвила женщина.

— Когда же?

— Какъ условлено...

— А раньше?

— Нельзя...

— Но, можетъ быть?

— Не проси... ты знаешь...

Въ это самое время будто громомъ какимъ поразили ее звуки лошадиного топота. Домикъ сторожа стоялъ на углу двухъ аллей; если кто выѣзжалъ изъ боковой, поворачивая направо, то, до поворота, приближенія изъ-за кустовъ не было слышно, послѣ поворота топотъ выносился, вырывался сразу.

На рысяхъ породистаго, красиваго коня промелькнулъ мимо обоихъ прощавшихся ѣздокъ. Онъ посмотрѣлъ на нихъ... узналъ... конечно не поклонился и исчезъ. Онъ узналъ ростъ, грацію.

Сердце женщины мгновенно точно льдомъ обвело.

— Узнали, узнали...—думалось ей, когда она почти бѣгомъ пустилась къ сосѣднему каналу, къ лодкѣ. Дремавшій яличникъ проснулся, потому что женщина сильно расколыхала лодку, вскочивъ въ нее.

Мужчина пошелъ въ противоположную сторону, по аллеѣ.

Ѣздокъ не былъ соглядатаемъ, но онъ дѣйствительно видѣлъ...

\* \* \*

Прошло двадцать два года.

Не было въ живыхъ никого изъ тѣхъ, о комъ только-что упомянуто. Прежде всѣхъ умерла тихая, свѣтлая, лѣтняя ночь, въ которую совершилось разсказанное и была она умерщвлена розовымъ утромъ, занявшимся надъ Невою, въ зоревыхъ огняхъ, безтрепетно, безучастно, точно ничего особеннаго за

ночь не произошло. Черезъ день покончилось существованіе верховой лошади, загнанной ѣздокомъ; какъ бы обуянный видѣніемъ женщины, имъ узанной, которую онъ часто встрѣчалъ недоступною, гордою, безупречною, отсчиталъ онъ безпощадною рысью весь путь отъ Каменнаго острова до Знаменья, подлѣ котораго жилъ. Конь былъ взмыленъ еще до встрѣчи. Видѣніе женщины, обвѣвавшее мысли ѣздока, давало себя чувствовать усиленнымъ дѣйствіемъ коротенькихъ, но острыхъ шпоръ. Видѣніе туманило мысли — бока коня чувствовали его. Лошадь пала черезъ день.

Исчезъ домикъ привратника—онъ сгорѣлъ. Это произошло тоже лѣтомъ. Многіе любовались пожаромъ, двоившимся въ сосѣднемъ каналѣ; пожаръ отражался бѣгучимъ золотомъ и въ недалекой быстрой Невѣ. Въ домикъ сторожа гостило временно благоденствіе. Уже три года подрядъ, до рокового поцѣлуя, встрѣчались въ немъ тѣ двое, что поцѣловались. У сторожа была особая, чистая комната, подъ ихъ ключомъ. Эта комната видѣла много и горячей страсти, и дѣйствительной любви. Сторожу хорошо платили; онъ содержалъ свою семью и имѣлъ билетъ въ сохранной казнѣ. Послѣ описанной лѣтней ночи къ нему больше не ѣздили. Денегъ на семью не хватало, сторожъ запилъ; выпивши, случайно поджогъ онъ свой домикъ и постройка исчезла. На мѣстѣ сторожки зазеленѣли липки и расплодились въ травѣ подъ ними Иванъ-да-Марья и фіалки...

Не стало, наконецъ, ея, женщины; она своею временно постарѣла. Давно отошла, не порвалась, а сама собою прошла, какъ и слѣдовало, связь ея съ тѣмъ человѣкомъ, который говорилъ ей:

— А когда же? Нельзя ли раньше?..

Для этого человѣка обманула она своего мужа



и имѣла отъ него ребенка, мальчика, котораго мужъ боготворилъ. Мужъ не зналъ: чей онъ — этотъ ребенокъ.

Глубока была тайна и счастлива любовь. Тайною дышала эта любовь. Ее подглядѣли, и она точно надломилась, завяла. Годы взяли свое и женщина умерла. Умеръ мужъ. Умеръ любовникъ. Долше всѣхъ жилъ ѣздокъ—соглядатай; но, наконецъ, отошелъ и онъ. Казалось бы чего чище? смерть помирила всѣхъ. Нѣтъ! Осталось жить одно только лучшее слово...

\* \* \*

По хрупкому снѣгу, декабрьскимъ, пасмурнымъ утромъ, недалеко отъ Мурина, въ оврагѣ рѣки, занесенной глубокими, пухлыми сугробами, копошились люди.

На самомъ краю оврага высилась фигура человека въ форменной фуражкѣ и пальто.

Человѣкъ этотъ махалъ рукою въ сторону двухъ троекъ, стоявшихъ поодаль. Не весело было у него на сердцѣ. Сухой туманъ, обволакивавшій вершины деревьевъ и дымившійся по нимъ, будто бы заползалъ къ нему въ сердце.

Чужимъ былъ этотъ человѣкъ тому дѣлу, которое совершилось, а холодный туманъ въ сердцѣ его—все-таки осаждался.

Дуэль кончилась.

— Осторожниѣе, осторожниѣе!—раздавалось снизу.

Четыре человека несли пятого. Сзади, поодаль, шелъ еще одинъ. По бѣлому снѣгу чрезвычайно четко обрисовывались всѣ ихъ очертанія. По мѣрѣ подъема изъ оврага по небольшой тропинкѣ, когда, сторонясь отъ деревьевъ, фигуры одна отъ другой отдѣлялись, можно было отличить повисшую голову и согнутыя ноги человека, котораго несли.

— Тише! осторожниѣе!

— Напрасно, господа!—отвѣтила сверху фигура въ пальто и фуражкѣ:—его не потревожите!

Тройки тѣмъ временемъ подтянулись. Ямщики, снявъ шапки, осѣнились крестами. Убитого положили, усѣлись, поѣхали. На большой дорогѣ ожидала четырехмѣстная карета. Пересѣли, переложили тѣло. Одна тройка оказалась пустою; другая быстро понеслась впередъ, оставивъ за собою карету.

Въ тройкѣ этой сидѣлъ съ двумя другими тотъ, что убилъ человѣка, юноша, какъ и убитый. Онъ молчалъ. За нимъ, какъ двадцать два года назадъ, за живымъ тогда всадникомъ, его отцемъ, и не павшею еще тогда лошадыю, несло видѣнье, и тоже обвѣвало собою, видѣніе того, что только что совершилось: выстрѣлъ, дымъ, кровь... Онъ, этотъ юноша, услыхалъ когда-то, гдѣ-то, что убитый имъ человѣкъ незаконный сынъ... Судьба свела ихъ обоихъ подлѣ одной и той же дѣвушки. Онъ уязвилъ противника въ недобрый часъ, тѣмъ что зналъ, потому что слыхалъ. Отъ кого? Это знали до него и другіе, и многіе, потому что когда-то отецъ его, давно умершій всадникъ, повѣдалъ кому-то, случайно, въ разговорѣ; мало ли чего ни говорится?.. Другой сказалъ третьему, такъ узналъ и онъ, но только не отъ отца. Миновали годы... людей пережило воспоминаніе случайно оброненнаго слова, сложилась недобрая минута, и очень просто сложилась: сорвалось это слово и появилось мертвое тѣло, и томительный страшный день...

\* \* \*

А свѣженькія липки, на мѣстѣ сгорѣвшей сторожки, выросли большими, стройными, красивыми, и обильно кустятся подъ ними по веснѣ Иванъ-да-

Марья и фіалки. Въ законный срокъ залетаетъ въ липки соловей и поетъ лѣтнею ночью о любви и счастіи другимъ, вѣчно новымъ, волною набѣгающимъ людямъ.

Что бы стоило давно умершему ѣздоку повернуть коня не направо, а налѣво? и зачѣмъ такъ легки слова, такъ живучи они? Зачѣмъ?

А потому что не уничтожь пожаръ сторожки, не было бы мѣста вырости красивымъ и стройнымъ липкамъ, куститься Иванъ-да-Марья и фіалкамъ и изнывать надъ ними въ пѣснѣ налетающему весною соловью.



## ДВА ТУРА ВАЛЬСА — ДВѢ ЕЛКИ.

---

Возникають иногда нѣкоторыя отношенія мужчины къ женщинамъ, которыя такъ призрачны, такъ неуловимо воздушны, что ихъ даже и клевета не замѣчаетъ и потому не можетъ растрепать. Ихъ ни написать, ни описать невозможно, по той простой причинѣ, что никакого очерка, собственно говоря, нѣтъ: ничего не случилось, ничто не обнаружено, никто ничего не знаетъ, потому что нечего знать. Проявись, скажись подобное очертаніе, и оно перестало бы существовать, стало бы другимъ. Это своего рода чуткая мимоза, не выдерживающая никакого прикосновенія... А между тѣмъ двѣ самостоятельныя жизни человѣческія и все, что подлѣ нихъ, находятся въ томительной зависимости отъ своеобразныхъ, неуловимыхъ отношеній, отъ этого ничѣмъ не сказывающагося, неимѣющаго воплощенія бытія. Отъ нихъ падаетъ въ жизнь какъ бы тѣнь: предмета не видно, тѣни незамѣтно—но она есть.

Дѣвушка объявлена невѣстою и родители даютъ балъ. Много блеска, говора, музыки, веселья, много поздравленій, шутокъ, пожеланій. Въ глазахъ кра-

сивой невѣсты сказывается то приличное довольство, та вполне законная, спокойная радость, въ извѣстной долѣ обеспеченная, которая такъ заурядны при нашихъ салонныхъ свадьбахъ. Балъ въ разгарѣ, намѣчаются среди танцующихъ будущія свадьбы, будущія, въ извѣстной долѣ обеспеченныя, спокойныя радости. Женихъ—юноша какъ слѣдуетъ, и парочка будетъ, какъ говорится, подходящая.

Много новыхъ кавалеровъ. Къ невѣстѣ подводятъ одного, ей незнакомаго, и представляютъ. Онъ отвѣшиваетъ поклонъ, она кладетъ къ нему на плечо руку; оркестръ играетъ вальсъ на мотивъ изъ «Оберона».

Какъ хорошо уноситься въ этомъ мотивѣ; какъ хорошо, какъ складно имъ другъ подлѣ друга; вотъ кого бы не разлучать никому, никогда—это такъ огненно-ясно... и какъ близки они, какъ близки. До этой встрѣчи не сказали они одинъ другому ни слова; они и потомъ, при многихъ другихъ встрѣчахъ, скажутъ не многимъ болѣе... но въ этотъ завѣтный мигъ, въ этомъ мотивѣ «Оберона», стремились они, не сговорившись, не условившись, въ какомъ-то безумномъ полетѣ въ царство невѣдомой сказки. Въ сіяніи безсчетныхъ огней и алмазовъ, въ тепломъ трепетѣ кружевъ и шелковъ, на глазахъ всего общества, родителей и самого жениха, совершался этотъ совсѣмъ незаконный полетъ!

Какъ это возможно, скажутъ систематики, люди послѣдовательности и порядка, чтобы, увидѣвшись впервые, не сказавъ другъ другу ни слова—полюбить, и, полюбивши, опять-таки не сказать ни слова! и это съ обѣихъ сторонъ, одновременно, обоюдно!

Кажется, что было сдѣлано два или три тура вальса больше, чѣмъ обыкновенно дѣлаютъ. Состоялся принятый въ этихъ случаяхъ вторичный поклонъ и между обоими возстановилось подобающее

разстояніе. Эти два лишнихъ тура вальса могли бы служить единственнымъ доказательствомъ, единственнымъ уликою, но кто же замѣтилъ ихъ въ блескѣ бала, не будучи предупрежденъ, а послѣдствій они рѣшительно никакихъ не имѣли.

Сыграли свадьбу. Нѣтъ, двѣ свадьбы, потому что и онъ, года черезъ три, тоже женился. Ничто не взбаломучивало мирнаго теченія жизни обоихъ молодыхъ семействъ. Все это были люди хорошіе, спокойные; пошлѣ дѣти, стали подростать и въ обоихъ домахъ на Рождество загорѣлись елки.

У нея, у той, что вальсировала, такъ какъ дѣти были постарше, послѣ елки, устроили дѣтскую пляску. Гувернантка заиграла вальсъ на мотивъ изъ «Оберона».

— Нѣтъ, нѣтъ! Не это, что нибудь другое!—проговорила быстро и нервно хозяйка, устанавливая дѣтей:—*ce n'est pas assez dansant!*

У него, у того, что вальсировалъ, елка устроилась иначе. Въ виду множества другихъ елокъ у родныхъ, рѣшено было зажечь ее утромъ, когда дѣти встанутъ. Жена и онъ размѣстили бездѣлушки, подарки, развѣсили блестящія сласти. Когда огни были зажжены, жена попросила, чтобы мужъ самъ ввелъ дѣтей изъ-за запертой двери; она ждала въ залѣ и хотѣла видѣть картинку радости. Какъ только стала открываться дверь, и розовыя, только что умытыя личики дѣтей глянули изъ-за нея, проступая въ золотистомъ свѣтѣ елочныхъ огней, мать, державшая въ рукахъ игрушку съ музыкой, назначенную бѣлокурой старшей дочери, заиграла. Это былъ мотивъ изъ «Оберона».

Тоненькіе, острые голосочки музыкальной коробки звучно отчеканивались въ безмолвіи дѣтской радости, еще не успѣвшей сказаться словами... Струны вообще звучать такъ ярко... такъ жалостно.

Отецъ немедленно поблѣднѣлъ.

— Что съ тобою? Ты плачешь?—спросила жена, подходя къ мужу.

Онъ быстро наклонился и началъ цѣловать дѣтей...

Дѣвочка, которой подарили коробку, скоро убѣдилась въ томъ, что въ коробкѣ были струны, что за нихъ цѣплялись, производя музыку, острые зубчики бѣлыхъ гусиныхъ перьевъ и — больше ничего.



## ЧУГУННЫЕ ФРУКТЫ.

---

Если вы, приѣхавъ въ Павловскъ, направитесь сквозь чугунныя ворота по шоссе, ко дворцу и далѣе, то не можете не замѣтить при одномъ изъ входовъ въ паркъ двѣ чугунныя, плоскія вазы, наполненныя чугунными фруктами, стоящія на невысокихъ постаментахъ.

Исторійка о нихъ построена на одномъ изъ проявленій весенней любви.

Это было въ то время, когда Павловскій паркъ еще не совсѣмъ украсился; храмики и фермочки его были почти новы, и въ немъ не проявлялось того *statu quo*, который отличаетъ въ настоящее время всѣ наши лѣтнія резиденціи, имѣющія, въ этомъ отношеніи, большое сходство съ установившимися, неподвижными очертаніями дремлющихъ въ быломъ — Версали и Потсдама.

Чьи фантазіи участвовали въ украшеніи, работали, производили!? Всякія фантазіи натруживались въ изысканіи средствъ украшенія, включительно до фантазій садовниковъ, и римскіе императоры и греческіе боги занимали отведенныя имъ садовниками мѣста.



Какъ разъ противъ тѣхъ чугунныхъ фруктовъ, о которыхъ упомянуто, стояла во дни оны небольшая дача. На дачѣ жилъ лѣтомъ ея собственникъ и съ нимъ его жена. Зимою помѣщался въ ней сторожъ и его жена.

Мужъ служилъ бы непременно въ министерствѣ государственныхъ имуществъ, если бы оно въ тѣ дни существовало. Онъ считалъ себя помогомъ и энтомологомъ, но министерство это тогда еще не родилось, хотя государственный имуществъ налицо, конечно, имѣлись. Жена его была бы непременно дамой-благотворительницей, если бы въ тѣ дни существовалъ этотъ типъ служенія обществу, но, какъ не было министерства государственныхъ имуществъ, хотя были имуществъ, такъ не было и салонной благотворительности, хотя имѣлись бѣдные, сирые и голодные, и существовали вообще и благотворительность и нищета.

Въ указанномъ, какъ бы, сходствѣ судьбы обоихъ, мужа и жены, Анны Павловны и Ефима Ивановича — это ихъ имена — сказывалась единственная, общая черта супруговъ, если не считать того, что оба были молоды, вѣчно ссорились и оба считали себя свободными.

Анна Павловна отличалась характеромъ чрезвычайно капризнымъ, фантастическимъ. За ней началъ ухаживать, въ то время, о которомъ идетъ рѣчь, молодой человекъ, маркизъ, одинъ изъ потомковъ французскихъ гугенотовъ, пріютившихся въ Россіи еще задолго до Отечественной войны. Маркизъ былъ находчивъ, пылокъ; необходимо замѣтить, что, по бабушкѣ своей, онъ сталъ православнымъ. Православный маркизъ давно уже устремлялся къ Аннѣ Павловнѣ. Однажды объяснился онъ ей въ любви самымъ несомнѣннымъ образомъ.

— Вы скучаете безъ любви!—отвѣтила ему она:— но вѣдь это все тотъ же припѣвъ старой пѣсни!

— Какъ — тотъ же? совсѣмъ нѣтъ! Я безъ васъ не могу, я...

— Всѣ вы не можете, до поры до времени. Но всѣ вы, господа, такъ убійственно однообразны: первый взглядъ, второй взглядъ, первое слово, второе слово, первое свиданіе и, затѣмъ, наступить второе — уже скучное, уже то же самое...

— Но, Боже мой—говорилъ маркизь:—вѣдь и соловей поетъ все то же самое, и, можетъ быть, даже, тотъ же самый соловей и на той же вѣткѣ?

— Нѣтъ, право скучно, скучно!

— Я слышалъ объ одной женщинѣ,—продолжалъ маркизь:—которая, отъискивая разнообразія, выслушала наконецъ признаніе въ любви въ лодкѣ воздушнаго шара. Полетимъ! Хотите?

— Нѣтъ, это опасно и, къ тому же, зачѣмъ летѣть въ небо? можно и землей ограничиться...

Разговоръ этотъ происходилъ послѣ обѣда, на балконѣ. На столѣ передъ обоими собесѣдниками стояла хрустальная вазочка, наполненная фруктами. Оба они, отъ поры до времени, кушали эти фрукты.

— Вы меня такъ нервно настраиваете,—проговорилъ маркизь:—что если бы я могъ сразу преобразить эти фрукты въ чугунные или каменные, я бы сдѣлалъ это непременно для новизны. Ваши зубки въ такомъ случаѣ...

— Что зубки! пожалѣйте лучше желудокъ,—отвѣтила ему, смѣясь, собесѣдница. — Впрочемъ, чугунные фрукты — мысль недурная! Дайте мнѣ чугунныхъ фруктовъ и тогда...

— И тогда...

Цѣлый планъ дѣйствія сразу, мгновенно, возникъ въ головѣ маркиза, и онъ тотчасъ же приступилъ къ его исполненію.

На слѣдующее же утро отправился онъ въ дворцовую контору и разспросилъ подъ рукою, кто и какъ занимается украшеніемъ парка, и что думаютъ дѣлать ранѣе прочаго и скоро ли это будетъ? Ему отвѣтили, что въ настоящую минуту обращено вниманіе на входы въ паркъ и предположено ихъ украсить. Есть предположенія каменныхъ и чугунныхъ украшеній...

— Кто же, — спросилъ маркизь: завѣдуетъ этимъ? кому поручено?

— Что именно?

— Да хоть бы чугунныя украшенія у входовъ?

— Литейщику.

— Гдѣ живетъ?

— Тамъ-то.

Отправился маркизь къ литейщику.

— Поручены вамъ такія-то работы?

— Поручены.

— Что вы думаете поставить у такого-то входа?

— Пока не знаю. Придумаю.

— Хотите: мысль дамъ?

— Сдѣлайте одолженіе.

Маркизь сообщилъ свою идею о вазахъ съ чугунными фруктами; она была найдена литейщикомъ подходящею. Литейщикъ обѣщалъ воспользоваться ею и къ будущему году приготовить что нужно.

— У меня до васъ просьба — прибавилъ маркизь.

— Какая?

— Сдѣлайте это сейчасъ.

— Какъ сейчасъ: надо рисунокъ, модель, надо разрѣшеніе отъ кого слѣдуетъ?

— Я заплачу вамъ сверхъ того, что вы получите... У меня есть существенныя причины видѣть вазы съ чугунными фруктами готовыми еще въ нынѣшнемъ сезонѣ.

— Это невозможно.

— Однако!

Подумаль литейщикъ и, сообразивъ, что особенной трудности въ изготовленіи чугунныхъ фруктовъ не будетъ, что совсѣмъ не лишнее получить, сверхъ ожидаемой, добавочную сумму, изъявилъ свое согласіе. О цѣнѣ условились.

Прошло два слишкомъ мѣсяца.

Въ одно прекрасное, дѣйствительно прекрасное, осеннее утро, Анна Павловна, въ пунцовомъ пеньюарѣ, вышла на балконъ своей дачи и, къ величайшему удивленію, бросивъ взглядъ на паркъ, увидѣла передъ собою двѣ новыя, до того не стоявшія, вазы. Какія-то работы по установкѣ чего-то шли уже на ея глазахъ недѣли три: рыли яму, клали фундаментъ. Въ этомъ не было ничего удивительнаго, такъ какъ по всѣмъ угламъ парка производились работы, а о разговорѣ своемъ съ маркизомъ Анна Павловна давно позабыла... теперь она вспомнила его.

Вазы, озаренныя утреннимъ солнцемъ, произвели на Анну Павловну еще издали какое-то странное, почти пугающее, впечатлѣніе.

— Въ нихъ, должно быть, фрукты, чугунные фрукты—думала она:—и въ такомъ случаѣ я въ долгу! Мнѣ маркизу платить нужно будетъ...

Раньше и быстрѣе обыкновеннаго смѣнила она пеньюаръ на платье и вышла гулять. Подойдя вплотную къ вазамъ, она остановилась: чугунные фрукты, обрызганные росой, мерцали въ лучахъ утренняго солнца тысячами лучей, а Анна Павловна глядѣла на нихъ съ какимъ-то смущеннымъ, ей не вполне объяснимымъ чувствомъ. Сказка это или дѣйствительность? и что тутъ дѣлать?... Подождемъ — увидимъ...

Характернѣе всего то, что находчивый маркизь изъ православныхъ не заплатилъ литейщику обѣщанной ему дополнительной суммы. Мастеръ при-

ходилъ къ нему много разъ, но напрасно, и, наконецъ, бросилъ мысль о добавочномъ вознагражденіи. Должно быть, маркизъ позабылъ.

А чугунные фрукты красуются попрежнему до сихъ поръ, окропляемые лѣтними дождями и росами и хранимые зимою подъ глубокимъ покровомъ снѣга.



## КЛЮЧИКЪ.

---

Близится третій часъ ночи. Федоръ Федоровичъ, возвратившись изъ клуба, направился къ себѣ въ кабинетъ и, прочитавъ наскоро заголовки привезенныхъ вечеромъ изъ министерства курьеромъ бумагъ, лежавшихъ на столѣ, раздѣлся, сорвалъ со стѣнного календаря листокъ и, подойдя къ кіоту, сбросилъ спичкою со свѣтильни лампадки, горѣвшей передъ нею, грузный, малиновый, какъ каленый уголь, нагаръ. Сразу вспыхнули всѣ потемнѣвшіе лики иконъ кіота, и кабинетъ просвѣтлѣлъ.

Въ спальню жены своей, Анны Федоровны, вошелъ онъ въ халатъ, вошелъ потихоньку. Тутъ тоже горѣла передъ образомъ лампадка, но горѣла свѣтло, ровно, и бѣлое пламя ея нисколько не колыхалось въ безусловно спокойномъ, немного прохладномъ воздухѣ. Особенно ярко освѣщала она бѣлый пенюаръ Анны Федоровны, положенный на кушетку, и раскрытую книжку, лежавшую подлѣ нея на столикѣ и читанную передъ сномъ.

Прошло только два года послѣ свадьбы Федора и Анны. Дѣтей у нихъ не было и жилось имъ не бѣдно и не дурно. Но, что значить это недурно,

послѣ двухъ лѣтъ брачной жизни, если живетъ иногда, хотя и очень рѣдкимъ счастливымъ, недурно и послѣ двадцати лѣтъ? Сколько помогала этому молодость обоимъ—женѣ миновало восемнадцать лѣтъ, мужу двадцать девять—сказать трудно, такъ какъ зачастую молодость только мѣшаетъ сосредоточенію счастья подлѣ своего очага, въ своемъ домѣ; но вѣрно то, что подобнаго вопроса ни тотъ, ни другая себѣ не задавали. Это было очень не хорошо. Конечно, писать нравоучительныя прописи легко, переписывать ихъ еще легче, а сказать, что то или другое не хорошо—даже и совѣтъ не трудно, но, тѣмъ не менѣе, нельзя не замѣтить, что именно у насъ, русскихъ, гораздо полнѣе, чѣмъ у другихъ, отсутствуетъ всякое возникновеніе, всякая постановка вопросовъ въ себѣ самомъ, о себѣ самомъ.

Не о тѣхъ вопросахъ, которые ставилъ себѣ по окончаніи дня знаменитый римскій императоръ, говорится тутъ, не о тѣхъ вопросахъ практической жизни, которые касаются службы, домашнихъ и общественныхъ отношеній, знакомствъ и прочихъ сутолокъ жизни, разсужденія о которыхъ при дѣтяхъ такъ ужасно вредны въ воспитательномъ отношеніи, вспоминается въ данномъ случаѣ; нѣтъ, вспоминаются другіе, гораздо болѣе вѣскіе. Вспоминаются тѣ изъ вопросовъ, которые, если они возникли въ глубинѣ душевной, никогда, ни въ какомъ случаѣ и никому, не только третьему, но и второму лицу, не повѣряются и обнаруженію не подлежатъ. Это вопросы внутренней, скрытой лабораторіи ума и сердца, незримые и неслышные, но чрезвычайно дѣятельные, которые копошатся въ людяхъ, смотрящихъ на жизнь иначе, чѣмъ на рядъ обѣдовъ и ужиновъ, на шествіе отъ крестинъ къ свадьбамъ и похоронамъ, на зимніе и лѣтніе сезоны, на награды и по-

вышенія по службѣ. Это тѣ вопросы бытія сердца, въ которыхъ, если бы они возникали въ насъ въ достаточномъ количествѣ и качествѣ, мы могли бы уяснить себя себѣ, становились устойчивѣе, прочнѣе и могли бы, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, даже провидѣть будущее. Императоръ Титъ, вспоминая о томъ, совершилъ ли онъ доброе дѣло истекшимъ днемъ, былъ, какъ говорится, крѣпокъ заднимъ умомъ и касался одного только вида дѣяній и къ тому же уже совершившихся, рѣшенныхъ. Тѣ вопросы, о которыхъ вспоминается тутъ, принадлежать, главнымъ образомъ, только грядущему, они только еще предложены рѣшенію.

Своенравная судьба, въ данномъ случаѣ, поставила Федору Федоровичу вопросъ о направленіи своихъ отношеній къ очень молодой женѣ. Первые два года прошли чрезвычайно быстро и незамѣтно въ вѣяніи еще не успокоившагося пыла страсти, въ составленіи кружка знакомыхъ, въ пополненіи тѣхъ или другихъ недостатковъ въ хозяйствѣ, въ новизнѣ ощущеній, въ сознаніи того, что въ бракъ что-то достигнуто, что-то рѣшено, что-то опредѣлилось и что бракъ самъ по себѣ уже гавань, въ которой можно бросить якорь, или причалить къ берегу. Но промелькнуло время, дѣтей не было (хотя и дѣти не разрѣшеніе), знакомства окончательно сложились, хозяйство пополнилось всѣмъ необходимымъ, а жить, все-таки, предстояло. Мало-по-малу начала проявлять свои безобразныя примѣты скука, плодovitая создательница всякаго зла. Федоръ Федоровичъ сталъ ходить въ клубъ, Анна Федоровна принялась за чтеніе. Это обычное начало.

Наступило такое время жизни, въ которое, если бы Федоръ Федоровичъ относился къ числу людей, постигающихъ или хотя бы только замѣчающихъ вопросы, поставленные жизнью на очередь, если



бы онъ былъ хотя сколько нибудь внимателенъ къ внутреннему міру своего бытія, то, несомнѣнно, замѣтилъ бы эту скуку и озаботился приисканіемъ того, что противъ нея дѣлать и какъ обойти. Но онъ, какъ и громадное большинство, скуку эту хотя и почувствовалъ въ себѣ и въ женѣ, но никакого вопроса изъ этого не дѣлалъ, пошелъ въ клубъ и отдался теченію жизни: пусть, молъ, несетъ! А между тѣмъ, какъ легко было бы ему, какъ говорятъ французы, стать господиномъ своего положенія; стоило только быть чуть-чуть повнимательнѣе къ женѣ, снизить, если угодно, до ея уровня, стать доступнѣе, снисходительнѣе къ ея почти дѣтскимъ воззрѣніямъ. Онъ этого не сдѣлалъ, потому что никакого вопроса въ немъ не родилось.

Войти въ спальню къ мужу и женѣ, да еще въ три часа пополудни, не вызвавъ величайшаго переполоха, можно только при посредствѣ писателя или живописца.

Анна Федоровна глубоко спитъ. Лампадка свѣтится настолько ярко, что замѣтенъ даже румянецъ на совсѣмъ юныхъ щекахъ женщины; красивое личико обрамлено подушкою, выпятившеюся по краямъ лица, подъ тяжестью головы. Она спитъ совершенно спокойно, и голубое шелковое одѣяло скромно покрываетъ ея всю, до самой шеи. Федоръ Федоровичъ хотя и торопится лечь въ кровать и заснуть, но, почему-то, совершенно безвольно, подходит на цыпочкахъ къ книжкѣ, лежавшей открытою на столѣкѣ подлѣ жены; размѣръ книги бросился ему въ глаза; онъ, не далѣе какъ вчера, принесъ женѣ одинъ изъ романовъ Зола, а эта книга, по величинѣ, представляла нѣчто совсѣмъ другое.

Онъ наклонился къ столу и прочелъ: «Сказки для дѣтей»!

Сопоставленіе этого заглавія съ только что мельк-

нувшимъ именемъ Зола, въ сознаниі чловѣка, болѣе мыслящаго, чѣмъ Федоръ Федоровичъ; сразу открыло бы цѣлый міръ, цѣлую вереницу соображеній, цѣлую программу будущихъ отношеній къ женѣ... Но... ему такъ ужасно хотѣлось спать, а на утро предстояло прочесть кое-какія бумаги. Удивительный чловѣкъ! дѣтская книга даже не удивила его; ни одинаго соображенія не вызвало въ немъ то, что «Сказки для дѣтей» нравились женѣ болѣе, чѣмъ романъ Эмиля Зола.

Въ этой игрѣ случая, судьба, при свѣтѣ лампы, давала Федору Федоровичу ключикъ къ женину сердцу, какимъ оно являлось въ тѣ дни... Онъ не замѣтилъ ключика, и оно осталось для него закрытымъ.

И сколько валяется передъ людьми въ жизни такихъ простыхъ, ясно видныхъ, подходящихъ къ извѣстному положенію, какъ къ замку, ключиковъ. Наступитъ время, станетъ чловѣкъ подыскивать ключика и не подберетъ его.

Если слесарь начнетъ открывать замокъ и станутъ проволочные крючки въ его рукахъ визжать и взвизгивать, то это будетъ наглядною картинкою тѣхъ позднихъ подыскиваній ключей къ тому или другому вопросу жизни, которое имѣетъ мѣсто вездѣ и всегда, но зачастую вполнѣ безнадежно.

А какой простой ключикъ могъ своевременно открыть вовсе не хитростный замокъ сердца женщины, предпочитавшей «дѣтскія сказки» — роману Зола!



## КТО ЛГАЛЪ?

---

### I.

Анна Павловна Трилонова уѣхала за-границу.

— На шесть мѣсяцевъ только,—отвѣчалъ всѣмъ спрашивавшимъ мужъ ея, Сергѣй Павловичъ, высокій брюнетъ, весьма недурной лицомъ, очень неглупый, служившій въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ.

Супружество господъ Трилоновыхъ было однимъ изъ самыхъ счастливыхъ, и счастье это лежало, главнымъ образомъ, въ воспитаніи обоихъ, и въ характерахъ ихъ, на этомъ основаніи сложившихся и не допускавшихъ какихъ бы то ни было вспышекъ сердца, какъ дурныхъ, такъ и хорошихъ. Оба супруга были прекрасно подготовлены къ исполненію той роли, которая называется жизнью, были чрезвычайно любезны, сдержанны и не признавали халатности отношеній, даже въ самыя тяжелыя минуты жизни, которыхъ никому не миновать.

Дайте только полную волю самому мелкому выраженію вашего горя или вашей радости, и онѣ легко перейдутъ границы; не давайте имъ воли, и

вы лишите самыя рѣзкія минуты жизни значительной доли ихъ остроты, какъ въ блаженствѣ, такъ и въ горести.

Такими, по крайней мѣрѣ, казались или хотѣли казаться Трилоновы.

Анна Павловна часто ѣздила за-границу, иногда одна, иногда съ мужемъ, и даже въ поѣздкахъ ихъ сказывалась та заурядность, которая, въ салонныхъ разговорахъ, отзывается вѣчнымъ повтореніемъ тѣхъ же самыхъ излюбленныхъ именъ городовъ и водъ.

По общественному положенію — изъ высшихъ слоевъ; по состоянію — люди болѣе чѣмъ обеспеченные; по медицинскому діагнозу — оба здоровые, прочные; по характеру — обходительные, любезные, отнюдь не щепетильные, они имѣли большой кругъ знакомыхъ и жили открыто. Ему было пятьдесятъ лѣтъ, ей — тридцать. Бракъ былъ бездѣтный, и это было имъ скучно.

— Не въ Швальбахѣ ли жена поѣхала, къ Kinderquelle? — спрашивалъ, смѣясь, двоюродный братъ Сергѣя Павловича, одинъ изъ постоянныхъ директоровъ и членовъ правленія трехъ обществъ. Его звали Иваномъ Федоровичемъ; онъ былъ моложе Трилонова лѣтъ на десять и отличался характеромъ чрезвычайно веселымъ и откровеннымъ.

— А не дурно бы имѣть ребеночка, — отвѣчалъ Сергѣй Павловичъ: — у насъ не семья, не порядокъ.

— Странно! оба здоровы, прочны, чего бы, кажется?

— Не судьба.

— Когда писала жена въ послѣдній разъ?

— Вчера два письма получилъ.

Разговоръ этотъ происходилъ въ кабинетѣ Сергѣя Павловича. Братья простились и вышли оба въ прихожую.

Иванъ, человѣкъ Сергѣя Павловича, ожидалъ.

— А, Иванъ, здорово, братъ, здорово; что жена?— воскликнулъ Иванъ Федоровичъ, накидывая шинель. — Что это у васъ за бездѣтный домъ такой,— продолжалъ онъ, надѣвая калоши:— у барина съ барыней и у лакея съ кухаркою нѣтъ дѣтей, да и баста. Не въ штукатуркѣ ли у васъ тутъ причина какая? штукатурку бы отбить.

Лакей громко засмѣялся; Сергѣй Павловичъ покачалъ головою и улыбнулся, а Иванъ Федоровичъ быстро выскочилъ на лѣстницу и направился домой.

— Шутники-съ,— процѣдилъ Иванъ вслѣдъ удивившему.

## II.

Анна Павловна вернулась изъ за-границы, и стали жить мужъ съ женою попрежнему чрезвычайно мирно.

Мѣсяцъ спустя, поздней осенью, по ея возвращеніи разыгралась въ домѣ ихъ слѣдующая хорошенькая сценка.

Было часовъ 10 вечера. Хозяева сидѣли дома. Она — за арфою, такъ какъ прелестно играла на этомъ забытомъ, однообразномъ, но хорошемъ инструментѣ; онъ, лежа въ кабинетѣ, читалъ газеты.

На кухнѣ, отдѣленной черною лѣстницею, Иванъ чистилъ на утро третью пару барскихъ сапоговъ,— столько именно паръ мѣнялъ ежедневно Сергѣй Павловичъ. Кухарка кончала со стряпней, съ приготовленіемъ кое-чего на завтрашній день. Передъ нею на ситѣ лежали бѣленькія, лоснившіяся кнели къ супу, кнели, на этотъ разъ, сдѣлала она всѣ кругленькими, хвостатыми. И такъ они были сдѣланы аккуратно, что любо было смотрѣть. Сама кухарка любовалась и, спуская по бѣлымъ, прочнымъ рукамъ отвернутые для работы рукава, слегка откинула голову, искоса, точь-въ-точь какъ это дѣлаютъ

дамы, выбирая фасоны платьевъ или матерій, — со-зеркала. Одинъ изъ хвостиковъ оказался кривымъ, неполнымъ, нарушавшимъ единообразіе. Она тотчасъ замѣтила это и отбросила въ сторону неудавшуюся кнель.

Вдругъ раздался подлѣ самыхъ дверей звонокъ. Кухарка открыла двери и услышала плачь ребенка; она немедленно вернулась за свѣчей.

— Въ этакій холодъ, подумаешь, дѣтей по лѣстницѣ таскаютъ! — проговорила кухарка, поднося свѣчу.

Крикъ ребенка, вторя шарканью ивановыхъ щетокъ по сапогамъ, не унимался.

Кухарка глянула на лѣстницу и тотчасъ же попятилась.

— Иванъ, а Иванъ! — крикнула она.

— Что-о?

— Дитя подбросили! въ корзинкѣ! ей-Богу! смотри!

Иванъ вскочилъ съ мѣста и подбѣжалъ.

Дѣйствительно, подлѣ двери стояла корзина и въ ней, прочно закутанный, пищаль ребенокъ. Внести корзину на кухню было дѣломъ одной минуты. Пока кухарка копошилась надъ ребенкомъ, Иванъ побѣжалъ къ господамъ.

Можете себѣ представить удивленіе Трилоновыхъ?

Барыня увѣдомлена была раньше; пошла къ барину. Много смѣялись и велѣли принести ребенка.

Когда корзина была представлена и помѣщена на столѣ въ столовой, первымъ заговорилъ Сергѣй Павловичъ.

— Мальчикъ? — спросилъ онъ.

— Не смотрѣли-съ, — отвѣтилъ, ухмыляясь, Иванъ.

— Такъ посмотрите же.

Кухарка принялась за освидѣтельствованіе, такъ какъ Анна Павловна считала бы это занятіе не под-

ходящимъ. Оказалось, что подкидышъ женскаго пола, ребенокъ чрезвычайно прочный, здоровый.

Дитя, должно быть, отойдя съ холода въ теплѣ комнаты, перестало кричать и, раскрывъ свои большіе, голубые глазенки, поводило ими.

— Нѣтъ ли какой бумаги при немъ, письма, что ли?

Ничего не оказалось.

— Что же? въ воспитательный его,—проговорилъ Сергѣй Павловичъ.

— Я тоже думаю,—замѣтила Анна Павловна.

— Ну, ночь-то переждемъ, завтра свеземъ,—добавила кухарка.

Ухмылялся и молчалъ одинъ только Иванъ.

Сильный звонокъ въ прихожей нарушилъ молчаніе. Такъ сильно звонилъ только Иванъ Федоровичъ, и дѣйствительно, это былъ онъ.

— Ребенокъ гдѣ? гдѣ ребенокъ?—проговорилъ онъ скороговоркою, входя въ столовую.

Ребенокъ былъ налицо.

— Какой ребенокъ? ты почему знаешь?—спросилъ его хозяинъ.

— Смотрите! читайте.

Онъ подалъ письмо.

Анна Павловна прочла его. Въ письмѣ сообщалось, что ровно въ десять часовъ вечера, въ кухнѣ брата его будетъ подкинутъ ребенокъ, дѣвочка Ольга, что просятъ принять ребенка и, вѣря въ доброе рѣшеніе—благодарять.

Переглянулись. Прочелъ письмо и Сергѣй Павловичъ.

— Ну-съ! Что же? Поздравляю!—заговорилъ Иванъ Федоровичъ:—вотъ и не бездѣтный домъ.

— Не вы ли это, cher cousin, пошутили?—проговорила Анна Павловна.

— Hein!! comment?—почти вскрикнулъ Иванъ Федоровичъ.

Сергѣй Павловичъ искренно разсмѣялся. Участіе въ этомъ смѣхѣ приняли Иванъ и кухарка, сообразивъ, вѣроятно, о чемъ шла рѣчь.

— Однако, пока что,—замѣтила Трилонова:—дѣвочка съ голоду умереть. Молока бы ей?

— Сахарной воды!—возразилъ Сергѣй Павловичъ.

— А вы это гдѣ о сахарной водѣ уроки брали, мой милый?—кокетливо замѣтила мужу Анна Павловна.

Опять общая улыбка.

Ребенокъ съ первыхъ же минутъ своего присутствія принесъ, слѣдовательно, съ собою множество неожиданныхъ улыбокъ, расшевелилъ, встряхнулъ прилично-скучное однообразіе, наполнявшееся звуками арфы и строками газетъ.

— А ты чай пилъ?—спросилъ брата Сергѣй Павловичъ, когда всѣ втроемъ направились въ другія комнаты.

О ребенкѣ никакого распоряженія не сдѣлали. Это, будто, само собою разумѣлось, что его унесутъ въ кухню, и его дѣйствительно унесли.

— Сходи-ка, Иванычъ,—говорила кухарка мужу:—къ Филимонихѣ. Она объявилась, что въ кормилицы идти хочетъ; такъ не прикормить ли, до утра, двухъ?

— Ладно.

И Иванычъ побѣждалъ во второй дворъ, въ третій этажъ къ Филимонихѣ, и она согласилась.

Отнеся къ ней ребенка и уложивъ господъ спать, лакей съ кухаркою толковали далеко за полночь и съ общаго согласія порѣшили, если господа позволяютъ, ребенка принять.

Богъ велѣлъ! Господа позволили.



## III.

Чрезвычайно скоро растетъ молодое и старое старится.

Прошло пятнадцать лѣтъ. Дѣвочка-подкидышъ, принятая на кухню, начала мало-по-малу переходить на господскую половину.

Прежде всего полюбилась она Сергѣю Павловичу, потомъ Аннѣ Павловнѣ, а, наконецъ, когда на двѣнадцатомъ году отъ роду она стала разливать чай, подносить сигарки, спички и пепельницы, сообщать свои наблюденія по пансіону (одному изъ лучшихъ въ столицѣ), наблюденія, не лишеныя юмора,—полюбилась она и Ивану Федоровичу. Его она звала дядей, Анну Павловну—мамашей, а Трилонова—папочкой.

Дѣвочка Оля была дѣйствительно умницею, и прехорошенькою умницею, такъ что родные и знакомые нисколько не удивились, когда должнымъ порядкомъ была она усыновлена и стала *de jure* наследницею Трилоновыхъ.

Все, все позволялось Олѣ, и она была маленькимъ деспотомъ барскаго дома, деспотомъ самымъ милымъ.

Дѣвушкѣ минуло шестнадцать лѣтъ; пришлось одѣть ей длинное платье и измѣнить прическу.

— Мама,—говорила она Аннѣ Петровнѣ:—сдѣлай ты мнѣ первое платье темно-пунцовое;—это твой любимый цвѣтъ; это такой красивый цвѣтъ.

— Ни за что! точно два кардинала войдемъ мы съ тобой въ залу, дѣлая визитъ; это будетъ смѣшно. Точно будто мы, для дешевизны, одинъ кусокъ матеріи на платье купили.

— Ну, а причешусь я, какъ ты?

— И это будетъ некрасиво; въ мои годы идетъ, въ твои нѣтъ, чесаться такимъ образомъ и зачѣмъ повторяться.

Ни пунцового цвѣта, ни однообразной прически допущено не было.

Начались выѣзды, порханіе по вечерамъ, обѣдамъ, пикникамъ. Завертѣлись вечерними мошками женихи—невѣста была богатая. Оля дѣлала, что хотѣла съ ними: трунила, печалила, водила за носъ; все это ей очень нравилось, и всѣ особенности салонной женщины разворачивались въ ней чрезвычайно быстро.

Тутъ совершенно некстати вмѣшалась смерть. Первымъ умеръ Сергѣй Павловичъ, а полгода спустя и Анна Павловна. Это очищеніе мѣста въ жизни совершается быстро. Иногда цѣлую семью точно помеломъ вымететь.

Оля, къ тому времени Ольга Сергѣевна, это отчество было дано ей по упрямому настоянію Ивана Федоровича, переселилась къ нему, согласно желанію покойницы матери, изъявленному ею при смерти; Иванъ Федоровичъ, года за два до того, тоже женился; онъ же былъ назначенъ опекуномъ. Оля быстро приновилась къ порядкамъ своей новой семьи.

Наступило 11 іюля, Ольгинъ день.

Жили они на Каменномъ островѣ, въ большой дачѣ съ колоннами, куда и направились къ пяти часамъ пополудни многіе гости, званные на обѣдъ. Жена Ивана Федоровича и Оля одѣвались къ обѣду и еще не выходили. Иванъ Федоровичъ пошелъ позвать Олю. Онъ отворилъ дверь въ комнату дѣвушки.

Ему пришлось попытаться передъ воплощеніемъ своего собственнаго воспоминанія, передъ возникновеніемъ своихъ былыхъ хорошихъ дней. Въ пунцовомъ платьѣ, воспроизводя съ точностью изумительною прическу покойной Анны Павловны, стройная, красивая, вылитымъ портретомъ своей матери, какою была въ дѣйствительности покойная Анна Павловна, стояла она передъ нимъ, передъ дѣйстви-

тельнымъ фактическимъ отцомъ, улыбающаяся, сіяющая. Для довершенія обмана высилась сзади ея старая кухарка, та самая, что жила у Трилоновыхъ и готовила въ завѣтный далекій вечеръ хвостатыя кнели.

Ивану Федоровичу нужно было много силы воли и сдержанности, чтобы совладать съ собою.

— Похожа я на мамашу?—спросила его Оля, весело улыбаясь.

— И какъ еще похожа,—отвѣтилъ Иванъ Федоровичъ,—какъ похожа! Иди, однако, тебя тамъ ждутъ.

Оля ушла. Иванъ Федоровичъ пошелъ за нею.

— Да, была, когда-то, моя покойная Анна Павловна хорошо подготовлена къ исполненію той роли, которая называется жизнью,—думалъ Иванъ Федоровичъ.—Ничѣмъ не нарушила она приличія ея исполненія. Дурно ли это? Она никого не сдѣлала несчастнымъ, потому только, что изумительно лгала; напротивъ того: этою ложью она сдѣлала столько счастливыхъ! Счастье отъ лжи!? Значить: хороши тѣ условія жизни, которыя поощряютъ ложь, потому что ложью получается счастье? Но счастье ли это? Несомнѣнно, что я счастливъ только ложью! А если Оля будетъ такая же и съ такимъ же ложно обусловленнымъ счастьемъ?..

Вернувшись въ столовую, Иванъ Федоровичъ странно взглянулъ на жену, потомъ на Олю и цѣлый вечеръ чувствовалъ себя во власти какихъ-то новыхъ, неизвѣстно откуда набѣжавшихъ мыслей, не имѣвшихъ и, можетъ быть, не могущихъ имѣть разрѣшенія.



## ИЗЪ ЧУЖОГО ДНЕВНИКА.

---

Ялта. 4-го іюня 187\* года.

Въ одну изъ моихъ поѣздокъ по Черному морю довелось мнѣ слышать и видѣть такую странную женщину, какой, конечно, не встрѣчу въ другой разъ. Я не сказалъ — русскую женщину, потому что личность, глубоко поразившая меня, хотя и говорила по-русски совершенно правильно и красиво, какъ можно говорить только на родномъ языкѣ, была представительницею тѣхъ этнографическихъ сомнительностей, которыми изобилуетъ югъ Россіи. Она была не то гречанка, не то грузинка, молдаванка, можетъ быть, даже еврейка, одна изъ позднихъ представительницъ рода, произведшаго Рахиль, Агарь, Сарру и Ревекку.

Пароходъ русскаго общества, — имени котораго, т. е. парохода, не запомню, — везшій насъ изъ Одессы въ Севастополь и дальше, былъ, благодаря раннему времени года, почти пустъ. Особенно мало оказалось пассажировъ перваго класса, и маленькія каюты, обыкновенно разбираемыя на расхватъ, оставались незанятыми. У нѣкоторыхъ, если не у всѣхъ, изъ этихъ каютъ дверей не было вовсе; ихъ замѣняли

темныя занавѣски изъ какой-то нетяжелой шерстяной матеріи, свободно качавшіяся по вѣтру и рѣшительно не допускавшія возможности считать себя въ каютѣ скрытымъ отъ глазъ и слуха проходившихъ мимо людей.

Пароходъ вышелъ въ море часу въ четвертомъ послѣ полудня. Немедленно вслѣдъ за выходомъ изъ гавани, капитанъ, мой знакомый, позвалъ меня въ свою каюту на партію винта. Мы играли до полуночи.

— А что,—спросилъ меня капитанъ, расплачиваясь со мною:—видѣли вы, какую мы красавицу веземъ?

— Нѣтъ,—отвѣтилъ я:—я никого не примѣтилъ.

— Напрасно, стоитъ того.

— Завтра увижу.

— Смотрите, не влюбитесь. Она одна, а одинокая женщина въ дорогѣ, знаете... того...

— Увидимъ, увидимъ,—отвѣтилъ я и, пожавъ капитану руку, отправился спать.

Почему это, думалось мнѣ, капитанъ сдѣлалъ сообщеніе о красавицѣ именно мнѣ?.. Я и не сообщилъ, что являлся единственнымъ на пароходѣ, благодаря недостатку пассажировъ, лицомъ, которому можно было сдѣлать это сообщеніе съ намекомъ, если не считать толстогубаго симферопольскаго муллы, да двухъ профессоровъ новороссійскаго университета, ѣхавшихъ въ Керчь изслѣдовать впервые разрытый курганъ; имѣлся на пароходѣ и еще одинъ пассажиръ перваго класса, но больной, который какъ пріѣхалъ, такъ и не выходилъ изъ каюты.

Ночь была превосходная. Море, надъ которымъ раскинулось темное, усыянное звѣздами небо, дышало тѣмъ ровнымъ дыханіемъ, когда пологія и мѣрныя волны, не пѣнясь, не взламывая блестящей поверхности его, идутъ спокойными грядами и не заливаютъ полость, оставляемыхъ пароходомъ; прой-

денный нами путь обозначался далеко позади двумя темными полосами, будто сматывавшимися съ могучихъ колесъ парохода и расходившимися подъ острымъ угломъ въ безконечность.

Я сошелъ въ каюту, заранѣе указанную мнѣ капитаномъ, и, не раздѣваясь, растянулся въ койкѣ. Блаженный сонъ не замедлилъ явиться ко мнѣ на зовъ и завѣситъ отъ меня одинъ изъ многихъ нелюбопытныхъ и безцѣльныхъ дней моей скитальческой жизни,—завѣситъ лучше и полнѣе, чѣмъ это дѣлала качавшаяся шерстяная занавѣска моей каюты относительно моей особы. Начиналось легкое волненіе, и я, засыпая, наблюдалъ, какъ то ушिरялись, то сѣуживались просвѣты между занавѣскою и стойками, вдоль которыхъ она качалась.

Должно быть, я проснулся очень рано: на палубѣ мыли лавки и ерзали по всѣмъ направленіямъ веревочными швабрами. Это совершалось надо мною, но и подлѣ меня было не совсѣмъ тихо: каюты черезъ двѣ отъ меня шель оживленный разговоръ.

— Забавный вы человѣкъ, Игнатъ Федоровичъ,—говорила женщина.

Я даже вздрогнулъ при этихъ словахъ и, Богъ вѣсть почему, сразу сообразилъ, понялъ и счелъ доказаннымъ, что это голосъ той красавицы, о которой говорилъ мнѣ капитанъ. Въ этомъ голосѣ слышались какія-то немного мужественныя ноты альт-ваго діапазона, выступавшія еще рельефнѣе, благодаря мягкому тенору Игната Федоровича.

— Вы совсѣмъ лишній на этомъ пароходѣ,—говорилъ женскій голосъ.—Къ чему, зачѣмъ вы поѣхали?

— Какъ къ чему?—отвѣчалъ теноръ.

— Да вѣдь я васъ просила не слѣдовать за мною и, по правдѣ сказать, я подумала, что вы дѣйствительно порядочный человѣкъ: когда мы выѣхали изъ Одессы, я искала васъ между путешественниками и

не замѣтила, но я ошиблась. И гдѣ же это вы: въ трюмѣ, въ машинѣ или съ багажемъ помѣстились при отъѣздѣ?

— Странная вы женщина, Натали! неужели же могъ я удержаться и не слѣдовать за вами? Неужели мало доказательствъ имѣете вы тому, что я безъ васъ жить не могу... Слушайте: я все сдѣлаю, я на все готовъ. Я, я... брошу службу... продамъ имѣніе, поѣдемъ, куда хотите, хоть въ Австралію.

— Не хочу.

— И неужели же никакое воспоминаніе не шевелится въ васъ?.. и ни одна изъ бывшихъ минутъ не воспоминается?

— Отчего же: вспоминаются, но ихъ довольно съ меня!

— Да вотъ хоть бы эта записка, посмотрите. Вѣдь всего три недѣли, какъ вы писали ее. Вы даже бумагу съ вензелемъ вашего мужа взяли. Ну, что, если бы она мужу въ руки попала? Возьмите ее!

— Ахъ, какой благородный порывъ; не заслуга ли ваша въ этомъ? Полноте! Я, разрывая наши отношенія, цѣлый корабль ко дну пускаю, а вы на немъ въ мышеловку мышенка поймали и этимъ потѣшаетесь, себѣ въ заслугу ставите. Берегите мое письмо, мнѣ его совсѣмъ не надо. Спрячьте бумагу съ вензелемъ. Вѣдь я не боюсь своихъ записокъ. Когданибудь она займетъ васъ, посмѣйтесь, съ друзьями посмѣйтесь.

— Но если бы въ самомъ дѣлѣ она была прочтена кѣмънибудь?

— Ну, такъ что же?

— Какъ такъ—что же?

Разговоръ становился очень любопытнымъ, несмотря на то, что я началъ слушать его отнюдь не съ самаго начала, отъ вступительныхъ словъ, а съ

весьма сильного fortissimo. Было крайне назидательно узнать, куда онъ пойдетъ дальше.

Мелькнула, правда, у меня въ головѣ мысль, что подслушивать не годится, но мысль эта была тотчасъ же осилена другою, весьма вѣрною мыслью, что въ данномъ случаѣ вовсе и не рассчитываютъ на чужую скромность: если своей скромности нѣтъ, такъ зачѣмъ же мнѣ-то, постороннему, думать о ней?..

Я продолжалъ слушать и притаился.

— Натали,—говорилъ мужчина:—подумайте, на что вы идете, что ждетъ васъ? вы играете съ огнемъ; ваше имя, ваше положеніе въ обществѣ — неужели все это ничего не стоитъ, ничего?..

— Игнатъ Федоровичъ начинаетъ говорить языкомъ прописей или нравственного богословія. Неужели вы не понимаете, что я уѣхала изъ Одессы, чтобъ отъ васъ отдѣлаться?.. Вы видите, слѣдовательно, что я берегу свое имя, а вы мнѣ мѣшаете это дѣлать.

— Вы любите когонибудь другого?

— Мнѣ кажется, что нѣтъ... а, впрочемъ, ей Богу, не знаю! Можетъ быть, я влюблена въ того господина,—говорила женщина: — что ѣдетъ съ нами, въ сѣромъ пиджакѣ, въ очкахъ и вѣчно курить отвратительную сигару.

Господинъ, въ сѣромъ пиджакѣ, очкахъ и вѣчно курящій отвратительную сигару, былъ я. Я невольно посмотрѣлъ на свое платье, вспомнилъ о сигарѣ, но закурить ее боялся, рассчитывая, что спички мои, зажигавшіяся съ трескомъ, помѣшаютъ дальнѣйшему разговору. Но продолжать слушать разговоръ, такъ казалось мнѣ, получилъ я неотъемлемое право.

Я былъ даже нѣкоторымъ образомъ польщенъ, думалось мнѣ: на меня обратили вниманіе.

Послѣ нѣкотораго молчанія, во время котораго господинъ, вѣроятно, покачивалъ головою или гля-



дѣлъ на носки своихъ сапоговъ, онъ снова заговорилъ.

— Да,—сказалъ онъ:—много слышалъ я о васъ, Натали, много... молдаванки, да и, вообще, Одесса...

— Вы не слыхали и половины.

— Натали! и вы говорите это мнѣ въ глаза, мнѣ, любящему васъ до безумія.

— Вы для меня шутка, имѣвшая тоже свое время и мѣсто, а теперь...

— Но вѣдь и шутка значить же что нибудь.

— Да, въ свое время.

— Но вѣдь мужчина же я, наконецъ?—проговорилъ теноръ, способный, такъ чудилось мнѣ по голосу, предпринять что либо рѣшительное.

— Мужчина?!—возразила невѣдомая мнѣ собесѣдница:—вы мужчина?! вы?!.. и она захохотала. — Можетъ быть, мужчины гдѣ нибудь и есть на свѣтѣ,—проговорила она:—но только не у насъ, не въ Россіи! О, еслибъ я могла найти мужчину!.. еслибъ меня мужчины брали, а не я мужчинъ брала!.. если бы я встрѣтила характеръ, способный сломить мой капризъ... Я не знаю, что было бы тогда, я не знаю... да и возможности этого я не предвижу.

— Странная мысль! Зачѣмъ же вамъ непременно быть сломанною? Развѣ невозможно жить иначе, въ тишинѣ, довольствѣ, спокойствіи?

— Я умру тогда отъ зѣвоты. Вы на меня и теперь, утромъ, сонъ навѣваете. Послушайте, Игнатъ Федоровичъ: мы будемъ скоро въ Евпаторіи, а тамъ и Севастополь; сойдете съ парохода въ Севастополь вы—я поѣду дальше; хотите, я сойду—и тогда вы ѣзжайте. Я не желаю ѣхать съ вами.

— А я не могу разстаться. Вы и не подозреваете, какъ сильно...

— Но я и не хочу ничего подозревать.

— Безъ васъ остаться, одному!.. я не разстанусь съ вами.

— Ни за что?

— Ни за что.

— Ну, такъ вотъ вамъ мое рѣшеніе,—отвѣтила женщина:—я высаживаюсь въ Севастополѣ.

— И я тоже сойду!

— Вотъ будетъ карикатура!

— Нѣтъ, не то,—быстро проговорилъ Игнатъ Федоровичъ, какъ бы спохватившись: — не то, что я тоже сойду, а вы не сойдете съ парохода!

— Я не сойду съ парохода?—отчеканила женщина каждое слово въ отдѣльности.

— Да! Не шутите, Натали! вѣдь я безъ васъ жить не могу, а вамъ умирать рано...

— Я сказала, что схожу въ Севастополѣ, Игнатъ Федоровичъ, такъ и сдѣлаю.

— Вы не сойдете!

— Сойду!

Прослушавъ все, что было говорено, я находился въ крайне затруднительномъ положеніи. Я не могъ сомнѣваться въ томъ, что въ очень скоромъ времени тутъ можетъ совершиться какая-то уголовная исторія. Я бы солгалъ, сказавъ, что мнѣ было только любопытно знать, чѣмъ все это кончится, что мнѣ любопытно было взглянуть на обоихъ, на Натали и Игната Федоровича, которыхъ я въ глаза не видалъ и о которыхъ зналъ такъ много, по ихъ собственнымъ словамъ, нѣтъ, во мнѣ говорило не одно любопытство. Предупредить бы какъ нибудь, помочь, отклонить хотѣлось. Но какъ, на какомъ основаніи, по какому праву, и что предупредить? и съ чего я взять?

Я долженъ былъ сойти въ Евпаторію и, слѣдовательно, того, чѣмъ исторія кончится, не увижу, не узнаю. Я думалъ даже, что она, можетъ быть, не

кончится ничѣмъ; но когда, уже въ виду Евпаторіи и ея безконечно плоскаго берега, я, проходя на палубу, чтобы справиться насчетъ вещей, заглянулъ, совершенно случайно, въ одну изъ каютъ, завѣшенныхъ, какъ и моя, полусквозною занавѣскою, то увидѣлъ пассажира, молодого человѣка, стоявшаго надъ раскрытымъ чемоданомъ и державшаго въ рукахъ револьверъ. Какъ ни быстро мелькнула предо мною щель занавѣски, но впечатлѣніе на меня произведено было полное: это былъ, несомнѣнно, Игнатъ Федоровичъ, и я видѣлъ тотъ способъ, какимъ онъ думалъ помѣшать Натали сойти съ парохода въ Севастополь.

«Ну, теперь,—такъ думалось мнѣ: — я не смѣю болѣе молчать, я долженъ сказать... Но кому?.. ей? капитану? можетъ быть, самому Игнату Федоровичу? Однако, какъ это все глупо, Боже мой, какъ глупо! И что же я скажу, однако? Что видѣлъ револьверъ... да мало ли у кого есть револьверъ? Что я слышалъ утренній разговоръ... но вѣдь это—подслушиваніе... Да и во имя чего я вмѣшаюсь, дурака разыграю? нѣтъ, нѣтъ, не надо!..

И едва только вышелъ я на палубу, какъ увидѣлъ и иллюстрацію къ тексту—ее: она только что приказала что-то матросу. Капитанъ былъ въ это время уже на мостикѣ и, поздоровавшись съ мною, сдѣлалъ мнѣ знакъ рукой, чтобы я обратилъ вниманіе на Натали. Она была дѣйствительно красавица. Черный зонтикъ, съ ярко-красною шелковою подкладкою отгнѣнялъ подъ собою одну изъ роскошнѣйшихъ представительницъ молдаво-валахской расы. Въ ослѣпительномъ блескѣ утренняго солнца, моря, облаковъ, на свѣтлыхъ тонахъ окраски недавно подновленнаго къ лѣтнимъ рейсамъ парохода, Натали поражала бархатною чернотою своихъ очертаній: чернымъ платьемъ, черными кружевами, черными

очами подъ длинными рѣсницами, лицомъ удивительной молочной бѣлизны и блѣдно-розовыми губами. По всей внѣшности своей, она была безупречна, восхитительна, но въ ушахъ моихъ такъ и звучали рѣзкія слова ея:—«Я цѣлый корабль ко дну пускаю, а вы на немъ мышенка въ мышеловку поймали и этимъ потѣшаетесь, да еще себѣ въ заслугу ставите...» Да ужъ не ловлю ли мышенка и я? думалось мнѣ. Въ концѣ концовъ, хорошо, что я уѣзжаю, и Богъ съ ними, съ обоими.

Тѣмъ временемъ пароходъ остановился. Такъ какъ пассажировъ, прибывшихъ на пароходъ съ берега, было немного, а высаживался, кажется, только я одинъ, да и грузовъ почти не имѣлось, то якоря не бросали. Нашъ пароходъ, выпуская паръ, слегка покачивался, окруженный лодочками, прибывшими изъ Евпаторіи. Не теряя времени, я подошелъ къ капитану проститься съ нимъ.

— Ну, что, хороша?—спросилъ онъ вполголоса.

— Прелестна!

— Она сходить съ вами вмѣстѣ въ Евпаторію. Поздравляю!

— Какъ въ Евпаторію?

— Да, да, только что распорядилась. Вонъ ея вещи.

Совершенно невольно оглядѣлъ я палубу, мостикъ, рубку; подлѣ спущеннаго трапа суетились съ кладью матросы; на мостикѣ, опираясь на перила, глазѣли на съѣзжавшихъ мулла и оба профессора; подлѣ самаго сходня стояла Натали—и почти рядомъ съ нею, сунувъ руку за бортъ сюртука, Игнатъ Федоровичъ.

Я и до сихъ поръ ясно помню странное, немного какъ бы глупое выраженіе его молодого, красиваго лица, и эту руку, сунутую за бортъ сюртука; но не менѣе ясно помню я и другую мысль, вполне овладѣвшую тогда мною, а именно вопросъ: спустаться

мнѣ въ лодку передъ Натали, или послѣ нея? И такъ дурно будетъ, и такъ нехорошо, въ случаѣ выстрѣла? но все-таки лучше спуститься впередъ... и, повинаясь этому послѣднему рѣшенію, я подошелъ къ трапу и сталъ на первую ступеньку. Такъ какъ зыбъ была довольно сильна, и подведенная къ трапу лодка то поднималась, то опускалась, по крайней мѣрѣ, на аршинъ, то сойти въ нее надо было осторожно, не иначе, какъ уловивъ мгновеніе и, во всякомъ случаѣ, не разъ опуская глаза. Я такъ и сбѣлалъ.

Едва только почувствовалъ я себя на ногахъ въ лодкѣ, какъ раздался, почти надъ самымъ ухомъ моимъ, знакомый мнѣ голосъ альтоваго діапазона.

— Позвольте мнѣ вашу руку,—говорила Натали, обращаясь ко мнѣ, протягивая свою руку и держась другою за веревку трапа.

Я немедленно исполнилъ ея желаніе, и такъ какъ, повидимому, она гимнастическими упражненіями не занималась, подъема волны не рассчитала, и, кромѣ того, вѣроятно, ботинки ея отличались тоненькими каблучками, то и рухнула она ко мнѣ на грудь всею своею тяжестью, причемъ покачнула и меня, и лодку.

«Вотъ такъ цѣль для выстрѣла!» мелькнуло у меня въ головѣ, и я совершенно машинально взглянулъ на только-что оставленную мною палубу.

На томъ мѣстѣ, гдѣ высилась фигура Игната Федоровича, находился капитанъ, спустившійся съ мостика, чтобы проститься со мною еще разъ.

— Счастливаго вамъ пути!—говорилъ онъ, не безъ ехидства.

Игнатъ Федоровичъ тѣмъ временемъ карабкался по крутой лѣстницѣ на мостикъ, и такъ какъ ему для этого нужны были обѣ руки, то онъ правой руки за пазухою не держалъ.

Никакого выстрѣла не послѣдовало, а Натали съ парохода дѣйствительно сошла, но только не въ Севастополѣ, а въ Евпаторіи.

Или Игнатъ Федоровичъ револьвера не зарядилъ, или раздумалъ?

Теперь мы оба, Натали и я, въ Ялтѣ, и нельзя сказать, чтобы съ нею было скучно.





# МУРМАНСКІЕ ОЧЕРКИ.





## МОЛЕНЬЕ ВѢТРУ.

---

### I.

Въ мрачной, молчаливой необъятности осенней ночи сѣвернаго поморья тонкою, желтенькою полоскою только что обозначился востокъ. Полоска свѣта все росла, удлинялась, становилась лентою, все краснѣе, выше и шире и по мѣрѣ того, какъ заревой свѣтъ отвоевывалъ себѣ въ небѣ все большую и большую площадь, отвѣсныя скалы мурманскаго берега, на ихъ тысячеверстномъ протяженіи отъ Норвегіи до Святаго Носа и дальше, въ глубь Бѣлаго моря, по его западной окраинѣ, проступали все яснѣе и яснѣе. Скалы тоже тянулись лентою, но только темною, каменною, неподвижною, тогда какъ небесная заря противопоставляла имъ ленту свѣта не неподвижную, живую, быстро ушिरывшуюся, какъ бы кѣмъ-то рисуемую; она, эта лента зари, могла бы на этотъ разъ, какъ это здѣсь часто бываетъ, и вовсе не появляться, если бы не случилось на небѣ, со стороны востока, прогалины въ тучахъ.

При первомъ зарожденіи дневного свѣта встрепенулся на мурманскомъ побережьи прежде всего его

пернатый міръ. Закричали неисчислимые чайки, ггары, утки, нырки, лебеди и буревѣстники и, слетая одни за другими міриадами, словно свѣваемые вѣтромъ, со всѣхъ выступовъ, изо всѣхъ щелей прибрежныхъ гранитовъ, налегли, каждая птица по-своему, на воду. Одни изъ нихъ потянули стремглавъ въ прояснявшуюся даль, другіе закружились широкими кольцами на мѣстѣ, третьи, то взвиваясь отвѣсно, то перепархивая на недалекія разстоянія, толпились вдоль ближнихъ утесовъ, не отваживаясь далѣе, четвертые сѣли на воду, а тяжелый глупышъ только слетѣлъ со скалы на ближній песокъ побережья и снова сѣлъ и будто уснулъ. Во всѣхъ сказались особые характеры.

Осенній день воцарялся.

Но еще раньше пернатыхъ проснулись женщины по очень немногочисленнымъ прибрежнымъ деревнямъ и поселкамъ кандалакскаго побережья; только этого не было такъ замѣтно потому, что женщины закопошились въ домахъ своихъ. Закопошились онѣ потому, что эти дни поздней осени—важные для нихъ дни, а именно: возвращались къ нимъ одни за другими поморы съ дальнихъ промысловъ,—мужья, отцы, дяди, сыновья и братья. И это было не простое возвращеніе послѣ разлуки, длившейся все лѣто,—нѣтъ, это было возвращеніе, полное самыхъ трепетныхъ, самыхъ потрясающихъ неожиданностей. На безконечныхъ протяженіяхъ тѣхъ мѣстъ нѣтъ ни торныхъ путей, ни обыкновенной почты, ни телеграфовъ, и вѣсть о гибели того или другого суденышка, того или другого человѣка можетъ не придти къ его семейству до самой зимы. Съ подобными условіями возвращенія «своихъ» людей «баломонить»—шутить, «басалаить»—повѣсничать—не приходится, и вотъ почему всѣ домашнія хозяйства или, по здѣшнему, «обрядни», въ лицѣ ихъ хозяекъ за-

шевелились раннимъ-рано, ранѣ пернатыхъ просыпавшагося поморья.

По мѣрѣ того, какъ проникалась свѣтомъ темень ночи, меркли огоньки въ окнахъ селенія, ясно обозначавшіе въ ночи его широкое протяженіе вдоль берега.

Проснулась раньше другихъ, а то, пожалуй, и совсѣмъ не спала—Марѳа, бездѣтная жена помора Еремы, баба молодая и красивая. Вотъ уже пятую осень встрѣчаетъ она, вмѣстѣ съ другими женщинами, возвращающихся; никогда не встрѣчала она Ерему съ радостью, какъ-то встрѣтитъ она его теперь, когда полюбила другого?

Да и какъ не любить этого другого? И другія его любятъ. Когда онъ, этотъ другой, Петръ по имени, раннею весною захилѣлъ въ лютой болѣзни, такъ что не только на промыселъ выйти не могъ, но всему поселку «блазнило» — мерещилось, что смерть его возьметъ, у дѣвокъ только и рѣчи было, что о немъ. Возвратилось, наконецъ, здоровье, но Петру нечего было и думать идти на дальніе промыслы; гдѣ за ними угонишься, когда промышленниковъ уже съ апрѣля мѣсяца по океану разбросало? Оставалось Петру одно—береговая ловля; выходилъ онъ въ море недалеко, по сосѣдству, много разъ возвращался и опять уходилъ, а одна изъ дѣвушекъ, Агафья, та всегда его раньше другихъ встрѣтитъ, да и смотритъ, смотритъ, глазъ съ него не сводитъ, а когда удастся, такъ и ласковымъ словомъ подарить.

Не слушаетъ Петръ этихъ словъ Агафьи, не хочетъ видѣть этихъ взглядовъ ея, потому что всѣ его помышленія къ бѣдной Марѣ ластятся, будто струи морскія берегъ облюбовываютъ и то лазурью отливаютъ, когда тихо, то пѣнистымъ буруномъ бьютъ, если мысль о суровомъ мужѣ ея къ другимъ мыслямъ примѣшается.

А возвратится Ерема, пожалуй, не позже какъ сегодня. Что-то будетъ? Что-то случится?

Еще вчера рѣшено было бабами, что, для обезпеченія благополучнаго возвращенія промышленниковъ, нужно имъ «вѣтеръ молить», потому что за послѣднее время дуетъ онъ все не оттуда, откуда желательно; съ сѣвера бы ему холодомъ дохнуть и пригнать шняки поморскія къ пристанямъ, а онъ, то-и-дѣло, по звѣздѣ кругомъ ходить, никакой прочности нѣтъ въ немъ.

Посвоему ожидаетъ возвращенія мужа Марѳа.

Поморскій домъ—двухъ-этажный, деревянный и по внѣшности своей, по бѣлымъ занавѣскамъ у оконъ, по окладамъ образовъ, по мебели и, въ особенности по дивану съ деревянною спинкою и ручками, Богъ вѣсть откуда сюда попадающему, но обязательному въ мало-мальски достаточномъ хозяйствѣ, всегда почти обманываетъ въ мысли о достаткѣ хозяина. Хозяинъ всегда бѣднѣе, чѣмъ можно судить по обстановкѣ, и въ особенности, по одѣяніямъ женской половины семьи.

Много и у Марѳы жемчуговъ на кокошникахъ; хороши ея сарафаны изъ тяжелыхъ шелковыхъ тканыхъ матерій, прошитые золотою и серебряною нитью, сложенные одинъ на другомъ въ длинномъ, зеленомъ, разными фигурками украшенномъ, сундукѣ. Круглая, пузырчатая, финифтяная пуговицы одного изъ сарафановъ, несомнѣнно старо-венеціанской работы, торговалъ, какъ-то, баринъ-англичанинъ, приѣзжающій сюда чуть не ежегодно на рыбную ловлю, но Марѳа ихъ не продала. Сундукъ съ сарафанами такая же необходимая принадлежность въ достаточномъ поморскомъ домѣ, какъ диванъ, самоваръ и занавѣски.

Еще недавно перебирала Марѳа сарафаны, одѣвала ихъ и становилась передъ зеркаломъ, одна-

одинехонька. Какъ ни плохо было зеркало нижегородской работы, съ неподвижною рябью по стеклу, но все-таки оно служило, и Марѳа, невольно поглядывая на себя, думала:

— Пригожа, нечего сказать, пригожа! но вѣдь и Агафья тоже пригожа! ея темныя, хитрыя очи лучше, видно, моихъ, сѣрыхъ... Злая она дѣвка, ехидная, но зато въ себѣ совсѣмъ свободна... а я! я нѣтъ.

И вились черныя мысли въ головѣ Марѳы, и все ей казалось, что, вѣдь, можетъ же лгать и Петръ, что если онъ ей теплое слово говорить, цѣлуя—такъ это только для отвода... умнѣй ея Агафья! «скви-лить»—насмѣхаться—мастерица, и это Марѳа очень хорошо знаетъ. И какъ это Агафья ей насмѣшливо вчера вечеромъ сказала:

— А вѣтеръ молить придешь, Марѳушенька?

— Приду,—отвѣтила ей сквозь зубы Марѳа, и защемило ея сердце, защемило глубоко. И не надо было ей быть такой смущенной...

Теперь, при близости возвращенія, тяжесть налегла на душу еще сильнѣе; Марѳа вовсе не ложилась спать. Такъ темна и непроглядна была эта завершающаяся ночь! а что же будетъ въ долгое зимнее время, когда эта ночь потянется цѣлыхъ три мѣсяца и все надо будетъ быть съ нимъ, съ этимъ суровымъ Еремой, тутъ, въ этомъ домѣ, съ глазу на глазъ. Порою, правда, соберутся люди на вечерницу, пѣсни будутъ пѣть, плясать, но вѣдь потомъ еще хуже, опять всѣ по домамъ разойдутся, и опять Ерема съ ней, опять безконечная ночь! вся жизнь сосредоточится въ стѣнахъ немилаго дома, потому что въ глубокую темень трехъ мѣсяцевъ что же можетъ значить улица? О, какъ знакомы Марѳѣ эти скучныя стѣны! Вотъ то мѣсто на стѣнѣ, противъ кровати, гдѣ теперь виситъ мужнина шапка; какъ часто мерцала эта бѣлая стѣна полуночнымъ, розовымъ

свѣтомъ сѣвернаго сіянія и чернѣла другая его шапка—треухъ, шитый изъ оленьяго мѣха съ тремя отгибающимися на уши и на затылокъ отворотами; огромный треухъ необходимъ въ морѣ.

Приѣдетъ Ерема съ промысла, одѣнетъ снова вотъ эту шапку, а свой треухъ повѣситъ.

— Починить развѣ, посмотрѣть!—мелькнуло въ мысляхъ Марѣы, и она переставила небольшую керосиновую лампу на комодъ, подѣ шапку, сняла ее, осмотрѣла; надо чинить; отыскала она «могильникъ», кожаный игольникъ съ иглами, нитками и другими принадлежностями шитья и принялась за работу. Шьетъ, а сама все на часы поглядываетъ.

Зашипѣли часы передѣ боемъ, ударили разъ, два... стали опускаться гири. Марѣа сосчитала—пять. Она поспѣшно бросила работу, накинула душегрѣйку, платокъ на голову, погасила лампу и выбѣжала на дворъ, запереувъ за собою на замокъ двери.

— Въ послѣдній разъ! въ послѣдній! до будущаго лѣта, послѣдній разъ! а тамъ Богъ вѣсть что можетъ случиться къ тому времени...

Несмотря на глубокую тьму, Марѣа шла очень быстро вдоль хорошо знакомой ей тропинки, протоптанной между крупными булыжниками отъ дома въ заполье, отъ берега моря къ скаламъ, вдоль небольшого потока, шумѣвшаго по камнямъ особенно рѣзко въ глубокой, еще чуть тронутой утромъ ночной темнотѣ.

— Петръ уже тамъ, онъ ждетъ!—думала Марѣа и торопилась. Нѣсколько разъ споткнувшись на пути, отойдя отъ дому безъ малаго съ версту, она остановилась и прислушалась. Ей чудилось, что кто-то слѣдовалъ за нею. Нѣтъ никого! Потокъ шумѣлъ, надутый обильными дождями послѣднихъ дней, сердито и звучно; кромѣ него не было слышно ничего въ этомъ подавляющемъ царствѣ медленно

уходившей ночи; вѣтеръ, гудѣвшій съ вечера, замолкъ совсѣмъ, что бываетъ на Мурманѣ къ пере-мѣнѣ погоды, но длится очень недолго. Сердце Марѣы стучало сильно, назойливо; еще нѣсколько шаговъ, и ей предстояло свернуть съ тропинки въ скалы, къ давно знакомому мѣсту. Она опять остановилась. Желтая полоска свѣта, обозначающаяся на востокѣ, помогла ей разглядѣть хорошо извѣстныя очертанія. Вотъ налѣво, поперекъ потока, поставленъ заколъ для ловли рыбы; значитъ, надо вправо свернуть. Но кто-то идетъ сзади? Вернуться навстрѣчу къ идущему было дѣломъ одного мгновенія. Да, да, вотъ онъ, еле замѣтный надъ камнями въ мерцающемъ свѣтѣ медленно устанавливающейся зари.

— Петръ, Петръ!—быстро проговорила Марѣа и кинулась къ нему...

Но она стала лицомъ къ лицу съ Агафьей.

Ошеломленная Марѣа отшатнулась назадъ и остановилась, какъ вкопаная.

— Что-жъ? вѣтеръ молить пойдешь, али не будешь?—сказала ей, смѣясь, Агафья и покачала головою. Рѣзче всего проступали въ полутъмѣ ея красивые, бѣлые зубы, открытые улыбкою.

Марѣа схватила за сердце и ничего не отвѣтила.

— Петръ прошелъ, прошелъ! видѣла? ждешь!—смѣясь, добавила Агафья и, кивнувъ головою, быстро повернулась, захохотала и медленно пошла обратнымъ путемъ. Марѣа могла отличить только, что она, уходя, нѣсколько разъ оборачивалась и кивала головою. Въ помутившемся сознаниіи ея меньше всего чувствовалось воли. Тѣмъ не менѣе, прослѣдивъ глазами Агафью, она пошла вторично старымъ путемъ.

Вотъ опять, почти поперекъ тропинки, виднѣется загородъ закола; надо повернуть вправо, это Марѣа



какъ будто помнила. Она двигалась совершенно отуманенная; улыбка и насмѣшливый взглядъ Агафьи мерещились, «блзнили», ей въ невѣрныхъ тѣняхъ утра, мигавшихъ міриадами какихъ-то недобрыхъ, сѣрыхъ глазъ. Али не будешь? раздавалось у нея въ ушахъ; прошелъ! ждетъ! слышалось ей вмѣстѣ съ этимъ, и злобный смѣхъ раскатывался такъ звучно... ноги ея двигались сами собою, неохотно, неустойчиво; душегрѣйка, не придерживаемая руками, качалась на плечахъ и чуть-чуть отдувалась въ стороны снова поднимавшимся вѣтромъ.

— Марѳа! раздалось подлѣ нея совершенно неожиданно. Быстро охватилъ ее Петръ руками подъ исподъ душегрѣйки и страстно прижалъ къ себѣ... душегрѣйка скатилась на землю.

Марѳа—откинула назадъ голову.

— Ты слышала?—спросила она его еле внятно, оставаясь въ его рукахъ совершенно неподвижною.

— Слыхалъ! какъ не слышать? аспидъ-дѣвка...

— Что-то будетъ теперь со мною?—еще тише говорила она и припала головою на грудь помора, обезсиленная, безотвѣтная, холодная...

## II.

Часу въ десятомъ утра того же дня кипѣла на берегу моря бабья «завороха»; заворохой называютъ на Мурманѣ всякое общественное дѣло.

Собрались бабы на берегъ «молить вѣтеръ» о счастливомъ возвращеніи промышленниковъ и особенно людно стало побережье, верстахъ въ двухъ отъ поселка къ сѣверу, къ океану. Острымъ мысомъ выдавался здѣсь берегъ. Отвѣсныя утесы его, сажень въ двѣнадцать вышины, не касались непосредственно волны; между ними и волнами тянулась широкая песчаная полоса и обрамляла подножіе

черныхъ скалъ. Если на это мѣсто ударяло солнце, пески казались розовыми: если солнца не было, какъ въ день бабьей «заворохи»,—они лежали блѣдные, почти бѣлые. Всегда сумрачны и черны оставались угрюмые граниты, возвышаясь надъ песками. Полоса песку бѣлѣла подлѣ нихъ будто бѣлыя тесьмы вдоль черныхъ похоронныхъ одѣяній. На самомъ концѣ мыса нависала и самая высокая часть скалъ: остроконечная шапка гранита, когда-то расщепленная, разсѣлась на-двое и образовала два острыхъ рога, замѣтныхъ съ моря издали; на эти скалы держали обыкновенно рулевые, направляясь къ селенію, и скалы эти такъ и назывались въ народѣ рогами. Къ самому поселку, въ хорошую погоду, направлялись между мысомъ и небольшимъ безъимяннымъ островкомъ, лежавшимъ какъ разъ противъ него въ полуверстѣ разстоянія; въ дурную погоду приходилось давать большой крюкъ и подъѣзжать къ селенію съ юга, такъ какъ съ сѣверной стороны камней было видимо-невидимо, и всѣ они въ отливъ выступали, блестя на солнцѣ.

Ни одной травинки не виднѣлось далеко кругомъ, ни по песчаной полосѣ, ни по валунамъ, ни на скалахъ. Могъ быть зеленымъ цвѣтъ выкинутыхъ на песокъ водорослей, но онѣ, лишеныя воды, быстро желтѣли и облегали берегъ длинными, параллельными бугристыми грядами.

Оживленіе на побережьи было большое, но кромѣ женщинъ и дѣтей не было никого. Было холодно, почти морозно. На всѣхъ виднѣлись тулупы и душегрѣйки, на головахъ платки, а на ногахъ темнѣли высокіе, по колѣна, сапоги. Однѣ изъ женщинъ пріѣхали на лодченкахъ, къ которымъ то-и-дѣло подплывали новыя; другія прибѣжали пѣшкомъ и, собравшись въ кучки, толковали болѣе всего о предстоящемъ возвращеніи поморовъ...

— Сынь-то у меня одиночка, Власьюшка, на него вся и надѣя!—говорила сорокалѣтняя баба своимъ собесѣдницамъ:—што какъ не придетъ. Надѣсь Николѣ Морскому Богу молилась... обѣщаніе дала сюда придтись.

— По вѣрѣ, значить по своей, въ церковь не ходишь?—отвѣтила ей широкоплечая Пелагея, пятидесятилѣтняя крупная баба-раскольница:—дѣло, что въ церковь не ходишь, а сюда пришла!

— И другожды, — въ другой разъ, милости просимъ,—подтвердила другая раскольница.

Поодаль отъ разговаривавшихъ, у самого края воды, копошились въ двухъ, трехъ мѣстахъ мальчишки, камни швыряли, дрались, балясничали. Дѣвушки составили свои кружки, и одна изъ нихъ рассказывала другимъ, какъ ея дядинька съ теткой новый домъ строить хотятъ; среди нихъ виднѣлась и Агафья, то-и-дѣло поглядывавшая въ сторону къ поселку, откуда она ожидала прибытія Марѣы. По глади прибрежныхъ песковъ бѣгали взадъ и впередъ собаки. Запоздавшія лодки между тѣмъ продолжали подплывать; подходили изъ поселка, одиночками и по-парно, женщины и дѣвушки. Замѣтила Агафья, еще издали, шедшую на бабью завоуху Марѣу.

— Глянь-ко, дѣвушки, Еремина спѣсивица тоже жалуетъ,—проговорила она:—знать тоже измаялась, по мужѣ извелась...

— Мужъ мужу рознь,—возразила Агафья:—Ерема скоро и совѣмъ «залѣтень», по мѣстному старъ, станетъ...

— Широки ворота запрешь, а мірскаго ротка не забьешь, Агафьюшка! это о тебѣ люди пословицу сложили,—отвѣтила дѣвушка.—Гляди, какъ бы опосля и на тебя какой сплетки не вышло! Ссорить да мутить ты горазда!

Агафья не удостоила эти слова возраженіемъ и, взявъ подъ руки двухъ ближайшихъ къ ней товарищъ, повела ихъ въ сторону къ поселку навстрѣчу къ медленно подходившей Марѣѣ, и начала имъ свое повѣствованіе:

— Только что сбѣжала я по тропинкѣ къ заколу, — говорила она: — рано утромъ, чуть-свѣтъ, какъ, слышу, сзади меня Петръ идетъ; я, это, въ камни-то и приткнулась...

И раздавался рассказъ Агафьи навстрѣчу приближавшейся Марѣѣ, и она слышала его.

Если утромъ на ранней зарѣ спряталась Агафья отъ Петра какъ пугливая ящерица въ камни, то въ полномъ свѣтѣ дня, на людномъ берегу, навстрѣчу Марѣѣ, она не пряталась болѣе. Темные глаза ея, когда соперницы повстрѣчались, проводили Марѣю неподвижнымъ, холоднымъ взглядомъ, и всѣ три дѣвушки, шедшія подъ руки, даже уступили блѣднолицой женщинѣ дорогу. Такъ очищаютъ путь встрѣчные люди похоронному шествію...

Съ приходомъ женскаго населенія на берегъ моря продолжалось исполненіе стариннаго обряда, начатое еще наканунѣ. Къ этому же самому мѣсту ходили женщины еще вчера въ вечеру, начали молить вѣтеръ, чтобы онъ не серчалъ и «давалъ льготу» дорогимъ лѣтникамъ-промышленникамъ; вчера ночью собирались онѣ на ближайшій потокъ, послѣ заката, мыли котлы и били камнемъ или полѣномъ флюгарку, чтобы она «тянула повѣтерье»; тогда же, подъ звуки, издаваемые флюгаркою, пересчитывали онѣ поименно, кто кого вспоминалъ, но исключительно только плѣшивыхъ сельчанъ и знакомыхъ, стараясь насчитать ихъ числомъ трижды девять и отмѣчали каждого сосчитаннаго углемъ на лучинахъ; Агафья назвала Ерему. Уже въ глубокую ночь, съ этими помѣченными лучинами въ рукахъ, ходили бабы по задвор-

камъ и, переименовая добрые и недобрые вѣтры, голосили во все горло:

— Востокъ да обѣдникъ, пора потянуть, западъ да шалоникъ, пора покидать, тридевятъ плѣшей всѣ сосчитаны, пересчитаны, востокова плѣшь напередъ пошла!

И пока выкрикивали бабы эти слова, бросали онѣ лучины себѣ черезъ голову, а затѣмъ припѣвали:

— Востоку да обѣднику каши наварю и блиновъ напеку, а западу шалонику спину оголю, у востока да обѣдника жена хороша, а у запада шалоника жена померла!

Въ ту же глубокую темень предшествовавшей ночи слѣдовалъ осмотръ брошенныхъ лучинъ,—какъ которая упала? Гаданье предсказывало, что на слѣдующій день вѣтеръ будетъ съ той стороны, въ которую ложились лучины крестами. Желателенъ былъ, конечно, вѣтеръ сѣверный, пригонявшій суденышки съ моря, но не всѣ лучины общали такой вѣтеръ, и вотъ съ этими-то неподатливыми, дурными про роками предстояла своеобразная расправа.

Пелагея-раскольница явилась, какъ-бы, прирожденною распорядительницею, запѣвалою всей совершавшейся обрядности. Окинувъ взглядомъ побережье и видя, что всѣ въ сборѣ, подняла она съ земли старую флюгарку и ударила въ нее камнемъ. Рѣзкій, хриплый звукъ стараго желѣза, насквозь проржавѣвшаго, за долгіе годы, разнесся далеко по побережью, и сколько ни виднѣлось кругомъ женскихъ головъ, всѣ онѣ сразу повернулись въ сторону звука. Пелагея, ударившая всполохъ, неустанно продолжала свою музыку, и всѣ немедленно направились къ ней; женская толпа, стянувшаяся къ раскольницѣ, какъ къ центру, обступила ее плотнымъ кольцомъ, и легкій паръ отъ дыханія задымился возлѣ нея по широкому кругу. Однѣ только собаки продолжали рыс-

катъ попрежнему, и надъ всѣмъ этимъ въ полной неподвижности поднималась отвѣсная, темная скала съ ея двумя острыми рогами.

Пелагея, увидѣвъ, что всѣ собрались, положила подлѣ себя на земь флюгарку, бросила камень и стала спрашивать: у кого тѣ лучины съ собой принесены, которыя вчера на дурной вѣтеръ пали?

— Вона, во! на мою!—завопили по сторонамъ ея многія бабы и дѣвушки, и бѣлыя лучинки, просовываясь къ Пелагеѣ между платковъ и тулуповъ, замелькали въ толпѣ во многихъ мѣстахъ.

— Ну, а тараканы, дѣвушки? — спрашивала Пелагея.

— И тараканы тутъ,—раздалось съ нѣсколькихъ сторонъ одновременно.

— Сажай ихъ, дѣвушки, сажай какъ установлено,—быстро проговорила Пелагея:—а намъ тѣмъ временемъ лодки справлять!

Толпа, для приведенія въ исполненіе словъ Пелагеи, раздалась пошире, и во многихъ мѣстахъ началось оригинальное сажанье таракановъ на лучины: сдѣланы расщепы и въ каждомъ изъ нихъ, на каждой лучинкѣ, ущеplено по таракану.

— Теперь, кто готовъ, на воду, дѣтки, на воду!—кликнула Пелагея:—да смотри не мѣшкать — вода уходитъ!

Вода дѣйствительно уходила съ быстротою, замѣтною для глазъ, будто кто гналъ море прочь отъ берега; крайнія къ берегу струи воды будто слизывали пески, укатывая, унося съ собою самыя легкія песчинки. Бабы и дѣвки, съ лучинами въ рукахъ, кинулись было къ лодкамъ, торопились вскочить въ нихъ, собираясь отъѣхать отъ берега и пустить на воду лучины, чтобы «тараканы сѣверный вѣтеръ подняли», какъ вдругъ кто-то изъ оставшихся на берегу неожиданно крикнулъ:

— Наши плывутъ! наши!

Этого клика было совершенно достаточно, чтобы быстрое, суетливое движеніе на берегу обратилось мгновенно въ неподвижную живую картину. Всѣ глаза обратились къ одной сторонѣ, къ сѣверу, и острое зрѣніе поморянокъ не замедлило отличить въ указанномъ направленіи нѣсколько черныхъ точекъ. Если бы эти черныя точки, поморскія шняки, держали не на рога, не къ поселку, имъ предстояла другая путина — лѣвѣе, далѣе отъ берега; если бы это были не свои, а чужіе люди, они, въ этотъ часъ отлива, не отважились бы, для сокращенія пути, идти этимъ мѣстомъ, между темными грядами быстро обнажавшихся повсюду камней.

Дрогнули многія сердца на берегу, дрогнули неодинаково; бились, должно быть, сердца и тѣхъ, что были въ морѣ, потому что, иначе, зачѣмъ бы такая торопливость, короткій путь въ непогоду выбирать? Усиливавшійся съ сѣвера вѣтеръ убѣждалъ въ томъ, что шняки будутъ на мѣстѣ никакъ не болѣе какъ черезъ часъ. Женщинамъ предстояло немедленно отправляться въ обратный путь къ селенію, кто какъ прибылъ. Одни повскакали въ лодки и отчалили, другія пошли по пескамъ, и вся эта масса сѣрыхъ и темныхъ цвѣтовъ, всѣ эти бабы, дѣвки, мальчишки и собаки, временно оживившіе пустынное побережье, свѣялись съ него въ одну сторону, къ селенію, словно опавшіе листья, гонимые вѣтромъ по осени. Это былъ тоже своеобразный, быстрый отливъ людей, только инныя силы отгоняли ихъ, чѣмъ тѣ, что отгоняли одновременно съ ними убѣгавшее море.

Неподвижно чернѣлъ крайній, высокій утесъ съ его рогами. Онъ, будто сознавая, что на него теперь, въ эти минуты, пристально глядятъ рулевые на шнякахъ, высился среди сѣраго, безсолнеч-

наго, но яснаго дня, со всѣми изломами своихъ сложныхъ очертаній. Съ удаленіемъ женщинъ снова потянули къ нему разныя морскія птицы. Спокойно разсаживаясь по его богатырскимъ бокамъ и загибамъ черныхъ щелей, онѣ, будто испуганныя, отпархивали только отъ его вершины.—Причина состояла въ томъ, что между двухъ скаль-роговъ стоялъ Петръ. Неподвиженъ какъ утесъ, нахлобучивъ шапку, осиливалъ онѣ взглядомъ далекія, слегка бѣлѣвшія по гребешкамъ, подѣ дыханіемъ «сѣвера», морскія волны и глядѣлъ на шляпки.

Чтобы ему видѣть Марѳу, надо было присутствовать при «моленіи вѣтру». Петръ, прямо отъ свиданія съ нею, прошелъ хорошо знакомымъ ему «путикомъ» вдоль «няши» — тинистаго болота, и очутился на утесѣ къ тому времени, когда стали прибывать первыя лодки съ женщинами. Не сказалъ онѣ объ этомъ своемъ намѣреніи Марѳѣ, но цѣли своей достигъ: видѣлъ онѣ ее, никѣмъ не замѣчаемый, съ высокаго утеса, слышалъ ржавые звуки флюгарки, слѣдилъ за тѣмъ, какъ пошла Марѳа навстрѣчу Агафѣя, подѣ руку съ двумя дѣвушками.

На его глазахъ совершился неожиданный перерывъ бабьей «заворѣхи» и всѣ онѣ потянулись обратно къ селенію. Замѣтилъ онѣ также, что Агафѣя помѣстилась въ одну лодку съ раскольниковъ Пелагеей.

— Завойлочить, запутаетъ, ехидная! — думалось помору.

Не могъ онѣ также не замѣтить, что Марѳа пошла къ поселку послѣднею, забытою, одинокою...

— Голубушка! рѣдная моя! — думалъ Петръ, и недобрыя мысли, злые всполохи чувства сказались въ немъ.

Очистилось побережье: быстро приближались шляпки. Хорошо знакомый съ ними Петръ отличилъ — чьи они? вотъ и Еремина второю идетъ, и



Ереминъ треухъ у руля виднѣется. Приди шляки часомъ ранѣе, онѣ бы у самаго берега прошли, а теперь, съ отливомъ, пришлось имъ дальше держать, и бѣгутъ шляки, бѣгутъ быстро и килевой вѣтеръ гонитъ ихъ мимо утеса, на которомъ стоитъ Петръ и наблюдаетъ.

И когда шляки протянулись мимо, сталъ онъ сходить съ утеса, но уже не въ сторону болота, а въ сторону къ морю, короткимъ путемъ, соскользнулъ съ него и направился песчаною полосою къ селенію. Отбѣжало море, обнажились безсчетныя черные камни, и похрустывали, и давали брызги подъ ногами помора длинныя водоросли, только что отложенныя на берегъ водою, еще полныя ею и не начавшія обсыхать. Сердце его угнетала печаль безысходная.

— И какъ это, — думалось ему, — шла Марѳа горемычная позади всѣхъ, блѣднехонька, одиныхонька, голову понурила!.. и какъ это, когда шляки мимо меня «сѣверомъ» гнало, и Ереминъ треухъ вмѣстѣ съ ними, словно былая радость, все счастье мимо уплывали... извести бы... его, проклятаго...

Эта мысль была совсѣмъ новою мыслью для Петра; онъ, будто испуганный, оглядѣлся, боясь, не подслушалъ ли кто? Но кромѣ водорослей ничего подлѣ не шелестѣло; шумѣлъ вѣтеръ, а отъ селенія, до котораго оставалось недалеко, неся веселый говоръ и смѣхъ. Шляки успѣли подойти и причалить. Прибывшіе поморы сошли на берегъ. Петръ направился прямо къ толпѣ.

Въ одномъ мѣстѣ скопленіе народу было особенно велико; туда-то и пошелъ Петръ. Окруженные вплотную женщинами, виднѣлись ему еще издали поморы; отыскивая, какъ бы пробраться въ самую кучку, любопытные мальчишки шныряли вокругъ, стараясь найти лазейку между бабами, но никакой возможности

пролѣзть не находили; то вправо, то влѣво, стараясь заглянуть внутрь кучки, нагибались головы тѣхъ, что стояли снаружи... Происходило что-то необычайное. Ереминъ треухъ высился выше прочихъ.

— Чтой-то?—спросилъ невольно Петръ у первой попавшейся ему навстрѣчу Пелагеи.

— Утопъ!—коротко отвѣтила она.

— Кто утопъ?

— Ерема на покрутчинѣ.

— А Марѳа гдѣ?—спросилъ Петръ, совершенно невластный въ себѣ и своихъ словахъ.

— Омморокъ съ нею, въ омморокѣ лежитъ, отъ того и люди подлѣ,—отвѣтила Пелагея.

Кучка подалась подъ могучими руками помора. Бросившись къ кучкѣ, онъ протискался прямо по направленію къ большому Еремину треуху.

— Точно! шапка Еремы, но человѣкъ подъ нимъ другой—Никита знахарь.

А на холодномъ пескѣ, окруженная говорящими поморами, только что окончившими рассказъ о томъ, какъ именно потонулъ мгновенно свалившійся со шняки въ море и Богъ вѣсть почему пошедшій вдругъ камнемъ ко дну, Ерема, и какъ попалъ треухъ его, всплывшій на воду, на голову къ Никитѣ, — лежала неподвижная, «безрудая», блѣдная какъ смерть Марѳа; бабы усердно хлопотали подлѣ нея; насупившись стояли по кругу поморы, и лицомъ къ лицу съ Петромъ видѣлись черныя, устремленныя на него въ упоръ, очи Агафьи. Обморокъ Марѳы прошелъ только тогда, когда, раскрывъ съ большими усиліями стиснутые зубы, ей влили въ ротъ нѣсколько капель, всегда имѣющагося при поморахъ, норвежскаго рома. Едва только открыла она глаза свои, какъ отыскала ими Петра, стоявшаго рядомъ съ другими; она устала ихъ на него и снова закрыла, но только на короткое время и со сладкимъ, глу-

бокимъ вздохомъ облегченія. Марѳа вдругъ поднялась съ земли... проводили ее до дома. Привѣтливъ и свѣтелъ показался ей этотъ домъ. Такъ и все въ жизни бываетъ. Кому бѣда, кому радость...

Мѣсяцъ спустя сыграна была свадьба. Еремина треуха Марѳа къ себѣ въ домъ не взяла.



## ЧЕРНАЯ БУРЯ.

---

Мурманское становище, изъ котораго туманнымъ утромъ должна была выйти въ море поморская шняка, притаилось въ одной изъ небольшихъ бухточекъ побережья, недалеко отъ Семи Острововъ. Это одно изъ очень мелкихъ, неудобныхъ становищъ, потому что бухточка открыта всѣмъ рѣшительно сѣвернымъ вѣтрамъ; но становище насижено изстари, чуть не со временъ новгородцевъ, и оживляется, съ приходомъ поморовъ, каждымъ лѣтомъ. Единственная защита бухточки состоитъ въ томъ, что по самой срединѣ входа, со стороны океана, входа имѣющаго ширины не болѣе ста сажень, поднимается со дна морскаго конусообразная, довольно хаотическая, груда черныхъ скалъ. Остріе этого конуса состоитъ изъ громадныхъ глыбъ, налегающихъ одна на другую, повидимому, очень неплотно и оставляющихъ даже большія дыры, просвѣты; но глыбы держатся слитыя воедино, прочнѣ всякаго цемента, собственною тяжестью; этотъ незримый цементъ держитъ ихъ непоколебимо. Въ просвѣты сквозить иногда солнце, смотреть мѣсяцъ, а набѣгающая океанская волна даетъ тутъ цѣлые сонмы водопадиковъ и пускаетъ фонтанчики.

И черны эти глыбы гранита, черны невѣроятно. Эта чернота мурманскихъ скалъ, которая только изрѣдка обнажаются отъ океанской воды, удивительна. Открытыя вѣтрамъ, не покрываемыя водою скалы мурманскаго побережья въ общемъ — розоваты, тогда какъ ихъ собратья, предоставленные вѣчнымъ, неистовымъ бурунамъ волны, словно обуглились. Онѣ, будто цыганки, обожжены страстью горячаго, степнаго солнца и, какъ цыганки, почти обнажены. А вѣдь это на глубокомъ сѣверѣ.

Выгода бухточки, въ которой стояла шняка, состоитъ именно въ этой грядѣ скалъ, разбивающей всякую волну, идущую изъ океана; скалы пропускаютъ ее мимо себя, сквозь себя, ослабленную, разорванною, подрѣзанною и, въ то время какъ другія, сосѣднія волны, движимыя могучимъ дыханіемъ, лѣзутъ высоко, высоко, на отвѣсные берега побережья, волны, зашедшія въ глубь бухточки, сравнительно спокойно ложатся на береговые пески.

Въ бухточкѣ могутъ размѣститься три, четыре шняки, не больше. Хотя о полномъ спокойствіи стоянки тутъ, при сѣверныхъ вѣтрахъ, не можетъ быть и рѣчи, но волны бухточки, качающія шняки на дрянныхъ якорькахъ, все-таки ничто въ сравненіи съ вѣтромъ, обдувающимъ ихъ снасти, потому что каменная гряда у входа въ бухту вѣтра не ослабляетъ, не подрѣзываетъ, и онъ врывается сюда съ полною силою, дуетъ всею грудью. Становище, т. е. деревянные домишки и сарайчики его пронизываются насквозь.

Но поморъ заботится больше о своихъ шнякахъ, чѣмъ о себѣ: если ихъ не разобьетъ, то ему до своей личности дѣла нѣтъ. Пусть продуваетъ вѣтеръ, обжигая лицо и окостеняя руки, пусть негдѣ помору обогрѣться, пусть гудитъ заунывный посвистъ

и проникаетъ къ нему даже въ видѣнія сна, лишь бы цѣла была его шняка.

Безконечно долгое утро не отгоняло тумана и тянулось холодное, мглистое. Июнь задался на этотъ разъ далеко не теплый. Солнца не было видно за многими слоями сѣрыхъ, свинцовыхъ тучъ, густо и низко налегавшихъ на сѣрый, свинцовый, какъ они, океанъ. Кто кого окрашивалъ въ сѣрый цвѣтъ: океанъ тучи, или наоборотъ? Бѣлыми точками виднѣлись по этому томительномуоднообразіюсѣраго цвѣта быстро рѣявшія чайки; крикъ ихъ былъ такъ же рѣзокъ, какъ и изломы полета: въ крикѣ, какъ и въ полетѣ было что-то томительно безпокойное, заунывное.

Ночевало въ бухточкѣ три шняки; двѣ давно уже вышли въ море, третья запоздала, но тоже готовилась выйти, и весь экипажъ ея, законныхъ четыре человѣка поморской, шнячной артели, имѣлись налицо и, видимо, торопились. Опоздала шняка по винѣ артели; но былъ еще и другой виновникъ—одно изъ непріятнѣйшихъ млекопитающихъ міра, Богъ вѣсть какъ зашедшее на Мурманъ,—крыса. Крысы перегрызли запасный якорный канатъ, да еще въ нѣсколькихъ мѣстахъ; каната раньше не требовалось, его не осмотрѣли; пришла нужда—увидѣли, и, пока производилась починка, шняка опоздала. Артельщики-покрутки могли бы, конечно, осмотрѣть всѣ свои принадлежности раньше, въ свободное время, но поморы—русскіе люди, и время было потеряно.

— И откуда ихъ, этого проклятаго гнуса, крысъ,—говорилъ старикъ, хозяинъ шняки:—у насъ, на берегу, завелось?

— Мать говорила, что ихъ тутъ прежде не бывало,—отвѣтилъ зукъ, парнишка лѣтъ двѣнадцати, необходимый участникъ артели, будущій безстрашный поморъ, подбиравшій въ кадушку наживку, мел-

кую рыбку-песчанку, приготовленную ранѣе и уже почти всю доставленную на шняку; онъ подбиралъ тѣхъ рыбешекъ, которыя были разбросаны при переноскѣ и валялись по пестрому щебню побережья.

Крупный поморъ, по имени Вадимъ, разбойный человѣкъ, много лѣтъ ходившій на морского звѣря, т. е. на разбойный промыселъ, проходя мимо мальчишки зуйка, оперся на него рукою и пригнулъ къ землѣ, такъ что парнишка даже крикнулъ; это была ласка. Вадимъ поддержалъ мнѣніе зуйковой матери, что крысъ на Мурманѣ прежде не бывало.

— Съ норвежцемъ вмѣстѣ пришли, да и хозяйничаютъ,—замѣтилъ Вадимъ.

— Самъ ты норвежець,—громко отвѣтилъ ему зуюкъ, оправившись отъ могучаго надавливанія руки Вадимовой.

Вадимъ остановился, повернулся къ зуйку лицомъ и молча погрозилъ ему кулакомъ. Зуюкъ точно ушелъ въ свою песчанку и сталъ подбирать ее еще тщательнѣе, еще торопливѣе.

— Ну, скоро-ль?—обратился къ нему хозяинъ.—Безорудъ ты этакая!—На мѣстномъ нарѣчій это значило: параличный.

— Норвежець!!—проговорилъ Вадимъ, грозя кулакомъ вторично:—я те дамъ норвежець!—Онъ поднялъ съ земли, съ необычайною легкостью, пуда два бичевы, свернутой кольцомъ, и перешагнулъ съ каменной глыбы въ шняку.

Погода была тихая, но не обѣщала особенной устойчивости. Вѣтеръ дулъ съ сѣверо-запада, можно было рассчитывать на дождь; вечеромъ вѣялъ вѣтерокъ южный, слѣдовательно, шелъ онъ по кругу и легко могъ стать и сѣвернымъ и сѣверо-восточнымъ, а тѣмъ болѣе ничего ему не стоило вдругъ покрѣпчать неумовѣрно и разстроить всякую надежду на успѣхъ лова.

. Тѣмъ не менѣе, выходить въ море было необходимо, потому что люди знали, что треска идетъ, что къ Семи Островамъ и къ Лицѣ шняки полными на-полно возвращались, а за всю весну наработано немного. Отдали клячь-веревку, служившую причаломъ, и направились изъ бухты.

Шняка была далеко не изъ молодыхъ и видала всякіе виды, но она была ходкая, юркая и хорошо слушалась руля. Значительно накреньясь, вышла она въ полвѣтра, миновала гряду и направилась въ открытое море. Кое-гдѣ виднѣлись другія шняки, выискивавшія хорошей стоянки. Все зависитъ отъ случая; на большихъ глубинахъ океанскихъ ничего не разглядѣть.

Поморы вообще не говорливы, но о томъ, куда направиться и гдѣ якорь бросить все-таки говорили. Подростокъ зукъ оказался и тутъ совѣтчикомъ.

— А у насъ,—говорить,—въ Сорокахъ, мать сказывала, что ей странничекъ совѣтъ давалъ!

— Станничекъ?—спросилъ хозяинъ.

— Гдѣ крестъ, говорить, выйдетъ—тамъ и бросай,—добавилъ зукъ.

— Какъ это крестъ?—спросилъ Вадимъ.

— А четыре щепышки или суковья малые взять надо, да по четыре штучки на воду и бросай, и гляди: гдѣ крестъ!

— А-ну!

На грязномъ днищѣ шняки всегда щепышки да суковья найдутся; всѣ они словно пропитаны рыбьимъ жиромъ и поблескиваютъ рыбьими чешуйками. Стали бросать на волны щепышку; больше для забавы, конечно, а шняка тѣмъ временемъ шла быстро, быстро, покачиваясь изъ стороны въ сторону и опи-сывая концами мачтъ длинныя кривыя.

Накренившись скользила она по круглымъ ска-тамъ не крутыхъ, но очень могучихъ волнъ. Кре-



стики долго не вырисовывались щепышками. Принялись насаживать наживку. Легко сказать: на двѣ тысячи, и больше, крючковъ по рыбкѣ насадить! Не вся насаженная рыбешка сразу пооколѣла и наживленные части яруса, такъ называется рыболовная снасть, пошевеливались подъ ногами поморовъ какою-то странною, мучительною судорогою, какою-то грудю безмолвныхъ, шелестившихъ страданій.

Къ вечеру, на избранномъ мѣстѣ былъ брошень въ море послѣдній кубасъ, т. е. весь ярусъ, длиною болѣе версты, съ наживленными двумя тысячами крючковъ, протянулся по океану, приманивая жадную треску. Выкинуть ярусъ надо много часовъ времени. Къ послѣднему кубасу, голомяннику или кошкѣ, привязали веревку, сажень въ сто длиною, такъ называемую симку, а другой конецъ ея прикрѣпили къ носовому штевню шняки. Глубина на этомъ мѣстѣ оказалась около восьмидесяти сажень; хотя ночь была, сравнительно, свѣтла, но о томъ, чтобы видѣть берегъ—не могло быть и рѣчи.

Стоянка съ закинутымъ ярусомъ должна длиться шесть часовъ; надо людямъ поѣсть, надо отдохнуть. На этотъ разъ, кромѣ соленой сельди и хлѣба, взято было и крошево, т. е. рубленая капуста, фруктъ, для поморовъ, южный, но имѣющійся налицо, въ качествѣ колониальнаго товара, у прибрежныхъ фактористовъ. Раньше всѣхъ приложился къ кадушкѣ съ капустою Вадимъ: онъ сгорстилъ капусту, т. е. взялъ въ горсть съ добрую чашку и не замедлилъ, поѣдая, разукрасить себѣ капустою усы и бороду; этому способствовало и усиливавшееся волненіе.

— Эка бась какая! (по мѣстному,—красота) хи, хи!—проговорилъ зукъ, указывая на Вадима:—капустой обѣлъ!

Разстояніе между обоими было большое, и разбойный человекъ опять-таки показалъ зуйку кулакъ.

Обратились къ рому, къ знаменитому норвежскому, вонючему, продаваемому безакцизно, отравляющему все наше поморье.

— Мертво пить хочу!—проговорилъ Вадимъ.

— То-то одежу всю пропилъ, въ рямкахъ (т. е. лохмотьяхъ) ходишь,—отвѣтилъ зукъ и, ранѣ Вадима, осушилъ нипочемъ жгучую четвертную.

— Пострѣленокъ — ужо, погоди! — отвѣтилъ Вадимъ.

— А что, робя (т. е. ребята), не сниматься ли?—проговорилъ хозяинъ:—беть идетъ, буря будетъ?

— Соснуть бы?

— Гдѣ тутъ спать!

Хозяинъ былъ правъ. Беть—буря шла дѣйствительно, налетала быстрая и, надо сказать, неожиданная. Она посылала предвѣстниками своими судорожные порывы вихря, тороки. Западный, дождливый вѣтеръ общалъ съ утра болѣе прочную погоду.

Кончили съ питьемъ и ѣдой, кончили раньше, чѣмъ думали и принялись убирать ярусъ, потому что крѣпчало.

— Не рхайся, ребята, не медли,—подбодрялъ хозяинъ.

Притянулись къ кубасу, вытащили якорь, стали собирать ярусъ; крючки, выходя изъ воды, обнажались одни за другими, все пустые: или не было на этомъ мѣстѣ трески, или не успѣла насѣсть. Изрѣдка, изрѣдка шлепалась въ шняку грузная рыба. Въ хорошій уловъ что ни крючекъ—то рыба, ожерельемъ тянется, тесьмой блеститъ, руки оттягиваетъ и въ шнякѣ что золотистая гора нарастаетъ, а тутъ ничего, ровно ничего!

Уборка яруса, несмотря на порывы усиливавшихся шкваловъ, была закончена почти до половины.

Всякій человѣкъ зналъ свое дѣло отлично, суеты не было. Но все это были только человѣческія усилія, только расчеты ума, навыка, терпѣнія и отваги людской, неизмѣримо маленькія въ сравненіи съ тѣмъ, что готовилась показать природа.

На Ледовитомъ океанѣ, въ непогоду, въ бурю, или въ бѣть, какъ здѣсь говорится, иногда, среди бѣлаго дня, налетаетъ совсѣмъ глубокая тьма. Грузныя тучи, цвѣта чернаго шифера или аспида, круглыми очертаніями своими, полныя мрака и холода, спускаются и налегаютъ на черныя, какъ и онѣ, океанскія волны. Только кое-гдѣ, въ этихъ небесныхъ, почти сплошныхъ, черныхъ, аспидныхъ громадахъ, просвѣчиваютъ свѣтовые пятна неба, единственные свидѣтели и продолжатели царящаго на остальной землѣ дня. Не повѣрить этому мраку, если не видѣть его; свѣтовыми пятнами свѣтятся только самыя высокіе всплески гигантскихъ волнъ и кажутся рѣзко бѣлыми; бѣлѣ ихъ—крылья кружащихся въ воздухѣ чаекъ.

Дрогнула старая шняка всѣмъ тѣломъ своимъ, когда, совершенно неожиданно, замело кругомъ въ водѣ и воздухѣ сильнѣйшимъ шкваломъ. Не успѣли люди опомниться, какъ словно отрѣзало гдѣ-то ярусъ и помчалось шняку въ сторону. Къ счастью, парусовъ не ставили и ударъ шквала былъ не такъ силенъ, не такъ опасенъ, какъ бы могъ быть. Заметалась шняка изъ стороны въ сторону; еще ударъ волны и руль сорвался съ петель и унесъ съ собою и румпель, и погудало. Ни о какомъ управленіи нечего было и думать; шняка словно обезумѣла.

Артель, всѣмъ своимъ наличнымъ составомъ, молча перекрестилась, и всѣ молчали. Не было грома, не было молніи въ этомъ темномъ неистовствѣ разразившейся черной бури, но вѣтеръ жегъ лица невыносимо и вдругъ посыпались на шняку крупныя,

бѣлыя градины и застучали по ней и запрыгали, и сыпались съ бортовъ ея въ клокотавшую пучину океана. Люди накрылись кто чѣмъ могъ, всякимъ манатѣмъ, дырьемъ, тряпищами.

— Руби ее!—крикнулъ хозяинъ почти одновременно съ трескомъ срѣзанной вѣтромъ мачты. Упавшая мачта легла на правый бортъ и заполоскалась верхушкою въ водѣ. Обрубили снасти, и мачта, подхваченная волною, не замедлила отдѣлиться отъ шняки и запрыгала, и поплыла своимъ путемъ.

— А что, братцы, надо-тъ тонуть будетъ,—проговорилъ Вадимъ, покачивая головою.

Зуекъ поглядѣлъ на него съ недоувѣріемъ; ему не хотѣлось тонуть.

— А кагды же кулакомъ-то кулачить меня будешь?—замѣтилъ зуекъ, на котораго, повидимому, страшное слово «тонуть» не произвело особеннаго впечатлѣнія.

— Прифурникъ ты этакой, забавникъ, прости Господи,—добавилъ Вадимъ.

Хозяинъ, то-и-дѣло, крестился.

— Малехается шняка, малехается!—добавилъ Вадимъ, когда потрескиванія старой посудыны, усилившись, стали подозрительными и съ праваго борта ея отлетѣли расщепленными верхнія доски и, помелькавъ передъ глазами, поплыли вслѣдъ за мачтою.

Тьма продолжала сгущаться. Ненасытно ревѣлъ вѣтеръ, и волна била со всѣхъ сторонъ совсѣмъ безпорядочно. Пока высились надъ шнякою мачты и висѣли снасти, еще слышались рѣзкіе посвисты вѣтра, еще сказывалось въ звукахъ что-то какъ бы сподручное, знакомое, обыденное, земное; но когда штормъ оголилъ шняку, когда замолкли послѣдніе, урывчатые разговоры людей, безконечнымъ гуломъ надавила буря и начала разрушать послѣднія надежды. Шняку кренило и бросало на всѣ стороны. Показалась течь.

— Захлестываетъ!—сказалъ Вадимъ.

— Не захлестываетъ, а тонемъ! молитесь, ребята,—проговорилъ хозяинъ.

— Заваль! Варака! гляньте! ва!—крикнулъ въ это время зукъ, указывая рукою прямо по направленію движенія шняки.

Что-то темное, неопредѣленное, дѣйствительно виднѣлось между волнами и не могло быть сомнѣнія въ томъ, что шняка стремилась именно на эту таинственную неожиданность, на это страшилище, сразу воспрянувшее изъ волнъ океана.

— Берегъ!—крикнулъ хозяинъ.

— Китъ!—отвѣтилъ Вадимъ, ухватившись съ быстротою молніи за мелькнувшую подлѣ него въ волнахъ веревку гарпуна.

Подтвержденіе послѣдовало чрезвычайно быстро: не прошло и полуминуты времени, какъ шняка, съ полного размаха, налетѣла на тушу мертваго кита. Вскинувшись носомъ на его громоздкую поверхность, покачавшись на ней, словно балансируя, поклевывая, она сразу ослѣла кормою. Людей съ нея смыло, сполоснуло, всѣ они попадали въ воду, но такъ какъ волна била въ сторону кита, то всѣ они немедленно очутились на немъ.

Убитый темный гигантъ принялъ ихъ на могучую тушу свою. Словно приготовлена была она для этого удивительнаго спасенія: глубоко впившійся въ тѣло кита гарпунъ торчалъ высоко надъ водою и канатъ, къ нему прикрѣпленный, схваченный Вадимомъ, послужилъ, въ полномъ смыслѣ этого слова, канатомъ спасенія. Чуть-чуть не унесло хозяина, но онъ за Вадима ухватился.

О бѣдной шнякѣ не было и помину. Ревѣль вѣтеръ, облежала тьма, было невыразимо холодно, но мертвый китъ оказался прочнѣе, устойчивѣе шняки. Припасовъ на этомъ фантастическомъ островкѣ не

было никакихъ. захватить ихъ съ собою не было времени: могла бы предстоять и голодная смерть. Но буря скоро сдалась. освѣтлѣло и, не больше, какъ черезъ сутки, экипажъ шняки снять съ кита проходившимъ мимо пароходомъ, а кить, цѣнный предметъ улова, взять на буксиръ. Онъ принадлежалъ нашедшимъ его, т. е. тѣмъ людямъ, которые остались со вчерашняго дня безъ шняки и готовились умереть.



## БЕЗЫМЕНЬ.

Мурманское привидѣніе.

---

Небольшая лодченка наша, чуть-чуть покачиваемая стихавшею океанскою зыбью, вошла въ заливчикъ. Высокая, иззубренная скала нависла надъ нами справа и казалась совершенно темною, потому что эта сторона ея, обращенная прямо къ востоку, обволоклась тѣнью, а глаза наши привыкли, за нѣсколько часовъ морского пути, къ сіянію солнечнаго дня и рѣзкому блеску воды. Я и товарищъ мой по пути давно подладились, если можно такъ выразиться, къ мурманскому пейзажу, къ отличающему его недостатку людскихъ голосовъ и безусловному царству звуковъ морской волны и поэтому были очень пріятно поражены хоровою пѣснею, неожиданно вырвавшейся изъ-за скалы намъ навстрѣчу.

Это двигалась «сарафанная почта». Почтовый карбась, довольно неуклюжій, но помѣстительный, прочный, пузатый, шелъ на веслахъ намъ навстрѣчу, и гребцами, какъ это здѣсь постоянно бываетъ, оказались женщины. Онѣ-то именно и голосили во-всю. Дружно ударяли ихъ весла по водѣ: одна изъ жен-

щинъ стояла очень картинно подлѣ мачты и приготовляла парусъ для того, чтобы, по выходѣ изъ заливчика, поставить его. На рулѣ сидѣлъ рыжій поморъ, въ мѣховой шапкѣ съ наушниками, развалившись съ нѣкоторымъ даже изяществомъ, отнюдь не меньшимъ, чѣмъ то, которое придается на картинахъ итальянскимъ пастухамъ, стерегущимъ стада и наслаждающимся послѣбобѣденнымъ отдыхомъ, подлѣ какой нибудь исторической развалины. Поморъ, рулевой на карбасѣ, расположился такъ спокойно и удобно именно потому, что море было тихо, а натружаться ему не придется — на то есть женщины, умѣющія, въ двѣ смѣны, прогребсти сто верстъ.

Когда маленькая лодченка наша поравнялась съ карбасомъ, величественно и самоувѣренно скользившимъ, подъ рѣзкіе звуки пѣсни, прямо на насъ, отличили мы приземистую, худенькую, темную фигурку почтальона въ кепи, схоронившуюся въ самомъ карбасѣ, между рулевымъ и мачтою. Маленькій, черненькій почтальонъ еле высовывался остриемъ своего кепи изъ-за толстыхъ бортовъ карбаса. Кепи, какъ головное украшеніе, давно уже отошло у насъ въ вѣчность, но на Мурманѣ ихъ еще донашиваютъ и будутъ долго донашивать.

Слышались также очень явственно характерныя слова бабьей пѣсни:

Ой, маминька, маминька,  
Приведи мнѣ писаря,  
Писаря хорошаго,  
Бѣлаго, румянаго.

Откуда тутъ, въ этой необъятности сѣвернаго океана, вдругъ писарь въ пѣснѣ? или это подѣ-стать остроносому кепи почтальона?

— Отчего, — спросилъ я у одного изъ нашихъ двухъ поморовъ, по имени Якова, — на рулѣ у нихъ сидитъ не женщина, а мужчина?



Яковъ объяснилъ, а другой поморъ, Степанъ, подтвердилъ, что сидѣть женщинѣ на рулѣ—стыдъ для карбаса, трунить начнуть. Онъ прибавилъ даже, какъ именно начнуть трунить, что скажутъ, какъ назовутъ. Назовутъ нецензурно, но пластично.

Быстро промелькнула сарафанная почта мимо насъ и унесла съ собою пѣсню. Заливчикъ, въ который мы втянулись, оказался не великъ, и на темнѣвшихъ очертаніяхъ его скалъ рѣзко бѣлѣли два предмета. На одномъ изъ камней высилась небольшая пирамидка, сложенная изъ закругленныхъ водою катышей, такъ называемый гурій или кекурій, поставленный кѣмъ либо по обѣту, или на память о какомъ нибудь крушеніи; въ углубленіи бухты виднѣлась лопарская вежа, покрытая дерномъ и побѣлѣвшими шкурами старыхъ, сѣдыхъ оленей, и раскинутыя на жердяхъ сѣти и мережи.

Мы подошли къ вежѣ почти вплотную; Яковъ соскочилъ на берегъ съ концомъ веревки въ рукѣ, а Степанъ, долговязый, худой, неуклюжій, по здѣшнему «долгарище», прибралъ весла, подсунувъ ихъ намъ подъ ноги.

— А долго ли намъ стоять можно будетъ?—спросилъ я у Якова, вспоминая о томъ, что съ приливами и отливами тутъ шутить нельзя и упускать ихъ изъ виду невыгодно.

— Воду простоишь; вишь она теперь припухла, на прибыли; уйдетъ — ляжемъ, полежимъ, пакуль опять вспухнетъ, тогда и уйдемъ.

Цѣль нашей поѣздки состояла въ уженіи рыбы въ небольшой рѣчкѣ, не носящей даже имени, впадающей здѣсь въ океанъ. Намъ говорили, что эта рѣчка очень забавна, потому что въ ней и навага и камбала попадаютъ, предпочитающія, какъ извѣстно, открытое море. Мы запаслись богатѣйшимъ матеріаломъ для наживки, а именно, сочными, огород-

ными червями, привезенными нами изъ Архангельска въ нѣсколькихъ жестянкахъ.

Сойдя на берегъ и заглянувъ въ вежу, мы не нашли въ ней никого. Пройти къ рѣчкѣ, устье которой было виднехонько, оказалось невозможно, потому что вѣками навороченныя глыбы рѣшительно преграждали дорогу. Предстояло подняться на прибрежныя скалы, пройти съ версту моховымъ болотомъ и затѣмъ уже спуститься внизъ. Такъ мы это и сдѣлали и отправились всѣ вмѣстѣ, закрѣпивъ лодку.

Спустились мы со скалъ къ рѣчкѣ съ большимъ трудомъ, не безъ помощи рукъ, едва не поломавъ удилицъ, цѣпляясь за громадныя глыбы камней, разобрались, принялись за ужение, и дѣло спорилось: рыбы было много и вся она жадная.

— А что, братъ Яковъ,—сказалъ я нашему помору, когда удочки были заброшены, и ловъ шелъ удачно,—скажи-ка: есть тутъ у васъ привидѣнія?

— Какія это?

— Да такія, вотъ, что что нибудь привидится, ночью, что ли?

— Какъ не бывать.

— Да ты видалъ?

— Не видалъ. Боюсь. А вотъ Степанъ, тотъ видѣлъ.

— А онъ не боится?

— Нешто станетъ бояться, коли всякій заговоръ знаетъ?!

— А что это за привидѣнія, Степанъ?—обратился я къ другому помору,—какія они тутъ у васъ? съ рогами? съ хвостомъ?

Степанъ сомнительно покачалъ головою.

Онъ, съ самаго прихода нашего на рѣчку, растянувшись навзничъ по сухому песку побережья, во всю длину свою и, подложивъ руки подъ голову, гля-

дѣль въ небо. Небо было желтовато-тускло; надъ моремъ лежала такъ называемая «марь», заволакивающая даль, какъ туманъ; она обусловливается густыми, теплыми испареніями и солнечнымъ свѣтомъ. Въ этой золотистой мари обыкновенно облаковъ замѣтно не бываетъ, они не очерчиваются; все блеститъ, лучится и сливается въ одинъ золотистый, опредѣленный свѣтъ; трудно сказать: на что именно такъ упорно смотрѣлъ въ небо Степанъ, спрошенный о привидѣніяхъ.

— Какъ же это ты видѣлъ привидѣніе? расскажи.

— Я не видалъ. Его видѣть нельзя, потому что на немъ лица нѣтъ.

— Такъ какъ же Яковъ говоритъ, что ты видѣлъ?

— Видѣлъ.

— Что же ты видѣлъ, если лица нѣтъ!

— Бѣзымень ему имя, ну и видѣлъ,—отвѣтилъ Степанъ, поднявшись съ лежки и упершись на одинъ изъ локтей.

«Бѣзымень ему имя», подумалъ я и сообразилъ, что это значеніе почти то же, что «видѣть не выдавши»; два выраженія—одного поля ягода. Мой товарищъ, слушавшій разговоръ нашъ, натаскалъ за это время нѣсколько навагъ; онъ вмѣшался, заинтересовавшись бѣзымянностью имени привидѣнія.

— Да гдѣ же это было? гдѣ ты видѣлъ невидимое привидѣніе?—спросилъ онъ.

— Въ байнѣ.

— Т. е. въ банѣ?

— По-вашему баня, а по-нашему байна. Пошелъ я это, разъ, въ байну сайпу варить.

— А что это такое—сайпа?

Поморы переглянулись и улыбнулись, точно показались мы имъ неучами.

— Ну, да, что это, сайпа?

— По-вашему мыло,—отвѣчалъ Степанъ.

— Какъ мыло? Да развѣ у васъ мыло люди сами для себя варятъ? Слышно, тутъ и совсѣмъ мыла не знаютъ?

— Какъ не знать мыла; а какъ же покойниковъ моютъ? вашего-то мыла, точно, зачастую нѣтъ у насъ, а своего-то какъ не быть; на что ребяташки, тѣхъ если не мыть, что съ ними будетъ; на то и сайпа!

— Да что же это, сайпа?

— А вотъ, если въ кипяткѣ ворвани развести, да съ золою смѣшать, вотъ она сайпа и будетъ, такъ и дѣлаемъ... Такъ пошелъ я, это, въ байну. До того люди невѣсту въ ней выпарили, такъ жару-то развели вдосталь. Поставилъ я, это, ведро на полочку, началъ золу сгребать, а онъ тутъ какъ тутъ.

— Бѣзымень?

— Точно. Самъ и былъ.

— А по виду-то какъ онъ?

— Да нѣтъ у него виду.

— Однако же, руки, ноги есть?

— А не вѣдаю.

— Да вѣдь ты видѣлъ?

— Видѣлъ.

— Ну, роги, хвостъ—есть?

— Не знаю.

— Да лицо-то, рожа какая у него?

— Нѣтъ у него лица, однимъ словомъ бѣзымень.

— Ну, такъ ты, значитъ, не видалъ его, а только слышалъ?—проговорилъ я, какъ бы желая помочь Степану дать мнѣ желаемое объясненіе.

— Кабы слыхалъ, а не видалъ, такъ такъ бы и говорилъ вамъ,—отвѣтилъ онъ, какъ будто даже немного обиженный.

Обидѣлся за него и Яковъ, но только покачалъ головою.

Мы съ товарищемъ переглянулись. Видимо было, что идти дальше въ разспросахъ о неимѣющемъ лица привидѣніи представлялось невозможнымъ. Оба помора удовлетворялись какимъ-то ликомъ безъ лица, чѣмъ-то, гдѣ-то, когда-то начертившимся въ памяти ихъ, въ далекомъ дѣтствѣ, чѣмъ-то неуловимымъ, необъяснимымъ, безформеннымъ, но несомнѣнно существующимъ.

Кто приглядѣлся къ туманнымъ, неяснымъ очертаніямъ сѣвернаго поморья, къ его таящимъ миражамъ, къ тусклости воздуха, облекающей даль, съ исключеніями для немногихъ свѣтлыхъ дней, гдѣ и въ свѣтлые дни не сходитъ съ горизонта марь, тотъ пойметъ возможность рожденія въ народной фантазіи этой удивительной «бѣзымени», привидѣнія безъ очертаній, облика безъ лица. Представить его себѣ не поморскимъ воображеніемъ невозможно.

Сообщеніе поморовъ оказалось такъ характерно, что нельзя было, не стоило какъ-то разспрашивать дальше. Уженье продолжалось.

Вдали, за заливчикомъ, виднѣлся безконечный океанъ, заснувшій въ глубокомъ покоѣ.

— Море «слосѣло»,—говорятъ въ этомъ случаѣ поморы.

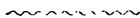
Я смотрѣлъ на окрестность. Рѣчка дѣлала передъ нами, прыгая по камнямъ, большую излучину, «хоботину», какъ здѣсь называютъ; солнце опускалось; начала показываться къ вечеру мелкая, неприятная мошка — «мухарь». По обоимъ берегамъ рѣчки виднѣлись длинными рядами «бадни», т. е. подмытая водою, опрокинувшіяся въ нее деревья.

Если,—думалось мнѣ,—глядя на эти деревья, такъ неопредѣленны очертанія фантастическихъ представленій въ головѣ помора, то, взамѣнъ этого, какъ четко слѣдитъ онъ за тѣмъ и опредѣляетъ особымъ именемъ то, что даетъ ему его скудная природа.

Вотъ хоть бы слово «бадня» для подмытаго водою дерева; на Руси подобнаго слова и опредѣленнаго понятія, требующаго особаго слова, кажется, нѣтъ, а тутъ есть. Если вѣтромъ выворочено дерево на матерой землѣ и торчитъ корнями, и тамъ, гдѣ оно стояло прежде, образовалась яма — поморъ называется такую яму «баглень», а это опять-таки очень опредѣленное слово для очень опредѣленнаго, самостоятельнаго понятія, котораго на Руси, кажется, нѣтъ.

Время шло, мы «простояли воду» и море снова стало «пухнуть»; необходимо было кончить съ уже-ньемъ, чтобы поспѣть во-время въ недалекое становище. Подъ самый конецъ удалось мнѣ видѣть то, о чемъ я только слыхалъ. Едва забросилъ я лесу, что-то быстро потянуло поплавокъ книзу; я сильно дернулъ, подскѣкъ: серебряная, довольно длинная навага забарахталась въ водѣ, и не успѣлъ я вытащить ее всю, какъ за хвостъ ея уцѣпилась другая навага, и обѣ не замедлили очутиться на береговомъ песку. Говорять, бываютъ случаи, что вытаскиваютъ такимъ образомъ сразу по три штуки, когда наваги много, а прожорлива она всегда.

Вечеръ опускался удивительно тихій. По мѣрѣ приближенія солнца къ горизонту, золотистая марь голубѣла, прояснялась, и по совершенно «слосѣвшему» морю, далеко кругомъ, виднѣлись поморскія шняки. «Бѣзымень» загуляла по поморью.





# СЦЕНЫ И НАБРОСКИ





## ЧТО ЛЮДЯМЪ ИНОГДА КАЖЕТСЯ?

---

Большая была радость для мужа и жены, когда у нихъ родился первенецъ. Нѣжно, нѣжно поцѣловалъ отецъ похолодѣвшій лобъ роженицы. Все прошло и кончилось благополучно, но могло быть очень худо. Мужу миновало лѣтъ тридцать, ей двадцать два. По заработкамъ, средства позволяли имъ жить въ Галерной гавани, тамъ, гдѣ прежде всего даютъ себя чувствовать наводненія.

Жили они хорошо, дружно.

— У васъ не будетъ больше дѣтей,—сказалъ женѣ, Алѣ, акушеръ, когда она выздоровѣла послѣ очень, очень трудной горячки.

У Али, при этихъ словахъ, съ сердцемъ произошло что-то болѣзненное; какъ будто въ немъ что-то одно за другое заскочило, что-то передернулось. Когда акушеръ ушелъ,—мужа не было дома въ это время,—она, подойдя къ люлькѣ малютки, долго стояла надъ нею и точно потеряла сознание; оно свѣялось. Она стояла, глядѣла на дитя, что-то соображала... и не могла сообразить...

И вотъ, вся любовь, вся энергія жизни въ Алѣ обратилась на ея ребенка. Мальчикъ подрасталъ

удивительный, прелестный, свѣтлоголовый, съ голубыми очами, ласковый и чрезвычайно смѣтливый.

— Неужели же онъ у меня дѣйствительно единственный, послѣдній?—думала часто Аля, видя его глубоко спящимъ, съ пылавшими здоровьемъ щеками, ровнымъ дыханіемъ, откинутыми за головку ручками и тою неподобною улыбкою, которая сбѣгаетъ съ годами съ лица человѣческаго навсегда, какъ съ неподходящей, оскудѣвшей, испорченной почвы.

Но бывали у Али мысли и хуже этой.

— Неужели же,—думалось ей,—онъ можетъ умереть? Умереть! онъ—этотъ мальчикъ? Да, да, можетъ, конечно можетъ...

И тогда впадала она въ то безотчетное состояніе какого-то тупоумія, какой-то идиотической несообразительности, которое сказалось впервые послѣ словъ акушера, когда она стояла надъ люлькою...

Но когда это летаргическое состояніе духа проходило, когда ласки ребенка обворожали ее, она становилась счастливою, даже веселою. Затѣмъ опять ужасная мысль, и опять летаргія, и все чаще, все продолжительнѣе.

А кругомъ то и дѣло, какъ нарочно, поднимались разные страхи: у сосѣдей справа—скарлатина; отдѣляла ихъ одна только легонькая, деревянная перегородка; сынишка проковырялъ даже дырочку въ обояхъ къ сосѣдямъ. Этажемъ выше объявилась оспа! Уѣхать бы куда нибудь!! Легко сказать! Невозможно! И все упорнѣе начинаетъ казаться Алѣ, что она непременно потеряетъ своего ребенка; а любить она его безпредѣльно, все сильнѣе, все беззавѣтнѣе, а всякіе страхи точно нарочно показываютъ свои безобразныя хари, то въ томъ, то въ этомъ видѣ.

Сначала Аля очень часто плакала, потомъ она

плакать перестала. Мужъ не замѣтилъ этого, не по-  
нималъ, какъ не понималъ и всего случившагося до  
сихъ поръ. А страхи только то и дѣлали, что воз-  
никали, роились, разнообразились; изъ-подъ ногъ  
выскакивали, въ окна лѣзли, съ дуновеніемъ вѣтра  
приносились. Аля не могла болѣе терпѣть этого.  
Прежде она плакала; теперь, почему-то, слезъ не хва-  
тало, а что нибудь дѣлать нужно, непременно нужно,  
потому что страхи одолеваятъ, а она ребенка ли-  
шиться не хочетъ, она его изъ рукъ не выпустить,  
ни за что не отдать, не выпустить...

Однажды представился ей случай къ непосред-  
ственному дѣйствию противъ одного изъ страховъ.  
Во дворъ, въ іюлѣ мѣсяцѣ, забѣжала бѣшеная со-  
бака. Дѣти, какъ нарочно, всѣ были во дворѣ въ  
эту пору. Мирные обитатели дома всполошились,  
но всѣ рѣшительно потеряли голову.

— Бѣшеная, бѣшеная!—слышалось отовсюду изъ  
растворенныхъ дверей и оконъ.

Ребятишки, испуганные общимъ гвалтомъ, без-  
сознательно бросились въ стороны: кто на лѣстницу  
вскарабкался, кто въ окно, кто на дрова полѣзъ.  
Дворника, и вообще мужчинъ, какъ это часто бы-  
ваетъ, налицо не оказалось. Сынишка Али былъ  
прытче, умнѣе прочихъ и раньше другихъ юркнулъ  
въ одну изъ растворенныхъ на лѣстницу горницъ  
нижняго этажа.

Собака, вбѣжавъ во дворъ, озадаченная всѣмъ,  
что подлѣ нея происходило, остановилась на сре-  
динѣ. Это былъ роскошный, рослый датскій догъ  
желтой масти; онъ опустилъ могучую морду, и обиль-  
ная, вязкая слюна, отвисла до земли; хвостъ былъ  
поджатъ; мутные глаза, налитые кровью, пучились,  
глядѣли и не глядѣли...

Аля не замѣтила, какъ и куда спрятался ея сы-  
ночекъ. Она видѣла передъ собою только давно же-

ланное воплощеніе одного изъ страховъ, пугавшихъ ея, воплощеніе, съ которымъ можно было потягаться, помѣряться! Это не то, что какія нибудь таинственныя scarlatina или оспа, или какъ ихъ тамъ всѣхъ называютъ, неуловимыя, крадущіяся, подлая болѣзни. Нѣтъ, это былъ воплощенный страхъ, на который можно было идти лицомъ къ лицу, грудь противъ груди, съ ножомъ, съ топоромъ...

Какъ была Аля въ своей комнатѣ за глаженьемъ бѣлья, въ пестрой юбкѣ и полуразвязавшейся рубашкѣ, простоволосая, неприбранная, выскочила она на дворъ съ утюгомъ въ рукѣ...

Во дворѣ она мгновенно остановилась. Точно ученая гимнастка, точно опытная воспитанница какого нибудь ипподрома, не спуская съ противника упорнаго взгляда, стала она, крадучись, тихонько подходить къ собакѣ, выглядывая, выжидая, соображая. Какая-то непривычная, кошачья гибкость сказывалась во всей фигурѣ Али; что-то хитрое, лисье, злое, рисовалось на ея красивомъ, слегка покоробленномъ лицѣ...

Затѣмъ послышалось, какъ изъ раскрытыхъ оконъ и дверей быстро ахнули всѣ многочисленные зрители этой сцены: посрединѣ двора, противники, сразу кинувшись одинъ на другого, сбились въ какую-то неясную кучу и подняли пыль.... Не прошло и двухъ мгновеній, какъ датскій догъ лежалъ мертвый у ногъ Али, съ головою, разбитою въдребезги. Удары утюга оказались страшными и такой невѣроятной силы, что буквально искрошили всю голову въ жидкіе клочья, въ кровавые куски.

Аля стояла надъ желтымъ мертвецомъ неподвижно. Подошли люди, благодарили, дивились, а она все не двигалась. Она медленно нагнулась, чтобы поцѣловать прибѣжавшаго къ ней сынишку, но рѣзкія мускульныя усилія не разрѣшили страшнаго нервнаго напряженія, — слезъ все-таки не было.

Людьми казалось, что Аля убила бѣшеную собаку. Неправда! Она убила одинъ изъ страховъ, одолевавшихъ ее...

И вотъ потянулись обычные дни, а съ ними прежніе страхи.

Мѣсяца черезъ два, часу въ одиннадцатомъ яснаго, но вѣтрянаго августовскаго утра, Аля, съ корзиною въ рукѣ, пробиралась по мосткамъ небольшой тони, стоявшей у самаго устья Невы. Шла ловля лососокъ. Подошли именины мужа. Мелкую рыбу можно было купить на тонѣ дешевле. Сынѣшку отправила она гулять съ тремя другими дѣтьми сосѣдей, въ сопровожденіи старухи, ютившейся въ домѣ, благодаря, главнымъ образомъ, этимъ прогулкамъ ея съ дѣтьми. Тотъ ее накормить, этотъ старое платье подарить, и жила старуха, и дѣтей гулять водила.

Побывавъ у булочника, зеленщика, завернувъ къ одной знакомой, позвать на именины, Аля пришла и на тонию. Нева, вздуваемая вѣтромъ съ моря, гудѣла темными, гребнистами волнами. На мосткахъ тони было чрезвычайно трудно держаться, и Аля то и дѣло схватывалась за шляпку. Подлѣ свай, на которыхъ покоились мостки, клекоталъ настоящий бурунъ.

Вдругъ—суета по толпѣ, стоявшей подлѣ домика рыбаковъ и главнаго ворота тони.

— Лови! держи! спасай!—раздавалось ей на встрѣчу.

Вихрь усиливался, бурунъ гудѣлъ, толпа суетилась; замелькали багры, веревки, люди бросились къ лодкѣ...

Ужась обуялъ сердце Али! Облеченѣло оно, когда она различила передъ собою двоихъ изъ тѣхъ четырехъ ребяташекъ, которые отправились гулять со старухою.

— Какъ? тутъ?—мелькнуло у нея въ мысляхъ.

И старуха тоже была ей видна. Неподвижная, отвернувшись лицомъ отъ взморья, подперши рукою локоть другой руки, она плакала, то и дѣло призывая имя Іисуса...

Какъ безумная пробѣжала Аля вдоль по мосткамъ, отдѣлявшимъ ее отъ тони, и остановилась на самомъ краю помоста...

— Сынъ мой! сынъ мой!—очерчивалось съ быстрой молніею въ затуманенномъ сознаніи Али.

Сѣрая пѣна, до дна подвижныхъ волнъ, мѣшала различать, что и какъ въ нихъ происходило. Вѣтеръ, ежеминутно крѣпчавшій, обрывалъ возгласы людей и разносилъ ихъ. Что-то бѣлое, небольшое, то вздымалось, то опускалось по разбушевавшейся хляби.

Окаменѣла Аля!

Видится ей какъ во снѣ, будто кто-то, изъ стоящихъ подлѣ, верхнее платье свое снялъ, ноги разулъ и бросился въ воду. Пѣна, волны, свистъ... Бѣлый предметъ то подкатывался, то отходилъ отъ свай тони... Плыветъ къ нему человѣкъ; борется... приблизился... схватилъ... назадъ плыветъ... Вотъ мелькнула брошенная веревка, и онъ поймалъ ее... Притягиваютъ...

Съ ребенкомъ на рукахъ вскарабкался на помость отважный, весь мокрый пловецъ, совершившій подвигъ. Почтительно, безмолвно, какъ всегда въ такихъ случаяхъ, раздалась толпа, открывая ему дорогу; дитя покоилось въ его рукахъ безъ сознанія, съ отвисшею головою, личикомъ къ небу. Съ длинныхъ, свѣтлыхъ волосъ, съ концовъ рукъ и ногъ обильно сбѣгала вода.

Случилось такъ, что пловецъ направился прямо къ Алѣ. Какъ стояла Аля, такъ и кинулась она ему

въ ноги, стала обнимать колѣни и жарко цѣловать ихъ... и плакать!

— Хороша мать! нечего сказать!—говорили въ толпѣ.—Дѣтей малыхъ въ такую пору данатонюводить...

— Не мать она, не мать ему!—выхныкивала старуха, тоже приблизившаяся къ пловцу, держа за руки двухъ другихъ дѣтей ей довѣренныхъ;—ея-то сынишка, говорила старуха, — дома остался, дома!

— Какъ такъ не мать?—раздалось одновременно съ разныхъ сторонъ.

Но Аля ничего не слыхала, ничего не различала, она плакала неудержимо, съ какимъ-то необъяснимымъ упоеніемъ! Давно позабытыя слезы, обильныя слезы являлись ей такими отрадными, такими добрыми, облегчающими... Въ помутившемся сознаниі Али совсѣмъ не ясно было:—сынъ, или не сынъ передъ нею? живъ или не живъ ребенокъ? Вѣроятно, что сынъ; двухъ другихъ дѣтей, гулявшихъ съ нимъ, она только что видѣла, а онъ былъ тоже со старухою! Но до этого ей не было дѣла, это было ей какъ будто все равно; онъ спасенъ, спасенъ! И она рыдала, рыдала во всю и тѣмъ самымъ возвращалась къ правильному сознанию, подъ ревъ и свистъ налетавшаго съ моря вихря...

Но кому бы, въ самомъ дѣлѣ, изъ людей, при видѣ рыдавшей на колѣняхъ Али, пришла въ голову мысль усомниться въ томъ, что дитя, мало-по-малу приходившее въ себя, не ея ребенокъ? Кто бы подумалъ, что Аля, разбившая утюгомъ голову желтаго дога, видѣла передъ собою не собаку, а какой-то ненавистный призракъ, скарлатину, оспу! И многое, многое въ жизни только кажется людямъ. Счастливъ ли этотъ веселый, смѣющійся? Нужно ли почтить и утѣшить вотъ эту печаль и не расхохотаться ли надъ нею? Велико, обманно въ жизни людской слово: кажется...



## СЛОВА НА УЛИЦѢ.

---

«Можно ли—такъ думалъ человѣкъ среднихъ лѣтъ, приличной наружности, порядочно одѣтый—можно ли изъ отдѣльныхъ словъ и фразъ, доносящихся до слуха на улицѣ, составить себѣ какой либо характерный узоръ, картинку, что либо такое; что бы говорило о сегодняшнемъ днѣ, о характерѣ времени и рисовало бы ихъ?»

И было это въ Петербургѣ, и вышелъ гулять по улицамъ его этотъ странный человѣкъ, задавшійся подобною мыслью.

— Эй! берегись!—рявкнулъ надъ самымъ ухомъ его кучеръ въ шляпѣ съ кокардой, круто осадивъ сѣрыхъ въ яблокахъ коней.

— А еще баринъ!—добавилъ кучеръ, взглядывая на сторону съ высокихъ козелъ и, тронувъ возжами; кони подхватили.

— Осторожниѣе, осторожниѣе!—раздалось изъ отвореннаго окна кареты и изъ него глянуло хорошенькое, сильно набѣлшенное личико испанки или итальянки.

Странный господинъ, среднихъ лѣтъ, остановился во-время.

«Вотъ они, первая встрѣчныя слова! Ну, какъ же

нельзя, конечно можно картинку себѣ составить», отвѣтилъ онъ самъ себѣ. «Берегись» — съ одной стороны и на первыхъ же шагахъ: тотчасъ вслѣдъ затѣмъ — «осторожнѣй» — съ другой, а между обоими характерное «а еще баринъ!» Прежде эти слова чаще звучали.

Господинъ направился большою торною улицею — Невскимъ проспектомъ.

День былъ осенній и пасмурный; вмѣсто солнца проглядывало иногда пятно; вмѣсто вѣтра дули изъ-подъ воротъ и на углахъ улицъ сквозняки; вмѣсто снѣга, дождя или тумана опускалась иногда изъ атмосферы какая-то недостаточно обслѣдованная, не имѣющая имени, будущая слякоть; нельзя сказать тоже, чтобы она, эта слякоть, опускалась, или падала, или сыпалась, — нѣтъ, она какъ будто новаго глагола въ богатомъ русскомъ языкѣ для своего схождения на землю ожидала.

— Полная неопредѣленность, полная! — слышится господину на перекресткѣ двухъ улицъ. — Вотъ хоть бы министерство путей сообщенія...

Господинъ даже улыбнулся, такъ кстати явилось это восклицаніе для объясненія чудесной картинки природы, развертывавшейся передъ нимъ во всей ея мѣстной прелести.

Дома громоздились съ обѣихъ сторонъ, высокіе, одинъ другого вычурнѣе; магазины красовались одинъ другого богаче, пестрѣе. Въ окнахъ ихъ видѣлись характерныя надписи: «безъ обмана», «безъ запроса», и т. п.

«Значить много существуетъ обмановъ и запросовъ, если такія надписи въ торговлѣ красуются, или правда, что «не надуешь — не продашь», — подумалъ господинъ, остановившись передъ какимъ-то магазиномъ олеографическихъ картинъ, противъ Казанскаго собора.

Въ двухъ окнахъ, приходившихся на полдень, стояли выставленными двѣ картины: на одной изображалась ночь на серебряной рѣкѣ, ясная, лунная; рѣка обозначалась излучинами; небольшой хуторокъ виднѣлся на берегу, съ красными огоньками, пылавшими въ окнахъ. На другой картинѣ, съ надписью: «Поѣздъ стоитъ три минуты», изображена была желѣзнодорожная станція: свѣтъ фонарей локомотива прорѣзывалъ могучими бѣлыми лучами тьму ночи; по сторонамъ довольно слабо обозначались постройки и люди. Обѣ картины ярко освѣщались фонаремъ, закрытымъ отъ смотрѣвшихъ въ окна, непроницаемымъ для свѣта щитомъ. День былъ настолько пасмурный, что искусственное освѣщеніе картинъ было необходимо.

«Красиво, очень красиво!»—подумалъ господинъ. «Но только вѣдь это фокусы, вѣдь тутъ фонарь, прикрытый для меня щитомъ, бросающій свой свѣтъ на картины и дающій имъ эту удивительную яркость—главная дѣйствующая сила. Это ужъ не то, что надписи въ магазинахъ: «безъ обмана», напротивъ того, это несомнѣнный, царящій, патентованный обманъ. И какъ онъ въ ходу!»

Дѣло шло къ полдню и надо было закусить. Доминикъ подѣ бокомъ. Едва только входилъ въ него посѣтителъ, какъ тотчасъ же и на первыхъ шагахъ поражался онъ нѣсколькими надписями, глядѣвшими изъ нѣсколькихъ мѣстъ разомъ и на разныхъ языкахъ: «посѣтителей просятъ наблюдать за своими шубами и прочими вещами», «messieurs sont priés de surveiller», и т. д.

У господина въ карманахъ пальто ничего, кромѣ носового платка, не было, портмоне помѣщалось въ брюкахъ, и онъ, поблагодаривъ мысленно хозяина ресторана за предупредительность, не боясь воровъ, спросилъ закуску, уничтожилъ ее, прочелъ газету

и тотчасъ же двинулся дальше съ тѣмъ же желаніемъ возсоздать картинку жизни по словамъ, уловленнымъ на улицѣ. Онъ направился въ Большой театръ за билетомъ, посѣтилъ знакомаго на Васильевскомъ островѣ и опять очутился, по пути къ дому, на Большой Морской. Народу много, пришлось идти шагъ за шагомъ. Всякія, самыя разнообразныя слова сыпались отовсюду обильно.

— Завтра хоронять его; будешь?

— Ну его! вѣдь поминокъ не сдѣлаютъ!

Немного дальше:

— Хотятъ опять упорядочить экспертизу.

— Да, вѣдь это ужъ было...

Немного дальше:

— Мими, взгляни на Зизи! она опять въ интересномъ положеніи.

— Благородное занятіе... назначеніе женщины. Смѣшно! но законно...

— Нельзя ли не толкаться!—грубо и неожиданно прозвучало надъ ухомъ господина, заглядѣвшагося, по указанію Мими, на Зизи въ интересномъ положеніи.

— Виновать!—робко отвѣтилъ господинъ, сторонясь и давая дорогу тучному и щеголевато одѣтому франту. Онъ хотѣлъ было сказать ему, что невѣжливость никакъ не на его сторонѣ, но воздержался; это было ему тѣмъ легче, что Зизи оказалась хорошенькою и было что прослѣдить глазами.

Дамы скрылись и путешествіе наблюдательнаго человѣка продолжалось.

— Присяжные, это такое зло...

Черезъ нѣсколько шаговъ:

— Напротивъ, институтъ присяжныхъ—апогей челоѣческой совѣсти...

— Купилъ, это, онъ акціи «Вулкана», а «Надежды» продалъ, и на разницу...

— Приходитъ онъ, это, домой усталый, а она въ это время, жена-то... фить!

— Если бы еще купоны не были отрѣзаны, а то купоновъ слѣда нѣтъ, а вѣдь они металлическіе!

— Думаль, думаль — пить началъ, ну и пьетъ горькую...

— Поручикомъ семнадцатый годъ, вѣришь ли...

— Совсѣмъ ни на что не похоже, только и ставить, что свои пьесы... охъ, ужъ эти присяжные поставщики репертуара.

— Брррысь! негодная...

Послѣдній возгласъ былъ произнесенъ какимъ-то оборванцомъ по адресу чудеснаго сенбернардскаго пса. Собака, повидимому, вовсе не привыкшая къ такому обращенію, съ достоинствомъ остановилась и глядѣла въ упоръ на оборванца, обозвавшего ее негодною. Ей вовсе не хотѣлось исполнить сдѣланнаго ей предложенія; напротивъ того, она тихонько двинулась на своего оскорбителя, которому ничего другого не оставалось, какъ юркнуть въ сторону, что онъ и исполнилъ. Собака не удостоила его преслѣдованіемъ; она молчала и, такъ сказать, словъ попустому не тратила.

Давка на улицѣ становилась все сильнѣе, идти свободно было не легко, приходилось то останавливаться, то лавировать. Выдалась такая минута, что въ ближайшей толпѣ разговоровъ не слышалось никакихъ.

Господинъ взглянулъ на лица.

Красиваго ни одного; нервныхъ, болѣзненныхъ много; умныхъ... вотъ умныхъ лицъ мало, очень мало...

«Да не оставляютъ ли эти люди, — подумаль господинъ, — настоящихъ выраженій своихъ лицъ дома и, выйдя на улицу, стараются казаться не тѣмъ, что они есть въ дѣйствительности?»

Въ это время подлѣ тротуара раздался между

экипажами какой-то рѣзкій, сильный трескъ. Колесо извозчичьихъ дрожекъ застряло въ подножкѣ дверецъ очень нарядной кареты.

— Чортъ, лѣшій!

— Самъ дьяволъ.

— Кнутомъ его...

— Попробуй—самъ кнутомъ получишь...

Движеніе экипажей должно было временно приостановиться. Подошли полицейскія власти.

— Покажи, дуракъ, номеръ!

— Ваше благородіе...

— Не своей держишь, дьяволъ!

— Позвольте вашу фамилію,—говоритъ полицейскій, вѣжливо обращаясь къ дамамъ, сидѣвшимъ въ каретѣ.

— Ils sont insolents ces gens-là! слышится отъ одной изъ нихъ.

— Какъ изволите говорить?

Фамилія была наконецъ сообщена, колесо освободили, движеніе по улицѣ возстановилось.

Толкотня слишкомъ долгая вообще непріятна, и господинъ, наскучивъ толкотнею, своротилъ въ очень тихій сравнительно переулочекъ, въ Кирпичный.

— Христа ради для праздника... слышится справа отъ какой-то сѣрой фигуры.

Подбѣжали двое мальчишекъ.

— Баринъ, дай на хлѣбъ, со вчерашняго не ѣли...

Говоря это, одинъ изъ мальчишекъ, позабывъ должно быть свой доводъ, будто они два дня не ѣли, грызъ огромную булку...

— Вишь, юродивый, на хлѣбъ проситъ, хлѣбъ жретъ! не давай ему, баринъ!—возгласилъ неожиданно другой мальчикъ, подбѣжавъ съ другой стороны:— дай мнѣ!

У этого мальчика въ рукахъ была колбаса...

Между ребятами завязалась немедленная пота-

Мужъ и жена только что читали сказки Кириши Данилова, сидя подлѣ камина, и заспорили. Пошла у нихъ распря изъ-за Добрыни Никитича и красавицы Марины Игнатьевны. Ну, чего бы имъ, казалось, изъ-за этого спорить? Далекое время, неподходящіе люди. Что имъ Добрыня, что Кириша?

Сказочная Марина Игнатьевна была, повидимому, женщиною чрезвычайно легковѣрною. Въ сказкѣ не объяснено того, былъ или не былъ съ нею счастливъ Добрыня Никитичъ, до красивой сцены ревности, описанной повѣствователемъ такъ:

«Идетъ Добрыня мимо терема Марининаго и видитъ: сидятъ на немъ два сизыхъ голубя и милуются.

— Насмѣются они надо мною, эти голуби! думаетъ Добрыня; стрѣльнулъ онъ по нимъ изъ тутаго лука, да не попалъ, потому что нога поскользнулась. Въмѣсто голубей хватилъ онъ въ окно.

Стрѣла Добрынина не то что простая стрѣла, а богатырская: понятно, что расшатались отъ ея удара столбы въ терему.

Красавица Марина тѣмъ временемъ умывалась, снаряжалась.

— А и кто это ко мнѣ, невѣжа, въ окошко стрѣляетъ?—крикнула она.

Не спроста показалось Добрынѣ, что голуби, на крышѣ сидя, надъ нимъ насмѣхаются; ревнивый Добрыня уже зналъ, что у него соперникъ есть, Змѣй Горынычъ по имени, и что онъ у Марины часто посиживаетъ, а можетъ и теперь сидитъ?

Произошло, наконецъ, между обоими соперниками побоище. Змѣй Горынычъ Добрыню чуть огнемъ не спалилъ, чуть хоботомъ не ушибъ, а все-таки ему, Змѣю, бѣжать пришлось, да и какъ бѣжать... прочтите въ сказкѣ.

Увидала Марина, что ея милый Змѣй прочь бѣ-

жить: высунулась она по поясъ въ окно, какъ была, въ одной рубашкѣ, да и кричитъ ему вслѣдъ:

— Воротись, милъ-надежа, воротись, другъ, я Добрыню въ клячу водовозную оберну, рогатымъ туромъ сдѣлаю.

Марина была колдуньею.

И обернула она,—говорить сказка,—Добрыню въ тура и дала ему золотые рога.

Сказанное все устроилось. Марина зажила такъ, какъ сердце ей подсказывало, зеленымъ виномъ упивалась, съ княжескими дитятами водилась. А Добрыня, тѣмъ временемъ, по полямъ гнѣдымъ туромъ гуляетъ, траву щиплетъ, золотыми рогами поблескиваетъ. Взяла тогда Марину охота за него, за Добрыню, за тура, замужъ выйти; полетѣла она въ поле, сѣла на Добрыню, на правый рогъ.

— Нагулялся ты, Добрыня,—говорить она ему:— не хочешь ли, Добрыня, на мнѣ жениться? возмешь ли меня за себя?

— Возьму,—отвѣчалъ ей Добрыня:—и дамъ тебѣ, Марина, поученьице, какъ мужья своихъ женъ учать.

Тогда обратила Марина гнѣдаго тура въ добраго молодца, поженились они въ чистомъ полѣ, повѣнчались вокругъ ракитова куста, и пришли къ Маринѣ въ теремъ»...

Вотъ тутъ именно и начинается та исторія, изъ-за которой у читавшихъ сказку, мужа и жены, ссора произошла.

— «А отъ чего, говоритъ Маринѣ Добрыня, войдя въ теремъ: нѣтъ у тебя въ терему Спасова образа, не на кого помолиться?

И сталъ онъ жену учить, ее, еретницу, ее, безбожницу. Въ первое ученье онъ ей руку отсѣкъ:

— Эта рука,—проговорилъ онъ:—мнѣ не надобна, она Змѣя Горыныча трепала.

Во второе ученье онъ ей ногу отсѣкъ:



— Эта нога мнѣ тоже не нужна, она близко къ первой винѣ виновата.

Въ третье ученье онѣ ей губы обрѣзаль съ носомъ прочь.

— Эти губы мнѣ не надобны,—проговорилъ онѣ:—потому что онѣ Змѣя Горыныча цѣловали.

Кончилъ Добрыня свое ученье тѣмъ, что всю голову женѣ отсѣкъ.

— Это ужасно! Это безчеловѣчно!—почти вскрикнула молодая женщина, слушавшая какъ ей сказку читали.

— Я нахожу,—отвѣтилъ мужъ:—что такъ это и должно было быть.

— Да вѣдь онѣ никакого права на Марину до свадьбы не имѣлъ, она была свободна! Если бы послѣ свадьбы—я понимаю...

— Онѣ любилъ ее, вотъ его право!

— Но она Змѣя Горыныча раньше любила.

— Нечего сказать, хорошъ соперникъ, съ хоботомъ.

— О вкусахъ не спорять.

— Ну, знаешь ли,—возразилъ мужъ:—если бы это со мною случилось, чтобы ты меня на урода съ хоботомъ промѣняла...

— А на неурода можно?—возразила жена и, обиженная, встала съ мѣста.

Онѣ ничего не отвѣтилъ и они поссорились.

По уходѣ жены, мужъ остался, какъ былъ, сидѣть передъ каминомъ. Дѣло шло къ ночи. Лампа подъ абажуромъ горѣла очень ярко. Дрова въ каминѣ пылали еще ярче. И сталъ онѣ смотрѣть на эти дрова, потому что поссорился. Чѣмъ не огненные замки, чѣмъ не жилища пламенныхъ людей? Какія-то причудливыя арки, своды, столбы въ горящихъ дровахъ. Даже подъемный мостъ есть. И что-то, какъ будто, по мосту движется; это голубенькое пламя

перебѣгаетъ, это красные угольки обваливаются, это раскаленная зола сыпается. Чѣмъ не своеобразная жизнь, чѣмъ не сказка?

«Сказка ли жизнь? А Богъ ее вѣдаетъ! Только не слѣдовало мнѣ жену сердить», думаетъ онъ. «Это ужъ не сказка, а дѣйствительность, и очень печальная. Вѣдь вотъ теперь время спать ложиться, а Добрыня Никитычъ намъ спать помѣшалъ. А хорошее дѣло сонъ... Не сонъ ли и самая жизнь? Кто знаетъ, можетъ быть и сонъ... А хотѣлось бы мнѣ знать! помирится она или не помирится, придетъ или не придетъ? Или мнѣ пойти?»

А огненные замки въ каминѣ все попрежнему держатся, не рассыпаются, горятъ, пламенѣютъ... И представляется ему, что онъ будто самъ въ замокъ входитъ и что первымъ живымъ существомъ встрѣчаетъ онъ ее, жену. Она, какъ и замокъ, вся пламенная, но только не того подвижного пламени, какъ все остальное, а какого-то особеннаго, ровнаго, неподвижнаго, какъ бы электрическаго, матоваго пламени, разныхъ цвѣтовъ, въ родѣ тѣхъ свѣтовыхъ видѣній, что на сценахъ въ небесахъ появляются.

И вдругъ подлѣ нея, какъ бы вы думали! самъ Кирша Даниловъ стоитъ.

Почему это былъ именно Кирша Даниловъ, а не кто другой, опредѣлить трудно, такъ какъ обликъ Кирши рѣшительно никому неизвѣстенъ; на обликъ была казачья шапка, усы на отвѣсъ, длинные-предлинные. Поглядѣли другъ на друга, заговорили.

— Скажите, пожалуйста, господинъ Кирша Даниловъ, дѣйствительно ли Добрыня Маринѣ голову отрѣзалъ? Жена моя на это разсердилась.

— Отрѣзалъ.

— Но вѣдь онъ права не имѣлъ, такъ какъ Марина до выхода за него замужъ была свободна дѣлать что ей угодно? Это тоже женино мнѣніе!

— Отрѣзалъ.

— А точно ли вы знаете, господинъ Кирша?

— Какъ не знать—самъ сочинилъ. Только изъ-за чего тутъ вамъ-то ссориться? Сказано, что сказка. Да и самъ-то я, сочинитель, Кирша Даниловъ, точно ли я жилъ, или и меня сочинили—это доподлинно тоже неизвѣстно, а вы ссоритесь! Ну изъ-за чего!? Сказка—сказкой, самъ Кирша подъ сомнѣньемъ, изъ-за чего же ссориться?

— Да я и самъ не знаю изъ-за чего,—отвѣтилъ мужъ.

— И все-то у васъ въ жизни такъ идетъ, сами себѣ страду сочиняете,—добавилъ мудрый Кирша.

Онъ былъ мудрый, потому что не существовалъ.

— А скажите, господинъ Кирша, только по секрету, такъ скажите, чтобы, вотъ, она, эта электрическая женщина, жена моя, которая подлѣ васъ въ пламени углей стоитъ, не слыхала, какія это слова у васъ не напечатаны, точками обозначены въ самыхъ сильныхъ мѣстахъ? Любопытно бы... только, пожалуйста, потихоньку!

— Есть у васъ карандашъ съ собою, запишите,—отвѣчаетъ Кирша.

И только-что началъ Кирша Даниловъ пропущенныя, запрещенныя слова сообщать, какъ всколыхнулся огненный обликъ женщины, направился къ спрашивавшему, нагнулся къ нему... и почувствовать мужъ на лбу своемъ теплый, робкій поцѣлуй, и обняли его, и назвали по имени...

То была дѣйствительно она, жена, но не сказочная, не электрическая, а живая...

«Жизнь! жизнь! какъ ты хороша бываешь иногда,—думалось мужу—какъ хороша... и зачѣмъ это люди ссорятся?»

Они помирились...



## С Л У Ч А Й.

---

Чахоточная барышня, Евгения М\*, окруженная семьею своею, глубоко опечаленною почти несомненно дурнымъ исходомъ болѣзни, находилась года три назадъ на водахъ въ Соденѣ. Были тамъ и другіе русскіе. По вечерамъ, когда играла музыка, и людская толпа наводняла тѣнистыя аллеи стараго, хорошо содержимаго парка, солнце, склоняясь за ближнія горы, словно подглядывало подъ густую сѣнь столѣтней листвы,—что такъ красиво и такъ быстролетно. Солнце выдавало, съ особенною наглядностью, грустное, молчаливое присутствіе смерти на лицахъ многихъ больныхъ, большею частью молодыхъ, и неуклонное, тихое вѣяніе смерти обозначалось яркими чахоточными румянцами. Раскаты музыки, пестрота одѣяній, порою веселый говоръ, нисколько не ослабляли этого тлетворнаго вѣянія, шедшаго между листьевъ и стволовъ парка, отъ синѣвшихъ издали возвышенностей, шедшаго, Богъ вѣсть почему, именно здѣсь, къ этимъ безвременнымъ жертвамъ, къ этимъ обреченнымъ, по исполненію какого-то свирѣпаго, неумолимаго закона, во имя какихъ-то непостижимыхъ, обидныхъ necessities.

Подлѣ одного изъ круглыхъ столиковъ сидѣла большая семья Евгени; дамы работали, мужчины курили, подходили знакомые, и въ числѣ ихъ Петръ Петровичъ Шоновъ, одинъ изъ немногихъ юныхъ соотечественниковъ нашихъ, отличавшихся тѣмъ, что онъ исходилъ пѣшкомъ всѣ красивѣйшія мѣста Швейцаріи, Тироля и Германіи. Здѣсь, въ Соденѣ, встрѣтилъ онъ много знакомыхъ, и, вмѣсто того, чтобы остаться одинъ день для отдыха, просидѣлъ цѣлую недѣлю. Евгению зналъ онъ по Петербургу, и съ первой минуты встрѣчи съ больною дѣвушкою, еще на берегахъ Невы, въ него вошли совершенно единовременно два чувства: дѣвушка несомнѣнно нравилась ему, но жениться на ней было бы совершеннымъ безуміемъ, да и родные ея едва ли бы дали согласіе. Дѣвушкѣ молодой человѣкъ тоже нравился.

Разговоръ за столикомъ шелъ на разныя темы; заговорили, между прочимъ, о значеніи визитовъ вообще. Евгениа и Петръ Петровичъ оказались разныхъ мнѣній.

— Я,—говорила Евгениа:—лично отъ себя визитовъ еще не дѣлала, всегда съ татап, но не разъ убѣждалась въ томъ, насколько они полезны; только благодаря визитамъ имѣется возможность видѣть рѣдко того, кого не хочется видѣть часто.

— Можно совсѣмъ не видѣть,—возразилъ Петръ Петровичъ.

— Конечно, можно, но тогда это — ссора, которая по тысячѣ причинъ можетъ быть непріятна другимъ людямъ, роднымъ и знакомымъ.

Мнѣніе Евгениу поддержало большинство сидѣвшихъ за столикомъ. Вслѣдъ за этимъ разговоръ, сдѣлавъ, какъ это бываетъ часто, нѣсколько совершенно безтолковыхъ и не имѣющихъ значенія скачковъ, сосредоточился на воспоминаніяхъ о зимнемъ

сезонѣ въ Петербургѣ; заговорили о праздникѣ Рождества; и тутъ опять мнѣнія дѣвушки и молодого человѣка разошлись совершенно.

— Да развѣ,—говорила Евгенія:—вамъ не нравится елка, со всѣмъ тѣмъ, что ей предшествуетъ и какъ она сама проходитъ; я не знаю, какъ другіе, но радость маленькихъ, да и большихъ дѣтей подлѣ елки бываетъ обыкновенно совершенно неподдѣльна, и я такъ люблю ее.

Дѣвушка очень любила дѣтей; потому ли, что чувствовала и сознавала, что радости имѣть своихъ дѣтей ей не вѣдать, но только любила она ихъ особенно сильно.

— Радость эта,—возразилъ Петръ Петровичъ:—вся состоитъ въ подаркахъ.

— А если бы и такъ?

— Но это развиваетъ дурныя наклонности: зависть, жадность, стремленіе къ задабриванію, лесть, заискиванія.

— Значить, всѣми этими качествами вы непременно обладаете, Петръ Петровичъ,—быстро и даже вспыхнувъ, отвѣтила Евгенія:—вѣдь были же у васъ въ свое время елки; ихъ зажигали для васъ, и онѣ участвовали въ вашемъ образованіи...

Петръ Петровичъ вспыхнулъ; онъ не нашелся даже, что ему отвѣтить,—такъ быстро налетѣло на него возраженіе Евгеніи; вѣроятно, онъ отвѣтилъ бы что-нибудь, но тутъ помѣшало общество, сидѣвшее вокругъ столика, смѣхомъ своимъ, вполне сочувственнымъ словамъ дѣвушки; это окончательно сбilo его съ толку.

— Вы, надѣюсь, не сердитесь на меня,—проговорила Евгенія, замѣтивъ его замѣшательство и протянувъ ему руку.

Петръ Петровичъ былъ сбить этимъ окончательно. Онъ слышалъ, какъ сквозь сонъ, что кру-

гомъ него попрежнему играетъ музыка, видѣль, что подлѣ очень большое общество, что солнце садится за горами, погружаясь въ яркій пурпуръ, что надъ круглымъ столикомъ темнѣетъ листва столѣтнихъ деревьевъ, и сквозь нее проглядываетъ зелено-вато-хрустальное небо,—но отвѣтить не могъ онъ ничего. Онъ слегка пожалъ поданную ему Евгеніею руку и поклонился; рука дѣвушки была горячая и влажная, и тонкіе пальцы ея—такъ безконечно нѣжны и хрупки, что передъ Петромъ Петровичемъ сразу, во всеоружіи, въ полной ясности и непосредственности, возникла временно забытая мысль о томъ, что онъ говорилъ съ больною,—и съ какою больною? Эта полнота, цѣльность, эта мгновенность возникновенія тяжелой мысли о возможности близкой смерти, во всемъ ея угнетающемъ значеніи, совершенно поглотила и удручила его. Если бы всѣ трагическіе мотивы какой нибудь хорошей оперы, если бы всѣ потрясающія сцены какого-нибудь высоко-художественнаго романа или драмы могли сразу, вдругъ, воздѣйствовать на слушателя и зрителя—такъ, какъ они дѣйствуютъ въ одиночку и во времени; если бы представилась какая-нибудь физическая возможность достигнуть этого невѣроятнаго единовременнаго воздѣйствія, не преображая гармоніи и смысла cadaго изъ отдѣльныхъ мотивовъ въ неистовую разногласицу полнѣйшихъ противорѣчій; если бы удалось, наконецъ, достигнуть этого наперекоръ всякой фізіологіи и патологіи челоѣка,—то тогда зритель, или слушатель, испыталъ бы нѣчто подобное тому, что испыталъ Петръ Петровичъ при пожатіи молодой, влажной, горячей руки дѣвушки, нравившейся ему и обреченной на смерть. Все, все рѣшительно, что было кругомъ: паркъ, музыка, люди, золото заката и темень листвы—словно отступили куда-то вдаль, въ ничто, попятились передъ мощ-

нымъ возникновеніемъ мысли о смерти, вышедшей откуда-то какъ бы изъ зеленоватыхъ небесъ и воплотившейся въ пожатіи руки...

Въ Соденѣ, во вниманіе къ больнымъ, ложатся спать рано: городокъ засыпаетъ вполнѣ, словно задвинувшись своими древними дубами, кленами и липами, какъ закрываются очи отяжелѣвшими вѣками; и только поблескиваютъ въ улицахъ горящіе, Богъ знаетъ для кого, газовые рожки, помогая классическимъ для Германіи ночнымъ сторожамъ изучать свои длинныя, неуклюжія, медленно двигающіяся тѣни.

Прошло лѣто, за нимъ—осень, и наступила зима. Все общество, сидѣвшее въ Соденѣ за столикомъ, очутилось въ Петербургѣ. Не было только одной Евгеніи: она сильно простудилась въ октябрѣ, и въ концѣ ноября ея не существовало. Нѣтъ и не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что печаль о безвременной смерти дѣвушки повліяла на Петра Петровича и, ко времени наступленія рождественскихъ праздниковъ, онъ находился еще подъ нѣкоторымъ ея впечатлѣніемъ.

Въ сочельникъ утромъ, 24 декабря, приходитъ къ нему братъ его Осипъ Петровичъ, человѣкъ женатый, счастливый отецъ пяти ребятишекъ, и зоветъ къ себѣ на елку.

— Не приду, подарки пришлю,—отвѣтилъ онъ, протянувъ брату руку и не вставая со стула, стоявшаго подлѣ письменнаго стола.

— Да вѣдь женѣ и мнѣ не въ подаркахъ, а въ томъ, чтобы дядюшка былъ налицо!

— Всѣ дядюшки въ полномъ комплектѣ?—много будетъ. Что это у тебя въ рукахъ?.. спросилъ Петръ Петровичъ брата, замѣтивъ какую-то фотографическую карточку.—cabinet-portrait.



— На лѣстницѣ у тебя поднялъ; но такъ какъ швейцара у васъ нѣтъ,—вы еще не доразвились до этого,—то и не знаю, какъ поступить, кому отдать. Хорошенькая!

Петръ Петровичъ взялъ карточку въ руки и откинулъ тонкую бумажку, прикрывавшую овалъ портрета.

— Она!.. Евгенія!..

Быстро поднялся онъ съ мѣста и прикрылъ карточку бумажкою, только что откинутою имъ.

— Что? знакомая? обронила!—проговорилъ, улыбаясь и подтрунивая, Осипъ Петровичъ, оставивъ шляпу на столъ и готовясь закурить папиросу.

Первымъ побужденіемъ Петра Петровича было броситься на брата, будто онъ глубоко, смертельно оскорбилъ его,—но это побужденіе было осилено въ самую минуту его зарожденія, какъ безусловно нелѣпое. Онъ снова приблизилъ къ лицу карточку, снова откинулъ съ нея бумажку и молча глядѣлъ на знакомыя милыя черты лица; кажется, даже платье было то же самое, только сѣрые тоны фотографіи не передавали румянца щекъ и удивительной лазурности очей покойной Евгеніи.

— Нѣтъ, вскочилъ-то ты зачѣмъ? Кто она?—спросилъ Осипъ Петровичъ, садясь на диванъ и чиркая по спичечницѣ спичкою.

— Ради Бога... пробормоталъ Петръ Петровичъ:—она—покойница! молчи!

Взволнованность брата сказалась слишкомъ ясно, слишкомъ сильно, чтобы не остановить дальнѣйшихъ разспросовъ со стороны Осипа Петровича. Онъ только смотрѣлъ на него, объятый великимъ, но скрытымъ, во вниманіе къ совершившемуся, любопытствомъ. Да и напрасно сталъ бы онъ разспрашивать.

«Визитъ... подарокъ... елка... Да, да! мы обо всемъ

этомъ говорили съ нею тогда, въ Соденѣ... случай, конечно... однако какой удивительный случай!.. Кто нибудь обронилъ... и отчего же на моей лѣстницѣ?!

И чудилось Петру Петровичу, неподвижно смотрѣвшему на карточку, что подлѣ него, подлѣ стола, близехонько, виситъ она, вся прозрачная, по минованіи смерти, своею безплотностью, еще сіяющая тою восхитительною улыбкою, которая была ей свойственна и которую она такъ безвременно унесла съ собою. Ему вспоминалось съ невѣроятною ясностью прикосновеніе горячей, влажной руки подъ темною листвою деревьевъ, при боковыхъ лучахъ заходившаго солнца; ему чудилась музыка, люди... солнечный закатъ наводилъ лучами своими комнату.

«Тамъ, тогда,—думалось ему:—я почувствовалъ ясно приближеніе, вѣяніе смерти; тутъ, сегодня, свидѣтельствуется какъ будто бы какая-то жизнь?! Откуда это? Тамъ — непосредственное прикосновеніе руки, но вѣдь и тутъ—тоже прикосновеніе, какъ взглядомъ моимъ, такъ и рукою, къ чему-то непосредственно ей принадлежавшему... нѣтъ, принадлежащему ей облику»...

Петръ Петровичъ провелъ одною рукою по лбу, а въ другой продолжалъ держать карточку. Визитъ... подарокъ... елка... Онъ обвелъ глазами по комнатѣ; на диванѣ сидѣлъ братъ и заботливо глядѣлъ на него, не прерывая молчанія.

Все это случай, несомнѣнно, случай,—но хорошо, что Петръ Петровичъ не заглянулъ въ лежащій на столѣ календарь: 24-го декабря—день, въ который сказанное случилось—день празднованія преподобной мученицы Евгеніи.

## ВОСКРЕСШІЕ.

---

Заутреня и обѣдня только что отошли. Маня, восемнадцатилѣтняя Маня, безумно любившая своего жениха, выбравшись втихомолку изъ дома, накинувъ наскоро пальто, почти бѣжала по улицѣ въ недалекую церковь, освѣщаемая пламенемъ зоревыхъ огней. За нею, по ея приказанію, слѣдовала и едва поспѣвала горничная.

Вѣчно перемѣщающаяся по календарю Пасха начиналась въ тотъ годъ въ первыхъ числахъ апрѣля. Календарь сообщалъ, что солнце восходитъ въ четыре часа сорокъ-восемь минутъ, но къ этому времени улицы Петербурга тянулись уже залитыя полнымъ сіяніемъ, потому что съ востока давно наплывало такъ необъятно много золотисто-краснаго свѣта, что эта пасхальная зоря свѣтилась сама по себѣ настоящимъ днемъ.

На улицахъ водворились тѣ удивительныя тишина и пустота, которыя поражаютъ быстротою своего водворенія. Только что въ ночи суетился на ногахъ весь городъ, а часа черезъ четыре онъ снова будетъ весь на ногахъ; но въ эти часы все городское населеніе будто сразу сократилось, исчезло.

На опустѣвшихъ мостовыхъ, гораздо замѣтнѣе, чѣмъ днемъ, гуляли, воркуя, голуби, и прыгали, чирикаая, воробушки. Главное населеніе улицы въ эти короткіе часы—извозчики—и тѣ попрятались за недостаткомъ сѣдоковъ и прикармливали лошадей, готовясь къ большой ѣздѣ.

И встрѣчныхъ не было. Маня бѣжала быстро. Румяными барашками, будто волнистымъ руномъ съ краснымъ отливомъ шелка, покрылось голубое небо. Агнецъ пасхальный и барашки облаковъ въ зоревыхъ огняхъ смѣшивались въ мысляхъ Мани, едва освѣжаемыхъ утреннимъ холодкомъ. Холодокъ этотъ чувствовала она совершенно ясно, слегка дрожала, но двигалась она въ этомъ холодкѣ, увлекаемая потокомъ недавняго, страшнаго сна. Сонъ подгонялъ ее.

Ей, не пошедшей къ заутрени вслѣдствіе нездоровья матери, случилось нѣчто совсѣмъ необычайное. Она очутилась вдругъ, гдѣ-то, какъ-то, въ безплотномъ обществѣ воскресшихъ людей, и такъ какъ сны не придерживаются никакой логики, то всѣ эти воскресшіе, многихъ изъ которыхъ она знавала, а нѣкоторые были ей очень близки и дороги, и умерли въ разное время, окружали ее точно такими, какими были въ жизни, не измѣнивъ ни одѣяній, ни голоса, ни движеній. Разница между ними и живыми состояла только въ томъ, что они воскресли.

Общество большое, пестрое, пріятное...

Авдотья-няня! старенькая, сутуловатая, въ платочкѣ на головѣ, обвязанномъ такъ, что сѣденькихъ волосъ почти не видно; съ вѣчной сказочкой на устахъ и пряниками, и ключами въ карманахъ. Няня! голубушка, милая! воскресла?

Отецъ! Маня долго говорила съ нимъ, да, да, говорила, поцѣловала; онъ обнялъ, благословилъ. Онъ почему-то въ халатѣ, въ свосмъ синемъ ха-

латѣ изъ тармаламы; Маня очень хорошо помнитъ, какъ, бывало, каждый день утромъ, когда они, дѣти, вставъ спозаранокъ, отправлялись играть въ залу, отецъ, выйдя изъ спальни, приходилъ къ нимъ именно въ этомъ одѣяніи, съ длинной трубкой въ зубахъ, и синій дымокъ табака вертѣлся и вился по воздуху вслѣдъ за высокою, плотною фигурою проходившаго.

Онъ положилъ одну изъ своихъ рукъ Манѣ на голову, на лобъ: рука оказалась теплою; отецъ какъ бы хотѣлъ отклонить голову дочери назадъ, въ родѣ того, какъ дѣлаетъ докторъ, чтобы точнѣе взглянуть въ глаза.

— Какъ ты выросла, похорошѣла, и какъ я радъ тебя видѣть!—говоритъ онъ ей. — Что мамаша?

— Мамаша спитъ, она нездорова; мы къ заутрени не пошли.

— Напрасно вы не пошли, нехорошо.

— Прости, папочка, я знаю, что нехорошо.

— Ты видишь, какъ тутъ пріятно, весело; ты увидишь еще больше.

Вслѣдъ за этими словами отецъ куда-то скрылся, пропалъ! Идутъ другіе, новые; толпятся, здороваются; всѣ очень рады.

Вадхинъ! одинъ изъ товарищей и друзей отца; всю жизнь писалъ, думалъ быть литераторомъ, такъ и умеръ, думая имъ быть. Онъ въ вицъ-мундирѣ, чиновникъ, съ крестикомъ въ петличкѣ; на лбу—чубъ, на вискахъ волоса двумя «эсами»; добрый, улыбающійся.

Старый генераль-адъютантъ! какъ его фамилія? Клейнмихель? нѣтъ; Лидерсъ? нѣтъ; онъ тоже другъ дѣтства отца... такой сѣдой!

Савельичъ-Рябухинъ, старый унтеръ-офицеръ, вѣчно сидѣвшій въ прихожей и занимавшійся только однимъ: чинкою карандашей и гусиныхъ перьевъ—

стальные перья запрещались. Сколько бывало ихъ нужно чинить! а какъ онъ чинилъ — куда машинки! у всѣхъ его карандашей носики остренькіе, хоть уколотся, и никогда не могла Маня очинить карандаша точно также, сколько ни старалась. Во внѣшности Савельича замѣчалось нѣчто очень оригинальное: онъ былъ такъ худъ, что щеки у него какъ бы не имѣлось, а вмѣсто нихъ темнѣли, начинавшіяся подлѣ носа, два продолговатыхъ углубленія, двѣ могучія морщины.

Подлѣ Савельича, только что очинившаго пачку карандашей, стоятъ лицомъ къ нему, положивъ ручки за спину и поднявъ глаза, покойные, маленькіе братцы и сестрицы: Викторъ, Женя, Саша; послѣдній умеръ въ страшномъ дифтеритѣ, и Маня его послѣ смерти не видала.

— Ужо,—говорить имъ громко Савельичъ:—я, вотъ, сестрицѣ скажу, что на васъ карандашей не начинишься; вонъ они идутъ, сестрица!

И Маня дѣйствительно подходитъ и видитъ въ рукахъ Савельича цѣлую пачку очиненныхъ карандашей. Она крѣпко, крѣпко цѣлуетъ ребятішекъ, всѣхъ по очереди, а у Савельича слезы на глазахъ, и всѣ кругомъ смотрятъ, толпятся, рады, привѣтствуютъ.

Маня замѣчаетъ, что воскресшихъ становится все больше и больше. Проходитъ кто-то, должно быть бабушка; Маня ея никогда не видала и почему это должна быть бабушка, а не кто иной — неизвѣстно. Мелькаютъ какія-то, ей хотя и знакомыя лица, гдѣ-то видѣнныя, но она ихъ не помнитъ, такъ ихъ много, такъ задвигаются они одни другими, шествуя вокругъ и около, кланяясь, прикасаясь, повертываясь, обступая живымъ кольцомъ. Плавнo, мѣрно, имъ въ ладъ, двигается и сама Маня...

«Но отчего же,—подумалось вдругъ Манѣ,—нѣтъ

тебя здѣсь, въ числѣ воскресшихъ, тебя, мой дорогой, милый, возлюбленный женихъ... Промелькнуло имя этого человѣка... Развѣ спросить отца? но отецъ при жизни не зналъ его и имени не слыхалъ... да и зачѣмъ быть здѣсь ему, этому человѣку, вѣдь онъ не умиралъ, живехонекъ, любить меня?..

Безпокойный сонъ Мани дѣйствительно совсѣмъ сбился съ толка. Почему, въ самомъ дѣлѣ, въ числѣ воскресшихъ слѣдовало находиться ему, этому горячо любимому человѣку, ему, молодому, который и не думалъ умирать? Тѣмъ не менѣе, его нѣтъ, нѣтъ! Маня начинаетъ двигаться быстрѣе, ищетъ, стремится, жаждетъ увидѣть. Воскресшіе раздаются передъ нею, сочувственно уступаютъ дорогу, чтобы не мѣшать искать. Она движется между ними все быстрѣе и быстрѣе; она уже не ходитъ, а бѣгаетъ, мчится, несется. Страхъ захватываетъ ея дыханіе, страхъ холодитъ ей сердце; страхъ этотъ необъятенъ, удушливъ, потому что Маня сознаетъ, что здѣсь перерѣшенія быть не можетъ, что судъ конченъ, приговоръ произнесенъ, и кого нѣтъ налицо, тотъ сгинулъ навсегда, и тому нѣтъ спасенія.

«Да какъ же можно было не вѣрить въ Воскресеніе Христово?—мелькаетъ по мысли прослезившейся Мани;—а ты дѣйствительно не вѣрилъ, не вѣрилъ! и тебя нѣтъ здѣсь, и не будетъ никогда больше, никогда... О! во имя любви безконечной, милый мой, дорогой мой, повѣрь въ Воскресеніе, сдѣлай усилие надъ собою, повѣрь... смотри: вѣдь это все воскресшіе... или ты не видишь, не чувствуешь ихъ? но—повѣрить теперь поздно! все кончилось, все! его нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ»...

И Маня стремится въ отчаянныхъ поискахъ между разступающимися передъ нею воскресшими, и они всѣ глубоко соболѣзнуютъ ей.

— Бѣдняжка!

— Горемычная!

— Къ счастью, что она идетъ, куда нужно, на свѣтъ, на сіяніе, тамъ она сейчасъ Бога увидить...

— Христось Воскресъ! Свѣтися, свѣтися... слышится ей отовсюду.

И дѣйствительно: навстрѣчу уносившейся впередъ Мани, искавшей любимого ею человѣка, лились потоки какого-то неописуемаго свѣта, раздавался удивительный хоральный звонъ...

Это былъ послѣдній перезвонъ замолкавшихъ послѣ ранней обѣдни колоколовъ церковныхъ и онъ-то и разбудилъ ее. Маня проснулась, но долго не могла придти въ себя. Въ комнатѣ было совершенно свѣтло. Рѣшеніе, принятое ею — идти немедленно въ церковь — исполнено возможно скоро, и она быстро бѣжала по улицѣ. Горничная, которой сказано слѣдовать за нею, удивленная, и тоже не вполнѣ прибранная, какъ и Маня, едва поспѣвала. Не менѣе, чѣмъ горничная, былъ удивленъ разбуженный, чтобы отворить двери, лакей, которому сказано, на случай если проснется мать, сказать ей, что барышня въ церковь пошла и скоро вернется.

Хорошо безмолвіе нашей церкви, залитой свѣтомъ яснаго пасхальнаго утра. Церковь безусловно пуста, и алтарь открытъ настежь. Тысячи людей были тутъ недавно, вспомнили Воскресеніе и ушли отсюда во-свояси съ миромъ. Безмолвно поигрываютъ на ризахъ и каменьяхъ иконъ золотые лучи только что взошедшаго солнца; они пронизываютъ голубоватую глубь храма, полную слѣдовъ кадильнаго дыма, и начинаютъ мѣрно обходить помость церковный.

Когда горничная, сопровождавшая Маню, вошла въ церковь, нѣсколько позднѣе ея, она увидала дѣвушку уже стоящую на колѣняхъ передъ самымъ алтаремъ, упавшею лицомъ ницъ къ помосту. Въ



Манѣ совершалось одно изъ тѣхъ горячихъ, чудодѣйственныхъ стремленій робкой души человѣческой, надъ необъятною бездною ничтожества, которыя очень рѣдко тревожатъ таинственные пути общенія людей съ Богомъ, пути молитвъ. Маня душою, всею душою, безъ словъ, молилась о томъ: да минуетъ ее чаша вѣчной разлуки съ любимымъ человѣкомъ, да повѣритъ онъ въ безсмертіе, какъ она вѣритъ, какъ она убѣдилась.

— Онъ будетъ спасенъ, будетъ!—проговорила Маня совершенно явственно, вставая съ колѣней и какъ бы отвѣчая на обращенный къ ней подошедшею горничною вопросъ:

— Да что это съ вами, барышня?

— Христосъ Воскресъ!

— Воистину Воскресъ!

И дѣвушки троекратно поцѣловались.



## ЗАВЯНЕТЪ ЛИ?

---

Они только что повѣнчались. Священникъ передъ налоемъ спросилъ, не общалъ ли Сергѣй своей руки и своего сердца кому либо другому; спросилъ онъ объ этомъ также Зинаиду; оба отвѣтили громко— нѣтъ. И это была правда, потому что любовь была взаимная. Народу на свадьбу собралось много, такъ много, что могущественнѣйшее событіе въ жизни двухъ людей совершилось какъ бы подъ шумокъ, вскользь. Всѣ права обоихъ, личныя, наслѣдственныя, имущественныя, преобразились сразу, при совершеніи третьяго обхода вокругъ наложницы, если подумать, что каждое изъ правъ способно возбудить многолѣтніе процессы, что тутъ всякихъ правъ преобразовано, въ одно мгновеніе, видимо-невидимо, то трудно даже объяснить себѣ то огромное множество беззаботныхъ улыбокъ, тѣ веселыя поздравленія, которыя мелькнули по церкви, вслѣдъ за совершеніемъ брака.

Молодые поцѣловались; при всѣхъ поцѣловались; шафера уложили свѣчи въ картонку; малютка-мальчикъ, свѣчникъ, понесъ впереди обвѣнчавшихся образъ; они сѣли въ карету и уѣхали...

Наступило утро слѣдующаго дня. Розовое, блестящее утро жизни двухъ существъ, короткое время совершенно новыхъ разговоровъ, время значительныхъ, вершительныхъ откровеній бытія, въ особенности для молодой, для Зинаиды, голубые глазки которой поражали своимъ блескомъ смотрѣвшаго на нихъ, безусловно счастливаго мужа.

Но жизнь полна неожиданностей и на первыхъ же шагахъ этой молодой, брачной жизни готовила имъ нѣчто совершенно особенное.

Май мѣсяцъ только что начался, и молодые, прямо изъ церкви, переѣхали на небольшую, но хорошенькую собственную дачу въ Озеркахъ. Озерки тогда только что возникали. Маленькая оранжерея, служившая однимъ изъ лучшихъ украшеній дачи и бывшая, такъ сказать, одухотворителемъ всѣхъ оконъ дачи и довольно широкаго ея балкона, потому что изъ нея, то-и-дѣло, шли новые цвѣты, была посвящена молодыми вслѣдъ за утреннимъ кофе.

Оранжерея своими пестрыми цвѣтами, топорщившимися отовсюду, окружала молодыхъ роскошнымъ, громаднымъ букетомъ, въ которомъ оба они двигались, отъ цвѣтка къ цвѣтку, отъ лепестка къ лепестку, словно веселые жучки или бабочки.

Особенно пышно глядѣли азалии, листьявъ которыхъ почти не замѣчалось подъ плотною наволокою пунцовыхъ, лиловыхъ и бѣлыхъ цвѣтовъ; ярко проглядывали между нихъ, съ узенькихъ полокъ, звѣздочки цинерарій, причемъ особенную силу цвѣта, особенную бархатностью взгляда отличались темно-лиловые: бѣлая сердцевина этихъ цвѣтовъ казалась глазами, и ихъ было много, и всѣ онѣ смотрѣли и были, на этотъ разъ, добрыя, ласковыя; съ какою-то нѣмецкою сентиментальностью, сквозясь на свѣтъ своими блѣдными лепестками, будто безсчетное множество Гретхенъ, виднѣлись живыя подушки лан-

дышей; въ большой самоувѣренности глядѣли съ высокихъ стеблей королевскія розы, не то Клеопатры, не то Лавальеръ или Монтеспанъ цвѣточнаго міра; гіацинтовъ всѣхъ оттѣнковъ оказывалось столько, что свѣжій воздухъ, нагрѣваемой солнцемъ оранжереи, тяготилъ грудь людскую: приходилось дышать однимъ только благоуханіемъ.

— Знаешь что, Serge,—проговорила молодая:—намъ съ тобою теперь такъ хорошо, такъ хорошо, что мнѣ бы хотѣлось оставить какую нибудь память объ этой минутѣ.

— А что же? Это недурная мысль; но что же сдѣлать.

— Я уже знаю что! только скажи мнѣ впередъ: мнителенъ ты или нѣтъ?

— Я?

— Да, мнителенъ ли? вѣришь ли въ предзнаменованія?

— Напримѣръ, въ число тринадцать или въ разбитую за обѣдомъ рюмку?

— Нѣтъ, вообще, въ предзнаменованія...

— Но отчегоэтотъ странный вопросъ, Зина?—отвѣтилъ ей мужъ, не совсѣмъ довольный темнымъ вопросомъ, возникшимъ такъ неожиданно въ благоухающемъ букетѣ оранжереи, залитой свѣтомъ майскаго солнца и въ первое утро брачнаго дня.

Нѣтъ на свѣтѣ мужчины, который, будучи поставленъ женщиною на подобное испытаніе, не отвѣтилъ бы въ смыслѣ нѣкоторой молодцоватости, въ особенности въ данномъ случаѣ, гдѣ каждое начальное слово брачныхъ отношеній могло служить направляющею для будущихъ дней. Отвѣтъ мужа былъ несомнѣненъ: нѣтъ! но это нисколько не доказывало его правды. Мнительность—одинъ изъ побѣговъ счастья, потому что кто же не желаетъ сохранить своего счастья, кто же не становится порою ли-

цомъ къ лицу съ вопросомъ: прочно ли оно? А за этимъ вопросомъ, само собою, возникаетъ другой: кто, или что, можетъ нарушить счастье, и если фактическихъ основаній нѣтъ, то являются другія, сочиненныя, дѣланыя, предугадываемыя, предчувствуемыя, а это уже мнительность,—одно изъ нелѣпѣйшихъ, но естественнѣйшихъ чувствъ.

— Никогда я мнительнымъ не былъ и не буду, Зина,—отвѣтилъ Serge.—Ну, что же ты хочешь сдѣлать?

— Какъ что? возьмемъ которыйнибудь изъ отпрысковъ, посадимъ его и посмотримъ, хорошо ли онъ пойдетъ?

— Возьмемъ. Надѣюсь,—добавилъ онъ, не безъ ехидства:—что мы не возьмемъ однолѣтняго растенія?

— Понятно, что нѣтъ, но какое?

— Я думаю, что надо, на всякій случай, взять чтонибудь попрочнѣе, менѣе балованное, чтонибудь такое, что, при увѣренности въ хорошемъ уходѣ за растеньищемъ, обезпечено, почти навѣрное, въ жизни.

— Да, да! напимѣръ, филодендронъ?

— Или алоэ?

— Ципрусь?—замѣтила Зина.

— Болотный ципрусь! неизящно.

— Развѣ взять простую драцену? вотъ хорошенькіе молоднички,—проговорила Зина, оглядывая одинъ изъ горшковъ, въ которомъ отъ низу, отъ корней, цѣлымъ букетомъ шли прочныя, сочныя отпрыски.

— А что дольше живетъ,—спросилъ Serge:—драцена или померанецъ?

— Померанецъ,—отвѣтила быстро Зина.—А ты бы, во вниманіе къ долговѣчности, предпочелъ баобаба? Неправда ли?—сказала она и весело засмѣялась, выставивъ къ свѣту свои жемчужныя зубы.

— Да ужъ если, моя дорогая,—отвѣтилъ Serge:—мы поручили растенію изображать живучесть нашей

любви, такъ лучше брать самое прочное и самое долготннее. Жаль, что нѣтъ баобаба.

Остановились на хорошенькомъ отпрыскѣ померанца. Миниатюрное деревцо выкопано изъ горшка, отъ корня большого померанца, пересажено собственноручно обоими молодыми въ особый горшокъ, подлѣ него воткнута подвернувшаяся подъ руки палочка, растеньице привязано къ ней, полито, поставлено на первое время, какъ и слѣдовало, въ полутѣнь и поручено особенному наблюденію садовника.

Солнце горѣло ярко, оранжерея благоухала, и молодые были счастливы.

Завянетъ или не завянетъ? вотъ вопросъ, занимавшій молодыхъ и, въ концѣ концовъ, не совсѣмъ пріятно налегшій имъ на сердце.

Прошло около недѣли, и растеньице начало вянуть. Болѣзненность его, такъ какъ померанцы вообще прочны, сказалась не скоро, но зато рѣшительно. Нижніе листики, повидимому, совсѣмъ здоровые, отваливались одинъ за другимъ, и скоро только на самой верхушкѣ оставалась замѣтна нѣкоторая жизнь и виднѣлась яркая зелень.

Ввиду надвигавшейся смерти померанца, всѣ оранжерейно-медицинскія средства были пущены въ ходъ: опрыскивали, обливали теплою, навозною водою, нарочно купили гуано и обложили имъ землю, но ничто не помогало. По мѣрѣ того, какъ погасало растеньице, молодая чета переживала его судьбы не безучастно и становилась молчалива.

— Жаль, жалы!—говорилъ Serge:—и какъ мнѣ не хотѣлось этого опыта съ предзнаменованіемъ; я, положимъ, не противился тебѣ, Зиночка; но я не сочувствовалъ ему съ самаго начала.

- Отчего же ты не запретилъ?
- На второй-то день послѣ свадьбы?
- А хоть бы и на второй, если я предлагала глупость.
- Да развѣ это было возможно?
- Должно, а не только возможно! Я на тебя сердита.

И, говоря это, Зиночка, въ той же оранжерей и въ такое же точно яркое утро, какъ и въ первый разъ, нагнувшись надъ захудалымъ померанцемъ, повертывала горшокъ въ рукахъ. Прикоснулась она своими розовыми пальчиками къ подсыхавшей верхинкѣ помертвѣлаго растеньица, и послѣдніе листики, бывшіе еще такъ недавно зелеными, словно сгорѣвшіе, сразу осыпались и упали на землю. Въ отвѣтъ на это проступили на глаза Зиночки двѣ брильянтоваы слезки, побѣжали имъ вслѣдъ другія двѣ и еще, и еще...

Мужъ стоялъ подлѣ задумчивый, будто въ самомъ дѣлѣ со смертью померанца случилось что-то важное, необычайное, грустное; будто, дѣйствительно, опустилась надъ молодою жизнью супруговъ чья-то тяжелая рука и какая-то невидимая, непривѣтная сила обозначилась близко, совсѣмъ подлѣ идохнула на нихъ. Надъ обоими проносилась одна изъ тѣхъ нерадостныхъ минутъ, которыя зачастую устраиваютъ себѣ люди сами, безъ достаточнаго основанія и вовсе не предвидя послѣдствій.

Сквозь слезы, застлавшія глаза, смотрѣла молодая женщина на умершее растеніе и медленно поворачивала его, продолжая отыскивать самомалѣйшіе признаки жизни. Ихъ не было, однако, этихъ признаковъ, не было...

Вдругъ Зина вскрикнула и, повернувшись къ мужу, обняла его одною рукою, продолжая держать другую подлѣ цвѣтка. Serge даже вздрогнулъ.

— Что такое?

— Serge! Serge! смотри,—говорила Зина:—смотри!

Хотя растеньице несомнѣнно умерло, но рядомъ съ нимъ, изъ той скромной палочки, которая была воткнута подлѣ, топорщились очень замѣтныя цѣлыхъ четыре почки. Только теперь объяснилось, что палочка была—ивовая; воспользовавшись оранжерейною теплотою, опрыскиваніями гуано и навозною водою, которыя назначались погибшему померанцу, палочка не захотѣла оставаться палочкою и стала живымъ растеніемъ. Быстро, самоувѣренно и весело возникала она къ жизни, опоясываясь изумрудными листиками; скоро обозначились и вѣточки, и такъ какъ ивѣ не пригодны оранжереи, то ее не замедлили пересадить въ садъ.

Прошло двадцать лѣтъ. Теперь это большая, красивая ива, одна изъ лучшихъ въ Озеркахъ. Молодые супруги, ее посадившіе, значительно постарѣли, но подлѣ нихъ ютится большая семья, они часто смотрятъ на своихъ играющихъ дѣтокъ и какъ только заходитъ разговоръ о всякихъ мнительностяхъ и предзнаменованіяхъ, оба, въ одинъ голосъ, говорятъ о томъ, что, хотя, положимъ, это пустяки, но шутить съ этими пустяками все-таки не годится.

А ива, ими случайно насажденная, дѣйствительно очень красива: не будь зловредной мнительности и смерти померанца—не было бы и ея.





## ВОСПОМИНАНІЕ.

---

Два Петра Петровича Анастасьевы, отецъ и сынъ, счастливо проживали въ Петербургѣ лѣтъ сорокъ тому назадъ. Это было севастопольское время, время перемѣны царствованія, когда еще и рѣчи не заводили въ высшихъ правительственныхъ кругахъ объ освобожденіи крестьянъ. Съ новымъ царствованіемъ, мало-по-малу, повсюду быстро начались всякія преобразованія. Началось съ формальнаго, съ поверхностнаго: генераламъ даны красные брюки и пѣтушинья перья, а гвардія одѣла, вмѣсто мундировъ съ красными бортами на фалдахъ, мундирные полукафтаны, и каски съ султанами замѣнены французскими кепи. Тогда же поднялись на государственномъ гербѣ, гдѣ бы онъ ни значился, крылья орловъ, до того времени опущенныя: онѣ какъ будто встрепенулись, захохотались.

Такъ какъ всѣ преобразованія въ мірѣ, отъ какихъ бы временъ ни считать, никогда и нигдѣ не касались, или касались очень слабо, тѣхъ могучихъ основъ человѣческой жизни, которыя положены въ сердца людскія на свои мѣста самимъ Богомъ; такъ какъ чувства людскія—горе, радости, надежды, от-

чаянія, привязанности, любовь и ненависть, несмотря на измѣнявшуюся во времени обстановку жизни, на мѣсто и поводъ ихъ проявленія,—будь то древняя Ассирія, или революціонные дни Филиппа-Равенство,—никогда, никогда, въ существѣ своемъ не измѣнялись, то и въ обоихъ Петрахъ Петровичахъ сказывались они вполне обычнымъ, принятымъ отъ вѣка порядкомъ. Имя Петръ было въ ихъ семьѣ именемъ обычнымъ, всегдашнимъ, преемственнымъ, насиженнымъ; у многихъ такой обычай, установившійся и почтенный.

Петръ Петровичъ нумеръ первый, дѣдушка, сынъ бригадира, не могъ достаточно нарадоваться на семейное житье-бытье своего сына. Прелестная жена послѣдняго, сноха Анна, и двое маленькихъ ребятъ, мальчикъ и дѣвочка, Петя и Соня, составляли, вмѣстѣ взятые, такой букетъ людскихъ существованій, какого поускать.

— Хе, хе, хе! Да ты, братъ, совсѣмъ въ дѣдушку,—говаривалъ старикъ, взявъ внука своего, тоже Петю, нумеръ третій, на колѣна:—гусаромъ хочешь быть?

— Нѣтъ, дѣдушка, кирасиромъ! я турку убью и француза поджарю.

— Ой!

— А англичанина въ море опушу, вотъ что!

— А если они втроемъ тебя одолѣютъ?

— Кусать ихъ начну; за Оедей пошлю, если плохо будетъ, и ужъ тогда имъ у насъ не сдобровать!

Оедя, сынъ сосѣда, былъ однолѣткомъ Пети и великимъ забіякой.

Сестрица Соня, которой отъ мальчишекъ часто доставалось, являлась писаннымъ портретомъ своей матери. Необычно кроткая, добрая, правдивая, она отличалась и замѣчательною красотою; бѣлокурая головка, темно-синія очи, большія, свѣтлыя, въ рамкѣ длинныхъ, почти черныхъ рѣсницъ.

— Ну, а ты, Сонюша,—говорилъ дѣдушка:— что съ туркой и съ англичаниномъ сдѣлаешь?

— Раненыхъ лечить буду.

— Вотъ еще чего!—восклицалъ Петя:—я тебя за это, знаешь...

— А я тогда маму позову!

— Трусилка! Вотъ что!—отвѣчалъ ей братъ.

— Не хорошо такъ говорить, Петя,—замѣчалъ дѣдушка.

Подходила мать, цѣловала свою дорогую дочку, Петѣ дѣлала выговоръ, объясняя, почему именно дѣлала его, и Петя, стиснувъ губки, въ концѣ концовъ, подбѣгалъ къ матери и крѣпко, крѣпко обнималъ ее.

Жили Анастасевы всѣ вмѣстѣ подлѣ Владимірской церкви. Квартира помѣщалась во дворѣ, въ четвертомъ этажѣ, и изъ оконъ ея виднѣлись внутренніе распорядки нѣсколькихъ дворовъ, лѣсного склада, извозничьяго двора, а поверхъ крыши выступили купола и колокольня Владимірской церкви.

Въ тѣ дни купола ея еще не блистали такою яркою позолотою, какъ теперь, но стройныя линіи ихъ, памятью талантливаго архитектора-строителя очерчивались въ глубинѣ небесъ легко и красиво. Иногда эта глубина небесъ не замѣчалась вовсе, потому что густой туманъ по осени, или дождливая мгла въ срединѣ лѣта одѣвали вершины куполовъ какъ бы сѣрымъ колеблющимся покрываломъ, и купола словно плыли въ туманѣ, только изрѣдка продвигая свои православные кресты—что твои горныя выси!

Эта картинка была довольно грустна. Но зато, когда въ ясный часъ заката вечерняго, лѣтомъ или зимою, все равно, купола зарумянивались розовымъ свѣтомъ и, на недолгое время, казались самосвѣтящимися, какъ бы налитыми алою кровью, а многочисленные столбики, окружающіе колокольню, выросли

рядами одни надъ другими, съуживались кверху, какъ длинные, невѣроятно длинные опалы, а кресты на маковкахъ брызгали искрами и мелкими сіяніями,—эта плывшая по небу или, лучше, вступившая съ небомъ въ общеніе громада храма поднимала за собою и душу, и чувство человѣка, созерцавшаго ее.

Чаще другихъ смотрѣлъ на маковки и купола церковные Петръ Петровичъ, нумеръ второй, отецъ Пети. Его рабочій столъ стоялъ у самаго окна и, сидя за работою, неоднократно взглядывалъ Петръ Петровичъ на нихъ и любовался. Отъ поры до времени дѣлали это всѣ домашніе; дѣти глядѣли преимущественно тогда, когда птицы, цѣлыми стаями, кружились подлѣ куполовъ и, садясь вплотную одна подлѣ другой, вдоль поясовъ и кронштейновъ, обращали эти пояса изъ бѣлыхъ въ черные. Звонъ церковный слышался въ квартирѣ такъ сильно, такъ густо, что иногда въ отвѣтъ большому колоколу дрожали оконныя стекла.

Надо было имѣть привычку, чтобы не просыпаться къ самому раннему звону, далеко опережавшему зимою появленіе дневного свѣта. Вся семья привыкла къ этому звону и не просыпалась.

— Дорогая Аня! Хорошо намъ съ тобою!—говорилъ нерѣдко Петръ Петровичъ, нумеръ второй:—такъ хорошо, что страшно становится за возможность разрушенія.

— Тебѣ запрещено разъ навсегда,—отвѣчала ему жена:—говорить такимъ образомъ! Бога гнѣвишь!

— Да что же дѣлать, если такія мысли набѣгаютъ сами собою? Особенно дурно то, что счастье, когда оно продолжается, неминуемо разрушаетъ само себя.

— Почему же?

— Да вотъ, на примѣръ, дѣти! Вѣдь это наше счастье, если они растутъ, развиваются, но зато они

становятся большими, будутъ скоро не дѣтьми. Положимъ, что тогда опять свое счастье настанетъ, счастье другого покроя, но вѣдь тогда сегодняшняго покроя счастья не будетъ больше! Вотъ хоть бы и дѣдушка...

— Да, да, дѣдушка начинаетъ беспокоить меня!— говорила Аня.— Въ особенности кашель его такой нехорошій.

— Онъ самъ какъ будто чувствуетъ что-то недоброе,—отвѣтилъ Петръ Петровичъ и наклонился къ женѣ, чтобы сказать ей нѣчто новое, сказать такъ, чтобы никто не слыхалъ. Онъ оглядѣлся: въ комнатѣ никого не было, а веселый смѣхъ дѣтей и громкое постукиваніе барабана неслись изъ дѣтской, изъ-за двухъ дверей.—Знаешь ли что,—продолжалъ Петръ Петровичъ:—папаша пишетъ свое завѣщаніе.

— Зачѣмъ?—почти вскрикнула Аня.

— Если я не ошибаюсь, то не дальше какъ сегодня или завтра, вообще надняхъ, придутъ къ нему гости.

— Кто такіе?

— Свидѣтели.

— Какіе свидѣтели?

— Чтобы подписаться подъ завѣщаніемъ. Онъ отправилъ вчера письма къ обоимъ Галкинымъ и къ Степану Павловичу. Это ближайшіе къ нему люди, а такіе именно и подписываютъ завѣщанія.

— Не говори мнѣ объ этомъ, не говори...

— Однако, это все-таки такъ.

Раздался звонокъ.

Почти одновременно вошли въ комнату, изъ двухъ противоположныхъ дверей: изъ кабинета сѣдоволосый дѣдушка, а изъ прихожей только что названный Степанъ Павловичъ; вслѣдъ за ними съ крикомъ и гикомъ внеслись дѣти—Петя, рьяно постукивая въ

барабанъ, а по пятамъ его дѣвочка, упорно дуя въ маленькую, увѣшанную красными кистями, трубу.

Степанъ Павловичъ—свидѣтель—вошелъ въ комнату, такъ казалось Анѣ, какъ бы воплощенное, неотвратимое предзнаменованіе.

Было ровно четыре часа пополудни. Ударилъ первый колоколъ къ вечернѣ, и тяжкій, мѣрный звукъ его наводнилъ комнату и точно повисъ въ воздухѣ. Разныя, разныя ощущенія вызвалъ этотъ, одинъ и тотъ же звукъ, во всѣхъ присутствовавшихъ, неожиданно и вдругъ собравшихся въ небольшомъ кабинетѣ. Аня только протянула руку вошедшему изъ передней Степану Павловичу и быстро вышла изъ комнаты: слезы подступили ей къ горлу.

Вслѣдъ за матерью, какъ ни въ чемъ не бывало, убѣжали дѣти: дѣвочка дула въ трубу, а мальчикъ, для разнообразія, слѣдовалъ за сестрой и мамой, прыгая на одной ногѣ, причемъ барабанъ неистово болтался.

— Упадешь, Петенька! упадешь, голубчикъ, не надо на одной ножкѣ,—говорила ему вслѣдъ пожилая, съ платкомъ на головѣ, няня.

\* \* \*

Прошло много лѣтъ.

На дворѣ стояла весна, роскошная, вполне удачная и была она на исходѣ. Отцвѣли одуванчики; перестали продавать на улицахъ Петербурга букеты ландышей и фіалокъ; кончилось, въ значительной степени караванное, странствованіе на дачи, и множество квартиръ въ городѣ, въ особенности изъ мелкихъ, опустѣло.

Въ небольшую квартиру маленькаго чиновника, многосемейнаго, служившаго въ духовномъ вѣдомствѣ, въ которомъ, какъ извѣстно, оклады гораздо меньше, чѣмъ въ остальныхъ, часовъ въ восемь утра,

неожиданно появился старшій дворникъ дома, ярославскій мужикъ, окладистый, трезвый, хорошій.

— Скажи барину, что намъ его видѣть нужно,—сказаль онъ кухаркѣ, отскребывавшей оставшіяся со вчерашняго дня немытыми кастрюли. — Всталъ баринъ?

— Встали; кофе пьютъ.

Кухарка не замедлила отправиться къ барину и, вернувшись, позвала дворника къ нему.

— Здравствуй, братъ Купріянь! Что скажешь?

— Денежки вамъ предлагаютъ.

— Какія денежки?—спросилъ удивленный чиновникъ.

Подошла жена; обступили дворника ребятишки.

— Да вотъ,—продолжалъ Купріянь:—отступного вамъ предлагаютъ, если квартиру сдадите.

— Отступного? теперь? лѣтомъ?—спросилъ удивленный чиновникъ.

— Точно такъ-съ, чудакъ какой-то, старичекъ!

— Да гдѣ же онъ?—быстро проговорила жена.

— Вчера заходилъ, поручилъ спросить—не угодно ли? Обѣщаль сегодня за отвѣтомъ зайти.

— А сколько предлагаютъ?—спросила чиновница.

— Половину цѣны по мартъ мѣсяцъ, т. е. до конца условія.

— То-есть, это выходитъ двѣсти рублей?

— Точно такъ-съ.

Чиновникъ съ чиновницей переглянулись. Они на праздники изъ раздѣльныхъ денегъ въ канцеляріи всего семьдесятъ рублей получали. Двѣсти рублей, сумма огромная, вдругъ сваливалась съ неба.

— Что это такое?—спросилъ чиновникъ жену свою, видимо недоумѣвая.

Жена только пожала плечами.

— Если-съ,—проговорилъ дворникъ:—вамъ угодно будетъ, такъ они тоже-съ...

— Что еще?

— Согласны и на переѣздъ пятьдесятъ рублей дать.

Чинovníкъ, до того сидѣвшій въ старомъ лохмотѣ креслѣ, даже поднялся съ мѣста.

— Да вѣдь это какъ разъ на билетъ съ выигрившими хватить!—воскликнулъ онъ и даже хлопнулъ дворника по плечу.

— А когда же очистить квартиру надо?—спросила чиновница.

— Чѣмъ скорѣе — тѣмъ лучше-съ, для насъ же прибыльнѣе.

— Ну, что же?—проговорилъ чиновникъ, глядя на жену.—Соглашаешься?

— И думать нечего!

Ровно недѣлю спустя квартира была очищена, и въ ней принялись рабочіе за работы: маляры красили, столяры правили полъ, двери и окна; въ углу подлѣ печки поставлены, до оклейки, связки обоевъ. Прошла недѣля, и въ обновленную квартиру стали привозить мебель—довольно богатую, многочисленную, совершенно новую, бронзу, картины. Дворникъ, исполнявшій въ домѣ свою обязанность болѣе двадцати лѣтъ, никогда не видалъ, чтобы въ квартиру, расположенную во дворѣ, да еще въ четвертомъ этажѣ, вносили такіа цѣнныя вещи.

Въ одну изъ субботъ, около полудня, окончательно въѣхалъ новый жилецъ; онъ во время работъ въ квартирѣ навѣдывался ежедневно, но видъ свой, свидѣтельство объ отставкѣ, принесъ дворнику только въ день окончательнаго переѣзда. Въ бумагахъ значилось «Петръ Петровичъ Анастасьевъ». Который?

Это былъ дѣйствительно Петръ Петровичъ, когда-то нумеръ второй, мужъ Ани, но теперь, въ настоящее время, единственный на свѣтѣ Петръ Петровичъ. Жизнь за тридцать слишкомъ лѣтъ обивала,



очистила кругомъ него всѣхъ и вся, такъ рачительно, что онъ, какъ березка среди ровной долины, остался стоять одинъ-одинехонекъ, открытый всѣмъ вѣтрамъ. Первымъ умеръ, чего никакъ нельзя было ожидать, сынъ его, Петя, мальчикомъ лѣтъ двѣнадцати; въ томъ же году скончался старикъ дѣдушка, написавшій завѣщаніе; года за четыре до переезда въ только-что обновленную квартиру умерла его жена—Аня; эти трое похоронены на Смоленскомъ. Дочь его, Соня, умерла ровно годъ тому назадъ за-границею, въ Парижѣ, въ домѣ душевно-больныхъ; заболѣла она давно, а умерла на третій годъ своего вдовства. Чего, чего ни дѣлалъ осиротѣвшій отъ всей родни своей печальный отецъ, чтобы спасти дочь, этотъ послѣдній отпрыскъ когда-то цвѣтущей и счастливой семьи, но ничто не помогло. Похоронивъ бывшую когда-то маленькою, бѣлокурою, съ черными рѣсницами Соню въ Парижѣ, Петръ Петровичъ скитался въ теченіе цѣлаго года за-границею, мыкался, побывалъ даже въ Америкѣ, но, наконецъ, вернулся въ Петербургъ.

Его влекло сюда что-то необъятно сильное, умиротворяющее, оставшееся въ общемъ крушеніи жизни несокрушимымъ, единое живое, осязаемое; его влекло—воспоминаніе...

Никогда бы не повѣрилъ онъ, если бы ему сказали, въ былые, счастливые годы, когда жизнь глядѣла на него добрыми очами и онъ пилъ изъ полной чаши радости, никогда не повѣрилъ бы онъ, что воспоминаніе—дѣйствительно, нѣчто осязаемое, вѣсомое, почти тѣлесное; что подлѣ воспоминанія, или лучше сказать—въ немъ, можно даже, такъ сказать, поселиться, если не обнять его, то быть обнятымъ имъ. Но теперь, когда все ушло, все; когда осилили годы, такъ что начинать что либо снова было бы и невозможно, и смѣшно; теперь, отыскивая къ

чему прислониться, куда приютиться, убѣдился онъ въ томъ, что, въ концѣ концовъ, единымъ прочнымъ и вѣчнымъ, до вѣчности, конечно, остается воспоминаніе. Поселиться въ той же квартирѣ, въ которой онъ нѣкогда жилъ, значило для него нѣкоторымъ образомъ дать безплотному воспоминанію вещественный обликъ, воплотить его, имѣть подлѣ себя хотя что нибудь, кромѣ страшной пустоты. Отсюда отступное, данное имъ семьѣ чиновника и невольное воспособленіе хотя бы и временному счастью этихъ, ему вполне неизвѣстныхъ, чужихъ людей. Отрождаются нерѣдко слезы людскія чужою радостью—это, даже часто такъ бываетъ, и хорошо, что такъ бываетъ, чтобы хоть гдѣ нибудь, почему нибудь, радовались.

Петръ Петровичъ, какъ сказано, въѣхалъ въ квартиру, совершенно устроенную; все и вся привела ему въ порядокъ прислуга, но нѣкоторыя вещи сталъ онъ разставлять самъ.

Прежде всего вынулъ онъ изъ особаго сундука портреты своихъ умершихъ. Милые лики! Хорошіе лики! Сколько ихъ? Какою благоухающею тишиною безтрепетности и законченности глядите вы! Сколько въ васъ своеобразнаго бытія, милые, милые лики! Повѣсилъ дѣдушка на стѣну и Петинъ барабанъ.

Петръ Петровичъ, разставивъ портреты, подошелъ къ окну, тихонько отворилъ его и сѣлъ на подоконникъ... смотритъ... Та же церковь, тѣ же купола глянули ему въ глаза, но только расцвѣли они яркимъ золотомъ, принарядились такъ, что глядѣть на нихъ больно. Вились подлѣ колокольні, по широкимъ кругамъ, птицы и разсаживались по карнизамъ. Не потомство ли прежнихъ? Нѣкоторыхъ изъ пустыхъ дворовъ не достанало: вмѣсто нихъ поднимались каменные постройки и загораживали одна другую; но лазурь небесная, такъ же какъ и птицы, не измѣнилась.

Въ это время медленно ударилъ колоколъ. Часть вечерни!

Дрогнули стекла въ окнахъ знакомымъ Петру Петровичу дрожаніемъ, и густой, почтенный, медленный звукъ какъ бы повисъ въ воздухѣ... онъ, подобно .  
многому, очень многому, не ушелъ въ прошедшее и не пропалъ.



## АРХЕОЛОГЪ

---

Археологи люди очень странные: они находятъ, будто лучше изучать мертвое, чѣмъ живое; они предпочитаютъ ружьядь, плѣсень, ржавчину - яркому румянцу жизни. Можетъ быть въ этомъ сказывается очень гастрономическая тонкость вкуса. У насъ мало археологовъ: большинство предпочитаетъ служить впоследствии предметомъ изучения для людей съ хорошимъ, гастрономическимъ вкусомъ и пользуется только румянцемъ жизни.

Надъ Кіевомъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ проносилось чудесное лѣто, и въ душистыхъ садахъ помидоровья созрѣвали тѣ сочные фрукты, изъ которыхъ Балабуха наготовилъ свои варенья и разослалъ ихъ по далекой Россіи. Эти кіевскія варенья, какъ и все на свѣтѣ, имѣютъ свою исторію; они, сказать къ слову, ведутъ свое начало отъ 1787 года, когда Екатерина II, шествуя въ полуденную Россію, гостила долгое время въ Кіевѣ, посѣщала святыню, творила судъ, а по вечерамъ на «куртикахъ» или, какъ говорятъ, иногда, куртагахъ, играла въ ламушъ или лото. Въ числѣ многихъ метрдотелей и кондитеровъ находился нѣкто Бальи—швейцарецъ; гуляя

по Кіеву въ распутицу, сломаль онъ себѣ ногу, не могъ продолжать съ императрицею дальнѣйшаго пути, остался въ Кіевѣ на излеченіи и создалъ производство кіевского варенья.

Въ то лѣто, о которомъ идетъ рѣчь, фрукты поднѣпровья созрѣвали особенно успѣшно и какъ бы подтверждали странное замѣчаніе автора книги, современной путешествію Екатерины II, будто почти на всѣхъ восточныхъ языкахъ слово «Кіевъ» означаетъ «мѣсто для наслажденій». Восхитительныя лунныя ночи облекали окрестности лавры своимъ фосфористымъ свѣтомъ и обманываемому глазу рѣшительно нельзя было отличить, кто кого побѣждаетъ въ безмолвной битвѣ: золото ли маковокъ, нанесенное на нихъ рукою человѣка, или серебро неба, обильно расточаемое неописуемо-яркимъ мѣсяцемъ. Такъ или иначе, но полуночнаго свѣта было вволю.

Въ одну изъ такихъ ослѣпительно свѣтлыхъ ночей юноша, студентъ-археологъ, посвятившій себя изученію русскихъ древностей, прослушалъ очень непріятный для него отвѣтъ дѣвушки, которую любилъ.

— Я безъ васъ жить не могу!—сказалъ онъ ей.

— А я,—отвѣтила дѣвушка,—за бѣднаго человѣка замужъ не пойду.

— Но я буду трудиться, я разбогатѣю...

— Археологією!!

— О! не брезгайте мною! Никто не полюбитъ васъ, какъ я люблю!

— Вы думаете?

Давно уже видѣлъ археологъ, какъ становилась дѣвушка все ближе и ближе другому человѣку; по сердцу его, истомленному любовью, давно уже безжалостно хозяйничала ревность, и послѣднія слова дѣвушки, совершенно безличныя, безыменныя, мгновенно воплотились для него въ очень опредѣленный обликъ знакомаго ему человѣка, нравившагося ей.

Послѣдній разговоръ ихъ имѣлъ мѣсто около полуночи.

Когда погасла ненавистно свѣтлая лунная ночь и жаркій день, тяготы непомѣрной, выжигаль самыя узкія котловинки и щели кіевскихъ горъ; когда въ самыя пещеры, къ святымъ угодушкамъ, сквозь небольшія отдушину, сталъ проникать горячій воздухъ жизни, археологъ, не сомкнувшій глазъ, направился вдоль берега Днѣпра по направленію къ Выдыбайскому монастырю. Взявъ на одной изъ небольшихъ пристаней лодку «для катанья», онъ отъѣхалъ отъ берега и, недолго думая, кинулся въ воду на самой стремнинѣ. Это случилось немного ниже монастыря.

Замѣтили ли люди, какъ, въ необъятности свѣтовой картины дня, въ блескѣ полудня, ослѣпившемъ глаза, черная точка, которую изображалъ изъ себя археологъ, юркнула въ воду и исчезла; замѣтили ли они, какъ опустѣвшая лодченка-скорлупка, послѣ скачка археолога, будто обезумѣвъ и лишившись смысла, закачалась, завертѣлась по уносившей ее стремнинѣ и, растерявъ весла, понеслась одна-одинехонька; какъ, наконецъ, одна изъ чаекъ, готовившаяся схватить изъ воды рыбку, чуть не тронувъ ея клювомъ, быстро шарахнулась въ сторону, испугавшись чего-то темнаго, уплывавшаго подлѣ рыбки, а именно археолога?

Волны днѣпровскія, старыя, умныя волны, подчиняясь неуклоннымъ законамъ, приняли его въ свои объятія, подхватили, понесли и завертѣли, какъ и лодку. Въ отуманенномъ и потревоженномъ сознаніи археолога замелькали и запрыгали, сбиваясь въ одно путанное цѣлое, и зеленѣвшія горы побережья, и удалявшійся отъ него Выдыбайскій монастырь, отблески волнъ, и пузыри, образовавшіеся вокругъ кинувшагося въ воду въ минуту паденія, и золотыя маковки церквей, и желѣзно-дорожный мостъ. Археологъ опустился ко дну. Промелькнула мимо него какая-то

снасть, протянутая подъ водою, подлѣ которой его проносило; непомѣрно огромнымъ, бѣлымъ чудовищемъ показалась ему чайка, едва не тронувшая его клювомъ и быстро отлетѣвшая въ сторону.

Слышалъ археологъ какое-то обильное шипѣніе, воркотню и клокотаніе струй. Пучина несла быстро. Пузырей больше не было; не было видно и маковокъ монастырскихъ, а разстилась вокругъ уносимаго, опускавшагося на дно, какая-то золотистая гладь, великая, сплошная громада желтоватыхъ водъ, насыщенная матовымъ свѣтомъ полуденнаго солнца, безъ обозначенія отдѣльныхъ лучей. Холодѣвшее сознаніе человѣка, становившагося угоненникомъ, различало впечатлѣнія какихъ-то толчковъ, вздрагиваній, подхватываній, гула. Затѣмъ, совершенно неожиданно, послѣдовала остановка: археолога больше не уносило, такъ какъ онъ зацѣпился за что-то.

Онъ открылъ глаза. Мимо него, обнимая его собою всецѣло, катились и мчались необозримыя стремнины днѣпровскія, слышался глухой грохотъ и раздавались многіе, большіе и маленькіе, голосочки, а подлѣ, совсѣмъ близко, виднѣлись мшистыя, дрожавшія очертанія какого-то огромнаго лица.

«Перунъ!.. проскользнуло въ холодѣвшей мысли археолога! назадъ! въ жизнь! вотъ оно желанное счастье, богатство, любовь»...

Древнеславянскій богъ находился дѣйствительно подлѣ него. Обративъ къ археологу свои крупныя, рѣзкія черты, онъ, наклонившись, какъ бы глядѣлъ на него своими неподвижными очами и привѣтствовалъ прибытіе. Мелкая поросль изумрудно-зеленыхъ нитчаноковъ и волосяноковъ одѣвала бога плотною бархатною мантиєю; мантия непрестанно шевелилась, мерцала, будто дышала въ матовомъ блескѣ доходившихъ до дна полуденныхъ лучей.

Но вернуться въ жизнь назадъ было уже невоз-

можно. Струи неслись вокругъ, рокотали, ворковали, пѣли, гудѣли; перуново очертаніе нависало такъ близко, хотъ рукою взять: но рука не двигалась. Неподвижно глядѣлъ Перунъ на археолога, только слегка шевелилось его зеленое, бархатное одѣяніе и блистали глаза; старый богъ какъ бы улыбался, и теченіе умножало, дробило эту улыбку и, забравъ ее съ собою, уносило прочь.

— Жизнь... смерть... она... богатство... безуміе... насмѣшка... и все это рядомъ...

Мертвый обликъ мертвого бога застывалъ въ только что бывшихъ живыми человѣческихъ глазахъ. Струи днѣпровскія продолжали рокотать, но археологъ не слышалъ ихъ больше.

\* \*

Очень немного времени спустя, яснымъ іюльскимъ вечеромъ, надъ тѣмъ самымъ мѣстомъ, гдѣ покоился Перунъ и подлѣ него остатки археолога, проходила лодка. Веселое общество сидѣло въ ней, и четверо гребцовъ, въ матросскихъ рубахахъ, съ синими отложными воротниками, дружно работали веслами; край персидскаго ковра, положеннаго на сидѣнья, полоסקался въ водѣ. Въ лодкѣ находились: та дѣвушка, что хотѣла выйти за богатаго, и тотъ господинъ, обликъ котораго еще такъ недавно возникъ передъ археологомъ лунною ночью изъ безличныхъ и безыменныхъ словъ дѣвушки. На лодкѣ шло одновременно нѣсколько разговоровъ:

— Я ужасно люблю оперу вообще,—говорила дѣвушка:—и есть такія сцены, которыя дѣйствуютъ на меня всегда особенно сильно.

— Напримѣръ.

— Напримѣръ, послѣдняя сцена въ «Аидѣ», когда на сценѣ, внизу, въ темномъ подземельи, умираютъ двое любящихся, заживо схороненныхъ, а наверху,



въ храмѣ, блестящемъ всею роскошью египетской обстановки, въ полномъ свѣтѣ дня, приходитъ плакать любящая схороненнаго мужчину женщина.

— Да, эта сцена дѣйствительно очень эффектна и исторически или, сказать правильнѣе, египетски—возможна.

— Сколько въ ней чувства!

— Не помните ли вы мотива той аріи, которая поется надъ могилою?

— Да, въ самомъ дѣлѣ, какъ онъ, этотъ мотивъ? И дѣвушка спѣла основную музыкальную фразу.

Лодка шла, тихонько покачиваясь, и край персидскаго ковра волочился въ желтоватой стремнинѣ днѣпровской надъ покончившимъ съ собою археологомъ.



## ВЪ ПЫЛУ БОЯ.

---

Не первый годъ шла великая война... Оскудѣли поля, поникли города; по избитымъ войсками и обозами путямъ высились больницы и горѣвшіе въ нихъ огни тускло свѣтили въ темныя ночи. Свѣжіе, только что наваленные повсюду холмы надъ тѣлами убитыхъ быстро осѣдали, безсчетные, однообразные. Не было нигдѣ веселья; не было вѣтерка, не отягченнаго стономъ, а горячимъ слезамъ не было числа.

Много, много земель охватила война. Она была кровопролитная, ужасная. Обѣ стороны вѣрили въ правоту своего дѣла. Обѣ онѣ вышли въ бой напутствуемая молитвами, окропленные святою водою, осѣненные хоругвями, разгоряченные воззваніями; обѣ бились за хлѣбъ насущный, за честь, за свою родину. Обѣ были правы!

Можетъ быть, и таилась гдѣ нибудь неправда со стороны правителей, но она оставалась такъ ловко скрыта, такъ обойдена, такъ закутана въ разные противорѣчивые государственные договоры, международныя постановленія, сѣзды, клятвенныя и дру-

гія обѣщанія, что добратъся до нея не было никакой возможности.

И шла война, шла не первый годъ.

И насталь день одного великаго сраженія.

Необозримыя пространства заняли войска; цѣлыя рѣки бѣжали между боевыми линіями; многое множество селъ и городовъ служили опорными пунктами. Ангелу смерти приходилось хоть разорваться на части. Много разъ восходило солнце и опускалось, а люди все бились ожесточенно, безжалостно. Казалось, убитые возставали, чтобы возобновлять ряды бойцовъ, такъ ихъ было много, такъ они легко возобновлялись.

Всѣ они бились за правду!

Въ одномъ изъ маленькихъ уголковъ великаго боя, въ небольшомъ, уже разрушенномъ селѣ, высилась сохранившаяся какимъ-то чудомъ церковь. Въ церкви былъ органъ. Село безсчетное число разъ переходило изъ рукъ въ руки противниковъ.

Выдалась такая удивительная минута, — это случилось въ самый полдень яснаго, жаркаго дня, — что подлѣ церкви установилось, какъ бы, молчаніе: главная свалка отошла въ это время за нѣсколько верстъ въ сторону.

Усталые, запыленные, съ потеряннмъ сознаніемъ, стали входить въ прохладу высокихъ стѣнъ церкви бойцы съ обѣихъ сторонъ. Входили потихоньку, одинъ за другимъ, изъ противоположныхъ дверей, какъ бы крадучись и боясь себя, люди вражды и убійства, всѣ бившіеся за правду, всѣ исполнявшіе свой долгъ. Разнообразные мундиры враждебныхъ войскъ размѣстились по обѣимъ сторонамъ церкви.

Церковь молчала, но въ ней было прохладно, тихо. Не имѣлось налицо служителя алтаря, но входившіе въ церковь оказались такъ утомлены, такъ жаждали

покою, что размѣстились другъ подле друга безмолвно, кротко, точно никогда не враждовали.

Тутъ были люди разныхъ вѣръ, но всѣмъ имъ одинаково хотѣлось отдохновенія; безмолвная святыня умиротворяла ихъ. Что-то бесконечно-кроткое, величавое, времени и мѣста не знающее, очаровывало входящихъ. Большинство стало на колѣни и молилось.

Глядѣлъ на эту безмолвную картину съ высоты хоровъ испуганный органщикъ. Случайно тронулъ онъ клавишъ органа, тронулъ другой; взялъ аккордъ, заигралъ...

О, какъ упоительно разливалась по душамъ вошедшихъ въ церковь эта тихая музыка! Какъ обвѣвала она и баюкала воспоминаніями миновавшаго дѣтства и любви домашняго очага. У всякаго поднималась въ душѣ—своя церковь, свой Богъ, своя любовь... Органщикъ зналъ свое дѣло и игралъ хорошо.

Вдругъ раздался гдѣ-то далеко призывный рожокъ. Прошло очарованіе! Люди, точно устыдившись себя, стремглавъ бросились въ противоположныя двери, наваливая одни на другихъ, всѣ къ своимъ войскамъ. Загудѣлъ снова бой, страшнѣе прежняго, и зарокотали подвезенныя близехонько орудія. Не прошло и пяти минутъ, какъ внеслись въ разтворенныя двери храма какіе-то не удержавшіе коней своихъ всадники; качнулись своды церкви, рухнулъ органъ и задавилъ подъ собою органщика...

Къ вечеру не оставалось слѣда отъ самой церкви и отъ всего того, что въ ней случилось, потому что обѣ стороны дрались за правду, гибли за нее и, всетаки, не знали, гдѣ найти...

~~~~~

## НАХОДКА.

---

Черное море въ ту ночь, о которой идетъ рѣчь, обидѣвшись своимъ названіемъ, доказывало, что оно, при участіи луны, обладаетъ удивительною способностью щеголять всѣми переливами аквамариновъ и изумрудовъ. Луна всходила полная, но она еще не глянула на южный берегъ изъ-за Яйлы, а свѣтила по ту сторону, на Байдарскую долину, на Бахчисарай съ его ханскими гробницами и на мертвый городъ Чуфуть-Кале.

Ночь выдалась теплая, тихая; ни одна волна не плескалась, ни одна струя воздуха не тянула; все и вся въ этой восхитительной дремотѣ, въ полномъ равновѣсіи, безъ всякой борьбы, безъ исканія лучшаго, было довольно своимъ положеніемъ, довольно собою и всѣмъ окружающимъ и, по мѣрѣ силъ, способствовало тихому царству зеленыхъ и аквамаринныхъ тѣней и очертаній. Наступило время цвѣтенія винограда и если бы кто вздумалъ отправиться отъ берега въ лодкѣ, то ему пришлось бы ѣхать очень далеко, чтобы выйти изъ сильнаго запаха этого цвѣтенія, налегшаго отъ виноградниковъ на море: будущее, еще не родившееся на свѣтъ, вино уже да-

вало знать о себѣ—благовѣствуя! Зеленѣло море, зеленѣло небо; темные айланты, пиніи, магноліи и кипарисы прибрежныхъ садовъ, крутые поднебесные утесы Яйлы, округленные глыбы поверженныхъ въ море гранитовъ, даже звѣзды небесныя, все это было покрыто дымкою аквамаринной зелени.

Пройдетъ еще очень немного времени—выкатится изъ-за Яйлы луна, громадная тѣнь горнаго хребта, налегшая на море, точно сѣуживается, подбирается; глянетъ луна, посеребрить зелень ночи и все испортить.

Отъ берега только что отчалила лодка; должно быть какой нибудь мечтатель—ихъ вездѣ много. Лодка идетъ прямо въ море; весла ударяють мѣрно, ровно, и сбѣгающія съ нихъ капли, и поднимаемая лодкою борозды воды, все это,—хотя и замѣтно въ полусвѣтѣ, но не блещетъ, не искрится: луна еще не глянула—она за Яйлою. На всемъ неоглядномъ пространствѣ видимаго моря, какъ и на берегу, ничто не выдѣляется своею самостоятельностью и не нарушаетъ общаго, блаженнаго единенія въ колыбаніи теплыхъ тѣней?

Куда ѣхать гребцу? все равно, вездѣ одинаково хорошо; отплывъ съ версту, онъ остановился и опустил весла, чтобы смотрѣть на то, какъ выйдетъ изъ-за зубцовъ Яйлы луна.

Вдругъ, впереди, не очень далеко отъ лодки, обозначилась, надъ самою водою, зеленоватая искорка. Значить, тамъ, гдѣ искорка—уже блещетъ луна. Но что, или кто именно заявилъ такъ поспѣшно, такъ неожиданно о своей самостоятельности и нежеланіи оставаться бархатистою зеленою тѣнью между другихъ тѣней? Кто не довольствуется мягкостью аквамаринныхъ красокъ и тоновъ мирно дремлющей ночи?

Веслана воду! Еще нѣсколько ударовъ—и искорка

находится подлѣ самой лодки, маленькая, это правда, но всетаки искорка. Что бы это могло быть? Искорка мгновенно погасла, потому что лодка покрыла ее своею быстро надвинувшеюся тѣнью. Гребецъ ухватилъ рукою, на ходу, еще непонятный ему предметъ и лодка сильно покачнулась. Глубина тутъ неизмѣримая, вода прохладна. Что, если бы вдругъ, по неосторожности...

Въ рукѣ гребца очутилась довольно крупная щепка и на ней огромная береговая улитка, съ кулакѣ ребенка величиною. Это она такъ дерзко блеснула верхнимъ краемъ своей прочной, слоистой витушки, блеснула совсѣмъ неподходящею ей окраской электрическаго огонька.

Неподходящею? почему же неподходящею? И отчего, какимъ путемъ, она, улитка, это вялое, безотвѣтное земноводное, выросшее въ неподвижности береговыхъ камней, привыкшее ползать по кремнистому, горячему щебню виноградниковъ, почему она тутъ, на этой прохладной влагѣ, на щепѣ! Что сдѣлало изъ нея смѣлаго мореплавателя? Ужъ не любопытство ли? какое нибудь смѣлое, но неудачное похождение? И какъ же цѣпко держится она за щепу, какъ присосалась къ ней? Да, да, здѣсь налицо имѣется, несомнѣнно, какая-то драма, а можетъ быть комедія, послѣдствіе роковой или легковѣрной ошибки или неосторожности, источника всѣхъ столкновений на землѣ и на нихъ обоихъ, на столкновении и на улиткѣ, горѣло прелестное, обманчивое сіяніе зеленоватаго огня.

Спасеніе улитки мореплавателемъ было предложено, точно такъ же, какъ предложена всякая развязка въ драмѣ или комедіи: гребецъ взялъ ее съ собою на берегъ. Гребецъ, въ данномъ случаѣ, явился въ роли судьбы: случайный, неожиданный, никакимъ расчетамъ не поддающійся, самъ

въ себѣ не властный, но тѣмъ не менѣе всесильный, непростенный и непреодолимый.

Не успѣла лодка, на которую забрали улитку на щепѣ, повернуться носомъ къ берегу, какъ изъ-за Яйлы выкатилась полная луна.

Мириады мириадъ, тѣма отъ темъ, зеленовато-серебристыхъ искръ, точно такихъ какъ та, что сіяла одинокою на улиткѣ, сразу посыпались на зеленныя волны моря и налегли на него широкимъ столбомъ. Засеребрились струи, поднимаемая лодкою, алмазными искрами посыпались капли съ весель. Каждая изъ этихъ искръ, если бы только случай, могла бы засвѣтиться въ какой нибудь драмѣ или комедіи жизни. Да что—искры? не только ихъ, но и самыхъ лунныхъ столбовъ не счесть, такъ ихъ много, потому что сколько бы ни шло лодочекъ, сколько бы ни имѣлось налицо гребцовъ, всякій изъ нихъ двигался бы по своему собственному, имъ видимому, для него опрокинутому на море столбу, хотя, на самомъ дѣлѣ, ни одного изъ этихъ лунныхъ столбовъ не существовало.

Нашъ мореплаватель направился къ берегу по одному изъ этихъ несуществующихъ столбовъ. Ночь была восхитительная и на душѣ у него было какъ-то особенно легко: онъ спасъ отъ несомнѣнной смерти—улитку.





## ВЪ КАЛМЫЦКОЙ СТЕПИ.

---

Тройка, съ калмыкомъ на облучкѣ тарантаса, быстро двигается степью между Волгою и Дономъ. Зарево ярко-краснаго вечера охватило всю ширь и, казалось бы, что всякое понятіе о соотношеніяхъ и размѣрахъ тонуло въ этомъ властительномъ молчаніи красной степи и въ полымъ вечернихъ огней, если бы не мѣрное побрякиваніе колесъ тарантаса, если бы неразстоянія между отдѣльными облачками краснаго золота, остановившимися въ небѣ, со страха идти дальше въ адски пылающій закатъ; кому охота тонуть, да еще въ пламени?

Невѣроятно душно; мучаетъ жажда; приходится, въ который уже разъ, открыть длинный кувшинъ съ кумысомъ, лежащій въ тарантасѣ, въ сѣнѣ, въ ногахъ путника; въ кумысѣ этомъ, навѣрное, градусовъ двадцать тепла, но онъ кажется такимъ прохладнымъ; живая игра шипучихъ струй его, въ этомъ пропаленномъ мертвомъ молчаніи степи, много способствуетъ обману впечатлѣнія. Пьешь и прославляешь степныхъ кобылицъ.

Что только имѣлось въ запасѣ у солнца красныхъ огней—все было зажжено, все. И никогда не достигали,

не могли достигнуть даже приблизительно этой золотистой красноты степного вечера всѣ пышнѣйшія краски земныя, отъ временъ финикійскихъ пурпуровъ, украшавшихъ древнихъ, нынѣ умершихъ, куда-то разсыпавшихся, царицъ Востока, до внутреннихъ, теремныхъ палатъ московскихъ царей, наводненныхъ золотомъ тяжелой парчи, фигурчатыхъ поставцовъ, пылающихъ божницъ и сіяніемъ рубиновъ и розовыхъ алмазовъ. Не могли они достигнуть этого потому, что съ красками то же, что и со звуками въ отзывахъ души человѣческой:

«И звуковъ небесъ замѣнить не могли

«Ей скучныя пѣсни земли!»

Но въ этомъ безмолвномъ пожарѣ вечера, одна точка горитъ на малиновой степи сильнѣе всего; это, впрочемъ, только такъ кажется, что точка эта горитъ ярче огней небесныхъ, кажется потому, что она земная, наша, близка и родственна намъ. Точка эта неподвижна.

— Что это тамъ такое, ямщикъ?

Широкоскулый калмыкъ безмолвно оборачивается.

— Вонъ, тамъ, видишь?

Калмыкъ протягиваетъ кнутъ по направленію къ свѣтящейся точкѣ, ему указываемой, какъ будто понимая что-то.

— Ну, да, да! что это?

Калмыкъ, кивнувъ головою, отворачивается и стегаетъ по лошадямъ.

— Туда мы ѣдемъ или нѣтъ?

Калмыкъ опять киваетъ головою, но уже не оборачиваясь. Пламенная точка близится, потому что тройка направляется прямо на нее. Такъ какъ дорога въ степи нѣтъ, то вся степь дорога. Замѣтно, однако, что колеса тарантаса похрустываютъ какъ-то сильнѣе, чѣмъ прежде, какъ будто въ этомъ мѣ-

стѣ посохшаго ковыля и мертвой полыни больше, какъ будто это мѣсто пониже и весною сырость держится здѣсь дольше, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ; къ концу лѣта и оно опалено, мертво.

Тройка бѣжитъ дружно, но желательно доѣхать скорѣе, потому что вотъ-вотъ погаснетъ этотъ свѣтъ лучезарно-малиновой искры: кажется, будто нѣкая блѣдность уже сказывается въ немъ и причастность къ жизни уходитъ, заволакивается, погасаетъ. Потянуло первую прохладю; отъ солнца, поверхъ земли, виденъ только верхъ круга.

— Стой!

Тройка остановилась и въ это самое мгновеніе налегла на степь, на все, что близко, на все, что далеко, голубоватая тѣнь. Степь погасала.

Подлѣ тарантаса—могила. Чья? на ней ни креста, ни чалмы, ни единого признака личности. Надо, однако, обойти ее кругомъ. Точно! это гробница, удлиненная, въ полроста человѣческаго вышиною, длиною болѣе обыкновеннаго роста, не сложенная, а смазанная изъ какого-то густого раствора, въ родѣ штукатурки, мѣстами облупившейся. Поверхность ея не забыли щедро выбѣлить и эти-то бѣлила горѣли такъ ярко въ полымѣ только-что закатившагося солнца. Открытая всѣмъ вѣтрамъ гробница служить временнымъ пристанищемъ наносимыхъ на нее отовсюду посохшихъ перекати-поле, ковыля, полыни и другихъ солончаковыхъ. Всѣ эти мертвыя травы облегли основаніе ея, сплелись, спутались, окружили вѣнкомъ такъ плотно, что ихъ и ногою не раскидаешь. Приголубили, значить, почтили, увѣнчали? Кого? имени на гробницѣ все-таки нѣтъ.

Что-то юркнуло въ стебляхъ мертваго сухого вѣнка, окружавшаго гробницу, и зашелестило въ немъ. Должно быть землеройка, вонъ ихъ нѣсколько видно по сторонамъ. Прыткіе звѣрки, нѣчто въ родѣ хорька,

ласки или суслика повыскакали съ закатомъ солнца изъ норокъ, сѣли на заднія лапки, словно высматриваютъ что-то, прихорашиваются; это своего рода кокетство.

Какъ египетскій фараонъ на сѣдалищѣ сидитъ калмыкъ на облучкѣ тарантаса неподвижно.

— Чья это могила?

Опять безмолвный кивокъ.

— Нойонъ, что ли, князь? Зайсангъ — духовное лицо?

Калмыкъ, въ знакъ согласія, киваетъ головою.

— Да ты по-русски не говоришь, что ли?

— Говору!

— Ну, такъ кто же тутъ лежитъ? чья могила?

Калмыкъ оставался попрежнему безмолвнымъ; свернувъ немного на сторону шанку, почесалъ онъ въ головѣ, а потомъ сталъ поправлять кнутомъ сбрую коренного.

Степь тѣмъ временемъ посинѣла; въ небѣ глянули огни, а землеройки, кончивъ высматриваніе степи, забѣгали кругомъ едва замѣтныя, сообщая полумраку не то мерцаніе, не то миганіе, а какую-то суетливую бѣготню какихъ-то сѣрыхъ, беспокойныхъ точекъ.

Чего же хотѣли, однако, люди, воздвигая, смазывая и обѣляя эту безымянную гробницу? Кто въ ней, безмолвный и безличный, вступилъ въ сумасшедшую борьбу съ забвеніемъ? Бороться съ забвеніемъ, не имѣя имени — что за безуміе? впрочемъ, также безумны были и Римъ, и Пальмира, только тамъ имѣется, пока что, хоть имя, а тутъ ничего, ничего! что же желали сохранить, кто, для кого и кому, и за что? бороться противъ забвенія!

Отъ багроваго заката въ небѣ и пожара въ степи не оставалось болѣе и помину; ночь вступила сразу во всѣ свои права, въ воздухѣ быстро холодѣло и

кувшинъ съ кумысомъ, который пришлось продвинуть въ сѣнѣ, къ ямщику, впередъ, для того, чтобы помѣститься въ тарантасѣ удобнѣе, казался на ощупь чрезвычайно теплымъ; въ этомъ сказывалось несомнѣнное воспоминаніе только что отгорѣвшаго, горячаго дня. Погасшій день еще не совсѣмъ отошелъ въ забвеніе и чувствовался въ теплѣ кумыса.



## КАКЪ МОЖНО ЛГАТЬ.

---

Мужъ и жена были оба совершенно спокойны и очень веселы. Они сидѣли за чайнымъ столомъ, часу въ девятомъ вечера, и долго разговаривали, ожидая родныхъ. Лампу покрывалъ красный абажуръ, и, вслѣдствіе этого, волнистые, изкрасно-свѣтлые волосы мужчины отливали ярко-золотистымъ цвѣтомъ. Та же самая игра свѣта имѣла мѣсто и на довольно красивой, кружевной накладкѣ, убранной пунцовыми лентами, отгнѣнявшей волосы жены.

Каминъ усердно потрескивалъ и, благодаря перемѣнчивости пламени, по бѣлому потолку двигались, множествомъ какихъ-то темныхъ пальцевъ, острия тѣни отъ листьевъ двухъ фиговыхъ пальмъ, наклонившихся надъ коврами, съ высоты очень изящныхъ китайскихъ горшковъ. Серебряный чайникъ прибора тоже краснѣлъ отъ блеска камина и отъ лампы. Все вмѣстѣ взятое было уютно, мило и свидѣтельствоvalo о счастливой домовитости. Супруги читали какой-то романъ и, на одной изъ главъ, остановились.

— Да, да, любовь удивительное дѣло въ томъ смыслѣ, что никакая любовь не исчерпываетъ всей

идеи любви и обязательно должна повторяться въ новыхъ опытахъ.

— Ну это, положимъ, у васъ, у мужчинъ,—отвѣтила жена:—можетъ быть, много видовъ любви, потому что всѣ вы, по правдѣ сказать, гроша не стоите.

— Однако, почему же нибудь, за что нибудь, берете вы насъ, иногда очень дорогою цѣною покупаете, дѣлаете глупости, разрываете родственныя отношенія, бросаете перчатку всѣмъ условіямъ, всѣмъ обрядностямъ общества.

— Не изъ-за васъ,—перебила, громко засмѣявшись, жена:—изъ-за исполненія нашего собственнаго каприза, вотъ что.

— А вы всѣ капризны?

— Всѣ.

Сказавъ это слово, жена взяла въ руки маленькіе, тульской работы щипчики, для колки кусочковъ сахара на мелкія части, опустила глаза и принялась за работу.

— А до какихъ это лѣтъ полагается женщинамъ капризничать? скажи, чтобы мнѣ знать?—спросилъ мужъ, улыбаясь.

— Женщины годовъ не имѣютъ и не знаютъ.

— Ну, какъ, напримѣръ, какъ не узнать людямъ твоихъ и моихъ лѣтъ, когда каждый изъ знакомыхъ свои годы помнить и по нимъ считать можетъ.

— Прекрасное занятіе, нечего сказать.

Жена, сказавъ это и продолжая колоть сахаръ, еще ниже опустила глаза. Каминъ потрескивалъ особенно быстро. Въ полумракѣ, надъ стѣною, отъ поры до времени, словно, вспыхивало изображеніе Леды съ подплывавшимъ къ ней лебедемъ. Водворилось молчаніе...

Это молчаніе длилось ровно четверть минуты. Вошелъ лакей съ докладомъ, что внучка съ мужемъ пріѣхала.

Онъ, мужъ, поднялся изъ кресла, но только съ большимъ трудомъ, потому что давнишня по дагра сказывалась иногда весьма назойливо. Волнистые, изкрасно-яркіе волосы его парика сразу потускнѣли, какъ только онъ отошелъ отъ сферы краснаго абажура лампы, но жена его продолжала сидѣть попрежнему, а пунцовыя ленты на головѣ ея, сильно нуждавшейся въ искусственномъ прикрытіи, горѣли, какъ и до того; она, случайно, выронила щипчики, которыми колола сахаръ, но поднять ихъ съ пола не могла, такъ какъ ей трудно было наклоняться, вслѣдствіе полноты и постоянной одышки; ихъ поднялъ лакей.

— Хе, хе, хе! — проговорилъ мужъ, подвигаясь къ дверямъ, навстрѣчу пріѣзжимъ. — Не безъ слѣда была наша прежняя любовь, когда до третьяго колѣна развилась, когда у насъ внучка имѣется. Хе, хе, хе!

— Да что же они не идутъ, однако, — замѣтила жена.

Лакей, выходявшій тѣмъ временемъ за двери, возвратился.

— Виновать-съ, — доложилъ онъ. — Это не внучка-съ пріѣхали, а швейцаръ звонкомъ ошибся.

— Дуракъ! — проговорилъ мужъ: — и зачѣмъ такихъ людей швейцарами держать?

— Точно-съ, что онъ виноватъ, потому всегда ошибается.

Старикъ направился обратно къ кресламъ и съ трудомъ опустился въ нихъ; старуха занялась опять раскалываніемъ сахара, и красный свѣтъ абажура ослѣпилъ обоихъ снова.

Лакей вышелъ изъ комнаты, и прежняя картина возвратилась въ свою рамку и въ свое освѣщеніе.



Обмануть ея описаніемъ вторично — нельзя, потому что одна и та же рыбка дважды на ту же удочку не попадаетъ. Другою, или третьею картинкою обмануть, конечно, можно.

Но не лжетъ ли такимъ образомъ и все художество? не въ обманѣ ли скрывается правда и красота вѣчно обманывающей жизни? Стоило только въ самомъ началѣ разсказа объяснить, что мужъ и жена, сидя за столомъ, разговаривали, ожидая «внучку», а не «родныхъ», стоило прибавить, что изкрасно-свѣтлые волосы на головѣ мужа принадлежали не ему, а его «парику»; стоило помянуть о морщинахъ почтенной четы и добавить, что жена колола сахаръ щипчиками, вслѣдствіе полного недостатка зубовъ, — и тогда «изображеніе Леды» съ подплывающимъ къ ней лебедемъ получило бы совсѣмъ другое значеніе, чѣмъ то, которое оно, въ полумракѣ стѣны и въ отблескахъ камина, имѣло. Въ разсказѣ о чемъ-то намѣренно умолчали, что-то, намѣренно, усилили, и ложь проступила, какъ-бы, во всеоружіи правды и дѣйствительно обманула. Но разскащикъ достигъ своей цѣли, вызвавъ въ слушатель тѣ чувства, которыя хотѣлъ вызвать, и слушавшій оказался въ положеніи, совершенно безпомощномъ довѣрившись прямому смыслу слова, и не зная тѣхъ словъ, которыя сознательно были недосказаны!



PG

32605

8



Stanford University Libraries

3 6105 124 435 921



PG

3260

I 2

1794



